

БЕСТСЕЛЛЕР THE NEW YORK TIMES

НЕЙТАН ХИЛЛ



[roman]

НЕКК

CoRpus

18+

“Нейтан Хилл — маэстро”. ДЖОН ИРВИНГ

Нейтан Хилл

Нёкк

© Nathan Hill, 2016

© Ю. Полещук, перевод на русский язык, 2018

© ООО “Издательство Аст”, 2018

Издательство CORPUS ®

* * *

Посвящается Дженни

Некогда правитель Шравастии призвал к себе слугу и велел собрать всех слепорожденных, которые жили в городе. Слуга исполнил приказ, и тогда король велел подвести к слепцам слона. Одним дали потрогать голову, другим ухо, третьим бивень, четвертым хобот, тело, ногу, зад, хвост и пучок шерсти на конце хвоста. И каждому из слепцов говорили: “Это слон”.

Слуга доложил царю, что выполнил приказ. Тогда царь подошел к слепцам и сказал: “Расскажите мне, слепцы, каков же слон?”

Те, кто трогал голову слона, ответили: “Ваше величество, слон похож на кувшин с водой”. Те, кто трогал ухо, сказали: “Слон похож на плетеное решето”. Те, кому дали потрогать бивень, возразили: “Слон совсем как лемех”. Те, кто ощупывал хобот, заметили: “Слон – как рукоять плуга”. Те, кто ощупывал тело, сказали: “Слон похож на кладовую”. И все остальные описывали слона как ту часть, которой касались руками.

А потом слепцы с криками “Нет, слон не такой, а вот такой! Слон не такой, а вот такой!” набросились друг на друга с кулаками.

Царь же, глядя на них, веселился.

Священные изречения Будды

Пролог

Конец лета 1988 года

Знай Сэмюэл, что мать собирается от них уйти, он, может, серьезнее отнесся бы к происходившему. Слушал бы ее внимательнее, пристальнее бы за ней наблюдал, записывал бы самое главное. Вел бы себя по-другому, иначе говорил и был бы другим человеком.

Был бы ребенком, ради которого стоило остаться.

Но Сэмюэл не знал, что мать задумала уйти. Он понятия не имел, что она уже много месяцев подряд уходила от них – тайно, понемногу. Одну за другой выносила из дома вещи. Платье из шкафа. Фотографию из альбома. Вилку из ящика со столовыми приборами. Стеганое одеяло из-под кровати. Каждую неделю забирала что-то еще. Свитер. Пару туфель. Елочную игрушку. Книгу. Постепенно ее присутствие в доме становилось все менее ощутимым.

Она выносила вещи почти год, когда Сэмюэл с отцом наконец что-то почувяли, какую-то зыбкость, непонятное, тревожное, порой даже гнетущее чувство оскудения. Иногда они с изумлением смотрели на книжный шкаф и думали: “У нас вроде было больше книг?” Или, проходя мимо буфета, осознавали, что чего-то не хватает. Но чего именно? У них никак не получалось определить ощущение, будто мелочи жизни кто-то меняет местами. Им и в голову не приходило, что они больше не едят блюда, приготовленные в медленноварке, потому что медленноварки уже нет в доме. И если книжная полка казалась пустой, то лишь потому, что мать лишила ее поэзии. А в буфете появились свободные места, потому что оттуда забрали две тарелки, две миски и заварочный чайник.

Их очень медленно грабили.

– Вроде тут было больше фотографий, – щурился отец Сэмюэла, глядя на стену снизу, от подножия лестницы. – Разве там не висел снимок из Большого каньона?

– Не висел, – отвечала мать Сэмюэла. – Мы его убрали.

– Точно? Что-то я этого не припомню.

– Ты же сам так решил.

– Правда? – озадаченно уточнял отец. Ему казалось, что он сходит с ума.

Спустя много лет, на уроке биологии в старших классах, Сэмюэл услышал историю об одном виде африканских черепах, которые переплывали океан, чтобы отложить яйца в Южной Америке. Ученые не могли найти объяснения такому далекому путешествию. Зачем черепахам плыть за тридевять земель? Согласно самой распространенной теории, началось все в незапамятные времена, когда Южная Америка и Африка еще были единым целым. Вероятно, тогда эти континенты разделяла всего лишь река, и черепахи плавали откладывать яйца на дальнем берегу. Но потом континенты стали отдаляться друг от друга, с каждым годом река становилась шире примерно на дюйм, на что черепахи, разумеется, не обращали внимания и продолжали плавать на старое место, на дальний берег реки. Каждое новое поколение проплывало чуть больше предыдущего. Сотни миллионов лет спустя река превратилась в океан, а черепахи этого даже не заметили.

Вот так уходила мать, подумал Сэмюэл. Вот так она покидала дом – незаметно, медленно, по чуть-чуть. Сводила свое присутствие на нет, пока наконец ей не осталось забрать последнее – саму себя.

В день своего исчезновения мать ушла из дома с одним-единственным чемоданом.

Часть первая. Нападение на Пэкера

Август 2011 года

1

В один прекрасный день на новостных сайтах практически одновременно появляется заголовок: “НАПАДЕНИЕ НА ГУБЕРНАТОРА ПЭКЕРА!”

Спустя несколько мгновений подключается телевидение: вещание прерывает анонс экстренного выпуска новостей. Сосредоточенно глядя в камеру, ведущий говорит: “Наши корреспонденты в Чикаго передают, что на губернатора Шелдона Пэкера было совершено нападение”. Некоторое время больше ничего не известно: лишь то, что на него напали. Несколько минут все в ошеломлении задают себе два вопроса: жив ли Пэкер? И есть ли видеозапись нападения?

Наконец приходят первые известия с места событий от репортеров, которых выводят в эфир с мобильных телефонов. Корреспонденты сообщают, что Пэкер давал в чикагском “Хилтоне” ужин, на котором произнес речь. После приема он вместе со свитой возвращался через Грант-парк, пожимая руки встречным, целуя детей и проделывая прочие популистские штучки, которые в ходу у политиков во время предвыборной кампании. Вдруг из толпы на него напали – непонятно, человек или группа лиц.

– Как именно напали? – уточняет ведущий. Он сидит в залитой красно-бело-синим светом студии с блестящими черными полами. Лицо у него гладкое, как глазурь на торте. За столами позади ведущего работают его коллеги. – Вы можете описать момент нападения? – допытывается ведущий.

– В него чем-то кинули, – отвечает репортер, – больше мне пока ничего не известно.

– Чем кинули?

– Пока непонятно.

– И попали? Губернатор ранен?

– Да, кажется, попали.

– Вы видели нападавших? Сколько их было? Тех, кто бросал?

– Там поднялась паника, люди закричали.

– Предметы, которыми бросили в губернатора, были большие или маленькие?

– Думаю, сравнительно небольшие, раз поместились в руке.

– Крупнее бейсбольного мяча?

– Нет, помельче.

– Значит, размером с мяч для гольфа?

– Да, примерно так.

– Острые? Тяжелые?

– Все произошло слишком быстро.

– Нападение было спланированным? Быть может, это преступный сговор?

– Сейчас все задают себе те же вопросы.

На экране появляется заголовок: “Теракт в Чикаго”. Вжик – и он оказывается возле уха ведущего и трепещет, как флаг на ветру. На огромном телевизоре с сенсорным экраном показывают карту Грант-парка – расхожий прием, который регулярно используют в современных выпусках новостей: диктор в телевизоре рассказывает о чем-то с помощью другого телевизора, то увеличивая, то уменьшая руками на сенсорном экране объекты в высоком разрешении. Выглядит все это очень круто.

Дожидаюсь, пока поступят новые сообщения, ведущий и репортер обсуждают, увеличит ли это происшествие шансы губернатора на пост президента или же, наоборот, повредит его репутации. Сходятся на том, что увеличит, поскольку сейчас имя губернатора неизвестно практически никому, кроме его немногочисленных сторонников, ярых консерваторов-протестантов, одобрявших деятельность Пэкера на посту губернатора Вайоминга, где он строго-настрога запретил аборт и обязал не только учеников, но и учителей каждое утро перед Клятвой верности читать в школах Десять заповедей, сделал английский официальным и единственным законным языком штата, а всем, кто плохо говорит по-английски, запретил владеть недвижимостью в Вайоминге. Во всех заповедниках штата разрешил применять огнестрельное оружие. А еще вынес постановление, согласно которому законы штата отменяли федеральное законодательство во всех вопросах, – шаг, который, если верить специалистам по конституционному праву, означал бы санкционированный выход Вайоминга из состава Соединенных Штатов. Пэкер носил ковбойские сапоги. Проводил пресс-конференции у себя на ранчо. Ходил с настоящим оружием: в кожаной кобуре у него на бедре висел револьвер.

В конце своего первого и единственного срока Пэкер заявил, что на

второй переизбираться не будет, поскольку хочет сосредоточиться на вопросах первостепенной государственной важности. СМИ, разумеется, истолковали его слова в том смысле, что он собирается баллотироваться в президенты. Пэкер оттачивал прочувствованную риторику проповедника тире ковбоя и делал ставку на антиэлитистский популизм, находивший отклик у простых работяг, белых консерваторов, недовольных нынешней рецессией. Иммигрантов, отнимающих у американцев рабочие места, губернатор сравнивал с волками, которые режут домашний скот, причем слово “волки” произносил с ударением на последнем слоге. “Капитолий” в его устах превращался в “Капутолий”. Вместо “устал” Пэкер говорил “упахался”. А еще “ихний” и “ложить”.

Сторонники Пэкера уверяли, что именно так и говорят простые жители Вайоминга, не какая-нибудь там элита.

Критики губернатора не упускали случая отметить, что, поскольку суды отклонили почти все предложения Пэкера, польза от его законодательной деятельности фактически равна нулю. Но все это не имело никакого значения для тех, кто исправно платил по пятьсот долларов за участие в званых ужинах, сбор от которых шел на оплату предвыборной кампании (Пэкер, кстати, называл их “обжираловкой”), по десять тысяч долларов за лекцию и по тридцать долларов за его книгу “Сердце истинного американца”: так он формировал “военный бюджет”, как называли это репортеры, “для будущих президентских выборов”.

И вот на губернатора напали, хотя никто не знает, как напали, с чем напали, кто напал и пострадал ли он в результате нападения. Телеведущие рассуждают о том, что будет, если попасть в глаз подшипником или стеклянным шариком. Они говорят об этом добрых десять минут, сопровождая беседу схемами, на которых мелкий объект на скорости почти в сто километров в час проникает в жидкую мембрану глаза. Когда тема исчерпана, прерываются на рекламу. Анонсируют документальный фильм, снятый к десятилетию теракта 11 сентября: “День террора, десятилетие войны”. Ведущие ждут.

Наконец происходит то, что выводит передачу из оцепенения, в которое она погрузилась: в кадре снова появляется ведущий и объявляет, что некий очевидец снял произошедшее на видео и выложил ролик в интернет.

На экране появляется ролик, который в последующие недели покажут по телевизору несколько тысяч раз, а еще он наберет миллионы просмотров в интернете и станет третьим по популярности видео месяца – после нового музыкального клипа восходящей поп-звезды, юной Молли Миллер, на песню “Нужно из себя что-то представлять”, и семейного

видео, на котором малыш, едва научившийся ходить, падает от смеха. И вот что происходит.

Сперва мы видим белый экран и слышим свист ветра в микрофоне, потом раздаётся шуршание: чьи-то пальцы накрывают микрофон, и свист ветра стихает до еле слышного шума, как будто к уху приложили морскую ракушку. Камера регулирует экспозицию, и белизна становится голубым небом, видно размытое зеленое пятно (видимо, трава), раздаётся мужской голос – слишком громкий из-за близости к микрофону: “Пишется? Что-то непонятно”.

Изображение обретает резкость: мужчина направляет камеру себе под ноги и говорит раздраженно: “Оно записывается или нет? Как понять?” Ему отвечает спокойный мелодичный женский голос: “Посмотри там сзади. Что там написано?” Ее муж, парень или кто он ей, не способный удержать камеру ровно, чтобы изображение не прыгало, бросает: “Лучше бы взяла да помогла” так резко и сердито, что сразу ясно – это она виновата в том, что у него ничего не получается. На экране все это время крупным планом видны его ботинки: изображение так мельтешит, что кружится голова. Мужчина обут в дутые высокие кроссовки. Белехонькие, супермодные. Он стоит на столе для пикника.

– Что там написано сзади? – уточняет женщина.

– Где сзади?

– На экране.

– Я понял, – отвечает он. – Где на экране?

– В правом нижнем углу, – невозмутимо поясняет женщина. – Что там написано?

– Там буква R.

– Значит, записывается. Запись идет.

– Идиотизм какой-то, – бесится мужчина. – Почему бы просто не написать “вкл”?

На экране мелькают то его ноги, то группа людей неподалеку.

– Вон он! Смотри! Это он! Вон он! – кричит мужчина, направляет камеру перед собой и, когда ему наконец удается сделать так, чтобы она не прыгала, в кадре появляется Шелдон Пэкер, примерно в тридцати метрах от мужчины, в окружении охраны и сотрудников своего предвыборного штаба. Рядом небольшая толпа. Те, кто ближе всего к губернатору, наконец догадываются, что что-то происходит, рядом какая-то знаменитость. Мужчина, снимающий на камеру, кричит:

– Губернатор! Губернатор! Губернатор! Губернатор! Губернатор!
Губернатор! Губернатор!

Изображение снова скачет – видимо, этот парень прыгает, машет руками или и то, и другое сразу.

– Как сделать ближе? – спрашивает он.

– Нажми на зум, – отвечает женщина.

Изображение увеличивается, из-за чего снова возникают проблемы с резкостью и экспозицией. Вообще же эту запись показали по телевизору лишь потому, что в конце концов мужчина со словами: “На, давай сама” отдает камеру спутнице и убегает пожать руку губернатору.

Впоследствии всю эту болтовню вырежут, так что ролик, который сотни раз покажут по телевизору, начнется здесь, с паузы: редакторы новостей обвели красным кружком женщину, сидящую на скамейке с правой стороны экрана. “По всей видимости, это и есть нападавшая”, – поясняет ведущий. Седая, лет шестидесяти на вид, женщина читает книгу: зрелище ничем не примечательное. Незнакомка просто заполняет кадр, как актриса массовки в кино. На ней голубая рубашка поверх черной майки и черные эластичные леггинсы. Острые прядки взъерошенных коротких волос падают ей на лоб. Сложена как спортсменка – худая, но мускулистая. Женщина замечает, что происходит вокруг. Видит приближающегося губернатора, закрывает книгу, встает и смотрит. Она с самого края кадра и явно пытается решить, что делать дальше. Подбоченилась. Прикусила губу. Похоже, взвешивает все варианты. Вся ее поза – словно немой вопрос: “А надо ли?”

Наконец она срывается с места и стремительно направляется к губернатору. Книгу женщина оставила на скамье. Незнакомка идет большими шагами, как покупатели из пригородов, которые наматывают круги по торговым центрам. Вот только она стиснула кулаки и прижала руки к бокам. Женщина приближается к губернатору на расстояние броска, и тут толпа вдруг расступается, так что с того места, где стоит оператор, заметно, что губернатор оказывается в пределах прямой видимости незнакомки. Она стоит на посыпанной щебнем дорожке. Женщина опускает глаза, наклоняется и подбирает горсть щебня. Вооружившись таким образом, она издает вопль – он слышен очень четко, поскольку в этот самый момент ветер стихает, толпа умолкает, как будто все знают, что сейчас произойдет, и изо всех сил стараются ничего не упустить, – женщина кричит: “Ах ты свинья!” – и бросает камни в губернатора.

Сначала в толпе неразбериха: одни оборачиваются, пытаются рассмотреть, кто кричал, другие вздрагивают и отшатываются, потому что в них попали камешки. Женщина подбирает новую горсть щебня и бросает в губернатора, подбирает и бросает, подбирает и бросает, как ребенок,

играющий в снежки. Невольные зрители пригибаются, матери закрывают детям лица, а губернатор складывается пополам, схватившись за правый глаз. Женщина продолжает швыряться щебнем, пока охранник губернатора не сбивает ее с ног. Или скорее не сбивает, а обхватывает руками и вместе с ней валится на землю, точно усталый борец.

Вот и все. Запись длится меньше минуты. Вскоре после передачи становятся известны кое-какие факты. Называют имя женщины: Фэй Андресен-Андерсон, причем в новостях ее фамилию ошибочно произносят как “Андерсон-Андерсон”, видимо, проводя параллель с другими печально известными двойными фамилиями, а именно Серхан Серхан^[1]. Быстро выясняется, что она работает помощницей учителя в местной начальной школе, и этот факт становится оружием отдельных аналитиков, которые утверждают: мол, это доказывает, что в системе государственного образования нынче правит бал радикальный либерализм. Заголовок меняется на “УЧИТЕЛЬНИЦА НАПАЛА НА ГУБЕРНАТОРА ПЭКЕРА!” и остается таким около часа, пока не удастся отыскать фотографию, на которой вроде бы запечатлена эта женщина на демонстрации протеста в 1968 году. На снимке она сидит на поле с тысячами других протестующих – огромная размытая толпа народа, многие с самодельными флагами или плакатами, кто-то размахивает над головой американским флагом. Женщина сонно глядит на фотографа сквозь большие круглые очки. Она клонится вправо, как будто прислонясь к тому, кто почти не попал в кадр: видно только плечо. Слева от нее сидит длинноволосая женщина в военной куртке и угрожающе смотрит в кадр поверх серебристых очков-авиаторов.

Заголовок меняется на “РАДИКАЛКА 1960-х НАПАЛА НА ГУБЕРНАТОРА ПЭКЕРА!”.

И, словно история еще недостаточно пикантна, к концу рабочего дня происходят две вещи, из-за которых интерес к случившемуся взлетает до небес: теперь во всех офисах страны ни о чем другом не говорят. Во-первых, сообщают, что губернатору Пэкеру делают срочную операцию на глазном яблоке. А во-вторых, всплывает снимок из полицейского досье, на котором ясно указано, что в 1968 году женщину арестовали – хотя обвинения не предъявили и виновной так и не признали – за проституцию.

Это уже чересчур. Как уместить все эти невероятные подробности в одном заголовке? “УЧИТЕЛЬНИЦА, БЫВШАЯ РАДИКАЛЬНАЯ ХИППИ И ПРОСТИТУТКА, НАПАЛА НА ГУБЕРНАТОРА ПЭКЕРА И ОСЛЕПИЛА ЕГО!”

В новостях снова и снова крутят фрагмент ролика, в котором щебень

попадает в глаз губернатору. Изображение увеличивают так, что лезут пиксели и зерно: журналисты, не жалея сил, стараются показать зрителям тот самый миг, когда острый кусок щебня влетает Пэкеру в роговицу правого глаза. Аналитики рассуждают о цели этого нападения и о том, представляет ли оно угрозу для демократии. Одни называют женщину террористкой, другие говорят: это лишь демонстрирует, как низко опустился уровень политических дебатов, третьи замечают, мол, губернатор сам напросился, нечего было так рьяно защищать право граждан носить огнестрельное оружие. Проводят аналогии с “Синоптиками” и “Черными пантерами”^[2]. Национальная стрелковая ассоциация выступает с заявлением, что, будь губернатор Пэкер вооружен, нападения бы не случилось. Тем временем журналисты за столами позади телеведущего работают, как и прежде, не быстрее и не медленнее.

Не проходит и сорока пяти минут, как какой-то ушлый копирайтер придумывает фразу “Щебень для Шелдона”, которую охотно подхватывают все телеканалы и вставляют в заставки к репортажам о нападении.

Женщину между тем до суда держат в тюрьме в центре города, так что прокомментировать инцидент она не может: изложение событий складывается без нее. Мнения и предположения вкупе с немногочисленными фактами образуют предысторию, которая закрепляется в памяти публики: женщина – бывшая хиппи, ныне радикальная либералка, которая так сильно ненавидит губернатора, что подкараулила его в парке и напала на него.

Вот только во всей этой теории зияет огромная логическая дыра: прогулка губернатора по парку была чистой импровизацией, о которой заранее не знала даже его охрана. Следовательно, и женщина не могла знать, что он сейчас пройдет мимо, и ждать в засаде. Однако эта неувязка теряется среди новых сенсаций, поэтому никто и никогда толком не пытается в этом разобраться.

2

Сэмюэл Андерсон, преподаватель, сидит в темноте в своем тесном университетском кабинете. Лицо его в свете монитора кажется землистым. Жалюзи на окнах закрыты. Щель под дверью заткнута полотенцем. Мусорную корзину он выставил в коридор, так что ночной уборщик не зайдет и не помешает. Андерсон надел наушники, чтобы никто не услышал, чем он занят.

Он заходит на сайт с игрой. Загружается заставка с привычной

картинкой сплетенных в битве орков и эльфов. Раздается тяжелая музыка: трубы звучат победоносно, воинственно, дерзко. Он вводит пароль, куда более затейливый и сложный, чем пароль к его банковскому счету. В “Мире эльфов” он регистрируется не как Сэмюэл Андерсон, старший преподаватель английского языка и литературы, но как Плут, Эльфийский вор, и чувствует себя при этом так, словно вернулся домой. После долгого рабочего дня вернулся домой к тому, кто рад тебя видеть: вот из-за этого ощущения он заходит на сайт и играет по сорок часов в неделю, готовясь к таким вот рейдам, когда они с безымянными онлайн-друзьями собираются, чтобы убить какое-нибудь чудище.

Сегодня это дракон.

Игроки сидят в подвалах, офисах, тускло освещенных кабинетах, рабочих кабинках и станциях, публичных библиотеках, общагах, гостевых комнатах, они выходят в сеть с ноутбуков на кухонных столах, с компьютеров, которые жарко жужжат, щелкают и трещат, как будто у них внутри, в пластмассовых башенках системных блоков, что-то жарится. Они надевают наушники с микрофоном, регистрируются, материализуются в мире игры, и вот они снова вместе, как каждую среду, пятницу и субботу вечером последние несколько лет. Большинство живет в Чикаго и ближайших окрестностях. Сервер, на котором они играют – один из тысяч по всему миру, – находится в бывшем складе мороженого мяса в районе Саут-Сайд, а чтобы не было задержек и простоев, “Мир эльфов” всегда отправляет игрока на ближайший к нему сервер. Так что все они, можно сказать, соседи, хотя никогда не встречались в реальной жизни.

– Привет, Плут! – приветствует кто-то Сэмюэла, когда он входит в игру.

“Привет”, – пишет он в ответ. Он никогда не разговаривает. Все думают, что у него нет микрофона. Но на самом деле микрофон у него есть, просто он боится, что, если во время очередного сражения он что-нибудь скажет, кто-нибудь из проходящих по коридору коллег услышит, как он говорит о драконах. Так что гильдия о нем толком ничего не знает, кроме того, что он не пропускает ни одного рейда и пишет слова целиком, не пользуясь принятыми в интернете сокращениями. Он действительно пишет “сейчас вернусь” вместо куда более распространенного BRB. Он пишет “я отойду” вместо AFK^[3]. Никто не знает, почему он так упорно использует эти псевдоанахронизмы. Все думают, что “Плут” – сокращение от “Плутон”, на деле же это отсылка к Диккенсу^[4]. Оттого, что никто не понимает намека, Сэмюэл чувствует себя умнее и лучше остальных

игроков: это нужно ему, чтобы компенсировать стыд от того, что он проводит столько времени за игрой, в которую играют двенадцатилетние мальчишки.

Сэмюэл постоянно напоминает себе, что так делают миллионы людей. Во всем мире. Двадцать четыре часа в сутки. Каждую минуту в “Мир эльфов” играет столько народу, сколько живет где-нибудь в Париже, говорит себе время от времени Сэмюэл, когда его разрывает при мысли о том, во что превратилась его жизнь.

Он не рассказывает никому из реального мира о том, что играет в “Мир эльфов”, еще и потому, что его могут спросить, в чем смысл игры. И что тут ответишь? “Мочить драконов, убивать орков”.

А если играешь за орков, тогда смысл игры в том, чтобы мочить драконов и убивать эльфов.

Вот и все, в этом вся соль, основополагающий принцип, фундаментальный инь-ян.

Он начинал эльфом первого уровня и продвинулся до девяностого: на это у него ушло десять месяцев. Все это время у него были приключения. Он путешествовал по миру. Встречался с разными людьми. Отыскивал сокровища. Проходил квесты. Потом, на девяностом уровне, создал гильдию и объединился с новообретенными братьями по гильдии, чтобы убивать драконов, демонов и особенно орков. Он убил кучу орков. А когда он ранит орка в какое-нибудь жизненно важное место – шею, голову или сердце, – на экране загорается надпись “КРИТИЧЕСКИЙ УДАР!” и раздается негромкий звук: это орк кричит от ужаса. Сэмюэл полюбил этот крик. Он балдеет от этого крика. Класс его персонажа – воры, а значит, он ловко лазит по карманам, делает бомбы и умеет становиться невидимым. Он обожает тайком пробраться на территорию, где полным-полно орков, и зарыть на дороге динамит, чтобы орки подорвались, когда там поедут. Потом он обыскивает тела врагов, забирает их оружие, одежду, деньги и оставляет их валяться голыми, побежденными и мертвыми.

Он и сам не знает, почему это так ему нравится.

Сегодня двадцать вооруженных эльфов в доспехах будут сражаться с одним-единственным драконом, потому что это очень большой дракон. С острыми-преострыми зубами. К тому же еще и огнедышащий. И покрытый чешуей, плотной, как лист металла: это нетрудно разглядеть, если видеокарта позволяет. Дракон, похоже, спит. Свернулся калачиком, точно кот, на полу, под которым в пустом кратере вулкана кипит магма. Потолок у логова достаточно высокий – дракон может долго летать, и на втором этапе игры чудище взмывает в воздух, кружит над эльфами и обрушивает

на их головы огненные снаряды. Это будет четвертый раз, когда они попытаются убить дракона: им пока так и не удалось пройти второй уровень. Им не терпится его прикончить, потому что дракон охраняет гору сокровищ, оружия и доспехов в дальнем углу логова: все это очень пригодится эльфам в войне с орками. Сквозь трещины в каменной поверхности сверкают ярко-красные прожилки магмы. Они вырвутся на поверхность на третьем и последнем этапе сражения, том самом этапе, которого эльфы еще не видели, потому что у них никак не получается увернуться от огненных шаров.

– Все посмотрели ролики, которые я прислал? – спрашивает лидер рейда, воин-эльф по имени Павнер. Аватарки нескольких игроков кивнули. Он прислал им обучающие видео, в которых показывают, как убить дракона. Павнер хотел, чтобы они внимательно изучили, как правильно проходить второй уровень: секрет в том, чтобы постоянно двигаться и стараться не сбиваться в кучу.

“ВПЕРЕД!!!” – пишет Секирщик, чей аватар сейчас елозит по скале, словно пытается ее изнасиловать. Несколько эльфов пританцовывают на месте, пока Павнер в очередной раз объясняет им ход боя.

Сэмюэл играет в “Мир эльфов” с рабочего компьютера, потому что тут быстрее интернет, а значит, во время такого рейда, как сегодня, можно нанести врагам на два процента больше урона – разумеется, если не возникнет проблем со скоростью соединения, как бывает, когда студенты записываются на занятия. Он преподает литературу в маленьком университете на северо-западе от Чикаго, в пригороде, где все бесплатные скоростные шоссе расходятся и заканчиваются у гигантских универмагов и бизнес-парков или переходят в трехполосные дороги, забитые машинами родителей, которые отправили детей учиться в университет Сэмюэла.

Детей вроде Лоры Потсдам – веснушчатой блондинки, которая носит майки с логотипами известных брендов и короткие шорты с разнообразными надписями на заднице. Основная специализация Лоры – маркетинг и коммуникации. Не далее как сегодня она заявила на введение в литературу, занятие, которое ведет Сэмюэл, протянула ему списанную от начала до конца работу и тут же поинтересовалась, можно ли уйти.

– Если мы пишем контрольную, – пояснила Лора, – я останусь. А если нет, мне надо уйти.

– Что-то случилось? – спросил Сэмюэл.

– Нет. Просто я не хочу пропустить контрольную, за которую ставят оценку. Мы сегодня будем делать что-то, за что вы поставите оценку?

– Сегодня мы будем обсуждать прочитанное. И эта информация вам наверняка пригодится.

– А оценки за нее выставляют?

– Да, в общем, нет.

– Ну тогда мне нужно уйти.

Они читали “Гамлета”, и Сэмюэл по опыту знал, что сегодня ему придется нелегко. От языка пьесы студенты устанут, все мозги себе сломают. Он задал им написать о логических ошибках в мышлении Гамлета, хотя прекрасно понимал, что это полный бред. Студенты спросят его, почему они должны это делать, зачем им читать эту старую пьесу. “Как нам это пригодится в реальной жизни?” – поинтересуются они.

Ему совершенно не хотелось проводить это занятие.

В такие минуты Сэмюэл вспоминает, как прославился. Когда ему было двадцать четыре года, один из его рассказов напечатали в журнале. Да не в абы каком, а в самом крутом. Там вышла статья о молодых писателях. “Пять по двадцать пять”, называлась она. “Новое поколение великих американских прозаиков”. И в эту пятерку вошел Сэмюэл. Это был его первый опубликованный рассказ. И, как оказалось, последний. Там была его фотография, биография и его великая проза. На следующий день ему позвонило чуть ли не полсотни важных шишек из разных издательств. И все они хотели прочесть другие его произведения. Которых у Сэмюэла не было. Больших боссов это не смутило. С Сэмюэлом заключили договор, заплатили кучу денег за книгу, которую он еще даже не написал. Это было десять лет назад, до того как в экономике все стало мрачно и кризис в банковской сфере и жилищном строительстве практически разрушил мировую финансовую систему. Иногда Сэмюэлу в голову приходит мысль, что его карьера проделала примерно тот же путь, что и глобальная экономика: благополучное и беззаботное лето две тысячи первого теперь казалось нереальным, хотя и приятным сном.

“ВПЕРЕЕЕЕЕЕЕД!!!” – снова пишет Секирщик. Он перестал ерзать по стене пещеры и теперь подпрыгивает на месте. Сэмюэл думает: девятый класс, синдром гиперактивности, жуткие прыщи, рано или поздно вполне может оказаться у меня на занятии по введению в литературу.

– Так что вы думаете о “Гамлете”? – спросил он сегодня студентов, когда Лора ушла.

Стонут. Хмурятся. Парень на задней парте поднимает руки, чтобы все видели, и опускает длинные и мясистые большие пальцы.

– Идиотизм, – говорит он.

– Бредятина, – добавляет другой.

– Слишком длинно, – вставляет третий.

– И это еще слабо сказано.

Сэмюэл задает студентам вопросы, которые, как он надеется, вызовут какое-никакое обсуждение: как вам кажется, призрак был на самом деле или это галлюцинация Гамлета? Как вы считаете, почему после смерти мужа Гертруда так быстро вышла замуж? Как вы думаете, Клавдий действительно убийца или Гамлет просто его ненавидит? Ну и так далее. Ничего. Никакой реакции. Тупо глазают на свои коленки или в экран компьютера. Они всегда таращатся в компьютер. Над компьютерами Сэмюэл не властен, он не может их выключить. Компьютеры есть за каждым столом в каждом классе, и школа хвастается этим во всех рекламных рассылках родителям: “Наш университет полностью компьютеризирован! Мы готовим студентов к жизни в XXI веке!” А вот Сэмюэлу кажется, что университет учит их тихо сидеть и притворяться, будто работают. Напускать на себя сосредоточенный вид, хотя на самом деле они проверяют счет спортивных соревнований, электронную почту, смотрят видео в интернете или просто тупят. Если подумать, это самое важное, чему их может научить университет, и этот урок наверняка пригодится им в работе: как тихо сидеть за столом, лазить по интернету и не сойти с ума.

– Кто из вас прочитал пьесу целиком? – спрашивает Сэмюэл, и из двадцати пяти человек, присутствующих в классе, лишь четверо поднимают руки. Причем медленно, неуверенно, смущаясь, что выполнили заданное. Остальные, похоже, его осуждают: смотрят презрительно, сидят развалясь и всем своим видом демонстрируют, до чего же им скучно. Как будто это его вина в том, что им наплевать. Не задай он им такую глупость, им не пришлось бы ее игнорировать.

– Вперед, – говорит Павнер и с огромным топором в руках мчится к дракону. Остальные с дикими криками следуют за ним, примерно как в фильмах о средневековых войнах.

Тут надо сказать, что Павнер – гений “Мира эльфов”. И гуру видеоигр. Он управляет шестерыми из двенадцати эльфов, которые участвуют в сегодняшнем рейде. У него есть целая деревня персонажей, из которых он может выбирать, смешивать, выставлять бойцов в зависимости от того, какой бой предстоит. В этой деревне существует собственная независимая микроэкономика. Павнер умеет одновременно играть несколькими персонажами с помощью суперпродвинутой технологии под названием “мультибокс”: для этого нужны несколько подключенных к общей сети компьютеров, связанных с центральным электронным мозгом, который

ими управляет. Павнер же всем руководит с главного компьютера с помощью запрограммированных маневров на клавиатуре и игровой мыши с пятнадцатью кнопками. Он знает все, что только можно знать об играх. Он вобрал в себя секреты “Мира эльфов”, как дерево рано или поздно срастается со стоящей рядом оградой. Он истребляет орков, то и дело сопровождая смертельный удар своей коронной фразой: “Я тебя запавнил, нуб!”

На первом этапе боя им в основном приходится следить, как бы не угодить под хвост, которым дракон размахивает и бьет по каменному полу. Несколько минут все дружно рубят чудовище и уворачиваются от хвоста: наконец жизни у дракона остается шестьдесят процентов, и он взлетает.

– Второй этап, – негромко предупреждает Павнер, и его голос в сети звучит как у робота. – Сейчас он дыхнет огнем. Не стойте на пути.

На их отряд обрушиваются огненные шары. Многим игрокам с трудом удается одновременно и уворачиваться от огня, и продолжать рубить дракона, но все шестеро персонажей Павнера справляются с легкостью – отодвигаются на пару кликов влево или вправо, так что огонь проходит в нескольких пикселях от них.

Сэмюэл тоже старается уворачиваться, но в основном голова его занята опросом, который он сегодня проводил в классе. После того как Лора ушла и оказалось, что никто из студентов не прочел заданное, ему захотелось их наказать. Он велел им написать по первому акту “Гамлета” сочинение на двести пятьдесят слов. Студенты застонали. Он не собирался проводить контрольную, но поведение Лоры вызвало у него желание сделать в ответ какую-нибудь гадость. Курс, который читал Сэмюэл, назывался “Введение в литературу”, но Лору заботила не столько литература, сколько оценки. Ее интересовало не содержание курса, а валюта. Это напомнило Сэмюэлу одного брокера с Уолл-стрит, который то покупает фьючерсы на кофе, то ипотечные векселя. Не так важно, чем торгуешь, как то, насколько это ценится. Вот и Лора думала примерно так – только о нижней строчке, об отметке, единственном, что для нее важно.

Сэмюэл ставил студентам оценки, да еще и красной ручкой. Он учил их, чем “класть” отличается от “положить”, когда употреблять “какой”, а когда “который”, чем “аффект” отличается от “эффекта”, а “затем” от “за тем”. И все такое прочее. А потом как-то заправлял машину бензином на бензоколонке возле кампуса – она называется “Мимолетто”, – посмотрел на вывеску и подумал: “А смысл?”

Нет, правда, зачем им сдался этот “Гамлет”?

Сэмюэл провел контрольную и закончил занятие на полчаса раньше. Он

устал. Стоя перед равнодушным классом, он чувствовал себя точь-в-точь как Гамлет в первом монологе: так, будто его не существует. Ему тоже хотелось исчезнуть. Чтобы его тугая плоть могла испариться^[5]. Последнее время такое случалось часто: Сэмюэл чувствовал себя меньше собственного тела, как будто душа его усохла: он всегда уступал подлокотники кресел в самолетах и дорогу на тротуаре.

Такое ощущение возникает у него каждый раз после того, как он ищет в интернете фото Бетани: это слишком очевидно, чтобы не замечать. Он всегда вспоминает о ней, когда делает что-то, за что потом себя винит, а в последнее время он постоянно делает что-то такое, и вся его жизнь в некотором смысле покрылась непробиваемым слоем чувства вины. Бетани, его самая большая любовь и потеря, по-прежнему, насколько известно Сэмюэлу, живет в Нью-Йорке. Скрипачка, выступает на самых знаменитых концертных площадках, записывает сольные альбомы, гастролирует по всему миру. Погуглить ее – все равно что вытащить из души огромную пробку. Сэмюэл и сам не знает, зачем так издевается над собой, раз в несколько месяцев до глубокой ночи рассматривает фотографии, на которых Бетани в вечерних платьях, со скрипкой в руке, с охапками роз, в окружении поклонников блистает в Париже, Мельбурне, Москве, Лондоне.

Что бы она обо всем этом сказала? Разумеется, расстроилась бы. Решила бы, что Сэмюэл так и не повзрослел и по-прежнему, как ребенок, играет в темноте на компьютере. Что он все тот же мальчишка, каким был, когда они познакомились. Пожалуй, Сэмюэл относится к Бетани так, как другие к Богу. “Осудит ли меня Господь?” Вот и Сэмюэл думает так же, только вместо Бога у него другое великое несуществующее нечто: Бетани. Иногда, если Сэмюэл слишком много думает об этом, он словно падает в яму, и ему кажется, что он рассматривает себя со стороны, отступив на шаг: не живет, а оценивает жизнь, которая по какому-то необъяснимому, злополучному стечению обстоятельств оказывается его собственной.

Ругань собратьев по гильдии возвращает его к игре. Эльфы стремительно гибнут. Наверху ревет дракон, на которого их отряд обрушил град ударов: в чудовище летят стрелы, пули из мушкетов и похожие на молнию снаряды, вырывающиеся из ладоней колдунов.

– Осторожно, Плут, тебя сейчас поджарят, – предупреждает Павнер.

Сэмюэл понимает, что ему вот-вот крышка, и уворачивается. Огненный шар падает рядом с ним. Шкала жизни его персонажа опускается почти до нуля.

“Спасибо”, – пишет Сэмюэл.

Слава богу, дракон приземляется, и начинается третий этап. От

двадцати нападавших остается лишь горстка: Сэмюэл, Секирщик, Лекарь отряда и четверо из шести павнеровских персонажей. До третьего этапа они еще ни разу не доходили. Это их лучший результат в бою с драконом.

Третий этап во многом похож на первый, только дракон теперь мечется по пещере, вскрывает под полом каналы, по которым течет магма, и сбивает с потолка огромные сталактиты. На этом обычно заканчивается большинство битв с монстрами в “Мире эльфов”. Тут требуется не столько мастерство, сколько способность запомнить порядок действий и выполнить несколько дел одновременно: уворачиваться от брызг лавы из-под пола и от камней, валящихся с потолка, стараться не попасть дракону под хвост, при этом гоняться за чудищем по пещере и колоть его кинжалом, используя сложную, четко выверенную тактику десяти движений, которая позволяет нанести дракону максимальный урон за секунду, чтобы шкала жизни дракона опустилась до нуля, прежде чем его встроенный таймер, запрограммированный на десять минут, выключится, и дракон “взбесится”, то есть примется убивать всех подряд.

В пылу боя Сэмюэла охватывает азарт. Но едва все заканчивается, даже если они победили, как его охватывает жгучая досада, потому что сокровища, которые им удалось раздобыть, ненастоящие, просто цифровые данные, а захваченное оружие и доспехи сгодятся лишь до поры до времени: как только игроки научатся побеждать дракона, разработчики придумают какое-нибудь новое чудище, одолеть которое станет еще сложнее, и оно будет охранять еще большие сокровища – в общем, бесконечный цикл. По-настоящему выиграть невозможно. Битве этой не видно конца. Иногда Сэмюэла поражает очевидная бессмысленность игры, вот как сейчас, когда он смотрит, как Лекарь борется за жизнь Павнера, шкала жизни дракона медленно ползет к нулю, Павнер кричит: “Да-да-да-да!”, они вот-вот одержат головокружительную победу, но даже в такую минуту Сэмюэл не может отделаться от мысли, что на самом деле несколько одиночек стучат по клавишам в темноте, посылая сигналы на компьютерный сервер в Большом Чикаго, который отправляет обратно клубки данных. Все остальное – дракон, его логово, прожилки магмы, эльфы, их мечи и магия – лишь декорации, маскарад.

“Что я здесь делаю?” – думает Сэмюэл, когда дракон пришибает его хвостом, Секирщика пронзает падающий сталактит, а Лекарь сгорает дотла в расщелине с лавой, так что из эльфов остается лишь Павнер, и они победят, только если ему удастся выжить. Гильдия ликует в наушниках, шкала жизни дракона опускается до четырех процентов, трех процентов, двух процентов...

И даже сейчас, в шаге от победы, Сэмюэл спрашивает себя: *зачем мне все это нужно?*

Что я тут делаю?

Что бы сказала Бетани?

3

Павнер отплясывает в гостиной, как футболист после тачдауна в зачетной зоне. Больше всего ему нравится описывать кулаками круги перед собой – кажется, это называется “сбивать масло”.

“Павнер рулит!” – кричит кто-то. Эльфы устроили бы ему бурную овацию, если бы их всех не поубивали. Из колонок его домашнего кинотеатра доносятся крики одобрения. Все шесть компьютерных экранов сейчас показывают под разными углами убитого дракона.

Павнер сбивает масло.

Он энергично вскидывает кулак, как будто заводит газонокосилку.

И делает похабный жест, как будто шлепает кого-то (например, по заднице).

Духи эльфов возвращаются в тела, и его друзья один за другим поднимаются с пола пещеры, воскреснув, как это ведется в видеоиграх, где, умирая, ты никогда не умираешь по-настоящему. Павнер собирает добычу в дальнем углу пещеры и раздает собратьям по гильдии – мечи, секиры, латы, волшебные кольца. Он чувствует себя при этом щедрым и великодушным, как чувак в костюме Санты на Рождество.

Наконец остальные игроки мало-помалу отключаются. Павнер прощается с каждым из собратьев по гильдии, поздравляет с великолепной победой и старается уговорить посидеть в сети еще немного, но они жалуются, что уже поздно, утром на работу, так что он в конце концов соглашается: действительно, пора спать. Павнер выходит из сети, выключает все компьютеры, ныряет в кровать, закрывает глаза, но тут в голове у него вспыхивают искры, и, точно галлюцинация, перед мысленным взором нескончаемым потоком несутся эльфы, орки, драконы, так что он тщетно пытается заснуть после очередного рубилова в “Мире эльфов”.

Он ведь сегодня вообще не собирался играть. И уж точно не думал играть так долго. Сегодня должен был быть первый день его новой диеты. Он поклялся, что с сегодняшнего дня начнет правильно питаться: фрукты, овощи, постные белки, никаких трансжиров и полуфабрикатов, только умеренные порции, тщательно сбалансированная пища высокой питательной ценности, вот прямо сегодня. И он начал новую жизнь с

самого утра, когда на завтрак расколол бразильский орех, прожевал его и проглотил, потому что эти орехи были в списке “Пяти самых полезных продуктов, которые нужно есть чаще”, если верить руководству по здоровому питанию, которое он купил, готовясь к сегодняшнему дню, а еще купил продолжение книги, планы питания для этой диеты и мобильные приложения: все они отстаивали пользу рациона, состоящего преимущественно из животных белков и орехов – диеты охотника-собирателя. И он думал обо всех этих необходимых для сердца хороших жирах, антиоксидантах и микронутриентах в составе бразильского ореха, которые сейчас текут по его телу и приносят пользу – например, убивают свободные радикалы, снижают уровень холестерина и придают сил (хотелось бы надеяться), потому что *у него еще масса дел*.

Кухня срочно нуждалась в ремонте: ламинат столешницы потрескался, вздыбился по краям, посудомойка вышла из строя прошлой весной, измельчитель отходов не работает уже около года, три из четырех конфорок не горят, а холодильник как с ума сошел: холодильная камера то и дело вырубалась, из-за чего хот-доги и колбаса протухали, скисало молоко, морозилка же, наоборот, как с цепи сорвалась и превращала полуфабрикаты в кусок вечной мерзлоты. Из шкафчиков надо выкинуть пожелтевшие от времени наборы пластиковых контейнеров, забытые мешочки сухофруктов, орехов, чипсов и целый арсенал круглых баночек с травами и специями, геологические пласты которых сформировались в результате его прежних попыток сесть на диету: каждый раз он покупал новые наборы трав и специй, потому что за время, прошедшее с последней серьезной попытки, старые травы и специи успевали слежаться в камень, так что использовать их, разумеется, было уже нельзя.

Он знал, что нужно распахнуть шкафчики, выбросить из них всё и посмотреть, нет ли там колоний бактерий или жучков, обитающих в самых дальних и темных углах, но ему совершенно не хотелось открывать шкафчики и искать жучков: он боялся, что именно их и найдет. Ведь тогда придется завесить все полиэтиленом, провести дезинсекцию и разобрать комнаты, чтобы расчистить место под “склад”, куда он поставит все необходимое (новую кухонную мебель и паркетные доски, новую бытовую технику и инструменты, всевозможные молотки, пилы, ящики с гвоздями, шурупы, поливинилхлоридные трубы и прочую фигню, необходимую для ремонта кухни), хотя, оглядев дом, понимал, как трудно будет это сделать: в гостиной, например, ничего складывать нельзя, потому что к нему могут заглянуть на огонек нежданные гости (то бишь Лиза), и залежи инструментов едва ли покажутся им уютными или романтичными, то же

самое в спальне, там ничего нельзя хранить по той же причине, хотя, конечно, Лиза давненько к нему не заезжала, в основном потому, что считала необходимым “соблюдать дистанцию” на этом новом этапе их отношений, впрочем, это решение ничуть не мешало ей то и дело просить отвезти ее то на работу, то в магазины, куда ей надо по делам, ну и что, что она с ним развелась, это же не значит, что он бросит ее на произвол судьбы без прав и машины: большинство мужчин именно так бы и поступило, но его-то *не так воспитывали*.

Так что единственным местом, где можно хранить останки старой кухни, оставалась гостевая спальня, но, к сожалению, и туда тоже ничего нельзя положить, потому что комната и так ломилась от барахла, выкинуть которое не поднималась рука – коробки со школьными наградами, значками, кубками, медалями, похвальными грамотами и под всем этим где-то черный кожаный блокнот с первыми страницами романа, который он пообещал себе вот-вот продолжить писать, – так что придется разобрать все эти коробки и составить опись содержимого и тогда уже расчистить место для хранения на время ремонта, необходимого, чтобы наконец начать питаться правильно.

Ну и бюджет тоже не резиновый. На какие деньги покупать все эти новые полезные продукты, если он и так уже по уши в долгах, поскольку приходится платить за несколько аккаунтов в “Мире эльфов” и за новый смартфон. Со стороны-то, конечно, виднее, он и сам понимает, что смартфон за четыреста долларов с тарифным планом, куда входит неограниченное количество СМС и трафика, – расточительство для человека, которому по работе не нужно постоянно быть на связи, да и эсэмэски ему после покупки приходят в основном от изготовителя этого самого смартфона – тот спрашивает, доволен ли он приобретением, рекламирует разные планы страхования, предлагает попробовать другие фирменные программы и оборудование, – да несколько эсэмэсок от Лизы о том, что ее неожиданно вызвали на работу, в отдел “Ланком” в магазине, или она уходит из отдела “Ланком” пораньше, или, наоборот, задержится в отделе “Ланком”, или сегодня ее не нужно забирать, потому что ее пригласил “куда-нибудь сходить один коллега”, после таких сообщений его вообще колотило от ревности, бесила их двусмысленность, он сворачивался калачиком на диване, грыз и без того ломкие ногти и гадал, где заканчиваются границы Лизиной верности. Разумеется, он уже не вправе ждать от нее моногамии, и все же, хотя он и сознавал, что развод придал определенную законченность их отношениям, знал он и то, что у нее никого нет и он по-прежнему играет в ее жизни серьезную роль, и в

глубине души надеялся, что, раз он любезен, полезен и регулярно напоминает Лизе о себе, она никогда по-настоящему от него не уйдет, а следовательно, без смартфона никак нельзя.

А для новой диеты совершенно необходимы программы для смартфона, подсказывающие, как правильно питаться и делать упражнения: отмечаешь, сколько и чего съел и выпил за день, программа все это анализирует и отправляет тебе отчет по калориям и питательной ценности. Вот, например, он записал, что обычно съедает за день, чтобы принять этот список за точку отсчета и сравнивать с ним будущие свои успехи в правильном питании, и оказалось, что три эспрессо (с сахаром) на завтрак в сумме составили сто калорий, латте и брауни за ланчем – еще четыреста, так что у него осталось полторы тысячи калорий из дневного максимума в две тысячи, а значит, на ужин можно себе позволить две, а то и три упаковки замороженных фахитос с лососем, в каждой пачке нарезанные ровными полосками овощи и пакетик соленой красной приправы под названием “юго-западные специи”, к которой он обычно добавляет примерно столовую ложку соли (приложение в смартфоне отмечает, что в соли ноль калорий, и он считает это огромной победой с точки зрения вкуса), и быстро сжевать эти три упаковки мороженого лосося, стараясь не обращать внимание на то, что они разогрелись в микроволновке настолько неравномерно, что кусочки перца обжигают язык, а крупные ломти рыбы внутри ледяные и распадаются на волокна, точно сырая древесная кора, на вкус – жуткая гадость, но он все равно будет забивать холодильник упаковками фахитос с лососем, и не только потому, что на коробке написано “Минимальная жирность!”, но и потому, что в “Сэвен-Илевен” на них всегда отличная скидка, упаковка в десять коробок за пять долларов (максимум можно купить десять).

В общем, смартфон проанализировал потребленные им питательные вещества и микронутриенты, сравнил их с дозировками жизненно важных витаминов, кислот, жиров и прочих веществ, рекомендованными Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, и показал результат в виде графика, который должен был быть зеленым, если он все сделал правильно, но вышел красным, как аварийная кнопка, потому что в его рационе отчаянно не хватало продуктов, сколько-нибудь полезных для здоровья основных органов. Да, действительно, нужно признать, в последнее время его глазные яблоки и кончики волос приобрели пугающий желтоватый оттенок, ногти стали более тонкими и ломкими, так что, когда он принимался их грызть, неожиданно раскалывались пополам чуть ли не до основания, а недавно и вовсе перестали расти, как и волосы, которые местами поредели или вились на концах, а на запястье, там, где носят часы, появилась сыпь. Так что, хотя обычно он не добирал до ежедневного максимума в две тысячи калорий, это были явно не те калории, что содержатся в свежих органических цельных продуктах и необходимы для “правильного питания”: для него это немисливо дорого, такие продукты он не мог себе позволить, учитывая, что каждый месяц ему приходилось выплачивать долги по кредитной карте за смартфон и тарифный план. Он смирился с этим противоречием, с этой насмешкой судьбы: он платил за аппарат, который учил его, как правильно питаться, и из-за этого у него не было денег на правильное питание, к тому же за все это он расплатился кредитной картой, и долги по ней скопились астрономические, так что возможность когда-либо с ними рассчитаться медленно уплывала, точно дрейфующий континент. Росли и платежи по ипотеке, потому что несколько лет назад, еще до того, как их город (и весь американский рынок недвижимости в целом) оказался в глубокой жопе, риелтор убедил его рефинансировать кредит с помощью какой-то “отрицательной амортизации”. Тогда эти свалившиеся как с неба деньги пришлись очень кстати: он смог позволить себе новый телевизор высокого разрешения, купил несколько крутых игровых видеоприставок, дорогую компьютерную рабочую станцию для дома, но теперь выплаты по кредиту проделали в его бюджете огромную брешь, поскольку процентные ставки росли как снежный ком, а вот стоимость его дома, по последней оценке, упала до такого мизера, как будто дом чудом уцелел после пожара в подпольной лаборатории по производству метамфетамина.

Все это вкупе с прочими материальными трудностями ввергало его в уныние, нервировало так сильно, что сердце чудило, подпрыгивало и

трепетало, как будто кто-то ощупывал его грудную клетку изнутри. “Здоровье потерял – все потерял”, – говаривала Лиза: именно этим он и оправдывал то, что вкладывает деньги в вещи, которые помогали справиться со стрессом, то есть в навороченную технику и видеоигры.

К ним-то он сегодня и обратился. Прежде чем взяться за дела, без которых невозможно начать новую диету, он решил разобраться с другими, теми, что ждали его в “Мире эльфов”: двадцать заданий, которые он выполнял каждый день, благодаря чему заработал в игре разные клевые штуки (например, грифонов, верхом на которых можно было летать, секиры огромного размера, изящные сюртуки и панталоны, в которых щеголял его аватар). Эти квесты – обычно нужно было убить какого-нибудь не самого опасного врага, доставить известие на вражескую территорию или отыскать какую-нибудь важную утерянную штуку – необходимо было проходить каждый день по сорок дней кряду, чтобы получить награду *в ближайшее теоретически возможное время*, что само по себе было наградой, потому что всякий раз, как ему это удавалось, вспыхивали салюты, звучали фанфары, его имя попадало в список лучших игроков в “Мире эльфов”, и все в его списке контактов хвалили и поздравляли его. Все равно что быть женихом на свадьбе, только в игре. А поскольку персонаж у Павнера был не один, а столько, что хватило бы на целую софтбольную команду, то, пройдя двадцать ежедневных квестов для главного героя, он повторял то же для дополнительных персонажей, так что каждый день ему надо было выполнять порядка двух сотен заданий, а то и больше, в зависимости от того, сколько “альтов” он хотел прокачать. Этот процесс отнимал у него до пяти часов в день. Большинство людей играло максимум по пять часов в день, ему же требовалось минимум пять часов, чтобы только подготовиться к *настоящей игре*, так сказать, размяться – или, если угодно, сперва разобраться с делами, а потом уже развлекаться.

Так что, когда он наконец закончил всю эту тягомотину с квестами, уже стемнело, и у него в голове стоял туман: он ничего не соображал, будто в мозгу образовалась пробка. После пяти часов рутинных квестов у него не осталось ни сил, ни мыслей, ни желания для более сложных дел – например, сходить в магазин, приготовить еду или начать ремонт на кухне. Он остался за компьютером, перекусил замороженным буррито, выпил большую кружку крепкого латте и продолжил игру.

Он играл так долго, что теперь, когда он пытается заснуть, перед глазами вспыхивают особенно яркие искры, так что едва ли в ближайшее время его сморит сон, и единственное, что может сделать Павнер, –

выбраться из кровати, снова включить компьютеры, проверить серверы на Западном побережье и пройти рейд еще раз. Несколько часов спустя он играет с австралийскими серверами и снова побеждает дракона. К четверем утра в сеть выходят крутые японские геймеры, а это всегда удача, и вместе с этими ребятами он убивает дракона еще пару раз, так что под конец уже не испытывает никакой радости от победы: подумаешь, убил дракона, обычное дело, скучища. К тому времени, когда просыпается Индия, искры перед глазами расплываются в яркие пятна, он бросает игру, все как в тумане, как будто его лоб где-то в метре от глаз, и он решает, что перед сном неплохо бы расслабиться, ставит один из тех фильмов, которые видел миллион раз (пусть себе идет, он надеется разгрузить голову: фишка в том, что это кино он знает почти наизусть, так что можно тупить, никаких умственных усилий тут не требуется), один из коллекции апокалиптических триллеров, где планета гибнет по ряду самых разных причин – от падения метеоритов, атаки инопланетян или же от того, что под землей вдруг резко нагревается магма, – и сознание его цепенеет в первые же пятнадцать минут: когда герой вдруг узнает тайну, которую хранило правительство, и понимает, что вот-вот случится какое-то большое дерьмо, Павнер отключается, и перед его глазами проносится весь день, он смутно вспоминает, что вроде собирался начать правильно питаться, и, наверное, потому что ему совестно, что он так этого и не сделал, он раскалывает еще один бразильский орех, решив, что диету лучше начинать постепенно, а бразильский орех – своего рода мост между тем, как он живет теперь, и новой жизнью, в которой он наконец начнет питаться правильно, Павнер расслабляется, тупо, как рыба, тарашится в экран телевизора, глотает плотную мякоть ореха, смотрит, как уничтожают планету, и с удовольствием представляет, как на Землю падает камень размером с Калифорнию, в мгновение ока убивает всех и вся, скелеты плавают, конец всему живому, он поднимается с дивана, уже светает, странно, до чего быстро пролетела ночь, думает он, ковыляет в спальню и видит себя в зеркале – с проседью в светлых волосах, с красными от усталости глазами, – ложится в постель и не столько “засыпает”, сколько проваливается в густую тьму, которая обступает его внезапно, как после удара по голове. В этом похожем на кому состоянии он цепляется за воспоминание о том, как танцевал в гостиной.

Он хочет запомнить ту безбрежную радость, что испытывал в этот миг. Он впервые победил дракона. Все друзья из Чикаго его поздравляли.

Однако чувство, которое заставило его пуститься в пляс, никак не приходит. Павнер пытается представить, как танцует, но ему кажется, что

все это было не с ним – как будто он давным-давно видел это по телевизору. Сейчас ему уже не верится, что он действительно сбивал масло, заводил газонокосилку и шлепал кого-то по заднице.

Завтра, обещает он себе.

Завтра я сяду на диету – по-настоящему, всерьез. Ну а сегодня была разминка, тренировка, фальстарт перед первым днем новой диеты, который вот-вот наступит. Совсем скоро в один прекрасный день он проснется пораньше, приготовит полезный завтрак и примется за кухню: разберет шкафчики, купит продукты, а к компьютеру даже не подойдет, и наконец-то весь день будет совершать только правильные поступки.

Он клянется. Обещает. Не сегодня-завтра он начнет новую жизнь.

4

То есть вы считаете, что это плагиат? – спрашивает Лора Потсдам, студентка второго курса университета, которая списывает систематически, постоянно. – Вы думаете, что я все списала? Это я-то?

Сэмюэл кивает. Он притворяется, будто вся эта ситуация его огорчает, как родитель, которому надо наказать ребенка. Всем своим видом он старается показать, будто ему это куда неприятнее, чем ей, но на самом деле это вовсе не так. В глубине души ему нравится валить студентов. Своего рода месть за то, что приходится их учить.

– Я вам раз и навсегда объясняю: НИЧЕГО Я НЕ СПИСЫВАЛА, – говорит Лора Потсдам о сочинении, которое списано практически полностью.

Сэмюэл знает об этом благодаря компьютеру: университет подписан на уникальный пакет программ, те анализируют студенческие сочинения и сравнивают их с данными, которые хранятся в обширном архиве работ, когда-либо написанных студентами и проанализированных программой. Мозг программы в буквальном смысле состоит из миллионов слов, написанных старшеклассниками и студентами колледжей, и Сэмюэл порой шутит с коллегами, что, если бы программа достигла того уровня искусственного интеллекта сознания, который описывают в научной фантастике, она немедленно отправилась бы на весенние каникулы в Канкун.

Программа проанализировала сочинение Лоры, и оказалось, что это на девяносто девять процентов плагиат: списано все, кроме подписи “Лора Потсдам”.

Plurium interrogationum (или “множественный вопрос”)

– Значит, в программе какой-то сбой, – не сдаётся Лора, студентка второго курса из Шаумбурга, штат Иллинойс, специализация – маркетинг и коммуникации, рост сто пятьдесят семь-сто шестьдесят сантиметров, светло-русые волосы в зеленоватом полумраке кабинета Сэмюэла кажутся бледно-желтыми, как линованные страницы блокнота, тонкая белая футболка с рисунком, похожим на рекламу вечеринки, которая состоялась еще до того, как Лора появилась на свет. – Интересно, почему она глючит. И часто она так ошибается?

– То есть вы хотите сказать, что это ошибка?

– Ну не знаю. Странно как-то. С чего программа выдала такой результат?

Волосы у Лоры такие всклокоченные, словно она мылась в аэродинамической трубе. На ней старенькие фланелевые шортики размером с фильтр для кофеварки, и это невозможно не заметить. Как и загорелые ноги. Лора в тапочках, пушистых, как маппеты, светло-зеленых, как капуста, с бурым слоем грязи вокруг подошвы, оттого что в них слишком часто ходят по улице. Сэмюэла вдруг осеняет, что она в буквальном смысле заявила к нему в пижаме.

– Программа не ошибается, – отвечает он.

– То есть никогда? Никогда-преникогда не ошибается? Вы хотите сказать, что она идеальна и непогрешима?

Стены добросовестно увешаны разнообразными дипломами Сэмюэла, стеллажи забиты книгами с длинными названиями. В комнате царит полумрак – словом, типичный преподавательский кабинет, не придерешься. Лора сидит в кожаном кресле и легонько дрыгает ногой в тапочке. К двери прикреплены карикатуры из “Нью-Йоркера”. На подоконнике маленькое растение в горшке, которое Сэмюэл поливает из полулитрового пульверизатора. Дырокол. Настольный календарь. Кружка с Шекспиром. Набор красивых ручек. Вешалка с твидовым пиджаком – на всякий случай. Сэмюэл сидит в эргономическом кресле. Его немного порадовало, что Лора правильно употребила слово “непогрешимый”. Воздух в кабинете затхлый – то ли от Лоры так пахнет со сна, то ли это не выветрился его собственный запах после того, как он вчера до ночи играл в “Мир эльфов”.

– Если верить программе, – сообщает Сэмюэл, сверившись с отчетом по сочинению Лоры, – эта работа с сайта FreeTermPapers.com.

– Ну вот видите! В этом-то все дело! Я о нем впервые слышу.

Сэмюэл из тех молодых преподавателей, кто одевается “клево”, как сказали бы студенты. Рубашки навыпуск, голубые джинсы, модные

кроссовки. Для одних это доказательство хорошего вкуса, для других – свидетельство внутренней слабости, неуверенности и отчаяния. Иногда на занятиях он использует бранные словечки, чтобы не выглядеть старым занудой. На Лоре фланелевые шорты в красную, черную и темно-синюю клетку. Футболка тонюсенькая, линиялая, хотя непонятно, то ли она полиняла от частой носки, то ли ее специально так сделали.

– Не стану же я копировать чью-то дурацкую работу из интернета. Еще чего не хватало, – говорит Лора.

– То есть вы хотите сказать, что это совпадение?

– Я не знаю, почему программа выдала такой результат. Как-то странно?

В конце предложений Лора время от времени повышает голос, так что даже утверждения звучат как вопросы. Сэмюэл отмечает, что поневоле перенимает ее акцент. Еще он отмечает, что ей отменно удастся смотреть ему прямо в глаза и спокойно врать, сохраняя непринужденную позу. Лора не делает ни единого произвольного жеста, которые выдают лжеца: она дышит ровно, сидит спокойно, не ерзает в кресле, не сводит глаз с Сэмюэла, вместо того чтобы смотреть чуть вверх и вправо – признак, свидетельствующий о том, что активизировалась творческая доля мозга, – она не хлопчет лицом, демонстрируя эмоции: чувства мелькают по ее лицу естественно и уместно, не то что у лжеца, который изо всех сил напрягает мышцы щек, складывая в нужную гримасу.

– Программа определила, что работа, о которой идет речь, была сдана три года назад в средней школе Шаумбурга, – сообщает Сэмюэл и умолкает, чтобы до Лоры дошел смысл сказанного. – Вроде бы это ваш родной город? Вы же из Шаумбурга?

Petitio principii (или “предвосхищение основания”)

– Знаете что! – возмущается Лора и вытягивает ногу перед собой, что может быть первым внешним физическим признаком стресса. Шорты у нее такие коротенькие, что, когда девушка ерзает в кресле, кожа скрипит, и ягодичы с чмоканьем отлипают от сиденья. – Я не хотела ничего говорить, но вообще-то мне даже обидно. Из-за этого всего?

– Верю.

– Да нууу? Вы спрашиваете меня, не списала ли я? А вам не кажется, что это грубо?

На футболке Лоры (скорее всего, думает Сэмюэл, ее обесцветили искусственно, с помощью краски, химикатов, а может, ультрафиолетового излучения или жестких абразивов) винтажным объемным шрифтом

написано “Вечеринка в Лагуна-Бич, лето 1990”; посередине красуется графическая картинка с океаном и радугой.

– Нельзя обвинять людей в том, что они списали, – продолжает Лора. – Не надо вешать ярлыки. Ученые проводили исследования? Чем более часто обвиняешь кого-то во лжи, тем более часто он врет.

Правильнее было бы “чем чаще”, думает Сэмюэл.

– И к тому же нельзя наказывать человека за то, что он списал, – не понимает Лора, – потому что тогда ему опять придется списывать. Чтобы сдать экзамен? Это какой-то, – ее палец описывает в воздухе петлю, – порочный круг?

Лора Потсдам систематически приходит на занятие либо на три минуты раньше, либо на две минуты позже. Садится обычно сзади, в дальнем левом углу класса. В течение семестра разные парни медленно, точно моллюски, перебирались с насиженных мест поближе к Лоре, из правой части аудитории в левую. Большинство сидело рядом с ней две-три недели, а потом вдруг резко перемещалось в противоположный конец класса. Словно заряженные частицы, которые сталкиваются и отскакивают друг от друга в импровизированной психосексуальной мелодраме, которая, как догадался Сэмюэл, разыгрывалась во внеучебное время.

– Вы не писали это сочинение, – заявил Сэмюэл. – Вы купили его в школе и сдали повторно у меня на занятии. И это единственное, что я сегодня намерен с вами обсуждать.

Лора вытягивает ноги. Ее кожа с чмоканьем отлипает от блестящего кресла.

Призыв к милосердию

– Это несправедливо, – говорит Лора. То, как легко и свободно она выпрямила ноги, свидетельствует либо о юношеской гибкости, либо о серьезных занятиях йогой, либо о том и другом вместе. – Вы же сами нам задали сочинение по “Гамлету”. Я его вам и сдала.

– Я задал написать сочинение по “Гамлету”.

– Откуда мне было знать? Я не виновата, что у вас такие странные порядки.

– Это не мои порядки. Это обычные школьные правила.

– Неправда. Я вот в школе сдала это сочинение и получила “отлично”.

– Очень жаль.

– Я не знала, что так нельзя. Откуда мне было знать, что так нельзя? Мне никто никогда не говорил, что так нельзя.

– Все вы знали. Вы же мне солгали. Если бы вы не знали, что так

нельзя, то не стали бы мне врать.

– Да я вечно вру. Всегда и обо всем. Что тут поделывать.

– Постараться не врать.

– Нельзя же меня два раза наказывать за одну и ту же работу. Если уж в школе меня наказали за то, что я списала, то сейчас точно нельзя. За одно и то же дважды не наказывают?

– Вы же вроде бы говорили, что в школе получили “отлично”.

– Ничего такого я не говорила.

– Нет, говорили. Я совершенно уверен, что именно это вы и сказали.

– Я просто предположила.

– Неправда. Я вам не верю.

– Уж мне-то лучше знать, как все было.

– Вы снова врете? Вы пытаетесь меня обмануть?

– Нет.

С минуту они глядят друг на друга, как два блефующих игрока в покер. Так долго они еще ни разу не смотрели друг другу в глаза. На занятиях Лора обычно таращится на свои коленки, где лежит телефон. Она полагает, что, если телефон у нее на коленках, значит, она его ловко спрятала. Ей и невдомек, до чего прозрачен и очевиден этот ее маневр. Сэмюэл ни разу не попросил ее на занятии убрать телефон, в основном чтобы иметь основание занизить ей оценку в конце семестра, когда начисляет баллы “за работу на уроке”.

– В вашем случае – наказывают, – парирует Сэмюэл. – Видите ли, когда вы сдаете работу, по умолчанию предполагается, что это ваша работа. Ваша собственная.

– Она и есть моя собственная, – отвечает Лора.

– Неправда, вы ее купили.

– Вот именно, – кивает она. – И теперь она моя. Моя собственная. Это моя работа.

Сэмюэлу приходит мысль, что если назвать то, как поступила Лора, не “списала”, а “поручила другому исполнителю”, она окажется в чем-то права.

Ложная аналогия

– Другие еще и не такое делают, – добавляет Лора. – Вот хотя бы моя лучшая подруга? Платит репетитору по алгебре, чтобы он делал за нее домашнюю работу. А это ведь куда хуже, правда? И между прочим, ее за это даже не наказывают! Почему меня наказывают, а ее нет?

– Но она ведь учится не у меня, – возражает Сэмюэл.

– А Ларри?

– Кто?

– Ларри Брокстон? Из нашей группы? Я точно знаю: он сдает вам работы своего старшего брата. И вы его не наказываете. Так нечестно. Это куда хуже.

Сэмюэл вспоминает, что Ларри Брокстон – студент второго курса, специализацию пока так и не выбрал, коротко стриженные машинкой волосы цвета кукурузной муки, на занятия обычно приходит в просторных серебристых баскетбольных шортах и черно-белой футболке с огромным логотипом сети магазинов одежды, которые есть практически в каждом торговом комплексе Америки – один из тех парней, кто сперва подкрался к Лоре Потсдам, а потом от нее сбежал. Чертов Ларри Брокстон, чья бледная, болезненно-зеленоватая кожа напоминала цветом гнилую картофелину на срезе, с его жалкими попытками отрастить усы и бороду, которые больше походили на прилипшие к лицу панировочные сухари, сутулый, замкнутый, обращенный внутрь себя, чем-то напоминавший Сэмюэлу папоротник, что может расти лишь в тени, Ларри Брокстон, ни разу на занятиях не раскрывший рта, с непропорционально большими по сравнению с прочими частями тела ступнями, как будто они выросли быстрее всего остального, так что походка получилась расхлябанной, словно у Ларри не ступни, а две плоские рыбины, к тому же он носил черные массивные резиновые сандалии, подходившие, думалось Сэмюэлу, исключительно для общественных душевых и бассейнов, тот самый Ларри Брокстон, который в те десять минут, что Сэмюэл отводил каждой группе на “свободное письмо и мозговой штурм”, лишь машинально и лениво почесывал гениталии, – так вот ему удавалось практически каждый день в те две недели, что они сидели рядом, по пути из кабинета рассмешить Лору Потсдам.

Скользкий путь

– Я только одно хочу сказать, – продолжает Лора, – если вы завалите меня, вам придется завалить и всех остальных. Потому что все так делают. И тогда вам не будет кого учить.

– Некого будет учить, – поправляет Сэмюэл.

– Что?

– Вам некого будет учить. А не “не будет кого учить”.

Лора бросает на него такой взгляд, словно он обратился к ней по-латыни.

– Так правильно, – поясняет Сэмюэл. – В данном случае нужно сказать

“некого”.

– Ну и ладно.

Он прекрасно понимает, что указывать другим на ошибки в речи невежливо и неприлично. Все равно что на вечеринке удивиться, что твой собеседник чего-то там не читал, как было с Сэмюэлом в первую неделю работы, на общефакультетском ужине у декана, дамы, которая, прежде чем ее резко повысили в должности, работала на кафедре английского языка и литературы. Предполагалось, что это прекрасная возможность пообщаться с коллегами, узнать их получше. Научная карьера декана сложилась типично: она выбрала крайне узкую специализацию и досконально ее изучила (ее интересовали только произведения, написанные во время чумы и о чуме). За ужином она поинтересовалась мнением Сэмюэла о некоем фрагменте “Кентерберийских рассказов”, и когда он замялся, сказала чуть громче, чем следовало: “Так вы их не читали? Боже мой”.

*Non sequitur*⁶¹

– И между прочим? – говорит Лора. – С вашей стороны нечестно было проводить контрольную.

– Какую контрольную?

– Ту, которую вы сделали вчера? По “Гамлету”? Я вас спрашивала, будет ли контрольная, и вы ответили “нет”. А потом все равно провели.

– Это мое право.

– Вы меня обманули.

Лора произносит это оскорбленно-трагическим тоном, словно позаимствованным из семейных сериалов.

– Не обманул, а передумал, – возражает Сэмюэл.

– Вы сказали мне неправду.

– Не надо было пропускать занятие.

Что же именно в Ларри Брокстоне так его бесило? Почему его буквально тошнило, когда он видел, как они с Лорой вместе сидят, вместе смеются, вместе идут домой? Отчасти это объяснялось тем, что Сэмюэл считал парня ничтожеством – его манеру одеваться, глубокое невежество, лицо с выдающейся челюстью, непрошибаемое молчание во время обсуждений на уроке, сидит себе, не шелохнется, кусок биомассы, который ничего не может дать ни классу, ни миру. Да, все это злило Сэмюэла, и злость его подогревало то, что Лора наверняка ему *даст*. Позволит себя обнять, нежно ткнется носом в его кожу цвета гнилой картошки, прижмет губами к его запекшимся губам, позволит ему щупать ее тело руками с криво обгрызенными ногтями в капельках застывшей сукровицы.

Оттого что она сама стащит с него эти просторные баскетбольные шорты в его убогой комнатухе в общежитии, где наверняка воняет потом, лежалой пиццей, коростой и мочой, оттого что она охотно все это позволит и не будет об этом жалеть, Сэмюэл жалел ее.

Post hoc, ergo propter hoc^[7]

– Если я и пропустила занятие, – заявляет Лора, – это еще не значит, что нужно меня валить. Это несправедливо.

– Я не поэтому вас валю.

– Это же одно-единственное занятие. Чего сразу так кипятиться?

Но еще сильнее Сэмюэла задевало то, что Лору и Ларри объединила нелюбовь к нему. Ему казалось, что именно поэтому их тянуло друг к другу. Они оба считали его скучным и нудным, а этого вполне достаточно, чтобы завязать разговор, достаточно, чтобы заполнить паузы во время страстного петтинга. Так что в некотором смысле это его вина. Сэмюэл чувствовал ответственность за сексуальную катастрофу, которая разворачивалась на его занятиях, на заднем ряду слева.

Ложный компромисс

– Давайте вот что сделаем, – Лора выпрямилась в кресле и подалась к нему. – Я извинюсь за то, что сдала чужое сочинение, а вы извинитесь за то, что провели контрольную.

– Допустим.

– И в качестве компромисса я перепишу сочинение, а вы зададите мне дополнительную контрольную. И всем хорошо. – Она поднимает руки ладонями кверху и улыбается. – Ну вот, – произносит Лора.

– Какой же это компромисс?

– Давайте больше не будем обсуждать, что я сделала. Лучше поговорим о том, как теперь быть.

– Если вы добьетесь своего – это не компромисс.

– Но вы ведь тоже добьетесь своего. Я целиком и полностью возьму на себя ответственность за свой поступок.

– Это каким же образом?

– Я признаю, что виновата. Скажу, – Лора показывает пальцами в воздухе кавычки, – что “беру на себя ответственность за свой поступок”, – кавычки закрываются.

– Взять на себя ответственность за свои действия – значит принять их последствия.

– То есть провалиться.

– Да, именно так.

– Так нечестно! Почему я должна отвечать за свой поступок, если вы меня все равно завалите? Либо одно, либо другое. Иначе никак. И знаете что?

Ложное умозаключение

– Мне ведь даже не нужен этот курс. Мне вообще не следовало на него ходить. Чем мне все это поможет в реальной жизни? Неужели кто-нибудь когда-нибудь спросит меня, читала ли я “Гамлета”? Разве это важно? Ну скажите, когда мне это может понадобиться? А? Скажите, как мне пригодятся эти знания?

– Не в этом дело.

– Нет, именно в этом. Как раз в этом-то все и дело. Потому что вам нечего мне ответить. Вы не можете мне даже ответить, когда мне пригодятся эти знания. А знаете почему? Потому что они мне никогда не понадобятся.

Сэмюэл знает, что, пожалуй, так и есть. Глупо просить студентов найти логические ошибки в “Гамлете”. Но с тех пор как вступил в должность нынешний проректор, одержимый идеей преподавать точные науки и математику в каждом курсе (причина, по которой студентов нужно заставлять учить эти дисциплины, – чтобы они могли конкурировать с китайцами, что-то в этом роде), Сэмюэлу приходится каждый год отчитываться, как именно он внедряет математику в занятия по литературе. Преподавание логики – шаг в этом направлении, и сейчас он жалеет, что преподавал ее спустя рукава: по подсчетам Сэмюэла, за время их разговора Лора допустила что-то около десяти логических ошибок.

– Я же вас не заставляю ко мне ходить, – отвечает Сэмюэл. – Вас сюда никто силой не тащит.

– Нет, заставляете! Из-за вас всех мне приходится читать дурацкого “Гамлета”, который мне в жизни не понадобится!

– Вы всегда можете бросить занятия.

– Не могу!

– Почему?

Argumentum verbosium^[8]

– Я не могу завалить экзамен, потому что он мне нужен для аттестации по гуманитарным наукам, чтобы осенью можно было пойти на макро- и микростатистику, чтобы к следующему лету, когда мне нужно будет проходить дипломную практику, сдать все досрочно и закончить колледж

за три с половиной года, потому что на четыре у моих родителей не хватит денег, хотя раньше их было полно, но они все истратили на адвоката по разводам, а мне сказали, мол, “в трудную минуту всем приходится чем-то жертвовать”, значит, мне придется либо брать кредит на последний семестр, либо рвать задницу, чтобы закончить досрочно, так что, если я буду повторно слушать этот курс, весь мой план полетит к черту. А маме после развода и так-то несладко, а сейчас у нее и вовсе нашли опухоль? В матке? На следующей неделе операция? А я раз в неделю мотаюсь домой, чтобы ее “поддержать”, это она так говорит, хотя мы только и делаем, что играем в банко^[9] с ее тупыми подругами. А бабушка после смерти дедушки осталась совсем одна и путает, какое лекарство в какой день принимать, так что мне приходится о ней заботиться и раз в неделю раскладывать таблетки по коробочкам, иначе она впадет в кому или еще чего-нибудь, понятия не имею, кто позаботится о бабушке на следующей неделе, когда мне нужно будет отбыть три дня общественных работ, идиотизм какой-то, на той вечеринке все пили не меньше, но за пьянку в общественном месте задержали почему-то меня одну, я наутро спросила копа, как он определил, что я была пьяная, а он сказал, мол, я стояла посреди улицы и орала во все горло: “Как же я напилась!”, вот напрочь этого не помню. Так мало того, моя соседка по комнате, эта свинота и грязнуха, постоянно берет мою диетическую пепси и никогда не возвращает, даже спасибо не скажет, как ни залезу в холодильник, еще одной банки нету, а еще она шмотки повсюду разбрасывает и вечно достает меня советами, как правильно питаться, хотя сама весит центнер с лишним, но считает, что круто разбирается в диетах, потому что когда-то весила сто пятьдесят и теперь такая: “Знаешь, как похудеть на пятьдесят килограмм?”, а я ей: “Да мне как-то и не надо”, но нет, она, не затыкаясь, триндит о том, как похудела на пятьдесят килограмм и полностью изменила свою жизнь с тех пор, как решила похудеть, и похудение то, и похудение се, я это уже слышать не могу, прям бесит, у нее еще на стенке этот дурацкий календарь похудения, такой огромный, что мне даже постеры повесить некуда, но я ничего не могу ей сказать, ведь я же вроде как должна ее поддерживать? И типа спрашивать, удалось ли ей сегодня сжечь норму калорий, и если да, говорить, ух ты, молодчина, и не приносить никакую самоубийственную пищу, это она так говорит, самоубийственную, чтобы ее не искушать, хотя с какой стати я должна мучиться из-за того, что она жирная, ну да ладно, пусть, я даже больше не покупаю ни чипсы, ни печенье, ни кексики, такие, знаете, полосатые, хотя я их обожаю, но я ведь хочу быть хорошей соседкой, хочу ее поддержать, и

единственное удовольствие, которое я себе позволяю в жизни, моя диетическая пепси, между прочим, ей такое вообще нельзя, она же сама говорила, что пока не похудела, газировка для нее была как наркотик, а я ее успокоила, мол, в диетической пепси всего две калории, так что тебе можно. А еще моего папу на той неделе пырнули ножом на пенной вечеринке. Сейчас он уже оправился, а я все равно никак не могу сосредоточиться на учебе, потому что папу чуть не зарезали, и что он вообще делал на пенной вечеринке, он молчит, как воды в рот набрал, а стоит мне об этом заговорить, как он тут же делает вид, что меня нет, как с мамой. А мой парень уехал учиться в Огайо и вечно просит прислать ему голые фотки, чтобы не думать об окружающих красивых телках, а я боюсь, что если не буду ему слать эти фотки, он переспит с какой-нибудь местной шлюхой, и я сама буду в этом виновата, я делаю фотки и шлю ему, я знаю, ему нравится, когда там бреют, я не против, мне не трудно для него побриться, но потом меня закидывает прыщами и все ужасно чешется, выглядит как черт знает что, а один прыщ воспалился, и представьте себе, каково это – объяснять девятилетней медсестре в студенческой поликлинике, что тебе нужна мазь, потому что ты брила лобок и порезалась. А еще у меня шина на велике спустила, как будто мало мне всего остального, и кухонная раковина засорилась, соседкины волосы валяются по всей ванне, все мое лавандовое мыло в ее волосах, а маме пришлось отдать нашего бигля, потому что куда ей сейчас еще и собаку, в холодильнике диетическая ветчина лежит почти месяц, уже вонять начала, лучшей подруге сделали аборт, а еще у меня накрылся интернет.

Апелляция к чувствам

Разумеется, Лора Потсдам заливается слезами.

Ложная дилемма

– Меня выгонят из университета! – ревет Лора и монотонно причитает, так что слова слипаются: – Если вы меня завалите, мне перестанут оплачивать учебу, а сама я платить за колледж не смогу, и меня исключат!

Беда в том, что при виде чужих слез Сэмюэла так и подмывает зарыдать. Так было всегда, сколько он себя помнит. Он словно ребенок в детском саду, который плачет от жалости к другим детям. Ему кажется, что тот, кто плачет при посторонних, беззащитен и уязвим, ему становится неловко и стыдно сперва за того, кто плачет, а потом и за себя: в нем просыпается детская ненависть к самому себе, скопившаяся за все время, что он рос таким здоровым плаксой. Все сеансы психотерапии, все детские

унижения и обиды – все это при виде чужих слез снова наваливается на Сэмюэла. Его тело словно превращается в сплошную открытую рану, когда даже легкий ветерок причиняет физическую боль.

Лора не пытается сдержать слезы, отдается рыданиям целиком. Всхлипывает, шмыгает носом, икает, нелепо кривит лицо. Глаза покраснели, мокрые щеки блестят, из левой ноздри свисает сопля. Лора понурила плечи, ссутулилась, смотрит в пол. Сэмюэлу кажется, что еще десять секунд – и с ним приключится то же самое. Он не выносит вида чужих слез. Именно поэтому свадьбы коллег и дальних родственников для него сущее наказание: он рыдает несоразмерно степени близости к жениху и невесте. То же самое с грустными фильмами в кинотеатрах: даже если он не видит, как другие плачут, он слышит, как кругом всхлипывают, сморкаются, шмыгают носом, после чего находит аналог услышанного в богатом внутреннем архиве плачей и “примеряет” на себя, и еще хуже, если это происходит на свидании, поскольку он чутко следит за эмоциональным состоянием партнерши и смертельно боится, что она потянется к нему в поисках утешения и обнаружит, что он ревет в десять раз сильнее нее самой.

– И мне придется вернуть все стипендии! – наполовину выкрикивает Лора. – Если я провалюсь, мне придется все выплачивать, моя семья разорится, мы окажемся на улице и будем голодать!

Сэмюэл чувствует, что это ложь, потому что по стипендиям нет таких правил, но не может и рта раскрыть, поскольку старается подавить рыдания. Они подступают к горлу, давят на кадык, он вспоминает все свои жуткие детские истерики, все испорченные дни рождения, семейные ужины, прекратившиеся на середине, вспоминает, как ошарашенные одноклассники молча провожали его глазами, когда он выбежал из класса, как громко и раздраженно вздыхали учителя, директора школы и особенно мама – о, как же маме хотелось, чтобы он успокоился, как она во время очередной истерики гладила его по плечам, чтобы он перестал плакать, приговаривая: “Все хорошо, все хорошо”, со всей нежностью, на которую только была способна, не понимая, что именно от ее сочувствия, от того, что она видит, как он плачет, он рыдает еще горше. Сэмюэл чувствует, как слезы теснят грудь, он задерживает дыхание, мысленно повторяя: “Все под контролем, все под контролем”, обычно это срабатывает, но вот уже легкие саднят от нехватки воздуха, глаза болят, словно их раздавили, как оливки, и выхода у него всего два: либо, всхлипывая, разрыдаться при Лоре Потсдам, что само по себе невыносимо, ужасно, стыдно, унижительно, – или заставить себя рассмеяться. Этому трюку научил его психолог в средней

школе: “Смех – противоположность слез, поэтому, когда тынешь расплакаться, постарайся рассмеяться, и все пройдет: одно вытеснит другое”. Тогда этот совет показался ему глупостью, но, как ни странно, в качестве крайней меры прием сработывал. Сэмюэл знает, что сейчас это единственная возможность предотвратить дичайшую истерику. Он не думает о том, как истолкуют его смех в такую минуту: лишь о том, что любая реакция в миллион раз лучше слез, так что когда бедная Лора – понурая, несчастная, незащищенная – причитает, всхлипывая: “А на следующий год я не смогу вернуться в университет, у меня не останется денег, мне некуда будет идти, я не знаю, как жить дальше”, Сэмюэл отвечает ей протяжным “Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-хааааа!”

Ad hominem^[10]

Пожалуй, он совершил ошибку.

Он уже видит, какой эффект произвел его смех. По лицу Лоры скользнуло удивление, но тут же сменилось яростью и даже отвращением: она словно окаменела. Теперь Сэмюэл понимает, что его смех, неискренний и агрессивный, как у киношного злодея, прозвучал жестоко. Лора напряглась, выпрямилась, насторожилась и холодно смотрела на него. От слез не осталось и следа. Не передать словами, как быстро изменилось выражение ее лица. Сэмюэлу пришло на ум словосочетание, которое он видел на упаковках замороженных овощей в продуктовом магазине: “мгновенная заморозка”.

– Зачем вы так? – неестественно ровным, сдержанным тоном спросила Лора. Пугающее спокойствие, от которого веет опасностью, как от наемного убийцы.

– Простите, я не хотел.

Она мучительно долго разглядывает его лицо. Капля, свисавшая с ее носа, исчезла. Невероятная трансформация: ни намек на то, что Лора плакала. Даже щеки сухие.

– Вы надо мной смеялись, – произносит она.

– Да, – признает Сэмюэл. – Все так.

– Почему вы надо мной смеялись?

– Простите, – отвечает он. – Я был неправ. Мне очень жаль.

– За что вы меня так ненавидите?

– Я вас вовсе не ненавижу, что вы, Лора. Честное слово.

– За что все меня так ненавидят? Что я такого сделала?

– Ничего. Вы ни в чем не виноваты. Вы тут ни при чем. Вы всем нравитесь.

- Неправда.
- Вы очень милая. Вы всем нравитесь. И мне вы тоже нравитесь.
- Правда? Я вам нравлюсь?
- Да. Очень. Вы мне очень нравитесь.
- Правда?
- Ну конечно. Простите меня еще раз.

К счастью, Сэмюэла уже не тянет удариться в слезы, так что он расслабляется и слабо улыбается Лоре. На душе у него становится легко от того, что все успокоилось и окончилось так хорошо и мирно, ему кажется, что они только что преодолели серьезную опасность, как два однополчанина на войне или соседи по креслам в самолете после затяжной турбулентности. Сейчас он чувствует душевное родство с Лорой, поэтому улыбается, кивает и, кажется, даже подмигивает ей. Он испытывает такое облегчение, что на самом деле подмигивает Лоре.

– Ах вот оно что, – замечает Лора, кладет ногу на ногу и откидывается в кресле. – Все с вами ясно. Вы в меня влюбились.

- Что?
- Ну конечно, как же я раньше не догадалась.
- Нет, вы меня не так поняли...
- Ладно-ладно. В меня и раньше влюблялись учителя. Это даже мило.
- Нет, вы меня действительно не так поняли.
- Вы же сами сказали, что я вам очень нравлюсь.
- Да, но я совсем не это имел в виду, – оправдывается Сэмюэл.
- Я знаю, что вы сейчас скажете. Либо я с вами пересплю, либо не сдам экзамен. Угадала?

– Ничего подобного, – возражает он.

– Вот к чему все шло с самого начала. Вы все это затеяли, чтобы со мной переспать.

– Нет! – восклицает Сэмюэл.

Обвинение его задевает, как это обычно бывает: даже если ты ни в чем не виноват, все равно смущаешься. Он встает, проходит мимо Лоры, открывает дверь кабинета и говорит:

– Вам пора идти. Разговор окончен.

Соломенное чучело^{III}

– Вы не можете меня завалить, – сообщает Лора, явно не намеренная уходить. – По закону вы не имеете такого права.

– Встреча окончена.

– Вы не можете меня завалить, потому что у меня нарушение

обучаемости.

– Нет у вас никакого нарушения обучаемости.

– Есть. Мне трудно сосредоточиться, я не могу сдать работу в срок, у меня проблемы с чтением и не получается ни с кем подружиться.

– Неправда.

– Правда. Проверьте, если хотите. У меня и справка есть.

– И как же называется ваше нарушение обучаемости?

– У него пока что нет названия.

– Удобно.

– По закону о защите прав граждан с ограниченными возможностями вы должны создать особые условия для всех студентов со справкой о нарушении обучаемости.

– Вы говорите, что у вас не получается ни с кем подружиться. Но это не так.

– Так. У меня нет друзей.

– Я все время вижу вас с друзьями.

– Надолго их не хватает.

Сэмюэл вынужден признать, что это правда. Он изо всех сил пытается сообразить, какую бы гадость сказать Лоре. Придумывает оскорбление, которое перевесило бы ее обвинение в том, что он якобы в нее влюбился. Если он как следует заденет Лорины чувства, если обидит ее побольнее, он будет оправдан. Сказав Лоре гадость, он тем самым докажет, что не влюблен в нее: так рассуждает Сэмюэл.

– И на какие же такие, по-вашему, особые условия вы имеете право? – интересуется он.

– Сдать экзамен.

– Вы считаете, что Закон о защите прав граждан с ограниченными возможностями придумали для тех, кто списывает?

– Тогда переписать сочинение.

– Так какое же у вас все-таки нарушение?

– Я же вам сказала, ему еще не дали названия.

– Кто не дал?

– Ученые.

– И они не могут понять, что же это такое.

– Именно.

– В чем же проявляется ваше нарушение?

– Ой, да это вообще ужас что такое. Каждый день живешь как в аду?

– И все-таки какие у него симптомы?

– Ну, например, я отвлекаюсь через три минуты после начала занятия и

не могу сосредоточиться, вообще никогда не делаю, что мне говорят, никогда ничего не записываю, не запоминаю имена, иногда, дочитав до конца страницы, не помню, о чем шла речь. Все время теряю, где читала, перескакиваю строчки через четыре и даже не замечаю, не понимаю большинства графиков и схем, сроду не решила ни одной головоломки, а иногда говорю совсем не то, что хотела сказать. Еще у меня отвратительный почерк, я ни разу в жизни не написала правильно слово “алюминий”, иногда обещаю соседке, что уберу свою половину комнаты, хотя даже не собираюсь этим заниматься. На улице я не могу правильно определить расстояние и, хоть убейте, не знаю, где север. Я понятия не имею, что значит пословица “лучше синица в руке, чем журавль в небе”. В прошлом году я раз восемь потеряла мобильный. Я десять раз попадала в аварию на машине. А когда играю в волейбол, мяч то и дело попадает мне в лицо, хотя мне это и неприятно.

– Видите ли, Лора, – произносит Сэмюэл, чувствуя, что минута настала, оскорбление созрело и готово сорваться с его губ, – нет у вас никакого нарушения обучаемости.

– Нет, есть.

– Нет, – отвечает Сэмюэл и делает театральную паузу. Следующую фразу он намерен произнести медленно и внятно, так чтобы до Лоры дошло: – Просто вы не очень умны.

Argumentum ad baculum (или “аргумент к силе”)

– Как вы можете так говорить? – восклицает Лора, вскакивает и хватается сумку, готовая в негодовании выйти из кабинета.

– Но это правда, – не сдается Сэмюэл. – Вы не очень умны, да и человек вы не очень хороший.

– Вы не имеете права так говорить!

– Нет у вас никакого нарушения обучаемости.

– Я добьюсь, чтобы вас уволили!

– Вы обязаны это знать. Кто-то же должен был вам об этом сказать.

– Да вы просто хам!

Тут Сэмюэл замечает, что крики Лоры привлекли внимание других преподавателей. Тут и там приоткрываются двери, и коллеги выглядывают в коридор. Трое студентов, сидящих на полу среди сумок с книгами (наверно, работали над каким-нибудь групповым проектом), изумленно смотрят на Сэмюэла. Ему тут же становится стыдно, и с него слетает весь кураж. Он произносит с опаской, децибел на тридцать тише прежнего:

– Вам пора.

Argumentum ad crumenam (или “аргумент к богатству”)

Лора вихрем вылетает из кабинета в коридор, резко разворачивается и кричит:

– Я, между прочим, плачу за обучение! И очень неплохо! Я плачу вам зарплату, и вы не имеете права так со мной обращаться! Мой отец дает этому университету кучу бабок! Больше, чем вы получаете за год! Он адвокат, он вас всех засудит! Сами напросились, теперь пеняйте на себя! Вы у меня попляшете!

С этими словами она снова разворачивается, стремительно шагает прочь и скрывается за углом.

Сэмюэл закрывает дверь. Садится. Смотрит на растение в горшке – милую маленькую гардению, которая что-то подвяла. Берет пульверизатор и несколько раз sprays растение. Пульверизатор тихонько побрякивает, как уточка.

О чем он думает? Пожалуй, о том, что, скорее всего, сейчас расплатится. А Лора Потсдам наверняка добьется, чтобы его уволили. В кабинете у него до сих пор воняет. Жизнь прожита зря. И как же его бесит слово “бабки”.

5

– Алло!

– Добрый день! Я бы хотел поговорить с мистером Сэмюэлом Андресеном-Андерсоном.

– Это я.

– Профессор Андресен-Андерсон, сэр, как хорошо, что я до вас дозвонился. Это Саймон Роджерс...

– Можно просто Андерсон.

– Что?

– Сэмюэл Андерсон, и все. Двойную фамилию трудно выговаривать.

– Как скажете, сэр.

– А кто это?

– Как я уже говорил, сэр, это Саймон Роджерс из адвокатской фирмы “Роджерс и Роджерс”. Мы находимся в Вашингтоне, округ Колумбия. Может, слышали о нас? Мы занимаемся в основном громкими политическими преступлениями. Я звоню по поводу вашей матери.

– Что?

– Громкими политическими преступлениями, которые обычно совершают из благородных побуждений сторонники левых взглядов. Ну вы

понимаете. Может, слышали про людей, которые приковывают себя к деревьям? Это наши клиенты. Или когда нападают на китобойные суда, а потом по телевизору показывают об этом репортаж – все это как раз наши случаи. Или, к примеру, стычка с чиновником-республиканцем, ролик с которым в интернете посмотрели миллионы, если вы понимаете, куда я клоню. Мы защищаем фигурантов политических дел, при условии, конечно, что ими интересуются СМИ.

– Вы, кажется, говорили о моей матери?

– Да, о вашей матери, сэр. Я ее адвокат по делу о государственном иске. Принял его от общественного защитника Чикаго.

– Какой еще государственный иск? Какое дело?

– Я буду представлять ее интересы как в суде, так и в СМИ, по крайней мере пока хватит средств, но это мы с вами лучше обсудим потом, сэр, не сегодня, было бы невежливо начинать общение с разговора о деньгах.

– Ничего не понимаю. Каких средств? При чем тут СМИ? Это мать попросила вас позвонить?

– С какого вопроса мне начать?

– Что происходит?

– Как вы, должно быть, уже знаете, сэр, вашу матушку обвиняют в нападении с применением физического насилия. А поскольку, что уж греха таить, все улики свидетельствуют против нее, скорее всего, ей придется признать свою вину, то есть пойти на сделку со следствием.

– Моя мать на кого-то напала?

– Эээ... давайте с самого начала. Я думал, вы уже знаете.

– Что знаю?

– Про мать.

– Откуда мне что-то знать про нее?

– Так в новостях же передавали.

– Я не смотрю новости.

– Об этом рассказывали по местным, кабельным, федеральным каналам, писали в газетах, в новостных рассылках, упоминали в ток-шоу и юмористических передачах.

– Ничего себе.

– Ну и в интернете. Ролик про нападение ходит по сети. Вы разве не заходили ни на какие сайты?

– А когда это было?

– Позавчера. Ролик с вашей матушкой, не побоюсь этого слова, стал вирусным. Превратился в мем.

- На кого она напала?
- На Шелдона Пэкера. Губернатора Вайоминга Шелдона Пэкера. Бросила в него камнем. Точнее, камнями.
- Не может этого быть.
- Впрочем, пока идет следствие, я не стал бы называть орудие нападения “камнями”. Скорее, мелкие камешки, галька или даже, пожалуй, гравий.
- Это ложь. Кто вы?
- Как я уже сказал, Саймон Роджерс из “Роджерс и Роджерс”, сэр, а вашу матушку будут судить.
- За нападение на кандидата в президенты.
- Ну, формально он еще не кандидат, но в целом вы правы. Ролик в буквальном смысле круглые сутки крутят по всем новостным каналам. Неужели вы ничего об этом не слышали?
- Я был занят.
- Вы преподаете “Введение в литературу”. Занятия дважды в неделю по часу. Надеюсь, сэр, вы не сочтете меня слишком назойливым или бестактным за то, что я это разузнал: информация есть на сайте университета.
- Понятно.
- Чем же таким вы занимались остальные без малого сорок часов с тех пор, как произошло нападение?
- Сидел за компьютером.
- И этот компьютер наверняка подключен к интернету?
- Как вам сказать... в общем, я писал. Я писатель.
- Потому что вся страна сейчас думает примерно одно: “Давайте уже поговорим о чем-то другом, кроме Фэй Андресен-Андерсон”. Новость у всех на устах, сэр, поэтому я и удивился, что вы об этом ни сном ни духом, учитывая, что речь идет о вашей матери.
- Видите ли, мы с ней не общаемся.
- Этой истории сочинили броское заглавие: “Щебень для Шелдона”. Ваша матушка произвела сенсацию.
- Вы уверены, что это моя мать? Вообще-то это на нее не похоже.
- Вы Сэмюэл Андресен-Андерсон? Это ваше полное имя по документам?
- Да.
- А вашу маму зовут Фэй Андресен-Андерсон?
- Да.
- Она живет в Чикаго, штат Иллинойс?

- Нет, не в Чикаго.
- А где же?
- Откуда мне знать. Я с ней двадцать лет не общался!
- То есть вы не знаете, где она проживает в настоящий момент. Я вас правильно понял?
- Да.
- Следовательно, она может жить в Чикаго, штат Иллинойс, просто вы об этом не знаете.
- Верно.
- Значит, женщина, которая сейчас в тюрьме, вероятнее всего, ваша матушка. Вот что я хочу сказать. Независимо от того, каков ее нынешний адрес.
- И она напала на губернатора...
- Мы предпочитаем более мягкие термины. Не “напала”. Скорее, воспользовалась правом, которое обеспечивает Первая поправка к Конституции, посредством символического жеста: бросила в губернатора гравием. Судя по щелканью клавиатуры, вы проверяете эти сведения с помощью поисковой системы?
- О господи, да тут миллионы результатов!
- Так точно, сэр.
- И ролик есть?
- Набрал несколько миллионов просмотров. А еще с ним сделали ремикс и наложили на него забавную хип-хоп-песню.
- Глазам своим не верю.
- Лучше вам эту песню не слушать, сэр, по крайней мере, пока рана не заживет.
- Тут в одной статье мою мать сравнивают с боевиками “Аль-Каиды”.
- Да, сэр. Ужасные гадости. Несут что попало. В новостях. Кошмар.
- Что еще о ней пишут?
- Лучше вы сами почитайте.
- Ну хотя бы намекните.
- Видите ли, сэр, ситуация напряженная. Страсти накалились. Все, разумеется, считают, что это политический жест.
- Так что о ней говорят?
- Что она террористка, хиппи, радикалка и проститутка, сэр. Вот вам лишь один пример – гадкий, но очень показательный.
- Проститутка?
- Террористка, хиппи, радикалка, и – да, вы не ослышались, сэр, – проститутка. Вашу матушку, с позволения сказать, поносят последними

словами.

– Но почему ее называют проституткой?

– Ее задерживали за проституцию, сэр. В Чикаго.

– Что-что?

– Задержали, но обвинение так и не предъявили. Считаю важным дополнить.

– В Чикаго.

– Да, сэр, в Чикаго, в шестьдесят восьмом. За несколько лет до вашего рождения, так что она вполне могла изменить свое поведение и прийти к Богу, и я об этом непременно упомяну, если дойдет до суда. Да, мы, разумеется, говорим о сексуальной проституции.

– Ну вот, видите? Это невозможно, в шестьдесят восьмом ее не было в Чикаго. Она была дома, в Айове.

– Наши документы свидетельствуют о том, что она провела в Чикаго месяц в конце шестьдесят восьмого года, сэр, когда училась в университете.

– Моя мать не училась в университете.

– Ваша мать его не закончила. Но она была в списке студентов Иллинойского университета в Чикаго в осеннем семестре шестьдесят восьмого года.

– Неправда, мать выросла в Айове, там же закончила школу, а потом ждала, когда отец вернется из армии. Она никогда не уезжала из родного города.

– Наши документы свидетельствуют об обратном.

– Она впервые уехала из Айовы только в восьмидесятых годах.

– Наши документы, сэр, свидетельствуют о том, что она принимала активное участие в антивоенных демонстрациях шестьдесят восьмого года.

– Это решительно невозможно. Мама сроду не стала бы протестовать против чего бы то ни было – не такой она человек.

– Повторяю вам, сэр: это правда. Есть фотография. То есть фотодоказательство.

– Значит, вы обознались. Спутали ее с кем-то другим.

– Фэй, девичья фамилия Андресен, родилась в тысяча девятьсот пятидесятом году в Айове. Хотите, продиктую девять цифр ее номера социального страхования?

– Нет.

– А то у меня есть номер ее страховки.

– Нет.

– В общем, скорее всего, это она, сэр. Если только улики не докажут

обратное и не выяснится, что это чудовищное совпадение, женщина в тюрьме, скорее всего, ваша мать.

– Ну ладно.

– Вероятность очень высока. Девяносто девять процентов. Ни малейших причин сомневаться. Скорее всего, это она, как бы вам ни хотелось верить в обратное.

– Понятно.

– Значит, отныне я называю женщину, которая сидит в тюрьме, вашей матерью. Мы ведь не будем больше об этом спорить?

– Нет.

– Как я уже говорил, едва ли вашу мать признают невиновной, поскольку против нее свидетельствуют, можно сказать, неопровержимые улики. Нам остается лишь уповать на снисхождение суда и мягкий приговор.

– Ну а я-то здесь при чем?

– Вы можете дать показания о характере и моральном облике вашей матери. Напишите судье письмо, объясните, что ваша матушка ничем не заслужила того, чтобы ее посадили в тюрьму.

– С какой статьи судья должен мне верить?

– Скорее всего, он и не поверит. Тем более этот. Судья Чарльз Браун. Он же “Чарли”. Я не шучу, сэр, его действительно так зовут. В следующем месяце он должен был выйти на пенсию, но решил с этим повременить, чтобы участвовать в процессе над вашей матерью. Видимо, потому что дело громкое. Шум на всю страну. А еще почтенный Чарли Браун славится нелюбовью к делам, связанным с Первой поправкой. Он не очень-то терпим к инакомыслию, вот что я вам скажу.

– Но если он меня не послушает, к чему вообще писать ему письмо? Зачем вы мне позвонили?

– Потому что вы занимаете в некотором смысле почетную должность, вы довольно известны, и пока в фонде есть деньги, я испробую все возможные средства. Я своей репутацией дорожу.

– Что еще за фонд?

– Видите ли, сэр, в определенных кругах губернатор Шелдон Пэкер пользуется дурной славой. Некоторые считают вашу матушку героиней, которая подрывает существующие политические устои.

– Из-за того, что она кинула камнем в губернатора.

– На одном из чеков, который я обналичил, было написано: “Отважному борцу с республиканским фашизмом”. Деньги на ее защиту текут рекой. Хватит на оплату моих услуг за четыре месяца.

- А что потом?
- Я верю, что нам удастся достичь соглашения раньше этого. Вы ведь нам поможете?
- С какой стати? Почему я должен ей помогать? Как это на нее похоже!
- Что именно, сэр?
- Вся эта страшная тайна: то, что она училась в университете, ходила на демонстрации протеста, попала под арест, – все, о чем я ни сном ни духом. Еще один секрет, о котором она мне не рассказывала.
- Наверняка у нее были на то свои причины, сэр.
- Мне нет до них никакого дела.
- Должен сказать, что ваша матушка отчаянно нуждается в вашей помощи.
- Я не буду писать письмо, и мне плевать, посадят ее или нет.
- Но это же ваша мать! Она вас родила и, как говорится, вскормила.
- Она бросила нас с отцом. Ушла, не сказав ни слова. И я считаю, что с тех пор она мне больше не мать.
- И вы в глубине души никогда не надеялись с ней помириться? Не тосковали по маме, жизнь без которой так пуста и никчемна?
- Мне пора.
- Она вас родила. Целовала ваши бо-бо. Резала вам бутерброды на маленькие кусочки. Неужели вам не хочется, чтобы в вашей жизни был человек, который помнит день вашего рождения?
- Я кладу трубку. Прощайте.

6

Сэмюэл слушает, как свистит кофемашина в кафе аэропорта, взбивая пену для капучино, когда ему приходит первое письмо о Лоре Потсдам. От декана, той самой исследовательницы чумы. “Ко мне приходила ваша студентка, – пишет она, – с какими-то странными обвинениями. Это правда, что вы обозвали ее дурой?” Остаток письма Сэмюэл просматривает по диагонали, чувствуя, как его буквально засасывает в кресло. “Поражаюсь вашей бесцеремонности. Мне мисс Потсдам вовсе не показалась глупой. Я разрешила ей переписать работу, чтобы получить положительную оценку. Нам необходимо как можно скорее обсудить эту ситуацию”.

Он сидит в кофейне напротив того выхода, у которого примерно через пятнадцать минут начнется посадка на полуденный рейс в Лос-Анджелес. Сэмюэл встречается здесь с Гаем Перивинклом, своим редактором и издателем. По телевизору, который висит у Сэмюэла над головой, без звука

крутят новости, где показывают, как его мать бросает камнями в губернатора Пэкера.

Он старается не смотреть на экран. Слушает звуки аэропорта: в кофейне выкрикивают имена посетителей, чей заказ готов, по громкой связи сообщают об угрозе террористических актов и о том, что нельзя оставлять вещи без присмотра, плачут дети, свистит пар, булькает молоко. Рядом с кофейней – чистка обуви: два высоких, как троны, кресла, у подножия которых сидит чистильщик, чернокожий паренек, и читает книгу. На чистильщике униформа сообразно его занятию: подтяжки, бейсболка, кепка газетчика – условный ансамбль начала двадцатого века. Сэмюэл ждет Перивинкла, который хочет почистить обувь, но не решается.

– Я белый в дорогом костюме, – поясняет Перивинкл, рассматривая чистильщика. – Он – меньшинство в ретро-наряде.

– И при чем тут это? – недоумевает Сэмюэл.

– Не нравится мне эта картинка. Противен сам образ.

Сегодня днем Перивинкл в Чикаго, но проездом в Лос-Анджелес. Его секретарь позвонил Сэмюэлу и сказал, что Перивинкл хочет с ним встретиться, но свободное время у него будет только в аэропорту. Поэтому секретарь купил Сэмюэлу билет в один конец до Милуоки, пояснив, что при желании Сэмюэл, конечно, может туда полететь, но вообще это нужно лишь для того, чтобы охрана пропустила в аэропорт.

Перивинкл не сводит глаз с чистильщика обуви.

– Знаете, что самое противное? Камеры в мобильных телефонах.

– Мне никогда не чистили обувь.

– Нечего носить кроссовки, – не глядя на ноги Сэмюэла, бросает Перивинкл.

То есть за считанные минуты, которые они провели вместе в аэропорту, Перивинкл подметил и запомнил, что на Сэмюэле дешевые кроссовки. И наверняка обратил внимание на что-нибудь еще.

В присутствии Перивинкла Сэмюэл всегда чувствует себя примерно так: по сравнению с издателем он кажется себе невзрачным и убогим. Перивинкл выглядит на сорок, на деле же он ровесник отца Сэмюэла: ему лет шестьдесят пять. Время над ним не властно: с возрастом он становится только круче. Осанка у него царственная, держится Перивинкл прямо и чопорно – несет себя, точно дорогой подарок в красивой тугой обертке. Носы его строгих, похожих на итальянские туфель из тонкой кожи чуть загибаются кверху. Талия сантиметров на двадцать тоньше, чем у любого взрослого мужчины в аэропорту. Галстучный узел тугой и ладный, как желудь. Седеющие волосы острижены под машинку с идеальной

точностью – ровно один сантиметр. Рядом с Перивинклом Сэмюэл всегда кажется себе огромным и неуклюжим. Готовая одежда велика примерно на размер и сидит мешком. Безупречный костюм Перивинкла облегает тело, подчеркивая чистые углы и прямые линии. Сэмюэл на его фоне еще больше похож на бесформенный пузырь.

Перивинкл точно прожектор высвечивает все чужие недостатки. Заставляет всерьез задуматься о том, какое ты производишь впечатление. Например, Сэмюэл всегда в кафе берет капучино. При Перивинкле же заказал зеленый чай. Потому что капучино показался ему слишком пошлым, и он решил, что зеленый чай поднимет его в глазах издателя.

А Перивинкл взял капучино.

– Лечу в Эл-Эй, – сообщил он. – На съемки нового клипа Молли.

– Молли Миллер? – уточнил Сэмюэл. – Певицы?

– Именно. Мы с ней работаем. Скажем так. Сейчас она снимает новый клип. Новый альбом. Cameo в ситкоме. На подходе реалити-шоу. И мемуары, из-за которых я туда и лечу. Рабочее название “Ошибки, которые я успела натворить”.

– Ей же что-то лет шестнадцать?

– Официально семнадцать. На самом деле двадцать пять.

– Да ладно!

– Да-да. Только никому не говорите.

– И о чем книжка?

– Трудно сказать. Книга должна быть оригинальной, но в меру, чтобы не навредить имиджу, и при этом нескудной, потому что Молли у нас вроде как девушка гламурная. Книга должна быть достаточно умной, чтобы ее не назвали попсой и жвачкой для подростков, но не слишком, потому что подростки, разумеется, главная целевая аудитория. Ну и, конечно же, как в любых мемуарах знаменитостей, в ней непременно должно быть одно громкое признание.

– Непременно?

– А как же! Обязательно должно быть что-то, о чем мы расскажем газетам и журналам перед самым выходом книги, чтобы организовать шумиху. Что-нибудь пикантное, чтобы все заговорили. Я поэтому и еду в Эл-Эй. У нас мозговой штурм. Она как раз снимается в клипе. Выйдет через несколько дней. Песня совершенно идиотская. Припев такой: “Нужно из себя что-то представлять!”

– Легко запоминается. А с признанием вы уже определились?

– Я склоняюсь к невинной истории о лесбийской любви. Школьные эксперименты. Поцелуйчики с близкой подругой. В общем, чтобы и

родителей не оттолкнуть, и заслужить одобрение радужного сообщества. Она уже завоевала любовь подростков, может, удастся покорить и геев? – Тут Перивинкл делает жест, как будто случился взрыв. – Ба-бах! – говорит он.

Именно Перивинкл помог Сэмюэлу добиться успеха. Перивинкл вывел его в люди, заключил с ним щедрый контракт на книгу. Сэмюэл тогда учился в колледже, а Перивинкл объезжал университеты по всей стране в поисках новых авторов – юных дарований, чьи имена можно было бы раскрутить. Он ухватился за Сэмюэла, прочитав один-единственный его рассказ. Перивинкл опубликовал этот рассказ в одном из самых популярных журналов. Потом заключил с Сэмюэлом договор на книгу, который принес ему заоблачный гонорар. Сэмюэлу лишь надо было эту книгу написать.

Чего он, разумеется, так и не сделал. Это было десять лет назад. Они с издателем встретились впервые за многие годы.

– Как дела в книжном бизнесе? – поинтересовался Сэмюэл.

– Книжный бизнес. Ха. Забавно. Дело в том, что я больше не занимаюсь собственно книгами. По крайней мере, в традиционном понимании. – Он достает из портфеля визитку. “Гай Перивинкл. Автор сенсаций”. Ни логотипа, ни контактной информации.

– Так что я теперь производством занимаюсь, – поясняет Перивинкл. – Выстраиваю проекты.

– Но не книги.

– И книги тоже, конечно. Но главным образом я отвечаю за сенсации. Интерес. Внимание публики. Соблазн. Книга лишь упаковка, контейнер. Вот что я понял. Те, кто занимается книжным бизнесом, полагают, будто их работа – делать хорошую упаковку. Это ошибка. Издатель, который говорит, что занимается книгами, все равно что винодел, который “занимается бутылками”. На самом деле мы рождаем интерес. А книга – всего лишь форма, которую принимает сенсация, когда мы рассчитали, как лучше ее использовать.

В телевизоре наверху ролик про щебень для Шелдона как раз дошел до того момента, когда телохранители губернатора бросаются на мать Сэмюэла и вот-вот повалят ее на землю. Сэмюэл отворачивается.

– То, чем я занимаюсь, скорее можно назвать мультимодальной межплатформенной синергией, – вещает Перивинкл. – Мою компанию давным-давно поглотило другое издательство, которое, в свою очередь, поглотило еще более крупное издательство, и так далее, как на тех автомобильных наклейках с рыбами. Теперь нами владеет международная

группа компаний, которая издает массовую литературу, занимается кабельным телевидением, радиовещанием, звукозаписью, кинопроизводством, политическими технологиями, имиджмейкерством, рекламой и пиаром, журналами, полиграфией и авторскими правами. И вроде бы еще перевозкой грузов. Помимо прочего.

– Как много всего.

– Ну а я что-то вроде центра циклона, вокруг которого крутятся все наши медийные дела.

Перивинкл поднимает глаза и смотрит ролик о нападении на Пэкера, который крутят в десятый раз. В окошечке с левой стороны экрана ведущий передачи, консерватор, что-то неслышно комментирует.

– Эй! – окликает Перивинкл бармена. – Сделайте погромче.

Миг – и появляется звук. Они слышат, как ведущий спрашивает, можно ли считать нападение на Пэкера единичным случаем или же это начало перемен.

– Ну разумеется, начало перемен, – откликается один из гостей. – Вот так и ведут себя либералы, когда их загонишь в угол. Они нападают.

– Все это очень напоминает Германию конца тридцатых годов, – произносит другой. – Сначала пришли за патриотами, но я молчал.

– Именно так! – вторит ему ведущий. – Если мы будем молчать, никто не вступится за нас, когда придут за нами. Пока не поздно, мы должны положить этому конец.

Все согласно кивают. Перерыв на рекламу.

– Ничего себе, – Перивинкл улыбается и качает головой. – Хотел бы я познакомиться поближе с той, что напала на Пэкера. Отличная вышла бы история, и рассказать нескучно.

Сэмюэл отпивает из чашки и ничего не отвечает. Чай перестоял и чуть горчит.

Перивинкл смотрит на часы, переводит взгляд на выход, возле которого уже топчутся пассажиры – еще не в очереди, но готовы, чуть что, броситься и занять в ней место.

– Как ваша работа? – спрашивает Перивинкл. – Все еще преподаете?

– Пока да.

– В том же... месте?

– Да, в том же университете.

– И сколько вы там получаете, тысяч тридцать в год? Так вот вам мой совет. Не возражаете?

– Нет, что вы.

– Сваливайте отсюда.

– Что?

– Поезжайте за границу. Выберите какую-нибудь уютненькую страну третьего мира и рубите бабки.

– Разве так можно?

– Еще бы, конечно. У меня так брат устроился. Работает в Джакарте учителем математики в школе и тренером по футболу. До этого жил в Гонконге. А еще раньше в Абу-Даби. Частные школы. В основном дети членов правительства и бизнес-элиты. Он там получает двести тысяч в год плюс оплата проживания плюс машина и личный шофер. Ваш университет оплачивает вам машину с личным водителем?

– Нет.

– Клянусь богом, любой недоучка, который решает остаться в Америке и преподавать, просто не в своем уме. В Китае, Индонезии, на Филиппинах, на Ближнем Востоке такого специалиста, как вы, с руками оторвут. Выбирай не хочу. В Америке учителя получают мало, работают за двоих, политики регулярно прохаживаются на их счет, а ученики не уважают. Там же вы будете настоящим героем. Вот вам мой совет.

– Спасибо.

– И лучше бы вам его принять, потому что у меня для вас плохие новости.

– Что случилось?

Перивинкл глубоко вздыхает, кивает и, точно клоун, делает кислую мину.

– Мы, к сожалению, вынуждены разорвать с вами договор. Вот это я и хотел вам сообщить. Вы обещали нам книгу.

– И я над ней работаю.

– Мы выплатили вам солидный аванс, а книгу вы нам так и не отдали.

– Вышла заминка. Маленький творческий кризис. Я скоро все допишу.

– По договору издательство имеет право потребовать возместить расходы, если книга не будет написана. В общем, вам придется вернуть нам деньги. Я хотел сообщить вам об этом лично.

– Лично. В кафе. В аэропорту.

– Разумеется, если вы не сможете отдать деньги, нам придется подать на вас в суд. На следующей неделе наша компания обратится в верховный суд штата Нью-Йорк.

– Но книга вот-вот будет готова. Я снова пишу.

– Рад за вас! Потому что мы отказываемся от всех прав на любые материалы, которые имеют отношение к вышеупомянутой книге, так что вы вольны делать с ней что угодно. Мы желаем вам удачи.

– И на какую сумму вы собираетесь предъявить мне иск?

– Аванс плюс проценты и судебные издержки. Хорошая новость в том, что на вас мы ничего не потеряем, чего не скажешь о многих других наших вложениях. Так что не мучьте себя чувством вины. У вас ведь остались те деньги?

– Нет, конечно, откуда? Я дом купил.

– И сколько вы за него должны заплатить?

– Триста тысяч.

– А сейчас он сколько стоит?

– Тысяч восемьдесят.

– Ха! Такое могло быть только в Америке!

– Послушайте, мне ужасно стыдно, что я так затянул с книгой, но я вот-вот ее допишу, обещаю.

– Как бы помягче это сказать? В общем, нам уже не нужна эта книга. Мы заключали с вами договор в другом мире.

– Почему в другом?

– Ну, во-первых, о вас уже все забыли. Железо надо было ковать, пока горячо. А ваше железо, мой друг, давным-давно остыло. И дело не только в вас – сама страна изменилась. Ваша причудливая история о детской любви была уместна до событий 11 сентября, а сейчас... Сейчас она малость скучна и нелепа. Да и сами вы ничем не примечательны, уж не обижайтесь.

– Спасибо.

– Не поймите меня неправильно. Тот интерес, о котором я говорю и которым занимаюсь, представляет один человек из миллиона.

– Боюсь, у меня не получится вернуть вам деньги.

– Вообще не проблема. Отдайте дом банку, скройте активы, объявите себя банкротом и езжайте жить в Джакарту.

Громкая связь, потрескивая, сообщает: “Пассажиры первого класса на рейс в Лос-Анджелес могут пройти на посадку”. Перивинкл разглаживает костюм.

– Это мне, – говорит он, залпом допивает кофе и встает. – Мне жаль, что так получилось. Правда. Лучше бы нам не пришлось доводить до такого. Может, у вас есть что предложить, что-нибудь интересное?

Сэмюэл знает: ему есть что им предложить. Кое-что ценное. Ничего другого у него для Перивинкла нет. Сейчас это вообще единственное, чем он может заинтересовать.

– А если я скажу вам, что у меня есть новая книга, – произносит Сэмюэл, – другая книга?

– Тогда я отвечу, что мы подадим против вас еще один иск. Потому что,

когда по договору вы должны были писать книгу для нас, вы тайно работали над книгой для кого-то другого.

– Я еще над ней не работал. Пока что не написал ни слова.

– И каким боком это “книга”?

– А это и не книга. Скорее, проект. Хотите, расскажу?

– Хочу. Валяйте.

– Это нечто вроде откровенных мемуаров знаменитости.

– Так. И кто же эта знаменитость?

– Женщина, которая напала на Пэкера.

– Ага, как же. Мы прощупывали почву. Глухо. Она не хочет общаться ни в какую.

– А если я вам скажу, что это моя мать?

7

Значит, план таков. Они договариваются обо всем в аэропорту. Сэмюэл выполнит условия договора с издательством, написав книгу о матери – ее биографию, разоблачение, откровенные мемуары.

– Гнусная история о сексе и жестокости, – рассуждает Перивинкл, – написанная сыном, которого она бросила? Вот это я точно продам!

Книга расскажет о темном прошлом Фэй Андресен, участии в демонстрациях протеста, занятиях проституцией, о том, как она бросила семью, скрывалась и вышла из подполья лишь для того, чтобы напасть на губернатора Пэкера.

– Книгу выпустим перед выборами: так она будет лучше продаваться, – поясняет Перивинкл. – Пэкера надо будет представить американским героем. Таким народным мессией. Не возражаете?

– Нет.

– Кстати, эта часть у нас уже есть.

– В смысле – есть? – удивляется Сэмюэл.

– Про Пэкера. Ее уже написали. Все готово. Примерно сотня страниц.

– Разве так можно?

– Ну а почему нет, пишут же некрологи задолго до смерти знаменитостей. Вот и здесь то же самое. Мы работали над его биографией, и нам нужно было лишь определиться с тем, под каким соусом все это подать. Поэтому мы на время отложили ее в загашник. Иными словами, половина вашей книги уже готова. Другая половина будет о вашей матери. Она, разумеется, выступает в роли злодея. Вы же это понимаете, так?

– Понимаю.

– И вы сможете об этом написать? У вас получится представить ее в

черном цвете? Не возникнет проблем ни с моральной, ни с этической точки зрения?

– Я разделаю ее под орех у всех на виду. Уговор есть уговор. Я согласен.

И глазом не моргну, думает Сэмюэл: зачем щадить женщину, которая ушла, не сказав ни слова, никого не предупредив, оставила ребенка без матери. Боль и обида, копившиеся два десятка лет, наконец-то найдут выход.

Сэмюэл звонит адвокату матери и сообщает, что передумал. Говорит, что с радостью напишет письмо судье в ее поддержку и хотел бы пообщаться с ней, чтобы узнать главное. Адвокат диктует ему чикагский адрес матери и договаривается с ней о встрече на следующий день. Сэмюэл всю ночь не спит, не находит себе места от волнения, все воображает, как увидит мать впервые с тех пор, как она ушла. Он не видел ее двадцать лет, а теперь должен за день подготовиться к встрече – как-то это нечестно.

Сколько раз он себе это представлял? Сколько сцен встречи после разлуки разыграл у себя в голове? И в каждой из тысяч, миллионов таких фантазий он неизменно доказывает матери, как умен и успешен. Он взрослый, солидный, зрелый человек. Умудренный опытом и счастливый. Он демонстрирует ей, что живет насыщенной жизнью, а о матери и думать забыл. Он показывает ей, что она ему *даром не нужна*.

В его мечтах мать всегда умоляет ее простить, а он не плачет. И так каждый раз.

Но как оно будет на самом деле? Сэмюэл понятия не имеет. Лезет в Гугл. До глубокой ночи сидит на сайтах для детей, которых бросили родители. Сайты пестрят жирным шрифтом, заглавными буквами, гифками с улыбающимися и хмурыми рожицами, медведями и ангелочками. Сэмюэл просматривает сайты, удивляясь больше всего тому, что у всех одни и те же проблемы: брошенные дети испытывают острое чувство стыда, вины и смятения, оставившего их родителя обожают и ненавидят одновременно, страдают от одиночества и саморазрушительного желания изолироваться от мира. Ну и так далее. Все равно что смотреть в зеркало. Ему показали все его тайные слабости, и Сэмюэл смутился. Из-за того, что другие испытывают те же чувства, что и он, Сэмюэл кажется себе неоригинальным, заурядным, вовсе не той выдающейся личностью, которой должен быть, чтобы доказать матери ее ошибку.

Ближе к трем часам ночи Сэмюэл ловит себя на том, что добрых пять минут таращится на одну и ту же гифку – плюшевого мишку, который заключает кого-то в виртуальные объятия: медведь то разводит лапы в

стороны, то сводит их, и так до бесконечности – предполагается, что зверь будто бы обнимает, но Сэмюэлу кажется, что мишка ехидно аплодирует, точно смеется над ним.

Сэмюэл уходит из-за компьютера и засыпает на несколько часов. Спит он беспокойно, на рассвете просыпается, принимает душ, выпивает почти целый кофейник кофе и садится в машину, чтобы ехать в Чикаго.

Город рядом, но последнее время Сэмюэл редко там бывает и теперь вспоминает почему: чем ближе он подъезжает к Чикаго, тем агрессивнее и злее ведут себя водители на дороге – снуют из ряда в ряд, подрезают, висят на хвосте, сигналият, мигают фарами, – словом, все их личные травмы на публике принимают небывалый масштаб. Сэмюэл ползет со всеми в медленном потоке ненависти. Его мучит неотвязная тревога, что перед нужным съездом не удастся перестроиться в крайний правый ряд. Стоит включить поворотник, как те, кто едет по соседней полосе, тут же ускоряются и не пускают его. Мало где в Америке люди ведут себя так недружелюбно, эгоистично и равнодушно, мало где они так слабо готовы жертвовать чем бы то ни было во имя общего блага, как в час пик на бесплатном шоссе в Чикаго. Чтобы в этом убедиться, достаточно понаблюдать за сотней машин в крайнем правом ряду, которые стоят в очередь на нужный Сэмюэлу съезд. Некоторые объезжают очередь и втискиваются в любую щелочку перед терпеливо ждущими водителями, те, разумеется, бесятся, и не только потому, что теперь придется ждать дольше: куда больше их злит, что этот козлина не стал ждать, как все, не мучился, как они, а еще к злости примешивается глухое раздражение на самих себя за то, что стоят в очереди, как лохи.

Поэтому водители орут, показывают друг другу неприличные жесты и тормозят в считанных сантиметрах от бампера передней машины. Чтобы ни один умник не пролез. Они не пускают никого. Сэмюэл делает так же: ему кажется, что если он пропустит хоть кого-то вперед себя, то подведет всех, кто стоит за ним. Так что, как только очередь приходит в движение, он жмет на газ так, чтобы никому и щелочки не оставить. Так они ползут к съезду, пока Сэмюэл, заглядевшись в боковое зеркало, не собирается ли кто его подрезать, чуть притормаживает, так что между ним и передней машиной появляется просвет, тут же замечает, что по левой полосе его обгоняет какой-то наглый BMW, который как пить дать попытается втиснуться, нечаянно бьет по газам и чуть касается чужого бампера.

Такси. Водитель выскакивает из машины и орет: “Ах ты мудака! Козлина! Сволочь!”, показывая пальцем на Сэмюэла, как будто хочет подчеркнуть, что это именно он, Сэмюэл, и никто другой, мудака, козлина и

сволоочь.

– Извините! – вскидывает руки Сэмюэл.

Очередь останавливается, водители задних машин стонут, давят на клаксоны, кричат от усталости и раздражения. В просвет перед такси, пользуясь заминкой, тут же устремляются ловкачи. Таксист подходит к закрытому окну Сэмюэла и говорит: “Я тебе сейчас жопу на тряпки порву, слышь ты, мудила!”

И харкает на стекло.

Всем телом отклоняется назад, как будто хочет придать плевку хорошее ускорение, и извергает изо рта склизкий комочек, который шлепается Сэмюэлу на стекло и прилипает – не стекает вниз, а висит, как макаронина на стене. Желтоватая пузырчатая харкотина с крошками пережеванной пищи и жуткими каплями крови, похожая на зародыш в яйце. Таксист, довольный собой, садится в машину и уезжает.

Остаток пути до района Саут-Луп, где живет мать, комок из слизи и соплей на стекле сопровождает Сэмюэла, точно пассажир. Такое ощущение, будто Сэмюэл едет с убийцей и боится лишний раз встретиться с ним взглядом. Он ловит краем глаза мутную белесую расплывчатую полутьню, съехав с шоссе на узкую улочку, где в сточных канавах тут и там валяются пакеты и пластиковые стаканчики из фастфудов, минует автовокзал и заросший сорняками пустырь, где, похоже, планировали возвести многоэтажный дом, но забросили стройку, едва заложили фундамент, переезжает через мост, под которым ветвится железная дорога, некогда обслуживавшая здешние многочисленные бойни, к югу от центра Чикаго – отсюда отлично виден небоскреб, прежде считавшийся самым высоким зданием на свете, здесь, в одном из самых оживленных мясоперерабатывающих районов в мире, – и направляется к дому матери, бывшему складу возле железнодорожных путей с огромной вывеской “СДАЮТСЯ ЛОФТЫ” наверху, и все время, пока он рулит по этому кварталчику, внимание Сэмюэла приковано к липкому пятну на стекле. Поразительно, как оно держится, – точно эпоксидный клей, которым чинят пластмассу. Сэмюэла умиляет сила человеческого организма. И пугает этот район. На улицах буквально ни души.

Сэмюэл паркует машину и сверяет адрес. У двери подъезда висит домофон. Рядом с ним на полоске пожелтевшей бумажки линялыми светло-розовыми чернилами написано имя его матери: Фэй Андресен.

Он нажимает на звонок, который не издает ни звука, и Сэмюэл решает, что тот – старый, ржавый, с торчащими проводами – должно быть, сломан. Кнопка напротив фамилии его матери застревает на миг, прежде чем

податься с громким щелчком, и Сэмюэл понимает, что на нее давно никто не нажимал.

Его осеняет, что мать тут давно, что она жила здесь все эти годы. Ее имя было здесь на полоске залитой солнцем бумаги, у всех на виду. Сэмюэлу это кажется неприемлемым. После ухода мать должна была перестать существовать.

Дверь открывается с тяжелым стуком, как будто железо прилипло к магниту.

Он входит в подъезд. Внутри, за пределами тамбура и вестибюля с рядами почтовых ящиков, здание выглядит недостроенным. Плитка на полу вдруг сменяется настилом. Кажется, что стены не побелили, а только загрунтовали. Сэмюэл поднимается на три лестничных марша. Находит дверь – голую деревянную дверь, некрашеную, неполированную, словно только что из строительного магазина. Он и сам не знает, чего ожидал, но уж точно не этой пустоты. Не такой безликой двери.

Он стучит в дверь. Изнутри доносится голос. Это голос его матери:

– Открыто, – говорит она.

Он толкает дверь. Из коридора видно, что квартира залита солнцем. Голые белые стены. Смутно знакомый запах.

Он мнетя на пороге. Не может заставить себя войти в дверь, вернуться в мамину жизнь. Спустя миг она произносит откуда-то из глубин квартиры:

– Ну давай, – говорит мать. – Не бойся.

Он едва не ломается, услышав эти слова. Нахлынули воспоминания, и Сэмюэл увидел, как мама пасмурным утром сидит у его постели. Ему одиннадцать лет, скоро она уйдет и никогда не вернется.

Эти слова прожигают его насквозь. Десятилетия спустя воскрешают в памяти робкого мальчишку, каким он когда-то был. “Не бойся”. Это было последнее, что ему сказала мама.

Часть вторая. Призраки прежней ЖИЗНИ

Август 1988 года

1

Сэмюэл плакал в своей комнате – тихонько, чтобы не услышала мама. Даже еще не плакал, а ходил на цыпочках вокруг настоящего плача: так, чуть хныкал, прерывисто дышал и кривил лицо. Это был плач первой категории: легкий, почти незаметный, приносящий облегчение, очистительный, когда слезы наворачиваются, но еще не текут по щекам. Плач второй категории обычно вызывали эмоции – смущение, стыд, разочарование. Поэтому первая категория могла смениться второй от одного лишь чужого присутствия: Сэмюэл стыдился своих слез, того, что он такой плакса, и заходился уже всерьез – заливался слезами, всхлипывал, шмыгал носом. Но даже такому плачу было далеко до третьей категории, когда он принимался реветь в голос, из глаз катились слезы размером с дождевые капли, из носа текли сопли, он судорожно вздыхал и инстинктивно искал, куда бы спрятаться. Четвертая категория превращалась в истерику, а о пятой было страшно подумать. Классификацию плачей ему подсказал школьный психолог – по аналогии с категориями ураганов.

В тот день ему хотелось выплакаться. Он сказал маме, что пойдет к себе почитать: это было в порядке вещей. Большую часть времени Сэмюэл просиживал в своей комнате один-одинешенек с очередной книгой-игрой из серии “Выбери приключение”, купленной в передвижном книжном. Ему нравилось, как книги смотрелись на полке, все вместе, однотипные, с бело-красными корешками и заголовками вроде “Затерянные на Амазонке”, “Путешествие в Стоунхендж” и “Планета драконов”. Ему нравились расходящиеся тропинки в книгах, и когда нужно было принять очень трудное решение, мальчик закладывал страницу большим пальцем и читал, что будет дальше, чтобы убедиться, можно ли так поступить. В книгах были ясность и симметрия, которых так не хватало в действительности. Иногда он представлял, что его жизнь – одна из книг серии “Выбери приключение”, и чтобы история сложилась удачно, нужно всегда делать правильный выбор. Это помогало упорядочить непредсказуемый и зыбкий

мир, который в большинстве случаев пугал Сэмюэла.

Он сказал маме, что почитает, на самом же деле залился плачем первой категории, который так хорошо успокаивал. Сэмюэл и сам не знал, почему плачет: было в атмосфере дома нечто такое, отчего тянуло спрятаться.

Последнее время, думал Сэмюэл, дома стало невыносимо.

Дом, как ловушка, удерживал все, что в него проникало: зной летнего дня, запах их собственных тел. Августовская жара обволакивала, Иллинойс плавился под солнцем. Все горело. Воздух стыл, точно густой клей. Свечи оплывали. Стебли гнулись под тяжестью цветов. Все увядало. Все чахло.

Стоял август 1988 года. Впоследствии Сэмюэл будет вспоминать этот месяц как последний, проведенный с матерью. К концу августа она исчезнет. Но он этого пока что не знал. Чувствовал лишь, что хочется плакать по совершенно определенным абстрактным причинам: жарко, страшно, и мама как-то странно себя ведет.

Он ушел к себе. И плакал, чтобы все прошло.

Но мама слышала, что он плачет. Стояла такая тишина, что она слышала, как сын плачет наверху. Мама открыла дверь в его комнату и спросила: “Солнышко, что с тобой?”, отчего он расплакался еще сильнее.

Она знала, что в такие минуты ни в коем случае нельзя говорить: “Ну вот, слезы в три ручья”, а лучше вообще никак не реагировать, потому что иначе сын будет реветь без остановки, и кончится все это – как бывало не раз, когда ей не удавалось скрыть раздражения из-за его затяжного плача, – тем, что он начнет задыхаться, рыдать в голос и долго не сможет утешиться. Поэтому она произнесла так ласково, как только могла:

– Что-то есть хочется. Ты не проголодался? Поехали перекусим.

Мамины слова немного успокоили Сэмюэла, так что он согласился переодеться и сел в машину практически без слез – лишь икота напоминала о недавнем плаче. Они приехали в кафе, Фэй увидела рекламу “Купи два гамбургера, получи третий в подарок” и сказала: “Отлично, возьмем гамбургеры. Будешь гамбургер?” Сэмюэл, всю дорогу мечтавший о куриных наггетсах с горчичным соусом, испугался, что если не согласится, то расстроит маму. Он кивнул и остался ждать в раскаленной машине, пока Фэй ходила за бургерами. Мальчик пытался уговорить себя, что на самом деле хотел гамбургер, но чем больше он думал об этом, тем отвратительнее ему казался этот бургер: черствая булка, прокисшие огурцы и лук, порезанный ровными кольцами толщиной с дождевого червя. Мать еще не вернулась, а его уже тошнило при мысли о гамбургере. По дороге домой он изо всех сил сдерживал подступавшие слезы, но мама услышала, как он шмыгает носом, спросила: “Что с тобой, солнышко?”, Сэмюэл выдавил “Не

хочу бургер!” и зашелся оглушительным ревом третьей категории.

Фэй молча развернула машину. Сэмюэл всхлипывал, уткнувшись лицом в нагретое пассажирское сиденье.

Дома они молча поели. Сэмюэл с мамой сидели на жаркой кухне. Развалясь на стуле, мальчик дожевывал последний кусок курицы. Окна были распахнуты настежь в надежде хоть на какой-нибудь ветерок, но стояла тишь. Вентиляторы гоняли по дому горячий воздух. Сэмюэл с мамой смотрели, как под потолком описывает круги муха – единственная в комнате, кто подавал признаки жизни. Муха врезалась в стену, потом в сетку на окне, а потом вдруг ни с того ни с сего упала. Насекомое стукнулось о кухонный стол, точно стеклянный шарик.

Сэмюэл с мамой посмотрели сперва на крохотное черное тельце, лежавшее на столе, потом друг на друга. “Неужели это не сон?” Сэмюэл скривился от страха. Вот-вот расплачется. Нужно было его срочно отвлечь. Маме пришлось вмешаться.

– Пошли погуляем, – предложила Фэй. – Возьми свою машинку. Положи в нее девять любимых игрушек.

– Зачем? – он уставился на нее круглыми, испуганными, блестящими от слез глазами.

– Делай, что я говорю.

– Ладно, – согласился он, и на пятнадцать минут Фэй удалось его отвлечь.

Ей казалось, что ее главная материнская задача в том, чтобы отвлекать внимание Сэмюэла. Только он соберется расплакаться, как она тут же что-то придумывает, чтобы его успокоить. Почему именно девять игрушек? Потому что Сэмюэл был педантичен, маниакально бережлив и аккуратен, любил во всем порядок: например, держал под кроватью обувную коробку с десятью любимыми игрушками. Обычно там лежали фигурки персонажей “Звездных войн” и модели автомобилей. Время от времени он перебирал игрушки, заменяя одни на другие. Но коробка неизменно стояла под кроватью. И Сэмюэл всегда помнил, какие в ней сейчас любимые игрушки.

Фэй попросила его взять девять игрушек, потому что ей было интересно: какую же из них он оставит дома?

Сэмюэл не спрашивал себя, для чего это нужно. Почему именно девять игрушек? Зачем вообще брать их на улицу? Ему дали задание, и он его выполнял. Его не заботило, что в приказе нет логики.

Фэй расстроилась, что сына так легко обдурить.

Ей очень хотелось, чтобы он был похитрее. Чтобы не давал обвести

себя вокруг пальца. Чтобы почаще огрызался. Ей хотелось, чтобы он был упрямее, задиристее. Но Сэмюэл не такой. Он всегда делал, что ему говорят. Как маленький робот-бюрократ. Фэй смотрела, как Сэмюэл пересчитывает игрушки, выбирает, которого из двух Люков Скайуокеров взять с собой – то ли с биноклем, то ли со световым мечом, – и думала, что должна бы гордиться сыном. Тем, что он такой внимательный и нежный ребенок. Но у его нежности была оборотная сторона: ранимость. Чуть что, сразу в слезы. Расстраивается из-за всякой ерунды. Тонкокожий, как виноград. Она же, в свою очередь, порой обходилась с ним слишком сурово. Ее раздражало, что он так всего боится. Ей не нравилось видеть в нем, как в зеркале, собственные недостатки.

– Мамочка, я готов, – сказал Сэмюэл.

Фэй насчитала в кузове его машинки восемь игрушек: оказывается, обоих Люков Скайуокеров он оставил дома. Но игрушек оказалось всего восемь, а не девять. Он не выполнил один-единственный простейший приказ. Фэй уже и сама не понимала, чего хотела от сына. Она злилась, когда он слепо ее слушался, но сейчас она злилась из-за того, что он ее не послушал. Ей показалось, что она сходит с ума.

– Пошли, – проговорила Фэй.

Снаружи стояла невообразимая тишь и липкая жара. Ни ветерка, лишь марево над крышами и асфальтом. Они шагали по широкой улице, которая вилась по их микрорайону, там и сям ветвясь на короткие тупики. Квартал казался безликим. Повсюду выгоревшая до хруста трава на газонах, ворота гаражей и дома, построенные по одним и тем же проектам: на заднем плане входная дверь, а гараж – на переднем, как будто дом пытался спрятаться за гаражом.

Однообразные гладкие бежевые ворота гаражей, казалось, воплощали сущность пригородов, их тоску и одиночество, размышляла Фэй. Широкое крыльцо выпускает в мир, а гаражные ворота от него отрезают.

Как она вообще здесь оказалась?

Из-за мужа, вот как. Это Генри привез их на улицу Оукдейл-лейн в Стримвуде, одном из множества неразличимых пригородов Чикаго. До этого они сменили немало тесных квартир на две спальни в глухих агропромышленных уголках Среднего Запада, пока Генри карабкался по служебной лестнице в выбранной сфере деятельности: производство готовой замороженной еды. В конце концов они осели в Стримвуде, и Генри заявил, что отсюда они уже не сдвинутся, поскольку за такую должность стоит держаться: он стал заместителем вице-президента по исследованиям и разработкам в подразделении замороженных продуктов.

В день переезда Фэй сказала: “Ну вот, похоже, и все”, потом повернулась к Сэмюэлу и добавила: “Видимо, здесь пройдет твое детство”.

Тоже мне Стримвуд^[12], думала Фэй, шагая по улице. Ни лесов, ни ручьев.

– Все-таки эти гаражные ворота... – проговорила она, обернулась и увидела, что Сэмюэл уставился на асфальт перед собой. Он так увлеченно его рассматривал, что не слышал ее слов.

– Да и бог с ним, – сказала она.

Сэмюэл тянул за собой машинку, и ее пластмассовые колеса тарахтели по тротуару. Иногда под колесо попадал камешек, машинка резко останавливалась, и Сэмюэл чуть не падал от рывка. Каждый раз, как это случалось, ему казалось, что он огорчает маму, поэтому вглядывался в тротуар, отпихивал с дороги камешки, кусочки мульчи и коры, стараясь не бить по ним слишком сильно, чтобы ботинок не застрял в какой-нибудь трещине и он не упал, ни обо что не споткнувшись, а просто неправильно поставив ногу: Сэмюэл боялся, что это тоже огорчит маму. Он старался не отставать от нее, поскольку, если отстанет и ей придется ждать, пока он ее догонит, она может расстроиться, но и шагать так быстро он тоже не мог, ведь тогда какая-нибудь из восьми игрушек вывалится из кузова, и мама уж точно расстроится из-за его неуклюжести. Так что ему приходилось стараться идти в правильном темпе, чтобы не отстать от мамы, а там, где асфальт неровный или с трещинами, замедлять шаг, и смотреть под ноги, чтобы не наступить на какой-нибудь мусор и отбросить его с дороги, при этом не споткнувшись, и если бы у него все это лучше получалось, день был бы удачнее. Нужно постараться все исправить. Поменьше разочаровывать маму. Загладить вину за то, что случилось сегодня, когда он опять разревелся, как малыш.

Теперь ему было стыдно за себя. Он понимал, что вполне мог бы съесть бургер, что устроил истерику на пустом месте, что бургер наверняка оказался бы вкусным. Его мучила вина за случившееся. И то, что мама просто развернула машину, вернулась в кафе и купила ему куриные наггетсы, казалось Сэмюэлу героическим и добрым поступком. Ему вот никогда не стать таким добрым. Потому что он эгоист. Стоит ему зареветь, как он тут же получает свое, хотя плачет вовсе не специально. Сэмюэл гадал, как объяснить маме: будь это в его силах, он бы никогда больше не пролил ни слезинки и ей не пришлось бы часами его успокаивать или потакать его глупым капризам.

Ему хотелось сказать ей об этом. Он пытался подобрать слова. Мама же смотрела на деревья. На дуб, который рос у соседа во дворе. Ветки дуба

высохли и уныло склонились до земли, как и вся растительность в округе. Листья выгорели до янтарной желтизны. Стояла такая тишина, что не было слышно ни звука: ни звона китайских колокольчиков, ни пения птиц, ни лая собак, ни детского смеха. Мама разглядывала верхушку дерева. Сэмюэл остановился и тоже уставился туда.

– Видишь? – спросила мама.

Сэмюэл не понял, что именно он должен был увидеть.

– Дерево? – уточнил он.

– Почти на самом верху. Видишь? – она показала, куда нужно смотреть. – Вон там. Листик.

Сэмюэл посмотрел, куда указывала мама, и заметил одинокий лист, не похожий на остальные. Зеленый, мясистый, он стоял прямо и трепетал, точно на сильном ветру, бился пойманной рыбкой. Единственный из всех листьев на дубе. Остальные застыли в неподвижном воздухе. Повсюду в окрестностях стояла тишь, а этот лист дрожал как одержимый.

– Знаешь, что это такое? – проговорила мама. – Это призрак.

– Правда? – спросил Сэмюэл.

– В этот листик вселилась чья-то душа.

– А разве душа может вселиться в листик?

– Во что угодно может. И в листик тоже.

Сэмюэл смотрел, как листик вертится, точно его привязали к воздушному змею.

– А почему он так крутится? – спросил он.

– Это чья-то душа, – пояснила мама. – Мне папа рассказывал. Старая легенда. Он ее слышал еще в детстве, в Норвегии. Это душа того, кто для рая оказался слишком плох, а для ада – слишком хорош. Вот и застрял посередине.

Сэмюэл раньше не думал, что так бывает.

– Он не знает покоя, – продолжала мама. – И хочет вырваться отсюда. Может, он был хорошим человеком и совершил один-единственный плохой поступок. Или за ним водилось множество грехов, но он в них раскаялся. А может, он и не хотел плохо себя вести, но не сумел с собой справиться.

Тут Сэмюэл снова разревелся. Лицо его скривилось, по щекам ручьем побежали слезы. Потому что он постоянно совершал плохие поступки. Фэй, увидев, что сын плачет, зажмурилась, потерла пальцами виски и закрыла лицо рукой. Сэмюэл понял, что исчерпал мамино терпение, она больше не выдержит, и плакать из-за плохих поступков – тоже плохой поступок.

– Солнышко, – наконец произнесла мама, – почему ты плачешь?

Ему хотелось объяснить, что больше всего на свете он мечтает никогда не плакать. Но Сэмюэл не смог этого сказать. Он лишь выдавил сквозь слезы и сопли нечто невразумительное:

– Я не хочу стать листиком!

– Как тебе такое в голову взбрело? – изумилась Фэй.

Она взяла сына за руку и потащила домой. Тишину квартала нарушали только всхлипы Сэмюэла да тарактенье колес его машинки. Фэй отвела его в детскую и велела убрать игрушки.

– Между прочим, я просила тебя взять девять игрушек, – заметила она. – А ты взял только восемь. В следующий раз постарайся быть внимательнее.

Она сказала это с такой досадой, что Сэмюэл разревелся еще пуще, так сильно, что не мог вымолвить ни слова, иначе объяснил бы маме: он взял только восемь игрушек, потому что девятой был сам грузовик.

2

Папа Сэмюэла настаивал на том, что воскресный вечер нужно проводить “в кругу семьи”, и они обязательно ужинали вместе: собирались втроем за столом на кухне, и Генри мужественно пытался поддержать разговор. Ели они обычно блюда из специального служебного холодильника, где хранились опытные и пробные образцы. Эти были смелее, экзотичнее: манго вместо печеных яблок, сладкий картофель вместо обычного, свинина в кисло-сладком соусе вместо стейка на косточке. Попадались там и продукты, на первый взгляд, не предназначенные для заморозки: например, сэндвичи с лобстером, горячие сэндвичи с сыром или салатом из тунца.

– А знаете, что самое интересное? – спрашивал Генри. – Почти никто не покупал готовые блюда, пока в “Свонсон”^[13] не назвали их “телеужином”. Торговали ими десять лет, потом сменили название на “телеужин” – и продажи взлетели.

– Угу, – буркала Фэй, не поднимая глаз от куриной отбивной с ветчиной и сыром.

– Как будто все только и ждали, чтобы им позволили есть перед телевизором. То есть людям и самим этого хотелось, но нужно было, чтобы кто-то другой разрешил.

– Все это, конечно, безумно интересно, – говорила Фэй таким тоном, что Генри тут же замолкал.

Они ели молча, пока наконец Генри не отважился спросить, чем бы

им хотелось заняться вечером, Фэй отвечала, чтобы он шел смотреть телевизор, Генри предлагал ей сделать это вместе, но она отнекивалась: мол, еще надо убрать посуду, кое-что помыть, “так что иди, смотри без меня”. Генри вызывался ей помочь, Фэй отказывалась – вот еще, будешь путаться у меня под ногами, – тогда он говорил: может, ты отдохнешь, а я сам все уберу, и Фэй вставала из-за стола, бросив раздраженно: “Да ты даже не знаешь, где что лежит”. Генри впивался в нее таким взглядом, как будто что-то хотел сказать, но в последний момент сдержался и промолчал.

Сэмюэл полагал, что мама с папой подходят друг другу не больше, чем ложка и мешок для мусора: странно, что они вообще женаты.

– Можно я уже пойду? – спросил мальчик.

Генри с обидой смотрел на сына.

– Мы же собирались провести вечер в кругу семьи, – отвечал он.

– Иди, – разрешила Фэй.

Сэмюэл соскочил со стула и побежал на улицу. Его охватило привычное желание – спрятаться от всех. Так он чувствовал себя всякий раз, как ему передавалось царившее в доме напряжение. Он прятался в роще – скорее даже рощице, тянувшейся вдоль мутного ручейка, который протекал позади их микрорайона. Несколько коротких деревьев, росших в грязи. Прудик глубиной в лучшем случае по пояс. Ручеек, куда сливали все стоки микрорайона, так что после дождя вода подергивалась разноцветной маслянистой пленкой. В общем, выглядела рощица жалко. Но спрятаться за деревьями было можно. За ними Сэмюэла не было видно.

Если бы его спросили, чем он там занимается, он бы ответил: “Играю”, хотя едва ли это можно было назвать игрой. Сэмюэл сидел на траве в грязи, спрятавшись за листвой, подбрасывал в воздух кленовые вертолетики и смотрел, как они, кружась, опускаются на землю.

Он рассчитывал побыть у ручья часок-другой, пока не придет пора ложиться спать. Сэмюэл искал укрытие, какую-нибудь уютную ямку, где его уж точно никто не заметит. Местечко, где можно спрятаться, накрывшись ветками. Сэмюэл собирал подходящие ветки и прутья, как вдруг, когда он копался в сухих листьях и желудях под дубком, у него над головой что-то хрустнуло. Ветки затрещали, дерево заскрипело, и не успел Сэмюэл поднять глаза, как сверху кто-то спрыгнул и со стуком приземлился перед ним. Мальчишка, не старше Сэмюэла, выпрямился и впился в него взглядом. Глаза у незнакомца были зеленые, как у кошки. Он был не выше и не крупнее Сэмюэла, и уж точно не сильнее, однако присутствие его ощущалось почти физически. Казалось, мальчишка *заявлял о себе*. Он подошел ближе. Лицо у него было узкое, вытянутое; лоб

и щеки перемазаны кровью.

Сэмюэл выронил ветки. Ему хотелось убежать. Он велел себе бежать. Мальчишка шагнул к нему и вынул из-за спины нож, тяжелый серебристый тесак, каким мать Сэмюэла обычно резала мясо с костями.

Сэмюэл разревелся.

Стоял как вкопанный и рыдал, покорясь неизбежному: будь что будет. Он сразу зашелся плачем третьей категории: заливался слезами, беспомощно всхлипывал, чувствуя, как морщится лицо, как глаза вылезают из орбит, словно кто-то сзади тянет кожу на себя. Мальчишка стоял совсем рядом, и Сэмюэл видел, что кровь на его лице влажно блестит на солнце, капелька крови ползет по щеке вниз, к подбородку, спускается по шее под футболку. Сэмюэла даже не интересовало, откуда взялась эта кровь: он плакал навзрыд от одного лишь ее жуткого вида. Волосы у парнишки были короткие, с рыжиной, взгляд мертвый, непроницаемый, лицо в веснушках. Казалось, он владеет телом, как спортсмен, и так же хладнокровен. Мальчишка медленно и плавно занес нож над головой, точно маньяк, готовый поразить жертву.

– Вот это и называется удачной засадой, – произнес он. – На войне тебя бы уже убили.

Сэмюэл испустил вопль, который вобрал в себя все его горе и отчаяние – громкий крик о помощи.

– Фууу, – протянул мальчишка. – Ты такой урод, когда реवेशь. – Он опустил нож. – Я пошутил. Видишь? Все в порядке.

Но Сэмюэл не мог успокоиться. Его била истерика.

– Ну и ладно, – продолжал незнакомец. – Не хочешь, не отвечай.

Сэмюэл вытер нос рукой, размазав сопли по щеке.

– Пошли, чего покажу, – сказал мальчишка.

Он повел Сэмюэла к ручейку, а потом еще немного по берегу, к поваленному дереву у пруда. Между корнями дерева и землей образовалось углубление.

– Смотри, – он указал Сэмюэлу на импровизированный аквариум, который устроил в углублении. В аквариуме были лягушки, змея и рыбка.

– Видал? – спросил мальчишка.

Сэмюэл кивнул. Он заметил, что змея без головы. У лягушек вспорото брюхо или проткнута ножом спина. Их там было восемь или девять, все дохлые, кроме одной, которая сучила в воздухе лапами, точно ехала на велосипеде. Головы у рыб были отрезаны по жабры. Все эти дохлые твари валялись в кровавой слизи, скопившейся на дне аквариума.

– Надо будет их поджечь, – сообщил мальчишка. – Зажигалкой и

спреем от комаров. Знаешь, как это делается?

Незнакомец жестами показал, как именно: щелкнул невидимой зажигалкой и прыснул на нее.

– Садись, – сказал он. Сэмюэл сел, как ему велели. Парнишка окунул два пальца в кровь.

– Сейчас мы из тебя сделаем настоящего солдата, – пояснил он и помазал лицо Сэмюэла кровью: две полосы под глазами и одна на лбу.

– Ну вот, – подытожил мальчишка, – теперь ты один из нас. – Он воткнул нож в грязь, так что тот встал торчком. – Теперь для тебя начнется настоящая жизнь.

3

Солнце садилось, дневная жара спадала, из леса летели с жужжанием стаи комаров. Двое грязных и мокрых мальчишек вышли на опушку. Сэмюэл здесь никогда раньше не был: они шагали из его микрорайона в соседний, Венецианскую деревню. На лбу и щеках у ребят блестели мокрые полосы: они смыли лягушачью кровь водой из пруда. Мальчишки были одного роста, возраста и телосложения (невысокие, одиннадцати лет, худые и крепкие, как туго натянутые веревки), но каждому, кто их видел, было ясно, кто тут заводила. Нового знакомого Сэмюэла звали Бишоп Фолл: это он прыгал с дерева, сидел в засаде, убивал лягушек. Он рассказал Сэмюэлу, что в один прекрасный день станет генералом армии США.

– Долг, честь, отчизна, – пояснил он. – Отпор врагам. Вот мой девиз.

– Каким врагам? – уточнил Сэмюэл, оглядываясь по сторонам: ему никогда прежде не доводилось видеть таких больших домов, как в Венецианской деревне.

– Всем, какие будут, – ответил Бишоп. – Ура!

После военной академии он хотел поступить на службу – сперва лейтенантом, потом стать майором, затем полковником и, наконец, в один прекрасный день дорасти до генерала армии.

– У генерала армии категория допуска выше, чем у президента, – сообщил Бишоп. – Я узнаю все секреты.

– А мне расскажешь? – попросил Сэмюэл.

– Нет. Это же государственная тайна.

– Я никому не скажу.

– Национальная безопасность. Извини.

– Ну пожалуйста.

– Ни за что.

Сэмюэл кивнул.

– Ты будешь хорошим военным.

Оказалось, что Бишоп будет учиться вместе с Сэмюэлом в шестом классе местной начальной школы, потому что его недавно выгнали из частной школы, Академии Святого сердца, – как объяснил Фолл, за то, что “мне на все насрать”: это означало, что он слушал AC/DC в плеере, послал на хер одну из монахинь и дрался со всеми желающими, даже с мальчишками из старших классов, даже со священниками.

Академия Святого сердца, католическая przygotowательная средняя школа, была единственным учебным заведением в округе, где учились те дети, чьи родители хотели, чтобы их чада поступили в один из элитарных университетов Восточного побережья. Все родители Венецианской деревни отправляли детей учиться в Академию. Сэмюэлу прежде никогда не доводилось бывать в Венецианской деревне, но иногда во время долгих велосипедных прогулок он проезжал мимо медных парадных ворот три метра высотой. За воротами скрывались просторные виллы в романском стиле, с плоскими черепичными крышами и круговыми подъездными дорожками вокруг внушительных фонтанов. Расстояние между домами равнялось как минимум футбольному полю. В каждом дворе – бассейн. На подъездных дорожках – диковинные спортивные автомобили, или гольфкары, или и те, и другие. Сэмюэл попытался представить, кто здесь может жить: не иначе как телезвезды или профессиональные бейсболисты. Но Бишоп назвал обитателей Венецианской деревни “офисными занудами”.

– Вон у того, – Бишоп указал на одну из вилл, – страховая компания. А этот, – он ткнул пальцем на другую, – кажется, управляет банком.

В Венецианской деревне было девятнадцать домов, каждый по стандартному проекту: три этажа, шесть спален, четыре полноценных санузла, три туалета с умывальником или душем, мраморные столешницы на кухне, винный погреб на пятьсот бутылок, лифт, окна из ударопрочного стекла, выдерживавшего ураган, тренажерный зал, гараж на четыре машины, все площадью полторы тысячи квадратных метров, в каждом доме пахнет корицей из-за специального ароматизированного клея, который использовали при строительстве. Для семей, опасавшихся, что у них окажется не самый красивый дом в квартале, однотипность служила веским доводом в пользу покупки. Агенты по недвижимости любили повторять, что в Венецианской деревне нет нужды “быть не хуже других”, несмотря на то что каждая обитавшая здесь семья в прежнем своем районе считалась лучше других. Место в иерархии обозначали иными способами: устраивали на заднем дворе беседки, двухэтажные застекленные веранды и

даже теннисные корты с искусственным освещением и грунтовым покрытием. Выстроены все дома были по одному проекту, а вот оборудованы каждый по-своему.

К примеру, у одной из вилл, возле которой остановился Бишоп, на заднем дворе была гидромассажная ванна с морской водой.

– Здесь живет директор Святого сердца, – пояснил Бишоп. – Жирдяй сраный.

Мальчишка схватил себя за причинное место, показал дому средний палец и подобрал камешек, валявшийся в сточной канаве.

– Смотри, – сказал он Сэмюэлу и запустил камнем в дом директора.

Все случилось так быстро, что они и опомниться не успели. Вот уже камень в воздухе, они провожают его глазами, все как будто замедляется на мгновение, и мальчишки понимают, что он непременно попадет в дом и с этим уже ничего не поделать. Камень несся вперед на фоне огненно-красного неба, и где он приземлится, зависело только от времени и гравитации. Наконец, описав дугу, он полетел вниз, едва не зацепив ярко-зеленый “ягуар” директора на подъездной дорожке, и гулко стукнул в алюминиевый гараж прямо за машиной. Мальчишки переглянулись с ужасом и восторгом: лязг камня о ворота гаража показался им самым громким звуком в мире.

– Ни фигя себе! – крикнул Бишоп, и они, повинуясь естественному порыву, бросились наутек, как дикие звери, за которыми гонятся охотники.

Ребята мчались по Виа Венето, единственной улочке микрорайона, которая вилась почти так же, как оленья тропа в ту пору, когда здесь еще был заповедник. Тропа проходила между искусственным прудиком и широкой водосточной канавой, и этих двух водоемов хватало, чтобы напоить небольшое стадо оленей даже суровой иллинойской зимой. Потомки тех оленей по сей день забредали в Венецианскую деревню и нещадно объедали ухоженные цветочные клумбы и сады. Олени так досаждали здешним обитателям, что те каждые три месяца платили истребителю, который регулярно раскладывал отравленные лизунцы в кормушки на столбах, достаточно высокие, чтобы доставал взрослый олень (и, что самое главное, чтобы до них не дотянулись и случайно не сожрали кусок соли местные собаки весом в двенадцать и менее килограммов). Яд не убивал оленей на месте, а копился в организме: животное, почуяв скорую смерть, уходило умирать вдалеке от стада (что было удобно для жителей). Так что, помимо одинаковых почтовых ящиков с нарисованными гондолами и фонтанов перед домом, был в Венецианской деревне еще один повторяющийся архитектурный элемент – высокие кормушки с лизунцами

и надписями “ОСТОРОЖНО, ЯД! НЕ ТРОГАТЬ!”, выполненными благопристойным и элегантным шрифтом с засечками – тем же, что и на местных официальных канцелярских принадлежностях.

Район бы никогда не появился, если бы трое чикагских инвесторов не обнаружили лазейку в законе. До Венецианской деревни здесь был заповедник “Молочай”, названный так в честь вида трав, который в изобилии произрастал в округе и летом привлекал полчища бабочек-данаид. Город искал частную организацию (предпочтительно некоммерческую и/или благотворительную), которая могла бы обслуживать заповедник, ухаживать за тропинками, охранять биоразнообразие и в целом заботиться о его благополучии. В договорах, составленных городом, было указано, что покупатель не имеет права застраивать территорию, а также перепродавать ее тому, кто планирует ее застроить. Однако в договоре не было сказано ни слова о том, кому тот, второй покупатель может продать землю. Так что первый компаньон купил заповедник, продал его второму, а тот тут же перепродал третьему, который незамедлительно основал вместе с первыми двумя компанию с ограниченной ответственностью и принялся вырубать лес. Территорию бывшего заповедника “Молочай” обнесли прочной медной оградой и принялись рекламировать микрорайон среди состоятельных клиентов (из тех, кто вполне мог бы быть завсегдатаем аукциона “Сотбис”). Один из слоганов звучал так: “Здесь природа встречается с роскошью”.

Один из трех учредителей, товарный брокер, работавший и на Чикагской фондовой бирже, и на Уолл-стрит, по-прежнему жил в Венецианской деревне. Звали его Джеральд Фолл. Он был отцом Бишопа.

Джеральд Фолл, единственный во всем микрорайоне, не считая двух мальчишек, видел, как камень попал в директорский гараж, как Бишоп и Сэмюэл бежали под горку к нижней части Виа Венето, оканчивавшейся тупиком, туда, где на подъездной дорожке стоял он сам у раскрытой двери черного BMW: правой ногой Фолл уже шагнул в салон, а левая так и осталась на дорожке, которую он велел замостить блестящей брусчаткой, обошедшейся ему в круглую сумму. Он собирался уезжать, когда заметил, как сын запустил камнем в дом директора. Мальчишки увидели Фолла только когда добежали до дорожки и остановились как вкопанные: подошвы их кроссовок скрипнули по отполированному камню, как у баскетболистов в спортзале. Бишоп с отцом уставились друг на друга.

– Директор болен, – наконец произнес Фолл-старший. – Зачем ты его доводишь?

– Прости, – ответил Бишоп.

– Ему очень плохо. Он болеет.

– Я знаю.

– А если он спит, и ты его разбудил?

– Я непременно извинюсь.

– Да уж, пожалуйста.

– Ты куда? – спросил Бишоп.

– В аэропорт. Какое-то время поживу в Нью-Йорке.

– Опять?

– Не обижай сестру, когда меня не будет. – Он посмотрел на мокрые и грязные ноги мальчишек. – И не тащи грязь в дом.

С этими словами отец Бишопа уселся в машину, захлопнул дверь, мотор заурчал, и BMW, взвизгнув шинами, вырулил с подъездной дорожки.

Внутри дом Фоллов выглядел так торжественно, что Сэмюэлу расхотелось трогать что-либо руками: кипенно-белые каменные полы, люстры с хрустальными подвесками, цветы в высоких неустойчивых стеклянных вазах (того и гляди, перевернутся), на стенах – абстрактные картины в рамах, подсвеченные лампы вровень с поверхностью, массивный деревянный комод, в котором за стеклом стояло штук двадцать стеклянных снежных шаров, столешницы в комнатах натерты до зеркальности, на кухне – такие же блестящие столешницы белого мрамора; каждую комнату и коридор украшала широкая арка на коринфских колоннах с таким затейливым орнаментом наверху, что они казались мушкетерами, в которых взорвались пули, так что дула разнесло на части.

– Сюда, – сказал Бишоп.

Он привел Сэмюэла в комнату, которую иначе как “кинозалом” и не назовешь: здесь стоял телевизор с таким огромным экраном, что мальчик почувствовал себя карликом по сравнению с ним. Телевизор был выше него, и даже если бы Сэмюэл раскинул руки в стороны, экран все равно оказался бы шире. Под телевизором стоял ящик, в котором валялись напиханные как попало шнуры и провода для видеоприставок. Среди приставок торчали картриджи с играми, точно стреляные гильзы от артиллерийских снарядов.

– Любишь играть в “Метроид”, “Кастлванию” или “Супер Марио”? – спросил Бишоп.

– Не знаю.

– Я могу спасти принцессу в “Супер Марио”, и меня даже не убьют. А еще я прошел “Мега Мен”, “Дабл Драгон” и “Кид Икарус”.

– Какая разница, во что играть.

– Точно. Все равно все игры практически одинаковы. Тактика везде одна: иди направо.

Он пошарил в ящике и выудил обмотанную проводами приставку “Атари”.

– Мне больше нравится классика, – пояснил Бишоп. – Игры, которые придумали до того, как появились шаблоны. “Галага”. “Донки Конг”. Или даже “Джауст” – как ни странно, одна из моих любимых.

– Никогда в нее не играл.

– Вещь. Страусы и всякое такое. Птеродактили. Еще есть такая игра, “Сентипид”. И “Пакмэн”. Ты же играл в “Пакмэна”?

– А то!

– Классная штука, скажи? А вот еще. – Бишоп схватил картридж под названием “Миссайл Комманд” и воткнул в приставку “Атари”. – Сперва посмотри, как я играю, тогда поймешь.

В игре “Миссайл Комманд” нужно было защищать шесть городов от града межпланетных баллистических ракет. Снаряды падали на город с неприятным резким шумом, как от взрыва, и на экране появлялось яркое пятно, которое, по идее, изображало ядерный гриб, но больше напоминало плоский камешек или лягушку, ныряющую в гладь пруда. Саундтреком к игре служила восьмибитная запись сирены воздушной тревоги. Бишоп направлял сетку прицела на падающие ракеты, нажимал на кнопку, луч света отрывался от земли и медленно летел к намеченной цели, чтобы столкнуться с бомбой. Первый город Бишоп потерял только на девятом уровне. В конце концов Сэмюэл сбился со счета, какой сейчас уровень, и когда небо запестрело следами ракет, стремительно и густо падавших на город, понятия не имел, сколько бортов подбил его друг. Лицо Бишопа во время игры оставалось бесстрастным, а взгляд был пустым, как у рыбы.

– Хочешь, покажу еще раз? – предложил Бишоп, когда на экране загорелась надпись “КОНЕЦ ИГРЫ”.

– Ты победил?

– В смысле – победил?

– Ну, спас все города?

– Невозможно спасти все города.

– А зачем тогда все это?

– Тебя все равно уничтожат. Твоя задача – продержаться как можно дольше.

– Чтобы люди могли убежать?

– Ну да, типа того.

– А покажи еще раз.

Бишоп проходил уже шестой или седьмой уровень во второй игре. Сэмюэл, вместо того чтобы наблюдать за происходившим на экране, рассматривал его лицо – сосредоточенное, спокойное даже тогда, когда в окрестностях его городов падали снаряды, а пальцы Бишопа терзали джойстик, – как вдруг откуда-то снаружи донеслись новые звуки.

Музыка. Чистая, звучная, ничуть не похожая на цифровой шум, исходивший от телевизора. Кто-то играл восходящие и нисходящие гаммы на каком-то струнном инструменте.

– Что это?

– Сестра моя, Бетани, – пояснил Бишоп. – Репетирует.

– А на чем она играет?

– На скрипке. Она будет знаменитой скрипачкой. У нее и правда большой талант.

– Еще бы! – выпалил Сэмюэл, пожалуй, чересчур восторженно, так, что вышло даже неуместно.

Но очень уж ему хотелось понравиться Бишопу, вот Сэмюэл и решил ему польстить. Бишоп бросил на него любопытный взгляд и продолжил играть: так же невозмутимо, как прежде, перешел на десятый, одиннадцатый уровень. Снаружи уже доносились не гаммы, а настоящая мелодия, парящее стремительное соло. Сэмюэлу не верилось, что такое может сыграть человек, а не радио.

– Это правда твоя сестра?

– Ага.

– Я хочу на нее посмотреть, – сказал Сэмюэл.

– погоди. Ты лучше на это посмотри, – ответил Бишоп и одним выстрелом уничтожил две бомбы.

– Я на минутку, – попросил Сэмюэл.

– У меня еще ни одного города не разбомбили. Я никогда не набирал столько очков в “Миссائل Комманд”. Ты будешь свидетелем исторического события.

– Я сейчас.

– Ну и пожалуйста, – бросил Бишоп. – Пеняй на себя.

И Сэмюэл отправился искать, откуда доносилась музыка. Он шел на звуки по главному сводчатому коридору, через блестящую кухню, в дальний конец дома, в кабинет. Осторожно высунул голову из-за дверного косяка, заглянул внутрь и увидел сестру Бишопа.

Они были близнецами.

Бетани походила на Бишопа как две капли воды: те же брови домиком, то же спокойное и сосредоточенное выражение лица. Ни дать ни взять,

эльфийская принцесса с обложки книги “Выбери приключение”: вечно молодая, прекрасная, мудрая. Высокие скулы и заостренный нос шли ей больше, чем Бишопу: ему такие черты придавали злой вид, Бетани же казалась величественной и изящной, точно статуэтка. Длинные густые темно-рыжие волосы, тонкие, наморщенные от напряжения брови, длинная шея, тонкие руки, прямая осанка, то, как аккуратно она сидела, стараясь не помять юбку – не по годам изящно и чинно, как настоящая леди, – сразило Сэмюэла наповал. Ему нравилось, как она держит скрипку, как плавно, повинувшись полету смычка, двигаются ее голова, шея, плечи. Как она отличалась от ребят из школьного оркестра, которые машинально, натужно терзали инструменты. Бетани же играла легко.

Тогда он этого еще не знал, но ей суждено было стать для него идеалом красоты на всю оставшуюся жизнь. И всех девушек, с которыми он знакомился, он отныне мысленно сравнивал с Бетани.

Она закончила на длинной ноте: смычок скользил туда-сюда, но мелодия не прерывалась, лилась одним протяжным звуком. Все это показалось Сэмюэлу чудом. А Бетани открыла глаза, уставила на него взгляд, и пугающе-долгое мгновение они смотрели друг на друга. Наконец она положила скрипку на колени и проговорила:

– Привет!

Никогда прежде Сэмюэл не испытывал такой неловкости. Впервые в жизни все его существо трепетало: в подмышках выступил холодный липкий пот, рот вдруг стал слишком маленьким, а язык – огромным и сухим, легкие горели, словно он слишком долго задерживал дыхание, и все эти ощущения рождали в его теле невероятное напряжение. Его точно магнитом тянуло к объекту симпатии – а ведь прежде он либо старался не замечать большинство окружающих его людей, либо прятался от них.

Девочка ждала, что он что-нибудь скажет. Она сидела, сложив руки на коленях поверх скрипки и скрестив ноги, и разглядывала Сэмюэла. Ее зеленые глаза смотрели так пронизательно...

– Я друг Бишопы, – наконец выдавил Сэмюэл. – Я тут с ним.

– Ясно.

– Ну, с твоим братом.

Она улыбнулась.

– Поняла.

– Я услышал, как ты играешь. Зачем ты репетируешь?

Бетани бросила на него недоуменный взгляд.

– Чтобы пальцы запомнили ноты, – пояснила она. – У меня скоро концерт. А ты что подумал?

– Очень красиво.

Она кивнула и, казалось, некоторое время размышляла над его словами.

– Эти двойные ноты в третьей части ужасно трудно сыграть в унисон, – наконец сказала Бетани.

– Угу.

– И арпеджио на третьей странице очень сложные. Тем более что там надо играть децимами, вообще свихнуться можно.

– Да.

– Мне все время кажется, что я с ней не справлюсь, с третьей частью. Я там все время спотыкаюсь.

– Ничего подобного.

– Как будто я птица, которую степлером пришили к стулу.

– Понятно, – Сэмюэл чувствовал себя неловко.

– Надо расслабиться, – не унималась Бетани. – Особенно во второй части. Там есть такие длинные фразы, и если их играть слишком оживленно, теряется мелодичность. Приходится успокаиваться, сдерживаться, а когда играешь соло, это очень трудно: все тело протестует.

– Может, тебе, ну, я не знаю, подышать? – предложил Сэмюэл, потому что именно это говорила ему мама, когда у него случался припадок четвертой категории – “Просто дыши”.

– Знаешь, как я делаю? – ответила Бетани. – Я представляю, будто смычок – это нож. – Она подняла смычок и в шутку пригрозила им Сэмюэлу. – А скрипка – кусок масла. И я как будто режу масло ножом. Похожие ощущения.

Сэмюэл беспомощно кивнул.

– Как ты познакомился с моим братом?

– Он спрыгнул с дерева и меня напугал.

– А, – ответила Бетани так, будто фраза Сэмюэла все объясняла. – Он сейчас играет в “Миссайл Комманд”?

– Откуда ты знаешь?

– Ну он же мой брат. Я его чувствую.

– Правда?

Бетани серьезно посмотрела на Сэмюэла, потом не выдержала и рассмеялась.

– Нет, конечно. Просто слышу.

– Что слышишь?

– Игру. Послушай. Разве не слышишь?

– Я ничего не слышу.

– Сосредоточься. Прислушайся. Закрой глаза и слушай.

Сэмюэл зажмурился, и общий гул дома распался для него на отдельные звуки: вот урчит кондиционер, ветер свистит в вентиляции, шелестит снаружи о стены дома, вот гудят холодильник и морозильник. Оpozнав каждый из звуков, Сэмюэл тут же переставал обращать на них внимание, вслушиваясь в то, что происходит в других комнатах, и вот наконец уловил в тишине глухой рев сирены воздушной тревоги, взрывы бомб и вой орудий.

– Слышу, – произнес Сэмюэл, открыл глаза и обнаружил, что Бетани уже на него не смотрит.

Она отвернулась к большому окну, выходящему на задний двор и лес за домом. Сэмюэл проследил за ее взглядом и увидел, что снаружи, в сумерках, на опушке, метрах в двадцати пяти от них, стоит большой олень. Рыжеватый, в белых пятнышках, с огромными черными глазами. Олень, прихрамывая, тронулся с места, пошатнулся, упал, с усилием поднялся на ноги и снова пошел, пошатываясь и взбрыкивая.

– Что с ним? – спросил Сэмюэл.

– Соли налился.

Передние ноги у оленя подкосились, он упал на брюхо, пополз вперед, потом встал, вытянул шею и замотал головой. В огромных глазах оленя читался ужас. Из носа шла розовая пена.

– Тут все время так, – пояснила Бетани.

Олень развернулся и, то и дело заваливаясь на передние ноги, побрел в лес. Сэмюэл и Бетани провожали его взглядом, пока зверь не скрылся в листве. Все стихло. Слышно было лишь, как в другом конце дома с неба падают бомбы, ровня с землей города.

4

С началом учебного года стало происходить кое-что новое: Сэмюэл сидел на уроке, старательно записывал все, о чем рассказывала мисс Боулз – будь то история Америки, умножение или грамматика, – честно вдумывался в материал и старался его понять, опасаясь, что мисс Боулз в любую минуту может вызвать его и начать расспрашивать о том, что она только что объясняла, она частенько так делала, а тех ребят, кто ошибался с ответом, потом битый час высмеивала – мол, рано им в шестой класс, им самое место в пятом, – так что Сэмюэл внимательно слушал, не отвлекаясь ни на секунду, и совсем не думал о девочках и о всяком таком, что с ними связано, а это все равно происходило. По телу разливалось тепло, начинало покалывать, как будто кто-то собирает тебя пощекотать, и вот ты ждешь, замирая от ужаса. Он вдруг почувствовал ту часть тела, которая прежде

никак себя не проявляла, так что прежде он не обращал на нее никакого внимания, как и на прочие схожие ощущения: как обтягивает плечи одежда, как сидят на ногах носки, как локоть упирается во что-то. Обычно тела не замечаешь. Но в последнее время, безо всякой на то причины, чаще, чем хотелось бы Сэмюэлу, давал о себе знать член. Он заявлял о себе на уроке, за партой. Утыкался в джинсы и жесткий металл снизу столешницы стандартной школьной парты. Беда была в том, что, хотя Сэмюэл стеснялся своего восставшего, набухшего, упершегося в джинсы члена, чисто физически это доставляло ему удовольствие. Он был бы рад, если бы этого не было, и одновременно ему вовсе этого не хотелось.

Догадывалась ли мисс Боулз? Замечала ли? Что каждый день у некоторых мальчиков из класса вдруг мечтательно туманились и стекленели глаза, поскольку нервная система переносила их в другой мир? Может, и замечала, но виду не подавала. И никогда не вызывала мальчишек в таком состоянии, не требовала, чтобы они отвечали стоя. Самой мисс Боулз это казалось верхом милосердия.

Сэмюэл взглянул на часы: десять минут до перемены. Штаны давили. Стул стал тесен. Перед глазами сами собой замелькали девчонки из галереи образов, которые он где-то видел и запомнил: вот женщина в торговом центре наклонилась, так что в вырезе платья показалась грудь; вот одноклассницы садятся за парты, и он успевает разглядеть ноги, пах и внутреннюю сторону бедра; а вот и новое видение, Бетани у себя в комнате сидит прямо, сдвинув колени, в легком хлопковом платье, прижав к подбородку скрипку, и смотрит на него зелеными кошачьими глазами.

Когда прозвенел звонок на перемену, Сэмюэл притворился, будто никак не может найти в парте что-то очень важное. Наконец все вышли из класса, он поднялся и поковылял к дверям, и если бы кто-то его увидел, подумал бы, что мальчик медленно крутит на бедрах невидимый обруч.

Дети строем шли на площадку, шагали медленно, целенаправленно и решительно, хотя их так и распирали энергия, которая накапливается у одиннадцатилетнего мальчишки за те несколько часов, что он сидит неподвижно под надменным взглядом мисс Боулз. Они шагали в полной тишине, один за другим по правой стороне коридора, мимо табличек, которые педагоги заботливо развесили по белым бетонным стенам. Одна или две гласили “Учение – развлечение!”, остальные же пытались учить манерам: “Ногами и руками ничего не трогать”, “Не кричать”, “Не бегать”, “Жди своей очереди”, “Будь вежливым”, “Не трать зря туалетную бумагу”, “Не болтай за едой”, “Соблюдай правила поведения за столом”, “Держи дистанцию”, “Подними руку, чтобы ответить”, “Молчи, пока не спросят”,

“Соблюдай очередь”, “Провинился – извинись”, “Делай, что тебе говорят”,
“Мыло – не игрушка”.

Для большинства учеников образование, которое давала школа, было делом десятым. Главным же для них было научиться вести себя в школе. Приспособиться к суровым школьным правилам. Взять хотя бы отлучки в туалет. Ни к одному из предметов педагоги не относились с такой строгостью, как к телесным отправлениям учеников. Чтобы отпроситься в туалет, нужно было исполнить мудреный ритуал, после которого мисс Боулз – если ее очень вежливо попросить и убедить, что тебе правда очень нужно и это не уловка для того, чтобы выбраться из класса и тайком покурить, выпить или принять наркотики, – заполняла пропуск в уборную, длинный, как текст конституции. Записывала твое имя, время ухода (с точностью до секунды) и, что самое ужасное, цель посещения (то есть номер один или номер два), а потом просила вслух прочитать разрешение на выход из класса, где перечислялись твои “Права и обязанности”, и главным из них было то, что из класса можно отлучиться не более чем на две минуты, причем идти только по правой стороне коридора напрямик в ближайшую уборную, по дороге ни с кем не разговаривать, по школе не бегать и правила не нарушать, а в туалете не делать ничего такого, что запрещено законом. После этого надо подписать разрешение и дожидаться, пока мисс Боулз разъяснит, что ты подписал договор, а тех, кто нарушает договоры, ждет суровое наказание. Чаще всего дети слушали учительницу с широко раскрытыми от страха глазами, приплясывая на месте, потому что отсчет-то уже пошел, и чем дольше мисс Боулз распиналась о договорном праве, тем больше отнимала времени от драгоценных двух минут, так что когда ребята наконец выходили в коридор, у них оставалось секунд девяносто на то, чтобы добраться до туалета, сделать свои дела и вернуться в класс, и непременно шагом, поскольку бегать строго запрещалось.

Не говоря уже о том, что за неделю отпроситься в туалет можно было только два раза.

Еще было правило питьевого фонтанчика: вернувшись с перемены ученикам позволялось пить из него воду не дольше трех секунд на каждого (видимо, для того, чтобы научить их думать не только о себе, но и о других), но, разумеется, дети на перемене набесились, чтобы выпустить накопившийся страх, запыхались, выбились из сил, им было жарко, в туалет их выпускали редко, так что эти три секунды у фонтанчика – единственный раз за весь день, когда эти потные, обгоревшие на солнце, разгоряченные дети пили воду. Бедные ученики оказывались меж двух огней: набегаясь на перемене, чтобы сбросить излишек энергии, – будешь остаток дня страдать от усталости и жажды, не будешь бегать на

перемене – во второй половине дня не сможешь усидеть на месте и наверняка получишь выговор за поведение. Так что обычно на перемене ученики бесились изо всех сил, а потом старались напиться за три секунды. К концу дня бедные дети страдали от обезвоживания и имели жалкий вид – чего, собственно, и добивалась мисс Боулз.

Пока ученики пили, учительница торчала у них над душой и громко отсчитывала время. На счет “три” ребенок отпрыгивал от фонтанчика, не успев утолить жажду: день выдался жаркий, влажный, тяжелый, как бывает ранней осенью на Среднем Западе. С подбородка у бедняги капала вода.

– Фигня какая-то, – сказал Бишоп Сэмюэлу, пока они ждали своей очереди. – Смотри, как надо.

Когда подошла очередь Бишопы, он склонился над фонтанчиком, нажал на кнопку и принялся пить, глядя в глаза мисс Боулз, которая отсчитывала: “Раз. Два. Три”. Бишоп не оторвался от воды, и учительница повторила с нажимом: “Три”, а когда он снова не послушался, сказала: “Хватит. Следующий!” Тут стало ясно, что Бишоп не отойдет от фонтанчика, пока не напьется, большинству детей в очереди даже показалось, что он уже и не пьет вовсе, а только мочит губы, не сводя глаз с мисс Боулз, до которой наконец дошло: новый ученик не то чтобы не знает правил – он ставит под сомнение ее авторитет. Мисс Боулз приняла вызов – уперла руки в боки, вздернула подбородок и проговорила на октаву ниже обычного: “Бишоп. Прекрати пить. Немедленно!”

Тот в ответ устремил на нее мертвый скучающий взгляд. Неслыханная дерзость! Дети в очереди удивленно таращились на новенького и нервно хихикали, потому что еще немного – и его непременно выпорют. Каждого, кто так нагло нарушал правила, били палкой.

Палка эта вошла в поговорку.

Она висела на стене в кабинете директора, главного блюстителя школьной дисциплины, непропорционально сложенного коротышки, которого, словно в насмешку, звали Лоренс Лардж^[14]. Основной вес его тела приходился на корпус: ноги у директора были тощие, хилые, туловище же напоминало воздушный шар. Не человек, а яйцо на зубочистках; непонятно, как его ноги держат и почему они еще не сломались в щиколотках или голени. Палка его была вырезана из цельного куска дерева сантиметров в восемь толщиной, шириной с два тетрадных листа. В ней была просверлена дюжина дырок: наверное, для скорости, гадали дети. Чтобы замахиваться быстрее.

Порки, которые устраивал директор, отличались силой и отточенной техникой, необходимой для мощного удара – такого, что, например, очки

Брэнда Бомонда разлетелись вдребезги (историю эту шестиклассники передавали из уст в уста): Лардж так взрезал Бомонду по заднице, что ударная волна прокатилась по телу бедолаги и разбила толстые стекла очков. Шлепок Ларджа сравнивали с подачами профессиональных теннисистов, которые посылали мяч со скоростью 225 километров в час. Было непонятно, как директор с его весом умудрился нанести такой сокрушительный – и невозможный даже для спортсмена – удар. Время от времени кто-нибудь из родителей жаловался на устаревшую систему наказаний, но поскольку порка считалась крайним средством устрашения хулиганов, то и прибегали к ней очень редко. Во всяком случае, не настолько часто, чтобы этим заинтересовался родительский комитет. Даже самые буйные и непослушные дети боялись, что за дурное поведение им обязательно попадет по заднице, и весь школьный день ходили как под наркотиками: говорили тихо, вели себя спокойно. (Изредка родители жаловались, что дома дети стоят на ушах, а учителя молча кивали и думали: “Нас это не касается”.)

У каждого учителя был свой предел терпения, за которым он уже не собирался мириться с непослушанием. У мисс Боулз такой предел наступал через двенадцать секунд. Ровно двенадцать секунд Бишоп провел у питьевого фонтанчика. Двенадцать секунд смотрел в глаза мисс Боулз, которая сперва требовала, чтобы он отошел, а потом схватила его за шиворот, так что на Бишопе затрещала рубашка, и, на мгновение оторвав от земли, поволокла в наводящий ужас кабинет директора Ларджа.

Возвращались после порки дети обычно так: минут десять-двенадцать спустя раздавался стук в дверь, мисс Боулз открывала, на пороге стоял директор Лардж, положив ручищу на спину ученика – красного, в слезах и соплях. Все дети после экзекуции выглядели одинаково: угрюмые, заплаканные, с красными глазами, сопливые, покорные. Куда только девались упрямство и дерзость! Самые шумные выпендрожники в эту минуту, казалось, больше всего на свете хотели свернуться калачиком под партой и умереть. “Полагаю, он готов вернуться в класс”, – говорил Лардж. – “Надеюсь, он запомнил этот урок”, – откликнулась мисс Боулз, и даже одиннадцатилетки понимали, что взрослые ломают комедию и разговаривают сейчас не друг с другом, а с ними, и смысл этого диалога – “Не выходи за рамки дозволенного или будешь следующим”. После этого ученику разрешали вернуться на место, где начиналась вторая часть наказания: задница саднила после экзекуции и была чувствительна, как открытая рана, так что сидеть на жестком пластмассовом стуле было невыносимо больно, словно тебя еще раз выпороли. Отшлепанный сидел и

плакал, а мисс Боулз, заметив это, язвила: “Извини, я не расслышала. Ты что-то хочешь добавить к нашему разговору?” Ребенок отрицательно качал головой. Вид у него при этом был сломленный, несчастный, жалкий. Весь класс понимал: мисс Боулз хотела, чтобы все заметили его слезы, чтобы унижить его еще сильнее. При всех. Перед друзьями. Мисс Боулз была жестока, и скрыть это было не под силу никому и ничему – даже бесполым синим свитерам, которые она носила.

В тот день весь класс ждал возвращения Бишопа. Ребята волновались. После инициации они рады были его принять. Теперь-то он знает, что им пришлось пережить. Теперь он один из них. Они предвкушали его возвращение и готовы были простить ему слезы. Десять минут, пятнадцать, наконец на восемнадцатой минуте раздался неизменный стук в дверь. “Кто бы это мог быть?” – театрально воскликнула мисс Боулз, положила мел на доску и пошла открывать. На пороге стояли Бишоп и директор Лардж. Однако Бишоп, к изумлению мисс Боулз и всего класса, не только не плакал, но улыбался. Вид у него был *довольный*. И Лардж не клал ему руку на спину. Он вообще стоял поодаль, едва ли не в метре от Бишопа, словно боялся заразиться. Мисс Боулз уставилась на директора Ларджа, но тот не произнес, как обычно, мол, Бишоп готов вернуться в класс, а сказал отстраненно, точно солдат про войну: “Вот. Принимайте”.

Бишоп прошел на свое место. Все дети в классе провожали его глазами. Он прыгнул за парту, жестко приземлился на задницу и дерзко огляделся, как будто хотел сказать: ну давайте, попробуйте меня тронуть хоть пальцем.

Эта сцена врезалась в память каждого шестиклассника, кто ее видел. Один из них перенес самое суровое испытание, которое только способны придумать взрослые, и вышел из него победителем. После этого с Бишопом Фоллом уже никто не связывался.

5

Мама рассказывала Сэмюэлу про нёкка. Очередная страшилка ее отца. Самая жуткая. Нёкк, говорила она, это оборотень, водяной: плавает вдоль берега, ищет детей, особенно тех озорников, что гуляют в одиночку. Высмотрев ребенка, нёкк является ему в виде большого белого коня. Неоседланного, но послушного и дружелюбного. Конь наклоняется пониже, чтобы ребенок мог вспрыгнуть к нему на спину.

Ребенок сперва опасается, но разве тут устоишь? Собственный конь! Он запрыгивает на коня, тот выпрямляется, и шалун оказывается метрах в трех от земли. Ребенок не помнит себя от восторга: еще бы, впервые в

жизни ему послушна такая махина! Никогда прежде он не забирался так высоко! Проказник теряет страх. Бьет коня пятками по бокам, чтобы тот припустил быстрее. Конь переходит на легкую рысь, и чем больше ребенок радуется, тем быстрее скачет конь.

Тут ребенку хочется, чтобы его увидели все.

Чтобы друзья с завистью таращились на его новую лошадь. Его собственную.

И так раз за разом. Все жертвы нёкка сперва испытывают страх. Потом восторг. Гордость. Ужас. Ребенок погоняет коня, пока тот не срывается в галоп, так что всадник цепляется ему за шею. Озорник на седьмом небе от счастья. Никогда еще он не чувствовал себя таким важным и довольным. И в этот миг – на пике бешеной скачки и восторга, когда ребенку кажется, что он отлично держится в седле, что теперь у него появился собственный конь, и ему хочется, чтобы все его хвалили, его переполняет гордость, высокомерие и тщеславие, – конь сворачивает с дороги, ведущей в город, и галопом мчится к прибрежным скалам. Он на полном скаку несется к обрыву, под которым бурлят и пенятся волны. Ребенок вопит от ужаса, тянет коня за гриву, плачет, кричит, но все тщетно. Конь бросается с обрыва в море. Даже в воздухе маленький всадник не выпускает его шею, и если не разбивается насмерть о камни, то гибнет в ледяной пучине.

Так рассказывал Фэй отец. Все истории о нежити она слышала от отца, высокого, сухопарого, очень замкнутого норвежца с неразборчивым акцентом. Большинство побаивалось этого молчуна, Сэмюэлу же с ним было легко. В те редкие случаи, когда они приезжали к деду в Айову на Рождество или на День благодарения, они собирались всей семьей за праздничным столом и ели, не говоря друг другу ни слова. Трудно поддерживать разговор, если в ответ тебе только кивают или снисходительно хмыкают. Так что они жевали индейку, а потом дедушка Фрэнк, доев, поднимался из-за стола и уходил в другую комнату смотреть телевизор.

Дедушка Фрэнк оживлялся лишь когда рассказывал истории своей родины – древние мифы, легенды, сказки о призраках, которые слышал в детстве там, где вырос – в далекой рыбацкой деревушке на самом севере Норвегии. В восемнадцать лет он уехал оттуда. Он говорил Фэй, что в легенде про нёкка мораль такова: “Не верь тому, что выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой”. А когда Фэй выросла, она сделала совсем другой вывод, о котором и рассказала Сэмюэлу за месяц до того, как бросила семью. Она поведала ему историю, присовокупив собственную мораль: “То, что любишь сильнее всего, однажды причинит тебе самую

сильную боль”.

Сэмюэл не понял.

– Нёкк больше не превращается в лошадь, – пояснила Фэй. Они сидели на кухне, надеясь отдохнуть от казавшейся бесконечной жары, и читали, распахнув настежь дверь холодильника. Вентилятор гнал на них холодный воздух. Они пили ледяную воду, и запотевшие стаканы оставляли на столешнице мокрые следы. – Раньше нёкк являлся в образе лошади, – добавила Фэй, – но так было в старину.

– А как он выглядит теперь?

– Для всех по-разному. Чаще всего как обычный человек. Тот, кого ты любишь.

Сэмюэл по-прежнему ничего не понимал.

– Люди любят друг друга по многим причинам, и не все из них добрые, – продолжала мама. – Они любят друг друга, потому что так проще. Или в силу привычки. Или потому что сдались. Или боятся. И становятся друг для друга нёкком.

Она отпила глоток воды, прижала холодный стакан ко лбу и закрыла глаза. Суббота тянулась утомительно долго. Генри уехал на работу после очередной ссоры – на этот раз из-за грязной посуды. На той неделе сломалась их выпущенная в конце семидесятых посудомоечная машинка цвета авокадо, и Генри не раз добровольно перемывал растущую гору тарелок, мисок, стаканов, кастрюль и сковородок, которая уже высилась над раковиной и заполонила почти весь стол. Сэмюэл подозревал, что мама устроила это специально – может, даже использует больше посуды, чем нужно: готовит в нескольких кастрюлях там, где можно было обойтись одной, – испытывает отца. Заметит ли? Поможет? Фэй делала далеко идущие выводы из того, что Генри не обращал на посуду ни малейшего внимания и даже не удосужился предложить помощь.

– Я как будто на уроке домоводства, – заявила Фэй, когда игнорировать гору посуды больше не было возможности.

– Что ты имеешь в виду? – удивился Генри.

– Как в школе. Ты развлекаешься, пока я готовлю и убираю. Ничего не изменилось. За двадцать лет совершенно ничего не изменилось.

Генри перемыл посуду, сослался на неотложные дела и уехал на работу, а Фэй и Сэмюэл снова остались дома одни. Они сидели на кухне и читали каждый свое: мама какие-то непонятные стихи, Сэмюэл – книгу из серии “Выбери приключение”.

– В школе у меня была знакомая, ее звали Маргарет, – сказала Фэй. – Очень умная и сообразительная девушка. Она влюбилась в парня по имени

Джулс. Красавчик. Творил что хотел. Все ей завидовали. Но Джулс стал для нее нёкком.

– Почему? Что случилось?

Фэй поставила стакан в лужицу, которая набралась под ним на деревянном столе.

– Он исчез, – пояснила мама. – Маргарет не знала, что делать. Так и осталась в городе. Говорят, до сих пор там, работает кассиршей в отцовской аптеке.

– Почему он ее бросил?

– Потому что нёкк.

– Как же она сразу не догадалась?

– Их трудно распознать. Есть одно хорошее правило: тот, в кого влюбляешься в юности, скорее всего, окажется нёкком.

– И у всех так?

– У всех.

– А когда вы познакомились с папой?

– В школе, – ответила Фэй. – Нам было по семнадцать лет.

Она уставилась в желтое марево за окном. Холодильник одновременно запыхтел, загудел, щелкнул, вжик – и выключился. Свет погас. И стоявшее на столе радио с электронными часами. Фэй огляделась и сказала:

– Пробки выбило.

Значит, Сэмюэлу придется включить рубильник, потому что электрический щиток в подвале и мама отказывалась туда ходить.

Тяжелый фонарик ловко лежал в руке: алюминиевую рукоятку сплошь покрывали вмятинки, а большой круглой линзой с резиновой насадкой можно было при необходимости кому-нибудь врезать. Мама в подвал не ходила, потому что там жил домовый. По крайней мере, так ей рассказывал дед: в подвале обитают домовые, которые преследуют тебя всю жизнь. Фэй говорила, что в детстве как-то раз видела домового, и он ее напугал. С тех пор она не любила подвалы.

Правда, Фэй уверяла, будто домового видит только она и является он только ей, а Сэмюэлу нечего бояться. Он может смело идти в подвал.

Он заплакал. Сперва тихонько захныкал оттого, что либо в подвале живет страшный призрак, который сейчас за ним наблюдает, либо мама не в своем уме. Мальчик шаркал ногами по бетонному полу, не сводя глаз с лучика перед собой. Он старался не обращать внимания ни на что, кроме этого круга света. Наконец Сэмюэл разглядел электрический щит в дальнем конце подвала, зажмурился и двинулся к нему. Он шаркал по прямой, выставив перед собой фонарик, пока тот не уперся в стену. Тогда

Сэмюэл открыл глаза и увидел щиток. Повернул рубильник, и в подвале зажегся свет. Сэмюэл оглянулся, но ничего не увидел. Ничего, кроме обычного подвального хлама. Мальчик помедлил немного, стараясь успокоиться, перестать плакать. Уселся на пол. Здесь было гораздо прохладнее.

6

В первые же недели учебного года Бишоп и Сэмюэл заключили простой союз. Бишоп делал все, что ему вздумается, а Сэмюэл подчинялся. Так распределились их нехитрые роли. Они даже никогда об этом не говорили, ничего не обсуждали: каждый очутился на своем месте так же легко, как проскальзывают монетки в щель торгового автомата.

Они встречались у пруда, чтобы поиграть в войнушку. Бишоп всегда заранее придумывал сценарий. Они сражались с вьетконговцами, с нацистами на Второй мировой, с конфедератами во время Гражданской войны, с англичанами в войне за независимость, с индейцами на франко-индейской войне. У каждой их битвы всегда была четкая цель (за исключением неудачной попытки сыграть в англо-американскую войну 1812–1815 годов): Бишоп и Сэмюэл всегда были хорошими, их враги – плохими, и мальчишки всегда побеждали.

Когда не играли в войнушку, резались у Бишопы в видеоигры: Сэмюэлу это нравилось куда больше, потому что там он мог встретить свою любимую Бетани. Хотя, пожалуй, тогда он вряд ли назвал бы это чувство “любовью”. Просто в присутствии Бетани он всегда очень волновался и с необычайным вниманием наблюдал за нею. Физически это проявлялось в том, что у него сокращался диапазон голоса (Сэмюэл замыкался в себе и принимался оправдываться, хотя вовсе не собирался этого делать), а еще его так и подмывало легонько прикоснуться к ее платью, потрогать ткань большим и указательным пальцами. Сестра Бишопы внушала ему восторг и страх. Но обычно она не обращала на мальчишек внимания. Казалось, Бетани не замечала, какое впечатление производит на Сэмюэла. Закрывалась у себя в комнате, играла гаммы, слушала музыку. Она выступала на различных музыкальных конкурсах и фестивалях, где получала за соло на скрипке призы и награды, а потом расставляла их на полках или вешала на стену в комнате, рядом со всевозможными афишами мюзиклов Эндрю Ллойда Уэббера и небольшой коллекцией фарфоровых масок комедии и трагедии. Еще там были сухие цветы, большие букеты роз, которые дарили Бетани после многочисленных выступлений: она засушивала цветы, прикрепляла к стене над кроватью, и эта пастельная

композиция зеленых и розовых оттенков идеально подходила к покрывалу, занавескам и расцветке обоев. Такая вот девичья комнатка.

Сэмюэл знал, как выглядит спальня Бетани, поскольку два или три раза подглядывал за нею из укрытия в лесу. Уходил из дома сразу после заката и под темнеющим лиловым небом спускался к ручью, шлепал по грязи через лес, за особняками Венецианской деревни, мимо садов, где розы и фиалки закрывали на ночь цветки, мимо вонючих собачьих будок и теплиц, от которых тянуло серой и фосфором, мимо дома директора Академии Святого сердца (иногда по вечерам тот расслаблялся на заднем дворе в сделанной на заказ гидромассажной ванне с морской водой). Сэмюэл двигался медленно и осторожно, стараясь не наступить на сучок или кучу сухих листьев, одним глазом поглядывал на директора, который с такого расстояния казался размытым белым пузырем: части тела его – живот, подбородок, подмышки – были заметны лишь потому, что обвисли. И дальше, вокруг микрорайона, через лес, к тупику, которым заканчивалась улица. Сэмюэл занимал обзорную позицию между корней дерева за домом Фоллов, метрах в трех от того места, где кончалась лужайка и начинался лес, – прикинул к земле, весь в черном, натянув на голову черный капюшон, так что видны были только глаза.

И наблюдал.

Желто-оранжевый отсвет ламп, тени передвигавшихся по дому людей. Когда в окне комнаты появлялась Бетани, у Сэмюэла от страха сводило живот. Он сильнее прижимался к земле. Бетани, как обычно, была в легком хлопковом платье: она всегда выглядела элегантнее остальных, будто только что вернулась из дорогого ресторана или из церкви. Когда Бетани ходила, платье чуть колыхалось, а когда останавливалась, облегало тело, льнуло к коже: казалось, будто перья плавно летят на землю. Сэмюэл с радостью утонул бы в этой ткани.

Ему хотелось одного – видеть Бетани. Чтобы знать, что она действительно существует. Ничего другого ему не было нужно; посмотрев на нее, Сэмюэл уходил задолго до того, как Бетани переодевалась, так что ни в чем постыдном его нельзя было упрекнуть. Увидеть Бетани, разделить с ней минуты уединения: этого довольно, чтобы успокоиться и как-то пережить еще одну неделю. То, что она ходила в школу Святого сердца, а не в обычную, проводила так много времени у себя в комнате и подолгу путешествовала, казалось Сэмюэлу нечестным, несправедливым. Девчонки, в которых влюблялись другие мальчишки, всегда были рядом, сидели с ними в одном классе, вместе ходили в столовую. А поскольку Бетани была столь недоступна, Сэмюэл считал себя вправе время от

времени следить за ней. Иначе он просто не мог.

Как-то раз, когда он был у них в гостях, Бетани пришла в ту комнату, где Бишоп перед телевизором играл в “нинтендо”, и плюхнулась в огромное кресло-мешок, на котором сидел Сэмюэл. Ее плечо чуть касалось его плеча, и Сэмюэлу казалось, будто эти несколько квадратных сантиметров – самое важное, что только может быть в мире.

– Мне скучно, – заявила Бетани.

На ней был желтый сарафан. Сэмюэл чувствовал запах ее шампуня: он пах медом, лимоном и ванилью. Мальчик старался не двигаться, испугавшись, что, если он пошевелится, Бетани встанет и уйдет.

– Сыграешь разок? – Бишоп протянул ей джойстик.

– Не хочу.

– Тогда давай в прятки?

– Нет.

– В колдунчики? В али-бабу?

– Как, интересно, мы можем сыграть в али-бабу?

– Я просто предлагаю. Придумываю варианты. Набрасываю идеи.

– Не хочу я играть в али-бабу.

– В классики? В блошки?

– Не говори глупости.

Сэмюэл почувствовал, как потеет его плечо там, где касается плеча Бетани. Он так напрягся, что ныло все тело.

– Или давай в эти ваши дурацкие девчачьи игры, – не унимался Бишоп. – Ну, когда разворачивают бумажки, чтобы узнать, за кого ты выйдешь замуж и сколько детей родишь.

– Не хочу я в это играть.

– Разве тебе не интересно, сколько у тебя будет детей? Одиннадцать. Я так думаю.

– Заткнись.

– Тогда давай играть в признания.

– Не хочу.

– А что это за игра? – удивился Сэмюэл.

– Признание или желание, только чур не врать, – пояснил Бишоп.

– Я хочу куда-нибудь съездить, – заявила Бетани. – Без всякой цели. Я хочу поехать куда-нибудь, просто чтобы оказаться там, а не здесь.

– В парк? – предложил Бишоп. – На пляж? В Египет?

– Съездить куда-то просто так, чтобы сменить обстановку.

– А, – догадался Бишоп, – ты хочешь съездить в торговый центр.

– Да, – согласилась Бетани. – Точно. Я хочу в торговый центр.

– Я туда еду! – сообщил Сэмюэл.

– Нас туда родители не берут, – ответила Бетани. – Говорят, что это дешево и вульгарно.

– “Я бы такое под страхом смерти не надел”, – Бишоп выпятил грудь, старательно изображая отца.

– Я завтра поеду в торговый центр, – пояснил Сэмюэл. – С мамой. Нам надо купить новую посудомойку. Я тебе что-нибудь привезу. Что тебе купить?

Бетани задумалась. Подняла глаза к потолку, постучала пальцем по щеке и спустя несколько минут сказала:

– Что хочешь. Пусть это будет сюрприз.

Всю эту ночь и весь следующий день Сэмюэл ломал голову, что же купить Бетани. Какой подарок скажет все, в чем он хотел бы ей признаться? Подарок должен передать его чувства к ней: одна-единственная малюсенькая коробочка должна прозрачно намекнуть Бетани на то, что он ее любит, обожает и предан ей всей душой.

Он решил, каким должен быть подарок, но где его искать? На одной из миллиона миллиардов полок в торговом центре наверняка дожидался его идеальный подарок, но что это могло быть?

В машине Сэмюэл молчал, мама же от раздражения не умолкала ни на минуту. Поездки в торговый центр всегда так на нее действовали. Она его ненавидела, и всякий раз, когда приходилось туда ехать, ругала “эту обывательскую пошлятину”, как она его называла, на чем свет стоит.

Они выбрались из микрорайона на главную улицу, похожую на любую другую главную улицу в любом американском пригороде: галерея зеркальных витрин. В этом суть пригорода, сказала мама: здесь удовлетворяют твои мелкие потребности. Дают тебе то, о чем ты даже не задумывался. Продуктовый побольше. Четвертую полосу движения. Парковку получше и пошире. Новую бутербродную или видеопрокат. “Макдоналдс”, который ближе к дому, чем другой “Макдоналдс”. “Макдоналдс” рядом с “Бургер Кингом”, напротив “Хардис”, там же, где бургерная с молочными коктейлями и два стейк-хауса, причем во втором предлагают шведский стол. Иными словами, ты получаешь выбор.

Или скорее иллюзию выбора, поправила себя мама, потому что меню во всех этих ресторанах практически одинаковое, разве что картошку и говядину готовят немного по-разному. Как-то раз в продуктивном, в отделе с макаронами, мама с недоумением насчитала восемнадцать видов спагетти.

– Зачем нам восемнадцать видов спагетти? – спросила она Сэмюэла.

Тот пожал плечами. – Вот именно, – согласилась мама.

А двадцать марок кофе? Зачем столько разных шампуней? Когда смотришь на сотни коробок с мюсли, забываешь, что все это по сути один и тот же продукт.

В торговом центре, огромном, светлом, просторном, с кондиционированием – храм торговли, а не магазин, – они искали посудомойку, но Фэй то и дело отвлекалась на прочие домашние товары: приспособления для того, чтобы хранить остатки еды, и для того, чтобы их измельчать; для того, чтобы пища не прилипала к сковородке; для того, чтобы проще было замораживать продукты, и для того, чтобы проще было их потом размораживать. Фэй внимательно рассматривала устройства, вертела в руках, удивленно хмыкала, читала надписи на коробках и говорила:

– И кто это только придумал?

Она поглядывала на эти вещи с опаской: ей казалось, будто кто-то другой заставляет ее хотеть или внушает потребность, о которой она даже не подозревала. В отделе товаров для дома и сада ее внимание привлекла самоходная газонокосилка – яркая, здоровенная, красная, ослепительно-блестящая.

– Мне и в голову не могло прийти, что когда-нибудь у меня будет газон, – проговорила Фэй. – А вот поди ж ты: теперь я жутко хочу такую штуку. Это плохо?

– Вообще нет, – отвечала она себе чуть погодя, уже в магазине кухонных принадлежностей, продолжая разговор, как будто он и не прерывался. – В этом нет ничего плохого. И все равно. Такое ощущение... – Она примолкла, взяла с полки какой-то белый пластмассовый прибор, уставилась на него: оказалось, это шинковка для овощей. – Странно, правда? Я ведь могу просто взять и купить вот это вот.

– Не знаю.

– Да я ли это? – Фэй не сводила глаз с шинковки. – Такая ли я на самом деле? Что со мной стало?

– Мам, дай денег, – попросил Сэмюэл.

– На что?

Он пожал плечами.

– Не стоит покупать что-то только ради того, чтобы купить. Не трать деньги зря.

– Не буду.

– Ты не обязан ничего покупать, вот что я думаю. На самом деле это все никому не нужно.

Фэй достала из кошелька десять долларов.

– Встретимся здесь через час.

С деньгами в кулаке Сэмюэл вышел в залитый ослепительным белым светом коридор торгового центра, огромный, точно диковинное животное. Вдалеке не то плакал, не то кричал какой-то ребенок (а может, дети), и эти звуки вливались в общий гул: Сэмюэл понятия не имел, откуда они доносятся, где этот ребенок, весело ему или грустно. Лишившись источника, крик превращался в обычный звук. Магазинов в торговом центре было видимо-невидимо, и все же кто-то решил, что этого мало, поэтому посередине каждого пассажа понатыкали отдельно стоящих киосков со всякой всячиной – от специализированных товаров до безделушек: игрушечные вертолетики, продавцы которых показательно запускали их полетать над головами испуганных покупателей; цепочки для ключей, на которые можно было нанести именную лазерную гравировку; какие-то штуки для завивки волос (Сэмюэл, как ни старался, так и не понял, как ими пользоваться); колбаса в подарочной упаковке; наборы стаканов с трехмерными голограммами; пояса, с которыми выглядишь стройнее; шапки, на которых при тебе вышивали любую фразу, какую попросишь; футболки, на которых печатали твои фотографии. Все эти сотни магазинов и ларьков, казалось, обещали одно: здесь ты найдешь все что душе угодно. Тут было даже то, что не ожидаешь встретить в торговом центре: например, павильон, где отбеливали зубы. Или делали шведский массаж. Или продавали пианино. Все это можно было найти в торговом центре. Несметное изобилие заменяло воображение: что толку мечтать, если здесь все уже придумали за тебя?

Пытаться отыскать в торговом центре идеальный подарок – все равно что читать книгу из серии “Выбери приключение”, когда выбора не осталось. Нужно было угадать, какую открыть страницу. Где-то там таился счастливый конец.

Сэмюэл прошел мимо магазина свечей, раз-другой глубоко вдохнул коричный аромат. Возле маникюрного салона у него едва не разболелась голова от едкой вони. У кондитерского его так и потянуло к пластмассовым лоткам с леденцами, но он устоял. Музыка торгового центра мешалась с мелодиями, доносившимися из каждого магазинчика, так что казалось, будто едешь на машине, и радио то ловит, то не ловит: композиции то звучали громче, то смолкали. Тут играл какой-то жизнерадостный мотаун. Там – “Твист”. Чабби Чекер. Мама Сэмюэла эту песню терпеть не могла – он и сам не знал, откуда это знает. Он думал о музыке, слушал мелодии, раздававшиеся из магазинов, заметил за

ресторанным двориком музыкальный магазин – и тут его осенило. Как же он сразу не догадался?

Музыка.

Бетани же музыкант! Сэмюэл помчался к магазину. Ему было стыдно: все это время он спрашивал себя, что может ей подарить, вместо того чтобы задаться вопросом: чего же на самом деле хочет Бетани? Все это себялюбие, эгоизм, надо будет как-нибудь обязательно об этом подумать, решил Сэмюэл, но потом: сейчас нужно за десять минут найти идеальный подарок.

Он вбежал в магазин, увидел, что кассеты с популярными записями стоят около двенадцати долларов, и расстроился: слишком дорого, но тут же приободрился, заметив в глубине зала корзину с надписью “Классика”, а под ней – “за полцены”. Просто подарок небес! Кассеты по шесть долларов: наверняка одна из них станет Бетани лучшим подарком.

Сэмюэл принялся рыться среди валявшихся в корзине кассет. Пластмассовые коробки трещали. Тут Сэмюэла осенило: он же ничего не смыслит в такой музыке. Не знает, что может понравиться Бетани и какие записи у нее есть. Не отличит хорошую музыку от плохой. Некоторые имена ему были знакомы – Бетховен, Моцарт, – но большинство он слыхом не слыхал. На обложках попадались иностранные фамилии, которые он даже не мог прочитать. Сэмюэл совсем было решил выбрать запись знаменитого композитора, Стравинского, о котором хотя бы слышал (хотя понятия не имел, от кого и когда), но потом подумал, что если уж он знает Стравинского, то Бетани и подавно: наверняка у нее есть все его записи, и они уже успели ей надоесть. Тогда он решил выбрать что-то более современное, интересное, новое, что-нибудь такое, что подчеркнет его изысканный вкус, покажет Бетани, что он не такой, как все, он независимый, и ему, в отличие от остальных, чужд стадный инстинкт. Сэмюэл выбрал десять кассет с самыми любопытными обложками. Никаких тебе портретов композиторов, старых картин, фотографий скучных оркестров и дирижеров с палочкой в руке. Только концептуальная живопись: яркие пятна, абстрактные геометрические формы, психоделические спирали. Сэмюэл отнес альбомы на кассу, выложил перед кассиром и спросил:

– Что из этого никогда не берут?

Кассир, парень лет тридцати с небольшим, с собранными в хвост длинными волосами, судя по лицу, человек впечатлительный и чуткий, если и удивился вопросу, то ничем этого не выдал: окинул взглядом кассеты, с важным видом, внушившим Сэмюэлу доверие, выбрал одну,

потряс ею и сказал:

– Вот эту. Ее никто ни разу не купил.

Сэмюэл протянул ему десять долларов. Кассир убрал покупку в пакет.

– Экспериментальная вещь, – пояснил он. – Не каждый поймет.

– Здорово, – ответил Сэмюэл.

– Там один и тот же фрагмент записан десять раз. Отвал башки. Тебе такое нравится?

– Еще как!

– Круто, – сказал кассир и дал ему сдачу.

У Сэмюэла оставалось целых четыре доллара. Он побежал в кондитерский магазин. Пакет с идеальным подарком мотался сзади, бил его по ногам. У Сэмюэла слюнки текли от предвкушения, как он накупит леденцов, голова подергивалась под звучащую вокруг музыку, а перед глазами проносились видения, в которых он всегда делал правильный выбор и все его приключения оканчивались счастливо и благополучно.

7

Бишоп Фолл хулиганил, но не как все: слабых не обижал. Не трогал всяких там тощих мальчишек и неуклюжих девчонок. Слишком легкая добыча. Его внимание привлекали сильные, уверенные, хладнокровные – те, кто пользуется авторитетом.

На первом же школьном собрании Бишоп заметил Энди Берга, главного хулигана и задиру, единственного из шестиклассников, у кого росли волосы на ногах и под мышками, грозу всех мелких и слабых. Школьный тренер звал его “Айсбергом”. Или просто “Бергом” – вроде как и по фамилии, но и созвучно слову “айсберг”. Берг был огромный, медлительный и не останавливался ни на минуту. Типичный школьный хулиган: гораздо выше и сильнее всех в классе, он то и дело выплескивал затаенную злобу, вызванную задержкой умственного развития – впрочем, это было единственное, в чем он отставал. Во всем остальном он существенно опередил сверстников. Уже в шестом классе Берг обогнал в росте многих учительниц. И в весе тоже. При этом его телосложение нельзя было назвать спортивным: все говорило о том, что он вырастет обычным толстяком. Пузо как пивная бочка. Руки как бычьи ляжки.

Собрание началось как обычно: классы с первого по шестой расселись на трибунах в вонючем спортивном зале с резиновым полом. Ученики не сводили глаз с заместителя директора, Терри Фластера (в костюме двухметрового красно-белого орла, талисмана школы), который прогнал с ними несколько речевок, причем первая, как всегда, начиналась с фразы:

“Эй, орлята, не курить!”

После него вышел директор Лардж, велел всем замолчать и произнес обычную вступительную речь о том, что ждет от ребят примерного поведения, ни в коем случае не потерпит непослушания и так далее. Ученики его не слушали, сонно рассматривали свою обувь, и только первоклашки, которым все это было в новинку, перепугались до смерти.

Завершилось подготовительное собрание, как обычно, призывом мистера Фластера: “Вперед, орлы! Вперед, орлы!”

Школьники хлопали, повторяли за Фластером речевки, но и вполнину не так жизнерадостно, как заместитель директора, однако все же достаточно громко, чтобы заглушить выкрики Энди Берга, слышные лишь тем, кто стоял вокруг него, в том числе Сэмюэлу и Бишопу: “Ким – пидарас! Ким – пидарас!”

Адресованы они были, разумеется, бедняге Киму Уигли, который стоял в двух шагах слева от Берга. Ким был самой легкой добычей из всех шестиклассников: он страдал от всех препубертатных напастей сразу. Густая, как снег, перхоть, массивные скобки на зубах, хронический лишай, сильная близорукость, острая аллергия на орехи и цветочную пыльцу, мучительные ушные инфекции, экзема на лице, дважды в месяц конъюнктивит, астма и бородавки, а во втором классе у Кима как-то раз даже завелись вши, о чем ему регулярно напоминали. Да и весил он от силы килограммов двадцать, и то в зимней одежде. Вдобавок у него было девчачье имя.

В такие минуты Сэмюэл понимал, что по совести должен защитить Кима, прекратить издевательства, дать отпор великану Энди Бергу, потому что *хулиганы, наткнувшись на сопротивление, всегда идут на попятный*, если верить брошюрам, которые раздавали раз в год на уроках гигиены и психологии. Разумеется, все прекрасно знали, что это полная фигня. В прошлом году Бренд Бомонд дал отпор Бергу за то, что тот постоянно смеялся над его очками с толстенными, точно пуленепробиваемыми, стеклами. Трясаясь от волнения, Бренд заорал на всю столовую: “Заткнись, придурок!” Берг действительно заткнулся и до конца уроков оставил Бомонда в покое, так что все, кто был свидетелем этой сцены, обрадовались: опасность миновала, брошюры оказались правы! Вся школа ликовала, Бренд ходил героем, но в тот же день по дороге домой Берг подловил его и так избил, что в дело вмешалась полиция. Допросили друзей Бренда, но те уже усвоили урок и держали рот на замке. Хулиганы не идут на попятный.

В этом году про Берга ходил слух – который пустил сам Берг, – будто

он занимался сексом (по всей видимости, первым из всех шестиклассников). С девушкой. Берг утверждал, будто она раньше была его няней, а теперь, как он говорил, “с моего члена не слезает”. Проверить это, разумеется, не представлялось возможным. Ни кто была эта старшеклассница, ни насколько интересовалась анатомией Берга. Впрочем, и опровергнуть его слова тоже было нельзя. Ни один из тех, кто слышал, как Берг в раздевалке хвастается успехами, не хотел рисковать здоровьем, чтобы высказать очевидное: ни одна старшеклассница в жизни не станет крутить с шестиклассником, если только она не чокнутая, не уродина и не в депрессии. Или все сразу. Такого просто не может быть.

И все же.

Берг так рассуждал о сексе, что мальчишки поневоле прислушивались. Он рассказывал во всех подробностях. Описывал все до последних, весьма неаппетитных мелочей. Мальчишки смущались, не спали ночей, бесились: что если Берг сказал правду и действительно трахает старшеклассницу? Какие еще тогда нужны доказательства, что мир несправедлив и Бога нет! А если Бог есть, то ненавидит их, потому что никто в школе не заслуживал секса меньше, чем долбанный Энди Берг. И каждый раз на физкультуре им приходилось выслушивать, как он выкурил отцовскую сигару, чтобы перебить запах пизды, и что на этой неделе у него не было секса, потому что у телки месячные, и как он однажды кончил, а гондон лопнул – столько было спермы! От таких рассказов ребят мучили кошмары – ну и еще от того, что даже противный Энди Берг всюду занимается сексом, а с ними родители вот только недавно провели “беседу об этом”, да и сама мысль о сексе с девочкой пугала и вызывала омерзение.

Услышав, как на подготовительном собрании Берг издевается над Кимом, Бишоп решил действовать. Слишком уж легкой добычей был Уигли: смиренный, неуклюжий, он не ответил на оскорбление, как будто давно смирился со своим местом в школьной иерархии. Казалось, он подсознательно готов к издевательствам. Видимо, это взбесило Бишопа: обижать Кима было все равно что бить лежачего. Странное чувство справедливости требовало от Бишопы, как от будущего солдата, защищать слабых и невиновных, и он давал противнику жестокий, несоразмерный нападению отпор.

Когда школьники после собрания выходили из спортзала, Бишоп хлопнул Берга по плечу.

– Мне тут про тебя кое-что рассказали, – произнес он.

Берг смерил его раздраженным взглядом.

– Да? И что же?

- Что будто бы ты уже трахаешься.
- Еще как трахаюсь.
- Значит, не наврали.
- Я столько трахаюсь – тебе сколько и не снилось.

Сэмюэл с опаской шагал за ними. Обычно он старался держаться от Берга подальше, но рядом с Бишопом чувствовал себя в безопасности. Бишоп всегда притягивал к себе всеобщее внимание. Он как будто заслонил Сэмюэла от Берга.

- Тогда я тебе кое-что покажу.
- И что?
- Но это только для взрослых. Ты ведь уже взрослый?
- Да что такое-то?
- Так я тебе и сказал. А вдруг кто-то услышит? Тут дело такое, можно крепко влипнуть.
- Да о чем ты вообще?

Бишоп закатил глаза, огляделся по сторонам, словно хотел проверить, не подслушивает ли кто, подошел ближе к Бергу, жестом попросил его наклониться и прошептал на ухо:

- Порнуха.
- Да ладно!
- Тише ты.
- У тебя есть порнуха?
- До фига и больше.
- Правда?
- Но это не для сопливых пацанов, сам понимаешь.
- Класс! – возбужденно воскликнул Берг.

Для мальчишек его возраста, тех, чье половое созревание пришлось на восьмидесятые, когда никакого интернета не было в помине и порно еще не стало доступным для всех (а следовательно, и банальным), – для этого последнего поколения мальчишек порнуха была вполне себе материальна. Те, у кого была порнуха, считались супергероями. Все их знали, все хотели с ними дружить. Раз в полугодие кто-нибудь из мальчишек находил у отца коллекцию порножурналов и, пока его не накрыли, пользовался всеобщим вниманием: продолжалось это от одного дня до нескольких месяцев, в зависимости от характера везунчика. Те, кому до зарезу хотелось всеобщей любви и восхищения, уносили из дома всю пачку целиком и получали свои пять минут славы – яркие звезды, сгоравшие за день, поскольку отцы, обнаружив пропажу всех журналов, тут же догадывались что к чему. Другие, более сдержанные и не такие жадные до восторгов, поступали

осмотрительнее. Они вытаскивали из пачки один журнал – скажем, третий снизу, тот, который взрослые наверняка уже засмотрели до дыр и забросили. Его-то они приносили в школу, неделю-другую показывали всем желающим, после чего возвращали на место. Потом брали следующий номер, тоже снизу стопки, и все повторялось. Таким удавалось растянуть успех на несколько месяцев, пока кто-нибудь из учителей, заметив усевшихся в кружок мальчишек, не подходил узнать, в чем дело, потому что, если на перемене школьники не носятся как бешеные по площадке, значит, что-то тут нечисто.

Иными словами, доступ к порнухе у мальчишек был не всегда. Вот почему Берг так заинтересовался.

– Где она? – спросил он.

– Малышня-то, сам понимаешь, испугается, – ответил Бишоп. – Вообще не поймет, что это.

– Покажи.

– Но ты не такой. Тебе можно.

– Еще бы!

– Давай встретимся после школы. Когда все уйдут. У лестницы за столовкой, где площадка для погрузки. И я тебе покажу, где ее прячу.

Берг согласился и вышел из спортзала. Сэмюэл похлопал Бишоп по плечу.

– Что ты делаешь? – спросил он.

Бишоп расплылся в улыбке.

– Врага заманиваю.

Позже, когда прозвенел последний звонок, автобусы со школьниками разъехались и здание опустело, Бишоп с Сэмюэлом пробрались за школу. С дороги их видно не было; вокруг – лишь бетон и асфальт. Задний двор школы походил на крупный склад – промышленный, технический, автоматизированный, апокалиптический объект. Почерневшие от сажи массивные алюминиевые короба кондиционеров, внутри которых гудели вентиляторы, точно эскадрилья штурмовых вертолетов, готовых к взлету, но так ни разу и не взлетевших. Клочки бумаги и картона, которые ветер разносил по углам и щелям. Промышленный уплотнитель мусора: металлический ящик размером с самосвал, выкрашенный в типичный для мусоровозов травянисто-зеленый цвет, весь липкий от помоев.

Возле площадки для погрузки была лестница к двери в подвал, которой никто никогда не пользовался. Никто даже не знал, куда она ведет. С одной стороны ступени загораживала бетонная стена, с другой – вертикальная решетка, такая высокая, что не заберешься. Сверху была калитка.

Непонятно, для кого все это устроили: решетку явно установили, чтобы никто не пробрался на лестницу, хотя, даже если калитка закрыта, на ступеньки можно было запросто спрыгнуть с площадки для погрузки. Дверь подвала открывалась только изнутри: снаружи на ней даже ручки не было. Так что калитка могла разве что служить ловушкой, что было по меньшей мере странно с архитектурной точки зрения, а по большей – чрезвычайно опасно в случае пожара. Грязные ступеньки были густо усыпаны опавшими листьями, целлофановыми пакетами и окурками: лестницей явно не пользовались годами.

Здесь-то они и поджидали врага. Сэмюэл нервничал. Его пугало то, что придумал Бишоп: он решил запереть Энди Берга на лестнице и оставить там на всю ночь.

– Может, не надо? – спросил он Бишопа, который спустился по ступенькам, достал из рюкзака черный пакет и спрятал его под листьями, грязью и мусором.

– Не бойсь, – ответил Бишоп. – Прорвемся.

– А если нет? – не унимался Сэмюэл, готовый расплакаться при мысли о том, что с ними сделает Энди Берг за такую дурацкую выходку.

– Лучше давай уйдем, – не унимался Сэмюэл. – Прямо сейчас, пока его нет. И все будет хорошо.

– Делай, что я сказал. Ты помнишь, что должен сделать?

Сэмюэл нахмурился, потрогал лежавший в кармане массивный железный замок.

– Когда он спустится к двери, закрыть калитку.

– Тихо закрыть калитку, – поправил Бишоп.

– Точно. Чтобы он не заметил.

– Я дам тебе знак, и ты ее закроешь.

– Какой знак?

– Посмотрю на тебя многозначительно.

– Как-как?

– Ну так. Вылуплюсь на тебя. Увидишь – поймешь.

– Хорошо.

– А после того, как закроешь калитку?

– Я ее запру, – ответил Сэмюэл.

– Это главная часть задания.

– Я знаю.

– Самая важная часть.

– Если я ее запру, он не сможет выбраться и надавать нам по шее.

– Ты должен думать как солдат. Ты должен сосредоточиться на своей

части операции.

– Понял.

– Не слышу!

Сэмюэл притопнул и выкрикнул:

– Так точно!

– Так-то лучше.

Вечер выдался теплый, влажный и душный, на земле лежали длинные тени, в небе пламенел густо-оранжевый закат. На горизонте собирались обычные для Среднего Запада тучи – огромные, похожие на плавучие лавины, обещавшие грозы и зарницы. Ветер трепал кроны деревьев. Наэлектризованный воздух пах озоном. Бишоп закопал пакет внизу лестницы. Сэмюэл тренировался бесшумно закрывать калитку. Наконец они забрались на погрузочную площадку и уселись ждать. Бишоп снова и снова проверял содержимое рюкзака, Сэмюэл теребил тяжелый замок в кармане.

– Биш!

– Чего?

– А что тогда было в кабинете директора?

– Ты о чем?

– Ну когда тебя повели пороть. Что там случилось?

Бишоп перестал рыться в рюкзаке, поднял голову, посмотрел на Сэмюэла и тут же отвернулся, приняв вид, который Сэмюэл научился узнавать: весь напряжился, глаза-щелочки, брови домиком. В позе Бишопа читался вызов. Сэмюэлу уже доводилось видеть его таким: так он выглядел, общаясь с мистером Ларджем, и с мисс Боулз, и с мистером Фоллом, и когда бросил камень в дом директора школы Святого сердца. Бишоп держался решительно и дерзко, что обычно не свойственно одиннадцатилетнему мальчишке.

Однако он тут же и успокоился: из-за угла показался Энди Берг. Шел он, как всегда, по-дурацки, вперевалку, шаркал, подволакивал ноги, как будто они были слишком далеко от его крошечного мозга или нервная система попросту не справлялась с таким огромным телом.

– Идет, – бросил Бишоп. – Готовься.

Берг, как обычно, был в черных спортивных штанах, белых кроссовках не пойми какой марки и футболке с дурацкой подростковой шуткой – на этот раз там было написано “В чем с-уть?”. Берг был единственным парнем в классе, над кем не смеялись за то, что он ходит в дешевых поддельных кроссовках. Он был такой здоровенный и так легко пускал в ход кулаки, что мог ходить в чем угодно. Единственное, в чем он разделял вкусы большинства, была прическа: Берг отращивал крысиный хвостик, модный примерно у четверти мальчишек из класса. Чтобы отрастить правильный крысиный хвостик, волосы стригли коротко, а на затылке оставляли тонкую прядь. У Берга черная вьющаяся косица уже спускалась

на лопатки. Он подошел к погрузочной площадке, на которой, чуть выше его головы, по-турецки сидели Бишоп с Сэмюэлом.

– Наконец-то, – сказал Бишоп.

– Показывай давай.

– Сперва пообещай, что не испугаешься.

– Заткнись уже.

– А то народ боится. Малявки, что с них взять. Куда им такое.

– Да уж как-нибудь выдержу.

– Правда, что ли?

Бишоп произнес это таким саркастическим тоном, что было непонятно, шутит он или издевается. Как будто тебе до него еще расти и расти. Берг, похоже, это почувствовал, поскольку молчал, не зная, что ответить. Он не привык, чтобы с ним вели себя так смело и дерзко.

– Ну ладно, допустим, у тебя кишка не тонка, – не унимался Бишоп. – И ты не испугаешься. В конце концов, что ты там не видел!

Берг кивнул.

– Ты ж и так все время это видишь, правда? Ты же трахаешь старшекласницу?

– И что?

– Да я вот понять не могу, зачем тебе все это нужно, если у тебя и так есть девчонка. На фига тебе порнуха?

– Да она мне на фиг не нужна.

– И зачем ты тогда приперся?

– Да у тебя и нет никакой порнухи. Врешь ты все.

– А ты, похоже, нам чего-то недоговариваешь. Может, девка у тебя страшная. А может, ее и вовсе нет.

– Пошел ты в жопу! Так чего, покажешь или нет?

– Так уж и быть, дам тебе посмотреть одну картинку. А если не испугаешься, покажу еще.

Бишоп порылся в рюкзаке, выудил журнальную страницу с рваным краем, сложенную в несколько раз, медленно и осторожно протянул ее Бергу, и тот, раздосадованный этим спектаклем, выхватил ее у него. Не успел Берг развернуть страницу, как глаза у него вылезли из орбит, рот приоткрылся, и привычное выражение первобытной суровости сменилось одурением.

– Ого, – выдохнул Берг. – Вот это да.

Сэмюэл не видел картинки, которая привела Берга в такой восторг. На него смотрел лишь оборот страницы с рекламой не то коньяка, не то виски.

– Офигенно, – сказал Берг.

Вид у него был, как у щенка, который выпрашивает кусочек с хозяйской тарелки.

– Да, неплохо, – откликнулся Бишоп. – Но “офигенным” я бы это не назвал. Ничего особенного. Даже как-то глупо.

– Где ты это взял?

– Какая разница. Еще показать?

– А то!

– А ты никому не расскажешь?

– Где они?

– Сперва поклянись, что никому не скажешь.

– Ладно, клянусь.

– Скажи так, чтобы я поверил.

– Показывай уже.

Бишоп поднял руки – мол, сдаюсь – и указал на ступеньки.

– Вон там, внизу, – пояснил он. – Я спрятал их в мусоре у подножия лестницы.

Берг выронил страницу, открыл калитку на лестницу и ринулся вниз по ступенькам. Бишоп посмотрел на Сэмюэла и кивнул: это был знак.

Сэмюэл соскочил с погрузочной площадки на то место, где только что стоял Берг, подошел к калитке и медленно закрыл ее – в точности так, как они тренировались. Сверху он видел Берга у подножия лестницы, его мерзкий длинный крысиный хвостик, широкую жирную спину: наклонившись, Берг разгреб листья и грязь и обнаружил зарытый Бишопом пакет.

– Тут? В пакете? – уточнил Берг.

– Ага. Там.

Калитка закрылась с негромким стуком. Сэмюэл просунул между прутьев тяжелый навесной замок и запер его, с удовольствием услышав механический щелчок. Теперь точно все. Обратного пути нет. Они это сделали, и ничего уже не исправить.

В метре-другом от Сэмюэла валялась журнальная страница, которую Бишоп дал Бергу. Ветер кружил ее в вихре по погрузочной площадке, складывал пополам по сгибам, которые образовались, когда страницу загнули восемь раз. Сэмюэл подобрал ее. Развернул. И первым, что бросилось ему в глаза – еще до того, как образы на фотографии приняли привычный облик, превратились в части тела, – главным элементом композиции, определявшим снимок целиком, и единственным, что запомнилось Сэмюэлу, были волосы. Множество черных кудрявых волос. Черная как смоль копна кудрей на голове, густых и тяжелых даже на вид,

спускалась до самой земли, на которой сидела девушка: ягодицы расплющились, как тесто. Одной рукой девушка облокотилась на землю, а другую сунула в промежность и двумя пальцами, точно перевернутым пацификом, развела в стороны половые губы, обнажив пухлую таинственную алую щелку в кудряшках, густых и черных там, где они доходили почти до пупка, и легких, пушистых на внутренней поверхности ее прыщавых ляжек: здесь волосы напоминали жидкую поросль, которую отпускают подростки, когда им не терпится обзавестись усами и бородой; эти вьющиеся волосы спускались до самой земли, на которой сидела девушка, в неизвестном тропическом лесу. Сэмюэл пытался одновременно охватить эту сцену в подробностях, понять, в чем тут суть, разглядеть в снимке то, что видел в нем Энди Берг, но испытывал лишь отвлеченное любопытство, к которому примешивалось нечто вроде легкого отвращения и даже страха оттого, что мир взрослых, оказывается, так мерзок и гадок.

Сэмюэл сложил страницу в несколько раз, стараясь прогнать из головы образ, который только что видел, как вдруг Берг рявкнул снизу лестницы:

– Что за фигня?

И в ту же минуту сумерки разрежала яркая белая вспышка. Бишоп держал в руках “полароид”, из которого с жужжанием выползал белый квадратик пленки.

– Что за фигня! – повторил Берг.

Сэмюэл вскарабкался по лестнице на погрузочную площадку и подбежал к стоявшему на краю Бишопу, который махал Бергу фотографией и хохотал. Вокруг Берга валялись снимки: видимо, он перевернул пакет и вытряхнул их на землю. Сэмюэл увидел, что почти на всех кадрах были сняты крупным планом огромные эрегированные пенисы. Члены взрослых мужчин. Большие, мощные, налитые кровью, побагровевшие, некоторые влажные, с каплями спермы. Были тут и пенисы из порножурналов, и полароидные снимки чьих-то членов, сфотографированных со вспышкой, нерезкие, – чьи-то безымянные пенисы, лишенные тел, выступали из тени крупным планом, выглядывали из-под складок живота.

– Что за фигня! – похоже, других слов у Энди Берга не осталось. – Что за фигня?

– Вот видишь, я так и знал, – подал голос Бишоп. – Испугался как маленький.

– Что это за фигня?

– Рано тебе еще такое видеть.

– Я тебя убью на фиг.

– Сперва до нас доберись.

Берг помчался наверх, перепрыгивая через две ступеньки. Он был такой здоровый и несся так стремительно, что, казалось, ничто не сможет его удержать. Неужели они правда думали, что какой-то дурацкий замок их спасет? Сэмюэл представил, как тот ломается пополам и Берг вырывается из клетки, точно разъяренный зверь в цирке. Сэмюэл отступил на шаг, встал позади Бишопа и положил ему руку на плечо. Берг добежал до верха лестницы и выставил вперед руку, чтобы толкнуть калитку. Но та не подалась. Мощь Бергова движения столкнулась с прочностью железной калитки, и подалось единственное, что могло податься: рука.

Запястье выгнулось, и плечо вывихнулось с жутким хрустом. Берг отскочил назад, рухнул, как подкошенный, съехал вниз по ступенькам и упал у подножия лестницы. Он держался за руку, стонал и плакал. Калитка дрожала, так что гремел замок.

– Уй, больно! – хныкал Берг. – Рука!

– Пошли, – сказал Сэмюэл.

– Погоди, – ответил Бишоп. – Еще не все.

Он подошел к краю площадки и встал прямо над Бергом: их разделяли какие-нибудь два метра.

– Знаешь, что сейчас будет? – произнес Бишоп, заглушая хныканье Берга. – Я тебя обоссу, и ты ничего мне не сделаешь. А еще ты больше никогда никого пальцем не тронешь. Потому что у меня есть твоя фотка. – Бишоп помахал ему полароидным снимком. – Ты бы ее видел. На ней ты со всей этой гомосятиной. Хочешь, чтобы завтра эта фотка была в каждом шкафчике? Под каждой партией? В каждом учебнике?

Берг поднял на Бишопа глаза, и на мгновение превратился в обычного шестиклассника, который прежде был заперт в этом огромном взрослом теле: вид у Берга был удивленный, униженный, жалкий и несчастный. Как у животного, ошеломленного тем, что его пнули.

– Нет, – выдавил Берг сквозь слезы.

– Тогда веди себя хорошо, – ответил Бишоп. – Не лезь к Киму. И вообще ни к кому не лезь.

Бишоп расстегнул ремень и молнию на джинсах, стянул трусы и выпустил на Энди Берга длинную мощную струю мочи. Тот зарыдал, завыл и попытался увернуться. Берг свернулся в клубок, а Бишоп ссал ему на спину, на футболку, на крысиный хвостик.

После этого Бишоп с Сэмюэлом собрали вещи и ушли. На обратном пути они не проронили ни слова, и лишь когда пришла пора расходиться в разные стороны – Бишопу через лес в Венецианскую деревню, а Сэмюэлу

дальше, – Бишоп похлопал друга по руке и сказал:

– Молодчина, солдат, так держать. Мы сделаем из тебя человека.

И убежал.

В ту ночь жара наконец-то пошла на спад. Сэмюэл сидел в своей комнате у окна и смотрел, как мир снаружи заливают гроза. Ветер гнул к земле деревья на заднем дворе, небо разрезали молнии. Сэмюэл представил, как мокнет под дождем угодивший в ловушку Энди Берг, как он дрожит, как мерзнет, как ему больно и одиноко.

Утром повеяло первой осенней прохладой. Энди Берг в школу не явился. Говорили, вроде он не пришел домой ночевать. Вызвали полицию. Родители и соседи отправились на поиски. Утром его наконец нашли, мокрого, больного, в лестничном колодце за школой. Теперь он в больнице. Ни о каких фотографиях никто и словом не обмолвился.

Сэмюэл решил, что Берг простудился под дождем, а может, подхватил грипп. Бишоп считал иначе:

– Ему же надо было избавиться от порнухи, так? – сказал он на перемене. – Ну, чтобы его не увидели со всеми этими фотками?

– Ну да, – согласился Сэмюэл. – И что?

Они сидели на качелях, но не качались, а смотрели, как ребята на площадке играют в салки, и Ким Уигли с ними: такое случалось нечасто, потому что Ким на перемены либо не ходил, либо старался не бывать там, где можно нарваться на Берга и получить по шее. Сейчас же он беззаботно и весело играл со всеми в салки.

– Раз Берг в больнице, – продолжал Бишоп. – Значит, скорее всего, он отравился.

– Чем это?

– Фотки слопал. Надо же было куда-то их деть.

Сэмюэл попытался представить, каково это – съесть полароидный снимок. Разжевать жесткий пластик. Проглотить карточку с твердыми острыми углами.

– Думаешь, он их съел? – усомнился он.

– А то!

Ким посмотрел на них с другого конца площадки и несмело махнул Бишопу. Бишоп помахал в ответ, рассмеялся, крикнул: “Ура!” и убежал играть с ребятами – точнее, буквально перелетел к ним, почти не касаясь земли.

прогуливаться по единственной улочке Венецианской деревни, обычно на закате, так осторожно переступая и шаркая ногами, словно они в любой момент грозили подкоситься под тяжестью этой туши. Вдобавок недавно он приобрел трость, которая придавала ему величественный вид, что немало радовало директора. Трость удивительным образом преображала его согбенную хромую фигуру. С нею он выглядел *благородным страдальцем*. Этаким героем войны. Трость была дубовая, выкрашенная в густо-черный цвет. Перламутровая рукоятка крепилась к древку оловянным кольцом с выгравированными на нем королевскими лилиями. Когда директор купил себе трость, соседи вздохнули с облегчением: теперь он расхаживал не с таким мученическим видом, а следовательно, не надо было спрашивать о его самочувствии и в сотый раз слушать рассказ про Болезнь. За последние полгода эта тема себя исчерпала. Директор успел оповестить всех соседей о своей Болезни, загадочном недуге, который доктора не сумели диагностировать и от которого не было лекарств. Симптомы весь квартал знал наизусть: теснит в груди, одышка, обильный пот, непроизвольное слюноотделение, брюшные колики, перед глазами все плывет, постоянная усталость, вялость, общая слабость, головная боль, головокружение, тошнота, потеря аппетита, замедленное сердцебиение и нервный тик в разных частях тела, который директор демонстрировал соседям, если тот настигал его во время разговора. Приступы обычно начинались либо в полдень, либо в полночь и длились в среднем от четырех до шести часов, после чего таинственным образом проходили сами собой. Директор не стеснялся рассказывать о своем состоянии в самых интимных подробностях. Он говорил как человек, на которого обрушился смертельный недуг и заслонил всякое понятие о приличиях. Он расписывал, как бывает неудобно, когда одновременно нападает рвота и понос и невозможно решить, что же делать сначала. Соседи кивали и натянуто улыбались, стараясь ничем не выдать отвращения, потому что их дети, как и все дети обитателей Венецианской деревни, учились в Академии Святого сердца, и все прекрасно знали, что ее директор пользуется огромным влиянием. Ему достаточно было позвонить главе приемной комиссии Принстона, Йеля, Гарварда или Стэнфорда, чтобы шансы того или иного ученика на поступление увеличились на тысячу процентов. Все это знали, потому и терпели долгие и подробные рассказы директора о медицинских процедурах и телесных отправлениях: так родители вносили своего рода вклад в образование и будущее детей. Поэтому-то они были в курсе многочисленных визитов директора к дорогостоящим специалистам: аллергологам, онкологам,

гастроэнтерологам, кардиологам, а также результатов его МРТ, КТ и малоприятных биопсий различных органов. И всякий раз директор в шутку повторял: самое полезное, на что он за последнее время потратил деньги, это его трость. (Трость и правда была умопомрачительно красива, тут соседи вынуждены были отдать ей должное.) Он уверял, что лучшее лекарство – это активный образ жизни и свежий воздух, поэтому каждый вечер ходил гулять и дважды в день, утром и вечером, принимал у себя на заднем дворе горячую ванну с соленой водой: директор говорил, что для него это одно из немногих оставшихся удовольствий.

Менее великодушные соседи шушукались, что директор каждый вечер гуляет не для здоровья, а чтобы битый час плакаться на жизнь, и все его жалели. Разумеется, говорили они об этом только мужу или жене, а больше никому, но так оно и было. Они понимали, что это звучит эгоистично, бездушно, черство, ведь директор и вправду болен, и загадочный недуг причиняет ему невообразимые душевные и телесные страдания, но именно они чувствовали себя жертвами, именно они чувствовали себя пострадавшими, потому что вынуждены были все это выслушивать. Порой им казалось, будто их взяли в заложники, когда по часу приходилось общаться с директором, прежде чем распрощаться с этим занудой, вернуться к себе в гостиную и попытаться хотя бы остаток вечера провести приятно. Они включали телевизор и видели в новостях очередную печальную историю об очередной проклятой гуманитарной катастрофе, очередной проклятой гражданской войне в какой-нибудь забытой богом стране, видели кадры с ранеными или голодающими детьми и злились *на этих детей* за то, что те своими страданиями отравили им единственные спокойные минуты отдыха за целый день. Нам, между прочим, тоже живется нелегко, возмущались соседи, и ничего, не жалуемся. Проблемы есть у всех, зачем же о них рассказывать? Почему бы не разобраться с ними самостоятельно? Как можно до такой степени себя не уважать? Зачем втягивать в это весь мир? Ведь мы тут ничем не поможем. Не мы же развязали эту гражданскую войну.

Но вслух, разумеется, они бы этого никогда не сказали. Так что директор не подозревал, что о нем думают на самом деле. Однако некоторые из его непосредственных соседей перестали включать вечером свет и сидели в потемках, пока директор не пройдет мимо. Другие на время его прогулки уезжали поужинать в ближайший ресторан. Третьи так наловчились избегать его общества, что порой директор доходил до конца улицы, стучался к Фоллам и напрашивался на чашечку кофе, как было в тот первый раз, когда Сэмюэлу разрешили переночевать у Бишопа.

Родители впервые отпустили его ночевать к другу. Отец сам повез его к Фоллам и был явно ошарашен, увидев высокие медные ворота Венецианской деревни.

– Так это здесь живет твой друг? – спросил отец.

Сэмюэл кивнул.

Охранник у ворот проверил водительское удостоверение Генри, попросил заполнить анкету, подписать отказ от претензий и объяснить цель визита.

– Мы же не в Белый дом едем, – раздраженно бросил отец.

– Можете предоставить какие-нибудь гарантии? – спросил охранник.

– Что?

– Нас не поставили в известность о вашем визите, следовательно, необходимы гарантии. На случай ущерба или нарушений.

– Каких еще нарушений?

– Таковы правила. У вас есть кредитная карта?

– Я не оставлю вам свою кредитную карту.

– Мы вам ее вернем. Она нужна лишь в качестве гарантии.

– Да я же просто сына привез.

– А, так ваш сын останется здесь? Хорошо, это подойдет.

– Для чего?

– Для гарантии.

Охранник поехал за ними на гольфкаре. Генри завез Сэмюэла к Фоллам, наскоро обнял его на прощанье, сказал “Веди себя хорошо” и “Если что, звони”, с ненавистью покосился на охранника и сел в машину. Сэмюэл проводил взглядом машину отца и гольфкар, укативших прочь по Виа Венето. В руках у него был рюкзак с пижамой и сменной одеждой; на дне рюкзака лежала кассета, которую он купил для Бетани в торговом центре.

Сегодня он отдаст ей подарок.

Его уже ждали. Бишоп, Бетани и их родители собрались в одной комнате, которую Сэмюэл раньше не видел, – все в одно время, в одном месте. А за пианино сидел еще один человек, и Сэмюэл узнал его: это был директор. Тот самый директор, который выгнал Бишопу из Академии Святого сердца, сейчас сидел на табурете перед фамильным кабинетным роялем.

– Добрый вечер, – поздоровался Сэмюэл сразу со всеми, ни к кому в отдельности не обращаясь.

– Ты друг из новой школы?

Сэмюэл кивнул.

– Приятно видеть, что он вписался в коллектив, – заметил директор.

Он сказал это о Бишопе, но обращался к его отцу. Сидевший в антикварном деревянном кресле с мягкой обивкой Бишоп казался маленьким, словно директор занял собой всю комнату. Он был одним из тех людей, чей облик точь-в-точь под стать манерам. Мощный голос. Мощное тело. Мощная поза: директор сидел, широко расставив ноги и выпятив грудь.

Бишоп расположился в самом дальнем от директора углу, скрестив руки и поджав ноги: не мальчишка, а комок злости. Он так вжался в кресло, словно хотел в буквальном смысле слиться с ним, исчезнуть. Бетани сидела на краешке стула у рояля, как обычно, очень прямо, скрестив ноги и положив руки на колени.

– Ну-с, продолжим! – провозгласил директор, повернулся к роялю и поставил руку на клавиши. – Только чур, не подглядывать.

Бетани отвернулась от рояля и уставилась на Сэмюэла. У него екнуло сердце – до того напряженным был ее взгляд. Он с трудом поборол желание отвести глаза.

Директор нажал какую-то клавишу, и раздался низкий, сильный, печальный звук, который Сэмюэл почувствовал всем телом.

– Ля, – сказала Бетани.

– Верно! – согласился директор. – Дальше.

Другой звук, на этот раз в одной из верхних октав, нежный и звонкий.

– До, – ответила Бетани.

Она по-прежнему смотрела на Сэмюэла лишенным всякого выражения взглядом.

– И опять угадала! – заметил директор. – А теперь посложнее.

Он нажал сразу три клавиши и извлек из инструмента резкий, диссонансный аккорд – как ребенок, который лупит по клавиатуре ладошкой. Взгляд Бетани затуманился, словно она на миг потеряла сознание, глаза остекленели, но потом снова обрели осмысленное выражение, и она ответила:

– Си бемоль, до, до диез.

– Удивительно! – директор хлопнул в ладоши.

– Я пойду? – спросил Бишоп.

– Что? – удивился его отец. – Что ты сказал?

– Я пойду? – повторил Бишоп.

– Если попросишь как следует.

Тут наконец Бишоп поднял голову и поймал взгляд отца. Несколько неловких секунд они смотрели друг другу в глаза.

– Можно я пойду к себе? – наконец произнес Бишоп.

– Да, пожалуйста.

Мальчики ушли в игровую. Бишоп явно не горел желанием общаться: он воткнул в приставку “Миссайл Комманд” и с каменным лицом принялся молча запускать в воздух ракеты. Потом ему это надоело, он сказал: “Да ну на фиг, давай лучше кино смотреть”, и включил фильм, который они уже видели несколько раз: там кучка подростков защищала свой город от внезапного нападения русских. Через двадцать минут после начала фильма открылась дверь, и в комнату проскользнула Бетани.

– Он ушел, – сообщила она.

– Вот и хорошо.

У Сэмюэла при виде Бетани каждый раз екало сердце. И даже сейчас, хотя он успел пожалеть, что приехал: Бишоп явно хотел побыть один, так что Сэмюэл не знал, что и делать, и думал даже позвонить отцу и вернуться домой, – даже сейчас Сэмюэл оживился, когда Бетани вошла в комнату. Словно с ее приходом все прочее становилось неважным. Сэмюэл еле сдерживался, чтобы не прикоснуться к ней, не взъерошить ее волосы, не ударить по руке, не щелкнуть по уху или не выкинуть еще какую-нибудь глупость из тех, которыми донимают девчонок влюбленные в них мальчишки, – глупость, которую творят с одной-единственной целью: дотронуться до девочки единственным известным им варварским способом. Но Сэмюэл прекрасно понимал, что так ничего путного не добьешься, поэтому молча и напряженно сидел на своем обычном месте, в кресле-мешке, надеясь, что Бетани расположится рядом с ним.

– Гад он все-таки, – сказал Бишоп. – Проклятый жирный гад.

– Да, – согласилась Бетани.

– Зачем они вообще его пускают в дом?

– Потому что он директор школы. И еще потому, что он болен.

– Смешно.

– Не болел бы – не гулял бы.

– Смешно, я же говорю.

– Ты меня не слушаешь, – сказала Бетани. – Если бы он не болел, ты бы его не видел.

Бишоп нахмурился и сел.

– Что ты хочешь этим сказать?

Бетани сложила руки за спиной и прикусила щеку изнутри, как делала всегда, когда о чем-то сосредоточенно раздумывала. Волосы ее были забраны в хвост. Зеленые глаза сверкали. На Бетани был желтый сарафан, который к подолу постепенно становился белым.

– Я всего лишь констатирую факт, – ответила Бетани. – Если бы директор не болел, он не ходил бы гулять, и тогда тебе не пришлось бы его видеть.

– Что-то мне не нравится, куда ты клонишь.

– Ребят, о чем вы? – спросил Сэмюэл.

– Ни о чем, – в унисон ответили близнецы.

В гнетущем молчании они втроем досмотрели кино: американским подросткам удалось отбить нападение русских, но привычной радости от победного конца друзья не ощутили, поскольку в воздухе висело напряжение, как будто назревала ссора: Сэмюэлу даже показалось, будто он дома ужинает с родителями, которые опять что-то не поделили. Когда фильм закончился, детям велели готовиться ко сну: они умылись, почистили зубы, надели пижамы, и Сэмюэла отвели в гостевую спальню. Перед тем как детям велели выключить свет, Бетани тихонько постучала к Сэмюэлу, заглянула в комнату и проговорила:

– Спокойной ночи.

– Спокойной ночи, – ответил он.

Бетани замаялась на пороге и посмотрела на него, словно хотела что-то сказать.

– А что вы такое делали? – спросил Сэмюэл. – Ну, тогда. У рояля.

– Ах, это, – откликнулась она. – Дешевые трюки.

– Ты что-то показывала?

– Типа того. Я слышу разные звуки. Людям кажется, что это необычно.

Родители любят мной хвастаться.

– А что ты слышишь?

– Разные ноты, тона, вибрации.

– От рояля?

– Отовсюду. Рояль услышать проще всего, потому что у каждого звука есть название. А так я слышу что угодно.

– Как это – что угодно?

– На самом деле каждый звук состоит из нескольких звуков, – пояснила Бетани. – Из трезвучий и гармоник. Тонов и обертонов.

– Это как?

– Стук в стену. Дребезжание стеклянной бутылки. Пение птиц. Шорох шин по асфальту. Телефонный звонок. Гудение посудомойки. Во всем есть музыка.

– И ты во всем этом слышишь музыку?

– Наш телефон звонит пронзительно, – ответила Бетани. – Каждый раз слух режет.

Сэмюэл постучал по стене и прислушался.

– Я слышу только стук.

– Это гораздо больше, чем стук. Послушай. Постарайся различить звуки. – Она резко постучала по дверному косяку. – Так звучит дерево, но у древесины плотность неоднородная, поэтому она издает несколько близких друг к другу тонов. – Бетани снова постучала. – Еще тут звуки клея, стены и гул ветра в стене.

– Неужели ты все это слышишь?

– Ну оно же есть. Все вместе воспринимается как стук. Такой темно-коричневый шум. Если смешать все краски в коробке, получится этот звук.

– А я ничего такого не слышу.

– Мир вообще труднее расслышать. В рояле каждая нота на своем месте. В доме – нет.

– Ничего себе.

– Приятного в этом мало.

– Почему?

– Ну вот хотя бы птицы. Есть такая птичка, танагра, она еще так поет: “Чик-чирик-чирик-чирик”. Знаешь? Перелетная птица.

– Знаю.

– А я вместо “чирик-чирик” слышу терцию и доминанту в ля бемоль мажоре.

– Я не знаю, что это значит.

– Ну то есть нота до плавно переходит в ми бемоль, точь-в-точь как в одном из соло Шуберта, в симфонии Берлиоза и концерте Моцарта. Птица поет, а я все это вспоминаю.

– Вот бы и мне так.

– Не надо. Это ужасно. Такая каша в голове получается.

– Зато ты думаешь о музыке, а я только о том, как бы чего не случилось.

Бетани улыбнулась.

– Я всего лишь хочу нормально спать по утрам, – пояснила она. – Но у меня за окном заливается эта танагра. Жаль, что нельзя ее выключить. Или мою голову. Одно из двух.

– А я тебе подарок купил, – вспомнил Сэмюэл.

– Какой еще подарок?

– Из торгового центра.

– Какого еще торгового центра? – удивилась Бетани, но потом вспомнила, и лицо ее прояснилось. – Ах да, из торгового центра! Точно!

Сэмюэл порылся в рюкзаке и достал кассету – блестящую, по-

прежнему в целлофановой обертке. Сейчас она вдруг показалась ему крошечной, размером и весом не больше колоды карт. Маловато для значимого подарка, с сожалением подумал Сэмюэл, расстроился и резко сунул Бетани кассету, испугавшись, что если помедлит, то уже не решится отдать.

– Вот, держи, – сказал он.

– А что это?

– Это тебе.

Бетани взяла кассету.

– В торговом центре купил.

Сэмюэл мечтал, как Бетани, получив подарок, радостно улыбнется и бросится ему на шею: ну надо же, воскликнет она, и как ты догадался? Это же идеальный подарок! Бетани осознает, что Сэмюэл чувствует ее, как никто другой, понимает все, что творится у нее в голове, да и сам он – интересная творческая личность с богатым внутренним миром. Однако, судя по лицу Бетани, ничего такого она не подумала. Она прищурилась и наморщила лоб, как будто пыталась разобрать чей-то досадно сильный акцент.

– А ты знаешь, что это? – уточнила она.

– Экспериментальная вещь, – повторил Сэмюэл слова продавца. – Не каждый поймет.

– Вот уж не ожидала, что ее запишут, – заметила Бетани.

– Их там целых десять! – добавил Сэмюэл. – Одна и та же пьеса записана десять раз.

Бетани рассмеялась, и Сэмюэл догадался, что выставил себя дураком, хотя и не понимал почему. Он чего-то явно не знал.

– Чего смеешься? – обиделся он.

– Да это же шутка, – ответила Бетани.

– Какая еще шутка?

– Во всей этой пьесе нет ни звука, – пояснила она. – Ну то есть... полная тишина.

Сэмюэл озадаченно уставился на Бетани.

– Там нет ни одной ноты, – продолжала Бетани. – Пьесу исполнили всего раз. Пианист просто сидел за инструментом, но ничего не играл.

– Как так?

– Ну вот так. Сидел и считал такты. Потом встал и ушел со сцены. Вот и вся пьеса. Не думала, что ее запишут.

– Десять раз.

– В общем, это такой розыгрыш, что ли. Очень известная вещь.

– Значит, вся кассета пустая? – уточнил Сэмюэл.

– Скорее всего. Это же шутка.

– Вот блин.

– Да ладно, чего ты, классно же, – Бетани прижала кассету к груди. – Спасибо. Это ты здорово придумал.

“Здорово придумал”. Сэмюэл долго вспоминал слова Бетани после того, как она ушла, он выключил свет, накрылся с головой одеялом, свернулся в клубок и расплакался. Как быстро жестокая действительность разбила его мечты! Он с горечью думал о том, как надеялся на этот вечер и как оно все обернулось. Бишоп ему не обрадовался. Бетани на него и вовсе плевать хотела. С подарком он прогадал. Что ж, сокрушительное разочарование – лишь плата за надежду, подумал Сэмюэл.

Должно быть, он так и уснул, свернувшись калачиком под одеялом, потому что через несколько часов, горячий и потный, проснулся оттого, что Бишоп тряс его за плечо.

– Вставай. Пошли.

Сэмюэл, пошатываясь, последовал за ним. Бишоп велел обуться и вылезти из окна кинозала на первом этаже. Сэмюэл выполнил все это в полусонном ступоре.

– За мной, – скомандовал Бишоп, когда они выбрались из дома.

В полной темноте и тишине они шагали вверх по Виа Венето. Было часа два, может, три – Сэмюэл не знал. Глухой ночью всегда царит небывалое спокойствие: ни звука, ни ветерка, и кажется, будто погоды вообще не существует. Лишь изредка щелкали дождевалки на газонах да глухо бурлила горячая ванна во дворе директора школы. Механические, автоматические звуки. Бишоп шагал уверенно, даже дерзко, не так, как обычно, когда они играли в войнушку и он прятался за деревьями или шмыгал в кусты. Сейчас он шел, не скрываясь, прямо посередине дороги.

– На, держи, – он протянул Сэмюэлу синие резиновые перчатки, в каких обычно копаются в земле. Они оказались велики: наверно, Бишоп взял их у мамы. Перчатки доходили Сэмюэлу до локтей и были сантиметра на два длиннее пальцев.

– Сюда, – Бишоп повел их на лужайку у дома директора школы, где за пышным плотным газоном начинался лес.

Там стоял металлический столбик, примерно с них высотой, на котором лежал гладкий кусок белой соли с коричневыми пятнами. Сверху соль держал медный круг. Бишоп взялся за него и попытался открутить.

– Помоги, – попросил он Сэмюэла.

Они вдвоем налегли на круг, и тот подался. Сэмюэл задыхался от

натуги; от столба пахло диким зверем, и к этому запаху примешивался противный серный душок, как от тухлых яиц. Так пахла соль. Вблизи Сэмюэл разглядел табличку, прикрепленную к середине столба: “Осторожно, яд. Не трогать”.

– Это от него олени дохнут? – спросил он.

– Берись с той стороны.

Они сняли со столба кусок соли, оказавшийся на удивление тяжелым и плотным, и потащили к дому директора.

– Не нравится мне все это, – признался Сэмюэл.

– Мы почти пришли.

Они шагали медленно, поддерживая с двух сторон серую глыбу, обогнули бассейн и поднялись на две ступеньки к горячей ванне. Вода медленно бурлила, над ней поднимался пар, а на дне ванны светился синий огонек.

– Бросай, – Бишоп кивнул на ванну.

– Не хочу.

– На счет три, – велел Бишоп, и они, два раза качнув кусок соли туда-сюда, на третий бросили ее в ванну.

Глыба с плеском рухнула в воду и глухо шлепнулась на дно.

– Вот и отлично, – сказал Бишоп. Они смотрели на лежавшую на дне ванны глыбу; мерцавшая вода искажала ее вид. – К утру растворится, – продолжал он. – И никто ничего не узнает.

– Я домой хочу, – подал голос Сэмюэл.

– Пошли, – Бишоп взял друга за руку, и они направились прочь.

Когда они дошли до дома, Бишоп открыл окно кинозала и замер.

– Хочешь, скажу, что случилось в кабинете директора? – спросил он. – Почему меня не выпороли?

Сэмюэл едва сдерживал слезы и вытирал сопли рукавом пижамы.

– А все очень просто, – продолжал Бишоп. – Ты пойми главное: каждый чего-то боится. Узнаешь, чего человек боится больше всего, и делай с ним что угодно.

– И что же ты сделал?

– Он взял палку. Велел мне наклониться над столом. Ну и я снял штаны.

– Что?

– Расстегнул ремень, спустил штаны и трусы. Повернулся к нему голый жопой и спрашиваю: “Вы этого хотите?”

Сэмюэл уставился на Бишопа.

– Зачем ты это сделал?

– Я спросил его, нравится ли ему моя жопа и не хочет ли он ее потрогать.

– Все равно не понимаю, зачем ты это сделал.

– Смотрю, а он аж сам не свой.

– Ого.

– Смотрел-смотрел на меня, потом велел одеться и отвел в класс. Вот и все. Проще простого!

– И как тебе только это в голову пришло?

– Ладно, – ушел от ответа Бишоп. – Спасибо, что помог.

Он залез в окно, Сэмюэл за ним. Прокрался по темному дому в гостевую спальню, лег в постель, потом встал, пошел в ванную и вымыл руки – три, четыре, пять раз. И непонятно было, то ли яд жжет пальцы, то ли это ему только кажется.

9

В почтовый ящик бросили приглашение в кремовом квадратном конверте из плотной бумаги.

– Что это? – спросила Фэй. – Тебя зовут на день рождения?

Сэмюэл перевел взгляд с конверта на мать.

– На вечеринку с пиццей? – не унималась та. – На роллердром?

– Ну хватит.

– От кого оно?

– Не знаю.

– Ну так открой.

В конверте лежала дорогая открытка. Она блестела, словно в бумаге были капельки серебра. Буквы казались позолоченными. Изящным курсивом с завитушками были выведены слова:

*Приглашаем вас на вечер в церковь Академии Святого сердца
Бетани Фолл исполнит Первый скрипичный концерт Бруха*

Сэмюэла еще никуда не приглашали так торжественно. Приглашения на дни рождения одноклассников были самыми заурядными: сляпанные кое-как дешевые тонкие открытки с животными или воздушными шариками. Это же приглашение было весомым даже на ощупь. Сэмюэл протянул его матери.

– Пойдем? – спросил он.

Мама прочитала открытку и нахмурилась.

– А кто такая Бетани?

– Моя подруга.

- Из школы?
- Типа того.
- Значит, близкая подруга, раз тебя пригласили на концерт?
- Пойдем? Ну пожалуйста!
- Разве тебе нравится классика?
- Да.
- И с каких это пор?
- Не знаю.
- Это не ответ.
- Ну мам.
- Скрипичный концерт Бруха? Ты хотя бы знаешь, что это такое?
- Мааам!
- Да я просто говорю. Ты уверен, что тебе это понравится?
- Пьеса очень сложная, она ее несколько месяцев репетировала.
- А ты откуда знаешь?

Сэмюэл с досады зарычал: до того ему не хотелось обсуждать Бетани.

– Ну ладно, – улыбнулась мама. – Пойдем.

Вечером в день концерта она велела ему одеться получше.

– Представь, что сегодня Пасха, – добавила она.

Сэмюэл надел самые нарядные вещи, которые нашел в шкафу: жесткую колючую белую рубашку, черный галстук-бабочку, тугой, как удавка, черные брюки, которые, когда Сэмюэл шевелился, потрескивали от статического электричества, и блестящие туфли, такие тесные, что пришлось воспользоваться рожком для обуви, и такие жесткие, что сразу же натерли ему пятки. И зачем только взрослые по самым торжественным случаям надевают самую неудобную одежду, подумал Сэмюэл.

Когда они приехали в церковь Академии Святого сердца, там уже было полно народу: в сводчатый дверной проем текла вереница мужчин в костюмах и женщин в платьях с цветочными узорами, и даже с парковки было слышно, как разыгрываются музыканты. Церковь копировала знаменитые европейские кафедральные соборы – правда, была меньше раза в три.

Вдоль центрального прохода тянулись ряды тяжелых скамей со спинками, украшенных затейливой резьбой; полированное дерево влажно блестело. За скамьями высились каменные колонны, к которым метрах в пяти над головами публики были прикреплены горящие факелы. Родители учеников болтали между собой, мужчины мимолетно и невинно целовали женщин в щеку. Присмотревшись, Сэмюэл понял, что на самом деле мужчины вовсе не целовали женщин, а только делали вид: чмокали воздух

где-то возле шеи собеседницы. Наверно, женщинам обидно, подумал Сэмюэл: ждешь, что тебя поцелуют, а целуют воздух.

Сэмюэл с мамой заняли места и открыли программку. Бетани должна была появиться только во втором отделении. В первом предполагались короткие камерные пьесы и сольные номера. Выступление Бетани явно должно было стать гвоздем программы. Коронным номером. Сэмюэл нервно притопывал ногами по мягкому ковру.

Свет погас, музыканты закончили разыгрываться, зрители заняли места, и после долгой паузы уверенно вступили деревянные духовые, а за ними и прочие инструменты подхватили ту же самую ноту и тянули ее. У матери Сэмюэла вдруг перехватило дыхание: она ахнула и схватилась за сердце.

– Совсем как я когда-то, – прошептала она.

– Что?

– Я тоже играла на гобое, вступала первой, а остальные подхватывали.

– Ты играла в оркестре? Когда?

– Тс-с.

Вот вам, пожалуйста, еще один секрет. Мамино прошлое было для Сэмюэла окутано густым туманом: все, что происходило в ее жизни до его рождения, казалось загадкой. На все вопросы мама лишь пожимала плечами либо отделялась общими фразами: “Ты еще маленький” или “Тебе не понять”. Или: “Подрастешь – расскажу” (эта последняя больше всех бесила Сэмюэла). Но все тайное рано или поздно становится явным. Значит, его мама когда-то была музыкантом. Сэмюэл добавил этот факт в общий список фактов о маме, который вел в уме. Значит, мама музыкант. А кто еще? Чего еще он о ней не знает? У нее же миллион секретов. Сэмюэл всегда чувствовал, что мама чего-то недоговаривает, что за ее невниманием кроется что-то важное. Ему часто казалось, что она как будто где-то не здесь: слушает краем уха, а мыслями далеко.

Самый главный мамин секрет раскрылся гораздо раньше: Сэмюэл тогда был еще мал и забрасывал родителей дурацкими вопросами. (“А вы когда-нибудь забирались в вулкан? А ангела видели?”) А может, потому что по наивности еще верил в сказки. (“А люди могут дышать под водой? А все олени летают?”) Или же ему просто хотелось, чтобы на него обратили внимание и похвалили. (“А ты меня очень любишь? Правда я самый лучший ребенок на свете?”) Или же уточнял свое место в мире. (“Ты всегда будешь моей мамой? А ты была замужем до того, как вы с папой поженились?”) И вот когда он задал этот последний вопрос, мама выпрямилась, бросила на него серьезный взгляд с высоты своего роста и пробормотала: “Ну вообще-то...”

Но так и не договорила. Сэмюэл ждал, но мама замолчала, задумалась о чем-то, и лицо ее приобрело холодное и отстраненное выражение.

– Так что вообще-то? – спросил Сэмюэл.

– Ничего, – ответила мама. – Просто.

– Так ты уже была замужем?

– Нет.

– А что ты тогда хотела сказать?

– Ничего.

Тогда Сэмюэл решил спросить у отца.

– А мама была когда-нибудь замужем за другим?

– Что?

– Ну я подумал, вдруг у нее когда-то был другой муж.

– Нет, не было. Ничего себе мысли! И как тебе такое в голову пришло?

Но что-то с ней случилось, в этом Сэмюэл не сомневался. Что-то серьезное, если даже сейчас, столько лет спустя, мама об этом думает. Иногда на нее что-то накатывало, и она замыкалась в себе.

Концерт меж тем шел своим чередом. Старшеклассники и старшеклассницы исполняли программные произведения, которые может сыграть любой учащийся выпускного класса музыкальной школы: короткие пьесы на пять-десять минут. После каждой раздавались громкие аплодисменты. Приятная легкая тональная музыка, в основном Моцарт.

Затем начался антракт. Зрители встали и разбрелись кто куда: на улицу покурить, к столу с закусками – за сыром.

– И долго ты играла в оркестре? – спросил Сэмюэл.

Мама изучала программку и притворилась, будто не услышала.

– Сколько же лет твоей подруге?

– Как мне, – ответил Сэмюэл. – Она тоже в шестом классе.

– И выступает со старшеклассниками?

Сэмюэл кивнул.

– Она здорово играет.

Его охватила гордость, словно любовь к Бетани придавала ему важности. Словно его награждали за ее достижения. Ему никогда не стать гениальным музыкантом, но его может любить гениальная музыкантша. Таковы прелести любви, подумал Сэмюэл: успех Бетани – это, как ни странно, и его успех.

– Папа тоже молодец, – добавил он.

Мама бросила на Сэмюэла удивленный взгляд.

– Это ты к чему?

– Просто так. Я про работу. Он тоже мастер своего дела.

– Не понимаю, к чему ты клонишь.

– Да ни к чему. Папа – профессионал.

Мама озадаченно уставилась на него.

– А ты знаешь, – она опустила взгляд в программку, – что автор этого произведения не получил за него ни гроша?

– Какого произведения?

– Которое будет играть твоя подруга. Его автор, Макс Брух, не заработал на нем ни цента.

– Почему?

– Его обманули. Дело было в Первую мировую, он разорился и вынужден был отдать свою пьесу двум американцам, которые обязались выслать ему денег, но так ничего и не прислали. С тех пор партитура как в воду канула и через много лет нашлась в коллекции Дж. П. Моргана.

– А кто это?

– Банкир. Промышленник. Финансист.

– Богатый, значит.

– Да. Он давно умер.

– Он любил музыку?

– Он много что любил и коллекционировал, – ответила мама. – Классика жанра: барон-разбойник богатеет, музыкант умирает в нищете.

– И ничего не в нищете, – возразил Сэмюэл.

– Он разорился. У него даже партитуры не осталось.

– Зато он ее запомнил.

– Ну и что?

– Ну как что. Она осталась у него в памяти. Не так уж это и мало.

– Я бы предпочла деньги.

– Почему?

– Потому что, когда у тебя не осталось ничего, кроме воспоминаний, – пояснила мама, – ты думаешь только о том, чего лишился.

– Неправда.

– Ты еще маленький. Вырастешь – поймешь.

Свет снова потух, зрители расселись по местам, разговоры стихли, и воцарилась такая тишина и темнота, что казалось, будто церковь сжалась до пределов пустого круга света от прожектора перед алтарем.

– Сейчас начнется, – шепнула мать.

Зрители ждали. Время тянулось мучительно медленно. Пять, десять секунд. Сколько можно! Неужели Бетани забыли сообщить, что ей пора выступать? А может, она забыла дома скрипку? Но тут наконец хлопнула дверь, послышались тихие шаги, и в круг света скользнула Бетани.

На ней было обтягивающее зеленое платье, волосы уложены в прическу. Сэмюэл впервые заметил, какая Бетани крохотная, особенно по сравнению со взрослыми и сидевшими позади нее старшеклассниками. Наверно, это был обман зрения, но Бетани показалась Сэмюэлу совсем ребенком, и он испугался за нее. Он места себе не находил от волнения.

Публика вежливо похлопала. Бетани прижала скрипку к подбородку. Выпрямила шею и плечи. И тут вдруг вступил оркестр.

В темноте раздалась глухая барабанная дробь, похожая на далекие раскаты грома. Сэмюэл почувствовал, как звук отдается у него в груди, в кончиках пальцев. Он весь взмок. У Бетани даже нот нет! Ей придется играть по памяти! А если она что-то забудет? Если ее заклинит от волнения? Его вдруг испугала неотвратимость музыки: барабаны продолжают бить, даже если Бетани позабыла свою партию. Мягко вступили деревянные духовые: никакого пафоса, просто три ноты, каждая следующая ниже предыдущей, повторяются несколько раз. Даже не мелодия, а только подготовка к ней. Словно инструменты возводят храм для звука. Словно эти три ноты – часть непрямого ритуала, предшествовавшего музыке: солистка еще не вступила, но вот-вот заиграет.

Бетани выпрямилась, поставила смычок на струны, и стало ясно: вот оно, сейчас начнется. Она была готова. Зрители ждали. Духовые держали ноту, которая постепенно стихала: как будто тянешь ириску, и она тает и исчезает. Когда эта нота смолкла, когда ее поглотила тьма, прозвучала нота Бетани. Нота крепла, становилась громче, и вот уже в храме не осталось иных звуков, кроме нее.

Сколько одиночества было в этом звуке!

В нем словно бы слились все страдания, что обрушились на человека за долгую жизнь. Мелодия начиналась с низких нот и постепенно поднималась все выше и выше, потихоньку, шагком за шагом, словно танцор, который кружит по сцене, постепенно разгоняясь, вихрем летела вверх, чтобы на самой вершине прокричать о своем безнадежном отчаянии. Бетани так взяла эту последнюю ноту, так поднялась к ней, что та прозвучала, как рыдание, словно кто-то расплакался. Давно знакомый звук: Сэмюэл как проваливается в него, медленно его обнимает. И когда ему показалось, что Бетани достигла высшей точки, она взяла еще более высокую ноту, еле слышную, едва касаясь краем смычка тончайшей из струн: из-под пальцев Бетани лился чистейший звук, ясный, величественный, тихий, чуть дрожащий, словно нота живая и пульсирует. Еще жива, но уже умирает: нота постепенно угасла. Казалось, Бетани не

стала играть тише, а стремительно удаляется от них, будто ее украли. И куда бы она ни ушла, зрителям туда нет дороги. Словно она была призраком, летящим в царство теней.

Вступил оркестр – мощно, гулко, всем составом, как будто, чтобы ответить крошечной девочке в зеленом платье, им были нужны все ноты, какие только можно извлечь из инструментов.

Концерт прошел как в тумане. Сэмюэл то и дело дивился очередному приему Бетани: как она играла сразу на двух струнах, причем обе звучали в унисон, как ухитрялась держать в памяти столько нот, как порхали ее пальцы. Неужели человеку такое под силу? К середине второй части Сэмюэл осознал, что недостоин ее.

Публика неистовствовала. Зрители вскочили, закричали, захлопали, завалили Бетани такими огромными букетами роз, что она едва не падала под их тяжестью. Бетани держала цветы обеими руками: ее почти не было видно за ними. Она кланялась и махала зрителям рукой.

– Талантливых людей все любят, – проговорила мама Сэмюэла; она тоже стояла и аплодировала Бетани. – Их существование словно оправдывает нашу ничем не примечательную жизнь. Можно утешаться тем, что мы такими родились.

– Она несколько месяцев репетировала без остановки.

– Папа мне вечно твердил, что я посредственность, – сказала мать. – И, похоже, оказался прав.

Сэмюэл перестал хлопать и посмотрел на мать.

Она закатила глаза и потрепала его по волосам.

– Не слушай меня. Забудь. Пойдешь поздороваться с подругой?

– Нет.

– Почему?

– Ей сейчас не до меня.

Бетани и впрямь была занята: вокруг нее столпились друзья, родственники, поклонники, музыканты, и все они поздравляли ее с успехом.

– Пойди хотя бы скажи, как она замечательно играла, – подтолкнула его мать. – Поблагодари за приглашение. Это же элементарная вежливость.

– Ей сейчас и так куча народу говорит, как она замечательно играла, – ответил Сэмюэл. – Поехали домой?

Мама пожала плечами.

– Ладно. Как хочешь.

Они направились к выходу из церкви, плыли в людском потоке, так что Сэмюэл то и дело касался чьих-то задниц и пиджаков, как вдруг его окликнули. Бетани звала его. Он обернулся и увидел, как она пробирается сквозь толпу, пытаясь его догнать. Наконец Бетани подошла, потянулась к нему, и Сэмюэл подумал, что должен сделать вид, будто целует ее в щеку, как те взрослые дядьки, но Бетани прошептала ему на ухо:

– Приходи к нам сегодня ночью. Только незаметно.

– Ладно, – ответил он.

Ради того, чтобы почувствовать ее теплое дыхание на щеке, он бы согласился на что угодно.

– Я хочу тебе кое-что показать.

– Что?

– Помнишь, ты мне подарил кассету? Так вот на ней не только тишина. Там еще кое-что.

Бетани отступила в сторону. Она уже не казалась крошечной, как на сцене. Сейчас перед Сэмюэлом стояла обычная Бетани: элегантная, утонченная, умная не по годам, женственная. Она поймала его взгляд и

улыбнулась.

– Я хочу, чтобы ты это услышал, – пояснила она и вернулась к родителям и восторженным поклонникам.

Мать с подозрением посмотрела на Сэмюэла, но он, не обращая на это внимания, вышел мимо нее из церкви на темную улицу. Ботинки нещадно жали, и он прихрамывал.

Вечером он лежал в постели, дожидаясь, пока дом затихнет: вот мама гремит на кухне посудой, папа смотрит внизу телевизор, вот наконец скрипнула родительская дверь – значит, мама легла спать. Потом раздался глухой щелчок: папа выключил телевизор. Открыли кран, спустили воду в унитазе. И тишина. Сэмюэл выждал еще минут двадцать, чтобы уж наверняка, открыл дверь комнаты, медленно повернув ручку, чтобы та не щелкнула, прокрался по коридору, обогнув скрипучие половицы, о которых помнил даже в темноте, спустился по лестнице, стараясь шагать по стенке, чтобы ступеньки не скрипели, десять минут открывал входную дверь – по чуть-чуть, останавливаясь после каждого щелчка, – наконец приотворил и выскользнул на улицу.

Очутившись на свободе, он помчался со всех ног к ручью, через рощу, отделявшую их микрорайон от Венецианской деревни. В ночной тишине были слышны лишь его топот и дыхание, и всякий раз, как Сэмюэлу делалось страшно при мысли о том, что его поймают, или в лесу на него нападут дикие звери, маньяки с топором, тролли, привидения, или же его похитят бандиты, – он утешался воспоминанием о теплом и влажном дыхании Бетани на щеке.

Когда он добрался до дома Бетани, свет в ее комнате не горел, и окна были закрыты. Несколько долгих минут Сэмюэл сидел на лужайке неподалеку от дома, обливаясь потом, пытался отдышаться, твердил себе, что родители Бетани наверняка уже легли, а соседи не заметят, как он крадется по заднему двору, наконец набрался решимости и на цыпочках, тихонько, чтобы никто не услышал, прошмыгнул к окошку Бетани, согнулся под ним и подушечкой указательного пальца стучал в стекло, пока из темноты не выплыло ее лицо.

В полумраке Сэмюэл разглядел лишь фрагменты: крыло ее носа, прядь волос, ключицу, глазницу. словно вся она состояла из частей, плававших в чернильной тьме. Бетани открыла окно, он перевалился через подоконник, поморщившись от того, что железо впилось ему в грудь, и забрался в дом.

– Тише, – произнес в темноте чей-то чужой голос.

На мгновение Сэмюэл растерялся, но тут же осознал, что это Бишоп. Он сидел в комнате Бетани, и Сэмюэл этому одновременно обрадовался и

огорчился, поскольку не знал, что делать, если бы они с Бетани очутились наедине, но все равно ему этого хотелось. Он всем сердцем желал остаться с нею вдвоем.

– Привет, – поздоровался Сэмюэл.

– А мы тут играем, – ответил Бишоп. – Игра называется “слушай тишину, пока не чокнешься от скуки”.

– Заткнись, – оборвала его Бетани.

– Или “засни под треск пленки”.

– И ничего не треск.

– А вот и треск.

– Не только треск, – поправила Бетани. – Там еще кое-что.

– Ну-ну.

Сэмюэл их не видел: темно было хоть глаз выколи. Сквозь мрак проступали смутные очертания. Сэмюэл попытался сориентироваться по памяти: кровать, комод, цветы на стене. Он впервые заметил, что на потолке мерцают звезды. Послышался шелест платья, затем шаги, скрип кровати: наверно, Бетани уселась там же, где, должно быть, расположился Бишоп, рядом с магнитофоном, который частенько слушала перед сном, в одиночестве, снова и снова перематывала и включала один и тот же фрагмент симфонии, – все это Сэмюэл знал, поскольку шпионил за Бетани.

– Иди сюда, – позвала она. – Садись ближе.

Он уселся на кровать и медленно, ощупью, пополз к ним, пока не нашарил что-то холодное и костлявое – чью-то ногу, но чью, было не разглядеть.

– Слушай, – велела Бетани. – Только внимательно.

Щелкнул магнитофон, Бетани откинулась на кровать, так что платье ее собралось складками, наконец треск в пустом начале кассеты закончился, и пошла запись.

– Я же говорил, – подал голос Бишоп. – Ничего там нет.

– Погоди.

Послышался далекий приглушенный звук, как будто где-то в доме повернули кран, и в трубах глухо загудела вода.

– Вот, – сказала Бетани. – Слышал?

Сэмюэл покачал головой, спохватился, что в темноте она не видела его жеста, и произнес:

– Нет.

– Ну вот же, – не унималась Бетани. – Слушай. За звуком. Слушай внимательно.

– Бред какой-то, – заметил Бишоп.

– Не обращай внимания на то, что слышишь, и слушай остальное.

– Что же мне слушать?

– Их, – пояснила Бетани. – Людей, публику, зал. Ты все это услышишь.

Сэмюэл наострил уши, наклонил голову к магнитофону и прищурился (словно это могло помочь), силясь разобрать хоть какие-нибудь человеческие звуки за треском пленки: разговоры, кашель, дыхание.

– Ничего не слышу, – сказал Бишоп.

– Это потому, что ты не пытаешься сосредоточиться.

– Ах вот оно что. Значит, вот в чем дело.

– Сосредоточься.

– Как скажешь. Сейчас попробую сосредоточиться.

Они слушали доносившееся из колонок шипение. Сэмюэл досадовал на себя, поскольку тоже ничего не слышал.

– Ну вот, я полностью сконцентрировался, – подал голос Бишоп.

– Замолчишь ты или нет?

– Мне никогда еще не удавалось настолько сосредоточиться.

– За-мол-чи.

– Сосредоточиться должен ты, – не унимался Бишоп. – Почувствовать силу обязан ты.

– Если хочешь, уходи. Проваливай.

– Да с радостью, – Бишоп отполз и спрыгнул с кровати. – А вы слушайте вашу тишину.

Дверь комнаты открылась, закрылась, и Сэмюэл с Бетани остались одни. Наконец-то они были наедине. Сэмюэл окаменел от волнения.

– А теперь слушай, – велела Бетани.

– Ладно.

Он повернулся лицом к источнику шума и наклонился. Треск был не резким, не высоким, а глухим. Точно на пустом стадионе позабыли микрофон: тишина была насыщенной, округлой. Материальной. Как будто кто-то не просто записал пустую комнату, но ухитрился воспроизвести пустоту. Тишина была искусственной. Как будто кто-то ее сотворил.

– Вот они, – прошептала Бетани. – Слушай.

– Люди?

– Они как призраки на кладбище, – пояснила она. – Просто так их не услышать.

– А какие они?

– Они смущены. И встревожены. Им кажется, что их дурачат.

– И ты все это слышишь?

– Ну да. Это плотность звука. Как короткие тугие струны в верхних

октавах рояля. Они не вибрируют. Белые клавиши. Вот так звучат эти люди. Словно лед.

Сэмюэл попытался все это расслышать – или хотя бы уловить какой-нибудь высокий гул за треском и шипением пленки.

– А сейчас они звучат уже иначе, – проговорила Бетани. – Слышишь, как все изменилось?

Но, как ни старался, Сэмюэл не слышал ничего, кроме самых обычных звуков: свиста, с которым выходит воздух из пробитого велосипедного колеса, жужжания вентилятора, шума воды из крана за закрытой дверью. Ничего необычного он не слышал. Лишь вспоминал хранившиеся в уме знакомые звуки.

– Вот, – сказала Бетани. – Чувствуешь, звук теплеет? Слышишь? Теплеет, ширится, растет, расцветает. Они начинают понимать.

– Что понимать?

– Что их, может быть, никто не дурачит. Что над ними, может быть, никто не смеется. Что они, может быть, вовсе не посторонние. До них постепенно доходит. Что они – часть целого. И пришли сюда не для того, чтобы слушать музыку. Они и есть музыка. Они и есть то, ради чего пришли. И эта мысль приводит их в восторг. Слышишь?

– Да, – соврал Сэмюэл. – Они счастливы.

– Еще как.

Сэмюэл вдруг поверил, что действительно все это слышит. Сознательный обман чувств, как когда он, лежа ночью в постели, убеждал себя, что по дому бродят воры или привидения, и каждый доносившийся до него звук лишь подкреплял его уверенность в этом. Или когда не было сил идти в школу, он убеждал себя, что болен, и действительно заболел, ему становилось физически плохо, и Сэмюэл изумлялся: как же так, почему его тошнит, если он это все придумал? Вот и сейчас он точно так же что-то услышал. И чем больше он думал об этом, тем теплее становится статический треск, тем больше пропитывался счастьем. Звук нарастал в его голове, раскрывался, сгорал.

Что если и у Бетани так, подумал Сэмюэл. Что если она просто хочет слышать то, чего никто не слышит?

– Теперь слышу, – сказал он. – Надо лишь уловить.

– Да, – согласилась Бетани. – Вот именно.

Он почувствовал, как она сжала его плечо, придвинулась ближе, как под нею задрожал и прогнулся матрас, как тихонько скрипнул каркас кровати, когда она повернулась и наткнулась на него. Бетани была так близко, что Сэмюэл слышал ее дыхание, запах ее зубной пасты. Но самое

главное – он чувствовал, что она рядом: казалось, Бетани вытесняла собой воздух, ее как будто окружало силовое поле, отчего ее близость сразу ощущалась, к ней тянуло, словно магнитом, сердце ее бешено колотилось, она приближалась к Сэмюэлу как космический образ, как карта, которую он мысленно начертил, как предчувствие, и наконец обрела плоть: лицо ее оказалось так близко, что можно было различить черты.

Сэмюэл догадался, что сейчас они поцелуются.

Или, точнее, она его поцелует. *Сейчас это случится.* И ему нужно лишь постараться ничего не испортить. Но в этот миг, в эти несколько секунд между осознанием, что Бетани его сейчас поцелует, и самим поцелуем, можно было много чего испортить. Сэмюэл почувствовал, как сдавило горло, и ему нестерпимо захотелось откашляться. И почесать то место, где шея переходит в плечо: у него там всегда зудело, когда он нервничал. А еще нельзя было тянуться к Бетани, поскольку Сэмюэл боялся, что в темноте они стукнутся зубами. Он так этого испугался, что даже отстранился и тут же запаниковал: вдруг Бетани подумает, что он специально от нее отодвинулся, потому что не хочет с нею целоваться, и не поцелует его? И как быть с дыханием? Дышать или нет? Сперва он решил задержать дыхание, но потом понял, что если Бетани будет придвигаться к нему очень медленно или они будут долго целоваться, у него закончится воздух и придется прервать поцелуй, чтобы отдышаться, а значит, шумно выдохнуть ей в рот или в лицо. Все эти мысли вихрем пронесли у Сэмюэла в голове перед поцелуем. Тело вдруг стало чужим, так что привычные, элементарные, машинальные действия – выпрямиться, замереть, дышать – казались ужасно сложными, и когда Бетани наконец-то его поцеловала, Сэмюэл воспринял это как чудо.

Сильнее всего во время поцелуя Сэмюэл чувствовал облегчение: они все-таки поцеловались. А еще изумление оттого, что губы у Бетани оказались сухими и обветренными. Надо же, кто бы мог подумать. У Бетани обветренные губы. В воображении Сэмюэла она всегда была выше дурацких земных забот. У таких девочек, как она, губы никогда не трескались.

Возвращаясь в ту ночь домой, Сэмюэл дивился, что все вокруг выглядело как прежде, при том что мир изменился полностью и навсегда.

10

Первым его произведением стал рассказ в духе книг из серии “Выбери приключение”. Сэмюэл назвал его “Замок, из которого нет возврата”. На двенадцати страницах. Иллюстрации он тоже сделал сам. Завязка: ты

храбрый рыцарь, который очутился в заколдованном замке, чтобы спасти прекрасную принцессу. Да, банально. Наверняка он что-то такое читал в одной из множества книг “Выбери приключение”, которые стояли на полках у него в комнате. Он пытался выдумать что-то получше, пооригинальнее. Сидел по-турецки на полу, таращился на книги и в конце концов решил, что в них заключен весь спектр человеческих возможностей, все существующие сюжеты. Других просто нету. Все, что приходило ему в голову, было либо вторичным, либо глупым. А его книга не могла быть глупой. Ставки слишком высоки. Все ученики их класса должны были написать сочинение на конкурс, а рассказ победителя учительница прочитает перед всеми.

Что ж, значит, “Замок, из которого нет возврата” будет банальным. Пусть так. Быть может, его одноклассники еще не устали от избитых литературных приемов, и знакомый сюжет их порадует, как радуют старые одеяла и игрушки, которые они иногда приносили в школу.

Теперь нужно было придумать фабулу. В книгах “Выбери приключение” события развивались последовательно: нужно выбрать что-то одно, потом еще и еще, так что в конце концов несколько разных историй сливались в единый сюжет. Но первый его черновик “Замка” больше напоминал одну историю с шестью короткими тупиковыми окончаниями, причем читателю не надо было мучительно выбирать, пойти направо или налево, потому что если пойдешь налево, то не сносить тебе головы.

Сэмюэл надеялся, что одноклассники простят ему эти недостатки – банальную завязку, отсутствие многоплановой структуры, – если он сумеет оригинально, творчески, увлекательно убить персонажей. И это ему удалось. Оказалось, что к этому у него талант. В одном из альтернативных окончаний, с ловушкой и бездонной ямой, Сэмюэл написал: “Ты падаешь и будешь падать вечно, даже когда закроешь книгу, поужинаешь, ляжешь спать и проснешься утром, – все равно будешь падать”. Ему ужасно нравилась эта фраза. Он вставил в книгу мамы истории о привидениях, все эти старинные норвежские легенды, от которых кровь стынет в жилах. Написал о белой лошади, которая появляется откуда ни возьмись и предлагает тебя покатасть, и если читатель взбирается ей на спину, его ждет скорая и страшная гибель. В другом варианте окончания читатель становился призраком, заключенным в листок на дереве: рая недостойн, а для ада слишком хорош.

Сэмюэл отпечатал рассказ на маминой старой машинке, оставив место для иллюстраций, которые нарисовал ручкой и цветными карандашами.

Сделал обложку из картона, обтянул синей тканью и по линейке, чтобы строчка была ровненькой, написал на лицевой стороне: “Замок, из которого нет возврата”.

И то ли рисунки, то ли великолепный синий переплет, то ли сам рассказ (почему бы и нет, кстати?), небанальные смерти и авторская манера, то ли слово “пролегомен”, которое Сэмюэл написал вместо “пролога” (он раскопал его в словаре и пришел в восторг), – словом, неизвестно, что именно так потрясло мисс Боулз, но она была потрясена. Он победил. “Замок, из которого нет возврата” прочитали перед всем классом, и Сэмюэл чуть не лопнул от гордости.

Это был его звездный час.

Так что, когда однажды утром мама зашла к нему в комнату, разбудила его и спросила ни с того ни с сего: “Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?”, Сэмюэл, лучась от гордости за литературную победу, уверенно ответил: “Писателем”.

За окном синели утренние сумерки. У Сэмюэла слипались глаза, и он все видел как в тумане.

– Писателем? – улыбнулась мама.

Он кивнул. Да, писателем. Он решил это ночью, снова и снова переживая свой триумф. Как орали от радости одноклассники, когда принцесса была спасена! Как они были ему благодарны, как любили его. Наблюдая за тем, как они следуют за развитием сюжета – удивляются в тех местах, где Сэмюэл хотел, чтобы они удивились, и обманываются там, где он думал их обмануть, – он чувствовал себя богом, который знает все ответы на главные вопросы и смотрит с небес на пребывающих в неведении смертных. Это ощущение станет его опорой, его сутью. Если он будет писателем, все его полюбят.

– Ну что ж, – ответила мама. – Писателем так писателем.

– Ага, – спросонья буркнул Сэмюэл; он пока не осознал, до чего все это странно: мама, полностью одетая, с чемоданом в руке, пришла к нему на рассвете и спрашивает о планах на будущее, которыми сроду не интересовалась. Сэмюэл воспринял все это как должное: так воспринимаешь странный сон, который становится понятным лишь когда проснешься.

– Ты пиши, – продолжала мама. – Я обязательно прочту.

– Ладно.

Ему хотелось показать ей “Замок, из которого нет возврата”, показать белого коня, которого он нарисовал, прочитать ей о бездонной яме.

– Я тебе хотела кое-что сказать, – произнесла мама так равнодушно,

словно много раз репетировала эту фразу. – Я ненадолго уеду. Пока меня не будет, веди себя хорошо.

– А ты куда?

– Мне нужно кое-кого найти, – пояснила она. – Старого знакомого.

– Друга?

– Можно и так сказать, – мама приложила холодную ладонь к его щеке. – Не волнуйся. Все будет хорошо. Никогда ничего не бойся. Вот и все, что я хотела тебе сказать. Не бойся. Обещаешь?

– Твой друг пропал?

– Не совсем. Мы просто давно не виделись.

– А почему?

– Иногда... – начала мама, но осеклась, отвернулась и скривилась.

– Мам, – позвал Сэмюэл.

– Иногда мы выбираем не тот путь, – наконец произнесла она. – И оказываемся бог знает где.

Сэмюэл расплакался. Он и сам не знал, почему плачет. Он пытался сдерживать слезы.

Мама обняла его, сказала: “Какой ты у меня ранимый”, принялась его укачивать. Сэмюэл, всхлипывая, уткнулся лицом в ее нежную кожу. Наконец успокоился и вытер нос.

– Почему ты уезжаешь именно сейчас? – спросил он.

– Потому что мне пора, солнышко.

– Но почему?

– Даже не знаю, как тебе объяснить, – мама в отчаянии уставилась на потолок, потом собрала с духом и проговорила: – Я рассказывала тебе про привидение, похожее на камень?

– Нет.

– Мне отец рассказывал. Якобы на его родине на берегу моря можно было найти такой камень, с виду обычный, поросший зеленым мхом.

– А как понять, что это привидение?

– Никак, пока в море не выйдешь. Чем дальше отплываешь от берега, тем тяжелее становится камень. И если забраться совсем далеко, призрак становится таким тяжелым, что может потопить корабль. Его так и прозвали – “камень-утопитель”.

– Зачем он топит корабли?

– Кто же знает. Может, он на что-то очень зол. Может, с ним приключилась беда. И вот он становится таким огромным, что выдержать невозможно. И чем дольше пытаешься его тащить, тем больше и тяжелее он становится. Иногда привидение забирается в человека, растет у него

внутри, захватывает его целиком, лишает возможности сопротивляться. И человек тонет. – Мама встала. – Понимаешь?

– Вроде да, – кивнул Сэмюэл.

– Поймешь, – обнадежила его мама. – Непременно поймешь. Помни о том, что я тебе сказала.

– Ничего не бояться.

– Верно. – Мама наклонилась, поцеловала Сэмюэла в лоб, обняла его, вдохнула его запах. – А теперь спи, – сказала она. – Все будет хорошо. Помни: никогда ничего не бойся.

Ее шаги стихли в конце коридора. Сэмюэл слышал, как мама тащит вниз по лестнице чемодан. Слышал, как завелась машина, открылась и закрылась гаражная дверь. Слышал, как мама уехала.

Сперва он послушно пытался уснуть и не бояться, но его охватил невыносимый страх. Сэмюэл вылез из кровати и побежал в родительскую комнату. Отец еще спал, свернувшись клубком, спиной к двери.

– Пап, – Сэмюэл потряс его за плечо. – Проснись.

– Чего тебе? – сощурился Генри. – Что ты хочешь? – сонно прошептал он. – Который час?

– Мама ушла, – выпалил Сэмюэл.

Генри с трудом оторвал голову от подушки.

– А?

– Мама ушла.

Отец покосился на пустую половину кровати.

– Куда же это она ушла?

– Не знаю. Она уехала на машине.

– На машине?

Сэмюэл кивнул.

– Ясно, – Генри потер глаза. – Ты спускайся, я сейчас приду.

– Мама ушла, – повторил Сэмюэл.

– Я понял. Иди вниз.

Сэмюэл ждал отца на кухне, как вдруг из комнаты родителей донесся шум. Он помчался вверх, распахнул дверь и увидел, что отец стоит посреди комнаты, красный как рак. Дверца шкафа была открыта, одежда Фэй валялась на полу.

Но больше всего Сэмюэлу запомнилась не разбросанная по полу одежда, не дребезг и не осколки вазочки, которую явно швырнули в стену. Даже десятилетия спустя он не мог забыть цвет папиного лица: багровыми стали не только щеки, но и шея, и лоб, и даже грудь. Этот цвет не сулил ничего хорошего.

– Она ушла, – процедил отец. – И вещей ее нет. Вещи-то куда делись?

– Она взяла с собой чемодан, – пояснил Сэмюэл.

– Иди в школу, – не глядя на сына, велел Генри.

– Но...

– Без возражений.

– Но...

– Иди уже!

Сэмюэл не знал, что думать: как это – мама ушла?

Куда ушла? Далеко ли? Когда вернется?

По пути в школу Сэмюэлу казалось, что на самом деле он не здесь, а где-то далеко-далеко – как будто смотришь на все в бинокль, повернув его обратной стороной: вот ты стоишь на остановке, вот садишься в автобус, вокруг гомонят ребята, а ты их даже не слышишь, ты отвернулся к окну, уставился на дождевую каплю на стекле, и сквозь нее пейзажи, мимо которых проезжает автобус, расплываются и растягиваются, как на огромной скорости. В душе его росла тревога, и чтобы справиться с ней, Сэмюэл решил целиком сосредоточиться на чем-то крохотном, наподобие капли на стекле: тогда тревога на миг утихала. Надо добраться до школы. Надо поговорить с Бишопом, рассказать ему о том, что случилось. Уж Бишоп-то наверняка его поддержит. Бишоп сразу поймет, что делать.

Но Бишоп в школе не оказалось. Ни у шкафчика в раздевалке. Ни за партой.

Он исчез.

Бишоп исчез.

Снова это слово: что оно значит? Куда они все делись? Все куда-то уходят. Сэмюэл сидел, уставясь в парту, и даже не услышал, как мисс Боулз вызвала его – в первый, второй, наконец, в третий раз, не заметил, что весь класс нервно над ним хихикает, а мисс Боулз идет к нему, не заметил, даже когда она встала возле него, а ребята галдели за ее спиной. И лишь когда она до него дотронулась, взяла за плечо, Сэмюэл вздрогнул и поднял глаза от деревянной парты, в которой едва не просверлил взглядом дыру. Он не испугался, когда мисс Боулз под общий хохот съязвила: “Рада, что ты снова с нами”. И ничуть не смутился. Горе его затмило все остальное, поглотило обыденные тревоги. Они просто исчезли.

Например: на перемене он ушел из школы. Взял и ушел. Дошел до самых дальних качелей, но не остановился, а двинулся дальше. Раньше ему как-то не приходило в голову, что можно не остановиться. Все останавливались. Но после ухода мамы привычные правила больше не действовали. Если она ушла, почему ему нельзя? Вот и он ушел. Шел и

удивлялся, до чего это легко. Сэмюэл шагал по улице, даже не пытаясь спрятаться или убежать. Он шел у всех на виду, и никто его не остановил. Никто ему и слова не сказал. Его как будто ветром унесло. Никогда прежде он не испытывал подобного ощущения. Что если мама тоже вдруг поняла, до чего это просто? Взять и уйти. Что удерживает людей на привычных орбитах? Ничего: он впервые это осознал. Ничто нигде никого не держит, и можно в любую минуту взять и исчезнуть.

Он шагал дальше. Шел несколько часов, глядя себе под ноги, чтобы не наступить на трещину в асфальте: “Как по трещине пройдешь – маме спину перебеешь”, повторял он про себя, пока наконец не дошел до медных ворот Венецианской деревни, пролез между прутьями и, даже не оглянувшись на окошко охраны и ничуть не скрываясь, пошел вперед. Охранник, если и заметил его, ничего не сказал, и Сэмюэл даже удивился: уж не превратился ли он после всего этого в человека-невидимку – до того было странно, что никто не обращает на него ни малейшего внимания. Он нарушил все мыслимые правила, а окружающим хоть бы хны. Раздумывая об этом, он шагал по ровному асфальту Виа Венето, поднялся на невысокий холм и вдруг увидел в конце улицы, в тупике у дома Бишопа, две полицейские машины.

От испуга Сэмюэл замер как вкопанный: он подумал, что полицейские ищут его, и при мысли об этом его охватило облегчение. Он даже немного успокоился: ведь это значило, что его исчезновение заметили. Он мысленно прокрутил в голове всю сцену: папе позвонили из школы, он, сходя с ума от волнения, бросился звонить в полицию, там его спросили, куда сын мог пойти, и папа ответил: “К Бишопу!” – он ведь знал про Бишопа, он сам его сюда подвозил и наверняка теперь вспомнил об этом, потому что он хороший и заботливый отец и никогда его не бросит.

Сэмюэлу тут же стало стыдно. Как он мог так поступить с отцом? Как он мог заставить его так волноваться? Папа, наверно, сидит сейчас дома один, потому что и жена, и сын исчезли в один день. Сэмюэл припустил к дому Бишопа: он объявится, его отвезут домой, к отцу, который наверняка себе места не находит от беспокойства. Сэмюэл знал, что поступает правильно.

У дома директора школы он заметил кое-что такое, отчего снова остановился. Столбик, на котором некогда лежала глыба отравленной соли, был огорожен тонкой желтой лентой. Та была обмотана вокруг четырех вбитых в землю колышков, так что получился квадрат с пустым столбиком посередине. По ленте шла надпись, и хотя лента перекрутилась, так что местами слова читались вверх ногами и задом наперед, разобрать их было

легко: “Полицейское ограждение. Не входить”.

Сэмюэл перевел взгляд на гидромассажную ванну директора: бассейн и веранда тоже были огорожены желтыми лентами. Он живо представил себе иную сцену: полиция его ищет, но вовсе не из-за того, что он сбежал с уроков.

Сэмюэл помчался в лес. К ручью. Прошлепал по лужам на топком берегу, вдыхая запах прелой листвы, пробежал по мокрому песку: в следах от его кроссовок булькала вода. Деревья закрывали солнце, и в его полуденных лучах кроны их казались сизыми. Бишоп он увидел там, где и рассчитывал: на высоком дубе у пруда. Друг его сидел на толстой нижней ветке, спрятавшись в листве, так что только ноги торчали, но Сэмюэл заметил их, потому что искал. Когда он подошел к дубу, Бишоп спрыгнул на землю, взметнув опавшую листву.

– Привет, – сказал Сэмюэл.

– Привет.

С минуту они смотрели друг на друга, не зная, что сказать.

– Чего не в школе? – наконец спросил Бишоп.

– Сбежал.

Бишоп кивнул.

– Я только что проходил мимо твоего дома, – продолжал Сэмюэл. – Там полиция.

– Я знаю.

– Чего им надо?

– Понятия не имею.

– Это из-за директора?

– Может быть.

– Из-за ванны?

– Вполне вероятно.

– И что с нами будет?

Бишоп улыбнулся.

– Ну ты и вопросы задаешь, – ответил он. – Пошли искупнемся.

Он снял кроссовки, не развязывая, стащил носки, вывернув наизнанку, и бросил на землю. Брякнув пряжкой, расстегнул ремень, стянул джинсы, футболку и поскакал к воде, стараясь не наступать на сучки и острые камешки. Бишоп размахивал тонкими руками; из серо-зеленых камуфляжных плавок размера на два больше, чем нужно, торчали худые ноги. Бишоп бомбочкой сиганул в воду с пенька, торчавшего над прудом, с воплем скрылся под водой, вынырнул и крикнул Сэмюэлу:

– Давай, солдат!

Сэмюэл не спеша последовал его примеру: развязал кроссовки, поставил в сухое место, снял носки и спрятал в кроссовки, снял джинсы и футболку, свернул и положил на кроссовки. Он всегда раздевался так аккуратно. Подошел к пруду, но прыгать не стал, а медленно вошел, поморщившись, когда холодная вода коснулась сперва его лодыжек, потом коленей, пояса, потом вода дошла ему до трусов, и Сэмюэла пробрал озноб.

– Лучше прыгни, и дело с концом, – посоветовал Бишоп.

– Знаю, – ответил Сэмюэл. – Но я так не могу.

Когда наконец вода дошла ему до шеи и боль утихла, Бишоп сказал:

– Ну что, значит, план такой, – и описал сценарий игры, в которую они будут играть. 1836 год, Техасская революция. Мексиканская граница. Они – разведчики из армии Дэви Крокетта в тылу врага. Раздобыли важную информацию про численность войска Санта-Анны, и теперь им надо вернуться к Крокетту. Судьба крепости Аламо висит на волоске.

– Кругом враги, – пояснил Бишоп. – Запасы провизии подходят к концу.

Историю американских войн Бишоп знал назубок, и это неизменно вызывало у Сэмюэла трепет. Казалось, Бишоп не играл в войну, а переносился на поле боя. Сколько раз они убивали друг друга у этого пруда? Сотни смертей, тысячи пуль, которые летели в неприятеля вместе с белыми брызгами слюны, вырывающимися изо рта, когда друзья изображали пулеметную очередь: “Тра-та-та-та”. Они ныряли за деревья с криком: “Я в тебя попал!” Пруд стал для них священным, лес – заповедным, вода – святой. Здесь они настраивались на торжественный лад, как на кладбище, и немудрено: ведь они не раз тут умирали, пусть и понарошку.

– Кто-то идет, – Бишоп показал на кусты. – Наверняка мексиканцы. Если они нас поймут, будут пытаться, чтобы развязать нам язык.

– А мы ничего им не скажем, – ответил Сэмюэл.

– Конечно, не скажем!

– Потому что нас к этому готовили.

– Именно.

Бишоп постоянно твердил, что американские солдаты проходят сложную и загадочную подготовку, которая позволяет им, помимо прочего, выдержать боль, страх, обойти мины-ловушки и не дать себя утопить. Сэмюэл никак не мог понять, как можно не утонуть, если тебя топят. Бишоп каждый раз отвечал, что это военная тайна.

– Прячься, – скомандовал Бишоп и скрылся под водой.

Сэмюэл посмотрел вверх по течению, куда указал Бишоп, но ничего не увидел. Он пытался себе представить, что неприятель наступает, пытался вызвать в себе страх, который обычно испытывал, когда они играли в войнушку, пытался разглядеть врагов: раньше это была пара пустяков. Чтобы увидеть врагов, с которыми они в тот день сражались – советских шпионов, вьетконговцев, британских солдат в красных мундирах, нацистских штурмовиков, – достаточно было просто вслух сказать: вот они! Выдумки тут же становились реальностью. Это было так просто, что Сэмюэл даже не задумывался об этом, но на сей раз у него ничего не вышло. Он ничего не видел и не чувствовал.

Бишоп вынырнул и увидел, что Сэмюэл смотрит на деревья.

– Эй, солдат, ты чего? – удивился он. – Нас же поймают!

– У меня не получается, – признался Сэмюэл.

– Что не получается?

– Представить.

– Почему? – спросил Бишоп. – В чем дело?

Сэмюэла переполняли чувства. Он видел лишь, как уходит мать. Все прочее было как в тумане. У него не нашлось даже сил соврать.

– Мама ушла, – признался Сэмюэл и почувствовал, как подступают слезы, как перехватывает горло, как напрягается подбородок, сморщившись, точно гнилое яблоко. Как же он себя ненавидел в такие минуты!

– То есть как ушла? – удивился Бишоп.

– Не знаю.

– Вообще ушла?

Сэмюэл кивнул.

– А она вернется?

Он пожал плечами. Говорить не хотелось: боялся, что, раскрыв рот, тут же расплачется.

– Значит, может и не вернуться? – уточнил Бишоп.

Сэмюэл снова кивнул.

– Считай, тебе повезло, – сказал Бишоп. – Я серьезно. Вот бы и мои предки куда-нибудь свалили! Сейчас ты этого не понимаешь, но твоя мать сделала тебе лучший подарок.

Сэмюэл беспомощно уставился на друга.

– Почему? – горло его словно превратилось в завязанный узлом шланг.

– Потому что теперь ты станешь мужчиной, – пояснил Бишоп. – Ты свободен.

Сэмюэл молча понурил голову и принялся ковырять грязь ногой: так

было легче.

– Тебе не нужны родители, – продолжал Бишоп. – Может, ты пока что этого не понимаешь, но тебе вообще никто не нужен. Это твой шанс. Возможность изменить жизнь, стать другим человеком – лучше, чем был.

Сэмюэл нашел на дне пруда камешек, подцепил его носком и отбросил.

– Это такая тренировка, – не унимался Бишоп. – Трудная тренировка, которая сделает тебя сильнее.

– Я не солдат, – подал голос Сэмюэл. – И это не игра.

– Да ну прям, – ответил Бишоп. – Все на свете игра. И тебе надо решить, чего ты хочешь: победить или сдаться.

– Чушь какая-то.

Сэмюэл выбрался на берег, подошел к дереву, под которым сложил одежду, уселся на землю, обнял колени, принялся медленно раскачиваться взад-вперед и наконец расплакался. Из носа текло, лицо скривилось, легкие сводил спазм.

Бишоп тоже вылез из пруда.

– Я так понял, ты решил сдаться.

– Заткнись.

– Слабак.

Бишоп встал рядом с ним. Мокрые плавки обвисли, с них капала вода. Бишоп подтянул трусы.

– Знаешь, что тебе нужно сделать? – спросил он. – Тебе нужно найти другую.

– Так не бывает.

– Да не мать, а женщину.

– И что?

– Тебе нужно найти другую женщину.

– Зачем?

– Ну как зачем, – рассмеялся Бишоп. – Чтобы ею пользоваться. Делать с ней всякое.

– Не хочу.

– Девочек вокруг полно. Тебе любая даст.

– А толку?

– Ну как, – Бишоп шагнул к Сэмюэлу, наклонился, погладил его ладонью по щеке. Рука у Бишопы была холодная и мокрая, но мягкая и нежная. – Ты ведь еще ни разу этим не занимался?

Сэмюэл поднял глаза. Его пробрала дрожь.

– А ты? – спросил он.

Бишоп снова рассмеялся.

– Я много чем занимался.

– И чем же, например?

Бишоп примолк. Убрал руку. Подошел к дереву, прислонился к стволу, подтянул мокрые плавки.

– В школе полно девчонок. Позови какую-нибудь на свидание.

– Не поможет.

– У тебя ведь наверняка кто-то есть? Тебе же нравится кто-нибудь из девчонок?

– Никто.

– Врешь. Скажи. Тебе нравится одна девчонка. И я знаю, кто.

– Ничего ты не знаешь.

– Еще как знаю. Ну давай, не бойся, скажи. – Бишоп подошел к Сэмюэлу, отставил ногу, упер руки в бока: поза победителя. – Это же Бетани, да? – спросил он. – Ты втюрился в мою сестру.

– Неправда! – крикнул Сэмюэл, но и сам понимал, что Бишоп ему не поверит. Слишком громко он возмутился, слишком поспешно бросился возражать. Врать Сэмюэл никогда не умел.

– Ты в нее втюрился, – сказал Бишоп. – И хочешь ее трахнуть. Что я, не вижу, что ли.

– Ты все врешь.

– Да ладно. Я же не против.

Сэмюэл встал.

– Я домой, – заявил он.

– Пригласи ее на свидание.

– Папа наверняка уже волнуется, куда я пропал.

– Не уходи, – Бишоп схватил Сэмюэла за плечи, чтобы удержать. – Подожди чуток.

– Зачем?

– Хочу тебе кое-что показать.

– Мне пора.

– Я быстро.

– Что ты хочешь мне показать?

– Закрой глаза.

– И как я с закрытыми глазами увижу, что ты хочешь мне показать?

– Делай, что тебе говорят.

Сэмюэл громко вздохнул, чтобы показать, как его все достало, и закрыл глаза. Бишоп отпустил его плечи. Сэмюэл услышал шаги Бишопы, потом что-то мокрое шлепнулось на землю.

– Можешь открывать, – наконец разрешил Бишоп. – Только чуть-чуть.

Приоткрой глаза.

– Ладно.

– Только чуть-чуть, понял? Давай.

Сэмюэл приоткрыл глаза и сперва не увидел ничего, кроме размытых ярких пятен света. Бишоп расплывался перед глазами в розовую круглую кляксу. Сэмюэл открыл глаза чуть шире. Бишоп стоял в нескольких шагах от него. Сэмюэл заметил, что тот голый. Трусы валялись у него под ногами. Сэмюэл невольно перевел взгляд на его пах. Он так делал регулярно – в раздевалках, в туалетах, пользуясь любой возможностью сравнить собственное тело с чужим: кто больше? Кто меньше? Все эти вопросы казались невероятно важными. Он уставился на пах Бишопа, но члена не заметил. Бишоп подался вперед, чуть согнул колени, словно в поклоне или реверансе, и зажал пипиську между ног, так что Сэмюэл увидел лишь гладкую кожу.

– Вот так она и выглядит, – пояснил Бишоп. – Моя сестра.

– Эй, ты чего?

– Мы же близнецы. Вот так она и выглядит.

Сэмюэл таращился на тело Бишопа, на его туловище с выпирающими ребрами, поджарое, но крепкое, напряженное, мускулистое. Глазел на треугольничек кожи между ногами.

– Представь, что это она, – предложил Бишоп, шагнул к Сэмюэлу, прижался щекой к его щеке и прошептал на ухо: – Просто представь.

Бишоп положил руки ему на пояс, стянул с него трусы. Мокрые плавки сползли ему на щиколотки. Сэмюэл почувствовал, как дрожит его маленький член, как он сморщился от холода.

– Представь, что я Бетани.

Бишоп повернулся к нему спиной, так что теперь Сэмюэл видел лишь изгиб его бледных плеч и спину. Бишоп взял руки Сэмюэла и положил себе на бедра. Наклонился вперед, прижался задом к Сэмюэлу, и тому вдруг снова, как утром на остановке, почудилось, будто все это происходит не с ним и он наблюдает за всей этой сценой откуда-то издалека. Происходившее казалось абсурдом. Сэмюэл подумал, что это даже не он, а случайное сочетание каких-то частей, из которых никогда не складывали целое.

– Ну что, представил? – спросил Бишоп. – Помогло?

Сэмюэл ничего не ответил. Мысли его были далеко. Бишоп прижался к нему крепче, потом чуть отстранился, потом снова прижался, медленно, поймав ритм. Сэмюэл стоял как истукан.

– Представь, что это она, – не унимался Бишоп. – Давай. Представь.

Бишоп снова прижался к нему, и Сэмюэла охватило знакомое ощущение, которое он не раз испытывал в классе, за партой: то самое растущее напряжение и теплое покалывание в паху. Он опустил глаза и увидел, что член его встает, набухает. Он понимал, что это неправильно, он не должен возбуждаться, но все равно возбуждался, и от этого многое вдруг прояснилось – казалось, он получил ответ на важные вопросы о нем самом, о том, что сегодня произошло. Сэмюэлу показалось, будто все знают, чем он сейчас занимается. И папа с мамой, и учителя, и Бетани, и полиция. Он вдруг поверил в то, что это правда, и на долгие годы события того дня – уход матери – переплелись в его памяти с тем, что произошло в лесу: как Бишоп нагнулся и терся об него, а у него встал член. Сэмюэлу было не очень приятно, но и не сказать, чтобы совсем неприятно, и он думал, что мама всегда знала об этом и осуждала его.

Потому-то она и ушла, решил Сэмюэл.

Часть третья. Враг, преграда, загадка, ловушка

Август 2011 года

1

Сэмюэл стоял на пороге материнной квартиры, взявшись за ручку приоткрытой входной двери, и не мог заставить себя войти. “Не бойся”, – сказала мать. С тех пор как она попросила его об этом, прошло более двадцати лет, и с того самого утра ее образ преследовал Сэмюэла: он всегда представлял, что мама где-то рядом и подглядывает за ним издали. Он то и дело посматривал на окна, искал в толпе ее лицо. Всю жизнь он гадал, как выглядит со стороны, каким его видит мама, которая, быть может, наблюдает за ним.

Но она за ним не следила. И Сэмюэл далеко не сразу, но все же выбросил ее из головы.

До этого дня воспоминание о ней дремало в его душе, и сейчас он старался успокоиться и сосредоточиться, повторяя советы, которые вычитал вчера на сайтах: “Начните заново. Не оскорбляйте друг друга. Установите границы. Сближайтесь постепенно. Заручитесь поддержкой родных и друзей”. И самое главное, буквально первая заповедь: будьте готовы к тому, что ваши родители сильно изменились и уже не такие, какими вы их помните.

Так оно и оказалось. Мать действительно изменилась. Сэмюэл вошел-таки в квартиру и увидел, что она сидит за большим деревянным столом на кухне, точно секретарь в приемной, и ждет его. На столе стояли три стакана воды. Лежал портфель. К столу были придвинуты три стула. Мать смотрела на Сэмюэла: она никак не отреагировала на его приход, даже не улыбнулась – просто ждала, сложив руки на коленях. Ее некогда длинные волосы были острижены по-военному коротко; из каштановых они стали седыми, так что казалось, будто на голове у матери шапочка для купания. Кожа вокруг рта, глаз и на руках обвисла, как бывает у тех, кто сильно похудел. Сэмюэл этого не ожидал: он вдруг понял, что всегда представлял себе мать молодой. А ведь ей, вспомнил он, уже шестьдесят один. На матери была простая черная майка, открывавшая костлявые плечи и худые руки. Он почему-то испугался, что мать голодает, и сам удивился: с чего

бы это ему о ней беспокоиться.

– Заходи, – сказала она.

Больше не раздалось ни звука. В квартире стояла звенящая тишина, какая нечасто бывает в городе. Мать пристально смотрела на него. Он впился в нее взглядом, но так и не сел. Ему было невыносимо вдруг очутиться так близко к ней. Мать открыла рот, хотела что-то сказать, но промолчала. На Сэмюэла точно затмение нашло: все мысли разлетелись.

Тут из глубины квартиры донесся шум: кто-то спустил воду в унитазе, потом открыл и закрыл кран. Дверь туалета отворилась, и вышел человек в белой рубашке, коричневом галстуке и брюках, тоже коричневых, но другого оттенка. Увидев Сэмюэла, произнес: “Профессор Андерсон, сэр”, протянул ему мокрую руку и представился:

– Я Саймон Роджерс из компании “Роджерс и Роджерс”, адвокат вашей матушки. Мы с вами разговаривали по телефону.

Сэмюэл с недоумением воззрился на Роджерса. Адвокат вежливо улыбнулся. Это был худой коротышка с необычайно широкими плечами. На лбу у Роджерса виднелись такие глубокие залысины, что казалось, будто каштановые волосы его выстрижены буквой “м”.

– Зачем нам адвокат? – спросил Сэмюэл.

– Это я предложил, – пояснил Роджерс. – Я считаю необходимым присутствовать на всех допросах моей клиентки. Это входит в мои обязанности.

– Но это же не допрос, – возразил Сэмюэл.

– Для вас, разумеется, нет. Но ведь вас и не допрашивают.

Адвокат хлопнул в ладоши, не спеша подошел к столу, щелкнул замками портфеля, достал маленький микрофон и поставил его на середину стола. В плечах рубашка была ему как раз, а на теле висела, и Сэмюэлу показалось, что Роджерс похож на мальчишку, надевшего папины вещи.

– Я здесь для того, – произнес адвокат, – чтобы защищать интересы моей клиентки: правовые, конфиденциальные, эмоциональные.

– Вы же сами просили меня приехать, – удивился Сэмюэл.

– Именно так, сэр! И важно помнить, что мы одна команда. Вы согласились написать судье, чтобы объяснить, почему ваша мать заслуживает снисхождения. Моя задача – помочь вам написать письмо и убедиться, что вы пришли сюда, так сказать, без задней мысли.

– Невероятно, – произнес Сэмюэл, но и сам не знал, что конкретно имел в виду: то, что адвокат заподозрил его в обмане, или то, что он угадал. Потому что никакому судье он, разумеется, писать не собирался. Он приехал, чтобы выполнить условия контракта с Перивинклом: собрать на

мать компромат и публично оклеветать ее ради денег.

– Цель сегодняшнего дознания, – начал адвокат, – во-первых, в том, чтобы прояснить действия вашей матери касательно ее мужественного протеста против бывшего губернатора Вайоминга. А во-вторых, в том, чтобы объяснить, почему моя клиентка – выдающаяся личность. Все прочее, сэр, не входит в сферу наших интересов. Хотите воды? Может, сока?

Фэй сидела молча, участия в разговоре не принимала, но Сэмюэл по-прежнему не мог думать ни о ком другом. Он ее побаивался, как фугаса, о котором лишь приблизительно знаешь, где тот зарыт.

– Присядем? – предложил адвокат, и они уселись рядом с Фэй за прямоугольный стол, сколоченный из потрескавшихся досок, которые в прежней жизни явно служили забором или сараем.

Три стакана воды оставили на подставках мокрые следы. Адвокат сел, поправил галстук, который в отличие от его брюк цвета кокосового ореха был бурым, положил руки на портфель и улыбнулся. Фэй по-прежнему взирала на происходящее отстраненно, безразлично. Она выглядела так же строго и уныло, как ее квартира – длинное помещение без перегородок, с рядом окон, смотревших на север, на небоскребы в центре Чикаго. Пустые белые стены. Ни телевизора, ни компьютера. Немного самой простой мебели. Вообще никаких приборов, которые нужно включать в розетку, как будто Фэй выбросила из жизни все ненужное.

Сэмюэл уселся напротив нее и сдержанно кивнул, как незнакомцу на улице: чуть наклонил подбородок.

– Спасибо, что приехал, – поблагодарила мать.

Он снова кивнул.

– Как дела? – спросила она.

Он ответил не сразу. Бросил на мать взгляд, в котором, как надеялся Сэмюэл, читалось равнодушие и стальная решимость.

– В порядке, – ответил он. – Все хорошо.

– Вот и отлично, – сказала она. – А у отца?

– Великолепно.

– Вот и славно, – подытожил адвокат, – и хватит об этом. Давайте перейдем к делу, – он нервно рассмеялся.

Лоб его усеяли бисерины пота. Он инстинктивно одернул рубашку, которая была не совсем белой, а скорее сероватой, застиранной, с желтыми кругами под мышками.

– Итак, профессор Андерсон, самое время задать вопрос, касающийся нашей сегодняшней задачи.

Адвокат протянул руку и нажал кнопку на микрофоне, который стоял между Сэмюэлом и матерью. Загорелся синий огонек.

– Какой вопрос? – не понял Сэмюэл.

– Относительно героического протеста вашей матушки против тирании, сэр.

– Ах да, верно.

Сэмюэл взглянул на Фэй. Ему никак не верилось, что эта незнакомая, в общем-то, женщина – его мать. Куда девалась ее былая мягкость, – длинные мягкие волосы, мягкие руки, мягкая кожа? Новая Фэй была жесткой. На скулах играли желваки. На груди выпирали ключицы. На руках, тонких и крепких, как швартовые канаты, вздулись бицепсы.

– Ну ладно, – проговорил Сэмюэл, – так зачем ты это сделала? Зачем швырнула камнями в губернатора Пэкера?

Мать посмотрела на адвоката. Тот раскрыл портфель, выудил лист бумаги, густо исписанный с одной стороны, и протянул Фэй, которая прочитала его слово в слово:

– Что касается моих действий в отношении кандидата в президенты от партии республиканцев, бывшего губернатора Вайоминга Шелдона Пэкера, здесь и далее именуемого “губернатор”, – произнесла она и откашлялась, – то настоящим заявляю, подтверждаю, удостоверяю и торжественно клянусь: то, что я бросила гравий в сторону губернатора, отнюдь не следует расценивать как физическое насилие, попытку нанести телесные повреждения, избить, искалечить, изуродовать, изувечить или причинить иной непоправимый вред, равно как и оскорбить губернатора или любого, в кого мог случайно попасть гравий. Равно как я не имела намерения причинить моральный ущерб, боль, страдания, мучения или нанести травму тем, кто был свидетелем происшествия, а также тем, на кого мой чисто символический и политический жест мог оказать влияние иным способом. Мои действия стали необходимым, вынужденным, спонтанным, принципиальным ответом на фашистскую политику губернатора, равно как, поскольку я не имела возможности выбрать время, место и манеру моего непреднамеренного ответа, и на его выступления, во время которых он высказывал праворадикальные, милитаристские взгляды в защиту насилия и свободного ношения оружия. У меня есть все основания утверждать, что вышеперечисленное причиняло мне моральные страдания, сопоставимые с телесными повреждениями. Я также глубоко убеждена, что непреклонная и фанатическая позиция губернатора по вопросам борьбы с преступностью и беспорядками посредством крайних мер вплоть до кровопролития подразумевает готовность применить грубую

силу в той же степени, в какой участники садомазохистских практик в целях получения сексуального удовлетворения соглашались на избиение без дальнейшей уголовной или гражданско-правовой ответственности. Я выбрала гравий в качестве средства выражения своего символического протеста, поскольку никогда не занималась ни одним из существующих видов спорта, связанных с метанием мяча, равно как и не преступала закон, а значит, в моем случае угроза нанесения телесных повреждений посредством мелких камней минимальна, следовательно, гравий не является смертельным или опасным оружием, равно как и отягчающим обстоятельством, а я отнюдь не имела намерения причинить вред здоровью, будь то сознательно, умышленно, по небрежности, неосторожности или неуважению к ценности человеческой жизни. Мои действия продиктованы единственно, исключительно, целиком и полностью политическими соображениями и представляли собой политическое высказывание, которое не было направлено на разжигание ненависти, как не было вызвано желанием спровоцировать, оскорбить или подвергнуть опасности кого бы то ни было. Это был чисто символический жест, аналогичный выступлениям протестующих, которые, пользуясь гарантированной законом свободой слова, оскверняют флаг, рвут призывные повестки или выражают антивоенные взгляды иным способом.

Фэй положила лист на стол так медленно и осторожно, словно тот мог рассыпаться у нее в руках.

– Превосходно! – воскликнул адвокат. Лицо его, прежде бледное (такой сливочно-желтый цвет, подумал Сэмюэл, бывает у пластмассовых пупсов), налилось кровью. На лбу пузырился пот, точно в жару краска на стене дома. – Ну а теперь, раз уж мы с этим разделались, давайте устроим небольшой перерыв. – Адвокат выключил микрофон. – Прошу прощения, – сказал он и направился в туалет.

– Он бегаёт в туалет каждые пять-десять минут, – заметила Фэй. – Такая у него привычка.

– Что все это значит? – спросил Сэмюэл.

– Мне кажется, он туда ходит, чтобы вытереться. Пот с него льет ручьем. А еще он тратит уйму туалетной бумаги – не пойму, зачем? Ест он ее, что ли?

– Если честно, – Сэмюэл взял со стола лист бумаги и пробежал его глазами, – я не понял ни слова из того, что ты сказала.

– А ножки у него крохотные, как у ребенка. Ты заметил?

– Послушай, Фэй, – сказал Сэмюэл, и оба вздрогнули оттого, что он впервые в жизни назвал ее по имени. – Что происходит?

– Как бы тебе объяснить? Ладно, расскажу, что сама поняла. В общем, дело сложное. Несколько обвинений в словесных оскорблениях и еще несколько – в нанесении телесных повреждений. Умышленном. При отягчающих обстоятельствах. Кажется, я перепугала кучу народу в парке (эти подали в суд за словесные оскорбления), в кого-то попал гравий (эти обвиняют меня в нанесении телесных повреждений). Вдобавок меня обвиняют – как бишь его? – она стала считать на пальцах, – в нарушении порядка, непристойных действиях в общественном месте, хулиганстве и сопротивлении при задержании. Прокурор лютует: мы считаем, что по указке судьи.

– Чарльза Брауна.

– Его! Кстати, по закону за нанесение телесных повреждений при отягчающих обстоятельствах положено от трехсот часов общественных работ до двадцати пяти лет тюрьмы.

– Ничего себе разброс.

– Судья волен вынести любой приговор. Ты ведь напишешь ему письмо?

– Ага.

– Так уж постарайся, напиши как следует.

В трубах зажурчала вода, дверь туалета открылась, адвокат вышел и, улыбаясь, вытер руки о штаны. Фэй оказалась права: Сэмюэл никогда не видел, чтобы у взрослого мужчины был такой крошечный размер ноги.

– Превосходно! – сказал адвокат. – Все идет как нельзя лучше.

Как ему удастся сохранять равновесие с такими широченными плечами и крохотными ступнями? Он похож на перевернутую пирамиду, балансирующую на кончике.

Адвокат уселся за стол и забарабанил пальцами по портфелю.

– Переходим ко второй части! – объявил он и включил микрофон. – Сейчас мы поговорим о том, почему ваша матушка – выдающаяся личность, а следовательно, совершенно не заслуживает того, чтобы ее упекли в тюрьму на срок до двадцати лет.

– Неужели ее действительно могут посадить так надолго?

– Хочется верить, что нет, сэр, но я бы предпочел подстраховаться. А теперь давайте мы вам расскажем о том, как ваша матушка щедро жертвует средства на благотворительность.

– Меня куда больше интересует, чем она занималась последние пару десятков лет.

– Работала в школе. Она очень ценный и уважаемый сотрудник. Вдобавок увлекается поэзией. Можно сказать, она истинная ценительница

искусства.

– Вы меня, конечно, извините, – не выдержал Сэмюэл, – но я не очень хорошо понимаю, с какой это стати она “выдающаяся личность”.

– Почему же?

– Ну а что я должен сказать судье? Что она прекрасный человек? Отличная мать?

Адвокат улыбнулся.

– Вот именно.

– Я не могу сказать того, чего не думаю.

– Почему?

Сэмюэл перевел взгляд с адвоката на мать, потом снова на адвоката.

– Вы серьезно?

Адвокат с улыбкой кивнул.

– Вообще-то она меня бросила, когда мне было одиннадцать лет!

– Да, сэр, и я надеюсь, что вы понимаете: будет лучше, если об этом эпизоде из ее жизни никто не узнает.

– Она меня бросила без предупреждения.

– Мне кажется, сэр, будет лучше, если вы в интересах нашего общего дела поймете, что ваша матушка вас не бросила, а отдала на усыновление, причем, заметьте, позже обычного.

Адвокат открыл портфель и достал брошюру.

– Между прочим, ваша матушка сделала для вас куда больше, нежели большинство биологических матерей, – продолжал он, – в том, что касается выбора потенциальных усыновителей, заботы о том, чтобы ребенок попал в хорошую семью и так далее. Должен заметить, в некотором смысле она сделала для вас все возможное и невозможное.

Он протянул Сэмюэлу брошюру в ярко-розовой обложке с фотографиями улыбающихся многонациональных семейств и надписью мультяшным шрифтом “Добро пожаловать в приемную семью!”.

– Но я вырос не в приемной семье, – поправил Сэмюэл.

– Не стоит все воспринимать буквально, сэр.

Адвокат весь упреп: кожа его блестела от пота, как росистая трава поутру. Рубашка намокала под мышками и на руках так, как будто ее медленно поглощала медуза.

Сэмюэл уставился на мать, но та лишь пожала плечами – мол, ну и что ты будешь делать? В окнах за ее спиной маячила в дымке смога серая башня Сирс-тауэр^[15]. Когда-то она считалась самым высоким зданием в мире, но эти времена миновали, и теперь небоскреб не входил даже в первую пятерку. Да и название у него изменилось.

– Как здесь тихо, – заметил Сэмюэл.

Мать нахмурилась.

– Что?

– Не слышно ни людей, ни машин. Сплошное уединение.

– А, ты вот о чем. В доме начали ремонт, но тут рынок недвижимости рухнул, – пояснила мать, – так что успели отремонтировать всего пару квартир, а остальное не доделали, да так и бросили.

– То есть ты живешь одна во всем доме?

– Нет, через два этажа надо мной еще одна супружеская пара. Богемные художники. Но мы не общаемся.

– Тебе, наверно, тут одиноко.

Мать посмотрела ему в глаза.

– Нормально, – ответила она.

– А я ведь о тебе совсем забыл, – признался Сэмюэл. – И не вспоминал, пока все это не случилось.

– Правда?

– Ага. До этой недели я о тебе и не думал.

Мать улыбнулась своим мыслям, уставилась на стол перед собой, провела по нему ладонями, словно хотела вытереть.

– На самом деле мы ничего не забываем, – сказала она. – Строго говоря, все воспоминания по-прежнему хранятся у нас в голове, просто мы теряем к ним дорогу.

– Ты о чем?

– Я недавно читала одно исследование, – пояснила мать. – О том, как работает память. Там собралась целая команда – физиологи, молекулярные биологи, неврологи, – и вот они пытались выяснить, где именно мы храним воспоминания. Кажется, это было не то в “Нейчур”, не то в “Ньюрон”.

– Любишь легкое чтение?

– У меня масса интересов. Так вот они выяснили, что воспоминания вполне реальны и материальны. Они хранятся в определенных клетках мозга, которые можно увидеть своими глазами. А появляется воспоминание так: допустим, есть идеально чистая нетронутая клетка, которая потом искажается и выходит из строя. Так вот это искажение и есть воспоминание. И оно никогда никуда не девается.

– Ничего себе, – произнес Сэмюэл.

– Вроде бы это все-таки было в “Нейчур”.

– Ты это серьезно? – не выдержал Сэмюэл. – Я тут перед тобой душу наизнанку выворачиваю, а ты мне рассказываешь про какое-то исследование, о котором читала?

– Мне понравилась метафора, – пояснила Фэй. – И, кстати, ты ничего передо мной не выворачивал. Пока что.

Адвокат откашлялся.

– Давайте вернемся к делу, – предложил он. – Профессор Андерсон, сэр, быть может, вы хотите о чем-то спросить?

Сэмюэл вскочил и принялся мерить комнату шагами. Подошел к книжному шкафу у стены и оглядел полки, чувствуя спиной взгляд матери. В основном поэзия. Множество книг Аллена Гинзберга. Сэмюэл вдруг поймал себя на том, что ищет номер того самого журнала, где был опубликован его рассказ: он понял это по разочарованию, которое испытал, обнаружив, что журнала в шкафу нет.

Он развернулся к столу.

– Скажи-ка мне вот что.

– Сэр, вы вне зоны действия микрофона, – предупредил адвокат.

– Я хочу знать, чем ты занималась все эти двадцать лет. И куда поехала, когда ушла от нас.

– Едва ли это имеет отношение к нашему расследованию, сэр.

– И что ты делала в шестидесятые. За что тебя арестовали. И почему по телику говорят, что ты...

– То есть ты хочешь знать, правда ли это, – перебила Фэй.

– Да.

– Была ли я радикалкой? Участвовала ли в протестах?

– Да.

– Арестовывали ли меня за проституцию?

– Да. Оказывается, я ничего не знаю о том, как ты провела один месяц в 1968 году. Я-то думал, ты была дома, в Айове, с дедушкой Фрэнком, дожидалась папу из армии. А тебя, оказывается, там не было.

– Да.

– Ты была в Чикаго.

– Очень недолго. Потом уехала.

– Я хочу знать, что случилось.

– Гм! – подал голос адвокат и забарабанил пальцами по портфелю. – Что-то мы отклонились от темы. Давайте ближе к делу.

– Но ты же не только об этом хотел меня спросить, так? – заметила Фэй. – У тебя ведь есть и другие, куда более важные вопросы?

– И до них дойдет. В свое время, – отрезал Сэмюэл.

– А чего ждать? Вот мы сейчас все сразу и выясним. Ну же, спрашивай. У тебя ведь на самом деле ко мне один-единственный вопрос.

– Давай-ка начнем с фотографии. На которой ты на демонстрации

протеста в 1968 году.

– Ты же не за этим пришел. Задавай свой вопрос. Спрашивай меня о том, что действительно хочешь знать.

– Я пришел, чтобы написать письмо судье.

– Врешь. Давай. Задавай вопрос.

– Это к делу не относится.

– Задавай уже. Ну!

– Это неважно. Ничего такого...

– Согласен! – перебил адвокат. – Это несущественно.

– Заткнись, Саймон, – отрезала Фэй и пристально посмотрела на Сэмюэла. – Ему это важно. Он потому и пришел. Хватит притворяться, давай, спрашивай.

– Что ж, ладно. Я хочу знать: почему ты меня бросила?

Стоило ему произнести: “Почему ты меня бросила?” – как он почувствовал, что к горлу подступают слезы. Этот вопрос мучил его всю юность. Сэмюэл всем говорил, что мама умерла. Когда его спрашивали про мать, было проще ответить, что она умерла. Ведь когда он говорил правду, его спрашивали, почему же она ушла и куда, а он не знал. И тогда на него так странно смотрели, словно это он во всем виноват. Почему она его бросила? Он не спал ночей из-за этого вопроса, пока не смирился и не научился его игнорировать. И вот сейчас, когда Сэмюэл спросил ее об этом, его охватили прежние чувства: стыд, одиночество, жалость к себе, так что он с трудом выговорил последнее слово, потому что у него перехватило горло и он понял, что сейчас расплачется.

Сэмюэл с матерью с минуту смотрели друг на друга, потом адвокат наклонился, что-то прошептал ей на ухо, и Сэмюэл увидел, как потухла ее решимость. Мать опустила взгляд на колени.

– Давайте вернемся к нашей теме, – произнес адвокат.

– Мне кажется, я заслужил ответ, – возразил Сэмюэл.

– Давайте обсудим ваше письмо, сэр.

– Мне ведь ничего от тебя не надо, – продолжал Сэмюэл, – но неужели так сложно ответить на мои вопросы? Неужели я многого прошу?

Фэй отрешенно скрестила руки на груди. Адвокат выжидающе смотрел на Сэмюэла. Капли пота на его лбу набухли, как пузыри, грозя в любую минуту обрушиться на глаза.

– Знаешь, что меня больше всего потрясло в той статье из “Нейчур”, ну, про память? – наконец проговорила Фэй. – Оказывается, наши воспоминания буквально вшиты в мозг. Все, что мы знаем о прошлом, в прямом смысле на нас написано.

– Ты это к чему? – не понял Сэмюэл.

Фэй закрыла глаза и потеряла виски: раздраженный и нетерпеливый жест, знакомый Сэмюэлу с детства.

– Неужели непонятно? – спросила она. – Каждое воспоминание – как шрам.

Адвокат хлопнул по портфелю и сказал:

– Все, хватит!

– Ты так и не ответила на мои вопросы, – заметил Сэмюэл. – Почему ты меня бросила? Что случилось с тобой в Чикаго? Почему ты никому об этом не сказала? Что ты делала все эти годы?

Фэй посмотрела на него, и вся ее жесткость словно испарилась. Она бросила на него такой же печальный взгляд, как в то утро, когда ушла.

– Прости, – ответила она. – Но я не могу тебе ответить.

– Ну пожалуйста, ради меня, – умолял Сэмюэл. – Ты даже не представляешь, как для меня это важно. Мне нужно знать.

– Я дала тебе все, что могла.

– Но ты же мне ничего не сказала. Почему ты ушла? Ну скажи!

– Не могу, – произнесла Фэй. – Это личное.

– Личное? Ты серьезно?

Фэй кивнула и уставилась в стол.

– Это слишком личное, – повторила она.

Сэмюэл скрестил руки на груди.

– Ты сама вынудила меня задать этот вопрос, а теперь говоришь: мол, это слишком личное? Да пошла ты!

Тут адвокат принялся собирать вещи и выключил микрофон. Капли пота стекали ему на воротник.

– Профессор Андерсон, большое вам спасибо за то, что потрудились приехать, – сказал он.

– Я-то думал, ниже падать некуда, но тебе это удалось, – Сэмюэл встал из-за стола. – Поздравляю, Фэй, ты настоящий виртуоз. Маэстро. И надо бы хуже, да некуда.

– Мы с вами свяжемся! – объявил адвокат и принялся теснить Сэмюэла к выходу из квартиры, подталкивая теплой мокрой ладонью в спину. – Мы вам позвоним и обсудим, что же делать дальше. – Он распахнул дверь и вывел Сэмюэла из квартиры. Лоб адвоката усеивали капли пота размером с охотничью дробь. Рубаху под мышками можно было выжимать, словно он пролил туда огромный стакан кока-колы. – Мы будем с нетерпением ждать ваше письмо судьбе Брауну, – добавил он. – Хорошего вам дня!

После чего захлопнул дверь и запер ее.

Всю обратную дорогу – пока вышел из здания, пока доехал до дома через весь Чикаго и пригороды – Сэмюэлу казалось, что он сейчас развалится на куски. Тут он вспомнил совет с сайта: “Заручитесь поддержкой родных и друзей”. Ему нужно с кем-то поговорить. Но с кем? Не с отцом же, ясное дело. И не с коллегами. А больше он ни с кем и не общался, кроме приятелей из “Мира эльфов”. Дома он тут же вошел в игру. Его, как обычно, встретили приветствиями: “Привет, Плут!”, “Рад тебя видеть!”. В чате гильдии он задал вопрос: “Народ, кто в Чикаго, давайте встретимся вечерком? Посидим где-нибудь”.

Ответом было неловкое молчание. Сэмюэл понял, что нарушил границу. Он предложил встретиться *в реальной жизни*: так поступают только придурки и маньяки. Он уже хотел извиниться – мол, ладно, проехали, – как вдруг откликнулся Павнер, их гениальный вождь, гуру гильдии в “Мире эльфов”: “Давай. Я знаю клевое место”.

2

Лора Потсдам сидела в жутком кабинете декана и объясняла, что же все-таки произошло между ней и Сэмюэлом.

– Он сказал, что никакого нарушения обучаемости у меня нет, – распиналась она, – и что я просто не очень умная.

– Боже мой, – пораженно ответила декан.

Полки в ее кабинете были уставлены в основном книгами о черной смерти, стены украшали стилизованные под старину иллюстрации, на которых были изображены страдальцы в гнойниках или парше и трупы, уложенные вповалку на тележках. Лора полагала, что ничего страшнее графика похудения ее соседки по комнате на стене висеть не может, однако недвусмысленный интерес декана к истории открытых ран доказывал, что девушка жестоко ошибалась.

– Неужели Сэмюэл действительно назвал вас не очень умной?

– Да, и меня это больно задело.

– Могу себе представить.

– Я студентка элитарного университета, у меня высокий средний балл. Он не имеет никакого права говорить, будто я неумная.

– Ну что вы, Лора, я считаю вас очень умной.

– Спасибо.

– И я серьезно займусь этим вопросом.

– Я еще хотела вам сказать, что иногда профессор Андерсон ругается на занятиях. Меня это отвлекает и оскорбляет.

– Давайте поступим так, – проговорила декан. – Вы перепишите

сочинение по “Гамлету”, а я поговорю с профессором Андерсоном и все улажу. Как вам такой план?

– Отлично.

– Если у вас возникнут еще какие-то вопросы, обращайтесь сразу ко мне.

– Хорошо, – ответила Лора и вышла из здания администрации. На душе у нее было тепло, легко и весело от сознания победы.

Однако чувство это быстро улетучилось: стоило ей усесться на пол в комнате общежития, раскрыть томик Шекспира и с несчастным видом уставиться на строчки, как она тут же осознала, что вернулась к тому, с чего все началось: ей придется выполнить очередное дурацкое задание по очередному дурацкому предмету, “Введение в литературу”, одному из пяти курсов, на которые она записалась в этом семестре: все они, по мнению Лоры, были полной фигней. Идиотизм, пустая болтовня, которая не имеет никакого отношения к реальной жизни: вот что она думала про университетские предметы. А под “реальной жизнью” понимала задания, которые ей будут поручать после того, как она закончит университет бакалавром бизнеса, и о которых она пока что даже близко не догадывается, потому что еще не прослушала продвинутые курсы по маркетингу и коммуникациям, не проходила практику, нигде не работала “по-настоящему”, не считая подработки в старших классах школы, когда по вечерам стояла за прилавком с сувенирами в кинотеатре второго экрана, где и усвоила несколько важных правил поведения в коллективе, которым научил ее тридцатидвухлетний младший менеджер, любивший задержаться после работы, чтобы покурить травы и поиграть в покер на раздевание со смазливymi школьницами, которых неизменно брал на работу, так что Лоре приходилось виться ужом, чтобы и травы отсыпали, и не пришлось делать ничего такого, из-за чего назавтра было бы стыдно показаться ему на глаза. И плевать, что никакого другого “опыта работы” (цитата, конец цитаты) у нее не было: Лора все равно верила, что для дальнейшей успешной карьеры в маркетинге и коммуникациях ей не понадобится вся эта хрень, которую она учит в университете.

Типа “Гамлета”. Она пыталась его читать, пыталась хоть как-то сформулировать мысли и написать по нему сочинение, но сейчас ее куда больше занимала пригоршня скрепок. Лора подбрасывала их в воздух и смотрела, как они падают и разлетаются по линолеуму. Уж всяко интереснее, чем “Гамлета” читать. Скрепки хоть и одинаковые, а падают по-разному: прыгают во все стороны. Почему они не прыгают одинаково? Почему не падают в одном и том же месте? А еще они так прикольно

щелкают об пол. За последние несколько минут Лора подбросила скрепки в воздух раз пятнадцать, если не все двадцать, лишь бы “Гамлета” не читать (да, она это понимала), как вдруг звякнул ее телефон. Новое сообщение!

Привееееееееееееееееееет, детка

От Джейсона. По обилию букв “е” Лора догадалась, чего ему сегодня хочется. До чего же все-таки парни предсказуемы.

Привет!:-))” Все-таки универ – полная фигня, потому что приходится учить всякую чепуху, которая тебе сроду не понадобится. Например, греческие статуи для курса “Введение в гуманитарные науки”: он считался обязательным, и его можно было пройти онлайн. Ну бредятина же, неужели на первом собеседовании ей будут показывать открытки со статуями и спрашивать, какая из них из какого мифа? А ведь именно это ей приходилось делать: раз в неделю проходить двухминутный тест, который на самом деле полная ерунда...

Телефон запищал. Оповещение из приложения “ЯТут” – очень клевое, типа социальной сети, там сейчас весь универ зависает, все Лорины друзья, а потом набегут ламеры, старичье всякое, и на социальной сети можно будет ставить крест.

Лора посмотрела на экран телефона. “ЯТут балдею!” – писала одна из ее подруг, Бриттани: Лора уже несколько раз чистила список друзей, от которых могут приходиться оповещения, но Бриттани оставила.

Телефон спросил: “Пропустить, ответить или послать автоматический ответ?”

Лора выбрала последнее и положила телефон на пол, прямо на скрепки.

О чем она думала? Ах да, точно, о тестах по искусству, которые на самом деле полная ерунда. Прокручиваешь страницу вниз, делаешь снимки экрана и отключаешь модем: тест это воспринимает как “разрыв связи” или “сбой в сети”, ну то есть она тут типа ни при чем и можно заново проходить. Лора быстренько смотрела ответы, потом включала модем, сдавала тест на отлично и начисто забывала о греческих статуях до следующей недели.

А еще была биология, при одной лишь мысли о которой Лору тошнило. Можно подумать, в первую же неделю на крутой работе в сфере маркетинга и коммуникаций, куда она непременно однажды устроится, ей понадобится определить химическую цепную реакцию, в ходе которой фотон посредством фотосинтеза превращается в сахар: именно это они сейчас проходили по “Введению в биологию”, ей пришлось записаться на

этот курс из-за дурацкого требования к количеству необходимых естественнонаучных предметов (хотя где она – и где наука! она же не в ученые собралась!), а препод зануда, просто ужас, на лекциях хоть вешайся...

Телефон снова пискнул. Сообщение от Бриттани: “Спасибо!!” Видимо, отвечает на сообщение, которое “ЯТут” отправила ей автоматически. А Лора, между прочим, тут усердно занимается, “Гамлета” пытается читать. Чтобы Бриттани отвязалась, она послала ей универсальный смайлик, обозначающий конец разговора:

:))

В общем, лекции по биологии были такой скучищей, что она платила соседке по комнате двадцать баксов в неделю, чтобы та начитывала на диктофон важные фрагменты из учебника, а Лора их слушала на контрольных по пройденным главам, которые устраивали раз в две недели: она садилась у стены примерно посередине большой поточной аудитории на триста человек, чтобы не привлекать к себе внимания, вставляла наушник в обращенное к стене ухо и, прислонившись к стене, слушала, как ее соседка читает главу, и пробегала глазами тест в поисках ключевых слов, в глубине души изумляясь собственному умению делать несколько дел одновременно и писать контрольные вообще без подготовки.

– Тебе ведь это нужно не для того, чтобы списывать? – спросила ее соседка через несколько недель после того, как стала начитывать для Лоры тексты.

– Нет, чтобы заниматься. Я их слушаю в спортзале, – ответила Лора.

– Списывать нечестно.

– Я знаю.

– Что-то я тебя ни разу не видела в спортзале.

– Я хожу туда.

– Я там все время торчу и ни разу тебя не видела.

– Ну и крысиное яйцо тебе в карман! – отрезала Лора: так говорила ее мама, чтобы не ругаться. А еще мама всегда говорила: никому не давай себя обижать и унижать, а соседка по комнате очень ее обидела, поэтому Лора добавила вместо извинения: – Слышишь, ты, дурища, ты не видела меня в спортзале, потому что когда ты там, туда больше никто не поместится! – потому что соседка, давайте уж смотреть правде в глаза, на самом деле ужас какая толстуха. Ноги как мешки с картошкой. Правда-правда.

Слово “дурища” она придумала только что и очень этим гордилась: надо же, какое точное получилось прозвище, прямо про соседку.

Звякнул телефон.

Чё вечером делаешь?

Снова Джейсон. Прощупывает почву. Предсказуем, как всегда, когда хочет заняться виртом.

Домашку:(

Единственным из предметов в этом семестре, который хоть как-то пригодится ей в будущем, был курс макроэкономики, но и там не давали никакой конкретики, одну математику, а какое она имеет отношение к “человеческому фактору” бизнеса, из-за которого Лора и пошла учиться по этой специальности: она любила людей, умела находить с ними общий язык, у нее был огромный список онлайн-контактов, которые писали ей эсэмэски и по несколько раз на день слали сообщения в личку в многочисленных социальных сетях, где она была зарегистрирована, и оттого телефон ее трезвонил весь день напролет – как будто легонько постучали ложечкой по хрустальному бокалу, такие высокие, чистые, напевные ноты, от которых Лору охватывала рефлекторная радость, прямо по Павлову.

Вот поэтому она и выбрала себе бизнес-специализацию.

Но макроэкономика – отстой и скука смертная, и уж точно не пригодится в карьере, поэтому Лоре ни капельки не было стыдно за то, что она договорилась с одним знакомым, который занимался графическим дизайном и фотошопом и мог, к примеру, отсканировать этикетку с бутылки зеленого чая “Липтон”, стереть список ингредиентов (подумать только, сколько всякой химии входит в то, что называется “чаем”) и вместо них вписать ответы к тесту (то есть все формулы и понятия, которые они должны были выучить) тем же самым шрифтом, того же цвета, что на этикетке, так что препод сроду не догадается, что у Лоры все ответы перед глазами, разве только прочитает список ингредиентов на ее бутылке с зеленым чаем, но это вряд ли. А парня она в благодарность всего лишь обняла (ну, немножко крепче, чем друга), да пару раз за семестр заглянула к нему в комнату, когда ходила в душ и якобы забыла ключи, так что не оставалось ничего другого, кроме как заявиться к нему в своем любимом малюсеньком полотенце.

Стыдно ли ей за обман? Вот еще! И вообще, препода сами провоцируют студентов на то, чтобы те списывали, иначе это не было бы так легко, а в том, что Лора списывает, виноват университет: нечего было а) давать ей такой огромный выбор, б) заставлять проходить столько дурацких предметов.

Вот хотя бы тот же “Гамлет”. Она пытается прочитать эту ересь...

Тут телефон снова звякнул. Очередное обновление от “ЯТут”. На этот раз Ванесса: “ЯТут не понимаю, что вообще творится с экономикой?” Вот из-за такой фигни Лора и чистила список друзей. Она нажала “пропустить”. Ванесса получает первое предупреждение.

В общем, задание прочитать “Гамлета” и найти в нем логические ошибки – полная чушь: на собеседовании на должность вице-президента по маркетингу и коммуникациям в крупной корпорации об этом точно не спросят. И про логические ошибки не спросят. Она пыталась читать “Гамлета”, но не понимала ни слова:

Каким ничтожным, плоским и тупым

Мне кажется весь свет в своих стремленьях!

О мерзость![\[16\]](#)

Это что вообще?

Кто так разговаривает? И вот это – великая литература? Судя по тому, что ей удалось разобрать в тех фрагментах, где Шекспир пишет нормальным английским языком, Гамлет был просто унылый придурок, и Лора об этом думала так: если у тебя депрессия и ты из-за чего-то паришься, так, скорее всего, сам накосячил, и с какой стати она должна сидеть и слушать это нытье? Да еще телефон все время звонил и пищал, раз по десять за монолог, и у Лоры просто мозги вскипали: ты пытаешься читать этого идиотского “Гамлета”, а там сообщение про обновления пришло. На эсэмэски она установила простую мелодию, а на сообщения об обновлениях в “ЯТут” от семидесяти пяти ближайших друзей – птичью трель. Нет, сперва-то она получала сообщения обо всех обновлениях, но быстро поняла, что это просто невыносимо, учитывая, что друзей у нее больше тысячи, так что телефон стал походить на биржевой телеграфный аппарат и заливался, как птицы в заповеднике. Тогда Лора сократила список друзей, от которых приходили оповещения, до семидесяти пяти: с этим уже можно было как-то жить. Список этот все время менялся: каждую неделю она минимум два часа его чистила – одних выкинуть, других включить – с помощью интуитивного регрессионного анализа на

основе нескольких показателей, учитывая и то, насколько интересные у друга публикации, и как часто он их размещает, и много ли смешных картинок, на которых он отмечает друзей, и не постит ли статусы про всякую политоту (потому что из-за политики обычно начинается срач, поэтому все, кто регулярно грешит подобным, вылетали из списка семидесяти пяти лучших друзей), ну и, наконец, умеет ли находить разные клевые видеоролики, так как Лора считала, что искать по-настоящему интересные ролики – все равно что золото намывать, поэтому в списке лучших непременно должны быть один-два таких человека, которые раскапывали крутые видео и мемы еще до того, как те станут популярными на весь интернет: Лора чувствовала себя продвинутой, если видела их на неделю раньше всего остального мира. Как будто она круче и лучше всех. Похожее ощущение она испытывала, когда ходила по торговому центру и видела в каждом магазине в точности те вещи, которые охотно надела бы. С фотографий – размером с плакат, с человеческий рост, а то и больше – на нее смотрели юные красотки, точь-в-точь как она сама, в компании таких же юных и красивых друзей разных национальностей и рас, и эти ребята как две капли воды походили на ее друзей, и все они развлекались на природе, в разных клевых местах, куда Лора с друзьями тоже с радостью поехали бы, если бы в округе было что-то подобное. При виде этих фотографий она чувствовала, что она везде желанный гость. Все хотят ей понравиться. Все хотят дать ей то, о чем она мечтает. Никогда она не чувствовала себя увереннее и спокойнее, чем в примерочных, когда возвращала продавцам вещи, которые ей не подошли, потому что они недостаточно хороши для нее, и вдыхала насыщенный, отдающий клеем запах торгового центра.

Телефон снова звякнул. Опять Джейсон.

Ты дома?

Ага, одна, эта дурища в спортзале:))

А этот дурацкий препод по литературе упорно не хочет давать Лоре то, что ей нужно. И вообще, похоже, решил ее завалить. Особенно досадно, что даже нарушение обучаемости его не убедило. Документы по этому делу лежали в Службе адаптации, так что диагноз “нарушение обучаемости” у нее был официально, а все потому, что еще в начале учебного года Лора придумала гениальный план. Ее новая соседка-толстуха, которая страдала от СДВГ^[17] и принимала несколько лекарств, как-то обмолвилась, что ей по закону положена куча поблажек, в том числе

и такие: лекции за нее должны писать другие, на проверочных и контрольных ей обязаны давать дополнительное время, продлевать сроки сдачи работ, не засчитывать прогулы и так далее. В общем, полная свобода от преподавательского надзора, причем, что самое приятное, положенная по Закону о защите прав граждан с ограниченными возможностями. Лоре надо было так ответить на вопросы анкеты, чтобы ей поставили определенный диагноз. Проще простого. Она пошла в Службу адаптации. В анкете оказалось двадцать пять утверждений, с которыми нужно согласиться или не согласиться. Она заранее решила, насчет чего придется соврать, но, когда начала читать анкету, поразилась, что и впрямь может согласиться с некоторыми из утверждений, например: “Я не помню то, что только что прочитала”. Вот именно! Причем так бывало практически каждый раз, когда ее просили прочесть ту или иную книгу. Или: “Я отвлекаюсь, когда нужно сосредоточиться”. Ну это и вовсе случалось с нею по десять раз за занятие. Лора даже испугалась, вдруг у нее правда нарушение, но потом стала читать дальше:

“Мысль о домашней работе приводит меня в уныние и ужас”.

“Мне трудно заводить друзей”.

“Мне так трудно ходить на занятия, что порой у меня невыносимо болит голова и/или случается несварение желудка”.

Такого с нею почти никогда не бывало, и Лора успокоилась: значит, она нормальная. В итоге ей поставили диагноз “нарушение обучаемости”, и она очень гордилась собой, как тогда, когда пришла устраиваться на работу в кинотеатр и ее сразу же взяли: та же радость, что добилась-таки своего. Ей ни капельки не было стыдно за свой обман, потому что на несколько вопросов из анкеты она ответила честно, а значит, процентов на десять у нее действительно нарушена обучаемость, к тому же занятия такая скука и отстой, что невозможно сосредоточиться, а следовательно, еще процентов на сорок пять у нее из-за этого проблемы с учебой, то есть обучаемость нарушена на целых пятьдесят пять процентов, которые она округлила до ста.

Лора подбросила горсть скрепок примерно на метр в воздух и смотрела, как они разлетаются, кружась. Наверно, если больше тренироваться, ей удастся достичь совершенства, и скрепки станут падать симметрично. Будут взлетать и опускаться облаком, синхронно.

Скрепки разлетелись по полу. Гамлет вещал:

О, если бы моя тугая плоть

Могла растаять, сгинуть, испариться!

Ну что за бред.

Оставалось только одно. Так сказать, последний патрон. Лора набрала номер декана.

– Профессор Андерсон не может обеспечить мне подходящие условия для учебы, – выпалила она, едва только декан взяла трубку. – На его занятиях мне некомфортно.

– Понимаю, – ответила декан. – Понимаю. А почему?

– Потому что у меня не получается свободно выражать свою точку зрения.

– Почему именно не получается?

– Мне кажется, профессор Андерсон не ценит меня как личность.

– Что ж, давайте встретимся и обсудим это вместе с ним.

– У него на занятиях я не чувствую себя в безопасности.

– Что? – пораженно спросила декан, и Лоре показалось, будто она услышала, как ее собеседница выпрямилась в кресле.

“Безопасное пространство”. Последнее время все студенты только об этом и говорили. Лора толком не понимала, что это значит, но прекрасно знала, что на этих словах у администрации уши сразу вставали торчком.

– На его занятиях я не чувствую себя в безопасности, – продолжала Лора. – Он не сумел создать для меня безопасное пространство.

– Боже мой!

– Мне там плохо.

– Боже мой!

– Я не утверждаю, что он меня унижает или, так сказать, пристаёт ко мне, – добавила Лора. – Я лишь хочу сказать, что на его занятиях мне все время кажется, будто меня вот-вот унижат.

– Что ж, понятно.

– Я не могу настроиться на сочинение по “Гамлету”, а все потому, что преподавателю не удалось создать безопасное пространство, в котором я бы не боялась показаться ему такой, какая я есть на самом деле.

– Разумеется.

– Стоит мне сесть за сочинение для профессора Андерсона, как меня охватывает уныние, и я чувствую себя так, будто меня обидели. Меня это мучит. Если я напишу работу своими словами, он поставит мне плохую оценку, и я расстроюсь, потому что буду чувствовать себя глупой и сомневаться в своих силах. Разве же это справедливо, что мне, для того чтобы получить диплом, приходится чувствовать себя глупой?

– Вовсе нет, – ответила декан.

– Вот и мне так кажется. И мне совсем не хочется описывать эту

ситуацию в студенческой газете, – намекнула Лора. – Или у себя в блоге. Или рассказывать тысяче друзей в “ЯТут”.

Шах и мат. В ответ на Лорины слова декан пообещала, что непременно разберется в ситуации, и предложила ей пока забыть о сочинении, успокоиться, а они тем временем что-нибудь придумают.

Победа. Еще одно задание успешно выполнено. Лора закрыла “Гамлета” и бросила книгу в угол. Закрыла ноутбук. Телефон звякнул. Снова Джейсон: на этот раз наконец-то попросил, чего ему все это время хотелось:

Пришли мне свою фотку, я скучаю!!!

Пошлю или милую?”

Пошлю!!!

Ахаха лол:))

Она разделась догола и, держа телефон на вытянутой руке, сфотографировалась в разных сексуальных позах, которые почерпнула за два десятилетия из “Космо”, каталога “Виктория Сикрет” и порнографии в интернете. Лора сделала с дюжину кадров с разных ракурсов и с разным выражением лица: сексуально-возбужденным, сексуально-удивленным, сексуально-насмешливым, сексуально-довольным и так далее.

А потом никак не могла выбрать, какую послать Джейсону, потому что они все офигенные.

3

Павнер предложил встретиться в баре под названием “Иезавель”.

Сэмюэл написал:

Похоже на название стрип-клуба.

Так это он и есть гы

Правда, что ли?

Да нет... но типа того

Клуб располагался в другом пригороде Чикаго, который разросся в середине шестидесятых, в первую волну массового переселения из города. Сейчас пригород медленно умирал. Все, кто четверть века назад сбежал из Чикаго, понемногу перебирались обратно, обживали небоскребы в недавно перестроенном центре города. Белое население возвращалось в город, и пригороды первого поколения с их скромными домами и вычурными

торговыми центрами попросту устарели. Люди уезжали, с их отъездом падала в цене недвижимость, а за нею неудержимо приходило в упадок и все остальное. Закрывали школы. Забирали ставнями витрины магазинов. Фонари не горели. Дороги не ремонтировали, и ямы в асфальте становились шире. Гигантские коробки сетевых торговых центров пустовали, и только старые логотипы еще читались на грязных безымянных фасадах.

Клуб “Иезавель” находился в торговом центре между магазином спиртных напитков и заведением, где можно было взять напрокат шины с возможностью выкупа. Высокие витрины были заклеены черной пленкой, под которой местами образовались пузырьки воздуха, так что она отошла. Внутри местечко по всем признакам смахивало на стриптиз-клуб: высокая сцена, металлический шест, багровое освещение. Но без стриптизерш. Смотреть внутри было нечего, кроме примерно дюжины телевизоров, расположенных таким образом, что, где бы ты ни сидел, обязательно видел экраны минимум четырех. Телевизоры показывали разные кабельные каналы: спортивный, музыкальный, с телевизионными играми, кулинарный. Самый большой телевизор висел над сценой, так что казалось, будто он прикручен непосредственно к шесту для стриптиза: по нему передавали снятое в девяностых кино про стриптизерш.

Посетителей в клубе почти не было. Несколько парней за стойкой таранились в экраны телефонов. В кабинке в глубине зала молча сидела компания из шести человек. Сэмюэл не заметил никого, кто походил бы на Павнера (“У меня светлые волосы, я буду в черной футболке” – так он описал себя), и решил подождать его за столиком. Телевизор над барной стойкой показывал музыкальный канал: передавали интервью с Молли Миллер. Сегодня вечером должна была состояться премьера ее клипа: “Ну там как бы про то, что надо быть собой, – объясняла Молли. – Песня так и называется: «Нужно из себя что-то представлять». Типа быть верным себе. Не меняться и все такое”.

– Эй, Плут! – окликнул его мужчина у дверей.

Он действительно пришел в черной футболке, но волосы у него оказались не светлые, а скорее седые, с желтоватым отливом на кончиках. По бледному рябому лицу невозможно было определить возраст: Павнеру могло быть и пятьдесят, и тридцать лет, если жизнь его не щадила. Джинсы были коротковаты на несколько сантиметров, футболка с длинным рукавом – мала размера на два, словно он купил эти вещи, когда был моложе и стройнее.

Они пожали друг другу руки.

– Павнер, – представился тот. – Так меня зовут.

– А меня Сэмюэл.

– Тебя зовут Плут, – возразил Павнер и хлопнул Сэмюэла по спине. – У меня такое ощущение, что мы с тобой уже знакомы. Мы же товарищи по оружию.

Казалось, будто под футболкой повыше ремня у него шар для боулинга. Задохлик с пухом толстяка. Красные глаза навывкате. Кожа на ощупь как

холодный воск.

Подошла официантка. Павнер заказал пиво и какое-то блюдо под названием “двойные начос с экстра-супер-добавками”.

– Интересное местечко, – заметил Сэмюэл, когда официантка ушла.

– Единственный бар рядом с моим домом, куда можно дойти пешком, – пояснил Павнер. – Люблю ходить пешком. Типа как тренировка. Я скоро сяду на новую диету. Плейстодиета, слышал о такой?

– Не-а.

– Надо питаться как в эпоху плейстоцена. А конкретно во время последнего ледникового периода, в тарантский век.

– Откуда же нам знать, как питались в плейстоцен?

– Ну как, наука выяснила. Нужно есть то же, что пещерные люди, ну, разумеется, кроме мастодонтов. К тому же она безглютеновая. Фишка в том, чтобы обмануть организм, и он подумал бы, что ты вернулся в прошлое, когда никакого земледелия в помине не было.

– Все равно не понимаю, зачем это надо.

– Потому что цивилизация – это ошибка. Тупиковый путь развития. Мы облажались, потому теперь такие жирные.

Его тело заметно кренилось вправо. Рука, в которой он обычно держал мышку, была явно развита лучше, левая же словно отставала на несколько секунд от прочих членов, точно все время спала.

– Едва ли во время плейстоцена ели начос, – заметил Сэмюэл.

– Мне сейчас главное не тратить лишнего. Я коплю деньги. Знаешь, какие дорогие эти экологически чистые продукты? На заправке сэндвич стоит семьдесят девять центов, а в фермерском магазине – почти десять баксов. А знаешь, какие начос дешевые, особенно учитывая, сколько там калорий? Я уж молчу о тако, сосисках в тесте и прочих продуктах, которых нет в магазинах здорового питания: я беру их бесплатно в ближайшем супермаркете.

– В смысле – бесплатно?

– Ну смотри: срок годности с момента изготовления у них – двенадцать часов, потом по закону их должны выбросить. И если прийти в магазин за несколько минут до того, как там меняют ассортимент, можно унести оттуда пакет с дюжиной, если не больше, тако и блинчиков, а еще обычных хот-догов, сосисок для жарки, хот-догов в лепешке из кукурузной муки, буррито с фасолью и так далее.

– Ого, да это целая наука!

– А ты думал. Конечно, все это не так чтобы очень вкусно: булки же весь день крутятся в духовке, так что вечером уже черствые, горелые,

сухие. Иногда кусаешь буррито, а тортилья жесткая, как мозоль.

– Яркий образ. Такой не скоро забудешь.

– Зато дешево, понимаешь? Тем более что денег у меня сейчас негусто, потому что я остался без работы, а пособие по безработице кончится месяца через три: вот тогда и увижу первые результаты диеты. И если мне придется есть всякую гадость из-за того, что нет денег, прости-прощай диета. Значит, нужно заранее позаботиться о том, чтобы средств хватило на то, чтобы правильно питаться, причем сравнительно долго, поэтому я пока и ем что попало: экономлю на здоровые продукты. Понял?

– Вроде да.

– Каждую неделю я жру всякое дерьмо типа начос и тем самым как бы экономлю семьдесят баксов для новой жизни. Пока что этот план работает.

Выглядел он не лучшим образом: казалось, будто его точит какой-то экзотический недуг. Лицо у него было нездоровое, и Сэмюэл не сразу понял, что же его смущает в Павнере: судя по его виду, он страдал от какой-то болезни, которую давным-давно истребили – например, от цинги.

Принесли выпивку.

– Твое здоровье, – сказал Павнер. – Добро пожаловать в “Иезавель”.

– Место непростое, – ответил Сэмюэл. – Явно с историей.

– Тут когда-то был стриптиз-клуб, – пояснил Павнер. – А потом стриптизерши уволились, потому что мэр сперва запретил алкоголь в стриптиз-клубах, потом приватные танцы в стриптиз-клубах, а потом и сами стриптиз-клубы.

– И теперь это просто бар, стилизованный под стриптиз-клуб?

– Ну да. Мэр был поборником дисциплины и чистоты нравов. Его выбрали от отчаяния, когда город покатился по наклонной.

– Ты давно сюда ходишь?

– Пока здесь был стриптиз-клуб, не ходил, – ответил Павнер, поднял руку и показал Сэмюэлу обручальное кольцо. – Жена всего этого не одобряет. Она у меня патриархальных взглядов.

– Ничего себе.

– Говорит, мол, стриптиз-клубы – верный путь к феминизму и прочему. О, клевая песня, люблю ее.

Это он о новом сингле Молли Миллер, клип на который как раз начался по трети телевизоров в баре: Молли пела в заброшенном кинотеатре для автомобилистов среди толпы симпатичных ребят на мощных отечественных тачках конца шестидесятых – начала семидесятых: всех этих “камаро”, “мустангах”, “челленджерах”. Странное место для съемки, неуместный реквизит. Сэмюэл видел в клипе сплошные неувязки:

кинотеатр заброшен, следовательно, действие происходит сейчас, при этом автомобилям лет сорок, а Молли поет в громоздкий металлический микрофон, какие были в ходу на радио в тридцатых годах прошлого века. Наряд же ее – стильный, ироничный – отсылал к моде восьмидесятых, особенно большие солнечные очки в белой пластмассовой оправе и обтягивающие джинсы. В целом – мешанина ссылок и анахронических символов, подобранных не по логике, а потому что круто.

– А с чего ты вдруг захотел встретиться? – поинтересовался Павнер и снова уселся нормально, поджав ноги.

– Да просто так, – ответил Сэмюэл. – Потусить захотелось.

– Могли и в игре потусить.

– Ну да.

– Вообще я давно ни с кем не тусовался, кроме как в игре.

– Ага, – поддакнул Сэмюэл, задумался на минуту, понял, что он тоже сто лет ни с кем не тусовался, и ему стало не по себе. – А тебе не кажется, что мы слишком много зависаем в “Мире эльфов”?

– Не-а. А может, и да.

– Если подумать, мы там сидим часами. И я сейчас не только про саму игру: прибавь к этому время на то, чтобы почитать материалы об игре, посмотреть ролики, в которых другие играют, рассказывают об игре, выстраивают стратегии, обсуждают игру и так далее. В общем, до фига набирается. Без “Мира эльфов” мы могли бы, я не знаю, жить насыщенной жизнью. В реальном мире.

Принесли начос на блюде, похожем на противень для лазаньи. Гора кукурузных чипсов была завалена говяжьим фаршем, беконом, сосисками, луком, перцами халапеньо, придавлена стейком и полита чуть ли не литром сыра – ярко-оранжевого, густого, блестящего, точно пластик.

Павнер зарылся в тарелку и пробормотал с набитым ртом (к губам его прилипли крошки чипсов):

– Как по мне, так “Мир эльфов” куда насыщеннее реальной жизни.

– Ты серьезно?

– Абсолютно. В “Мире эльфов” я занят важными делами. Которые влияют на всю систему. Меняют мир. Чего не скажешь о реальной жизни.

– Ну почему, иногда нам удается что-то изменить.

– Редко, почти никогда. Чаще всего, как ни вертись, миру от тебя ни горячо ни холодно. Ну вот смотри: почти все мои друзья из “Мира эльфов” в реальной жизни работают продавцами. Торгуют телевизорами, джинсами. Работают в торговых центрах. Я вот работал в копировальном центре. Объясни, каким образом мы можем повлиять на систему?

– Мне трудно смириться с тем, что игра насыщеннее реальной жизни.

– Когда меня уволили, сказали, мол, из-за кризиса. И они вынуждены сократить число сотрудников. Хотя в том же самом году президент компании получал зарплату в восемьсот раз больше моей. Посмотришь на это все – и поневоле уйдешь с головой в “Мир эльфов”. По-моему, вполне адекватная реакция: так мы утоляем базовую психологическую потребность в том, чтобы чувствовать, что мы чего-то стоим, что-то значим.

Павнер брал начос, отправлял в рот, и за каждым куском тянулись липкие оранжевые нити сыра. Павнер старался зачерпнуть как можно больше сыра и фарша. Не успев прожевать один кусок, брал другой. Отправлял еду в рот, точно на ленту конвейера.

– Вот если бы и реальный мир жил по тем же правилам, что и “Мир эльфов”, – с набитым ртом философствовал Павнер. – Взять хотя бы браки. Было бы здорово, если бы каждый раз, как я делал что-то хорошее, мне капали очки, так что в конце концов я стал бы великим магистром, мужем сотого уровня. А если бы обижал Лизу, то терял бы очки: чем ближе к нулю – тем ближе к разводу. А еще было бы неплохо, чтобы эти события сопровождались звуковыми эффектами, ну типа как когда пакмэн съезживается и умирает. Или когда задираешь ставку в “Назови цену”. Чтобы играла такая тревожная мелодия, предвестник провала.

– Лиза – это твоя жена?

– Угу, – ответил Павнер. – Но мы расстались. Точнее, развелись. Пока так.

Он посмотрел на обручальное кольцо, перевел взгляд на экран, где менялись никак не связанные друг с другом изображения: Молли в классе, Молли болеет за школьную футбольную команду, Молли в боулинге, Молли в школе на танцах, Молли на лужайке – пошла с каким-то симпатичным парнем на пикник. Продюсеры явно метили в целевую аудиторию от восьми до девятнадцати и перебрали все шаблоны подросткового мирка: так собака роется в тухлятине.

– Мне казалось, что мы с Лизой счастливая пара, – продолжал Павнер. – А потом вдруг выяснилось, что ее наши отношения не устраивают, и она подала на развод. Как гром среди ясного неба. Взяла и ушла без предупреждения.

Павнер почесал руку: видимо, он так часто чесал это место, что протер ткань на рукаве.

– В игре такого сроду бы не случилось, – подытожил он. – Таких вот неожиданностей. Там моментально прилетает ответка. В игре бы каждый

раз, как я косячу, из-за чего Лиза и решила со мной развестись, раздавалась бы тревожная мелодия, и я бы видел, что теряю очки. Тогда я смог бы извиниться и впредь не повторять ошибок.

Молли Миллер за его плечом пела для танцующей и ликующей массовки. Ни музыкантов, ни хотя бы магнитофона на сцене не было, так что казалось, будто она поет а капелла. Но фанаты ее отплясывали так, как обычно не пляшут, когда кто-то поет а капелла, а значит, музыка все-таки играла где-то за кадром: последнее время такой прием использовали практически во всех попсовых клипах. Что тут поделаешь – мода есть мода.

– В игре ты всегда знаешь, что нужно сделать, чтобы выиграть, – сказал Павнер. – В реальной жизни – фигушки. У меня такое ощущение, что я облажался и понятия не имею почему.

– Ага.

– Я потерял единственную женщину, которую любил.

– И я, – откликнулся Сэмюэл. – Ее звали Бетани.

– Да и карьеры толком не сделал.

– Я тоже. Одна студентка вообще добивается, чтобы меня уволили.

– У меня долги по ипотеке.

– И у меня.

– Я целыми днями дуюсь в видеоигры.

– И я.

– Знаешь, чувак, – Павнер уставился на Сэмюэла выпуклыми, налитыми кровью глазами, – мы с тобой просто близнецы.

Некоторое время они молча смотрели клип Молли Миллер, Павнер жевал, они слушали песню, в которой уже в четвертый раз повторялся припев: значит, скоро конец. В стихах крылся намек на нечто недостижимое, непостижимое. Такое ощущение возникало в основном из-за того, что в строчках в качестве некоего двусмысленного определения повторялось на все лады местоимение “он”:

Ты его не задень, ты ему послужи,

Ты его ублажи, ты его поцелуй

Он мне нужен: скорее его покажи

Ну же, дай мне его, я все смогу.

Понимаешь, о чем я? Подумай о нем.

После каждого куплета Молли вместе с массовкой выкрикивала строчку, с которой начинался припев: “Нужно из себя что-то представлять!”, – и фанаты вскидывали в воздух кулаки, как будто

протестовали против чего-то – бог знает, против чего.

– Меня мама бросила, когда я был еще ребенком, – признался Сэмюэл. – Как тебя Лиза. Вот так однажды взяла и ушла.

Павнер кивнул.

– Понятно.

– Теперь мне кое-что от нее нужно, но я не знаю, с какого боку к ней подступиться.

– И что же тебе нужно?

– Ее история. Я пишу о ней книгу, но она мне ничего не расскажет. У меня есть только фотография да несколько набросков. Я ничего о ней не знаю.

У Сэмюэла в кармане лежала ее фотография, отпечатанная на фотобумаге. Он достал ее, развернул и показал Павнеру.

– Гм, – откликнулся тот. – Так ты писатель?

– Ага. И если я не допишу эту книгу, издатель подаст на меня в суд.

– У тебя даже издатель есть? Ничего себе! Я вот тоже писатель.

– Да ладно!

– Ну а что. У меня есть замысел для романа. Еще в школе начал. Про детектива-экстрасенса, который охотится за серийным убийцей.

– Круто.

– Я уже все придумал. Там в конце – внимание, спойлер! – выясняется, что все следы ведут к парню дочери бывшей жены этого детектива. В общем, как будет время, сяду и напишу.

Кожа на кутикулах, вокруг глаз, губ и во всех складках у него была болезненно-красная, как будто Павнер мучительно мутировал в какое-то другое существо. Ему, должно быть, больно двигаться, моргать и даже дышать, подумал Сэмюэл. В проплешинах на голове виднелись розовые пятна. Один глаз был открыт шире другого.

– Моя мать напала на губернатора Пэкера, – признался Сэмюэл.

– На какого еще Пэкера?

– Ну на политика. Бросила в него камнем.

– Понятия не имею, о чем ты.

– Да я тоже не сразу узнал. Кажется, она напала на его в тот день, когда мы отправились в рейд. На дракона.

– Да, мы его знатно уделали.

– Еще бы.

– “Мир эльфов” может многому научить по жизни, – сказал Павнер. – Взять хотя бы проблему с твоей матерью. Вообще фигня: надо просто понять, что от тебя требуется.

– В каком смысле?

– В “Мире эльфов”, как в любой компьютерной игре, есть четыре основных типа ситуаций. Все остальные – их производные. Вот такие у меня взгляды.

Павнер занес руку над обломками начос, пытаясь отыскать хоть один целый кусок чипсов, но почти все они размокли и размякли в сырномасляном болоте на дне противня.

– Тебя этому компьютерные игры научили? – спросил Сэмюэл.

– При чем это работает в реальной жизни. И там, и там любая проблема, с которой сталкиваешься, относится к одной из четырех разновидностей: враг, преграда, загадка или ловушка. Всё. И каждый, кто нам встречается в реальной жизни, тоже один из четырех.

– Понятно.

– Остается лишь определить, с какой проблемой ты столкнулся на этот раз.

– А как?

– Ну смотри. Допустим, это враг. Значит, единственный способ избавиться от него – его убить. Если ты убьешь мать, решишь проблему?

– Точно нет.

– Значит, она не враг. Ну хорошо! Тогда препятствие? Препятствия нужно обходить. Если ты станешь избегать матери, твоя проблема решится?

– Нет. Мне от нее кое-что нужно.

– А именно?

– Рассказ о ее жизни. Мне нужно знать, что с ней случилось.

– Понятно. И никак иначе эту информацию не раздобыть?

– Как же ты ее раздобудешь?

– Быть может, есть какие-то документы? – предположил Павнер. – Неужели у тебя нет родственников? Наверняка ты можешь кого-то из них расспросить. Ведь писатели обычно исследуют то, о чем пишут.

– Есть дед по материнской линии. Он еще жив.

– Ну вот, пожалуйста.

– Но мы с ним сто лет не виделись. Он живет в доме престарелых. В Айове.

– Угу, – ответил Павнер и принялся подбирать ложкой жижу, оставшуюся от начос.

– То есть ты мне советуешь переговорить с дедом, – резюмировал Сэмюэл. – Съездить в Айову и расспросить его про мать.

– Ну да. Так ты узнаешь ее историю. Соберешь по кусочкам. А иначе

твою проблему не решить – если, конечно, это действительно преграда, а не загадка и не ловушка.

– А как их отличить?

– Так сразу и не поймешь.

Павнер бросил ложку. Начос почти не осталось. Он провел пальцем по капле сыра и облизал его.

– С людьми-загадками и людьми-ловушками надо быть осторожным, – наконец сказал он. – Загадку можно разгадать, ловушку – нет. Чаще всего бывает так: ты думаешь, что это загадка, а это оказывается ловушка. Но тут уж поздняк метаться. Ты в ловушке.

4

Воспоминание из детства: Сэмюэл летом едет в Айову, в городок, где выросли его родители. Папа с мамой сидят впереди, а он сзади, с той стороны, где нет солнца, и смотрит в окошко на проносящиеся мимо пейзажи. Пугающее чикагское движение и кирпично-стальные границы города сменяются однообразными прериями. Мелькает торговый центр “Оазис” в Декальбе – последний островок цивилизации: дальше начинаются поля. Бескрайнее высокое небо кажется еще выше, поскольку ничто его не закрывает: здесь нет ни гор, ни холмов, вообще никакого рельефа, одна лишь плоская зеленая бесконечность.

Потом они пересекают Миссисипи, и Сэмюэл пытается задержать дыхание на все время, пока они едут по огромному бетонному мосту, смотрит вниз, на плывущие к югу баржи и буксиры, на плашкоуты и быстроходные катера, которые тянут за собой подпрыгивающие автомобильные камеры с людьми: те с высоты кажутся розовыми пятнышками. Они съезжают с федеральной магистрали, поворачивают на север и вдоль реки катят до самого дома, в городок, откуда родом его мама и папа, где они росли, учились в школе, там же познакомились и полюбили друг друга (так ему рассказывали). По шоссе 67, река все время справа, мимо бензоколонок с рекламой живой наживки, мимо американских флагов на депо добровольных пожарных дружин, в городских парках, на полях для гольфа, церквях и лодках. Иногда им встречаются на шоссе тракторы “Джон Дир”, едущие одним колесом по обочине, иногда – байкеры на “харлеях”, которые поднимают левую руку и приветствуют других байкеров, направляющихся в противоположную сторону. Они проезжают мимо карьера, где из-под колес машины летит рыжий гравий, мимо знаков ограничения скорости, требования которых необходимо строго выполнять, мимо других знаков, причем некоторые прострелены

дробью: “ОСТОРОЖНО – ОЛЕНИ СЛЕДУЮЩИЕ 2 МИЛИ”, “ВНИМАНИЕ! ВЪЕЗД ДЛЯ ТЕХНИКИ”, “ЗА ШОССЕ УХАЖИВАЕТ КЛУБ «КИВАНИС»”. Наконец вдали показываются красно-белые трубы азотного завода, а за ними массивные белые цистерны “Пропана Восточной Айовы”, гигантского промышленного комплекса, принадлежащего корпорации “Кемстар”, из-за которого в городке то и дело воняет горелыми овсяными хлопьями, а за ним элеватор и мелкие городские конторы: автосервис “Леон”, салон красоты “У Брюса”, ремонт огнестрельного оружия, лавка редких находок и предметов старины “Проньра Пит”, аптека Швингла. Алюминиевые сараи для инструментов на задних дворах. Гаражи для вторых машин, где вместо стен – полиэтиленовая пленка. Дома с тремя, четырьмя, а то и пятью автомобилями: все на ходу, некоторые с тюнингом и прибабасами – в общем, сразу видно, что за машинами тщательно ухаживают. Подростки гоняют на мопедах: над головами у них хлопают оранжевые флажки. Дети в пустых полях катаются на квадроциклах и кроссовых мотоциклах. Внедорожники тянут моторки. Все друг другу мигают фарами.

Сэмюэл вспомнил все это в таких подробностях, поскольку ничего не изменилось. Он ехал пообщаться с дедом, которого не видел лет двадцать, и понимал, что пейзажи вокруг все те же. Долина Миссисипи по-прежнему утопает в зелени, несмотря на то что концентрация химикатов здесь выше, чем где-либо по стране. В городках вдоль реки по-прежнему почти на всех домах висят флаги. Демонстративный патриотизм не охладило ни то, что за двадцать суровых лет многие заводы вывели за пределы страны, ни то, что сократились объемы производства. А еще за это время центр тяжести сместился от старомодного исторического квартала к огромному новому “Уол-марту”, но жителей, похоже, это совершенно устраивало. На переполненной парковке торгового центра царил суета.

Все это увидел Сэмюэл, прокатившись по городу. Он, как и советовал Павнер, приехал сюда за информацией. Решил подышать местным воздухом, попытаться почувствовать, каково это – провести здесь детство. Мать никогда ему об этом не рассказывала, да и бывали они здесь нечасто. Обычно раз в два года, летом, когда он был еще маленький.

Разумеется, он предварительно навел справки о родительском городке, узнал, что дед его по-прежнему здесь, медленно чахнет от деменции и болезни Паркинсона в доме престарелых под названием “Ивовая лощина”. Сэмюэл договорился, что заедет туда ближе к вечеру, день же решил посвятить поискам: все разузнать, рассмотреть.

Сначала он отыскал дом, где вырос отец, – ферму на берегу Миссисипи.

Потом нашел и мамин дом, небольшой старомодный коттедж с панорамным окном в одной из верхних комнат. Заехал в ее среднюю школу: ничем не примечательное здание, похожее на любую другую школу. Сделал несколько снимков. Побывал на детской площадке возле материнского дома: тут тоже все было заурядно – качели, горка, турник. Сфотографировал и это. Даже заехал на предприятие “Кемстар”, где много лет работал дедушка. Завод оказался такой огромный, что нехватишь взглядом. Выстроенный вдоль реки, в окружении железнодорожных путей и линий электропередачи, он походил на опрокинутый набок авианосец. На многие километры раскинулись в беспорядке металлические конструкции и трубопроводы, печи и трубы, похожие на бункеры бетонные строения, стальные резервуары, цистерны, дымоотводы, трубы, которые, казалось, все как одна вели к массивному медному куполу в дальнем конце завода, к северу: в ясный день этот купол, наверно, сиял, как маленькое восходящее солнце. В разреженном, раскаленном воздухе сильно пахло серой, выхлопными газами, сгоревшим углем: дышать было трудно, как будто не хватало кислорода. Сэмюэл сфотографировал и завод. Резервуары и изогнутые трубы, кирпичные дымоотводы, выпускавшие в небо белые облака пара, которые растворялись в воздухе. На одном фото все заводские строения было не уместить, поэтому он обошел всю территорию и сделал панорамные фотографии. Сэмюэл надеялся, что снимки его встряхнут, наведут на свежие мысли, помогут увидеть взаимосвязь между угрюмым заводом и маминой семьей, которую с ним все это время словно связывала невидимая пуповина.

Он ехал в дом престарелых, когда ему позвонил Перивинкл.

– Здорово, дружище, – голос издателя в трубке звучал эхом, – я просто так звоню, узнать, как дела.

– Вас еле слышно. Где вы?

– В Нью-Йорке, у себя в офисе. Я включил громкую связь. У нас тут внизу сейчас проходит какой-то митинг протеста. Слышите, как орут?

– Не слышу, – ответил Сэмюэл.

– Зато я слышу, – сказал Перивинкл. – На двадцатом этаже.

– И что кричат?

– Ну, слов-то не разобрать. В основном слышно, как бьют в барабаны. Рок-опера чистой воды. Собрались в кружок и лупят в барабаны. Громко. Каждый божий день. Чего хотят – непонятно.

– То есть они против вас протестуют? Вам, должно быть, неприятно.

– Да не против меня. И не против нашей компании, если уж быть точным. Скорее против мира, который ее породил. Против

многонациональности. Глобализации. Капитализма. Бьюсь об заклад, лозунги у них примерно в таком духе.

– “Захвати Уолл-стрит”.

– Вот-вот. Хотя, как по мне, название чересчур пафосное. Они захватили не Уолл-стрит, а всего лишь бетонный пяточок метрах в трехстах от нее.

– А по-моему, символичное название.

– Они сами не знают, против чего бунтуют. Как если бы наши предки-гоминиды протестовали против засухи. Вот и тут так же.

– То есть вы хотите сказать, что своими протестами они выкликают дождь.

– Ну да, такой же примитивный ответ туземцев высшим силам.

– И сколько их там?

– С каждым днем все больше. Сперва был десяток. Теперь несколько десятков. Пытаются с нами заговорить, когда мы идем на работу.

– Так, может, стоит с ними поговорить?

– Да я как-то раз попробовал. С одним парнишкой, ему от силы лет двадцать пять. Стоял возле круга барабанщиков, жонглировал мячиками. Белый, но с дредами. Каждое предложение начинал с “ну”, как будто его заело. Причем произносил это как “нэ”. Я ни слова не понял из того, что он говорил.

– В общем, разговор не получился.

– А вы когда-нибудь ходили протестовать?

– Один раз.

– И как?

– Безуспешно.

– Представляете, круг барабанщиков. Жонглеры. В деловом квартале. Полная бредятина, короче, никакой логики. Они не понимают главного: больше всего на свете капитализм любит бредятину. Вот что им нужно усвоить. Капитализм охотно поглощает любую бредятину.

– В каком смысле бредятину?

– Все самое модное, стильное. Любая мода рождается как ошибка.

– Это многое объясняет в новом клипе Молли Миллер.

– А, уже видели?

– Клевая штука, – ответил Сэмюэл. – “Нужно из себя что-то представлять”. Только я вообще не понял, о чем это.

– Как вам сказать. Раньше существовала разница между настоящей музыкой, которая шла от сердца, и попсой. Я говорю о времени моей молодости, о шестидесятых. Мы тогда прекрасно понимали, что попса

совершенно бездуховна, и любили настоящих музыкантов. А теперь попса считается искренней, настоящей. И когда Молли Миллер говорит: “Я такая, какая есть”, она имеет в виду, что всем хочется славы и денег, и любой артист, который это отрицает, попросту врет. Алчность – вот единственная правда, основа основ, и прав тот, кто в этом честно признается. Это новая искренность. Никто и никогда не упрекнет Молли Миллер в том, что она продалась, потому что к этому она и стремилась.

– Я так понял, она поет о том, что, мол, будь богатым, развлекайся.

– Она апеллирует к тайной алчности слушателей и внушает им, что это нормально. Дженис Джоплин старалась вдохновить людей совершенствоваться. Молли Миллер говорит: ты мудак, и это нормально. И я ее вовсе не осуждаю. Мне просто по долгу службы положено все это знать.

– А как же жонглер? – спросил Сэмюэл. – Который с барабанщиками? Он-то и не думает продаваться.

– Он копирует протест, который видел когда-то давным-давно по телевизору. Он тоже продался, просто другой системе знаков.

– Но ведь не алчности.

– Вы ведь помните “Неистового Нормана” Шварцкопфа и “Бурю в пустыне”? Хотя вы, скорее всего, были еще ребенком. Помните “Скады”? Желтые ленточки^[18], “точку невозврата”, Арсенио Холла^[19], который гавкал в поддержку наших войск?

– Помню.

– Нет ничего, что не смог бы сожрать капитализм. Бредятина – его родной язык. Кстати, это вы мне звоните или я вам?

– Вы мне.

– Точно, вспомнил. Я слышал, вы встречались с матерью.

– Да, мы виделись. Я ездил к ней домой.

– Вы были с ней в одной комнате. И что она сказала?

– Да толком ничего.

– Вы были в одной комнате, вы героически сумели преодолеть многолетнюю обиду, и она распахнула вам душу, она была с вами откровенна, как ни с кем и никогда, она поведала вам захватывающую историю своей жизни страниц на двести пятьдесят с идеальной концовкой.

– Не совсем.

– Постарайтесь все-таки побыстрее осмыслить ваши переживания. Я понимаю, что это трудно, но у нас график.

– Да она вообще не захотела со мной говорить. Но я что-нибудь придумаю. Я ищу информацию. Это займет некоторое время.

– Некоторое время? Понятно. Помните то огромное нефтяное пятно в Мексиканском заливе^[20]? В прошлом году?

– Помню.

– Публику это волновало, кажется, дней тридцать шесть. Даже были исследования на эту тему.

– В каком смысле “волновало”?

– Первый месяц все дружно негодовали и запоздало злились: дескать, ну как так-то? А пять недель спустя большинство реагировало так: “Да, точно, а я уж и забыл”.

– То есть какое-то окно у нас все-таки есть.

– Очень маленькое, того и гляди закроется. Все-таки то была самая страшная экологическая катастрофа в истории Северной Америки. И то, что какая-то дама швырнула горсть камней в политика, которого большинство считает засранцем, разумеется, не идет ни в какое сравнение.

– И что же мне делать? Какой у меня выбор?

– Я вам уже говорил: объявите себя банкротом и сваливайте в Джакарту.

– Я постараюсь работать быстрее. Кстати, я сейчас в Айове, собираю информацию.

– Аойва? Понятия не имею, как там все выглядит.

– Ну как: заброшенные заводы. Фермы, выставленные на продажу. Поля кукурузы с рекламными щитами “Монсанто”. Я как раз мимо такого проезжаю.

– Красота.

– Баржи на реке. Свиньи пасутся. Супермаркеты “Хайви”.

– Все, дальше слушать не хочу.

– Сегодня я встречаюсь с дедом. Может быть, он расскажет мне правду о том, что случилось с мамой.

– Как бы это помягче сказать? Нам совершенно неинтересна “правда о том, что случилось” с вашей мамой. Нам куда интереснее заставить раскошелиться тех, кто сейчас помешался на предстоящих президентских выборах.

– Я уже в доме престарелых. Мне пора.

Здание казалось безликим, и снаружи его можно было принять за обычный жилой дом: фасад обшит пластиком, на окнах занавески, название неочевидное – “Ивовая лощина”. Не успел Сэмюэл переступить порог, как в нос ему ударил резкий, вызывающий клаустрофобию больничный запах: хлорка, мыло, средство для чистки ковров, никогда не выветривающийся сладковатый и едкий дух мочи. На стойке регистратуры

лежал бланк, в котором каждый посетитель должен был расписаться и указать цель визита. Рядом со своей фамилией Сэмюэл написал: “Исследование”. Он планировал расспросить деда и получить ответы. Если, конечно, тот с ним все-таки поговорит. Фрэнк Андресен всегда был молчалив. Он был замкнут, равнодушен, говорил с неразборчивым акцентом, от него часто пахло бензином, и в целом казалось, будто он где-то не здесь. Все знали, что он родом из Норвегии, но о том, почему он оттуда уехал, дед не распространялся. “Отправился на поиски лучшей жизни” – вот и все, что удавалось из него вытянуть. Единственное, что он рассказывал о родине, – какой красивый у них там был дом: большой, темно-красный, окнами на море в самом северном городе мира. Дед выглядел счастливым, лишь когда вспоминал об этом, а больше, кажется, никогда.

Медсестра отвела Сэмюэла за столик в пустой столовой и предупредила, что Фрэнк редко говорит что-то вразумительное.

– Он принимает лекарства от болезни Паркинсона, и от них у него путаются мысли, – пояснила она. – А от таблеток от депрессии его постоянно клонит в сон. Вдобавок у него деменция, так что едва ли вам удастся что-то узнать.

– А у него депрессия? – удивился Сэмюэл.

Медсестра нахмурилась и обвела руками столовую.

– Сами посмотрите.

Сэмюэл уселся за столик, достал телефон, чтобы записать разговор, и увидел несколько новых писем – от декана, от начальника отдела по делам студентов, от начальника университетского отдела по связям с общественностью, из управления по адаптации студентов с ограниченными возможностями, управления по вопросам инклюзивного обучения, службы здравоохранения для студентов, консультанта по учебно-методическим вопросам, студенческой службы психологической помощи, от ректора, от омбудсмена – и все с одной темой “Срочно: конфликт со студенткой”.

Сэмюэл обмяк. Провел пальцем по экрану телефона, чтобы письма исчезли.

Наконец медсестра привезла в кресле-каталке деда. Сэмюэлу он показался на удивление маленьким, куда меньше, чем ему помнилось. Дед был небрит, с разноцветной – черно-рыже-седой – бородой, открытым ртом и белыми крапинками слюны на губах. Худой, в тонком халате цвета фисташкового пудинга. Седые всклокоченные со сна волосы торчали, как травинки. Дед выжидающе смотрел на Сэмюэла.

– Как я рад тебя видеть, – сказал тот. – Ты меня узнаешь?

Лучше всего Фрэнк помнил то, что было давным-давно. Особенно лодку. Как он рыбачил с кормы в те месяцы, когда позволяла северная погода. Он это помнил, как сейчас: парни в теплом домике едят и пьют, потому что закончили работу, забросили сети, и стоит летняя полночь, когда солнце не садится, а горизонтально движется по небу.

Красно-оранжевые сумерки длиною в месяц.

В этом свете все казалось живее и ярче: вода, волны, далекий каменистый берег.

Тогда его звали Фритьоф, а не Фрэнк.

Он был еще подростком.

И очень любил все это: Норвегию, Северный полярный круг, ледяную воду, в которой останавливалось сердце.

Он рыбачил по вечерам ради удовольствия, не ради денег. Его увлекала борьба. Когда тащишь огромными сетями стаю бьющихся черных каменных окуней, ты не чувствуешь борьбу так, как когда вы с рыбой связаны тонкой белой леской.

Жизнь тогда была незамысловата.

Вот что он любил: насаживать приманку на крючок, чувствовать, как рыба тянет ко дну, – мускулы напрягаются, ты еще не знаешь, кого поймал, упираешь удилице в бедро и тянешь с такой силой, что остается синяк, и не видишь рыбу, пока у самой поверхности воды не блеснет чешуя, и вот наконец появляется рыба.

Сейчас жизнь стала ровно такой.

Именно так он себя и чувствовал.

Как рыба, которую вытащили из моря – темного, точно красное вино.

Словно из ниоткуда появлялись лица. Откроешь глаза – а перед тобой незнакомец. Вот и сейчас на него смотрел молодой человек и натянуто улыбался, хотя в глазах таился испуг. Еще одно лицо, которое нужно узнать.

Фрэнк уже не всех узнавал, но прекрасно видел, что им нужно.

Молодой человек говорил, задавал вопросы. Точь-в-точь как врачи. К нему все время приходили новые и новые доктора, медсестры.

А графики оставались прежними.

График для каждого синяка. График для каждой описанной простыни. И если он путался, не понимал чего-то – тоже график. Тесты на когнитивную деятельность, на способность решать задачи, на сознательное отношение к технике безопасности. Оценка подвижности, равновесия,

болевого порога, чистоты кожных покровов, понимания простых слов, фраз, команд. Все оценивалось по шкале от одного до пяти. Его просили повернуться на бок, сесть, снова лечь, сходить в туалет.

Они проверяли туалет – не промахнулся ли мимо унитаза.

Они оценивали, как он глотает. Для глотания у них был отдельный график. По шкале от одного до пяти оценивали, как он жуёт, как гоняет пищу во рту, срабатывает ли глотательный рефлекс, когда у него капает или течет слюна. Ему задавали вопросы, чтобы проверить, может ли он одновременно жевать и разговаривать. Проверяли, не прячет ли он еду за щекой.

Засовывали пальцы ему в рот и проверяли.

Он чувствовал себя рыбой, пойманной на крючок. Словно это он нырял в темноту.

– Как я рад тебя видеть, – сказал сидевший перед ним молодой человек. – Ты меня узнаешь?

Его лицо напомнило Фрэнку о чем-то важном.

Вид у него был потерянный, как будто он узнал какую-то страшную тайну, и она отравила ему жизнь, словно под самой кожей у него таится боль, от которой он корчится в муках.

И если в одном Фрэнк слабел день ото дня, то в другом, наоборот, становился сильнее. Теперь он куда лучше читал людей. Раньше ему это не удавалось. Всю жизнь люди были для него загадкой. Жена, ее семья. Даже Фэй, его собственная дочь. Сейчас в нем как будто что-то изменилось, как меняется цвет глаз у оленя: зимой голубые, летом – золотистые.

Так казалось Фрэнку.

Словно теперь он видел в другом спектре.

Что же он увидел в этом молодом человеке? Взгляд у него был такой же, как у Клайда Томпсона в 1965 году.

С Клайдом они работали на заводе “Кемстар”. У дочери Клайда была копна золотистых волос до пояса, прямых и длинных, как тогда носили. Она жаловалась, что голове тяжело, но Клайд не разрешал ей стричься, потому что обожал ее волосы.

А потом в 1965 году в школе ее волосы попали в ленточную пилу и девочка погибла. Ей отрезало кожу черепа вместе с волосами.

Клайд на пару дней отпросился с работы, а потом вернулся как ни в чем не бывало.

Собрал волю в кулак и стал жить дальше.

Это Фрэнк отлично помнил.

Люди в один голос говорили: надо же, какой мужественный человек.

Как будто, чем дольше Клайд избегал боли, тем большим героем становился.

Так живут те, чья жизнь полна тайн.

Теперь-то Фрэнк это понимал. Люди все время что-то скрывают. А это болезнь похуже Паркинсона.

У него самого было столько секретов, о которых он никогда никому не рассказывал.

И Клайд, и этот парнишка смотрели одинаково. На их лицах застыла хмурая гримаса.

Вот так же было и с Джонни Карлтоном, чей сын свалился под трактор, и его раздавило. А сына Денни Уизора убили во Вьетнаме. А дочь Элмера Мейсона умерла в родах, и внучка тоже не выжила. А сын Пита Олсена перевернулся на мотоцикле на гравийной дорожке, тот упал на него, сломал ему ребро, оно проткнуло легкое, которое наполнилось кровью, так что парень захлебнулся собственной кровью прямо на дороге у журчащего ручья в середине лета.

Никто из них никогда не разговаривал о случившемся.

Должно быть, умерли несчастными морщинистыми стариками.

– Я хотел спросить у тебя про маму, – сказал молодой человек. – Про твою дочь.

И вот он опять не Фрэнк, а Фритьоф, он на ферме в Хаммерфесте, где ярко-красный дом окнами на океан, во дворе высоченная канадская ель, рядом пастбище, овцы, лошадь, и всю долгую зимнюю полярную ночь в камине горит огонь – он дома.

На дворе 1940-й, ему восемнадцать лет. Он парит в шести метрах над водой. Он впередсмотрящий на судне: у него самое острое зрение. Он высматривает рыбу с макушки самой высокой мачты и командует парням в шлюпках, где забрасывать сети, здесь или там.

Залив кишит рыбой, а он ее находит.

Но вспоминает он об этом не из-за рыбы. А из-за дома. Темно-красного дома с пастбищем, садом и дорожкой, спускающейся к причалу.

Он видит его в последний раз.

Глаза слезятся от ветра. Он смотрит из вороньего гнезда на удаляющийся Хаммерфест. Темно-красный дом становится все меньше и меньше, пока наконец не превращается в яркое пятнышко на берегу, а потом и берег сжимается до точки, и вокруг, насколько хватает глаз, нет и уже никогда не будет ничего, кроме воды, – ничего, кроме бескрайней иссиня-черной глади океана, и темно-красный дом становится точкой в его памяти, которая увеличивается в размерах и мучит его тем сильнее, чем

дальше он уплывает.

– Мне нужно знать, что случилось с Фэй, – говорит сидящий перед ним молодой человек, который возник словно из мрака. – Когда она уехала в колледж. В Чикаго.

Он смотрит на Фрэнка так же, как все остальные, когда не понимают, о чем он говорит. Им кажется, что у них на лице написано терпение, на деле же у них такой вид, будто они сейчас обосрут.

Должно быть, Фрэнк ему что-то говорил.

Теперь он говорит как во сне. Иногда ему кажется, будто язык слишком громоздок для речи. Или он позабыл английский, и изо рта его путаницей бессвязных звуков вылетают норвежские слова. Порой он тараторит, не останавливаясь, целыми предложениями. Или даже, сам того не зная, с кем-то беседует.

Видимо, это все из-за таблеток.

Один тут бросил пить таблетки. Просто перестал их глотать, и все. Отказался наотрез. Настоящее медленное самоубийство, не иначе. Его пытались удержать, силой запихнуть в рот таблетки, но он сопротивлялся.

Фрэнк восхищался его упорством.

А вот медсестры – нет.

Медсестры в “Ивовой лощине” не пытались спасти подопечных от смерти. Они заботились лишь о том, чтобы те *умирали как положено*. Потому что, если кто-то умирал от того, от чего умереть не должен, у родных возникали подозрения.

Медсестры были добры. Они хотели как лучше. По крайней мере поначалу, пока были новичками. Проблема была в системе. В правилах. Медсестры были гуманны, правила – нет.

В фильмах PBS, которые показывали в общей комнате, говорили, что все живое стремится к размножению.

В “Ивовой лощине” все живое стремилось избежать суда.

Записывали вообще всё. Если сиделка кормила его ужином, но забывала это записать, то формально, с точки зрения закона, она его не кормила.

Поэтому все медсестры ходили с пачками бумаг. Они больше смотрели в бумаги, чем на пациентов.

Как-то раз он ударился головой о раму кровати, и под глазом у него расплылся синяк. Пришла медсестра со своими вечными графиками и спросила Фрэнка:

– Под каким глазом синяк?

А ведь, чтобы получить ответ на вопрос, достаточно было взглянуть на

Фрэнка. Но медсестра уткнулась в свои графики. Задокументировать ушиб ей было куда важнее, чем вылечить.

Записывали всё. Терапевты составляли отчеты о состоянии здоровья пациентов. Диетологи писали о том, как те питаются. Чертили графики потери веса. Медсестры раз в месяц делали сводки. Столовая ежедневно вела журнал учета. Таблицы питания через зонд. Лекарственные анамнезы.

Фотографии.

Его раздевали, и он стоял нагишом, дрожа от холода, пока его фотографировали. Случалось это где-то раз в неделю.

Его осматривали, нет ли где синяков от падений. Или пролежней. Или кровоподтеков. Свидетельств жестокого обращения, недоедания, симптомов инфекций, обезвоживания.

На всякий случай, если дело дойдет до суда, для их защиты.

– Хочешь, я попрошу, чтобы тебя больше не фотографировали? – предложил молодой человек.

О чем они говорили? Он снова потерял нить. Огляделся: он в столовой. Кругом пусто. Молодой человек натянуто улыбался. Точь-в-точь как старшекласники, что приходят сюда раз или два в год.

Среди них была одна девушка, Фрэнк забыл, как ее зовут. Может быть, Тейлор? Или Тайлер? Он спросил у нее: “Зачем вы сюда приходите?” Она ответила: “Для поступления в колледж – благотворительность поощряется”.

Они приходили два или три раза, потом пропадали.

Он спросил эту Тейлор или Тайлер, почему все школьники приходят всего два раза, а потом исчезают, и она пояснила: “Два раза – для анкеты вполне достаточно”.

Она призналась в этом без тени смущения. Наверно, считала себя хорошей девочкой за то, что сделала для достижения цели тот минимум, который от нее требуют.

Она спросила его, как ему здесь живется. Он ответил, что рассказывать особенно нечего. Она спросила, где он работал. Он ответил, что на заводе “Кемстар”. Она спросила, что выпускали на заводе. Он ответил, что химическое соединение, от которого, если превратить его в желе и поджечь, плавилась кожа у сотен тысяч мужчин, женщин и детей во Вьетнаме. Тут она поняла, как ошиблась, решив прийти сюда и задать ему этот вопрос.

– Я хотел спросит тебя про Фэй, – сказал молодой человек. – Твою дочь, Фэй. Помнишь ее?

Фэй была такой прилежной ученицей, что этим обалдуям-

старшеклассникам и не снилось. Она училась усердно, потому что у нее была цель. Большая, всепоглощающая, серьезная. И внутренний стимул.

– Фэй мне никогда не рассказывала, что ездила в Чикаго. Почему она уехала в Чикаго?

И вот на дворе снова 1968-й, он на тускло освещенной кухне с Фэй, он выгоняет ее из дома.

Он страшно на нее зол.

Он так старался жить в этом городке тише воды, ниже травы. А она возьми да все испорти.

Чтобы ноги твоей здесь не было, кричал он.

– Что же она такого натворила?

Спуталась с парнем, вот что. В старших классах. И этот Генри ее обрюхатил. А они ведь еще даже не были женаты. И все об этом узнали.

Вот что бесило его больше всего: откуда они пронюхали? Все сразу. Как будто она дала объявление в местной газете. Он так и не выяснил, как же это случилось. Его куда сильнее злило не то, что она залетела, а то, что все об этом узнали.

Все это было до того, как у него началась деменция и подобные вещи перестали его волновать.

После этого она уехала в колледж. Она стала изгоем. Сбежала в Чикаго.

– Но ведь она недолго там пробыла? В Чикаго?

Вернулась через месяц. Что-то с ней там случилось, она не рассказывала. Фрэнк не знает что. Она всем говорила, что учеба в колледже оказалась чересчур сложной. Но он-то понимал, что она врет.

Фэй вернулась и вышла замуж за Генри. И они уехали из города.

Она его никогда не любила, Генри-то. Бедняга. Он так и не понял, почему она к нему так относится. В норвежском есть такое слово, *gift*, означает сразу и брак, и отраву – в общем, точь-в-точь как вышло у Генри.

После отъезда Фэй Фрэнк повел себя как Клайд Томпсон, когда у того умерла дочь: на людях сохранял невозмутимый вид, так что никто не спрашивал у него про Фэй, и постепенно все о ней позабыли, словно ее и не существовало.

И ничего о ней не напоминало, кроме коробок в подвале.

Домашние задания. Дневники. Письма. Отчеты школьного психолога. О проблемах Фэй. Панические атаки. Истерики. Истории, которые она выдумывала, чтобы привлечь к себе внимание. Все это отражено в документах. И они хранятся тут, в “Ивовой лощине”. В подвале. За все ее школьные годы. Фрэнк не выбросил ничего.

Он давным-давно ее не видел. Она исчезла: он это заслужил.

Он надеялся, что вскоре совсем позабудет об этом.

Сознание его угасало.

Еще чуть-чуть – и он, бог даст, снова станет Фритьофом и больше никем. Будет помнить лишь Норвегию. Лишь беспечную юность в самом северном городе мира. Огонь, который всю зиму поддерживали в очаге. Серое небо летними ночами. Зеленые сполохи полярного сияния. Плескавшиеся косяки черных окуней, которые он замечал за милю. А может, если повезет, в стенах его памяти останется одно-единственное воспоминание: как он рыбачит с кормы лодки, тащит огромную рыбину из глубины.

Если повезет.

Если же нет, то в сознании застрянет другое воспоминание. Мучительное. Он снова и снова будет видеть, как смотрит на темно-красный дом. Как тот исчезает из виду. Глядя на то, как дом медленно скрывается вдаль, Фрэнк чувствует, что стареет. Снова и снова он будет переживать эту ошибку, этот позор. Этот кошмар наяву станет его приговором и наказанием: как он уплывает прочь из дома в густеющую темноту.

6

Сэмюэл никогда не слышал, чтобы дедушка Фрэнк столько говорил. Он рассказывал, не умолкая, произнес целый ошеломляющий монолог, местами даже связный и понятный, так что Сэмюэлу удалось ухватить кое-какие важные подробности: его мать забеременела и от стыда уехала в Чикаго, а все документы и записи из детства Фэй хранятся здесь, в коробках, в “Ивовой лощине”.

Сэмюэл спросил медсестру про коробки, и она отвела его в подвал, длинный бетонный туннель с клетками за решетками. Зоопарк забытых предметов. Здесь пылились фамильные вещи: старые столы, стулья, буфеты, остановившиеся старые часы, коробки, поставленные одна на другую, точно полуразрушенная пирамида, темные лужи на голом грязном полу, мутные зеленые флюоресцентные лампы над головой, кислый запах плесени и сырого картона. И посреди всего этого – несколько коробок с надписью “Фэй”, тяжелые, с бумагами: школьные исследовательские работы, записки от учителей, медицинские книжки, дневники, старые фотокарточки, любовные письма от Генри. Сэмюэл рылся в бумагах, и перед его глазами вставал иной образ матери – не холодная, отстраненная женщина из его детства, но робкая девочка, полная надежд. Та настоящая мама, которую он всегда мечтал узнать.

Он отнес коробки в машину и позвонил отцу.

– Самое время попробовать замороженные продукты, – откликнулся тот. – Генри Андерсон слушает. Чем я могу вам помочь?

– Это я, – сказал Сэмюэл. – Нам надо поговорить.

– Я бы с удовольствием пообщался с вами с глазу на глаз, – ответил отец тем вежливым, неестественным высоким тоном, которым всегда говорил на работе. – Давайте все обсудим при первой же возможности.

– Пап, ну хватит.

– Если хотите, я расскажу вам о нашем следующем вебинаре: быть может, это будет вам интересно.

– У тебя что, начальник стоит над душой?

– Определенно да.

– Ладно, тогда просто слушай. Я лишь хотел тебе сказать, что кое-что выяснил о маме.

– Боюсь, это не в моей компетенции, но я буду рад направить вас к своему коллеге, который сумеет вам помочь.

– Пап, перестань, а?

– Понял вас. Большое спасибо, что упомянули об этом.

– Я знаю, что мама уезжала в Чикаго. И знаю почему.

– Думаю, это лучше обсудить при личной встрече. Когда вам было бы удобно?

– Она сбежала из Айовы, потому что забеременела от тебя. И дед вышвырнул ее из дома. Ей пришлось уехать из города. Я все знаю.

На том конце провода повисло молчание. Сэмюэл ждал.

– Пап? – наконец окликнул он.

– Это неправда, – куда тише ответил отец уже обычным голосом.

– Это правда. Я разговаривал с дедушкой Фрэнком. Он мне все рассказал.

– Так это он тебе рассказал?

– Да.

– А ты где?

– В Айове.

– После ухода твоей мамы этот человек не сказал мне и десяти слов.

– Он болен. Ему дают какие-то тяжелые препараты. Один из побочных эффектов – расторможенность. Мне показалось, он сам не понимает, что говорит.

– О господи.

– Скажи мне правду. Ну же.

– Во-первых, Фрэнк ошибается. Это все чудовищное заблуждение. Твоя мама вовсе не была беременна. Ты ее первый ребенок.

– Но Фрэнк сказал...

– Я догадываюсь, почему он так подумал. Да, он верит, что это правда. Но я тебе говорю: все было не так.

– А как?

– Ты уверен, что хочешь это услышать?

– Мне это необходимо.

– Есть вещи, которых лучше не знать. Детям совершенно незачем знать о родителях всю правду.

– Для меня это важно.

– Тогда приезжай домой.

– И ты мне расскажешь?

– Да.

– Всю правду? Без обмана?

– Да.

– Даже самую неприглядную?

– Да. Приезжай.

На обратном пути Сэмюэл пытался представить, как вел бы себя на мамином месте: вот он впервые едет в Чикаго, поступает в колледж, и будущее смутно и покрыто тайной. Он чувствовал себя так, словно переживает сейчас то же, что и она. Вот-вот начнется новая жизнь. И все изменится. Казалось, будто мама едет в машине рядом с ним.

И, как ни странно, никогда она не была ему ближе, чем в ту минуту.

Часть четвертая. Дух дома

Весна 1968 года

1

Фэй слышит скрежет металла и понимает, что работа кипит. Металл передвигают, бросают, плющат, сгибают; металл ударяется о металл и поет. Завод “Кемстар” из дома не видать, но в небе стоит его зарево, медный свет за дубами, что растут на заднем дворе. Иногда она представляет, будто там не завод, а стан какого-нибудь древнего войска: горят факелы, стучат молоты кузнецов, кующих мечи. Заводской гул напоминает ей о войне.

Она полагала, что хотя бы сегодня вечером, из-за того, что случилось, того, что сейчас показывают по телевизору, завод затихнет. Но нет: даже в такой вечер “Кемстар” грохочет. Она сидит на заднем дворе и слушает. Вглядывается в густой сумрак. Отец сейчас на заводе: работает в ночную смену. Она надеется, что он не смотрел новости, а значит, сумеет сосредоточиться. Потому что на заводе “Кемстар” смертельно опасно. Она как-то раз была там на экскурсии, и ее напугали все эти маски, перчатки, строгая техника безопасности, фонтанчик для промывки глаз, то, как перехватывало горло, как зудела кожа головы. Она слышала истории о рабочих, месяцами лежавших в больнице после очередной дурацкой ошибки “Кемстар”. Каждый раз, проезжая мимо завода, она видит логотип в виде скрещенных букв “К” и “С”, и подпись: “КЕМСТАР – МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ”. Ни один из ее дядьев не стал бы там работать. Они пошли на сталелитейный, на азотный, на завод по производству минеральных удобрений, на фабрику по производству воздушной кукурузы; кто-то ездил через реку, в Иллинойс, на завод, где делали клейкую ленту. Точнее, не саму ленту, а клей для нее. Огромные цистерны молочной пены, которую помешивали, разливали по бочкам для нефтепродуктов и отправляли заказчикам. Непонятно, как этот клей – уже не жидкий, а густой, – наносят на ленту. И каким образом клейкая лента в такой аккуратной упаковке оказывается на полках магазинов по всей Америке: это еще одна специальность на заводе, еще одна группа толстых мужиков – приезжих рабочих. Неудивительно, что дяди никогда не рассказывают о том, что производят. Коммерческая тайна. Так и живет этот странный городишко на

реке. Здесь ей все время кажется, будто от нее что-то ускользает. Она видит части, но не целое.

Стоит апрель, занятия на первом курсе в университете начнутся только через четыре месяца, она сидит на заднем дворе, а в доме орет телевизор: в Мемфисе убили Мартина Лютера Кинга. В Чикаго беспорядки: одни протестуют против случившегося, другие поджигают и грабят магазины. И в Питтсбурге то же самое. И в Детройте, и в Ньюарке. Волнения в Сан-Франциско. Пожары в трех кварталах от Белого дома.

Фэй смотрела-смотрела, потом поняла, что больше не выдержит, и вышла на ночную улицу, где вдалеке грохочет “Кемстар”, где свистки, краны и коленчатые валы, где каскадом металла летит вперед поезд: даже в такой вечер дело кипит. Ради чего они до сих пор трудятся, эти мужчины, которые даже не узнают о протестах? Кому нужна вся эта химия? Завод не простаивает ни минуты: этим-то он и страшен.

Она слышит, как открывается дверь в патио: это мама с новостями.

– Это просто какая-то анархия, – в отчаянии произносит она. Мама весь вечер просидела у телевизора, как приклеенная: слушала Кронкайта^[21]. – Они же громят свой собственный район.

Очевидно, полиция Чикаго оцепила районы трущоб. В магазины спиртных напитков швыряют бутылки с “коктейлем Молотова”. На крышах зданий засели снайперы. На улицах громят автомобили. Столбы со светофорами вырывают с мясом, гнут, точно ветки деревьев. В окна летят кирпичи.

– Чего они надеются добиться? – не понимает мама. – К чему все эти разрушения? То, что показывают по телевизору? Неужели эти бунтари думают, что после такого кто-то проникнется к ним сочувствием?

Мартина Лютера Кинга убили выстрелом в шею, когда он стоял на балконе мотеля: все ведущие и репортеры по телевизору описывают это одинаково, одними и теми же словами. Кто бы мог подумать, что обиходные слова превратятся в заклинание. Мотель “Лорейн”. Ружье “Ремингтон”. Малберри-стрит. (Как вообще можно стрелять в месте с таким чудесным названием^[22]?) Полиция патрулирует улицы. Массовые облавы. Начало тридцатых, только в легкой версии. Белый мужчина. Человек из пятого номера.

– Им всем только дай повод, – распинается мама, – чтобы творить бесчинства. Бегать по улицам голыми по пояс, грабить магазины. “О, смотри-ка, давай возьмем бесплатно новый магнитофон”.

Фэй понимает, что маму беспорядки волнуют постольку-поскольку. На

самом же деле она хочет убедить дочь не уезжать в Чикаго. А уличные волнения – лишь очередной повод об этом поговорить. Она хочет, чтобы Фэй осталась дома и поступила в милый маленький университет в соседнем городке, где обучение длится всего два года, и напоминает об этом дочери при каждом удобном случае. Мама беспрестанно донимает ее этим уже несколько месяцев, с тех самых пор, как Фэй приняли в Чикаго-Сёркл.

– Послушай, – говорит мама. – Я ничего не имею против гражданских прав, но нельзя же звереть и уничтожать имущество ни в чем не повинных людей.

Чикаго-Сёркл – броское название новенького университета в центре Чикаго: университета штата Иллинойс возле транспортной развязки Чикаго-Сёркл. В рекламных брошюрах, которые прислали вместе с письмом о зачислении Фэй, этот университет называли “Калифорнийским университетом Среднего Запада”. Первый в мире “абсолютно современный университетский городок”, говорилось в брошюре, построенный за последние несколько лет, новое слово в архитектуре, уникальный кампус: университет создан как единая система с помощью новейших технологий социального проектирования и инженерного искусства; все строения на территории университета выполнены из самых прочных материалов; на высоте второго этажа здания связывают надземные переходы, с которых открывается прекрасный вид, – настоящая “пешеходная магистраль в небе”; новаторские архитектурные решения на основе математической теории поля, которые, насколько Фэй понимала, заключались в том, чтобы поставить бетонные кубы друг на друга, чуть повернув каждый, так чтобы получилась многогранная многоугольная композиция, сверху похожая на пчелиные соты. Настоящий технологический прорыв, сообщалось в брошюре, сопоставимый по значению с изобретением контрфорсной арки или геодезического купола, воплощает главную миссию университета: создать *кампус будущего*.

Фэй подала заявление в университет втайне от всех.

– Я уверена, если бы эти хулиганы не громили все вокруг, – говорила мать, – их поддержали бы многие простые люди. Почему бы им было не собраться, не организовать голосование? Предложить свои решения, а не разносить город?

Фэй смотрит на далекое зарево “Кемстар”. Отец, наверное, сейчас работает и знать не знает, что в мире творится. Об университете он говорил с ней один-единственный раз: когда Фэй показала ему брошюру и письмо о зачислении. Она ему первой обо всем рассказала. Сперва прочла все у

себя в комнате, порадовалась, потом пошла в гостиную, где отец, сидя в большом удобном кресле, читал газету. Протянула ему документы. Он взглянул сперва на нее, потом на бумаги. Молча все прочитал: казалось, он не сразу понял, в чем дело. Фэй едва не лопнула от нетерпения. Она ждала, что отец похвалит ее за успехи. Но он, дочитав, лишь протянул ей письмо и сказал: “Что за глупость. – Развернул газету, встряхнул, расправляя складки. – И не вздумай никому об этом сказать, – добавил он. – Люди подумают, что ты хвастаешься”.

– На улицах хаос! – возмущается мать. Последнее время она частенько сама себя заводит. – Понятия не имею, чего эти люди добиваются! Что им нужно?

– Ну, во-первых, чтобы прекратились убийства, – отвечает Фэй. – Я так думаю.

Мать окидывает ее долгим оценивающим взглядом.

– Когда убили Джона Кеннеди, мы не устраивали бунты.

Фэй смеется.

– Ну да, конечно, как будто это одно и то же.

– Да как ты можешь?

– Ладно, мам. Извини.

– Я за тебя боюсь.

– Не надо.

– Я боюсь, что ты уедешь в Чикаго, – наконец-то мама переходит к сути дела. – Это же так далеко. Такой большой город. И там полным-полно этих, ну ты понимаешь: городских.

Так мама называет негров.

– Не хочу тебя пугать, – продолжает мама, – но подумай сама. Вот так вот будешь вечером возвращаться после занятий, а они тебя схватят, уволочут в темный переулок, засунут в рот дуло пистолета, так что ты даже пикнуть не сможешь, и изнасилуют.

– Все, хватит, – Фэй встает. – Спасибо, мама, за приятный разговор.

– А если у тебя там приступ случится? Что ты без меня будешь делать?

– Я уйду.

– Куда это ты?

– Туда.

– Фэй!

– Никуда, мам, просто прокачусь. Проветрю голову.

Она, разумеется, врет. Фэй собирается к Генри. К хорошему, доброму Генри. Она поедет к нему, пока мать не перепугала ее до смерти рассказами о нападениях и изнасилованиях. Фэй садится в свою машину,

выезжает из микрорайона – горстки крошечных коттеджей под названием “Виста-хиллс” (но это же Айова, и Фэй никогда не могла понять, почему их район так называется: на вывеске с надписью “Виста-хиллс” нарисованы вершины гор, которых в их штате днем с огнем не сыщешь). Она сворачивает на главный проспект, проезжает магазин “Вкусные и свежие молочные продукты”, “Все за доллар”, аптеку Швингла. Проезжает мимо бензозаправки с “Квикмарктом”, что напротив бесконтактной автомойки “Просто блеск”, мимо серой водяной башни, которую старожилы зовут зеленой, потому что когда-то давным-давно она действительно была зеленой, пока не полиняла от солнца, – наверно, думает Фэй, их можно пожалеть за то, что живут одними лишь воспоминаниями. Проезжает мимо Ассоциации ветеранов иностранных войн и ресторана под названием “Ресторан”, на вывеске возле которого всегда написано одно и то же: “ЖАРЕННЫЙ СУДАК! СЪЕШЬ СКОЛЬКО СМОЖЕШЬ! ПЯТНИЦА, СУББОТА, СРЕДА”.

Сворачивает на шоссе и видит вдалеке, в просвете между деревьями, то, что в шутку зовет “маяком”. На самом деле это труба азотного завода: из нее выходит горящий газ, и по ночам над трубой светится голубой огонек. Поэтому труба похожа на маяк, а шутка в том, что до ближайшего моря в сухопутной Айове миллиарды миль. Это дорога к Генри. Фэй едет по пустым улицам: обычный вечер, похожий на многие другие, если бы не катастрофа, которую показывают в новостях. А значит, ее никто не заметит. На верандах, в распахнутых гаражах не будет людей, никто не скажет: “Вот едет Фэй. Интересно, куда это она”. Фэй чувствует, что соседи ею интересуются, весь город за ней следит, не спускает с нее глаз, а началось это с тех самых пор, как стало известно о том, что она поступила в университет. Прихожане в церкви, которые раньше вообще не думали о Фэй, повадились говорить ей с виду обычные, на деле же обидные и злые слова: “Вот уедешь в большой город и забудешь о нас”, или “Теперь-то ты точно не вернешься в наш скучный городишко”, или “Ну вот, прославишься и знать меня не захочешь: еще бы, где ты, а где я”, и так далее. В неприглядной подоплеке же крылось одно и то же: “Вообразила, что ты лучше нас?”

Если честно, да.

У нее дома лежит на столе письмо из университета – такое официальное, с логотипом на тяжелой бумаге – о том, что Фэй назначили стипендию. Она первая ученица городской школы, которая получила право на стипендию. За все время существования школы. Конечно, она считает себя лучше других! В этом-то все и дело!

Фэй ловит себя на недобром чувстве, понимает, что так нельзя, это тщеславие и гордыня – самый непонятный из грехов. “Мерзость пред Господом всякий надменный сердцем”^[23], – сказал однажды в воскресенье пастор, и Фэй едва не разрыдалась на скамье, поскольку не знала, как исправиться. Быть хорошей так трудно, а Господь так скор на расправу.

– За грехи отцов расплачиваются не только они сами, но их дети, – вещал пастор, – и дети их детей до третьего и четвертого колена.

Фэй надеялась, пастор не узнает о том, что она без спроса ездила к Генри.

Или что она ездила к нему тайком, стараясь, чтобы никто ее не заметил. Подъезжая к ферме, гасила фары. Бросала машину поодаль и шла к дому пешком. Садилась на корточки на гравийной дорожке, чтобы глаза привыкли к темноте, оглядывалась, нет ли собак, следила за домом. Бросала Генри камешки в окно, чтобы он выглянул, а его предки ничего не услышали. У подростков свои хитрости.

Разумеется, в городе о них знали. В городе вообще все обо всех знали. И одобряли. Подмигивали Фэй, спрашивали, когда свадьба. “Теперь уж не за горами”, – говорили горожане. Всем явно хотелось, чтобы она не уезжала в университет, а вышла замуж.

Генри воспитанный, тихий и добрый. Дела на их большой семейной ферме идут как нельзя лучше: прекрасное хозяйство. Генри верит в бога, исправно ходит в церковь, усердно трудится, телом крепок, как бетон. Когда Фэй прикасается к нему, мускулы его каменеют, словно в нем копилось-копилось нервное напряжение и вот наконец прорвалось. Она его не любит, или, точнее, не знает, любит или нет, а может, любит, но не влюблена. Фэй ненавидит все эти определения, эти словарные тонкости, которые, к несчастью, так важны.

– Пойдем погуляем, – предлагает Генри.

По одну сторону от его фермы – азотный завод, по другую – река Миссисипи. Они идут в том направлении, к реке. Генри, похоже, ничуть не удивлен приезду Фэй. Он берет ее за руку.

– Смотрела новости? – спрашивает он.

– Ага.

Ладонь у Генри грубая, мозолистая, особенно чуть ниже пальцев, там, где кожа соприкасается с различными инструментами сельскохозяйственного труда: совком, лопатой, мотыгой, метлой, длинным и капризным рычагом переключения передач на тракторе. От бейсбольной биты остаются такие же мозоли, если ею пользоваться, как он, – убивать воробьев, которые норовят свить гнезда в амбаре для кукурузы. Дробью

там стрелять нельзя, объяснил ей Генри: тесно, срикошетит – выбьет тебе глаз. Приходится идти в амбар и лупить воробьев битой. Фэй попросила никогда больше не рассказывать ей об этом.

– Не передумала ехать в Чикаго? – спрашивает Генри.

– Не знаю, – отвечает Фэй.

Они подходят ближе к реке, и земля под ногами становится с каждым шагом все более топкой. Фэй слышит, как волны плещут о берег. Позади на маяке горит лазоревый огонек, точно застрявший в ночном небе осколок дня.

– Я не хочу, чтобы ты уезжала, – говорит Генри.

– Я не хочу об этом говорить.

Когда они держатся за руки, он то и дело гладит нежную кожу меж большим и указательным пальцем Фэй, или еще более нежную кожу на ее запястье. Наверно, думает Фэй, он по-другому ничего не чувствует. Еще бы, под столькими слоями толстой мертвой кожи. Только потеревшись о ее руку, он понимает, где сейчас его пальцы, и Фэй с тревогой думает, что же будет дальше, когда он потянется к прочим, новым частям ее тела. Она этого ждет: иначе ведь и быть не может. Она ждет, когда Генри полезет ей под одежду. Будет ли ей больно, когда эти жесткие мозолистые руки коснутся ее кожи?

– Вот уедешь ты в Чикаго, – ноет Генри, – и что мне тут без тебя делать?

– Все будет хорошо.

– Не будет, – возражает Генри, стискивает ее руку, останавливается и демонстративно поворачивается к ней, торжественно и серьезно, как будто хочет сказать что-то очень важное. Генри любит театральные жесты – впрочем, как многие подростки: вечно эти мальчишки всё драматизируют.

– Фэй, – произносит он, – я принял решение.

– Ну и?

– Я решил, – тут он делает паузу, чтобы удостовериться, что Фэй слушает его с должным вниманием, а убедившись в этом, продолжает: – если ты уедешь в Чикаго, я пойду в армию.

Фэй, не удержавшись, фыркает от смеха.

– Я серьезно! – кричит Генри.

– Да ладно тебе.

– Я так решил.

– Не глупи.

– Быть солдатом почетно, – не унимается Генри. – Почетно, понимаешь ты это?

- Да тебе-то это зачем?
- Не хочу оставаться один. Иначе я не смогу тебя забыть.
- Забыть? Я же не умираю, а учиться еду. Я вернусь.
- Но ты будешь так далеко.
- Ты сможешь меня навещать.
- Ты познакомишься с другими парнями.
- Ах вот оно что. Другие парни. Ты из-за этого, да?
- Если ты уедешь в Чикаго, я пойду в армию.
- Но я не хочу, чтобы ты шел в армию.
- А я не хочу, чтобы ты уезжала в Чикаго. – Он скрещивает руки на груди. – Я все решил.
- А если тебя пошлют во Вьетнам?
- Ну и что.
- А если тебя там убьют?
- И пусть. Ты сама будешь во всем виновата.
- Так нечестно.
- Тогда оставайся со мной, – говорит он.
- Это нечестно.
- Оставайся дома, здесь точно ничего не случится.

Фэй думает, что так нечестно, но одновременно, как ни странно, испытывает облегчение. Уличные беспорядки, грабежи, все ужасы, которые сегодня показывают по телевизору, и мать, и городок: если она останется с Генри, ее перестанут терроризировать. Если она останется, жизнь ее будет намного спокойнее и проще.

Зачем она вообще к нему поехала? Фэй уже об этом жалеет. Зря она выманила Генри под голубой огонек маяка. Фэй ему об этом не рассказывала, но она называет трубу “маяком” еще по одной причине. Маяк двуличен: так и она чувствует себя каждый раз, как приезжает к Генри. Маяк и манит, и предупреждает. Он говорит: “Добро пожаловать домой”. И тут же: “Осторожно, подводные камни”.

2

Субботный вечер, конец апреля 1968 года: у Фэй выпускной бал. В шесть вечера за ней заезжает Генри с розой и бутоньеркой. Дрожащими руками прикалывает ей к платью цветы. Тянет ткань так, словно разыгрывает перед родителями Фэй пантомиму: подросток неуклюже лапает подружку за грудь. Но мама фотографирует, просит их улыбнуться. Фэй приходит мысль, что всю эту возню с корсажем придумали сами родители – беспокойные родители, которые хотели убедиться в том, что

ухажеры их дочерей не умеют обращаться с предметами дамского туалета и не привыкли хватать девиц за грудь. Так что если парень действует неуклюже, значит, все отлично: можно не бояться, что дочь принесет в подоле. У Генри никак не получается совладать с цветами. Он не может нормально приколоть бутоньерку к корсажу. Он задевает Фэй иглой, так что на коже у нее остается тонкая красная царапина, похожая на горизонтальную перекладину буквы А.

– Моя алая буква! – смеется Фэй.

– Что? – недоумевает Генри.

– Ну хорошо, моя алая черточка.

Танцевать куда проще. Она выходит на площадку и танцует твист. Потом мэдисон. Потом мэшт-потейто, джерк и ватуси. Когда Фэй была подростком, каждые несколько недель в хит-параде лучших сорока композиций появлялись новые танцы, которые моментально обретали бешеную популярность. Манки. Дог. Локо-моушен. Песни и танцы идеально дополняют друг друга: в песне говорится, как нужно танцевать, а танец придает песне смысл. Когда Марвин Гэй спел “Автостоп”, она точно знала, что делать. Когда Джеки Ли спел “Утку”, Фэй научилась танцевать под эту песню раньше, чем увидела клип по телевизору.

Вот и сейчас она, глядя в пол, танцует утиный танец в голубом нарядном платье из шармёза: поднять левую ногу, потом правую, потом помахать руками и все повторить сначала. Такие теперь танцы. Их танцуют на всех выпускных, встречах выпускников и вечеринках в день святого Валентина: диджей ставит песню, в которой говорится, что нужно делать. В этом году безумно популярна новая песня группы *Archie Bell and the Drells* – “Подтягивайся”: сперва скользишь налево, потом направо. “Подтягивайся, пусть все видят”. Генри танцует где-то рядом, но Фэй не обращает на него внимания. Эти танцы исполняют в одиночку. Даже на кишасей людьми танцплощадке ты в одиночку танцуешь фредди, танец маленьких утят и твист. Все равно им не разрешают прикасаться друг к другу, вот они и танцуют по одному. Они танцуют так, как от них требуют наставники. Им велели танцевать так, а не иначе, а они и послушались, как примерные граждане, думает Фэй, наблюдая за одноклассниками. Они счастливы, всем довольны, эти будущие выпускники, они поддерживают авторитарную власть, их родители одобряют войну, у них дома цветные телевизоры. Когда Чабби Чекер поет: “Бери меня за руку и вперед”, он диктует ее поколению, как реагировать на все, что с ними происходит – на войну, призыв в армию, запрет секса, и велит им подчиниться.

В самом конце диджей объявляет, что успеет поставить еще одну

песню – “особенную”, как он говорит, – так что Фэй, Генри и все ребята медленно возвращаются на площадку: от твиста и шарканья устали ноги. Диджей ставит новую запись, Фэй слышит, как игла царапает пластинку, наконец попадает на дорожку, раздается треск, и потом начинается песня.

Сперва это даже не похоже на музыку – какой-то дикий первобытный визг и скрежет, струны нестройно гудят, звук грязный, – кажется, скрипка и какая-то чокнутая гитара по очереди повторяют один и тот же аккорд; медленно, монотонно стучат ударные, раздается эхо, и солист не поет, а бормочет. Фэй не может разобрать слов, не понимает, когда припев и как вообще танцевать под такой ритм. Какие-то жалобные сексуальные стоны, вот что это такое. Выплывает фраза: “Отхлещи девчонку в темноте”^[24]. О чем это вообще? Ребята вокруг двигаются под музыку так же вяло и лениво, как звучит сама песня. Покачиваясь, прикасаются друг к другу, обнимают за талию, прижимаются к партнеру. Фэй никогда еще не видела такого медленного танца. Она смотрит на Генри, который с перепугу совсем растерялся. Танцующие извиваются, точно гигантские черви. Откуда они знают, что делать? В песне об этом ничего не сказано. Фэй это нравится. Она обхватывает Генри рукой за шею и притягивает к себе. Они врезаются друг в друга. Генри каменеет от изумления, а Фэй вытягивает руки над головой, закрывает глаза, поднимает лицо к потолку и покачивается.

Наставники беспокоятся. Они не понимают, что происходит, но чувствуют, что что-то не то, и велят диджею выключить песню. Танцующие стонут и расходятся за столики.

– Что ты такое делала? – спрашивает Генри.

– Танцевала, – отвечает Фэй.

– Что это за танец? Как он называется?

– Никак. Никак он не называется. Просто танец и всё.

После бала Генри ведет Фэй в парк, тихий парк неподалеку от ее дома, неосвещенный, укромный, одно из немногих мест в городке, где можно побыть одним. Фэй этого ждала. Генри любит романтические жесты. Приглашает ее поужинать при свечах, покупает конфеты в коробках сердечками. Заявляется к ней домой с улыбкой от уха до уха, как на хэллоуинской тыкве, и дарит охапку лилий или ирисов. Оставляет на сиденье ее машины букеты роз. (Фэй, разумеется, умалчивает о том, что от жары розы вянут и умирают.) Генри понятия не имеет, какой цветок что обозначает, когда дарят красные розы, когда – белые, и чем лилия отличается от ириса. Этот язык ему незнаком. Он ухаживает за Фэй без выдумки – просто делает то же, что все мальчишки из школы: свечи,

шоколадки, цветы. Любовь для него – как воздушный шарик: чтобы не сдулся, нужно регулярно подкачивать. Вот он и дарит Фэй цветы. Приглашает на ужин. Время от времени сует в ее шкафчик анонимные записки с отпечатанными на машинке стихами:

Проще счесть все звезды в небе,
Чем любовь мою измерить.

– Ты получила мое стихотворение? – спрашивает он.

И Фэй отвечает: “Да, спасибо”, улыбается, потупив глаза, скрещивает ноги и надеется, что Генри не спросит: ну как, понравилось? Потому что его стихи ей еще ни разу не понравились. Как ей может нравиться такое, если она читает Уолта Уитмена, Роберта Фроста и Аллена Гинзберга? Да по сравнению с Гинзбергом Генри бездарь! Примитивный и глупый провинциальный простачок. Она понимает, что Генри хочется произвести на нее впечатление, понравиться ей, но чем больше она читает таких вот стихотворений, тем больше впадает в ступор, как будто мозги ее медленно засасывает в песок.

Когда ты не со мной,
Мне плохо так, хоть вой.
Ведь мне тебя не обнять
И хочется рыдать.

У Фэй не хватает духу его критиковать. Она кивает, отвечает: “Да, получила, спасибо”, и Генри корчит победную мину, самодовольно ухмыляется, а потом напускает на себя невозмутимый вид. Это так ее бесит, что хочется наговорить ему гадостей.

Что стихотворение получилось бы куда лучше, если бы в нем был размер.

Или если бы у Генри был словарь.

Или если бы он знал больше многосложных слов.

Она тут же досадует на себя за такие мысли: ну как так можно! Генри ведь милый, хороший парень. Благородный, великодушный. Добрый. Нежный. Все в один голос твердят: выходи за него.

– Фэй, – произносит Генри, когда они сидят на карусели. – У нас с тобой все так хорошо, я имею в виду наши отношения.

Фэй недоуменно кивает: о чем это он? Ну да, Генри частенько дарил ей цветы, стихи, покупал шоколадные конфеты, угощал ужинами, но он же никогда не делился с ней секретами. Ей кажется, что она ничего о нем не знает, – по крайней мере не больше, чем остальные: семья его живет на

ферме возле азотного завода, сам Генри мечтает стать ветеринаром, посредственный тайт-энд^[25] в школьной футбольной команде, третий бейсмен из запасного состава в школьной сборной по бейсболу, форвард на задней линии в школьной баскетбольной команде, по выходным рыбачит на Миссисипи и играет с собаками, на уроках сидит тихо, и она вечно подтягивает его по алгебре, – Фэй знает его анкету, но не тайны. Он никогда не рассказывает ей ничего важного. К примеру, не объясняет, почему, когда они целуются, он ведет себя не так, как обычно мальчишки, даже не пытается сделать то, что, если верить школьным сплетням, делают остальные. Ей не раз рассказывали о парнях, которые на все готовы, стоит им только позволить. Эти парни готовы идти до конца. Причем где угодно! На задних сиденьях машин, ночью на баскетбольной площадке, на земле, на траве, в грязи, в любом дрянном укромном уголке, куда удастся затащить девчонку, которая не откажет. А тех девушек, которые им это позволяют, поощряют, у кого нет постоянного парня, называют “шлюхами”, и это короткое слово, произнесенное шепотом, губит доброе имя. Самое быстрое слово. Глазом не успеешь моргнуть, облетит всю школу. Так что надо вести себя осторожно.

Фэй ждала, что Генри будет к ней приставать – попытается расстегнуть ремень, сунуть руку куда не надо, – а она станет сопротивляться, защищать свою честь, он попытается снова, настойчивее, лучше, она снова станет сопротивляться, чтобы наконец, поупрямившись и поотказываяв ему сколько положено, продемонстрировав, что она хорошая, честная, достойная девушка, а не какая-нибудь там доступная, не шлюха, – она наконец согласится. Она ждет этого, вот этого вот всего ритуала, но Генри только целует ее, прижимаясь лицом к ее лицу, и все. И так каждый раз. Вечерами они сидят вдвоем на берегу реки или в парке, слушают, как гудят на шоссе мотоциклы, как скрипят качели, Фэй ковыряет ржавчину на карусели и ждет. Но никогда ничего не происходило вплоть до сегодняшнего вечера, до вечера после выпускного бала, когда Генри вдруг заговорил так торжественно, словно выучил речь наизусть.

– Фэй, у нас с тобой все хорошо. Ты для меня очень много значишь. Я был бы счастлив, польщен и горд...

Он запинается, замолкает, нервничает, Фэй кивает и легонько касается его руки кончиками пальцев.

– Я хочу сказать, – продолжает он, – что был бы счастлив, горд и благодарен судьбе, если бы отныне ты в школу, ну, в общем, – Генри осекается, потом собирается с духом и договаривает: – Носила мой пиджак. И мое кольцо.

Он шумно и с облегчением выдыхает, выбившись из сил. Ему страшно поднять на нее глаза. Он глядит себе под ноги и нервно крутит на пальцах шнурки.

Фэй любит Генри в эту минуту: ей льстит его смущение и страх, та власть, которой она обладает над ним. Она говорит “да”. Ну конечно же, она соглашается. Поднявшись с карусели, чтобы пойти домой, они целуются. Совсем иначе, нежели раньше – дольше, нежнее: поцелуй со значением. Оба понимают, что переступили черту: все знают, что школьное кольцо – это только начало. За ним обычно следует помолвочное кольцо: теперь они официально пара, все это признают и одобряют. Если девушка носит кольцо своего парня, кому какая разница, чем они занимаются на заднем сиденье автомобиля? Кольцо ее защищает. Охраняет. Теперь никто не может ее оскорбить. Если девушка носит кольцо, значит, она не шлюха.

Генри, наверное, тоже чувствует, что теперь им можно делать что угодно, потому что крепче обнимает Фэй, страстно целует, прижимается к ней всем телом. Она ощущает, как ей в живот упирается что-то твердое и тупое. Разумеется, это Генри. У него под брюками встал. Генри дрожит, целует ее, а там у него тверже камня. Фэй удивляется: до чего у парней там может быть жестко. Как ручка от метлы! Ни о чем другом она сейчас думать не способна. Она по-прежнему целуется с Генри, но уже машинально: внимание ее приковано к этим квадратным сантиметрам, этой твердой штуке, которая самым непристойным образом упирается ей в живот. Фэй кажется, будто она через эту штуку чувствует, как у Генри бьется пульс. От волнения Фэй потеет и обнимает Генри крепче, чтобы дать ему понять: она не против. Он гладит ее по спине и постанывает, его бьет дрожь, он ждет от нее чего-то. Теперь ее очередь. Он откровенно дал понять, чего ему хочется, когда прижался к ней всем телом. Это переговоры. И теперь дело за ней.

Фэй решает действовать смело, закончить то, что начала во время последнего танца на выпускном. Одной рукой она оттягивает ремень его брюк, так чтобы туда можно было засунуть руку. Генри вздрагивает, напрягается, на мгновение замирает. Потом все происходит очень быстро. Фэй опускает руку ему в штаны, и Генри отпрыгивает. Она щупает его – долю секунды, не больше: он теплый, твердый, но мягкий и бархатистый, однако Фэй не успела толком это понять, потому что Генри отпрыгнул, отвернулся от нее и заорал:

– Ты чего?

– Ну, я...

– Не смей!

– Прости, Генри, я...

– Ну Фэй!

Он отворачивается, поправляет брюки, сует руки в карманы и отходит от нее. Меряет шагами детскую площадку. Фэй за ним наблюдает. Невероятно, как мгновенно окаменело его лицо.

– Генри, – окликает Фэй, надеясь, что он на нее посмотрит, но он не глядит на нее. – Ну прости.

– Ладно, – отвечает он и принимается ковырять носком песок, так что целиком зарывает ногу, потом вынимает и снова ковыряет песок, пачкая черные выходные туфли.

Фэй садится на карусель.

– Иди ко мне, – просит она.

– Я не хочу об этом говорить.

Он спокойный, тихий и скромный парень и наверняка от собственного крика перепугался не на шутку, вот и старается выбросить случившееся из головы.

– Все в порядке, – говорит Фэй.

– Нет, не в порядке, – отвечает Генри. Он стоит спиной к Фэй, понурился плечи и засунув руки в карманы. Он словно сжатый кулак: до того напрягся, замкнулся в себе. – Так нельзя.

– Как скажешь.

– Это неправильно, – продолжает Генри.

Фэй удивленно отковыривает хлопья ржавчины, слушает, как скрипит песок под его ногами, смотрит в спину Генри, который по-прежнему меряет шагами площадку, и наконец уточняет:

– Почему?

– Ты не можешь этого хотеть. Такие девушки, как ты, не должны этого хотеть.

– Какие еще такие?

– Такие.

– Что это значит?

– Ничего.

– Ну скажи.

– Забудь.

Генри замолчал. Уселся на карусель, замкнулся в себе, холодный, отстраненный. Скрестил руки на груди и уставился в темноту. Это он так наказывает Фэй. Она дрожит от ярости, чувствуя, как сводит живот, как к горлу подкатывает тошнота, как теснит в груди, как колотится сердце, как

волоски на загривке встают дыбом. Фэй прошибает пот, кружится голова, и она понимает: сейчас с ней случится припадок. Ее бросает в жар, звенит в ушах, накатывает слабость, и кажется, будто она парит над каруселью и смотрит вниз на страдания собственного тела. Видит ли Генри, что с ней творится? С Фэй вот-вот случится приступ, и она будет всхлипывать, задыхаться, дрожать. С ней это уже бывало.

– Отвези меня домой, – шепчет Фэй сквозь зубы.

Неизвестно, понял ли Генри, что происходит, но взглянул на нее и смягчился:

– Послушай, Фэй...

– Отвези меня домой сейчас же.

– Ну прости, я не должен был...

– Сейчас же.

Генри везет ее домой, и всю дорогу они молчат. Фэй сжимает кожаное сиденье, стараясь отогнать чувство, будто она умирает. Когда Генри останавливает машину перед ее домом, ей кажется, что она привидение и беззвучно улетает от него.

Мама Фэй сразу обо всем догадывается.

– У тебя приступ, – говорит она, и Фэй кивает, выпучив от страха глаза.

Мать отводит ее в комнату, раздевает, укладывает в постель, поит водой, кладет на лоб холодное полотенце, говорит тихонько и нежно, как умеют только мамы: “Все хорошо, все хорошо”. Фэй прижимает колени к груди, всхлипывает, хватая ртом воздух, а мама гладит ее по голове и шепчет: “Ты не умираешь, ты не умрешь”, как всегда говорила ей в детстве. Мама сидит с ней, пока Фэй не успокаивается. Наконец она снова может дышать.

– Только папе не говори, – просит Фэй.

Мама кивает.

– А если такое случится в Чикаго? Что ты будешь делать?

Мама сжимает ее ладонь и уходит за новым полотенцем. Фэй думает о Генри. “Теперь у нас есть секрет”, – ликует она.

3

Фэй не всегда страдала от этих приступов. Когда-то она была обычным ребенком: здоровым, общительным. Но однажды все переменялось.

Это случилось в тот день, когда она узнала о домовых.

1958 год, конец лета, барбекю, на западе гаснет багровый закат, летают комары, светлячки, дети играют в салки или наблюдают, как сгорает мошकारа в жуткой ловушке для насекомых, мужчины и женщины курят в

саду, пьют, опершись на столбы забора, а то и вовсе друг на друга, отец Фэй жарит на гриле сосиски и мясо для кучки соседей и коллег.

Придумала это его жена.

Потому что Фрэнк Андресен пользовался в городке странной славой: держался он холодно, всех сторонился, и его побаивались. Отчасти потому, что он был иностранцем, говорил с акцентом. Но в основном из-за того, что он всегда был сдержан, мрачен и замкнут. Соседи, завидев Фрэнка в саду за работой, спрашивали, как дела, а он в ответ молча махал рукой с таким видом, будто у него сломано ребро, но он об этом никому не говорит. Со временем от него отстали.

Жена настояла: надо позвать гостей, пусть люди тебя узнают, да и вообще – будет весело.

Вот и собрались на его заднем дворе все эти люди и болтали о какой-то спортивной команде, о которой Фрэнк понятия не имел, а потому стоял в сторонке и молча слушал. Он прожил в Штатах восемнадцать лет и все равно не понимал каких-то слов, в основном связанных со спортом. Он слушал, старался в нужные моменты правильно реагировать, поэтому отвлекся и сжег сосиски.

Фрэнк махнул Фэй, которая играла в салочки с двумя соседскими мальчишками, а когда она подошла, сказал:

– Иди в дом и принеси еще хот-догов.

Потом наклонился и прошептал:

– Снизу.

То бишь из бомбоубежища.

Безупречно чистое, ярко освещенное, полностью укомплектованное всем необходимым бомбоубежище, которое Фрэнк строил три лета. Работал он ночами, чтобы не увидели соседи. Уезжал и возвращался с полным багажником стройматериалов. Как-то ночью привез две тысячи гвоздей. Потом одиннадцать мешков цемента. У него была инструкция, в которой говорилось, что нужно делать. Он разливал цемент по пластмассовым формам: Фэй любила их трогать, потому что цемент был горячим, пока не затвердевал. Один-единственный раз, в самом начале работ, мама спросила его, к чему все это, зачем он строит бомбоубежище в подвале. Он впился в нее жуткими глубоко посаженными глазами и скроил такую мину – мол, не спрашивай. И ушел в машину.

Фэй сказала: да, папа, сейчас принесу, а когда он повернулся к ней спиной, подбежала к соседским мальчишкам и, поскольку ей было всего восемь лет и ей отчаянно хотелось им понравиться, выпалила: “Пошли, что покажу!” Разумеется, мальчишки согласились. Они втроем отправились в

дом и спустились в подвал. Отец вырыл в полу подвала яму, так что бомбоубежище казалось подводной лодкой, выплывшей на поверхность земли. Прямоугольная бетонная коробка с укрепленными арматурой стенами, которые устояли бы, даже если бы на них рухнул весь дом. Фэй открыла дверцу с висячим замком – кодом была дата ее рождения – спустилась на четыре ступеньки и включила свет. Казалось, в подвал каким-то чудом перенесли целый ряд из продуктового магазина: помещение заливал яркий флуоресцентный свет, а вдоль стен выстроились консервные банки. Мальчишки только рты открыли.

– Что это? – спросил один.

– Наше бомбоубежище.

– Ух ты.

На полках теснились картонные коробки, деревянные ящики, стеклянные банки с завинчивающимися крышками, жестяные банки с консервами, все этикетками наружу: помидоры, фасоль, сухое молоко. У входа высилась пирамида из пятнадцатилитровых бутылей с водой. Радиоприемники, двухъярусные кровати, кислородные баллоны, аккумуляторы, в углу – штабель коробок с кукурузными хлопьями, телевизор, шнур от которого уходил в стену. На стене – рычаг с надписью “ВОЗДУХОЗАБОРНИК”. Мальчишки изумленно озирались. Ткнули пальцем в запертый деревянный шкафчик с дверцей из матового стекла и спросили, что там.

– Ружья, – ответила Фэй.

– А ключ есть?

– Не-а.

– Жаль.

Вернувшись наверх, очумевшие мальчишки принялись наперебой делиться впечатлениями:

– Пап! – завопили они, выбежав на двор. – Пап! Знаешь, что у них в подвале? Бомбоубежище!

Фрэнк бросил на Фэй такой суровый взгляд, что она не выдержала и отвернулась.

– Бомбоубежище? – удивился один из отцов. – Seriously?

– Да какое там, – отмахнулся Фрэнк. – Так, обычная кладовка. Ну или винный погребок.

– Неправда! – воскликнул один из мальчишек. – Оно огромное! Бетонное! Там полно еды и ружей!

– Это правда?

– А мы построим бомбоубежище? – спросил другой мальчишка.

– Ты по проекту строил? – поинтересовался отец. – Или на глазок?
Фрэнк задумался, словно и не хотел отвечать на вопрос, но потом чуть смягчился, потупился и произнес:

– Я купил чертежи и сам все построил.

– Большое оно?

– Десять на четыре метра.

– И сколько народу туда помещается?

– Шесть человек.

– Отлично! Если русские сбросят на нас бомбу, мы знаем, куда идти.

– Смешно, – ответил Фрэнк.

Он стоял ко всем спиной и длинными металлическими щипцами переворачивал на гриле новую партию сосисок.

– Пойду принесу пива, – сказал один из отцов. – Слышали, дети? Мы все спасены.

– Ну уж нет, извини, – возразил Фрэнк.

– Перекантуемся там несколько недель. Как будто мы снова в армии.

– Не пойдет.

– Да ладно тебе. Неужели ты нас прогонишь?

– Мест нет.

– Там же шестеро поместятся. А вас только трое.

– Мы же не знаем, сколько придется там просидеть.

– Ты серьезно?

– Абсолютно.

– Да ты меня разыгрываешь. Ты же наспустишь, правда? Ну, в смысле, если и правда бомбой по нам бахнут. Ты наспустишь.

– Послушайте, – Фрэнк положил щипцы, обернулся и упер руки в боки. – Я пристрелю каждого, кто подойдет к этой двери. Поняли вы? Выстрелю прямо в голову.

Все умолкли. Фэй слышала лишь, как шипит на гриле мясо.

– Да ладно, чего ты, – сказал наконец отец одного из мальчишек. – Я же пошутил, Фрэнк. Успокойся.

Взял пиво и ушел в дом. А за ним Фэй и все остальные. Фрэнк остался во дворе один. В тот вечер она смотрела из темного окошка на втором этаже, как отец стоял во дворе над грилем, а мясо чернело и обугливалось.

Это воспоминание врезалось ей в память: таким отец, в сущности, и был – одинокий, злой, он сидел, ссутулясь и положив руки на стол, словно молился.

Он провел на улице весь вечер. Фэй уложили спать. Мама выкупала ее, подоткнула ей одеяло и налила стакан воды. Он всегда стоял на тумбочке:

вдруг ночью захочется пить. Низкий, широкий, с толстым дном, рассчитанный на взрослого. Жаркими летними вечерами Фэй любила обхватить его ладонями, чувствуя его прочность и тяжесть. Ей нравилось прижать стакан к щеке, ощутить его гладкость и прозрачную прохладу. Вот и сейчас она прижимала стакан к лицу, как вдруг раздался короткий негромкий стук, дверь медленно и плавно отворилась, и в комнату вошел отец.

– Я тебе кое-что принес, – сказал он, сунул руку в карман и выудил оттуда хрустальную статуэтку: морщинистого старика с белой бородой, который с довольным видом сидел, расставив ноги, над миской с овсянкой. В руке у него была деревянная ложка.

– Старинная вещь, – пояснил отец и протянул фигурку Фэй.

Она взяла ее, погладила, рассмотрела. Статуэтка была величиной с чайную чашечку, полая, хрупкая, тонкая, пожелтевшая от времени, – точь-в-точь худенький Санта-Клаус, только с другим выражением лица: Санта всегда казался веселым и оживленным, а этот старикашка – противным и злобным. Наверно, из-за глумливой ухмылки и из-за того, как настороженно обнимал тарелку с овсянкой – точно собака, которая охраняет свою миску.

– Что это? – спросила Фэй, и отец ответил: домовый, дух, который обычно живет в подвале.

Такие предания бытовали в Норвегии давным-давно, когда мир был полон чудес (так думала Фэй) и сверхъестественные существа обитали всюду – в воздухе, на море, в горах, в лесной глуши, в домах. Присмотрись – и увидишь духа: все могло оказаться чем-то другим. Лист, лошадь, камень. Мир нельзя было воспринимать буквально, нужно было докапываться до истины, которая скрывалась за видимостью правды.

– У вас на ферме тоже в подвале жил домовый? – спросила Фэй.

Отец просиял. Он всегда с удовольствием вспоминал о родине. Вечно хмурый, он улыбался лишь когда описывал те места: большой темно-красный деревянный дом в три этажа на краю городка, позади дома – море, длинный причал, с которого он рыбачил погожими деньками, поле перед домом в окружении сосен, сарайчик для коз, овец и лошади. Дом на верхнем краю света, говорил отец, в норвежском городке под названием Хаммерфест. Рассказывая об отчем доме, Фрэнк словно переносился туда.

– Да, – сказал он, – там тоже жили духи.

– Тебе бы хотелось сейчас там жить?

– Наверно, – ответил отец. – Там жили духи, но нестрашные.

Он объяснил, что домовые вовсе не злые, иногда даже добрые,

помогают на ферме, заботятся о посевах, расчесывают гривы лошадям. Людей домовые сторонятся; по четвергам им приносят сваренную на сливках овсянку со сливочным маслом, и если этого не сделать, домовые рассердятся. С людьми они не дружат, но и не донимают их: просто живут в свое удовольствие. Духи-эгоисты, в общем.

– И вот так они выглядят? – Фэй вертела в руке статуэтку.

– Они невидимки, – ответил Фрэнк. – И показываются человеку, только если сами захотят. Поэтому их видят нечасто.

– А как они называются по-настоящему? – спросила Фэй.

– Ниссе, – произнес Фрэнк. Фэй кивнула. Ей нравились странные названия, которые отец давал этим призракам: ниссе, нёкк, гангферд, драуг. Фэй понимала, что это все старинные европейские слова. Их иногда произносил отец – чаще случайно: они вырывались у него в минуты злости или волнения. Как-то раз он показал ей книгу, полную таких вот непонятных слов. Отец сказал, что это Библия. На титульном листе было нарисовано генеалогическое древо. Ее имя тоже там было, он показал: Фэй. И имена ее родителей, и над ними еще чьи-то имена, которые она отродясь не слыхала, странные имена со странными пометками. Бумага была тонкая, ломкая, желтая, черные чернила выцвели до бледно-лилового и голубого оттенка. Все эти люди, сказал отец, остались на родине, а Фритьоф Андресен изменил имя на Фрэнка и отважно перебрался в Америку.

– Как думаешь, а у нас тут живет ниссе? – спросила Фэй.

– Как знать, – ответил отец. – Иногда они тебя всю жизнь преследуют.

– Они добрые?

– По-всякому. Вспыльчивые, это точно. Их нельзя обижать.

– Я их никогда не обижу.

– Иногда это получается не нарочно.

– Как это?

– Ну вот, например, когда ты принимаешь ванну, вода проливается на пол?

Фэй подумала и согласилась: да, такое бывает.

– Так вот если ты пролила воду, нужно быстренько все вытереть. Иначе протечет в подвал и замочит ниссе. И тогда он очень обидится.

– И что?

– И разозлится.

– И что он сделает?

– А вот послушай, – ответил отец и рассказал ей историю.

Давным-давно на ферме неподалеку от Хаммерфеста жила красивая девочка, а звали ее Фрейя (тут Фэй улыбнулась оттого, что девочкино имя

так походило на ее). Как-то в четверг вечером отец велел Фрейе отнести ниссе овсянку, сваренную на сливках. Девочка послушно пошла выполнять, что сказал отец, но по пути в подвал вдруг сильно проголодалась. Мама ее в тот вечер сварила отличную освянку, с коричневым сахаром, корицей, изюмом и кусочками баранины. Фрейе было жалко отдавать домовому такую вкуснятину. Девочка спустилась в подвал, спряталась в укромный уголок, съела всю кашу сама, вылизала миску и допила, что осталось на доньшке. Не успела она вытереть подбородок, как на нее накинулся домовый и закружил в танце. Девочка пыталась вырваться, но хватка у ниссе была железная. Он прижал Фрейю к себе и запел: “Раз ты ниссе обокрала, так пляши, пока не упала!” Девочка кричала, звала на помощь, но домовый уткнул ее лицо себе в бороду, и ее мольбы никто не услышал. Домовый кружил Фрейю, скакал с ней по всему подвалу. Он двигался так проворно, что она за ним не поспевала, спотыкалась, падала, а ниссе снова ее поднимал, тянул за руки, рвал на ней одежду, пока Фрейя не рухнула замертво. Она побледнела, задыхалась, от платья ее остались одни кровавые лоскуты. Ее нашли утром: девочка была при смерти. Несколько долгих месяцев пролежала она в постели, но даже потом, когда Фрейя уже выздоровела, отец больше ни разу не попросил ее отнести ниссе овсянку.

– Прости меня за то, что я привела мальчишек в подвал, – сказала Фэй, когда отец закончил рассказ.

– Спи, – ответил он.

– Мне бы хотелось там побывать, – призналась Фэй. – На ферме в Хаммерфесте с темно-красным домом. Однажды я туда приеду.

– Нет, – возразил отец, и лицо у него при этом было такое же усталое и печальное, как когда он стоял один над гаснувшими угольями во дворе. – Ты никогда не увидишь тот дом.

Той ночью Фэй не сомкнула глаз. Несколько часов она не могла заснуть, прислушивалась к каждому шороху, к шелесту ветра: ей казалось, что это призраки или воры. Тени на стене от шевелившихся листьев складывались в страшные образы: грабители, волки, черти. Фэй была лихорадка, и, чтобы успокоиться, охладиться, девочка прижимала ко лбу и груди стоявший на тумбочке стакан воды. Она цедила воду и вспоминала историю, которую рассказал отец: “Иногда они тебя всю жизнь преследуют”. Фэй представляла, что внизу, в подвале, притаилось страшное существо, что-то невнятно бормочет и следит за ними: при мысли об этом ее охватывала жуть.

Она устала на пол, словно могла взглядом проникнуть в подвал, где рыщет домовый и жадно ее поджидает. Она опрокинула стакан, и вода пролилась на пол. Фэй увидела, что натворила, и перепугалась: на светло-коричневом коврике темнело пятно. Девочка представила, как холодная вода просачивается сквозь пол, сквозь трещины, клей и гвозди, стекает по листам железа и, собрав всю пыль и грязь, капает в подвал, прямо на злого духа, который прячется в темноте.

Глухой ночью Фэй обнаружили в подвале.

В предрассветный час родителей разбудил крик. Они нашли дочь внизу. Фэй так сильно тряслась, что билась головой о бетонный пол. Родители понятия не имели, как она там оказалась. Она не могла вымолвить ни слова, ничего не видела: лежала, закатив глаза под лоб. В больнице Фэй понемногу успокоилась. Доктора сказали, что девочка вообще нервная, у нее нервная дрожь, нечто вроде истерического невроза: все это значило лишь, что диагноза ей так и не поставили. Фэй велели соблюдать постельный режим, пить молоко и не волноваться.

Она ничего не помнила, но знала, что случилось. Фэй отлично все понимала. Она обидела домового, и тот ей отомстил. Он преследовал ее отца, перебрался за ним из родных краев, а теперь вот взялся за нее. В ту ночь ее жизнь разделилась на “до” и “после”. Из-за этого у Фэй начались приступы, из-за этого она стала тем, кем стала: плохой женой и матерью. И несчастье в Чикаго тоже приключилось из-за этого. Все это было неизбежно.

В жизни каждого человека случается травма, из-за которой прошлое разбивается на куски. У Фэй это было так.

4

Самый розовый кабинет в школе Фэй. Весь в оборочках и салфеточках. Самый светлый и чистый. Лучшее всех оборудованный: нигде больше нет

духовок, швейных машин, холодильников, стопок кастрюль и сковородок. И самый ароматный: когда девочки две недели подряд учились печь торты, в коридоре витал запах теплого шоколада. Кабинет домоводства, полный кухонной техники, залитый светом, с яркими химическими чистящими средствами, острыми ножами, банками супов, блестящими серебристыми алюминиевыми сковородками с длинной ручкой – посуда атомной эры. Фэй ни разу не видела здесь мальчишек: они сюда не заглядывают даже за кексами или вафлями. Мальчишки обходят этот кабинет стороной и говорят девчонкам с издевкой: “Да я твоюстряпню в рот не возьму!”, хватаются за горло, точно подавились, хрипят и умирают под взрывы хохота. Но на самом деле мальчишки боятся плакатов.

Они слышали о плакатах.

На розовых стенах висят плакаты: на них одинокие смущенные женщины рекламируют товары, существование которых мальчишки отвергают: спринцовки, прокладки, тальк, спреи с карболкой. Фэй сидит на мягком сиденье, скрестив руки на груди, понуриив плечи, и с тихим отвращением читает надписи на плакатах.

“К сожалению, сильнее всего у девушек пахнет не под мышками”, – сообщает плакат, на котором нарисована банка какого-то средства под названием “Пристин”. “Решает проблему неприятного запаха, которая мужчинам незнакома”, – написано на другом, “Бидетт Туалетт”. А вот женщина сидит одна в спальне, а над ней черным жирным шрифтом написано: “Каждый муж ждет этого от жены”. Или мать говорит дочери: “Теперь, когда ты замужем, я могу тебе рассказать. Самое страшное прегрешение женщины – вовсе не запах пота и не вонь изо рта”, а дочь, юная, прекрасная, со счастливым лицом, на котором читается надежда, отвечает, словно они обсуждают не антисептические бактерицидные средства, а кино или воспоминания: “Как я рада, мамочка, что мне об этом сказала именно ты!”

До чего же ужасен мир замужних женщин. Фэй представляет, как смердит из кухонной раковины, когда в ней застаивается вода, как от мокрых скомканных тряпок для мытья посуды несет чем-то похожим на бензин. Тайная, отравленная злобой семейная жизнь – нагая, влажная, без отдушки – в том, чтобы скрывать собственную вонь. Мужья выбегают из комнаты, женщины в отчаянии. “Почему она на весь вечер осталась одна? Ведь в доме у нее ни соринки, она хороша, как картинка, но она забыла о самом главном... об интимной гигиене”. Это реклама гигиенического средства под названием “Лизол”. Мама Фэй сроду ей об этом не говорила. Фэй боится заглядывать к ней в ванную, боится того, что может там

обнаружить. Бело-розовые бутылочки и коробки с жуткими названиями, которые похожи на те, что мальчишки проходят по химии: “Зонит”, “Коромекс”, “Стеризол”, “Котекс”. Все они звучат солидно, научно, современно, но на самом деле таких слов не существует. Фэй это знает. Она смотрела в словаре. Нет там никакого “Коромекса”, да и других тоже. Слова-воздушные шары, бесполезная пустая оболочка со всеми этими “-ксами”, “-золами” и “-итами”.

Плакат косметолога Кинни о том, что необходимо бороться с запахом пота. Плакат с рекламой косметики “Кавер гёрл” о том, как скрывать несовершенства. Еще один, про корсеты и бюстгалтеры с мягкими чашечками. Неудивительно, что мальчишки боятся. Девчонкам тоже страшно. “Регулярно пользуйтесь дезодорантом, чтобы стать для мужа женщиной мечты”. Учительница домоводства объявила войну всем видам бактерий и грязи и безжалостно их уничтожает, следит за тем, чтобы девочки были опрятными, приятно пахли и не выросли, как она выражается, “дешевыми грязнухами”. Свои уроки она зовет не домоводством, а котильоном.

Учительница, миссис Ольга Швингл, жена городского аптекаря, пытается научить этих девочек из маленького городка манерам и этикету. Она показывает им, как должны вести себя настоящие леди, прививает привычки, необходимые для того, чтобы стать частью далекого высшего света. Каждый вечер перед сном расчесывать волосы сотню раз. Делать щеткой пятьдесят движений вверх и вниз, когда чистишь зубы. Жевать каждый кусочек ровно тридцать четыре раза. Стоять прямо, не наклоняться, не сутулиться, смотреть собеседнику в глаза и улыбаться во время разговора. Слово “котильон” она произносит на французский манер: “котийо”.

– Мы вас отмоем от деревенской грязи! – повторяет миссис Швингл даже тем из девочек, которые живут не на ферме. – Мы привьем вам элегантность. – А потом она ставит пластинку с вальсом или камерной музыкой и говорит: – Ваше счастье, девочки, что у вас есть я.

Она учит девчонок тому, о чем их матери понятия не имеют. Какие бокалы подавать к вину, какие – к скотчу. Чем вилка для салата отличается от столовой. Как правильно расставлять посуду и раскладывать приборы. В какую сторону должно смотреть лезвие ножа. И что нельзя ставить локти на стол. Как садиться за стол и как вставать из-за стола. Как с достоинством принимать комплименты. Как садиться, когда мужчина пододвигает тебе стул. Как приготовить хороший кофе. Как его правильно подать. Как складывать куски сахара в прелестные пирамидки на хрупких

разрисованных фарфоровых блюдах, которых в доме у Фэй отродясь не водилось.

Миссис Швингл учит их, как устраивать званый ужин, какие угощения подавать, как поддерживать приятную беседу с гостями, как готовить изысканные кушанья, которые, по ее словам, сейчас делают все хозяйки Восточного побережья: в основном это блюда с желе и порезанным латуком, вычурные рецепты, где один продукт кладут в другой. Салат из креветок в кольцах авокадо. Ананас в лаймовом желе с крем-сыром. Кочанная капуста в студне из бульона. Половинки персиков с черникой. Половинки консервированных груш в тертом чеддере. Разрезанные вдоль ананасы с коктейлем. Мусс из оливок со стручковым перцем. Салат с курицей, выложенный в виде белых боеголовок. Порезанный квадратиками тунец. Башни из лосося, украшенные дольками лимона. Дынные шарики, завернутые в ломтики окорока.

Все это новые восхитительные блюда, которые подают культурные леди. Америка влюбилась в такие рецепты: современные, манящие, необычные.

Миссис Швингл бывала в Нью-Йорке. И на Золотом берегу в Чикаго. Она ездит делать прическу в Дубьюк, а когда не покупает одежду по каталогам розничных магазинов с Восточного побережья, ходит по бутикам Де-Мойна, Джолиета и Пеории. В прекрасную погоду она так театрально распахивает ставни в кабинете со словами: “Какой чудесный день!”, что Фэй кажется, будто за окном, словно в мультфильме, порхают нарисованные птички. Мисс Швингл говорит: наслаждайтесь легким ветерком и запахом сирени. “Смотрите, сирень цветет”. Они идут рвать цветы и расставляют их в вазочках по кабинету. “В доме леди всегда будут такие милые пустячки”.

Сегодня она начинает урок с обычной проповеди о замужестве.

– Когда я училась в колледже на дипломированного секретаря, – вещает она, вытянувшись в струнку у доски и сложив перед собой руки в замок, – я решила посещать занятия по химии и биологии. Все мои преподаватели недоумевали, зачем мне это нужно. К чему вся эта морока? Почему бы не налечь на машинопись?

Она смеется и качает головой, словно разговаривает с дураком.

– Я же придумала вот что, – продолжает она. – Я решила непременно выйти замуж за человека из медицинской области. А значит, мне нужно было расширять кругозор, чтобы понравиться человеку из медицинской области. Говори я лишь о машинописи и делопроизводстве, разве бы мной заинтересовался человек из медицинской области?

Она смотрит на девочек торжественно и проникновенно, словно сообщает им какую-то страшную взрослую тайну.

– Нет, – произносит миссис Швингл. – Вот вам и ответ. Нет. И когда мы с Гарольдом познакомились, я поняла, что правильно выбрала предметы.

Она расправляет платье.

– Вот что я хочу вам сказать: ставьте перед собой большие цели. Совсем необязательно выходить за фермера или водопроводчика. Возможно, выйти за человека из медицинской области, как это сделала я, у вас и не получится, но кто мешает вам выйти за человека из области бухгалтерии, юные леди? Или за коммерсанта, финансиста, банкира. Решите, за какого мужчину вы хотите выйти замуж, и устраивайте жизнь таким образом, чтобы добиться своего.

Она просит девочек задуматься о том, за кого они хотят выйти замуж. Я хочу, чтобы муж возил меня отдыхать в Акапулько, отвечают ученицы. Я хочу, чтобы он купил мне кабриолет. Я хочу выйти за начальника, чтобы не беспокоиться о том, что обо мне подумает начальник, потому что я за ним замужем! Миссис Швингл учит их мечтать о подобном. Можно ездить в круизы по Средиземному морю, говорит она, а можно рыбачить на Миссиссипи.

– Выбирать вам. Но если вы хотите жить лучше, придется потрудиться. Неужели вы думаете, что мужу будет интересно обсуждать с вами стенографию? – Девочки серьезно качают головами.

– Фэй, тебя это касается, как никого, – добавляет миссис Швингл. – В Чикаго полным-полно солидных мужчин с утонченным вкусом.

Фэй чувствует, что на нее смотрит весь класс, и сползает по стулу.

Потом они переходят к теме урока: туалеты. Где живут бактерии? (Везде.) Как нужно мыть унитаз? (Тщательно, с хлоркой и нашатырем, стоя на четвереньках.) Разбившись на группки по пять человек, они тренируются чистить унитаз. Фэй ждет своей очереди вместе с остальными девочками, которые глазеют из окна кабинета на занимающихся спортом мальчишек.

Сегодня у них бейсбол. Мальчишки с глухим стуком отбивают мяч на шорт-стопе, и тот прыгает по грязи: игроки бросаются на мяч, подбирают его и сильным ударом отправляют на первую базу. Наблюдать за этим одно удовольствие. Мальчишки, которые обычно расхаживают с равнодушным и надменным видом, на уроках выпендриваются, сидят развалясь, смотрят на всех вызывающе, сейчас носятся по полю, как щенки, энергично размахивают руками: Рвануть вперед. Остановиться. Поймать. Повернуться. Бросить.

Генри с ними. Для шорт-стопа он слишком неповоротлив, неуклюж, как дровосек, но очень старается. Бьет кулаком по рукавице, подбадривает криками друзей. Мальчишки знают, что девчонки наблюдают за ними во время урока. Они это знают, и им это нравится.

Фэй сидит на табурете у одной из кулинарных станций, облокотившись на темно-коричневую металлическую крышку плиты. Под ней – вековые слои кулинарных неудач: пригоревших томатных соусов и блинов, пережаренных яичниц и пудингов – настоящие ископаемые на конфорках, обугленные, черные. Эту старую сажу не вывести самыми мощными средствами их учительницы. Фэй приглаживает волосы, чувствуя, как огрубели кончики пальцев. Она смотрит на мальчишек. Смотрит, как девчонки глазают на мальчишек. Смотрит, к примеру, на Маргарет Швингл, дочку учительницы, белокурую, с белым пухлявым личиком, в дорогом шерстяном свитере, нейлоновых чулках, блестящих черных туфельках, с крутой завивкой, и на ее прилипал-подружек с одинаковыми серебряными колечками на пальцах: они ходят за нею хвостом, утром помогают Маргарет укладывать волосы, в столовой приносят ей кока-колу и шоколадки и распускают гадкие слухи про ее врагинь. Фэй с Маргарет не разговаривают с начальной школы. Они не ссорились: просто Фэй ее избегает. Фэй всю жизнь побаивается Маргарет и старается не встречаться с ней глазами. Она знает, что Швинглы богаты, что у них огромный дом на обрыве с видом на реку. Маргарет носит на шее перстень, которые подарил ей парень, и его же кольцо на правой руке. На левой у нее золотое кольцо обещания. (И все это на девушке, которая зевает, когда на занятиях по английскому обсуждают символизм.) Ее так называемый жених (то есть постоянный парень, с которым она встречается с девятого класса) – один из тех невыносимых, невозможных ребят – чемпионов во всем: и в бейсболе, и в футболе, и в легкой атлетике, в любых состязаниях. Прикалывает медали к школьному пиджаку, одалживает его Маргарет, и та расхаживает по школе, звеня, точно китайские колокольчики. Его зовут Джулз, и Маргарет отобрала у него все значки. Она невероятно им гордится. Вот и сейчас пялится на него из окна, пока он дожидается своей очереди на бейсбольной площадке. Остальных мальчишек – неуклюжих, всех, кто не Джулз, – Маргарет высмеивает.

– Ой, ну надо же! – ехидничает она, когда мяч юркает под рукавицей и улетает в дальнюю часть поля. – Ты ничего не пропустил? – Кучкующиеся возле Маргарет подружки смеются. – Он у тебя за спиной, приятель!

Она говорит достаточно громко, чтобы ее слышал весь кабинет, и при этом достаточно тихо, чтобы они не вмешались в разговор. В этом вся

Маргарет: вечно выпендривается, но держится особняком.

– В следующий раз шевелись поживее, парень! – комментирует она, когда бедняга Джон Новотны – грузный, с толстыми щиколотками, неповоротливый, как бегемот, среди проворных мальчишек, – не дотягивается до катящегося справа по полю мяча. – И зачем его только туда пустили? – не унимается Маргарет.

А когда приходит черед Паули Меллика – коротышки Паули Меллика, который ростом от силы полтора метра и весит всего килограмм пятьдесят, – она скандирует: “Давай, Лапша! Вперед!” – потому что у него тонкие руки. Она издевается над толстыми, тощими, низкорослыми. Она издевается над слабыми. “Хищница, – думает Фэй. – Волчица зубастая”.

Подходит очередь Генри. Девочки наблюдают, ждут, Маргарет тоже смотрит, и все они видят его: вот Генри, ударив кулаком по рукавице, наклоняется, подражая профессиональным игрокам. Фэй ловит себя на том, что волнуется за него. Она чувствует, что девчонкам хочется посмеяться, послушать ядовитые, жестокие насмешки Маргарет: они словно надеются, что Генри ошибется. Фэй остается лишь смотреть и болеть за него. Она оборачивается к Маргарет и замечает, что та на нее глазее. У Фэй екает сердце, она краснеет, широко раскрывает глаза: ей кажется, что она каким-то образом уже проиграла в этом непонятном столкновении. Холодный пристальный взгляд Маргарет недвусмысленно демонстрирует, кто здесь главный: она, Маргарет, может ляпнуть что ей угодно, и Фэй не посмеет возразить.

Тренер бьет по мячу. Все девочки уставились на Генри. Мяч скачет по грязному полю, Генри бросается влево, чтобы его поймать. Фэй злится. Не на Маргарет, а на Генри. На то, что он вот-вот опозорится у всех на виду, на то, что он поставил ее в такое дурацкое положение и теперь она вынуждена соперничать с Маргарет Швингл. На то, что ей хочется его защитить, что она чувствует ответственность за его недостатки, будто это ее вина. Он ковыляет вперевалку, как ребенок, едва научившийся ходить, и Фэй его ненавидит. Она посетила немало свадеб и запомнила самую главную строчку церемонии венчания: “И будут два одною плотью”^[26]. Считается, что это очень романтично, Фэй же эти слова всегда раздражали. И в эту минуту она понимает почему. Потому что все твои ошибки умножаются вдвое.

Но сейчас речь о Генри. Он бежит за мячом.

И кто бы мог подумать: у него получается безупречно. Ловит мяч, встает в позу, стремительным и точным броском отправляет его прямоком на первую базу. Идеально. Вот как надо принимать катящийся по полю

мяч. Тренер аплодирует, мальчишки хлопают в ладоши, и Маргарет не говорит ни слова.

Вот-вот подойдет их очередь мыть унитаз. Фэй сидит на кафельном полу. Ей тошно. Да, обошлось без стычек, но Фэй была готова дать Маргарет отпор, и напряжение никак не отпускает. Она словно большой обнаженный нерв. Ее всю трясет. Фэй так настроилась на скандал, что теперь ей кажется, будто она и правда поскандалила с Маргарет. И то, что та сидит рядом с ней, в соседней кабинке, ничуть не спасает. Фэй чувствует ее присутствие, точно жар от печи.

На стоящем перед ней белым-белехоньком унитазе нет ни единого пятнышка, он блестит чистотой и пахнет хлоркой: девочки из класса только что отмыли его на славу. За спиной расхаживает учительница, рассказывая об опасностях, которые таит в себе грязный унитаз: чесотка, сальмонелла, гонорея, многочисленные микробы.

– Не бывает слишком чистых унитазов, – говорит миссис Швингл и протягивает девочкам новые щетки. Ученицы садятся на корточки (а кто-то и на пол) и моют чашу унитаза, шуруют в воде, взбивая пену. Чистят, дезинфицируют, споласкивают.

– Не забудьте про ручку, – напоминает миссис Швингл. – Иногда она пачкается больше всего.

Учительница показывает, сколько нужно хлорки и как удобнее засунуть пальцы под ободок унитаза. Объясняет, как заботиться о здоровье детей, которые непременно у них рождаются, втолковывает, что если туалет будет чистый, то и простужаться малыши перестанут, рассказывает, что нужно делать, чтобы унитазные микробы не заразили весь дом.

– Когда вы спускаете воду в унитазе, микробы поднимаются в воздух, – вещает она. – Поэтому, когда смываете за собой, закройте крышку и отойдите.

Фэй сосредоточенно драит унитаз, как вдруг из соседней кабинки доносится голос Маргарет.

– Он симпатичный, – говорит она. – Хорошо сыграл.

Фэй недоумевает: с кем она разговаривает? Не может же быть, чтобы Маргарет обращалась к ней! Фэй ничего не отвечает и продолжает тереть унитаз.

– Ку-ку, – Маргарет легонько стучит по стенке кабинки. – Есть кто дома?

– А? Что? – откликается Фэй.

– Ку-ку.

– Ты мне?

– Тебе, кому же еще? Маргарет просовывает голову под стенкой кабинки: она так наклонилась, что почти перевернулась, и крупные белокурые кудри ее забавно свешиваются.

– Я говорила, – произносит она, – что он симпатичный.

– Кто?

– Генри. Кто же еще.

– Ах да, точно, извини.

– Я же видела, как ты на него смотришь. Тебе, наверно, тоже понравилось, как он сыграл.

– Да-да, – соглашается Фэй. – Конечно. Я как раз об этом и думала.

Маргарет смотрит на цепочку на шее Фэй, на которой она носит перстень Генри. Крупный, с опалом.

– Ты наденешь это кольцо на левую руку? – спрашивает Маргарет.

– Не знаю.

– Если бы у вас все было серьезно, ты носила бы его на левой руке. А он бы дал тебе еще одно кольцо, как Джулз. И тогда ты могла бы носить одно на шее, другое на левой руке.

– Точно.

– У нас с Джулзом все очень серьезно.

Фэй кивает.

– Мы скоро поженимся. У него большие перспективы.

Фэй снова кивает.

– Очень большие.

Учительница замечает, что они болтают, подходит к девочкам и, уперев руки в бока, спрашивает:

– Маргарет, почему ты не чистишь унитаз?

Маргарет бросает на Фэй заговорщический взгляд – мол, не выдай, это наш с тобой секрет, – и скрывается за стенкой кабинки.

– Я его мысленно чищу, мам, – отвечает она. – Представляю, как я его чищу. Я так лучше запоминаю.

– Если бы ты на уроках была так же прилежна, как Фэй, ты бы тоже скоро поехала в большой город.

– Прости, мам.

– Запомните, – миссис Швингл повышает голос, обращаясь ко всем ученицам, – муж надеется, что вы будете поддерживать в доме чистоту и порядок.

Фэй вспоминает плакаты на стенах кабинета домоводства, всех этих требовательных мужей в шляпах и пальто, которые убегают из дома, если жена не выполняет женских обязанностей, мужей из рекламы по

телевизору и в журналах: муж с рекламы кофе, который ждет, что ты сварешь кофейник бодрящего напитка для его начальника, или муж с рекламы сигарет, который хочет, чтобы его жена была изысканной и модной, или муж с рекламы лифчиков “Мейденформ”, которому нравятся женственные фигуры. Фэй кажется, что этот мифический *муж* – самое требовательное и привередливое существо в истории человечества. Откуда он родом? Как мальчишки на бейсбольном поле – растяпы, клоуны, неуклюжие, как цыплята, неуверенные в себе, влюбленные придурки – превращаются в таких вот *мужей*?

Наконец девочек отпускают. Они возвращаются в кабинет домоводства и зовут следующую группу. Рассаживаются за парты и от скуки глазят в окно. Мальчишки по-прежнему играют в бейсбол: некоторые перемазались в грязи, найдя повод спикировать на поле и проехаться по нему на спине или животе. Джулз впереди всех – не парень, а гладиатор со слащавым лицом.

– Давай, любимый! Вперед! – подбадривает Маргарет, хотя он ее не слышит.

Ее восторги предназначены для одноклассниц, чтобы те посмотрели на Джулза. К нему по земле катится мяч, и Джулз бросается на него, проворно и легко бежит за ним, не оскальзывается в грязи, как прочие парни, шаги его так уверенны и быстры, словно он ходит по какой-то другой, более осязаемой земле. Он играючи добегают до нужной точки и занимает позицию перед мячом: у него еще масса времени, можно расслабиться. Мяч скачет к его рукавице, как вдруг – то ли наткнувшись на камешек, то ли угодив в ямку – подпрыгивает, взлетает и попадает Джулзу прямо в горло.

Тот падает на землю и дрыгает ногами.

Девочки в кабинете домоводства покатываются со смеху. Одни тихонько хихикают, другие хохочут. Маргарет оборачивается к ним и рявкает:

– Заткнитесь!

Ей сейчас так больно. Так стыдно. Она похожа на женщин с плакатов, от которых уходят мужья: перепуганных, оскорбленных, отвергнутых. На тех, кому ни за что ни про что вынесли суровый приговор. Вот такое сейчас выражение лица у Маргарет. Фэй хочется взять смущение и обиду Маргарет и закупорить в бутылочке, как дезодорант. В пульверизаторе, как бактерицидный спрей. И раздавать женам по всей стране. Опрыскивать женихов в день свадьбы. Сбрасывать с крыши школы, как бомбы с напалмом, на бейсбольную площадку.

Тогда, быть может, парни поймут, каково приходится девушкам.

5

После уроков Фэй сидит одна возле школы с книжкой на коленях, привалившись спиной к теплой шершавой стене, и сквозь стену слушает, как разыгрываются музыканты: вот играет восходящую гамму трубоч, взлетает к оглушительным, самым высоким нотам; вот тоненько звенят самые маленькие брусочки ксилофона; вот гулко пукает тромбон, как только он и умеет. Должно быть, у ребят из школьного оркестра сейчас перерыв, вот они и дурачатся между пьесами, а Фэй ждет и читает книгу. В руках у нее тоненький сборник стихотворений Аллена Гинзберга: она в сотый раз перечитывает “Сутру подсолнуха”, и с каждым разом ей все больше кажется, что это о ней. Нет, ну не в прямом смысле, конечно же. Она знает, что стихотворение о том, как Гинзберг сидит в горах Беркли и в унынии смотрит на воду. Но чем чаще Фэй перечитывает это стихотворение, тем сильнее в него вживается. Гинзберг пишет об “узловатых железных корнях машин”^[27] так, словно описывает завод “Кемстар”. “Покрытая нефтью река” – чем не Миссисипи? А поле подсолнухов – точь-в-точь распростертое перед ней кукурузное поле в Айове, отделенное от школы хлипким забором из колючей проволоки: поле недавно вспахали и засеяли, и теперь оно похоже на волнистое одеяло черной, влажной, скользкой земли. Когда осенью в школе начнутся занятия, в поле замаячат крепкие прямые стебли с початками кукурузы, потом их срубят, подрежут почти под самый корень, и они бессильно рухнут на землю. Фэй ждет, когда оркестр заиграет, и думает об этом, об уборке урожая, о том, что в пору жатвы ей всегда отчего-то грустно, что посевные поля в ноябре похожи на поля битв, на которых белеют костяные обрубки растений, и острые кукурузные стебли торчат из земли, точно полузарытые мослы. Потом к Айове подступает очередная холодная зима – снежной позднеосенней пылью, первым ноябрьским морозцем, – и к январю здешние края напоминают пустынную тундру. Фэй гадает, какой выдастся зима в Чикаго, и ей кажется, что там будет лучше, теплее от уличного движения, бетона, электричества, разгоряченных человеческих тел.

Сквозь стену Фэй слышит пронзительный птичий крик дудки и улыбается этому звуку, своим воспоминаниям. Она ведь тоже когда-то играла в школьном оркестре, в группе деревянных духовых, и ее инструмент так же каркал. И это она тоже забросила после того, как начались панические атаки.

“Паническими атаками” их называли доктора, но Фэй это название

казалось неточным. Она вовсе не паниковала – скорее ей казалось, будто в ней насильно и методично отключают чувство за чувством. Словно один за другим гасят стену телевизоров, и на каждом экране изображение сперва сжимается до булавоочной головки, а потом исчезает. Вот так и у нее с началом атаки сужалось зрение, и она могла разглядеть и сосредоточиться на каком-нибудь крошечном предмете, точке в широком поле: обычно это были ее туфли.

Сперва такое происходило лишь когда Фэй вызывала недовольство отца: она в чем-нибудь провинилась (например, отвела мальчишек в бомбоубежище), и он на нее рассердился. Но позже атаки стали случаться и в те минуты, когда, казалось Фэй, она могла бы его разозлить, – например, ошибиться у него на глазах (даже если этого еще не произошло).

Взять хотя бы концерт.

Фэй записалась в школьный оркестр после того, как послушала прекрасную симфоническую сказку “Петя и волк”. Ей хотелось играть на скрипке или на виолончели, но свободные места остались только в группе деревянных духовых. Фэй вручили гобой – тусклый, черный, кое-где потертый; некогда серебряные клапаны побурели, а вдоль всей трубки тянулась глубокая царапина. В неумелых руках Фэй гобой хрюкал и пронзительно клекотал, она то и дело пропускала ноты, мизинцы соскальзывали с клапанов, потому что она пока не научилась перебирать ими отдельно от прочих пальцев. Но ей нравилось. Нравилось, что в начале репетиции гобой тянет ноту, по которой все настраиваются. Ей нравилась эта неизменность, уверенное ля первой октавы, которое она выдувала и которое вело за собой остальные инструменты. Ей нравилась строгая поза, которую следовало принять для игры: сесть прямо, согнуть руки в локтях, гобой держать перед собой. Ей нравились даже репетиции. Дух товарищества. То, что все стараются ради общей цели. Ощущение, что ты занимаешься высоким искусством. Волшебные звуки, которые рождали музыканты.

На первом концерте каждый оркестрант должен был исполнить небольшое соло. Фэй репетировала несколько месяцев, пока не выучила партию наизусть: теперь она сумела бы сыграть, не глядя в ноты. Наконец настал вечер концерта. Нарядно одетая Фэй посмотрела в зал, увидела маму, та помахала ей рукой, и отца: он читал программку. Он так сосредоточенно вглядывался в нее, так мрачно ее изучал, что Фэй испугалась.

“А что если я провалюсь?” – вдруг подумала она.

Раньше ей такое в голову не приходило. Волшебная сила,

переполнявшая ее во время репетиций, вдруг улетучилась. Фэй не могла избавиться от мыслей, отрешиться от всего, как на репетициях. У нее взмокли ладошки и похолодели пальцы. К антракту разболелась голова, живот, под мышками проступили темные полукружья пота. Ей ужасно захотелось писать, но, очутившись в туалете, она не смогла заставить себя помочиться. Во время второго отделения концерта у Фэй закружилась голова, стеснило грудь. Когда дирижер указал палочкой на нее, чтобы Фэй вступила с сольной партией, она не смогла играть. У нее перехватило дыхание. Ей удалось выдавить из себя лишь тихий крик, короткий беспомощный хрип. Все взгляды обратились на нее. Все зрители повернулись к Фэй. Она слышала музыку, но как будто издалека, из-под воды. Казалось, свет в зале потух. Фэй взглянула на свои туфли и упала со стула. Она потеряла сознание.

Доктора заверили, что Фэй ничем не больна.

– С медицинской точки зрения она совершенно здорова, – тут же пояснили они.

Ее заставили подышать в коричневый бумажный пакет и поставили диагноз “хронический невроз”. Отец смотрел на Фэй с обидой и недоумением.

– Зачем ты это сделала? – спросил он. – На глазах у всего города!

От этих слов Фэй снова разнервничалась: к отцовской досаде на ее паническую атаку прибавился страх еще раз упасть при нем в обморок.

Потом панические атаки стали приключаться с ней и в тех случаях, когда отец был ни при чем, буквально на ровном месте. Например, во время обычного спокойного разговора ей вдруг ни с того ни с сего приходила пагубная мысль: “Что если я провалюсь?”

И легкомысленная чушь, которую только что несла Фэй, вдруг разрасталась до масштабов катастрофы: что если она выглядит полной дурой, бесчувственной, тупой занудой? Разговор превращался в жуткий экзамен, срезаться на котором проще простого. Ее охватывало отчаяние, к которому добавлялись все симптомы реакции организма на стресс: у Фэй начинала болела голова, ее знобило, бросало в жар и пот, она часто дышала, волосы вставали дыбом, – и от этого ей становилось только хуже, потому что страшнее панической атаки может быть лишь одно – если кто-то эту паническую атаку увидит.

Паническая атака накрывала Фэй, когда она терпела неудачу или чувствовала, что вот-вот опозорится при всех. Не всегда, конечно, но время от времени точно. Достаточно часто, чтобы Фэй выработала защитную реакцию: она стала человеком, который никогда не ошибается.

У которого все и всегда получается.

Все просто: чем сильнее Фэй боялась, тем идеальнее казалась. Ее невозможно было критиковать: она была безупречна. Фэй со всеми ладила, поскольку вела себя в точности так, как от нее хотели. Все контрольные писала на отлично. Выигрывала все награды за учебу, которые только были в школе. Если учитель задавал прочесть главу из книги, Фэй шла дальше и читала всю книгу. А потом все книги этого писателя, которые находились в городской библиотеке. Не было такого предмета, по которому она не преуспевала. Она была примерной ученицей, примерной гражданкой, ходила в церковь, занималась благотворительностью. Все твердили, что у нее есть голова на плечах. Она легко располагала к себе людей, всем нравилась, была прекрасным собеседником, умела слушать, никогда не критиковала и не спрашивала лишнего. Она всегда улыбалась, кивала и со всем соглашалась. Невозможно было ее не любить, до того она была славная: уступчивая, послушная, скромная, покладистая, уживчивая. Ее личина не имела острых граней, которые могли ранить. Все считали Фэй очень милой. Учителя ценили успехи и таланты Фэй, которая на уроках тихонько сидела в конце класса. На совещаниях они в один голос ее хвалили, отдельно отмечая поведение и прилежание.

Фэй знала, что все это лишь игра. Что она притворяется, а на деле – самая обычная девушка. Дело не в том, что она способнее прочих: она просто-напросто больше старается, думала Фэй, и стоит ей всего лишь раз ошибиться, как весь мир увидит ее истинное лицо. Поэтому она никогда не ошибалась. Ей казалось, что пропасть между подлинной Фэй и притворной Фэй ширилась с каждым днем: так корабль отходит от причала, и дом медленно скрывается из виду.

Разумеется, за это приходилось платить.

У всех событий есть обратная сторона: тот, кто никогда ни в чем не ошибается, никогда не пробует того, в чем может ошибиться. Никогда не рискует. Тем, у кого все получается, чаще всего недостает храбрости. Так Фэй бросила музыку. О занятиях спортом не могло быть и речи. И, разумеется, никаких театральных кружков. Она отказывалась почти от всех приглашений на вечеринки, встречи, сборища, пикники у реки, ночные посиделки с пивом у костра на чьем-нибудь заднем дворе. Поэтому близких друзей у нее, считай, и не было.

Поступление в университет стало первой на ее памяти авантюрой. Потом был откровенный танец на выпускном. Потом она приставала к Генри на детской площадке. Она рисковала. И была за это наказана. Горожане обиделись на нее, Генри ее пристыдил – вот расплата за

дерзость.

Но что изменилось? Что вселило в нее смелость? Строчка из стихотворения Гинзберга о подсолнухах, которая была написана как будто про нее, пощечина, приведшая Фэй в сознание. Именно так себя и чувствовала Фэй, даже когда сама еще этого не сознавала: “Бедный мертвый цветок! Когда позабыл ты, что ты цветок?”

Когда она позабыла, что способна на дерзкие поступки? Когда она позабыла, что дерзость кипит в ней ключом? Она переворачивает книгу и снова смотрит на фото поэта на задней обложке. Молодой краснощекий щеголь с чуть взъерошенными короткими волосами, чисто выбритый, в мешковатой белой рубашке, заправленной в брюки, и круглых очках в черепаховой оправе, как у Фэй. Поэт стоит на какой-то нью-йоркской крыше: позади него антенны, а за ними маячат в дымке небоскребы.

Едва Фэй узнала, что в будущем году Гинзберг прочитает в университете курс лекций, как тут же подала документы.

Она прислоняется к кирпичной стене. Как она поведет себя в его присутствии, как будет общаться с таким талантливым человеком? Фэй боится, что разнервничается у него на занятии. Что ее прямо на лекции настигнет паническая атака. И она, точно цветок в стихотворении, превратится в “несвятую побитую вещь”.

Но вот оркестр возвращается.

Музыканты собираются, Фэй слышит, как они разыгрываются. Она слушает какофонию. Чувствует ее спиной сквозь стену. Поворачивает голову, чтобы прижаться щекой к теплым кирпичам, и замечает в дальнем конце здания какое-то движение. Кто-то только что повернул за угол. Какая-то девушка. Голубой хлопковый свитер, затейливая укладка. Фэй видит, что это Маргарет Швингл. Та лезет в сумочку, достает сигарету, прикуривает и с тихим вздохом выпускает струйку дыма. Она еще не заметила Фэй, но вот-вот непременно заметит, а Фэй не хочет, чтобы ее застали с этой книжкой. Она медленно, чтобы не задеть окружающие кусты, прячет сборник Гинзберга в сумку, а вместо него достает первый попавшийся под руку учебник: это оказывается “Становление американской нации”, пособие по истории. На одноцветной бирюзовой обложке – бронзовый бюст Томаса Джефферсона, так что, когда Маргарет наконец ее замечает, подходит и спрашивает: “Что делаешь?”, Фэй отвечает: “Уроки учу”.

– А...

Маргарет ничуть не удивляется: все знают, что Фэй трудолюбивая, прилежная ученица, вдобавок с мозгами, вот ей и назначили стипендию. А

Фэй не приходится объяснять, чем она занимается на самом деле (читает сомнительные стихи и вспоминает, как играла на гобое).

– А по какому?

– По истории.

– Фу, скука.

– И правда, – соглашается Фэй, хотя на самом деле история ей нравится.

– Тут вообще скучно, – не унимается Маргарет. – В школе скучно.

– До ужаса, – поддакивает Фэй, опасаясь, что Маргарет ей не поверит. Потому что Фэй любит школу. Точнее, ей нравится быть отличницей.

– Жду не дождусь, когда уже ее закончу, – продолжает Маргарет. – Так надоело все.

– И мне, – отвечает Фэй. – Ну да уже немного осталось.

На самом деле она ужасно боится, что учебный год вот-вот закончится. Ей нравится, что в школе все ясно и просто: здесь ты знаешь, к чему стремиться, чего ждать, и если усердно заниматься и сдавать экзамены на отлично, все тебя будут хвалить. Во взрослой жизни все по-другому.

– Ты здесь часто читаешь? – спрашивает Маргарет. – За школой?

– Иногда.

Маргарет задумчиво смотрит на черное кукурузное поле и покуривает сигарету. Фэй безучастно глазеет перед собой и притворяется равнодушной.

– Я всегда знала, что я лучше других, – наконец признается Маргарет. – Я росла талантливым ребенком. Все меня любили.

Фэй кивает – то ли в знак согласия, то ли чтобы показать, что слушает.

– И я знала, что, когда стану взрослой, тоже буду лучше всех. Я всегда это знала.

– Угу.

– Раз в детстве я была лучше всех, значит, вырасту и тоже буду лучше всех.

– Так и есть, – откликается Фэй.

– Спасибо. Я вырасту лучшей в мире женщиной, выйду замуж за лучшего в мире мужчину, и у нас будут гениальные дети. Понимаешь? Я всегда верила, что так и будет. Что это моя судьба. Что жизнь моя будет благополучной. Самой лучшей.

– Так и будет, – отвечает Фэй. – Все сбудется.

– Ну да, пожалуй, – Маргарет тушит окурок о землю. – Но теперь я не знаю, чего хочу. В жизни.

– Я тоже, – признается Фэй.

– Правда? Ты тоже?

– Ага. Понятия не имею.

– Ты же вроде собралась в университет.

– Ну да. А может, и нет. Мама не хочет, чтобы я уезжала. И Генри тоже.

– Ах вот оно что, – говорит Маргарет. – Понятно.

– Так что я, может, отложу поступление на год-другой. Подожду, пока все успокоится.

– Что ж, разумно.

– В общем, может, я пока никуда не поеду.

– А вот я не знаю, чего хочу, – произносит Маргарет. – Наверно, я хочу

Джулза...

– Конечно.

– Джулз замечательный. Нет, он правда замечательный.

– Он замечательный.

– Правда?

– Еще бы!

– Спасибо, – Маргарет встает, отряхивается от пыли и смотрит на Фэй. – Ты уж извини, что я несу всякую чушь.

– Да ладно тебе, – отвечает Фэй.

– Только не говори никому.

– Не скажу.

– Потому что другие не поймут.

– Я никому ничего не скажу.

Маргарет кивает, собирается уходить, но вдруг останавливается и оборачивается к Фэй.

– Придешь в эти выходные?

– Куда?

– Ко мне в гости, куда же еще. Приходи к нам на ужин.

– К тебе в гости?

– В субботу вечером. У папы день рождения, хотим устроить ему сюрприз. Приходи!

– Я?

– Ну да. Если ты решила, что после окончания школы останешься в городе, почему бы нам не подружиться?

– Да, конечно, – соглашается Фэй. – Конечно. Супер.

– Вот и отлично! – говорит Маргарет. – Только не говори никому. Это сюрприз.

Она улыбается, с важным видом уходит прочь и скрывается за углом.

Фэй снова прислоняется к стене и слышит, что оркестр уже всюю

играет. А она и не заметила. Мощный поток звука, мощное крещендо. Фэй не может опомниться оттого, что Маргарет пригласила ее в гости. Это победа. И потрясение. Фэй слушает музыку, и ее обуревают восторг. Она замечает, что физически ощущает доносящуюся из-за стены приглушенную мелодию, и даже если не все слышит, все равно чувствует вибрацию: звук прокатывается по ней волной. Гудение. Если прижаться щекой к стене, воспринимаешь музыку иначе: не слухом, а несколькими чувствами сразу. Подмечаешь все движения музыкантов, чувствуешь, как они то бьют, то плавно перебирают струны, прикасаются к дереву, к коже. Особенно к концу пьесы. Когда ощущаешь громкие ноты. Они словно обретают плоть, дрожат, дотрагиваются до Фэй. В горле у нее стоит комок, музыка бьется в ней, стучит внутри. Шумит в ушах.

И это Фэй тоже нравится: как легко ее растрогать – людям, музыке, жизни, – как живо они удивляют, ошеломляют, точно удар.

6

Иногда весна наступает разом: деревья цветут, в жидкой после дождей грязи на кукурузных полях пробиваются первые зеленые ростки, природа обновляется, все начинается заново. А для некоторых учениц выпускного класса настает пора надежд и оптимизма: приближается вручение аттестатов, и девушки – те, у кого есть постоянные парни, кто спит и видит свадьбу, садик перед домом и малышей, – заводят разговоры о родственных душах, о том, что они чувствуют: так и должно быть, это рука судьбы, это неотвратимо, они это знают. Глаза их туманит нежность, сердце бьется чаще. Фэй жаль то их, то себя. Похоже, в ее жизни не хватает романтики. Любовь – дело случая, думает Фэй. Счастлирое совпадение. Бывает так, а бывает и этак. Не в одного влюбишься, так в другого.

Вот хотя бы Генри.

Почему из всех парней она выбрала именно его?

Как-то ночью они вдвоем сидят на берегу реки, бросают в воду камешки, перебирают песок, нервничают, натужно шутят, болтают, и все это время Фэй думает: “Почему я здесь с ним?”

Все очень просто. Потому что прошлой осенью Пегги Уотсон пустила дурацкий слух.

Как-то раз после урока домоводства Пегги вприпрыжку подбежала к Фэй, загадочно улыбнулась и сообщила театрально:

– Я знаю один секрет.

А потом томила Фэй до конца дня. На тригонометрии сунула записку: “Я знаю кое-что, чего не знаешь ты”.

– Приятный секрет, – сказала она за обедом. – Очень интересный. Ого-го какой. Закачаешься.

– Ну так расскажи.

– Потом, – ответила Пегги. – После уроков. И лучше сядь.

С Пегги Уотсон они дружили с третьего класса. Она жила на той же улице, что и Фэй, они вместе ездили из школы на автобусе – в общем, с натяжкой ее можно было назвать “лучшей подругой”. В детстве они брали из коробки все карандаши и исписывали блокноты словами “Я тебя люблю” – разными цветами, почерками, со всевозможными рисунками. Придумала это Пегги. Ей никогда не надоедало, она могла играть так часами. Больше всего она любила нарисовать сердечко, а вокруг него написать “я тебя люблю”.

– Круг без начала и конца, – поясняла она. – Понимаешь? Чтобы любовь продолжалась вечно!

В тот день после школы Пегги, не помня себя от восторга, сообщила Фэй важную новость:

– Ты нравишься одному парню!

– Неправда, – ответила Фэй.

– Правда. Я это точно знаю. Из надежного источника.

– И кто тебе это сказал?

– Я поклялась молчать, – сказала Пегги. – Обещала держать рот на замке.

– И кто же этот парень?

– Он из нашего класса.

– Кто?

– Угадай!

– Не собираюсь я ничего угадывать.

– Ну давай!

– Говори уже.

На самом деле Фэй это вовсе не интересовало. Даже связываться не хотелось: зачем ей лишнее беспокойство? Она привыкла быть одна, держалась особняком, и ее это совершенно устраивало. Лишь бы ее не трогали.

– Ну ладно, – смилостивилась Пегги. – Хорошо. Не хочешь гадать, не надо. Я тебе все скажу. Готова?

– Готова, – ответила Фэй и замолчала.

Пегги тоже молчала, наслаждаясь моментом, и лукаво смотрела на Фэй, которая терпеливо переживала эту затянувшуюся театральную паузу, но в конце концов не выдержала и прикрикнула:

– Да говори ты уже!

– Ладно-ладно, – сказала Пегги. – Это Генри! Генри Андерсон! Ты ему нравишься!

Генри? Фэй не знала, чего ждала, но уж точно не этого. Генри? Да она его даже не замечала. И никогда о нем не думала.

– Генри, – повторила Фэй.

– Да, – кивнула Пегги. – Генри. Это судьба. Вы созданы друг для друга. Тебе ведь даже фамилию менять не придется!

– Придется! Андресен и Андерсон – разные фамилии.

– Ну и что, – уперлась Пегги. – Все равно он классный.

Фэй вернулась домой и закрылась в своей комнате. Впервые всерьез задумалась о том, каково это, когда у тебя есть парень. Посидела на кровати. Ночью толком не спала. Поплакала. К утру решила, что, как ни странно, Генри ей очень нравится. Убедила себя в том, что он симпатичный. Такой крепкий, как полузащитник в американском футболе. Тихий. Может быть, он всегда ей нравился. Теперь она смотрела на него другими глазами: он казался ей более красивым, веселым, румяным. Фэй не знала, что Пегги провернула с ним ту же штуку. Целый день донимала его намеками – дескать, он нравится одной девочке. Потом призналась, что это Фэй. В тот день он пришел в школу, увидел Фэй и удивился: как же он раньше не замечал, какая она красавица? Как она изящна и проста. Какие живые глаза скрываются за большими круглыми очками.

Вскоре после этого они начали встречаться.

Вот и вся любовь, думает Фэй. Мы любим других за то, что они любят нас. Такой вот нарциссизм. Надо трезво смотреть на вещи: судьба и прочие абстракции тут ни при чем. В конце концов, Пегги могла выбрать любого парня из школы.

Эти мысли мелькают у нее в голове, когда они вечером сидят на берегу реки, куда Генри привел ее, чтобы извиниться (так думает Фэй). С той ночи на детской площадке он держался с ней робко. Из-за того, что случилось после выпускного. Они почти об этом не говорят – разве что намеками. Чтобы не сболтнуть лишнего.

– Прости меня за... ну ты знаешь, – просит Генри, и Фэй становится его жаль: он так теряется, когда речь заходит об этом.

Ее раздражает, что он так раскаивается, так стыдится. Провожает ее домой, носит за ней сумку с книжками, причем идет непременно на шаг позади нее, понуриив голову, задаривает ее цветами и шоколадками. Иногда в припадке самобичевания произносит что-нибудь вроде: “Господи, какой же я идиот!” Или приглашает ее в кино и, не успевает она ответить,

добавляет что-нибудь вроде: “Разумеется, если ты все еще хочешь быть моей девушкой”.

А ведь всего этого могло и не быть. Если бы Фэй училась в другой школе. Если бы ее родители переехали в другой город. Если бы Пегги в тот день болела. Если бы она выбрала другого парня. И так далее, и тому подобное. Тысячи вариантов, миллион возможностей, и в результате Фэй не сидела бы тут на песочке с Генри.

Генри как на иголках: сжимает и разжимает кулаки, ковыряет землю, бросает камешки в воду. Фэй попивает кока-колу из бутылки и ждет. Он решил, что приведет сюда Фэй и они останутся вдвоем на берегу реки, а что будет дальше, не придумал. Теперь вот не знает, что делать. Расхаживает туда-сюда, прихлопывает какое-то насекомое, пролетевшее перед лицом, сидит рядом с Фэй нервный и напряженный, как норовистый конь. Фэй его муки раздражают. Она пьет кока-колу.

Река сегодня воняет рыбой – сырой тошнотворный запах, словно в скисшее молоко капнули нашатыря, – и Фэй вспоминает, как однажды они с отцом ходили на лодке. Он учил ее рыбачить. Ему это было важно. Сам-то он с детства рыбачил, еще мальчишкой этим зарабатывал. Но Фэй рыбалка не понравилась. Она даже не сумела без слез насадить на крючок червя: он обвился вокруг ее пальца, а когда она проткнула его кожу, из него брызнула коричневая слизь.

Вот и Генри сейчас похож на того червя: того и гляди лопнет.

Они смотрят на реку, на синее пламя азотного завода, на луну и лунную рябь на воде. Метрах в десяти от них на волнах качается бутылка. У самого лица Фэй пролетает жук. Волны мерно накатывают на берег, и чем дальше они сидят там, тем больше Фэй кажется, будто река дышит – сжимается и разжимается, вдыхает и выдыхает, а вода, отступая, гладит камни.

Наконец Генри оборачивается к ней и говорит:

– Я хотел у тебя кое-что спросить.

– Давай.

– Но... не знаю, смогу ли, – продолжает он. – Смогу ли спросить у тебя о таком.

– Почему бы и нет? – отвечает Фэй, смотрит на Генри и понимает, что давно уже не глядела на него – сколько же именно? Весь вечер? Она отводила глаза, ей было стыдно за него, она злилась, и вот теперь заметила, как он мрачен и сердит.

– Я хочу... – Генри осекается. Он так и не договорил: вместо этого он наклоняется к Фэй и целует ее.

Взасос.

Как в ту ночь на площадке. Поцелуй застаёт Фэй врасплох: она чувствует вкус Генри, тепло его тела, маслянистый запах его рук, которые сжимают ее лицо. Он так напористо целует Фэй, так сильно прижимается губами к ее губам, так дерзко засовывает язык ей в рот, что она не помнит себя от изумления. Это больше похоже на схватку, а не на поцелуй. Фэй падает на песок, он прижимается к ней, ложится на нее, неистово целует, не выпуская ее лица. Генри вовсе не груб, но настойчив. Фэй порывается

увернуться, но он крепко ее обнимает, прижимается к ней всем телом. Они стучаются зубами, но Генри не прерывает поцелуй. Он впервые ведет себя с ней, как мужчина, так властно и смело. Под тяжестью его тела Фэй не может пошевелиться. Она вдруг чувствует, что замерзла, что в животе у нее кока-кола, и ей хочется рыгнуть. Хочется высвободиться и убежать.

Вдруг Генри замирает, чуть отстраняется и смотрит на нее. Лицо его перекошило от возбуждения. Он глядит на Фэй с отчаянием и мольбой. Он ждет, что она возмутится. Ждет, что она скажет “нет”. И она уже готова ему отказать, но удерживается. И ночью, когда все закончится, когда Генри отвезет ее домой и Фэй без сна пролежит до рассвета, думая о том, что же произошло, именно этот миг она будет вспоминать снова и снова, пытаясь понять, отчего не ушла, хотя могла бы. Вот что не дает ей покоя.

Она не говорит “нет”. Она вообще ничего не говорит. Лишь смотрит Генри в глаза. Кажется – хотя в этом Фэй не уверена, – кажется, она даже кивает: “Да”.

И Генри пылко продолжает. Целует ее, засовывает язык ей в ухо, покусывает за шею. Просовывает между ними руку, и Фэй слышит, как он расстегивает одежду: пряжку ремня, пуговицу на брюках, молнию.

– Закрой глаза, – просит он.

– Ну Генри.

– Пожалуйста. Закрой глаза. Сделай вид, что спишь.

Фэй смотрит на Генри. Его лицо так близко. Он зажмурился, поглощенный какой-то неведомой страстью.

– Пожалуйста, – произносит он, берет ее за руку и направляет ее ладонь вниз.

Фэй вяло упирается, но Генри снова повторяет “пожалуйста”, сильнее тянет ее за руку, и Фэй уступает: пусть делает что хочет. Генри спускает брюки, засовывает ее руку к себе в трусы и вздрагивает, когда Фэй касается его ладонью.

– Только не смотри, – просит он.

Она и не смотрит. Фэй чувствует, как он двигается, как скользит в ее пальцах. Странное чувство, словно оторванное от реальности. Генри прижимается лицом к ее шее, качает бедрами, и Фэй с удивлением слышит, что он плачет, тихонько всхлипывает, его теплые слезы каплют ей на кожу.

– Прости, – говорит он.

Фэй ничуть не обидно: ей жалко Генри. За отчаяние, за стыд, за мучительную животную страсть, за то, как он очертя голову набросился на нее. Она крепче обхватывает его, прижимает к себе, Генри содрогается всем телом, что-то теплое брызжет в ее ладонь, и все заканчивается.

Генри издает стон, в изнеможении падает на нее и плачет.

– Прости, прости, – повторяет он.

Генри сворачивается калачиком, и его член стремительно съезживается в ее руке.

– Прости меня, – не унимается он.

Фэй его успокаивает, гладит по голове, обнимает. Генри всхлипывает, содрогается от плача.

И это-то называют “романтикой”, “любовью” и “судьбой”? Все это красивые слова, понимает Фэй, за которыми прячется неприглядная правда: Генри сегодня владела не любовью, а обычный животный инстинкт.

Генри хнычет у нее на груди. Рука ее холодная и липкая. “Вот тебе и настоящая любовь”, – думает Фэй и едва удерживается от смеха.

7

Чтобы попасть к нам на праздничный ужин, сказала Маргарет Швингл, нужно выполнить два условия. Во-первых, забрать в аптеке посылку. Во-вторых, никому ничего не говорить.

– Что за посылка? – спросила Фэй.

– С конфетами, – ответила Маргарет. – Там шоколадки, карамельки и всякое такое. В общем, конфеты. Папа не хочет, чтобы я ела сладости. Говорит, что мне надо следить за фигурой.

– Да не надо тебе следить за фигурой.

– Вот и я говорю! Правда же, несправедливо?

– Не то слово.

– Спасибо, – отвечает Маргарет и расправляет юбку точь-в-точь как мать. – Ты когда придешь за посылкой, сделай вид, будто она твоя, ладно?

– Хорошо. Конечно.

– Спасибо. Я уже все оплатила. Сделала заказ на твое имя, чтобы на меня не кричали.

– Понятно, – говорит Фэй.

– Ужин для папы сюрприз. Поэтому, когда увидишь его в аптеке, скажи, что идешь на свидание. С Генри. Чтобы он ни о чем не догадался.

– Ладно, так и скажу.

– А лучше вообще всем расскажи, что вечером идешь на свидание.

– Всем?

– Ага. Никому не говори, что идешь к нам в гости.

– Договорились.

– Если узнают, что ты идешь к нам в гости, папа может что-то заподозрить и обо всем догадаться. Ты же не хочешь испортить нам

сюрприз?

– Нет, конечно.

– Потому что, если ты кому-нибудь расскажешь, что собираешься к нам, это обязательно дойдет до папы. У него весь город в друзьях. Ты же еще никому не рассказывала?

– Нет.

– Вот и хорошо. Хорошо. Запомнила? Нужно забрать в аптеке посылку. И сказать, что идешь на свидание с Генри.

Вечеринка обещает стать незабываемой. Маргарет рассказала, что будут воздушные шары, серпантин, фирменное мамино заливное из лосося, трехслойный пирог, домашнее ванильное мороженое, ну а потом, может, они поедут кататься на кабриолете вдоль реки. Фэй льстит, что именно ее пригласили на праздник.

– Спасибо за приглашение, – говорит она Маргарет, а та легонько касается ее плеча и отвечает:

– Ну а как иначе?

Тем вечером, на который назначен ужин, Фэй у себя в комнате пытается решить, какое из двух одинаковых платьев выбрать – нарядные короткие летние платья, одно зеленое, другое желтое. Оба куплены для особого случая – Фэй уже забыла, для какого именно. Наверное, для какого-нибудь церковного праздника. Фэй стоит перед зеркалом и прикладывает к себе то одно, то другое платье.

На кровати поверх подушек и одеяла разложены бумаги из Чикагского университета. Документы и анкеты, на основании которых, как только их доставят получателю, в 1968 году она официально станет студенткой первого курса. Чтобы уложиться в срок, их надо отправить самое позднее через неделю. Фэй уже все заполнила, перьевой ручкой, самым аккуратным почерком. Каждый вечер она раскладывает на кровати документы, брошюры, буклеты, надеясь, что они подскажут ей решение, подадут ей знак, который окончательно убедит ее уехать или остаться.

И каждый раз, как ей кажется, что она готова вот-вот принять решение, находится причина, которая заставляет ее засомневаться и передумать. Фэй перечитывает стихотворение Гинзберга и думает: “Я поеду в Чикаго”. Смотрит на брошюры, читает про кампус, построенный в духе космической эры, представляет, какие умные там учатся студенты, какие серьезные, уж они-то не станут насмешливо коситься на нее, если она напишет контрольную по алгебре на отлично. “Я точно поеду в Чикаго”, – решает Фэй. Но потом представляет, как в городе воспримут ее отъезд или, того хуже, возвращение: ничего обиднее быть не может, если она не

справится с учебой, вылетит из университета и вынуждена будет вернуться, весь город будет шушукаться за ее спиной и дружно закатывать глаза. Она представляет себе эту картину и думает: “Остаюсь в Айове”.

И этот кошмарный маятник качается туда-сюда.

Но хотя бы одно решение Фэй точно может принять: она наденет желтое платье. Желтый цвет выглядит наряднее, думает Фэй, более празднично: как раз для дня рождения.

Она спускается в гостиную и видит, что мама смотрит новости. Снова репортаж о студенческих протестах. На этот раз беспорядки уже в другом университете. Студенты толпятся в коридорах и не уходят. Оккупируют кабинеты ректора и проректора. Устраиваются на ночлег прямо там, где другие работают.

Мама Фэй видит это все по телевизору и дивится: надо же, какие в мире творятся странности. Она сидит на диване и каждый вечер смотрит на Уолтера Кронкайта. Последнее время происходит что-то несусветное: сидячие забастовки, бунты, политические убийства.

– Большинство студентов настроены миролюбиво, – поясняет корреспондент.

Он берет интервью у девушки с красивыми волосами, в мягком шерстяном свитере, которая уверяет, что все остальные студенты категорически не согласны со сторонниками крайних мер.

– Мы всего лишь хотим учиться, получать хорошие отметки и поддерживать наших ребят за рубежом, – с улыбкой говорит она.

Смена кадра: коридор, битком набитый студентами – бородатыми, длинноволосыми, неряшливыми. Они выкрикивают лозунги, играют музыку.

– Боже мой, – произносит мама Фэй. – Ты только посмотри на них. Ну чисто бродяги.

– Я ухожу, – сообщает Фэй.

– А ведь когда-то наверняка были приличные мальчики, – не унимается мать. – Просто попали в плохую компанию.

– Я иду на свидание.

Мать наконец оборачивается и смотрит на Фэй.

– Что ж. Отлично выглядишь.

– К десяти вернусь.

Фэй проходит через кухню, где отец отвинчивает крышку кофеварки. Он готовит кофе и бутерброды: ему сегодня в вечернюю смену.

– Пока, пап, – говорит Фэй, и он ей машет.

Отец в спецодежде, сером комбинезоне с логотипом “Кемстар” на

груди – переплетенными буквами “К” и “С”. Фэй раньше шутила, что если “К” убрать, то папа будет похож на Супермена. Но они с отцом давно уже не шутят.

Она открывает входную дверь, как вдруг отец ее окликает:

– Фэй!

– Что?

– Меня на заводе спрашивали о тебе.

Фэй застывает на пороге: одна нога дома, другая на крыльце. Она оборачивается и смотрит на отца.

– Это еще почему?

– Про стипендию, – поясняет отец, и крышка кофеварки со скрипом открывается. – Спрашивали, когда ты уедешь в университет.

– А...

– Я думал, мы с тобой договорились, что ты никому ничего не скажешь.

Некоторое время они молчат: отец ложечкой выгребает кофейную гущу, Фэй вертит дверную ручку.

– А чего мне стесняться? – наконец отвечает она. – Да, я поступила в университет и буду получать стипендию. Я же не... как это говорится? Не хвастаюсь?

Отец оставляет в покое кофеварку, смотрит на Фэй, натянуто улыбается и прячет руки в карманы.

– Фэй, – говорит он.

– Я же просто... даже не знаю. Добилась, чего хотела. И ни капельки не хвастаюсь.

– Добилась, чего хотела. Верно. А скажи: всем ли дают стипендию?

– Нет, конечно.

– Значит, ты молодец. Отличилась.

– Мне же это не даром досталось: я старалась, училась на отлично.

– То есть тебе нужно было стать лучше других.

– Именно так.

– Это гордыня, Фэй. Никто не лучше других. Все мы одинаковые.

– Никакая это не гордыня! Это... жизнь. Я, а не какая-нибудь другая девушка, получила высшие баллы. Мне, а не кому-то другому, поставили отлично. Мне. Это объективный факт.

– Помнишь, я тебе рассказывал про домового? Ниссе?

– Да.

– И про девочку, которая съела его кашу? Ее ведь наказали не за то, что она съела чужую кашу. А за то, что возомнила, будто этого достойна.

– То есть ты считаешь, что я недостойна учиться в университете?

Отец хмыкает, смотрит в потолок, качает головой.

– Знаешь, у других отцов все просто. Они учат дочерей ценить тяжелый труд и ежедневный заработок. Отваживают неподходящих ухажеров и покупают многотомные словари. Ты же жалуешься, если книгу плохо перевели.

– К чему ты клонишь?

– Все и так считают, что ты важная цаца. Не нужно ехать в Чикаго, чтобы это доказать.

– Я еду не за этим.

– Поверь мне, Фэй, не стоит уезжать из дома: к добру это не приведет. Где родился, там и пригодился.

– Ну ты же уехал. Ты перебрался из Норвегии сюда.

– Поэтому я знаю, о чем говорю.

– И ты считаешь, что ошибся? Жалеешь, что уехал?

– Ты ничего не понимаешь.

– Я этого достойна.

– Как ты думаешь, что будет дальше? Неужели ты правда полагаешь, что, если усердно трудиться, жизнь тебе улыбнется? Ты считаешь, что мир тебе чем-то обязан? Он тебе ничего не даст. – Он оборачивается к кофейнику. – Даже если ты напишешь все контрольные на отлично или поедешь учиться в университет. Жизнь жестока.

По дороге в аптеку Фэй думает о разговоре с отцом и злится на его цинизм. На то, что ее упрекнули за то, за что всегда хвалили: за прилежание. Ей кажется, будто ее обманули, пообещали что-то и не выполнили.

Как хорошо, что сегодня вечером она увидит миссис Швингл: это не иначе как знак. Уж кто-кто, а она точно не обвинит Фэй в том, что она якобы возомнила о себе невесть что: ведь миссис Швингл постоянно хвалится, что побывала там-то и там-то, и восхищается любыми новомодными затеями элегантных дам с Восточного побережья. Если кто в городе и поймет чувства Фэй, так это миссис Швингл.

Фэй приезжает в аптеку, подходит к прилавку и видит, что Гарольд Швингл с планшет-блокнотом пересчитывает баночки с аспирином.

– Добрый вечер, доктор Швингл, – здоровается она.

Тот бросает на нее долгий холодный взгляд. Швингл высокий, широкий, с аккуратным военным бобриком на голове.

– Я за посылкой, – говорит Фэй.

– Я так и понял.

Он скрывается в подсобном помещении на целую вечность. В

дребезжащих колонках играет вальс духовой оркестр. Автоматический освежитель воздуха с шипением испускает облачко, и несколько секунд спустя помещение окутывает густой, чересчур душистый, синтетический аромат сирени. В аптеке кроме них ни души. Лампы над головой мигают и жужжат. С прилавка на Фэй деревянно смотрят круглые значки в поддержку президентской избирательной кампании Ричарда Никсона.

Доктор Швингл возвращается с запечатанным скрепками темно-коричневым бумажным пакетом. Ставит его – скорее, бросает – на прилавок рядом с собой, так, что Фэй не дотянуться.

– Это для тебя? – спрашивает он.

– Да, сэр.

– А ты мне не врешь? Это точно для тебя, а не для кого-то другого?

– Нет, что вы, сэр, это для меня.

– Если это для кого-то другого, скажи прямо. Не ври.

– Клянусь вам, доктор Швингл, это для меня.

Он театрально вздыхает – с раздражением и, пожалуй, досадой.

– Ты ведь хорошая девочка. Что случилось?

– О чем вы?

– Фэй, – говорит он. – Я знаю, что это такое. И считаю, что лучше не стоит.

– Не стоит?

– Да. Разумеется, я продам тебе это, потому что я обязан. Но я так же обязан, считаю своим моральным долгом предупредить тебя, что это ошибка.

– Спасибо, конечно, но...

– Большая ошибка.

К такой отповеди Фэй была не готова.

– Прошу прощения, – проговорила она, сама не зная, за что извиняется.

– Я всегда считал тебя такой разумной девочкой, – не унимается аптекарь. – Генри-то хоть знает?

– Ну разумеется, – отвечает она. – У нас сегодня свидание.

– Правда?

– Да, – говорит Фэй, как было велено. – Мы сегодня идем на свидание.

– Он сделал тебе предложение?

– Что?

– Теперь, как порядочный человек, он обязан сделать тебе предложение.

Фэй теряется от его напора и блеет жалко:

– Все мое время.

– И все равно подумай о том, что ты собираешься сделать.

– Хорошо. Спасибо вам большое, – Фэй наклоняется над прилавком и хватает коричневый бумажный пакет, который громко хрустит у нее в кулаке. Она не понимает, что происходит, но хочет, чтобы это поскорее кончилось. – До свидания.

Она быстро едет к дому Швинглов, величественному особняку на скалистом утесе над рекой Миссисипи, – редкая возвышенность среди здешних прерий с пологими холмами. Фэй подъезжает сквозь рощу к неожиданно темному дому: свет не горит, в доме тишина. Фэй пугается. Неужели она перепутала день? Или же они должны были встретиться в другом месте? Она уже хочет вернуться домой и позвонить Маргарет, как вдруг входная дверь открывается, и на крыльцо выходит Маргарет Швингл в просторной футболке и тренировочных штанах, с растрепанными волосами (Фэй никогда не видела ее такой!), примятыми с одного бока, как будто Маргарет спала.

– Привезла пакет? – спрашивает она.

– Да.

Фэй отдает ей мятый коричневый пакет.

– Спасибо.

– У тебя что-то случилось?

– Прости, – отвечает Маргарет, – но ужин сегодня отменяется.

– Понятно.

– Езжай домой.

– У тебя точно все в порядке?

Маргарет смотрит себе под ноги, а не на Фэй.

– Прости. За все.

– Ничего не понимаю.

– Послушай, – произносит Маргарет и впервые поднимает на Фэй глаза, выпрямляется, вздергивает подбородок, явно храбрясь, – никто ведь не видел, что ты сегодня приезжала сюда?

– Ну да.

– Не забудь об этом. Ты не сможешь доказать, что была здесь.

Маргарет кивает Фэй, стремительно разворачивается, уходит в дом и запирает за собой дверь.

8

В 1968 году в маленьком городке на берегу реки в Айове, где жила Фэй, все девушки из выпускного класса знали (хоть никогда и не говорили об этом) дюжину способов избавиться от незапланированных, нежеланных,

нерожденных детей. Одни способы почти всегда оказывались неудачными, другие – всего-навсего бабушкиными сказками, третьи требовали немалого врачебного опыта, а о четвертых было страшно и думать.

Популярнее всего, разумеется, были самые простые – те, которые не требовали ни химических веществ, ни подручных средств. Например, долго кататься на велосипеде. Спрыгнуть с большой высоты. Принимать попеременно горячую и холодную ванны. Поставить на низ живота свечу и подождать, пока не догорит. Упасть с лестницы. Бить себя кулаком в живот.

Если же эти методы не срабатывали, а не срабатывали они никогда, девушки переключались на другие: лекарства и средства, которые не вызывают подозрений. Которые легко можно купить без рецепта. Например, спринцевались кока-колой. Или лизолом. Или йодидом. Глотали витамин С в огромных количествах. Пили железо в таблетках. Заливали в матку физраствор или воду с борным мылом. Употребляли напитки, которые стимулируют сокращение матки (например, джулеп). Или кротонное масло. Каломель. Сенну. Ревень. Магнезию. Растения, которые провоцируют или усиливают менструацию, – например, петрушку. Ромашку. Имбирь.

Еще, если верить рассказам бабушек, помогал хинин.

И пивные дрожжи. Полынь. Касторка. Щелочь.

Были и другие средства, к которым прибегали только самые отчаянные. Велосипедный насос. Пылесос. Спица зонта. Вязальная спица. Гусиное перо. Ректальная трубка. Скипидар. Керосин. Хлорка.

И не просто отчаянные, а самые одинокие, не имевшие ни родных, ни друзей, у которых нашелся бы знакомый врач и выписал рецепт. Метилэргометрин. Таблетки с эстрогеном. Экстракт гипофиза. Препараты спорыньи с абортивным действием. Стрихнин. Суппозитории, которые кое-кто называл “черными красавицами”. Глицерин, который вводят через катетер. Эргометрин, от которого матка напрягается и сокращается. Средства с многосложными названиями, которые трудно достать и которые используют для регуляции менструального цикла у коров: динопростон, мизопропрост, гемепропрост, метотрексат.

Что же было в бумажном пакете? Уж явно не шоколадки, решает Фэй по дороге домой, поворачивает в Виста-Хиллс и жалеет, что не открыла пакет. Почему она его не открыла?

Потому что он был запечатан, думает она.

“Потому что ты трусиха”, – подсказывает внутренний голос.

Ее гложет смутная тревога и печаль. Как странно себя вела Маргарет. И

доктор Швингл. Фэй кажется, что она что-то упустила, какой-то важный факт, который страшно узнать. Стоит мгла, но с неба сеется не дождь, а скорее изморось, и влажно так, как в кабинете домоводства, когда на плите кипят кастрюли. Как-то раз одна из девушек забыла про кастрюлю, оставила ее на весь день на плите, вода выкипела, кастрюля закоптилась, раскалилась, пластмассовая ручка сперва расплавилась, а потом сгорела. Дым стоял такой, что по всей школе сработала пожарная сигнализация.

Вот и сегодня Фэй испытывает нечто подобное. Как будто надвигается какая-то опасность, которой она пока не замечает.

С таким чувством Фэй приезжает домой. Лампа горит только на кухне, и в этом тоже сквозит неладное. Снаружи свет кажется зеленым: такой оттенок бывает на срезе капустного кочана.

Родители сидят на кухне: дожидаются ее. Мать отводит глаза. Отец спрашивает:

– Что ты натворила?

– Ты о чем?

Отец поясняет: ему позвонил Гарольд Швингл и сказал, что Фэй сегодня заезжала в аптеку за заказом. За каким еще заказом? Видите ли, сказал доктор Швингл, я не первый год в аптеке работаю и прекрасно знаю: если девушка покупает то, что сегодня купила Фэй, значит, на уме у нее одно.

– И что же? – спрашивает Фэй.

– Почему ты нам ничего не сказала? – спрашивает мать.

– Что не сказала?

– Что ты залетела, – рубит отец.

– Что?

– Да как ты только допустила, чтобы этот придурок с фермы тебя обрюхатил! – не унимается он. – Ты нас опозорила!

– Но я не беременна! Это какая-то ошибка!

Телефон не умолкал весь вечер. Звонили Петерсоны. И Уотсоны. И Карлтоны. И Уайзоры. И Кролли. И все в один голос говорили: “Фрэнк, мне тут про твою дочь такое рассказали...”

Как они только пронюхали? Откуда весь город узнал?

– Но это неправда, – защищается Фэй.

Ей хочется все им объяснить, рассказать о несостоявшемся дне рождения и о том, как странно себя вела Маргарет. Ей хочется рассказать им правду (теперь-то она догадалась!): Маргарет беременна, и ей понадобились лекарства, но так, чтобы отец ничего не узнал, вот она и использовала Фэй, чтобы их раздобыть. Ей хочется рассказать им об этом,

но она не может, во-первых, потому что отец, не помня себя от злости, кричит, что она-де *погубила свое доброе имя* и впредь *не сможет показаться людям на глаза* и что *Господь ее накажет* за то, что она хочет сделать *со своим ребенком* – он за год не сказал ей столько, сколько проорал сейчас! – а еще потому, что Фэй чувствует: ее сейчас накроет приступ. Причем сильный: ей трудно дышать, она потеет, поле зрения сужается и вот-вот уменьшится до булавочной головки. Фэй пытается побороть ощущение, что приступ будет серьезный, что он ее убьет, что она вот-вот испустит последний вздох.

– Помогите, – пытается выговорить она, но голос срывается на шепот, и отец ее, разумеется, не слышит: он распинается о том, сколько ему пришлось потрудиться, чтобы в городе его зауважали, а она взяла и все испортила, вот так, за один вечер, и он никогда не простит ее за то, как она с ним поступила.

За эту обиду.

Стоп, думает Фэй.

То есть это я его обидела?

Ну хорошо, она не беременна, а если бы она действительно была беременна: ведь это ее нужно было бы утешать? Это ведь о ней судачили бы соседи? При чем тут вообще он? Фэй охватывает раздражение: ей уже не хочется ничего объяснять. И когда отец заканчивает нотацию фразой “И что ты можешь сказать в свое оправдание?”, она гордо выпрямляется во весь рост и говорит:

– Я уезжаю.

Мать впервые поднимает на нее глаза.

– Я еду в Чикаго, – добавляет Фэй.

Отец бросает на нее испытующий взгляд. Такое ощущение, будто он передразнивает сам себя: на лице его сейчас то же выражение, какое было тогда, когда он строил бомбоубежище в подвале, – та же решимость и страх.

Она вспоминает, как однажды он поднялся из подвала, весь в серой пыли (что-то он там делал такое в тот вечер), а Фэй только что вышла из ванной, увидела папу и так обрадовалась, что вырвалась из кучи полотенец, в которые завернула ее мама, и бросилась к папе – сияющая, довольная, летела вприпрыжку, точно резиновый мячик. Жилистая, крепенькая, чистенькая, голенькая. Ей было восемь лет. Папа стоял там же, где теперь: Фэй ворвалась на кухню и на радостях прошла колесом. Подумать только: колесом, и, стоя вверх ногами, раскрылась, точно гигантский тропический цветок. В общем, предстала перед отцом во всей

красе. Тот нахмурился: “Это неприлично. Пойди оденься”, и Фэй убежала в свою комнату. Она не понимала, что такого сделала. Что тут неприличного, гадала она, стоя нагишом у панорамного окна и глядя на улицу. Она не знала, почему отец отправил ее одеться и что такого неприличного она сделала: Фэй глядела в окно и впервые в жизни думала о своем теле. Точнее, впервые думала о нем как о чем-то *отдельном от себя*. И кому какое дело, что она представляла, как мимо пройдет мальчишка и заметит ее? Кому какое дело, что этот образ непонятно почему еще долго ее волновал? Отныне всякий раз, как Фэй смотрела сквозь панорамное окно, она думала лишь о том, как выглядит с улицы.

С тех пор прошло много лет. Ни Фэй, ни ее отец никогда об этом не говорили. Время лечит многое, потому что направляет нас на пути, с которых прошлое кажется невозможным.

И вот Фэй снова на кухне, ждет, что ответит отец: ей кажется, будто пропасть, что разверзлась между ними в тот день, стала шире прежнего. Они словно два небесных тела, которые вращаются по одной орбите: связь между ними тонка, и сейчас они либо сблизятся, либо навсегда разлетятся в разные стороны.

– Ты слышал, что я сказала? – спрашивает Фэй. – Я уезжаю в Чикаго.

Тут Фрэнк Андресен наконец отвечает ей, и в голосе его не слышно ни волнения, ни любви, словно то, что сейчас происходит, совершенно его не касается.

– Вот и правильно, черт побери, – говорит он и отворачивается от Фэй. – И чтобы ноги твоей здесь больше не было.

Часть пятая. Тел хватит на всех

Лето 2011 года

1

– Алло! Алло!

– Да, алло!

– Алло! Сэмюэл! Вы меня слышите?

– Очень плохо. Где вы?

– Это Перивинкл! Вы меня слышите?

– Что это за шум?

– Парад!

– Зачем вы звоните мне с парада?

– Ну я же в нем не участвую! Я иду за ним! Я звоню по поводу вашего письма! Я его прочитал!

– Там у вас рядом с головой туба?

– Что?

– Что это за звуки?

– Да, так я вам вот зачем звоню: я прочитал... – В трубке внезапно наступает тишина, затем раздается приглушенный неразборчивый шум, как будто телефон то входит, то выходит из зоны действия, потом какие-то механические помехи: звук сжимается и меняет тон, как от эффекта Доплера. Потом вдруг снова слышится голос: – ...вот чего мы ждали. Сделаете?

– Я не слышал ни слова из того, что вы сказали.

– Что?

– Вы куда-то пропадаете! Я ничего не слышу!

– Это Перивинкл, черт побери!

– Я понял. Где вы?

– В “Дисней Уорлде”!

– Такое ощущение, что вы идете в середине шагающего оркестра.

– Секундочку!

Раздается шум, как будто приложил к уху ракушку, шелест, словно по микрофону провели пальцем или подул ветер, захала какая-то безлика музыка, и звуки стали тише, точно Перивинкла вдруг посадили в свинцовый ящик с толстыми стенками.

– А вот так? Слышно?

– Да, так хорошо.

– Видимо, тут что-то со связью. Похоже, сеть перегружена.

– Что вы делаете в “Дисней Уорлде”?

– Рекламируем новый клип Молли Миллер. Кросс-промо с каким-то диснеевским мультфильмом, который оцифровали и выпустили в 3D. Кажется, “Бемби”. Родители дружно снимают парад на мобильные и строчат сообщения друзьям. Вот вышки и не справляются с нагрузкой. Вы бывали в “Дисней Уорлде”?

– Нет.

– Я такого никогда не видел: весь парк посвящен технологиям, которые давным-давно отжили свое. Сплошная аниматроника. Роботы щелкают деревянными частями. Такое ретро!

– Парад кончился?

– Нет, я зашел в магазин. Под вывеской “Старая добрая лавка с газированной водой”. Тут выстроили точную копию главной улицы в типичном маленьком американском городке. Очаровательная улочка, которых в реальной жизни не осталось из-за таких вот транснациональных корпораций, как “Дисней”. Впрочем, кажется, никто не замечает парадокса.

– Вот уж никогда бы не подумал, что вы любите “русские горки”. Или детей.

– Тут все аттракционы на один манер: мучительно медленная прогулка на лодке по стране чудес, населенной роботами. Вроде “Маленького мира”. Не аттракцион, а фильм ужасов: обдолбанные куклы снова и снова механически выполняют одни и те же действия – ни дать ни взять рабочие на фабрике в какой-нибудь стране третьего мира; впрочем, “Дисней” наверняка ничего такого не имел в виду.

– Наверняка этот аттракцион символизирует международное единство и мир во всем мире.

– Угу. На норвежском аттракционе в “Эпкоте” словно плывешь по страницам брошюры, где в натуральную величину изображены предприятия нефтяной и газовой промышленности. А тут есть аттракцион, который называется “Карусель прогресса”. Слыхали о таком?

– Нет.

– Ее построили для Всемирной выставки 1964 года. Аниматронный театр. История одного парня и его семьи. В первом акте действие происходит в 1904 году, герой восхищается новейшими изобретениями: газовыми лампами, утюгами, механическими стиральными машинами с ручным приводом. Чудесным стереоскопом. Невероятным граммофоном.

Понимаете, о чем я? Его жена говорит, мол, теперь стирка занимает у нее всего-навсего пять часов, и посетители покатываются со смеху.

– То есть они-то считают, что теперь у них настала беззаботная жизнь, но мы знаем, что это не так.

– Вот именно. Между актами поют жуткую песню, которая привязывается намертво, как все диснеевские песенки.

– Напойте.

– Нет уж. Но припев там такой: “О великое, славное завтра!”

– Ладно, не пойте.

– Песня о бесконечном прогрессе. Теперь безостановочно крутится в голове, я уж готов собственными руками сделать себе лоботомию, лишь бы ее забыть. Ну да ладно, дальше начинается второй акт. Двадцатые годы, эра электричества. Швейные машины. Тостеры. Вафельницы. Холодильники. Вентиляторы. Радиоприемники. В третьем акте действие разворачивается уже в сороковые годы. Появляется посудомоечная машинка. И большой холодильник. Ну и так далее. В общем, вы поняли.

– Технологии делают нашу жизнь проще и лучше. Непрерывное движение вперед.

– Вот-вот. Как там говорили в середине шестидесятых? “Дальше будет лучше”. Ха! Клянусь богом, я чувствую себя в “Дисней Уорлде” примерно как Дарвин на Галапагосах. А сотрудники этой лавки с газировкой все это время улыбаются мне, как маньяки. Наверно, их так учат: клиенту нужно улыбаться. Даже если он разговаривает по телефону и... – Перивинкл переходит на крик, – НИКАКАЯ ГАЗИРОВКА ЕМУ ДАРОМ НЕ НУЖНА!

– Вы сказали, что прочитали мое письмо. После этого я не слышал ни слова.

– Они лыбятся, как пьяные дети. Как гномы под экстази. Это же какую надо иметь силу воли, чтобы целый день так улыбаться. Да, я прочитал ваше письмо, в котором вы описываете школьные годы вашей матери. Прочитал в самолете.

– И?

– Мне показалось, что там как-то мало сказано о том, как она, черт побери, швыряла камнями в губернатора Пэкера.

– Дойдет и до этого.

– То есть вообще ничего не сказано. Ни единого долбаного слова, по моим грубым подсчетам.

– Об этом будет дальше. Надо же как-то подготовить читателя к следующим событиям.

– Подготовить. И сколько именно сотен страниц это у вас займет?

– Я уже перехожу к сути дела.

– Вы согласились написать книгу, в которой расскажете историю вашей матери и, образно выражаясь, разделаете ее под орех.

– Да, я помню.

– Меня тревожит одно: разделаете ли вы ее под орех. Кое-кого, может, и впечатлит книга, в которой сын выгораживает мать-террористку, но куда интереснее читать о том, как ту, что напала на губернатора Пэкера, потрошит собственный сын, плоть от ее плоти.

– Я лишь пытаюсь сказать правду.

– Ну и стиль, конечно, чересчур взрослый.

– То есть вам не понравилось.

– Я лишь хочу сказать, что вы соскользнули в какие-то штампы о молодежи. И в чем заключается основная мысль? Какой урок читатель извлечет из вашей книги?

– Что вы имеете в виду?

– Ясно как день, что большинство мемуаров – не что иное, как завуалированные книги психологических советов. И чему ваша книга может научить? Как она поможет читателям стать лучше?

– Признаться, я об этом совершенно не задумывался.

– Как вам такой совет: “Голосуйте за республиканцев”.

– Нет. Я пишу совсем не об этом. Это вообще из другой оперы.

– Ишь ты, как он заговорил. Вы еще скажите, что пишете для вечности. Видите ли, в чем дело: современный читатель любит книги с понятными линейными сюжетами, великими идеями и простыми житейскими мудростями. И вот как раз с уроками жизни в книге о вашей матушке, мягко говоря, напряженка.

– Ну а какой урок можно вынести из книги Молли Миллер?

– Очень простой: жизнь прекрасна!

– Ей легко говорить. Родилась в богатой семье. Училась в частных школах на Верхнем Ист-Сайде. В двадцать два года стала миллиардершей.

– Вы удивитесь, на что люди готовы закрыть глаза, лишь бы поверить в то, что жизнь прекрасна.

– Ничего она не прекрасна.

– Вот поэтому нам и нужна Молли Миллер. Вокруг все разваливается на куски. Это ясно даже обывателям, которых вообще ничего не волнует, даже тем, кто не шарит в политике и толком не знает, за кого голосовать. Все рушится у нас на глазах. Людей увольняют, утром проснешься – пенсионные накопления сгорели, раз в квартал из пенсионного фонда присылают письмо: дескать, ваши сбережения обесценились еще на десять

процентов, и так полтора года кряду, а стоимость дома упала в два раза по сравнению с тем, сколько они за него заплатили, начальнику не дают кредит, чтобы хоть зарплату сотрудникам выплатить, в Вашингтоне творится какой-то цирк, при этом дома у них битком набиты всякой крутой техникой, они таращатся в экраны смартфонов и удивляются: “Если в мире делают такие удивительные штуки, почему же у нас не жизнь, а полное говно?” Вот что они думают. Мы проводили исследования. Да, так о чем бишь я?

– О Молли Миллер. О том, что жизнь прекрасна.

– Людям отчаянно не хватает хороших новостей. “Роллинг стоун” хотел взять у Молли интервью. Но, поскольку писать они собирались не о музыке, а о книге, попросили, чтобы все было “жизненно”. Жизненное интервью, в котором рассказывалось бы о жизненных мемуарах: видимо, так. Я уж не говорю о том, что мемуары обсуждали на фокус-группах, а писали их наемные авторы. И что это “жизненное” интервью для “Роллинг стоун” будет отрежиссировано от начала и до конца. То есть на самом деле им была нужна не жизнь как таковая, без прикрас, а ее имитация, которая оказалась бы искуснее, чем им обычно удается. Ну да ладно. Мы устроили мозговой штурм, набросали идей, и один из наших младших пиар-менеджеров (недавно закончил Йель, умный парень, далеко пойдет, попомните мое слово) придумал отличную вещь. Он сказал вот что: пусть они придут в гости к Молли и посмотрят, как она готовит пасту. Правда, круто?

– Я так понимаю, паста тут неспроста.

– На фокус-группах пасту воспринимают лучше мяса. Стейки и курица непременно вызовут вопросы. Как их выращивали: в естественных условиях или нет? Кололи ли антибиотики? Хорошо ли обращались? Органическое ли мясо? Кошерное ли? Надевали ли фермеры шелковые перчатки, чтобы гладить коров перед сном, напевая им колыбельную? Сейчас сраный гамбургер заказать нельзя, не поддержав тем самым какую-нибудь политическую позицию. А паста пока что нейтральна, ни у кого не вызывает возражений. Ну и, конечно, мы никому не покажем, что она ест на самом деле.

– Почему? Что же такое она ест?

– Капусту на пару и грибной суп. Если журналисты это увидят, история получится совсем другая. О том, как кумир подростков, бедняжка, морит себя голодом. И начнется спор о том, что, дескать, надо принимать себя такой, какая ты есть, в котором ни одной из сторон еще ни разу не удалось заслужить мало-мальски существенное внимание и одобрение публики.

– Что-то мне совсем не хочется читать о том, как Молли Миллер готовит пасту.

– Если в стране творится кошмар и надеяться на лучшую жизнь не приходится, люди, как правило, выбирают одну из двух линий поведения. Куча исследований это доказали. Либо внимательно следят за тем, что происходит, и, кипя праведным гневом, пишут всякую либеральную муть в “ЯТут” или еще какой-нибудь сети, либо закрывают на все глаза, и вот этим-то как раз будет приятно отвлечься от происходящего, почитать о том, как Молли Миллер разогревает маринару из банки.

– Вас послушать, так это не интервью, а услуга обществу.

– Нет существа надменнее, чем уверенный в собственной правоте и непогрешимости сетевой либерал. Разве не так? Невыносимые ребята. Так что да, это своего рода услуга обществу. Хотите, расскажу, чего я жду от вашей книги?

– Конечно.

– Я надеюсь, что она потеснит мемуары Молли Миллер в списке бестселлеров. А знаете почему?

– Вряд ли это возможно.

– Мало что интересует обе группы – и недовольных, и безразличных. Трудно найти продукт, который был бы одинаково важен и для тех, и для других.

– Но история моей матери...

– Мы проводили тесты. Ваша матушка интересна вообще всем. Такое бывает крайне редко, и предсказать это невозможно: когда какое-то явление, которое прежде было интересно только узкому кругу лиц, вдруг обретает массовую популярность. Каждый видит в вашей маме что-то свое – то, что хочет видеть, и каждого эта история чем-то задевает по личным причинам. “Как не стыдно!” – в один голос восклицают приверженцы разных политических взглядов: такое в наши дни редкость, а оттого особенно ценно. Не секрет, что в Америке теперь самое любимое развлечение не бейсбол, а сетевые споры: доказать всем остальным, что ты прав, а они нет.

– Я вас понял. Учту.

– Помните: никакого сочувствия, не стесняйтесь, публика хочет крови. Вот мой совет. Да, кстати! Если вдруг понадобится помощь – не стесняйтесь: подключим ребят, которые писали мемуары Молли Миллер. Зря, что ли, я им плачу.

– Нет уж, спасибо.

– Вы не думайте, они настоящие профессионалы и никому ничего не

расскажут.

– Я сам в состоянии написать свою книгу.

– Я не сомневаюсь, что вам хотелось бы написать ее самому, но, учитывая прошлый опыт, не уверен, что вам удастся ее закончить.

– Теперь все будет по-другому.

– Я вас вовсе не осуждаю, я лишь констатирую факты. Между прочим, за все эти годы я вас ни разу не спросил, почему вы так и не смогли дописать первую книгу.

– Я не то чтобы не смог...

– Мне просто интересно. Что случилось? Может, я недостаточно часто вам звонил, чтобы похвалить и подбодрить? Или вас покинуло вдохновение? Или замыслы не выдержали груза ожиданий? Или – как сейчас говорят – вы просто затупили?

– Нет, ничего такого. Я просто не рассчитал своих сил.

– Не рассчитал своих сил. Так говорят, когда мучает похмелье.

– Ну, ошибся кое в чем.

– Как-то все это несерьезно звучит. И вы хотите сказать, что это помешало вам стать известным писателем?

– Я всегда мечтал стать известным писателем. Потому что надеялся: вот стану я известным писателем, и кое-какие проблемы решатся сами собой. А потом я вдруг стал известным писателем, и оказалось, что проблемы никуда не делись.

– Кое-какие? Это какие же?

– Скажем так: связанные с девушкой.

– Ох, извините меня, ради бога.

– Мне очень хотелось произвести на нее впечатление.

– Дайте-ка я угадаю. Вы стали писателем, чтобы произвести впечатление на девушку. Но у вас с ней ничего не вышло.

– Да.

– Что ж, распространенный случай.

– Мне до сих пор кажется, что у меня могло бы получиться. Я мог бы ее покорить. Просто надо было действовать чуть иначе. Принимать правильные решения.

ОНА МОЖЕТ СТАТЬ ТВОЕЙ!

История из серии “Выбери приключение”

Это не обычная история. Развязка этой истории зависит от твоих

решений. Хорошенько подумай, прежде чем делать выбор, ведь это повлияет на то, чем все закончится.

Ты застенчивый, пугливый, отчаявшийся молодой человек, который по определенным причинам решил стать писателем.

Известным писателем. Очень известным. Даже, быть может, лауреатом каких-нибудь премий. Ты полагаешь, что, став известным писателем, сумеешь решить главную свою проблему. Но как же этого добиться?

На самом деле все оказывается очень просто. Ты этого не знаешь, но у тебя есть все необходимые писателю качества. Дело уже на мази.

Первое и самое главное: ты в отчаянии, потому что думаешь, будто тебя никто не любит и никогда не полюбит.

Тебя все бросили и никто не ценит.

Особенно женщины.

Особенно твоя мать.

Твоя мать и одна девушка, которой ты одержим с детства, девушка, от которой у тебя голова идет кругом, из-за которой ты места себе не находишь, ничего не соображаешь, ходишь мрачнее тучи. Ее зовут Бетани, и из-за любви к ней ты словно горишь в огне, как полено в костре.

Вскоре после того, как мать тебя бросила, семья Бетани перебралась на Восточное побережье. Между этими двумя событиями нет никакой связи, но тебе кажется, что есть: это поворотный момент в твоей жизни, этот месяц в начале осени, когда детство твое раскалывается пополам. На прощанье Бетани обещает тебе писать и действительно пишет: раз в год поздравляет тебя с днем рождения. Ты читаешь ее письмо и тут же садишься за ответ, пишешь, как безумный, до трех часов ночи, черновик за черновиком, пытаешься написать идеальное письмо, чтобы не стыдно было отправить Бетани. А потом еще месяц, как одержимый, регулярно проверяешь почтовый ящик. Но ответа нет как нет, и лишь через год на твой день рождения снова приходит письмо с новостями. Бетани теперь живет в Вашингтоне. По-прежнему играет на скрипке. Берет уроки у лучших педагогов и, по их словам, подает большие надежды. Ее брат поступил в военное училище; ему там очень нравится. Отец в основном живет в квартире на Манхэттене. Деревья цветут. Бишоп передает привет. В школе интересно.

Холодный и безразличный тон письма ввергает тебя в отчаяние, но, дочитав до конца, ты видишь подпись: “Люблю, Бетани”.

Она пишет не “С любовью”, не “Целую-обнимаю”, вообще ничего из того, что пишут для галочки. Бетани пишет “Люблю”, и это слово поддерживает тебя целый год. Разве стала бы она писать “Люблю”, если бы

по правде не любила? Почему не выбрала какую-нибудь другую подпись, как все? “С наилучшими пожеланиями”, “Будь здоров”, “С приветом”.

Нет, она пишет “Люблю”.

Но отчего же тогда ее письмо так равнодушно, осторожно и невинно, отчего в нем нет ни романтики, ни любви? Как объяснить этот диссонанс?

И ты понимаешь: родители читают ее переписку.

Они следят за вашим общением. Потому что, хоть напрямую ты не был замешан ни в чем таком, все же ты был лучшим другом Бишопы, брата Бетани, в ту пору, когда он донимал дикими каверзами директора школы. И родителям Бетани, видимо, не нравишься ни ты, ни то, что она тебя любит. Поэтому сообщить тебе о своей любви так, чтобы цензоры ни о чем не догадались, она может лишь украдкой, в самом конце, где и пишет самое главное: “Люблю”.

Теперь, отвечая на письма, ты предполагаешь, что их прочтут чужие глаза. Вот и рассказываешь Бетани о всякой чепухе, при этом пытаешься намекнуть, как сильно ее любишь. Ты воображаешь, будто она заметит твою любовь на полях письма, которая, точно призрак, витает над словами, ускользая от зоркого родительского ока. И, разумеется, в конце ты пишешь “Я тоже тебя люблю”, чтобы показать ей: ты все понял, ты догадался, что она хотела тебе сказать. Вот так вы и общаетесь, словно два разведчика в войну: прячете единственный важный факт среди вороха банальностей.

А потом ты еще год ждешь следующего письма.

Пока же ты считаешь дни, когда вы оба наконец закончите школу и поступите в университет, и там-то Бетани, вырвавшись наконец из-под родительского надзора, сможет признаться, что чувствует к тебе на самом деле. Ты тешишь себя мечтами, как вы поступите в один и тот же университет, начнете встречаться, и как здорово будет появляться на вечеринках под руку с Бетани, как тебя все сразу зауважают, еще бы, ведь ты встречаешься с молодой талантливой скрипачкой, красивой и талантливой скрипачкой (нет, не просто красивой – потрясающей, ослепительно прекрасной, ты знаешь об этом, потому что Бетани в ежегодном своем письме время от времени присылает тебе фотографии, на которых она с братом, и пишет на обороте: “Мы по тебе соскучились! Б. и Б.”, и ты ставишь эту фотографию на тумбочку возле кровати, и первую неделю толком не спишь, потому что каждый час просыпаешься от странного кошмара, что фотографию унесло ветром, или она рассыпалась на части, или же кто-то пробрался к тебе в комнату и украл ее, ну и так далее). Ты правда надеешься, что вы будете учиться в одном университете, пока Бетани не поступает в Джульярдскую школу, и ты сообщаешь отцу,

что поедешь учиться в Джульярдскую школу, а отец, приподняв бровь, снисходительно бросает: “Ну-ну”, ты не понимаешь, чего это он, но потом находишь в кабинете у школьного психолога брошюру из Джульярдской школы и выясняешь, что там учат в основном музыке, танцам и актерскому мастерству. К тому же обучение стоит раз в десять больше, чем отец отложил тебе на учебу.

В общем, облом.

Ты меняешь планы и сообщаем отцу, что будешь поступать не в Джульярдскую школу, а в какой-нибудь нью-йоркский университет.

– Может быть, в Колумбийский, – размышляешь ты, потому что, если верить карте Нью-Йорка, которую ты нашел в библиотеке, этот университет находится по соседству с Джульярдской школой. – Или Нью-Йоркский.

Генри, который как раз пробует консистенцию замороженного блюда под названием “киш”, изготовленного по новой технологии, – катает во рту жидкость, похожую на взбитое сырое яйцо, и делает пометки в диаграмме из пятнадцати пунктов, на мгновение замирает, глотает, смотрит на тебя и отвечает:

– Это слишком опасно.

– Да ладно тебе.

– В Нью-Йорке совершается больше убийств, чем в любом другом городе мира. Я тебя туда не отпущу.

– Ничего там не опасно. А если даже в городе и опасно, то на кампусе безопасно. Буду сидеть на кампусе.

– Послушай. Как бы тебе объяснить? Ты живешь на тихой улочке в маленьком городке. В Нью-Йорке таких улочек нет. Там все другое. Тебя там живьем съедят.

– Есть в Нью-Йорке тихие улочки, – упираешься ты. – Я не пропаду.

– Ты не уловил метафоры. Кстати, я именно об этом тебе и говорю. Одни люди выросли на улицах. А другие – на тихих улочках.

– Пап, ну хватит.

– К тому же это слишком дорого, – добавляет отец и снова принимается за киш. – Нам по карману только государственный университет, причем в нашем штате. Вот и все.

На этом разговор заканчивается. Вскоре ты узнаешь о том, что существует электронная почта, и все ученики ею пользуются, а Бетани в следующем письме присылает тебе электронный адрес, ты отправляешь ей электронное письмо, и на этом с бумажными письмами покончено. Плюс в том, что теперь вы с Бетани можете чаще писать друг другу, хоть каждую

неделю. Электронные письма доходят моментально. Сперва ты радуешься, но где-то через месяц понимаешь, что теперь у тебя нет ничего материального, ни единой вещи, которой касалась бы Бетани, всего того, что так утешало тебя в подростковые годы, когда ты держал в руках плотную бумагу, исписанную ее бисерным почерком, – Бетани была за тысячи километров, но вместо нее было это письмо. Можно было закрыть глаза, взять его и почувствовать, как она трогала бумагу, как переворачивала страницы, как лизала конверт. И если представить, поверить, как верят в пресуществление Христа, этот лист бумаги на мгновение обретал плоть. Становился ее телом. Потому-то после того, как вы начали регулярно писать друг другу электронные письма, тебе стало одиноко, как никогда. Исчезло телесное воплощение Бетани.

Как и подпись “Люблю”.

В университете, то есть в Джульярдской школе, “Люблю” в конце ее писем вскоре сменилось дурашливым “Лю”, и это тебя больно ранит. “Лю”! Вот что случается с настоящей любовью, если отнять у нее традиции и достоинство.

Беда еще и в том, что, хоть Бетани и вырвалась из-под родительского надзора, тон ее писем толком не изменился. Он скорее информативный. Как в университетской брошюре. И несмотря на то, что теперь Бетани может не сдерживаясь писать о чувствах, она прибегает к привычным моделям: делится новостями – и только. Словно за девять лет переписки она так к этому привыкла, что никак не выбьется из колеи и по-другому общаться уже не может. И неважно, что Бетани очень подробно пишет о том, что происходит в ее жизни: что одни предметы легкие (например, сольфеджио), а другие трудные (диатоническая гармония), что виолончелистка из ее группы – настоящий талант, что в общежитии кормят отвратительно, что у ее соседки по комнате, перкуссионистки из Калифорнии, после игры на тарелках частенько болит голова, – всей этой информации не хватает человечности и тепла. Не хватает близости. Романтикой здесь и не пахнет.

А потом Бетани начинает рассказывать о парнях. Которые с ней заигрывают. Нахальные парни, которые на вечеринках отпускают такие шуточки, что Бетани от хохота проливает вино. Парни, обычно из секции медных духовых, обычно тромбонисты, которые приглашают ее на свидания. И более того: она соглашается. И более того: ей нравится ходить с ними на свидания. А у тебя кровь кипит, потому что ты томился по этой женщине девять лет, а эти парни, эти чужаки, за вечер умудряются добиться от нее большего, чем ты за всю жизнь. Так нечестно. После всего,

что тебе пришлось вынести, ты заслуживаешь лучшего. Примерно тогда же “Люблю” меняется на “Лю”, потом на “С любовью”, а потом и вовсе на смайлики – мол, целую-обнимаю. Тогда ты понимаешь, что ваши отношения существенно изменились. Ты прохлопал свой шанс.

Впрочем, знаменитым писателем без этого не стать. Без неудачного опыта. Благодаря ему ты обзаводишься богатым внутренним миром: все время представляешь, что было бы, если бы ты не облажался, и думаешь, как вернуть Бетани. Во-первых, надо утереть нос тромбонистам. Как? Написать глубокое серьезное произведение с претензией на художественность и интеллектуальность. Потому что тебе все равно не удастся так рассмешить Бетани, чтобы она пролила вино. Тут ты с тромбонистами тягаться не можешь. Стоит тебе подумать о Бетани или сесть за письмо, как ты становишься смертельно серьезен и строг. Точно верующий в церкви, который боится прогневать Того, кто может его уничтожить, и держится торжественно и церемонно. С Бетани ты начисто теряешь чувство юмора.

И вот ты пишешь совершенно серьезные рассказы на Важные Социальные Темы и страшно доволен собой: еще бы, ведь шутники-тромбонисты Важные Социальные Темы обходят молчанием (“обходить молчанием” – это клише, которое наверняка используют тромбонисты, ничуть не заботясь о стиле, ты же художник, ты должен писать оригинально, и тебе такое не пристало). Ты уверен, что стать писателем следует лишь для того, чтобы доказать Бетани: ты уникальный, ты особенный, ты не такой, как все, ты чувствуешь и поступаешь иначе. Тебе кажется, что писательство – нечто вроде самого оригинального и интересного костюма на вечеринке в Хэллоуин. Так что, когда ты решаешь стать писателем – в двадцать с небольшим лет, когда поступаешь в аспирантуру на литературное мастерство, – то усваиваешь подобающий писателю стиль жизни: ходишь на всякие модные псевдохудожественные чтения, тусуешься в кофейнях, носишь черное, подбираешь себе целый гардероб мрачных темных шмоток, которые вполне могли бы носить те, кто выжил после апокалипсиса или какой-нибудь массовой резни, выпиваешь, иногда до поздней ночи, покупаешь блокноты в кожаных обложках, тяжелые металлические ручки (ни в коем случае не шариковые, упаси боже, не такие, что нажал на кнопку – щёлк, и появился стержень), и сигареты, сперва обычные, которые можно найти на любой заправке, а потом пижонские, европейские, в длинных плоских пачках, которые продают только в специальных табачных лавках и магазинах, где торгуют принадлежностями для курения табака, травы и кальяна. Сигареты

помогают отвлечься, когда ты на каком-нибудь мероприятии и не знаешь, куда себя деть, потому что тебе кажется, будто все тебя оценивают и осуждают. Они выполняют ту же функцию, что и смартфоны лет пятнадцать спустя: нечто вроде социального щита. Если тебе неловко, можно достать из кармана сигареты и вертеть в руках. А неловко тебе почти всегда, и ты, разумеется, винишь в этом мать.

О, конечно, ты никогда об этом не пишешь. Ты вообще стараешься не заниматься самокопанием. В твоей душе таится нечто такое, чего ты предпочитаешь не замечать. Расплавленная масса злости и жалости к себе, которым ты не даешь хода, поскольку не признаешь эти чувства, не обращаешь на них внимания. Ты пишешь о чем угодно, только не о себе. Ты пишешь мрачные, тяжелые, жестокие рассказы, из-за которых все думают, будто тебе есть что скрывать. Видимо, тебе пришлось пережить немало ужасов. Ты пишешь рассказ о пластическом хирурге, насильнике и алкоголике, который каждый вечер напивается и насилует дочь-подростка разными невообразимо жестокими способами, и эта жуть тянется чуть ли не до окончания школы, но в конце концов девушка решает отравить отца ботулотоксином, который стащила из его же запасов ботокса, и подливает яд в банки с коктейльной вишней, так что после нескольких коктейлей отца разбивает полный паралич, и тогда дочь зовет жестокого маньяка, с которым непонятно как и где познакомилась, чтобы тот насилует ее отца, причем отец в сознании и все чувствует, а после того как отец получает по заслугам, дочь его убивает – отрезает ему гениталии и бросает истекать кровью в подвале, где никто не слышит его криков, и он умирает там неделю.

Другими словами, ты пишешь о том, чего не пережил и не знаешь.

Тебя заботит лишь одно: что подумает Бетани, когда будет это читать. Все эти рассказы – лишь масштабный нескончаемый спектакль, который ты устроил с одной-единственной целью: вызвать у Бетани определенные чувства. Заставить ее поверить, что ты талантлив, умен, что ты глубоко понимаешь искусство и создаешь высокохудожественные произведения. Заставить ее полюбить тебя снова.

Парадокс в том, что ты не показываешь ей ни одного рассказа.

Потому что, несмотря на то что ты тусуешься с пишущей братией, ходишь на занятия по писательскому мастерству, одеваешься, как писатель, куришь, как писатель, ты все же вынужден признать, что пишешь так себе. На занятиях твои тексты слушают равнодушно, преподаватели особого интереса тоже не проявляют, а многочисленные издатели, которым ты отправляешь рассказы, присылают анонимные шаблонные отказы. Но

хуже всего, что преподаватель спрашивает тебя во время неожиданно напряженной консультации: “Почему вы решили стать писателем?”

Имеется в виду, что это ты зря.

“Я всегда мечтал стать писателем”, – заученно отвечаешь ты, зная, что это неправда. Ты мечтал стать писателем вовсе не всегда, а лишь с тех пор, как мать тебя бросила, тебе тогда было одиннадцать лет, но, поскольку с тех пор все так переменилось, как будто до того жил не ты, а какой-то совсем другой человек, пусть будет “всегда”. Тем более что в тот день у тебя началась новая жизнь.

Но об этом ты преподавателю не рассказываешь. Это ты держишь в себе, вместе со всей прочей правдой, так что вовне правды никакой и нет. Утро, когда исчезла мать, ты и вовсе прячешь глубоко в душе; она тебя тогда еще спросила, кем ты хочешь стать, когда вырастешь. И ты ответил: “Писателем”. Она улыбнулась, поцеловала тебя в лоб и пообещала читать все, что ты напишешь. Ты решил стать писателем, чтобы хоть так разговаривать с нею, пусть и без ответа, как в молитве. Тебе кажется, что, если ты напишешь что-нибудь по-настоящему стоящее, она это прочтет и осознает (правда, непонятно, с чего вдруг), как ошиблась, когда бросила тебя.

Беда в том, что ты не способен написать ничего хотя бы мало-мальски стоящего. Даже близко. Сколько ни учишься, все равно чего-то не хватает, а чего – непонятно.

– Правды, – предполагает преподаватель на последней консультации в учебном году: тебя вызвали, потому что перед окончанием учебы нужно написать еще один рассказ, и твой преподаватель (впрочем, не особенно надеясь на успех) старается убедить тебя напоследок написать “что-нибудь правдивое”.

– Но я же пишу художественные произведения, – возражаешь ты. – Там всё вымысел.

– Мне все равно, как вы это назовете, – отвечает преподаватель. – Просто напишите что-нибудь правдивое.

И ты описываешь одну из немногих случившихся с тобой правдивых историй. О близнецах, которые живут в пригороде Чикаго. Сестра – подающая надежды скрипачка. Брат – хулиган. За ужином они сидят, боясь пошевелиться, под суровым взглядом отца, фондового брокера, потом их отпускают, и по ночам они отправляются на поиски приключений – в частности, потихоньку отравляют воду в гидромассажной ванне соседа, директора их элитарной частной школы. Отравляют очень просто: большими дозами пестицидов. Но почему? Зачем брату травить директора

школы? Что такого натворил директор, чем он это заслужил?

Ответить на этот вопрос просто, а вот написать об этом куда сложнее.

Несколько лет назад ты вдруг обо всем догадался. Тебе наконец удалось соединить точки, которые в одиннадцать лет соединить не получалось. Почему Бишоп знал такое, о чем детям знать не положено. О сексе. Как в тот день, когда вы вдвоем были на пруду, он наклонился и прижался к тебе – откуда он знал, какую позу принять и что нужно делать? Как ему вообще такое в голову пришло? Как он додумался соблазнить директора, чтобы избежать порки? Где он раздобыл всю эту гнусную порнографию, все эти полароидные снимки? Почему он вечно выпендривался? Зачем хулиганил? За что его выгнали из школы? Зачем он убивал зверюшек? Зачем отравил директора?

Все это ты вдруг понял в старшей школе. Шел утром на уроки, даже не думал ни о Бишопе, ни о директоре, вообще ни о чем таком, как вдруг тебя осенило, будто видение снизошло, словно все это время твой мозг подспудно пытался собрать целое из частей: Бишопу изнасиловали. Его совратили. Ну разумеется! И сделал это не кто иной, как директор школы.

Тебя охватило такое чувство вины, что ты пошатнулся. Ты уселся прямо на землю перед чьим-то домом, оглушенный, изумленный. Кружилась голова. Ты пропустил первые три урока. Тебе казалось, будто ты сломался прямо там, на лужайке.

Как же ты раньше этого не понял? Ты так увлекся своими переживаниями – влюбленностью в Бетани, выбором подарка для нее в торговом центре (тогда казалось, что ничего важнее в мире быть не может!), – так увлекся собой, что не заметил трагедии, которая разворачивалась прямо у тебя перед глазами. Проницательность и способность к сопереживанию напрочь тебе отказали.

Видимо, поэтому ты в конце концов решаешься об этом написать. В рассказе про близнецов ты описываешь, как брата насиловал директор. Ты не ходишь вокруг да около, не отделяешься намеками. Ты прямо пишешь о том, что, по твоему мнению, произошло. Ты пишешь правду.

Как и следовало ожидать, однокурсникам тебя слушать скучно. Им уже надоел и ты, и твои темы. Очередная история о растлении малолетних, говорят они. Слышали-знаем. Давай дальше. Но твой преподаватель неожиданно приходит в восторг. Говорит, что этот рассказ – совсем другое дело: в нем есть человечность, щедрость, теплота и искренность чувств, которых не хватало твоим прежним потугам. А потом, в очередной личной беседе, преподаватель сообщает, что некий Перивинкл, большая шишка в одном нью-йоркском издательстве, ищет молодые таланты, новые имена и

спрашивает, можно ли послать ему твой рассказ.

И это последний шаг на пути к писательской славе. Это последний шаг на пути к цели, которую ты поставил себе, когда ушла мать: издали произвести на нее впечатление, заслужить ее одобрение и похвалу. И это последнее, что нужно сделать, чтобы Бетани снова тебя заметила, поняла, какой ты классный, не чета этим тромбонистам, и полюбила тебя так, как ты того заслуживаешь.

Тебе лишь нужно сказать “да”.

Чтобы сказать “да”, переверни страницу...

Ты говоришь “да”. Не задумываясь об отдаленных последствиях. Ни минуты не заботясь о том, как Бетани и Бишоп отнесутся к тому, что ты раскрыл их подноготную. Тебя так ослепляет желание впечатлить, потрясти, вызвать восхищение тех, кто тебя бросил, что ты соглашаешься. Да, конечно!

Преподаватель посылает рассказ Перивинклу, и далее события развиваются стремительно. На следующий день тебе звонит Перивинкл. Называет тебя “важным новым голосом американской словесности” и сообщает, что хочет включить твой рассказ в сборник молодых талантов.

– Заголовок для прессы пока не придумали: скорее всего, назовем его “Голос будущего”, – говорит Перивинкл, – или “Будущее”, или даже “Туса”: многим нашим консультантам, как ни странно, это название очень нравится.

Перивинкл отдает рассказ наемным авторам, чтобы те его причесали. “Ничего такого, – поясняет он, – обычное дело”, – потом пристраивает его в толстый журнал, который задает тон в литературе, и тебя называют одним из пяти лучших американских писателей моложе двадцати пяти лет. Потом Перивинкл, пользуясь твоей популярностью, всеми правдами и неправдами заключает невысказанный контракт на книгу, которая еще даже не написана. Об этом в начале 2001 года пишут в газетах вместе с прочими хорошими новостями: об информационной супермагистрале и новой экономике, – в общем, о том, что нация на всех парах летит вперед.

Поздравляю.

Теперь ты известный писатель.

Но радость твою омрачают два обстоятельства. Первое – от матери ни звука. Зловещее молчание. Вообще непонятно, читала ли она рассказ.

Второе – Бетани, которая, разумеется, прочитала рассказ, больше тебе не пишет. Ни электронных, ни бумажных писем, ничего. Ты пишешь ей письма, спрашиваешь, что случилось. Потом понимаешь, что, похоже, что-

то действительно случилось, и ты просишь ее объяснить, что не так. Потом ты догадываешься: наверно, Бетани разозлилась на то, что ты украл историю ее брата и неплохо на этом нажился. Ты пытаешься оправдать свой поступок тем, что, дескать, это священное право писателя, и извиняешься за то, что не согласовал это предварительно с ней. Ответа ни на одно из писем нет, и постепенно ты понимаешь, что история, которая, как ты надеялся, должна была вернуть тебе Бетани, наоборот, лишила тебя всякой надежды на то, что она когда-нибудь станет твоей.

Бетани не пишет тебе несколько лет, и все эти годы ты тоже не пишешь, несмотря на ежемесячные воодушевляющие звонки от Перивинкла, которому не терпится прочесть рукопись. Но рукописи нет, а следовательно, и читать нечего. Каждое утро ты просыпаешься, намереваясь писать, но так ничего и не пишешь. Ты и сам не помнишь, чем занимаешься дни напролет, но уж точно не пишешь. Так проходят месяцы – без единой строчки. На весь свой аванс ты покупаешь большой дом и в нем ничего не пишешь. Пользуясь минутой славы, пристраиваешься преподавателем в местный университет, где читаешь студентам лекции по литературе, но сам ничего не пишешь. У тебя не то что бы “ступор”. Просто исчезла причина писать, главный твой мотив.

В конце концов от Бетани приходит письмо. Днем 11 сентября 2001 года, посланное ста с лишним адресатам. В нем говорится: “Я цела и невредима”.

Потом ранней весной 2004 года, в ничем не примечательный день, ты видишь во входящих письмо от Бетани Фолл, читаешь первый абзац, в котором она пишет, что должна сообщить тебе нечто важное, и у тебя екает сердце: ты думаешь, что она хочет признаться, что всю жизнь любила только тебя одного.

Но она пишет совсем не о том. Ты понимаешь это, когда переходишь к следующему абзацу, начинающемуся с предложения, от которого у тебя снова разрывается сердце. “Бишоп погиб”, – пишет Бетани.

Это случилось в прошлом году, в октябре. В Ираке. Он стоял рядом с бомбой, которая вдруг взорвалась. Прости, что не сообщила раньше, пишет Бетани.

Ты пишешь ответ, подробно расспрашиваешь ее как и что. Выясняется, что Бишоп, закончив военное училище, поступил в Вирджинский военный институт, а после выпуска пошел в армию обычным рядовым. Никто не мог понять почему. С такими знаниями и умениями ему полагалось офицерское звание и должность, но он отказался, причем с радостью, и, казалось, охотно выбрал более трудный, менее славный путь. Они с Бетани

тогда уже практически не общались, поскольку отдалились друг от друга и долгие годы виделись только на каникулах. Бишоп пошел в армию в 1999 году, провел два скучных года в Германии, а после 11 сентября его командировали сперва в Афганистан, затем в Ирак. Письма от него приходили пару раз в год, короткие, сухие, как служебные записки. Бетани тогда как раз начала пользоваться ошеломительным успехом, стала известной скрипачкой и писала Бишопу обо всем, что с ней происходит: обо всех концертных залах, где ей довелось выступать, о дирижерах, с которыми работала. Но он ей ни разу ничего не ответил. Только полгода спустя прислал короткое письмо со своими новыми координатами и характерной формальной подписью: “С уважением, рядовой первого класса Бишоп Фолл, Армия Соединенных Штатов”.

А потом его не стало.

Ты надолго погружаешься в уныние: короткая дружба с Бишопом кажется тебе экзаменом, который ты провалил. Рядом с тобой был человек, который нуждался в твоей помощи, но ты ему не помог, а теперь уже поздно. И ты пишешь Бетани о том, как тебе горько, потому что только она тебя поймет, и это, наверно, единственное твое письмо к ней, которое ты пишешь без всякой задней мысли, ни на что не надеясь и не хитря. Ты впервые не пытаешься неуклюже понравиться Бетани, а честно пишешь о том, что чувствуешь, признаешься, что тебе больно. После этого ваши отношения становятся чуть теплее: в ответном письме Бетани признается, что ей тоже больно. Эта боль вас объединяет, вы оба скорбите о Бишопе, проходят месяцы, вы начинаете разговаривать и на другие темы, боль вроде бы утихает, и наконец Бетани, впервые за несколько лет, подписывает письмо: “С любовью”. Твоя страсть разгорается с новой силой, ты опять принимаешься хитрить. “А вдруг это мой шанс?” – думаешь ты. И снова отчаянно тоскуешь по Бетани, снова мучаешься от любви. Наконец, в начале августа 2004 года, она приглашает тебя в Нью-Йорк. Мол, приезжай в конце месяца, на Манхэттене планируется торжественное шествие в память о солдатах, погибших в Ираке, а после него – тихий пикет у стен “Мэдисон-сквер-гарден”, где как раз будет проходить национальный съезд Республиканской партии. Бетани спрашивает, пойдешь ли ты с ней, и предлагает остановиться у нее.

Ты моментально теряешь сон, от волнения несколько ночей не смыкаешь глаз, все представляешь, как увидишь Бетани, и боишься, что проворонишь последний шанс покорить ее сердце. Словно ты герой одной из книг “Выбери приключение”, которые так любил в детстве, и должен сделать правильный выбор. Ни о чем другом ты думать не можешь до

самого дня отъезда: если ты в Нью-Йорке не оплошаешь, сделаешь правильный выбор, эта девушка станет твоей.

Чтобы поехать в Нью-Йорк, переверни страницу...

Ты едешь на машине из Чикаго в Нью-Йорк, остановившись раз в Огайо, чтобы заправиться, а другой в Пенсильвании, чтобы поспать: заселяешься в паршивый отельчик, но от волнения не можешь заснуть. На следующий день еще затемно проезжаешь остаток пути, оставляешь машину на крытой стоянке в Квинсе и на метро едешь в центр. В утреннем свете поднимаешься наверх: девять часов, на Манхэттене толпы народу. Бетани живет на одном из верхних этажей в доме номер 55 по Либерти-стрит, в нескольких кварталах от того места, где был Центр международной торговли, где ты сейчас, в конце августа 2004 года, и находишься. Там, где некогда высились башни, теперь расчищенная яма. Смотреть на это больно.

Ты обходишь вокруг ямы, шагаешь мимо уличных торговцев с фалафелем и засахаренными орехами, мимо ребят, которые продают кошельки и часы, разложив их прямо на земле, на одеялах, мимо конспирологов, раздающих брошюры о том, что на самом деле башни взорвало ФБР и что в дыме от второй башни проступил лик Сатаны, мимо туристов, которые встают на цыпочки и вытягивают шеи, силясь заглянуть за ограждение, поднимают камеры над головой, делают снимки, смотрят, что получилось, и снова фотографируют. Ты проходишь мимо всей этой суеты, мимо торгового центра на другой стороне улицы, где туристы из Европы, пользуясь тем, что доллар падает, а евро растет, набивают сумки джинсами и пиджаками, мимо кофейни, на дверях которой висит наклейка “Туалет только для посетителей”, шагаешь по Либерти-стрит, и какая-то мамаша, тянувшая за руки двоих детей, спрашивает у тебя: “Как пройти к «Одиннадцатому сентябрю?»”, и вот, наконец, ты на месте, на углу Либерти и Нассо, у дома Бетани.

Ты знаешь все об этом доме. Перед поездкой читал о нем в интернете. Построен в 1909 году, считался “самым высоким маленьким зданием в мире” (из-за маленького участка застройки), фундамент уходит вниз на пять этажей, что для здания такой высоты избыточно, но в 1909 году архитекторы еще толком не знали, как нужно строить небоскребы, вот и перестарались. По соседству находится Нью-йоркская торговая палата, в здании которой ныне располагается нью-йоркский офис Центрального банка Китая. На другой стороне Нассо-стрит, напротив заднего фасада Федерального резервного банка. Среди первых арендаторов в этом доме

числилась адвокатская контора, где служил Тедди Рузвельт.

Ты минуешь кованые ворота, заходишь в парадную дверь и попадаешь в золотой вестибюль, от пола до потолка отделанный кремовым камнем, плиты которого уложены так плотно, что швов не видно. Вестибюль кажется герметичным. Ты подходишь к стойке охраны и сообщаем сидящему за ней мужчине, что пришел к Бетани Фолл.

– Имя? – спрашивает он.

Ты отвечаешь. Он берет трубку и набирает номер. Дождаясь ответа, сверлит тебя глазами. Веки у него набрякли – не то от недосыпа, не то от скуки. Как назло, у Бетани всё не отвечают, и тебе становится неуютно под пристальным взглядом охранника, ты отворачиваешься и оглядываешься по сторонам, притворяясь, будто любишься строгостью и чистотой вестибюля. Ты отмечаешь, что лампочек не видно: все источники света хитроумно спрятаны в нишах и альковах, и от этого кажется, будто помещение не залито светом, а раскалилось и теперь светится изнутри.

– Мисс Фолл? – наконец говорит охранник. – К вам Сэмюэл Андерсон, пускать?

Охранник не сводит с тебя глаз. Лицо его бесстрастно.

– Понял. – Он вешает трубку, делает какое-то движение под столом – поворачивает ключ, щелкает выключателем, – отчего двери лифта раскрываются.

– Спасибо, – говоришь ты, но охранник, не обращая на тебя внимания, тарачится в монитор компьютера.

Чтобы подняться к Бетани в квартиру, переверни страницу...

Поднимаясь на лифте в квартиру, ты гадаешь, сколько можно торчать в коридоре, прежде чем Бетани решит, что ты заблудился. Ты чувствуешь, что тебе нужна минута-другая, чтобы собраться с духом. Ты так волнуешься, что сердце уходит в пятки. Ты пытаешься убедить себя, что так нельзя: глупо нервничать из-за Бетани. Если уж на то пошло, вы и знакомы-то были всего три месяца. Когда тебе было одиннадцать лет. Что за нелепость. Даже смешно. Стоит ли переживать из-за девушки, которую толком не знаешь? Почему она так много для тебя значит? Вот о чем ты спрашиваешь себя, и эти вопросы ничуть не помогают унять смятение.

Лифт останавливается. Двери открываются. Ты ожидал увидеть холл или коридор, как в гостинице, но лифт поднялся прямиком в залитую солнцем квартиру.

Ну разумеется. Бетани принадлежит весь этаж.

Тебя встречает никакая не Бетани. Молодой человек, примерно твоих

лет – под тридцать, может, чуть-чуть за тридцать. Выглаженная белая рубашка. Тонкий черный галстук. Идеально прямая осанка и взгляд свысока. Дорогие на вид часы. Вы с минуту разглядываете друг друга, ты уже готовишься извиняться, дескать, квартирой ошибся, но молодой человек произносит:

– Вы, должно быть, писатель.

Слово “писатель” он выговаривает с неким вызовом, словно считает, что это не профессия. Он произносит это, как фразу “Вы, должно быть, экстрасенс”.

– Да, это я, – отвечаешь ты. – Прошу прощения, мне нужна...

И в это мгновение за ним, как раз за его плечом, появляется она.

– Бетани...

Ты словно забыл на миг, как она выглядит, словно и не было фотографий, которые она вкладывала в письма, словно ты никогда и не искал в интернете ее портреты для афиш и рекламы, профессиональные фотографии с концертов и любительские – с вечеринок после концертов, где Бетани с улыбкой обнимает какого-нибудь богатого филантропа, – словно ты не помнишь ничего, кроме тех моментов, когда она дома играла на скрипке, думая, что ее никто не видит, а ты, влюбленный мальчишка, подглядывал за ней с улицы. Как же она сейчас похожа на ту себя – ту же сдержанную, сосредоточенную, уверенную девочку, – она и сейчас держится строго, подходит к тебе, платонически обнимает и целует в щеку, как тысячи друзей, поклонников, доброжелателей, не поцелуй, а намек, – чмокает воздух возле твоего уха и говорит:

– Сэмюэл, познакомься, это Питер Атчисон, мой жених, – так, словно это обычное дело.

Какой еще жених?

Питер пожимает тебе руку.

– Рад познакомиться, – произносит он.

Потом Бетани показывает тебе квартиру, а у тебя обрывается сердце, и ты чувствуешь себя, как последний дурак. Ты изо всех сил притворяешься, будто слушаешь ее рассказ, делаешь вид, что тебе интересно. Окна в квартире выходят все на одну сторону, так что видна строительная техника на западе, там, где раньше стояли башни-близнецы, и Уолл-стрит на юге.

– Это папина квартира, – поясняет Бетани, – но он больше здесь не бывает. С тех пор, как отошел от дел.

Она стремительно разворачивается и улыбается тебе.

– А ты знал, что здесь когда-то работал Тедди Рузвельт?

Ты делаешь вид, будто впервые об этом слышишь.

– Он начинал в банке, – поясняет Бетани. – Как Питер.

– Ха! – откликается Питер и хлопает тебя по спине. – Вот это я понимаю, большие надежды.

– Питер работал с моим папой, – говорит Бетани.

– У твоего папы, – поправляет он, и Бетани отмахивается.

– Питер прекрасно разбирается в финансах.

– Неправда.

– Правда! – возражает она. – Он обнаружил, что определенное число, формула, алгоритм, или как это называется – в общем, то, чем все пользуются, – так вот он догадался, что это ошибка. Милый, лучше ты сам объясни.

– Я не хочу утомлять нашего гостя.

– Но это интересно.

– Вы правда хотите, чтобы я рассказал?

Разумеется, тебе совершенно этого не хочется. Но ты киваешь.

– Я вам вкратце объясню, – начинает Питер. – Существует так называемое соотношение “пут-колл”. Знаете о таком?

Ты толком не расслышал, что он произнес – “пут-колл” или “протокол”, но отвечаешь:

– Не уверен. Напомните-ка.

– Это коэффициент, которым пользуются инвесторы, чтобы предсказать волатильность на финансовом рынке.

– Питер догадался, что это неправильно, – вставляет Бетани.

– В ряде случаев. В ограниченном ряде случаев оказывается, что с помощью этого коэффициента составить точный прогноз нельзя. Он отстает от торгов. Это примерно... как бы вам лучше объяснить? Это как верить, что от градусника становится жарче.

– Правда гениально? – замечает Бетани.

– Ну и вот, пока все ориентировались по этому коэффициенту, я принял решение вопреки ему. А дальше вы знаете.

– Правда же гениально? – не унимается Бетани.

Они оба смотрят на тебя и ждут.

– Гениально, – соглашаешься ты.

Бетани улыбается жениху. На пальце у нее торчит бриллиант. Такое ощущение, что золотое кольцо поднимает камень, как бейсбольный болельщик – мяч, вылетевший за пределы поля.

Все время, пока вы болтаете о том о сем, ты почти не смотришь на Бетани. Ты смотришь на Питера, потому что не хочешь, чтобы он заметил, как ты пялишься на Бетани. Глядя на него, а не на нее, ты как бы даешь ему понять, что не собираешься отбивать у него невесту: ты понимаешь это лишь через несколько минут. Тем более что, стоит тебе перевести взгляд на Бетани, и ты вздрагиваешь от неожиданности: сколько бы ты ни видел ее фотографий, в жизни она оказалась совсем другой. Так снимки знаменитых картин не передают их истинной красоты, которая ошеломляет, когда видишь полотно вживую.

Бетани невыразимо прекрасна. Кошачьи черты с годами обозначились резче. Брови домиком. Твердый подбородок, плавная линия шеи. Зеленые глаза смотрят холодно. Черное платье, скромное, но с открытой спиной. Колье, серьги и туфли *образуют ансамбль* (точнее не скажешь).

– Ну что, может, выпьем? Не рановато? – спрашивает Питер.

– С удовольствием! – чересчур охотно откликаешься ты. Чем сильнее тебя тянет к невесте этого парня, тем любезнее ты с ним обращаешься. – Спасибо!

Он объясняет, что нальет тебе какой-то крутой виски – “Не каждый день в гости приезжает друг по переписке!” – они купили его в Шотландии, куча наград, какой-то журнал впервые в истории присвоил ему высший балл, этот виски вообще нигде не купишь, кроме как на самой вискокурне, технологию и рецепт держат в секрете и вот уже десять поколений передают от отца к сыну – и все время, пока Питер распинается про виски, Бетани смотрит на него с гордой материнской улыбкой, – он протягивает тебе стакан с толстыми стенками, куда сантиметра на два налита жидкость соломенного цвета, рассказывает, как виски льнет к стенкам, какие узоры образует, если качнуть бокал, и что по этому можно судить о качестве скотча, потом добавляет что-то про прозрачность, заставляет тебя поднять стакан и полюбоваться на свет, который сочится сквозь жидкость, и ты неожиданно видишь в искажении извилистые, дрожащие очертания подъемных кранов над ямой Центра международной торговли.

– Здорово, правда? – спрашивает Питер.

– О да.

– Попробуйте и скажите, как вам.

– Что?

– Мне интересно, как вы опишете его вкус, – поясняет Питер. – У писателей же язык подвешен.

Он что, издевается? – недоумеваешь ты и пробуешь скотч. Ну что тут скажешь? Виски как виски. Типичный скотч. Ты роешься в памяти, пытаешься подобрать слова, которыми обычно описывают вкус скотча. Вспоминаешь определение “торфянистый”, но, если честно, не знаешь, что оно значит. Единственное, что приходит на ум, – прилагательное “крепкий”: точное, не придерешься.

– Крепкий, – говоришь ты, и Питер смеется.

– Крепкий? – повторяет он и покатывается со смеху. Смотрит на Бетани, бросает: – Он говорит, крепкий. Ха! Ну еще бы. Крепкий.

Так проходит остаток утра. Бетани пичкает тебя ничего не значащими фактами, а Питер то и дело находит повод многословно похвастаться

очередной изысканной вещицей: например, редчайшим в мире кофе, который они покупают, – какие-то млекопитающие семейства кошачьих, которые водятся на Суматре, поедают плоды кофейного дерева (причем выбирают самые лучшие), потом испражняются ими, причем в процессе пищеварения зерна кофе обретают насыщенный вкус, который раскрывается при обжарке, утверждает Питер. Или вот взять хотя бы его носки: их шьет вручную та же итальянская мастерица, что и для Папы Римского. Постельное белье в гостевой спальне соткано из нитей какой-то четырехзначной плотности: по сравнению с ним египетский хлопок – наждачная бумага.

– Большинство не обращает внимания на нюансы, – разглагольствует Питер, обнимая Бетани. Ноги он задрал на журнальный столик. Вы сидите на кожаных секционных диванах в центре залитой солнцем квартиры. – Я так жить не могу. Понимаете? Ведь в чем разница между Бетани и какой-нибудь средненькой скрипачкой? В нюансах. Вот поэтому мы с ней так хорошо друг друга понимаем.

Он легонько пожимает ее талию.

– Правда! – улыбается Бетани.

– Большинство людей мечутся, так торопятся жить, что не успевают ни насладиться жизнью, ни почувствовать благодарность за то, что живут. Знаете, что я думаю? Надо наслаждаться каждым временем года. Вдыхать воздух. Пить виски или вино. Есть фрукты. А знаете, кто это сказал? Генри Торо. Я читал “Уолдена” в колледже. И понял, что главное – чувствовать, что живешь. Любоваться окружающим миром. Ладно, – он бросает взгляд на часы, – мне пора. У меня через пару часов встреча в Вашингтоне, а потом в Лондоне. Веселой вам демонстрации, хиппи. Смотрите, пока меня нет, не свергните правительство.

Они с Бетани обмениваются страстными поцелуями, потом Питер Атчисон надевает пиджак и быстро уходит. Бетани смотрит на тебя. Вы наконец-то одни. Не успеваешь ты спросить, почему он назвал тебя “другом по переписке”, как она произносит с оживлением, убивающим всякую надежду на откровенный разговор:

– Ну что, нам тоже пора! Сейчас вызову водителя.

Ты думаешь, что, быть может, в машине, по дороге на демонстрацию вам удастся с глазу на глаз поговорить по душам, но едва вы забираетесь на заднее сиденье “кадиллака эскалейд” и трогаетесь с места, как Бетани принимается болтать о том о сем с водителем, пожилым морщинистым греком по имени Тони, и ты узнаешь, что три его дочери и восемь внуков проживают хорошо, просто замечательно, причем Бетани настаивает, чтобы

он рассказал о каждой: где они сейчас, что подделывают, все ли у них благополучно и так далее. Так продолжается примерно до Тридцать четвертой улицы, разговор с Тони течет своим чередом, пока у него не заканчиваются потомки, на мгновение повисает тишина, но Бетани тут же включает в салоне телевизор, ловит новостной канал, где уже давно идет передача о съезде Республиканской партии и связанных с ним протестах, спрашивает: “Ты слышал, что о нас говорят? В голове не укладывается!” – и остаток пути либо ругает ведущих, либо пишет эсэмэски.

Новости действительно обескураживают. Репортеры называют “маргиналами” тебя и таких же, как ты, участников протеста. Говорят, что вообще непонятно, откуда вы взялись. Провокаторы. Мятежники. Укурки. Показывают кадры протестов в Чикаго в 1968 году: какой-то парень швыряет кирпич в окно гостиницы. Потом рассуждают о том, как эти акции протеста повлияют на неопределившихся избирателей из глубинки. Они, журналисты, считают, что у рядового избирателя такие протесты не вызовут ничего, кроме отвращения. “У обычного избирателя из Огайо они не встретят поддержки, – заявляет один из собравшихся в студии – не ведущий и не репортер, а просто гость, которого позвали выразить мнение. – В особенности если начнутся беспорядки, – продолжает он. – Если здесь повторится то же, что было в Чикаго в шестьдесят восьмом, бьюсь об заклад, республиканцам это будет только на руку”.

Все это время Бетани щелкает кнопками мобильного, ее музыкальные пальцы порхают над крохотной клавиатурой: раздается негромкий стрекот, словно слушаешь в противошумных наушниках, как бьют чечетку. Она так увлеклась перепиской, что не замечает, как ты глазеешь на нее – точнее, не обращает на это внимания, – а ты смотришь на ее профиль, потом на шишку на шее, куда упирается скрипка, когда Бетани играет, там грубая мозоль, похожая очертаниями на цветную капусту, единственная неровность на гладкой коже Бетани, блеклые темно-коричневые пятнышки на бледном рубце, уродливый нарост, отметина скрипача, который всю жизнь не расстается с инструментом, и ты вспоминаешь, что сказала тебе мать незадолго до ухода. Она сказала: “То, что больше всего любишь, рано или поздно причинит тебе самую сильную боль”. Наконец вы приезжаете на место – к лугу в Центральном парке, с которого начнется сегодняшний марш протеста, – Бетани засовывает телефон в сумочку, вылезает из машины, и ты догадываешься, что побеседовать по душам, о чем ты так мечтал, уже не получится, у тебя падает сердце, тебе уже не хочется ничего, только уехать из Нью-Йорка и лет десять не показываться никому на глаза: тут-то ты понимаешь, до чего мама была права. То, что мы

больше всего любим, уродует нас сильнее всего. Как и наша тяга к таким вещам.

Чтобы последовать за Бетани в парк, переверни страницу...

Гробы готовы и ждут вас.

На огромном, точно поле стадиона, лугу Шип-Мидоу, поросшем пучками травы, сложены штабелями тысяча, если не больше, гробов.

– Что это? – спрашиваешь ты.

Сотни завернутых в американские флаги гробов выглядят устрашающе. Между гробами ходят люди, многие фотографируют, кто-то разговаривает по мобильному или, собравшись в круг, ногами перебрасывает друг другу набитый песком мешочек.

– Это наш марш, – поясняет Бетани, как будто ничего странного здесь нет.

– Признаться, я представлял себе все несколько иначе, – сообщаем ты.

Она пожимает плечами и проходит мимо тебя в парк, в гущу толпы, к гробам.

Вокруг гробов кипит обычная жизнь, и от этого зрелище кажется еще более странным. Мужчина, выгуливающий собак, выглядит здесь неуместно, если не неприлично: собаки тянут его к гробам, хотят их обнюхать, и окружающие с тревогой наблюдают за этой сценой – вдруг собаки попишут на гробы? Но ничего такого не происходит. Обнюхав гробы, собаки теряют к ним интерес и отправляются делать свои дела в другое место. Женщина с портативным мегафоном, одна из организаторов, напоминает собравшимся, что это не просто гробы, а тела усопших. И относиться к ним следует соответственно. Это тела солдат, погибших в Ираке, поэтому, пожалуйста, проявите к ним уважение. “Да уж можно было догадаться”, – с неодобрением перешептываются участники марша, разглядывая вновь прибывших, которые вырядились, как на карнавал: вот труппа в костюмах колониального периода, отцы-основатели с гипсовыми головами, которые в дюжину раз больше обычной человеческой головы; вот стайка женщин в ярко-красном, белом и голубом, в руках у них гигантские straponы в виде межконтинентальных баллистических ракет; куча народу в масках Джорджа Буша с усами, как у Гитлера. Все гробы обтянуты американскими флагами, и оттого выглядят точь-в-точь как те гробы, которые в телерепортажах достают из багажных отсеков самолетов, что доставляют тела погибших солдат на ту самую авиационную базу в Делавэре. Женщина с мегафоном сообщает, что тел хватит на всех, но если вы хотите нести кого-то конкретно, пожалуйста, подойдите к ней и

отметьтесь в ведомости. На марш просили явиться в черном, и многие так и сделали. Кто-то где-то играет на барабанах. Вдоль Восьмой авеню припаркованы фургоны информационных каналов – с яркими логотипами и спутниковыми тарелками, которые тянутся в небо, точно карликовые сосны. Сегодня много плакатов с лозунгами “Буш, остановись!”, “Буша под суд” и разнообразными каламбурами на садово-огородные и сексуальные темы^[28]. Две загорающие на траве девушки в бикини никак не соглашаются присоединиться к протесту. В толпе снуют торговцы, которые продают воду в бутылках, всевозможные антиреспубликанские значки, наклейки на бампер, футболки, кружки, ползунки, шляпы, козырьки от солнца, детские книжки с картинками, на которых республиканцы изображены в виде монстров под кроватями. Кто-то явно курит или только что курил марихуану. “ДОЛОЙ БУША, ИБО ОН МЕРЗОСТЬ ЗЕМНАЯ”, – написано на одном из плакатов, и эта, а также другие явно евангельские формулировки приводят собравшихся в смущение. Мужчина в костюме дяди Сэма почему-то шагает на ходулях. Играющие успевают подбросить мешочек с песком раза три, прежде чем тот падает на землю. “СВОБОДУ ЛЕОНАРДУ ПЕЛТИЕРУ”^[29].

– Для каждого из нас найдется тело! – провозглашает женщина в мегафон, и народ разбирает тела, поднимает гробы. Тело для парня, переодетого Кастро, для парня в костюме Че, для чувака с плакатом “ЛЕННОН ЖИВ!”. Тело для ЛГБТ-делегации в футболках с надписью “Лизни киску”. Тело для каждого из выбравшихся из автобуса членов организации “Молодые демократы Большой Филадельфии”. Тело для каждого несущего плакат участника “Евреев за мир”. Тело для каждого члена Первого профсоюза водопроводчиков Нью-Йорка. Для членов ассоциации студентов-мусульман Городского университета Нью-Йорка. Для группы женщин, которые пришли в одинаковых розовых платьях, точно на выпускной вечер, и с плакатами, на которых написано “Почему?”. Тело для парнишки на роликах. Для растамана. Для священника. Для женщины, потерявшей мужа в теракте одиннадцатого сентября: для кого же, как не для нее. Для однорукого ветерана в камуфляже. Для вас с Бетани, тело в тридцатом ряду, как указано в ведомости у женщины с мегафоном: и действительно, там вы находите гроб с наклейкой “Бишоп Фолл” на боку. Бетани это, похоже, не задевает: она лишь легонько касается наклейки, словно на удачу. Она с печальной улыбкой смотрит на тебя: пожалуй, впервые с тех пор, как вы встретились утром, она не притворяется с тобой.

Но это мгновение быстро проходит. Потом вы поднимаете гробы. Вдвоем, втроем, вчетвером. Солнце сияет, трава зеленеет, маргаритки цветут, а на громадном лугу чернеют гробы. Тысяча прямоугольных деревянных гробов.

Гробы поднимают на плечи. Шествие начинается. Вы все несете гробы.

До съезда Республиканской партии кварталов тридцать. По Центральному парку плывут гробы. Протестующие принимаются скандировать лозунги. Женщина с мегафоном кричит команды. Процессия течет мимо бейсбольных полей, на улицу, мимо небоскреба с победоносным серебряным глобусом. Людям в черном жарко под солнцем, но лица их светятся воодушевлением. Демонстранты радостно кричат, свистят. Они выходят из Центрального парка на Колумбус-Серкл, и тут их моментально останавливают. Полиция их уже поджидает в полной боевой готовности – с заграждениями, в защитном снаряжении, перцовыми баллончиками, слезоточивым газом, – демонстрация силы, которая должна остудить пыл протестующих, не дав ему разгореться. Толпа замирает, смотрит на простирающуюся впереди Восьмую авеню, геометрически безупречный вид на центр города: по обе стороны улицы высятся здания, и кажется, будто расступилось море. Полиция сузила четыре полосы до двух. Толпа ждет. Люди глядят на памятник в центре площади, на статую Колумба в летящем плаще, похожем на мантию выпускника. Сегодня машины не едут по Восьмой авеню на север: движение перекрыто, и с дорожных знаков на протестующих смотрят надписи “ДВИЖЕНИЕ ЗАКРЫТО” и “ВЪЕЗД ЗАПРЕЩЕН”. Большинству участников марша это кажется символом чего-то важного.

“В случае нападения полиции не оказывайте сопротивления”, – кричит в мегафон женщина во главе колонны, одна из организаторов шествия. Если коп хочет надеть на вас наручники – пусть надевает. Если тащит вас в машину, скорую, автозак – не оказывайте сопротивления. Если копы накинутся на вас с дубинками и электрошокерами, ни в коем случае не нужно сопротивляться, паниковать, убегать или отбиваться. Никаких массовых беспорядков. Необходимо соблюдать спокойствие, держать себя в руках и не забывать, что нас снимают. Это протест, а не цирк. У полицейских резиновые пули: боль такая, что искры из глаз. И все равно – мир, любовь, думайте о Ганди и будьте спокойны, как Будда. Старайтесь не попасть под струю перцового газа. Пожалуйста, не снимайте одежду. Не забывайте, что у нас траурное шествие. Мы ведь несем гробы. Это наша миссия. Помните о ней.

Ты несешь гроб с того конца, где должны быть ноги. Бетани шагает

впереди: она держит “голову”. Ты стараешься не думать об этом так: ноги, голова. Ты тащишь фанерный гроб, пустой, фальшивый. Далеко впереди медленно течет на юг нескончаемый людской поток. Ты где-то посередине, и над тобой прыгают поднятые на затекших руках гробы. Тебя раздражают противоречия, в душе твоей борются совершенно разные порывы. Ты держишь гроб Бишопа, и от этого тебе очень плохо. Тебя мучит ужасающее чувство вины за то, что не спас друга тогда, в детстве. И сейчас тебе стыдно, что ты пытался ухлестывать за Бетани на похоронах ее брата, пусть даже и символических. *Господи, какой же ты мудака*. Ты словно чувствуешь, как желание заползает тебе в душу и умирает. Но потом снова бросаешь взгляд на Бетани, на ее голую спину, потные плечи, прилипшие к шее пряди волос, выступающие мышцы и кости, беззащитный позвоночник. Она читает прилепленную на гроб наклейку: “Рядовой первого класса Бишоп Фолл погиб в Ираке 22 октября 2003 года. Выпускник Вирджинского военного института. Вырос в Стримвуде, штат Иллинойс”.

– Это ничего о нем не говорит, – замечает Бетани, не обращаясь ни к тебе, ни к кому бы то ни было, словно нечаянно высказала пришедшую в голову мысль.

Но ты все равно отвечаешь ей.

– Вообще ничего.

– Да.

– Лучше бы написали, как он здорово играл в “Миссайл Комманд”.

Слышится негромкий смешок: быть может, это Бетани? Непонятно: она по-прежнему к тебе спиной. Ты продолжаешь:

– И как все ребята в школе его любили, как восхищались им, как боялись. И учителя тоже. Как ему всегда удавалось добиться своего. Как он всегда умудрялся оказаться в центре внимания, хотя сам для этого ни разу пальцем не шевельнул. О чем ни попросит, ты ради него готов на все. Лишь бы сделать ему приятное, черт знает почему. Такой уж он был человек. Незаурядный.

Бетани кивает, потупясь.

– Некоторые прожили и как в воду канули, – не унимаешься ты. – Даже плеска не слышать. Бишоп же шел по жизни напролом. А мы все следом.

Бетани, не глядя на тебя, отвечает: “Так и есть”, – и выпрямляется. Тебе кажется (хотя, конечно, проверить ты этого не можешь), что она не смотрит на тебя, чтобы ты не заметил ее слез.

Шествие возобновляется, гробы движутся вперед, и протестующие принимают скандировать лозунги. Лидеры с мегафонами и тысячи

идущих за ними кричат, в унисон возвышая голос и вскидывая кулаки: “Хей! Хой!”

Дальше возникает заминка, потому что толпа не знает слов, но потом крики возобновляются и все дружно произносят последнюю строчку: “Долой!”

Кого долой? Не разобрать – какофония. Каждый кричит свое. Одни скандируют: “Республиканцев”. Вторые: “Войну!” Третьи: “Джорджа Буша!”, “Дика Чейни!”, “Хэллибертон!”. “Расизм”, “сексизм”, “гомофобию”. Четвертые, видимо, явившиеся с совершенно других акций протеста, выкрикивают лозунги против Израиля (за гонения на палестинцев), Китая (за запрет Фалуньгун), против использования труда жителей стран третьего мира, против Всемирного банка, НАФТА и ГАТТ [\[30\]](#).

Хей! Хой!

[неразличимая разноголосица]

Долой!

Никто не знает, какой лозунг подходит к сегодняшнему случаю. Каждый беснуется из-за чего-то своего.

Наконец толпа доходит до того места неподалеку от Пятнадцатой авеню, где вдоль маршрута шествия выстроились другие протестующие, чтобы выразить несогласие с этим протестом – а следовательно, их объединяет совершенно ясная цель. Несогласные громко кричат и размахивают самодельными плакатами. Риторика плакатов варьируется от недвусмысленных простых призывов (“Голосуй за Буша!”) до иронии (“Коммунисты за Керри”), от многословия (“Война не решила ни одной проблемы, только положила конец рабству, нацизму, фашизму и Холокосту”) до лаконичности (очертания нью-йоркских небоскребов, поверх которых вздымается ядерный гриб), от патриотических (“Поддержи наши войска”) до религиозных призывов (“Бог – республиканец”). Именно здесь (что, впрочем, неудивительно) установили камеры информационные каналы, так что в вечерних новостях шествие из Центрального парка к “Мэдисон-сквер-гарден” покажут в виде клипа, где с одной стороны разделенного пополам кадра окажутся протестующие, а с другой – несогласные с протестом, причем и те, и другие ведут себя одинаково безобразно. Кричат друг другу нелепые обвинения, одни называют других “предателями”, те им отвечают: “А на кого бы сбросил бомбу Иисус?” В общем, неприглядное зрелище.

На сегодняшнем марше это будет самое громкое столкновение. Полиция, которой все так боялись, на шествие не нападет. Протестующие не выйдут за пределы огороженной зоны свободы слова^[31]. А копы будут озадаченно за ними наблюдать.

Как только протестующие это понимают, у некоторых тут же отчего-то пропадает задор. Шествие медленно течет вперед, и ты начинаешь замечать брошенные прямо на улице гробы – солдаты, которых во второй раз оставили на поле битвы. Быть может, виной тому жара. В конце концов, люди столько времени перли эти ящики на себе: чего же вы от них хотите? Бетани молча шагает вперед, квартал за кварталом. Ты уже выучил наизусть очертания ее лопаток и россыпь веснушек у основания шеи. Ее длинные каштановые волосы чуть завиваются на кончиках. Бетани в балетках, и на пятках у нее виднеются ссадины – видимо, натерла другими туфлями. Она не говорит, не скандирует лозунги, просто идет вперед привычной изящной походкой, с невероятно прямой спиной. Даже не меняет руку, которой поддерживает гроб, хотя ты это делаешь каждые пару кварталов, потому что рука затекает и болит. Похоже, эта ноша ничуть ее не обременяет: ни грубые фанерные края гроба, ни его вес, который только сперва кажется пустяком, а через несколько часов начинает тяготить. На руках вздуваются жилы, мышцы предплечий горят, в груди теснит – и все из-за этого пустого ящика с тонкими стенками. Он ведь даже не тяжелый, но со временем любая ноша кажется неподъемной.

Наконец-то вы доходите до места назначения. Те, кто донес гробы из Центрального парка, теперь складывают их у стен “Мэдисон-сквер-гарден”, где проходит съезд кандидатов от разных штатов в партию республиканцев. Смысл этого жеста понятен: республиканцы развязали войну, а следовательно, повинны в смерти солдат. Гора гробов растет: жуткое зрелище. За сотней гробов не видно улицы. Две сотни похожи на стену. Затем груда гробов становится такой высокой, что демонстранты не дотягиваются до верха и просто закидывают туда гробы. Гробы громоздятся друг на друга, точно детские кубики, шатаются, то и дело соскальзывают и падают на землю под тупым углом. Груда гробов все больше похожа на стихийную баррикаду – точь-в-точь как в “Отверженных”, думаешь ты. Когда в груде насчитывается с полтысячи гробов, она уже смахивает на массовое захоронение, и от этого пробирает жуть даже самых ярых сторонников войны. Протестующие относят гробы в общую кучу, выкрикивают нецензурные ругательства в адрес республиканцев, вопят и грозят кулаками яйцевидному спортивному комплексу по ту сторону черты, за которую им хода нет, поскольку мэрия

разрешила шествие только до сих пор, черты, которую не заметить невозможно: вдоль нее тянутся стальные ограждения, стоят бронетранспортеры, сомкнул ряды полицейский спецназ – на случай, если вы позабудете, где кончается зона свободы слова.

Вы с Бетани ставите гроб аккуратно. Не швыряете. Ничего не кричите. Молча опускаете его на землю и некоторое время прислушиваетесь к гомону вокруг, к голосам тысяч собравшихся – неплохая явка для акции протеста, но ничто по сравнению с аудиторией, которая сейчас смотрит на вас по телевизору, в новостях информагентства, что ведет прямую трансляцию с завершения марша протеста, на отдельном экране с левой стороны кадра, а рядом, с правой стороны, на меньших экранах эксперты обсуждают, чем закончатся эти протесты – обернутся ли против вас или же вообще ни к чему не приведут, предатели вы или просто помогаете врагам, а внизу, под этими кадрами желтеет заголовок: “ЛИБЕРАЛЫ ИСПОЛЬЗУЮТ ГИБЕЛЬ СОЛДАТ В СВОИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ”. Для телеканала протесты – огромная удача: впервые после одиннадцатого сентября рейтинг передачи взлетит на небывалую высоту – один миллион шестьсот тысяч телезрителей, но и это мелочи по сравнению с теми восемнадцатью миллионами абонентов, которые вечером включают песенное реалити-шоу, однако для передачи, которая входит в базовый пакет программ кабельного телевидения, очень даже неплохо, а значит, в следующем квартале можно будет поднять расценки на рекламу на десятую долю процента.

Бетани впервые за несколько часов смотрит на тебя и говорит:

– Поехали домой.

Чтобы поехать с Бетани домой, переверни страницу...

Пока что эта история мало похожа на “Выбери приключение”, потому что тебе еще ни разу не пришлось выбирать.

Ты провел с Бетани целый день – слушал ее несносного жениха, послушно поехал с ней на акцию протеста, пошел в парк, прошагал по Манхэттену, и вот она, махнув рукой, останавливает такси, ты садишься за ней в машину, и вы в молчании едете обратно в ее шикарную квартиру, а ты так за весь день не принял ни одного сколько-нибудь важного решения. Ты не выбираешь приключение – его выбрали за тебя. Даже решение поехать в Нью-Йорк было не столько решением, сколько импульсивным, инстинктивным согласием. Какое же это решение, если тебе и в голову не пришло отказаться? Ты не мог не согласиться, ведь ты все эти годы ждал, томился, надеялся, сходил по ней с ума. Ты не планировал так жить:

просто так сложилась жизнь. Тебя сформировало все, что с тобой произошло. Каньон не диктует реке, какое выбрать русло. Она сама пробивает себе путь.

Пожалуй, пока что единственный выбор, который ты делаешь каждую минуту, – скромное, молчаливое решение вести себя как ни в чем не бывало, не восклицать в порыве страсти: “Да что с тобой?”, “Не выходи за Питера Атчисона!” или “Я тебя по-прежнему люблю!” Быть может, более смелые и романтичные мужчины так и сделали бы, для тебя же это немыслимо. Это против твоей природы. Ты никогда не умел предъявлять права на что бы то ни было. Больше всего на свете ты мечтал о том, чтобы вообще исчезнуть из вида, стать невидимкой. Ты давным-давно научился скрывать сильные чувства, потому что они вызывают слезы, а нет ничего хуже, чем прилюдно разрыдаться.

Поэтому ты и не пытаешься вывести Бетани из молчаливого, бесстрастного, раздражающего до печенок оцепенения, в котором она пребывает, не признаешься ей в любви: тебе такое даже в голову не приходит. Ты как первобытный человек, который рисует на стене пещеры плоских животных, потому что перспективу еще не придумали, и ты способен что-либо делать лишь в узких заданных рамках.

В конце концов тебе все же придется принять решение. Этот момент все ближе и ближе, ты шел к нему с той самой минуты, как Бетани коснулась гроба с именем брата; лихорадочное оживление, охватившее ее после твоего прихода, наконец оставило ее, она замолчала, замкнулась в себе и витала где-то очень-очень далеко. Так далеко, что едва вы заходите в ее роскошную квартиру и она скрывается в своей комнате, как ты решаешь, что она легла спать. Но через несколько минут Бетани возвращается: оказывается, она переодевалась, и теперь на ней вместо черного – желтое платье, легкое, нарядное, летнее. В руке у нее конверт; она кладет его на высокий кухонный стол. Зажигает несколько светильников, достает из специального винного шкафа бутылку вина и предлагает:

– Выпьем?

Ты соглашаешься. За окнами квартиры сияет в темноте финансовый район: в освещенных зданиях ни души.

– Питер работает вон там, – показывает Бетани.

Ты киваешь. Тебе совершенно нечего на это ответить.

– Его правда очень ценят, – продолжает она. – Папа на него не нарадуется.

Она умолкает. Смотрит в бокал. Ты отпиваешь глоток.

– Прости, что я не сказала тебе о помолвке, – наконец произносит Бетани.

– Ну меня это, в общем, и не касается, – замечаешь ты.

– Вот и я так подумала, – она снова уставляет на тебя зеленые глазища. – Но ведь это неправда. У нас с тобой... все сложно.

– Я сам не знаю, кто мы с тобой друг другу, – отвечаешь ты, и Бетани улыбается, прислоняется к столу и театрально вздыхает.

– Говорят, когда один из близнецов умирает, второй это чувствует.

– Да, я об этом слышал.

– Так вот это неправда, – Бетани делает большой глоток вина. – Я вообще ничего не почувствовала. Нам рассказали обо всем только через несколько дней после гибели Бишопы, и я не почувствовала ничего. Даже потом, даже долгое время спустя, даже на похоронах. Я не чувствовала того, чего от меня ожидали. Сама не знаю почему. Наверно, мы стали чужими.

– Я думал ему написать, но так и не собрался.

– Он изменился. После того, как поступил в училище. Перестал звонить, писать, приезжать домой на каникулы. Пропал из нашей жизни. О том, что он в Ираке, мы узнали только через три месяца.

– Наверно, ему хотелось сбежать от отца. Странно, что и тебя он стал избегать.

– Мы отдалились друг от друга. Не знаю, кто первый начал, но какое-то время нам было проще друг друга не замечать. Меня всегда раздражало, что он использует людей и что ему все сходит с рук. Его всегда бесил мой талант и то, как взрослые мной восхищаются. Всегда считалось, что я подаю большие надежды, а на Бишопы родители махнули рукой. Последний раз мы виделись на его выпускном в институте. Пожали друг другу руки.

– Он в тебе души не чаял. Я же помню.

– Между нами словно черная кошка пробежала.

– Почему?

Бетани смотрит в потолок, поджимает губы и пытается подобрать слова:

– Ты же знаешь, его... как бы это сказать... в общем, его изнасиловали.

– Ох.

Бетани подходит к окну высотой от пола до потолка и, повернувшись к тебе спиной, любуется ночным городом. Перед ней горят огни тихого ночью Манхэттена, точно тлеющие угольки в костре.

– Директор той школы? – спрашиваешь ты.

Бетани кивает.

– Бишоп никак не мог понять, почему с ним такое случилось, а со мной нет. Потом он начал на меня злиться. Говорил, что я рада его унижению. Словно мы с ним соперничали и я стала побеждать. Каждый раз, как я добивалась успеха, он мне напоминал: тебе все так легко дается, потому что тебе не пришлось пережить того, что пережил я. Разумеется, это правда, но он старался приуменьшить мои заслуги, обесценить меня. – Бетани оглядывается на тебя. – Понимаешь, о чем я? Наверно, с моей стороны это жуткий эгоизм.

– Вовсе не эгоизм.

– Эгоизм. Да я уже практически об этом забыла. Он уехал в училище, мы отделились друг от друга, и у меня будто камень с души свалился. Я годами делала вид, будто все в порядке и ничего не было. Пока...

Она бросает на тебя взгляд исподлобья, и ты догадываешься, что она хочет сказать.

– Ты делала вид, будто ничего не было, пока не вышел мой рассказ.

– Да.

– Прости.

– Я прочитала твой рассказ и почувствовала себя так, будто вдруг поняла, что страшный сон вовсе не сон.

– Мне правда жаль. Надо было спросить твоего разрешения.

– Я тогда подумала: боже мой, мы ведь с тобой были знакомы всего несколько месяцев. И если даже ты понял, что случилось, то почему же я-то повела себя как последняя сволочь? Почему я так старательно закрывала глаза на то, что происходит?

– Я понял это гораздо, гораздо позже. Тогда я ни о чем не знал.

– Но я-то знала. И ничего не сделала. Никому не сказала. А когда ты вытащил эту историю на свет, ужасно на тебя разозлилась.

– Ну, еще бы.

– Злиться на тебя было проще, чем мучиться чувством вины, и я злилась на тебя несколько лет.

– А потом?

– А потом Бишоп погиб. И я словно окаменела. – Бетани глядит в стакан, проводит пальцем по его краю. – Это как у зубного врача, когда тебе колют сильные обезболивающие. Тебе хорошо, но ты прекрасно понимаешь, что, если бы не лекарство, было больно. Ты просто сейчас не чувствуешь боли. Вот так я и жила.

– Все эти годы?

– Да. Выступала как в тумане. Зрители после концерта признаются мне,

как их растрогала музыка, а для меня это просто ноты. И если музыка вызывает в них какие-то чувства, то я тут ни при чем. Для меня партитура – всего лишь набор команд. Как-то так.

– А как же Питер?

Бетани со смехом поднимает руку, чтобы вы оба могли как следует разглядеть бриллиант, который в свете кухонных ламп в нишах переливается миллионом крошечных радуг.

– Красиво, правда?

– Да, камень крупный.

– Когда Питер сделал мне предложение, я даже не обрадовалась. Впрочем, и не огорчилась. Если бы меня спросили, что я тогда почувствовала, я бы ответила, что любопытство. Его предложение показалось мне очень интересным.

– Да уж, не очень-то романтично.

– Мне кажется, он сделал предложение, чтобы как-то меня встряхнуть, вывести из депрессии. Но она все равно вернулась с новой силой. Так что, похоже, из депрессии мне выйти не суждено. Теперь Питер притворяется, будто все в порядке, и старается пореже со мной видиться. Потому и улетел в Лондон.

Бетани наливает себе еще вина. Над зубчатым изгибом Бруклина взошла луна. В небе мигает вереница огоньков: это снижается над аэропортом Кеннеди летящий с юга самолет. На кухне висит в рамке крошечный рисунок быка – вполне возможно, подлинник Пикассо.

– Ты все еще на меня злишься? – спрашиваешь ты.

– Нет, уже не злюсь, – отвечает Бетани. – Я к тебе вообще ничего не чувствую.

– Понятно.

– А ты знал, что Бишоп так и не прочитал твой рассказ? Я ему ничего не сказала. Я злилась на тебя из-за него, а он его так и не прочитал. Смешно, правда?

Ты чувствуешь облегчение. Слава богу, Бишоп не узнал, что ты раскрыл его секрет. И до конца жизни верил, что сохранил все в тайне.

Бетани хватает бутылку вина за горлышко, идет в гостиную и плюхается на диван, не включает ни лампу, ничего, просто плюхается, в комнате полумрак, и ты ее толком не видишь, только слышишь, как скрипит дорогая кожа (наверно, крокодила, предполагаешь ты), когда на нее приземляется Бетани. Ты садишься напротив нее – на тот же диван, на котором сидел утром и слушал оживленную болтовню Бетани и Питера, изображавших счастливую пару. На кухне горят два точечных светильника

в нише, в остальной квартире темно, лишь сверкают окна небоскребов вокруг – в общем, толком ничего не разглядеть. Когда Бетани заговаривает, ее голос доносится словно из пустоты. Она спрашивает о Чикаго. О работе. Чем ты занимаешься. Нравится ли тебе твоя работа. Где живешь. Как у тебя дома. Как проводишь свободное время, какие у тебя увлечения. Ты отвечаешь на эти обыденные вопросы, и пока вы беседуете, Бетани наливает себе бокал вина, потом еще один, время от времени ты слышишь, как она отхлебывает глоток да в нужных моментах твоего рассказа вставляет “угу”. Ты говоришь, что в работе тебе нравится все, кроме студентов, совершенно не желающих учиться, сурового начальства и того, что университет находится в унылом пригороде: в общем, если вдуматься, работа тебе вовсе не нравится. Ты рассказываешь, что задний двор дома тебе совершенно не нужен и ты нанимаешь работника косить газон. Иногда по твоему двору пробегают, играя во что-нибудь, дети; ты не против и даже считаешь, что это твой вклад в жизнь округа. А вообще с соседями ты незнаком. Ты пытаешься писать книгу, за которую тебе уже заплатили, но никак не удается себя заставить. Бетани спрашивает, о чем книга, и ты отвечаешь: “Трудно сказать. Наверно, о семье”.

Когда Бетани откупоривает вторую бутылку, у тебя складывается впечатление, будто она пытается собраться с духом и что-то сделать, вот и пьет для храбрости. Бетани пускается в воспоминания, рассуждает о былых временах, о вашем общем детстве: как вы резались в видеоигры и играли в лесу.

– А помнишь, как ты был у нас в последний раз? – спрашивает она.

Разумеется, ты помнишь. Той ночью ты впервые ее поцеловал. Последнее счастливое воспоминание перед тем, как ушла мать. Но об этом ты Бетани не рассказываешь, а просто отвечаешь:

– Да.

– Мой первый поцелуй, – говорит она.

– И мой.

– В комнате было темно, вот как сейчас, – продолжает Бетани. – Я тебя толком не видела, только чувствовала, что ты рядом. Помнишь?

– Конечно, помню, – отвечаешь ты.

Бетани встает – тебя об этом оповещает диван: кожа скрипит, раздается негромкий чмок, – подходит к тебе, садится рядом, берет у тебя бокал, ставит на пол, она так близко, она касается коленом твоих колен, и тут до тебя доходит, почему она не включила свет и зачем столько выпила.

– Как сейчас, – улыбается она, придвигаясь ближе.

– Тогда было темнее.

– Можно закрыть глаза.

– Можно, – соглашаешься ты, но глаза не закрываешь.

– Ты сидел так же близко, как сейчас, – продолжает Бетани. Ваши щеки почти соприкасаются. Ты чувствуешь ее тепло, лавандовый запах ее волос. – Я не знала, что нужно делать, – признается она. – Поэтому просто наугад прижалась губами к твоим губам.

– Ты все сделала правильно, – отвечаешь ты.

– Вот и хорошо, – говорит она.

Бетани медлит, и ты боишься пошевелиться, вздохнуть, что-то сказать, чтобы не спугнуть этот миг: тебе кажется, что он соткан из воздуха – чуть что, и он тут же исчезнет. Твои губы в считанных сантиметрах от ее губ, но ты не тянешься к ней. Она сама должна решиться и преодолеть разделяющее вас расстояние.

– Я не хочу выходить за Питера, – шепотом признается Бетани.

– Не хочешь – не выходи.

– Поможешь мне его бросить?

Чтобы помочь ей бросить Питера, переверни страницу...

Наконец ты ее целуешь, и ты испытываешь такое облегчение, будто вся твоя страсть, тоска, тревога, сожаления, вся одержимость этой женщиной, все муки, вся ненависть к себе, обуревавшая тебя из-за того, что ты никак не мог заставить ее тебя полюбить, вдруг рассыпались в прах. Словно все это время ты поддерживал стеклянную стену и лишь сейчас осознал, что волен ее отпустить. Она падает, и ты буквально слышишь, как она разлетается на куски, – ты едва сдерживаешься, чтобы не вздрогнуть, когда Бетани тебя целует, притягивает к себе, ты всеми чувствами вспоминаешь, как целовал ее в детстве и как удивился, обнаружив, что у нее губы запеклись, как не знал, что делать, и прижимался лицом к ее лицу, ведь тогда поцелуй был не вехой на пути, но целью. Однако теперь вы оба взрослые, вы уже всему научились, вы точно знаете, что делать с чужим телом – то есть, иными словами, поцелуй тоже общение, и сейчас вы даете друг другу понять, что оба очень хотите большего. Ты прижимаешься к ней, обвиваешь руками ее талию, забираешь в горсть ее тонкое платье, а она хватая тебя за воротник и притягивает ближе, и все это не прерывая поцелуя – глубокого, страстного, ненасытного, – и ты отдаешь себе отчет в каждом ощущении, ты подмечаешь и чувствуешь все сразу: свои руки, ее кожу, свои губы, ее губы, ее пальцы, ее дыхание, то, как ее тело откликается на тебя, – все это не распадается на части, а складывается в одно огромное чувство, поток ощущений, который захватывает тебя, когда

твое тело переплетено с другим и вам обоим так хорошо, что ты чувствуешь, чего хочет другой, чувствуешь, как твое тело откликается на ее ощущения, ее дрожь передается тебе, словно ваши тела слились, на мгновение утратив четкие контуры и границы.

Эти чувства настолько тебя захватывают, что тебе кажется, будто вы с Бетани стали единым целым, поэтому, когда она вдруг отталкивает тебя, перехватывает твои руки и говорит: “Подожди”, ты не можешь опомниться от изумления.

– Почему? – спрашиваешь ты. – Что не так?

– Я... прости.

Она отстраняется от тебя, высвобождается из твоих объятий и сворачивается в клубок на другом конце дивана.

– Что случилось? – недоумеваешь ты.

Бетани качает головой и бросает на тебя взгляд, полный грусти.

– Я не могу, – поясняет она, и ты чувствуешь, как обрывается сердце.

– Давай не будем торопиться, – предлагаешь ты. – Подождем немного.

Все в порядке.

– Это нечестно по отношению к тебе, – отвечает она.

– Ничего страшного, – говоришь ты, стараясь, чтобы голос не выдал отчаяния, потому что понимаешь: если ты потерпишь неудачу с этой женщиной, когда почти добился своего, то уже не оправившись от удара. Сломаешься окончательно и бесповоротно. – Нам вовсе не обязательно заниматься сексом, – продолжаешь ты. – Можем просто полежать.

– Дело не в сексе, – смеется Бетани. – Я хочу тебя, я могу заняться с тобой сексом. Но я не знаю, хочешь ли ты. Точнее, захочешь ли.

– Захочу.

– Ты кое-чего не знаешь.

Бетани встает и поправляет платье жестом, в котором читается спокойное достоинство и невозмутимость: как это непохоже на спектакль, который только что разворачивался на диване!

– У меня для тебя письмо, – сообщает Бетани. – Оно на столе, на кухне.

От Бишопа.

– Он написал письмо? Мне?

– Нам его переслали через несколько месяцев после гибели брата. Он написал его на случай, если с ним что-нибудь случится.

– Тебе тоже?

– Нет. Он написал только тебе.

Бетани разворачивается и медленно направляется к себе в комнату. Движения ее спокойны и точны, как всегда, осанка идеально ровная и

прямая. Бетани открывает дверь, замирает на пороге спальни и оглядывается на тебя через плечо.

– Я его прочла, – признается она. – Извини. Я не поняла, о чем он пишет, и ты не обязан мне ничего объяснять, но я хочу, чтобы ты знал: я его читала.

– Что уж теперь.

– Я буду здесь, – она кивает на свою комнату. – Как прочитаешь, заходи, если захочешь. Но если захочешь уйти, – она умолкает, отворачивается, понуривает голову, словно смотрит под ноги, – я пойму.

Она скрывается в темной спальне, с тихим щелчком затворив дверь.

Чтобы прочесть письмо, переверни страницу...

Рядовой первого класса Бишоп Фолл сидит в утробе боевой машины “брэдли” и дремлет, уронив голову на грудь. Их машина вторая в маленькой колонне – три “брэдли”, три “хаммера” да грузовик с припасами: автомобили едут один за другим в деревню, названия которой солдаты даже не знают. Им известно лишь, что боевики недавно похитили мэра этой деревеньки и обезглавили его в прямом эфире. Солдат в колонне изумляет и то, что казни показывают по телевизору, и сам выбранный способ казни: отрезать голову. Дикость какая-то, средневековье.

Три “брэдли” и три “хаммера” вмещают примерно сорок солдат. Еще двое в грузовике с припасами, плюс вода, бензин, боеприпасы и сотни коробок с ИРП. В состав каждого ИРП (то есть индивидуального рациона питания) входит столько многосложных ингредиентов, что многие солдаты уверяют, будто после боевиков и СВУ^[32] самую большую угрозу для жизни и здоровья представляет именно ИРП. Они даже придумали игру: нужно угадать, откуда тот или иной компонент – из ИРП или бомбы. Сорбат калия? (ИРП.) Двунатриевый пирофосфат? (ИРП.) Нитрат аммония? (Бомбы.) Нитрат калия? (И то, и другое.) Так они играют за едой, когда тянет на циничные шуточки, но не когда час едут на “брэдли” в дальнюю деревню. В дороге они чаще всего спят. Последнее время они по двадцать часов проводят на дежурстве, так что час в бронированной утробе “брэдли” считается раем. Ведь там темно, к тому же за пределами военной базы это самое безопасное место, а еще потому, что “брэдли” на максимальной скорости гудит, как неуклюжая деревянная кабинка на “русских горках”, когда та разгоняется, как сверхзвуковой самолет, – они все в берушах, поэтому им спокойно и уютно. Всем это нравится. Всем, кроме Блёвика: никто не помнит, как его звать на самом деле, потому что его давным-давно прозвали Блёвиком за то, что в “брэдли” он всегда блюет. Потому что его укачивает. Сперва его окрестили “Блевуном”, но потом сократили до “Блёва” или “Блёвика”.

Блёвику девятнадцать лет, волосы короткие, хилый, схуднул килограммов на восемь по сравнению с тем, каким был дома. Регулярно забывает чистить зубы. Родом из какой-то сельской глуши, о которой толком никто не слышал (не то Невада, не то Небраска). Глубокие убеждения этого парня не поколебать никакими историческими фактами. Например: однажды Блёвик услышал, как кто-то назвал операцию в Персидском заливе “войной Джорджа Буша”, и принялся на все лады хвалить президента – дескать, молодец, изо всех сил старается разгрести бардак, который оставил ему Клинтон. Завязался горячий спор о том, кто же на самом деле объявил войну и придумал ввести войска в Ирак. Все дружно пытались убедить Блёвика, что войну начал не Клинтон, но Блёвик лишь качал головой и сочувственно повторял: “Ребята, я совершенно уверен, что вы ошибаетесь”. Бишоп припер его к стенке: мол, какая разница, за кого ты, за Буша или за Клинтона, если то, кто именно начал войну, – объективный исторический факт. На это Блёвик ответил, что Бишопу следовало бы поддержать “нашего ГК”. Бишоп удивленно моргнул и поинтересовался: какого еще ГК? А Блёвик ответил: ну как же, главного командующего. Тут начался новый спор: Бишоп пытался убедить Блёвика,

что правильно говорить не “главный командующий”, а “главнокомандующий”, в одно слово, Блёвик же смотрел на него с таким видом, словно догадался, что над ним прикалываются, и ни за что не купится.

Впрочем, политику солдаты обсуждают редко. Что толку ее обсуждать?

Как-то раз Блёвик попытался их уговорить открыть люки в “брэдли”, чтобы во время движения смотреть вдаль и ориентироваться: мол, так его не укачает и не стошнит. Но остальных это не убедило, потому что, если открыть люки, в “брэдли” уже не будет темно, а значит, не поспишь, к тому же люки бронированные, кому же охота лишиться брони, учитывая, сколько вокруг мин, бомб и снайперов. На это Блёвик заметил, что “брэдли” оснащен автоматическими винтовками М-231, которые разработаны специально под размеры люка (фактически это те же М-16 без мушки в сборе, потому что та слишком высокая и с ней винтовки не пролезли бы в люк, и с более коротким прикладом, потому что в “брэдли” очень тесно), и спросил: если “брэдли” оснащен М-231, значит, подразумевается, что для стрельбы следует открыть люки? На это Бишоп ответил, что восхищается логикой доводов Блёвика, несмотря на их откровенную эгоистичность. Но командир “брэдли”, по фамилии, как ни странно, тоже Брэдли и по кличке “Многодетный папаша”, поскольку поступил на службу, чтобы сбежать от нескольких оставшихся на родине семей, заявил, что люк открыть не даст. “Если есть защита, надо ею пользоваться, мы же не дураки какие-нибудь”, – пояснил он, чем всех позабавил: смешно было услышать от него такое.

Логично было бы предположить, что Блёвик, которого вечно тошнило, который толком не знал, что в мире творится, и ныл из-за закрытых люков, станет в коллективе изгоем. Тем более что ездить на “брэдли” им доводилось часто, а значит, Блёвика неминуемо должны были возненавидеть. На деле же вышло совсем не так. Блёвика все полюбили и зауважали после одного полночного рейда по огороженному микрорайону, в котором предположительно скрывались боевики: у него тогда сломался очковый прибор ночного видения, и Блёвик, вместо того чтобы вернуться в машину, как сделал бы любой из них, распахивал двери и светил внутрь обычным фонариком. В такой операции это все равно что повесить на себя огромную неоновую вывеску “Пристрелите меня!”. Храбрость этого парнишки превосходила всякие пределы. Как-то раз он сказал Бишопу, что, когда в тебя стреляют и убегают, это еще хуже, чем если в тебя просто стреляют. То есть, подумал Бишоп, Блёвик рассуждал так: пусть лучше враг стоит смирно, пытаясь меня убить, чем вообще в меня не стреляет. В

общем, Блёвика все любят. Это ясно хотя бы потому, что все зовут его Блёвиком: стороннему наблюдателю такое прозвище показалось бы издевательским – негоже высмеивать чужие слабости, на деле же это доказывает, что Блёвика любят, несмотря на этот недостаток. Такое вот мужское проявление безусловной любви. Разумеется, они это никогда не обсуждают.

Блёвика зауважали еще и из-за девушки. Его хлебом не корми, дай о ней поговорить: Джули Уинтерберри. Все любят слушать рассказы о ней. Первая красавица из Блёвиковой школы, выигрывала призы на всех мыслимых и немыслимых конкурсах, четыре года подряд становилась школьной королевой красоты, ее лицо вызывало тысячи эрекций, над ее красотой подростки не хихикали нервно, а прикусывали щеку изнутри, чтобы заглушить почти физическую боль. Парни досадовали, если Джули на них не смотрела, но стоило ей подарить их взглядом – и они не могли опомниться от смущения. У Блёвика есть ее фотография, портрет из выпускного класса, он показывает ее товарищам, и все соглашаются, что он ничуть не преувеличивает. *Джули Уинтерберри*. Он произносит ее имя с религиозным благоговением. Дело в том, что Блёвик всегда трепетал перед красавицей Джули Уинтерберри и ни разу с ней не разговаривал. Она даже имени его не знала. Потом они закончили школу, он поехал на курс молодого бойца и попал к самому лютому сержанту-инструктору за всю историю американской армии. Если уж я справился с этим чудовищем, решил Блёвик, то сумею и заговорить с Джули Уинтерберри. После курса молодого бойца она уже не внушала ему такой ужас. Так что за те несколько недель, что Блёвик провел дома перед командировкой в Ирак, он успел пригласить Джули Уинтерберри на свидание. И она согласилась. И они влюбились друг в друга. Она даже посылает ему свои непристойные фотки. Все чуть ли не на коленях умоляют Блёвика их показать, но он, разумеется, никому ничего не показывает.

Больше всего в этой истории всем нравится момент, когда Блёвик наконец-таки приглашает девушку на свидание. Потому что, по его рассказам, ему даже не пришлось набираться храбрости. Просто он понял, что нечего бояться. А может, почувствовал в себе неисчерпаемые запасы храбрости. Парни любят себе это представлять. Они надеются, что с ними случится то же и, если дойдет до дела, у них хватит смелости, потому что здесь бывает страшно до чертиков. Приятно думать, что внутри у тебя неиссякаемый кладезь смелости, который поможет выдержать любую передрыгу.

Если такой дрищ, как Блёвик, сумел охмурить такую красавицу, как

Джули Уинтерберри, они уж тем более сумеют выжить на какой-то там паршивой войне.

Чаще всего Блёвика просят рассказать про Джули во время уборок. Пожалуй, самая большая несправедливость этой войны в том, что солдатам периодически приходится убирать останки террористов-смертников. Представьте себе картину: солдаты ищут на дороге части тел и собирают их в джутовый мешок, из которого сочится жижа, как из тыквы. Припекает нещадно, так что валяющиеся тут и там куски плоти в прямом смысле слова жарятся на солнце. Вонь стоит невообразимая: кровь, мясо, кордит^[33]. Вот на таких уборках они и просят Блёвика рассказать про Джули Уинтерберри, чтобы скоротать время.

В конце концов Многодетный папаша разрешил Блёвику ехать на броне рядом со стрелком. Разумеется, это против правил, потому что тот, кто сидит там, где сейчас Блёвик, мешает движению пушки М242. Но в этом случае Папаша решил нарушить устав, потому что это все-таки лучше, чем всю дорогу нюхать чужую блевотину. И Блёвик едет на броне, откуда может смотреть вдаль, чтобы не укачало, при одном условии: если начнется какая-нибудь заваруха, он тут же спрыгнет в кузов. Блёвик не против, потому что оказаться рядом со стреляющей М242 – приятного мало. Ее снаряды длиной с Блёвикову руку до локтя и рвут джипы, как папиросную бумагу.

Их предупредили, что до деревни, где недавно убили мэра, ехать час. Бишоп сидит в задней части “брэдли”, надвинув каску на глаза и засунув беруши чуть не до мозгов. Благословенная тишина. Шестьдесят блаженных минут небытия. Бишопу здесь даже сны не снятся. Как ни удивительно, но именно на войне он стал мастером сна. Если ему скажут, что у него есть двадцать минут, чтобы подремать, он проспит ровно двадцать минут. Он знает, чем два часа сна отличаются от двух с половиной. Чувственный мир здесь куда более осязаем, чем дома. Там он словно летел по шоссе со скоростью сто километров в час, не замечая ни кочек, ни того, что под колесами: только шум в ушах. На войне же ты словно остановился и щупаешь дорогу голыми руками. Настолько живо все воспринимаешь. На войне время замедляется. Бишоп осознает разум и тело так, как не мог и представить.

Поэтому, когда “брэдли” вдруг резко тормозит и Бишоп просыпается, он совершенно точно знает, что они еще не приехали: он проспал полчаса от силы. Он определяет это по ощущениям в глазах – точнее, за глазами: их словно выдавливают изнутри.

– Сколько мы уже едем? – спрашивает он Блёвика.

– А ты как думаешь? – отвечает тот.

Им нравится так проверять друг друга.

– Тридцать минут?

– Тридцать две.

Бишоп улыбается, вылезает на броню и, прищурясь от ослепительного солнца пустыни, оглядывается по сторонам.

– На дороге подозрительный предмет, – сообщает Блёвик. – Впереди. Возможно, СВУ. На, посмотри. Глазам не поверишь.

Он протягивает бинокль Бишопу, тот обшаривает взглядом пыльный растрескавшийся асфальт и наконец замечает: ровно посередине дороги стоит банка из-под супа. Этикеткой к колонне. Знакомый красный логотип.

– Это же...

– Ага, – отвечает Блёвик.

– “Кэмпбелл”?

– Так точно.

– Томатный суп?

– Он самый. Бля буду.

– Это не бомба, – говорит Бишоп. – Это современное искусство.

Блёвик удивленно косится на него.

– Картина Уорхола, – поясняет Бишоп. – По крайней мере, похоже. Поп-арт.

– При чем тут попа? – удивляется Блёвик.

– Ни при чем. Забей.

По правилам, обнаружив нечто похожее на СВУ, они должны вызвать саперов, отойти подальше и ждать, радуясь, что не нужно возиться самим. Разумеется, саперы подъедут не раньше чем через полчаса, так что все раздраженно ждут, курят, Блёвик всматривается вдаль и вдруг говорит Бишопу:

– Спорим, я попаду в того верблюда из твоего ружья?

Все оборачиваются, смотрят, куда указывает Блёвик, и видят вдалеке тощего верблюда. Вокруг ни души, только этот задохлик плетется один-одинешенек примерно в полукилометре от дороги, расплываясь в жарком мареве пустыни. Бишоп не прочь поспорить: стрелок из Блёвика хреновый.

– На что спорим? – уточняет Бишоп.

– Тот, кто проиграет, – тут же отвечает Блёвик, который явно уже все придумал, – должен будет час простоять в сортире.

Подслушивавшие их разговор парни вскрикивают от отвращения. Вот уж спор так спор! Все знают, что в сортире жарче, чем в пустыне. В этой пластиковой кабинке с толстыми стенами настолько жарко, что

скопившееся внутри дерьмо всей роты буквально кипит. Сортир за день так раскаляется, что в нем хоть свинину туши (разумеется, никому бы это в голову не пришло, но все же). Забежал, затаив дыхание, сделал дела и вылетел пулей. Говорят, что будто бы те, кто слишком долго сидел и срал, чуть не умерли от обезвоживания.

Бишоп обдумывает предложение Блёвика.

– Час, говоришь? – уточняет он. – Тебе же есть чем заняться. Не хочу тебя от дела отрывать: ведь если ты проторчишь в сортире, придется на час меньше гонять лысого. Может, сойдемся на пяти минутах?

Но Блёвика на это не купишь: все знают, что Бишоп готовили в снайперы, а снайперов учат подолгу задерживать дыхание, минут по пять, если не больше. Может, врут, конечно.

– Час, и точка, – отрезает Блёвик. – Это мое последнее слово.

Бишоп делает вид, будто обдумывает предложение Блёвика, хотя все прекрасно понимают, что он и так согласен. От такого он не откажется. Наконец он говорит: “Ладно”, все радостно галдят, и Бишоп протягивает Блёвику М24:

– Все равно не попадешь, – ехидничает он.

Блёвик принимает положение для стрельбы с колена, точно игрушечный солдатик, – так из М24 точно не стреляют, и Бишоп улыбается, качает головой, а зрители, то есть экипаж “брэдли” и парни из шедшего сзади грузовика с припасами, принимаются кричать Блёвику советы – как нормальные, так и идиотские.

– Как думаешь, Блёвик, сколько до него, метров четыреста?

– По моим прикидкам, триста девяносто.

– Скорее, триста семьдесят пять.

– Ветер узлов пять?

– Десять!

– Какой на фиг ветер, ты рехнулся?

– Сделай поправку на марево!

– Во-во, а то из-за него пуля выше летит.

– Правда?

– Нет, конечно.

– Хватит ему голову морочить.

– Давай, Блёвик, стреляй! Ты можешь!

И так далее, и тому подобное. Блёвик не обращает на них внимания. Принимает положение, задерживает дыхание, все ждут, когда он выстрелит, – даже Многодетный папаша, который, как командир экипажа “брэдли”, по идее, должен быть выше этого, на самом же деле в душе

надеется, что за свою наглость Блёвик на час угодит в сортир (Папаша оказался на войне из-за своих походов и потому обожает, когда кто-то получает по заслугам). Секунды тикают, все молча ждут, когда же Блёвик наконец выстрелит, переводят взгляд с него на верблюда, а Блёвик ерзает, выдыхает, снова набирает в легкие воздуха, и Бишоп смеется:

– Чем больше думаешь, тем вероятнее, что промахнешься.

– Заткнись! – рывкает Блёвик и тут же стреляет: никто не ожидал, что он так быстро спустит курок.

Все дружно переводят взгляд на верблюда и замечают, как сзади, с левого бока, который задела пуля, брызнула тончайшая струйка крови.

– Ура! – кричит Блёвик. – Я в него попал!

Все радостно галдят и смотрят на Бишопу, которому теперь придется промучиться шестьдесят жутких минут в говнопечке. Но Бишоп качает головой и возражает:

– Нет-нет-нет. Ты в него не попал.

– Как это не попал? – удивляется Блёвик. – Попал.

– Сам посмотри, – Бишоп указывает на верблюда, который, само собой, оторопел, испугался, растерялся, всполошился и понесся прямо на автоколонну. – Что-то он на дохлого не похож.

– Мы же поспорили не на то, что я его убью, – возражает Блёвик. – А что попаду.

– А что, по-твоему, значит “попасть”? – спрашивает Бишоп.

– Я его подстрелил, и точка. Вот что это значит.

– Знаешь, что бы со мной сделали, если бы я стрелял, как ты – не наповал, а так, по жопе зацепить? Меня бы разжаловали, вот что.

– Хорош выкручиваться. Проиграл, так и скажи.

– Ничего я не проиграл, – ответил Бишоп. – Если уж ты говоришь снайперу, что попадешь, подразумевается, что насмерть. Иначе это не называется “попал”.

Верблюд меж тем стремглав несется к колонне, и кое-кто из зрителей смеется над глупым животным: это же надо додуматься, бежать к тем, кто в тебя стрелял. Придурок горбатый. Блёвик с Бишопом препираются, кто выиграл спор, каждый отстаивает собственную точку зрения на то, что значит глагол “попасть” – Блёвик толкует его буквально, Бишоп же предлагает учитывать контекст, – как вдруг верблюд, который уже в сотне метров от них, неожиданно сворачивает вправо и мчится прямо на банку из-под супа.

Первым это замечает Многодетный папаша.

– Эй! – кричит он, указывая на верблюда. – Эй! Остановите его!

Убейте! Убейте его!

– Кого?

– Да верблюда же!

– Зачем?

– Смотрите!

Тут все видят, что верблюд бежит прямо на суповую банку, к которой в эту самую минуту приближается тяжелая и до смешного огромная бронемашина саперов. Солдаты, которые сообразили, что происходит, хватают винтовки и принимаются палить по верблюду. А тому хоть бы хны: пули чиркают по шкуре, вырывая куски меха. Пальба только перепугала бедное животное, так что верблюд припускает вперед, выпучив глаза; изо рта у него капает пена. Солдаты кричат саперам: “Бегите!” или “Прячьтесь!”, а те не понимают, что происходит, потому что не застали, как Блёвик стрелял по верблюду. Верблюд несется вперед, и уже совершенно ясно, что пробежит он ровнехонько над банкой, так что все бросаются, кто куда, прячутся в укрытие, зажмуриваются, закрывают головы и ждут.

Несколько мгновений спустя становится ясно, что взрыва не будет.

Первые солдаты, высунувшие головы из-за брони, видят, как верблюд улепетывает со всех ног, а за ним по дороге летит, подпрыгивая, совершенно безобидная банка из-под супа.

Они смотрят, как верблюд, пошатываясь, мчит в бескрайнюю даль пустыни и скрывается из виду в ослепительном мареве. Саперы сняли каски и, громко ругаясь, возвращаются к экипажу. Бишоп с Блёвиком, стоя бок о бок, провожают взглядом верблюда.

– Вот сволочь, – говорит Блёвик.

– Да ладно тебе.

– Чуть не влипли.

– Ты не виноват. Ты же не хотел.

– Все как будто замедлилось. Так вот пфффф, – он закрывает глаза ладонями, показывая, как сузилось зрение, – я понял, о чем ты.

– В каком смысле?

– Действительно попа, – поясняет Блёвик. – Миг – и тебя нету.

Все думают, что на этом история завершилась, – будет что рассказать дома: очередной невероятный случай на войне. Экипажи рассаживаются по местам, колонна медленно трогается с места, но не проходит и тридцати секунд, как вдруг Бишоп сквозь броню “брэдли” чувствует толчок, волну тепла и слышит грохот, как будто впереди что-то взорвалось. На войне это самый страшный звук: в пустыне его слышно на многие километры. Даже

вернувшись на родину, годы спустя они будут вздрагивать всякий раз, как рядом лопнет воздушный шарик или разорвется фейерверк, потому что это напомнит им о взрывах, о грохоте СВУ и мин, – звук страшной безвременной гибели.

Поднимается паника, солдаты кричат, Бишоп вылезает на орудийную башню, встает рядом с Блёвиком и видит, что шедший впереди них “брэдли” горит: от него валит черный, как деготь, дым. Из машины один за другим выбираются оглушенные, истекающие кровью солдаты. Передняя часть “брэдли” треснула пополам ровно там, где должен был сидеть водитель. Двое солдат несут третьего: его нога в колене висит на тонких полосках кожи и мяса, болтается, как рыба на леске. Многодетный папаша уже вызвал вертолеты.

– Видимо, банка из-под супа была обманкой, – предполагает Бишоп. – Чтобы мы бдительность потеряли. – Он оборачивается к Блёвику и по его искривленному от страха лицу сразу понимает: что-то не так. Блёвик зажимает руками рану на животе. Бишоп разводит его руки в стороны, но ничего не видит.

– Нет там ничего.

– Я же чувствую. В меня попали.

Блёвик бледнеет. Бишоп усаживает его в утробе “брэдли”, расстегивает на нем куртку, под ней бронежилет, но раны не замечает.

– Сам посмотри. Ты же в бронеке. Все в порядке.

– Нет, там что-то есть.

Под стоны Блёвика Бишоп стаскивает с него бронежилет, фуфайку и в нескольких сантиметрах выше пупка, там, где и говорил Блёвик, находит пятнышко крови величиной с монетку. Бишоп вытирает кровь, обнаруживает маленький порез – не длиннее щепки – и покатывается со смеху.

– Ну ты и даешь! И ты вот из-за этого шум поднял?

– Что там? Я сильно ранен?

– Ну ты и придурок.

– То есть не сильно?

– Рана крошечная. Ты цел. Засранец.

– Ну не знаю. Что-то мне хреново.

– Да все с тобой в порядке. Заткнись уже.

– Говорю тебе, мне хреново.

Бишоп остается с Блёвиком: уверяет его, мол, все в порядке, что ты как баба, а Блёвик твердит, что ему плохо. Наконец слышится гул вертолетов, и Блёвик шепчет Бишопу:

– Я хочу тебе кое-что сказать.

– Давай.

– Помнишь мою девушку? Джули Уинтерберри?

– Ага.

– Так вот никакая она мне не девушка. Я все это выдумал. Она меня даже не знает. Я с ней говорил-то всего раз в жизни. Попросил у нее фотографию. В школе на последнем звонке. Тогда все менялись фотографиями.

– Ну ты даешь! Ты еще пожалеешь, что мне об этом рассказал.

– Я выдумал это, потому что каждый день жалел, что так и не поговорил с ней.

– Ну вообще. Мы теперь тебе новую кличку придумаем.

– Я так жалею, что не поговорил с ней.

– Тебе же ребята покою не дадут.

– Послушай. Если я не выживу...

– Над тобой теперь всю жизнь смеяться будут.

– Если я не выживу, найди Джули и скажи ей, что я ее любил. Я хочу, чтобы она об этом знала.

– Нет, серьезно, над тобой теперь всю жизнь смеяться будут. Когда тебе стукнет восемьдесят, я тебе позвоню и простебаю из-за Джули Уинтерберри.

– Пообещай, что найдешь ее.

– Ладно. Обещаю.

Блёвик кивает и закрывает глаза. Наконец санитары на носилках забирают его в вертолет, и тот скрывается в небе цвета тусклой меди. Остальная колонна трогается и с грохотом ползет дальше.

В ту же ночь Блёвик умирает.

Кусок шрапнели длиной в пару сантиметров и толщиной с соломинку перерезал ему артерию, снабжавшую кровью печень, а пока доктора выяснили что к чему, он потерял слишком много крови, и у него развилась острая печеночная недостаточность. Многодетный папаша сообщил им об этом на следующий день, прямо перед выездом на задание.

– А теперь забудьте об этом, – командует он, когда становится ясно, что новость помешает им сосредоточиться на патрулировании. – Если бы армии было нужно, чтобы мы что-то чувствовали, нам бы отдали приказ.

Вечер проходит ни шатко ни валко, спокойно, без происшествий, но Бишоп не помнит себя от злости. Он злится из-за того, что Блёвик так глупо погиб, злится на сволочей, которые заложили ту бомбу, злится на самого Блёвика, на его трусость, на то, что он так и не сумел признаться

Джули Уинтерберри в любви, на то, что Блёвик не отважился поговорить с глупой девчонкой, хотя не боялся вламываться в темные комнаты, где засели вооруженные боевики, мечтающие его пристрелить. Видимо, в том и другом случае требуются настолько разные виды отваги, что в пору каждому из них придумать свое название.

Ночью мысли не дают Бишопу уснуть. Он злится уже не на Блёвика, а на себя. Потому что он такой же, как Блёвик. Потому что у Бишопы тоже есть секреты, о которых ему не хватает смелости рассказать. Его страшная тайна такая огромная, что порой ему кажется – чтобы ее вместить, нужен еще один внутренний орган. Тайна пожирает его изнутри. Она пожирает время и прочнее врастает в него, так что теперь, когда Бишоп вспоминает о произошедшем, уже не может отделить саму тайну от омерзения, которое она в нем вызывает.

К тому, что случилось с директором.

С человеком, которого все любили и уважали. С директором школы. Бишоп тоже его любил, так что, когда в пятом классе директор выбрал Бишопу для дополнительной внеклассной работы, для занятий по выходным, о чем никому нельзя было рассказывать, потому что другие мальчишки станут завидовать, если узнают, десятилетний Бишоп не помнил себя от счастья: его выделили из толпы! Он особенный! Его любят, им восхищаются! Сейчас, много лет спустя, его передергивает при мысли о том, что его так легко одурачили, что он никогда не задал директору ни единого вопроса, даже тогда, когда тот сообщил Бишопу, что будет учить его, как вести себя с девочками, потому что все мальчишки боялись девчонок, так что Бишоп обрадовался, что кто-то ему все объяснит. Началось все с журнальных фотографий, на которых были и мужчины, и женщины, как вместе, так и по отдельности, голые. Потом в ход пошли полароидные снимки, а потом директор предложил фотографировать друг друга “полароидом”. Бишоп помнит только фрагменты, образы, моменты. Вот директор нежно его раздевает (и даже тут Бишоп ничего не заподозрил!). Он ведь сам этого хочет. Он позволяет директору трогать его, сперва руками, потом губами. Директор хвалит Бишопу, говорит, какой он красивый, замечательный, самый-самый. Через несколько месяцев директор предлагает: а теперь ты сделай со мной то же самое. Директор раздевается. Бишоп впервые видит его член, красный, набухший, внушительный. Бишоп пытается повторить то, что делал с ним директор, но у него выходит неловко, неуклюже. Директор впервые злится на него и, когда Бишоп задевает его зубами, хватая мальчика за затылок и придвигает к себе, приговаривая: вот как надо, – но потом извиняется,

увидев слезы на глазах Бишопа, которого едва не стошнило. Бишоп винит во всем себя. Ничего, потренируется, в следующий раз получится лучше. Но лучше не получается – ни в следующий раз, ни через раз. Однажды директор останавливает неумелые попытки Бишопа, разворачивает его спиной, наклоняется над ним и говорит: “А теперь сделаем все как взрослые. Ведь ты уже взрослый?” Бишоп кивает, он же хочет всему научиться, не хочет злить директора, поэтому, когда тот встает на колени позади Бишопа и заталкивает в него член, Бишоп терпит.

Эти жуткие воспоминания обрушиваются на Бишопа много лет спустя, за десять тысяч километров от родины, в пустыне, на войне. Надо же, думает Бишоп, и ведь даже в этом секрете таится другой, еще более страшный секрет, упрятанный куда глубже, то, из-за чего он считал себя безнадежно испорченным, дурным человеком: на самом деле ему нравилось то, что проделывал с ним директор.

Бишоп ждал их встреч с нетерпением.

Ему этого хотелось.

И не только потому, что так он чувствовал себя особенным, уникальным – еще бы, его выделили из толпы, его хотят! – но и потому что ему нравилось то, что проделывал с ним директор, особенно поначалу. Бишоп дрожал от удовольствия. Он получал такое наслаждение от процесса, что, когда директор весной вдруг резко отменил эти дополнительные занятия, Бишоп мучился, чувствовал себя отвергнутым, брошенным, пока наконец в начале апреля до него не дошло: директор нашел другого мальчишку. Бишоп понял это по взглядам, которым они обменивались в коридоре, по тому, как этот новенький вдруг сделался угрюм и молчалив. Бишоп пришел в ярость. Он начал хулиганить в школе, грубил монашкам, ввязывался в драки. Потом его решили исключить, вызвали с родителями к директору, и тот сказал: “Мне очень жаль, что дошло до такого”. Бишоп рассмеялся: настолько двусмысленной показалась ему эта фраза.

Через неделю он начал подбрасывать отравленную соль в гидромассажную ванну директора.

Вот что сейчас пугает его сильнее всего: он пытался отомстить директору, точно брошенная девчонка. И если бы директор принял его обратно, пригласил его снова к себе, он бы тут же успокоился и прекратил хулиганить. А пугает его это потому, что Бишоп не может считать себя невинной жертвой. Он ведь охотно позволил директору себя совратить. С ним стряслась беда, потому что он сам этого хотел.

Полностью последствия случившегося Бишоп прочувствовал уже

позже, подростком, в военном училище: там считалось, что на свете нет ничего хуже, чем быть гомиком или педиком, и если тебя обзывали гомиком, педиком, пидором или гомосексом, ты обязан был полезть в драку, а чтобы никто не подумал, что ты гомик или педик, надо было обзывать других парней гомиками и педиками, и чем громче, тем лучше. Бишоп в этом преуспел, как никто. Особенно он лютовал на втором году обучения со своим соседом по комнате, слегка женоподобным парнишкой по имени Брэндон. Когда Брэндон заходил в общий душ, Бишоп тут же отпускал шуточку типа: “Осторожнее, пацаны, мыло не уроните”. Или перед сном спрашивал: “Ну что, мне жопу скотчем залепить или ты все-таки удержишься?” Ну и так далее и тому подобное: в конце восьмидесятых среди парней такие оскорбления считались обычным делом. Ребята обзывали друг друга “пидорасами” и “гомосеками”. Например, стоишь с кем-то у писсуаров и говоришь ему: “Вперед смотри, гомосек”. Брэндон в конце концов бросил училище – к облегчению Бишопа, который так сильно хотел Брэндона, что испытывал буквально физическую боль. Мучительно было видеть, как Брэндон раздевается, как на занятиях прилежно сидит над конспектами, в задумчивости покусывая кончик карандаша.

С тех пор прошло много лет; Бишоп никогда об этом никому не рассказывал. В день, когда умер Блэвик, он вдруг подскакивает на постели и решает написать письмо. Блэвик умер, жалея, что так и не рассказал о тайнах, которые хранил в душе, и Бишоп не хочет перед смертью думать о том же. Ему хочется быть смелее.

Он решает написать всем, кого знает. Он напишет сестре, попросит прощения за то, что отдалился от нее, объяснит, что перестал с ней общаться, потому что его испортили – видимо, директор изменил в нем что-то, и теперь Бишоп злится и на него, и на себя за то, что вел себя так ужасно, за то, что позволил себя развратить, а теперь уже ничего не исправить. Он объяснит Бетани, что пытался защитить ее от самого себя, потому что боялся ее испортить.

Он напишет родителям и Брэндону. Найдет его адрес и попросит прощения. Даже здоровяку Энди Бергу, которого не видел с тех пор, как запер беднягу на лестнице и обоссал. Бергу тоже надо написать. Каждую ночь Бишоп станет писать по письму, пока не раскроет все секреты. Он берет казенную бумагу, ручку и садится за стол в пустой, залитой зеленым флуоресцентным светом общей комнате с бетонными стенами. Первым делом он напишет Сэмюэлу, решает Бишоп. Потому что точно знает, что ему сказать, и письмо выйдет коротким, уже очень поздно, через несколько часов подъем, Бишоп принимается за письмо и в приливе вдохновения

заканчивает его за считанные минуты. Складывает бумагу, засовывает в официальный конверт с эмблемой СВ США, лизнув, заклеивает его, пишет утомительно длинную, через дефис, иностранную фамилию Сэмюэла и прячет конверт в шкафчик с личными вещами. Бишоп испытывает облегчение: еще бы, снял груз с души, раскрыл секрет. Он доволен своей придумкой – тем, что решил поделиться со всеми тайнами, накопившимися за долгие годы. Ему не терпится поскорее написать сестре, родителям и многочисленным друзьям, с которыми разошлись пути, и он засыпает, предвкушая, как усядется за письма. Он еще не знает, что написать их ему не суждено, потому что завтра во время патрулирования, когда он будет думать о Джули Уинтерберри (ей тоже надо написать), в нескольких метрах от него в мусорном баке взорвется радиоуправляемая мина, которую привел в действие кто-то, кто наблюдал за Бишопом со второго этажа одного из соседних домов, кто-то, кто видел не Бишоп, а только его форму, кто давным-давно отвык видеть людей в тех, кто носит эту форму и кто никогда не стал бы взрывать эту мину, если бы только знал, что Бишоп в ту минуту мысленно сочинял письмо к оставшейся на родине красивой девушке, которую любил его погибший товарищ. Но чужие мысли прочесть невозможно. Прогремел взрыв.

Ударная волна подбросила Бишоп, и на мгновение наступила такая ледяная тишина, точно он очутился внутри одного из маминых снежных шаров, все вокруг двигалось словно в густой жидкости, висело, замерев в воздухе, и в этом была какая-то своя красота, но потом бомба разорвала его на клочки, и чувства исчезли, Бишоп обступила тьма, а тело, в котором от Бишоп уже ничего не осталось, рухнуло на землю в десятках метров от эпицентра взрыва, и второй солдат за неделю погиб с мыслью о Джули Уинтерберри, которая в ту минуту находилась в десяти тысячах километров отсюда и, наверно, жалела, что жизнь ее так бедна приключениями.

Личные вещи Бишоп переслали родителям, те обнаружили конверт с письмом Сэмюэлу Андресену-Андерсону, вспомнили, что, кажется, так странно звали мальчика, с которым дочь переписывалась в детстве, передали письмо Бетани, она несколько месяцев колебалась, отдавать письмо или нет, и вот наконец отдала.

Вот так письмо попало из засекреченной деревеньки в иракской глуши на Манхэттен и теперь лежит на кухонном столе в лучике света от встроенной в потолок лампы. Ты берешь конверт в руки. Он практически невесомый: внутри один-единственный лист бумаги. Ты вынимаешь письмо. Бишоп написал всего несколько абзацев. Ты чувствуешь:

приближается миг, когда тебе придется принять решение. Это решение определит твою жизнь на многие годы. Ты читаешь письмо.

Дорогой Сэмюэл!

Человеческое тело очень хрупко. Его способна уничтожить любая мелочь. В верблюда хоть двадцать пуль всади, ему хоть бы хны, несется на тебя, нас же, человеческую мелюзгу, убивает сантиметр шрапнели. Тело – как острое ножа, что отделяет нас от небытия. Я почти смирился с этим.

Если ты это читаешь, значит, со мной что-то случилось. У меня к тебе просьба. Мы с тобой в то утро у пруда поступили очень плохо. В тот день, когда ушла твоя мать и когда приехала полиция. Да ты и сам, наверное, все помнишь. Той гадости, что мы проделали друг с другом в то утро, нет оправдания. Меня испортили, а я испортил тебя. Оказывается, эта порча никуда не девается. Она медленно отравляет душу. Она останется с тобой на всю жизнь. Увы, это так.

Я знаю, ты любишь Бетани. Я тоже ее люблю. Она хорошая, не то что я. И не испорчена, в отличие от нас с тобой. Пожалуйста, пусть все так и останется.

Это мое последнее желание. Единственное, о чем я тебя прошу. Ради Бетани, ради меня, пожалуйста, держись подальше от моей сестры.

Ну вот этот миг и настал. Наконец-то тебе надо принять решение. Справа дверь в спальню, где ждет Бетани. Слева дверь лифта и целый огромный пустой мир.

Пора. Решай. Какую ты выберешь дверь?

Часть шестая. Инвазивные виды

Конец лета 2011 года

1

Павнер открыл холодильник и тут же его закрыл. Он стоял на кухне, пытаясь вспомнить, зачем вообще сюда пришел, но в голове было пусто. Он проверил электронную почту. Попытался войти в “Мир эльфов”, но тщетно: сегодня же вторник. Подумал было прогуляться к почтовому ящику за письмами, но так никуда и не пошел, потому что почту еще не развозили, а ходить два раза ему не хотелось. Посмотрел в окно на почтовый ящик перед домом, пытаясь на глаз определить, есть ли в нем письма. Закрыл дверь. Ему казалось, будто на кухне что-то нужно сделать, но что именно, он не знал. Павнер открыл холодильник и обвел пристальным взглядом все, что там лежит, надеясь, что увидит и тут же вспомнит, зачем пришел на кухню. Взглянул на банки с соленьями и маринадами, пластмассовые бутылки с кетчупом и майонезом, коробку льняного семени, которую купил в порыве вдохновения, решив очередной раз сесть на диету, но так и не открыл. На нижней полке обнаружили пять баклажанов, которые явно гнили изнутри, медленно вяли и сдувались: пять фиолетовых валиков в лужицах карамельной жижи. Зелень в выдвижном ящике пожухла и побурела. Некогда золотистые початки кукурузы на верхней полке посерели, наливные зерна сморщились и теперь походили на больные зубы. Павнер закрыл холодильник.

По вторникам серверы “Мира эльфов” отключали от сети почти на все утро (а иногда почти до самого вечера) для регулярного техобслуживания, устранения ошибок и прочих танцев с бубном, необходимых компьютерам, которые обычно работали по двадцать четыре часа в сутки и на которых одновременно играли десять миллионов геймеров со всего мира, причем благодаря какой-то супер-пупер-надежной системе шифрования связь почти не тормозила, а таких мощных, быстрых и эффективных серверов не было ни у космических программ, ни в пусковых шахтах ядерных ракет, ни в кабинках для голосования (к примеру). Если на вторник попадал очередной день выборов, на форуме “Мира эльфов” обсуждали, почему в стране, создавшей такие мощные игровые серверы, не могут обеспечить нормальное электронное голосование. Геймеры коротали время,

дожидаясь, когда можно будет вернуться к игре, и порой даже ходили на выборы.

Иногда по вторникам систему перепрошивали: разработчики вносили очередные обновления, так что, войдя в игру, геймеры обнаруживали кучу новинок – новые квесты, новые достижения, новых монстров, новые сокровища. Без игры время в такие дни тянулось мучительно медленно. Обновления необходимы для того, чтобы игра не приелась, но ждать, пока в программу внесут все головоломные изменения и серверы заработают, приходилось долго. Случалось, серверы висели все утро, весь день и даже, к досаде геймеров, почти весь вечер. Вот как сегодня. Игру обновляли. Устанавливали новые патчи.

Павнер не знал, когда заработают серверы, и бесился. Был в этом определенный парадокс: он ведь и в “Мир эльфов”-то играл якобы для того, чтобы сбросить стресс. Прятался в игре от тягот жизни. А началось это где-то год назад, вскоре после ухода Лизы. Его вдруг все так достало, что не помогала даже подборка любимых фильмов, по телевизору, как назло, ничего не было, в списке фильмов на сайте, которые он поставил в очередь к просмотру, не оказалось ничего интересного, а все игры для приставки, которые у него были, он давным-давно прошел и выбросил. Ему стало не по себе, как бывает в хорошем ресторане, когда смотришь в меню и ничего не хочешь, или когда только-только подхватил простуду и даже у воды какой-то странный вкус – в общем, Павнер погрузился в такой всепоглощающий мрак уныния, когда кажется, что весь мир скучен и тяжок, и к тому же наваливается какая-то вселенская усталость, он сидел в гостиной в густеющих сумерках: недавно вся страна перешла на летнее время, так что смеркалось непривычно рано, и от этого тоже брала тоска, он сознавал, что на этот раз от стресса не убежать, придется столкнуться с ним лоб в лоб, и если он сейчас же не придумает, как отвлечься, наверняка распахнется так, что подскочит давление, да и сердечно-сосудистой системе достанется, обычно в таких случаях он шел в магазин электроники и что-нибудь покупал: на этот раз дюжину видеоигр, среди которых оказался и “Мир эльфов”. Начинать он с эльфа по имени Павнер, потом обзавелся кучей дополнительных персонажей, которых звали, например, Павнополия, Павнилище, Павнюк и Эдгар Аллан Павн. Павнер заявил о себе как грозный враг, могучий и умелый вождь в рейдах, руководивший полчищем игроков в сражениях против компьютерных чудовищ (ему казалось, будто он дирижирует битвой, как оркестром, который исполняет какую-нибудь симфонию или балет, в общем, что-то такое масштабное, батальное), он быстро достиг вершин мастерства, поскольку для этого

нужно было постоянно узнавать что-то новое, смотреть в интернете видеозаписи основных сражений, читать форумы, анализировать статистику на сайтах, обучающих теории, чтобы понять, какие параметры выгоднее использовать в той или иной битве, так что для каждой битвы в игре у него был предусмотрен собственный уникальный комплект оружия и снаряжения, который увеличивал шансы выжить в этой конкретной битве, потому что Павнер считал: если уж делаешь что-то, так делай по уму, выкладывайся на сто десять процентов, и он верил, что эти его обстоятельство и усердие помогут ему и ремонт на кухне начать, и за роман взяться, и сесть на диету, пока же он применял свои таланты исключительно в видеоиграх. Он создавал новых персонажей, новые аккаунты, чтобы играть сразу с нескольких компьютеров, потом под аккаунты покупал новые компьютеры, новые диски с игрой и пакеты расширений, вносил ежемесячную абонентскую плату, и оттого всякий раз, когда ему казалось необходимым создать очередного персонажа (обычно потому, что всех остальных он уже прокачал до высшего уровня, так что расти было некуда и становилось скучно оттого, что он самый крутой в игре, а от скуки его снова охватывало уныние, следовательно, срочно нужно было что-то делать), он тратил на это кучу денег, после чего считал себя просто обязанным играть как можно чаще и дольше, хотя нельзя сказать, что он не замечал некоего парадокса в том, что приходилось снимать стресс, вызванный адскими расходами, с помощью электронных средств, усовершенствование которых и вызывало тот самый стресс, которого он вообще-то старался избегать, а оттого чувствовал, что игра уже не помогает отвлечься, значит, нужно искать что-то поновее и подороже, в общем, замкнутый круг стресса и чувства вины все ширился, образуя своего рода психологическую ловушку для потребителя: он не раз замечал, как Лизины клиенты в отделе “Ланком” попадали в схожую ситуацию – покупка косметики лишь подкрепляла в них иллюзию, что совершенная красота недостижима, та красота, ради которой они и покупали косметику, – но за собой он отчего-то такого не замечал.

Он проверил серверы “Мира эльфов”. По-прежнему лежат.

Ощущение, будто сидишь в аэропорту, подумал Павнер, твой рейс задерживают, ты, разумеется, нервничаешь, твои любимые ждут тебя в другом городе, но из-за капризов техники вы никак не можете встретиться. Вот и в те дни, когда на серверах меняли прошивку, он чувствовал себя так же: когда удавалось войти в сеть, казалось, будто наконец-то вернулся домой. Это чувство невозможно было не заметить. Его немного пугало, что пейзажи “Мира эльфов”, анимационные цифровые гряды холмов,

туманные леса и вершины гор вспоминались ему так, словно он бывал там вживую. Что места эти вызывали у него куда более сильную нежность и ностальгию, чем реальный мир. Вот чего он не мог понять. Он создавал, что в каком-то смысле игра – фальшивка, иллюзия, и места, которые он якобы помнил, на самом деле не существуют, это лишь цифровой код, хранящийся на жестком диске его компьютера. А потом представлял, как карабкается на вершину горы на северной оконечности западного континента в “Мире эльфов” и смотрит на восходящую луну на горизонте, любителю снегом, блестящим в ее свете: до того это было красиво, что Павнер вспоминал восторги живописными полотнами, ему приходили на ум рассказы очевидцев, очарованных их красотой, и он не видел разницы между тем, что пережил сам, и тем, что испытывали они. И пусть не существовало ни этих гор, ни лунного света, но красота же была? Он же помнил об этом? Значит, все было на самом деле.

Дни, когда перепрошивали серверы, оборачивались для него сущим ужасом, потому что он оказывался отрезан от источника красоты, чуда, восторга, иногда на целые сутки, и вынужден был как-то справляться со своей аналоговой обыденностью. Всю неделю он думал, чем бы занять вторник, чтобы хоть как-то выдержать мучительную паузу между пробуждением и выходом в сеть. Что бы такое сделать, чтобы убить время. Он завел список на смартфоне, так называемый “Дела на день перепрошивки”, куда вносил приходившие ему в голову в течение недели мысли о том, как бы сделать так, чтобы пережить этот день, чем бы таким приятным себя занять. Пока что в списке значились три пункта:

1. Купить полезные продукты
2. Помочь Плуту
3. Читать хорошие книги

Третий пункт держался в списке уже полгода – с тех самых пор, как Павнер увидел у соседнего книжного супермаркета вывеску “Читайте хорошие книги!” и добавил это в список дел. Он поставил этот пункт на повтор, велел смартфону дублировать его каждую неделю, потому что всегда хотел читать как можно больше, ну и потому что круто было бы похвастаться в сети – мол, а я весь день валялся на диване с книгой и чашкой чая. Вдобавок если Лиза под влиянием минутного любопытства или в припадке раскаяния из-за того, что развелась с ним, вздумает тайком проверить список его дел в телефоне, ей наверняка понравится пункт “читать хорошие книги”, а может, она даже поймет, что он изменился, и

захочет к нему вернуться.

Однако за полгода он не прочел ни единой книги – ни хорошей, ни плохой. Ему становилось тошно уже от мысли о том, чтобы открыть книгу: накатывала усталость, мысли туманились.

Оставалось первое дело из списка: купить полезные продукты.

Признаться, он уже это пробовал. На прошлой неделе он наконец-таки отважился зайти в магазин органических продуктов после того, как неделю с улицы наблюдал за тем, что творится внутри, смотрел на входивших и выходивших покупателей и тихо ненавидел этих яппи за модные обтягивающие шмотки, электромобили и роскошную жизнь. Прежде чем зайти в магазин, нужно было тщательно продумать линию защиты, потому что, чем дольше он сидел в машине у входа и оценивал покупателей, тем больше ему казалось, что они тоже его осуждают. За то, что он недостаточно стильный, недостаточно спортивный, да и денег у него маловато, чтобы ходить в такой магазин. Павнер мнил себя главным героем каждой истории, он был уверен, что все только на него и смотрят: ему казалось, что он у всех на виду, что он тут неуместен, что здесь на него глазают, точно в паноптикуме, с осуждением и язвительной насмешкой. Он вел в голове долгие разговоры с абстрактными кассирами, стражами продуктов и дверей, объяснял, что он здесь не потому, что это модно, а потому что это совершенно необходимо для новой строгой диеты. И если прочие покупатели ходили сюда из-за увлечения очередным новомодным веянием – органическим ли питанием, слоуфудом ли, а может, стремлением есть исключительно продукты, произрастающие в этой местности, – то ему это нужно для здоровья, а значит, он тут куда уместнее, чем они, даже если внешне и не вписывается в целевую аудиторию этого бренда, если верить их вычурной рекламе. Наконец, отрепетировав с десятков раз в голове подобные диалоги, он собрался с духом, зашел в магазин и медленно бродил по нему, складывая в тележку точно такие же продукты, которые обычно покупал в соседнем супермаркете “Севен-илевен”: супы в банках, мясные консервы, белый хлеб, энергетические батончики, замороженную пиццу и прочие полуфабрикаты, – только, разумеется, здесь все это было органическое.

Выгружая продукты из тележки на ленту у кассы, он гордился собой: еще бы, ведь он один из них, никто на него не косился, не удивлялся, что он вообще тут забыл. Но чувство это испарилось, когда кассирша, милая девушка в очках в модной квадратной оправе, вероятно, аспирантка факультета экологии, или социологии, или еще чего-нибудь в этом роде, окинула взглядом все эти консервы, полуфабрикаты, коробки, заметила:

“Вы как перед ураганом запасаетесь!”, весело рассмеялась – мол, я пошутила – и принялась считать штрихкоды покупок. Он улыбнулся в ответ, неискренне хихикнул, однако потом весь день не мог избавиться от ощущения, будто кассирша его осудила, намекнула ему, что такую нездоровую пищу можно есть только если совсем прижмет – например, в случае какого-нибудь катаклизма.

Он все понял, сделал выводы и в следующий раз брал только свежее. Фрукты, овощи, мясо в вощенной бумаге. Только скоропортящиеся продукты. Он понятия не имел, как их готовить, но чувствовал себя здоровее уже от того, что у всех на глазах брал эти продукты в руки: это как пригласить на свидание красавицу: так и хочется, чтобы все вас видели, и ты идешь с ней куда-нибудь, где полно народу, вот так он и чувствовал себя, складывая в тележку блестящие баклажаны и прочие овощи и зелень – брокколи, рукколу, мангольд. Загляденье. Выкладывая покупки на ленту перед той самой хорошенькой кассиршей, он раздулся от гордости, как ребенок, который дарит маме нарисованную в школе картинку.

– У вас есть с собой сумка? – спросила кассирша.

Он в недоумении уставился на нее. Какая еще сумка, зачем?

– Нет, – ответил он.

– Мы поощряем клиентов ходить за покупками с собственными многоразовыми сумками, – пояснила кассирша. – Чтобы экономить бумагу.

– Ясно.

– За это мы делаем скидку, – продолжала кассирша. – Приносите сумку – получаете за нее деньги.

Он кивнул. Он смотрел уже не на девушку, а на экран ее компьютера. Притворялся, будто складывает в уме сумму покупок, проверяя, не обсчитали ли его. Кассирша, должно быть, почувствовала, что ему неловко и досадно из-за того, что его в очередной раз унизили, и попыталась разрядить обстановку, переменив тему:

– Что вы будете готовить из баклажанов?

Но легче ему от этого вопроса не стало, поскольку ответить было нечего, кроме как честно признаться:

– Не знаю.

По лицу девушки скользнуло разочарование, и Павнер добавил:

– Может, суп сварю.

Сущая пытка, в общем. Он даже продукты купил не те.

Павнер поехал домой, нашел сайт, на котором продавали сумки для продуктов: какая-то организация, которая на выручку от сумок спасала

тропические леса бог знает где. Главное, что на боках сумок красовался крупный логотип этой конторы, так что, когда Павнер протянет сумки кассирше, та заметит логотип и зауважает его за то, что он не только печется об окружающей среде и как ответственный гражданин ходит за покупками со своими сумками, но еще и сумки выбрал с точки зрения экологии правильные, следовательно, заботится о природе в два раза больше, чем любой другой покупатель в магазине.

На следующий день сумки доставили авиапочтой. Павнер снова отправился в магазин. Опять накупил скоропортящихся продуктов, но на этот раз по одному каждого вида, а не гору баклажанов, как в прошлый раз, чтобы не привлекать внимания. Выложил продукты на ленту симпатичной кассирши с очками в черной квадратной оправе. Она поздоровалась с ним, как со всеми: значит, не узнала. Кассирша сканировала и пробивала его покупки. Спросила, есть ли у него сумка, и он ответил, словно речь шла о чем-то само собой разумеющемся и для него это обычное дело:

– Да, конечно.

– Вам вернуть деньги за сумку или же вы хотите перечислить средства на благотворительность?

– В смысле?

– Вам положена скидка за то, что вы пришли со своей сумкой.

– Да, я в курсе.

– Не хотите ли перечислить эти средства в один из наших пятнадцати официальных благотворительных фондов?

Павнер машинально ответил “нет”, но вовсе не потому, что пожалел денег на благотворительность и решил затребовать их обратно. Просто он понятия не имел, какой из пятнадцати благотворительных фондов предпочесть, поскольку, скорее всего, никогда не слышал ни об одном из них. Вот он и выбрал самый легкий, наименее обременительный вариант, лишь бы поскорее свернуть этот разговор, потому что, если честно, за последнюю неделю уже всю голову себе сломал, представляя, как и что скажет кассирше.

– А, ну ладно, – ответила кассирша, поджала губы и приподняла бровь. Судя по ее лицу, она решила, что Павнер жлоб.

Девушка взвешивала его овощи и фрукты и проводила покупки через сканер как-то холодно, машинально: во всяком случае, так показалось Павнеру. Пальцы ее проворно порхали по кнопкам кассы. Она здесь была своя и не испытывала никакой неловкости. Не волновалась, как другие воспримут ее взгляды и что подумают о том, как она живет. Она запросто, походя его осудила и сочла недостойным внимания. Павнер почувствовал,

как что-то поднялось в душе, какой-то кислый комок, так что злоба пробрала его до печенок. Павнер вскинул руку с пустой сумкой над головой и держал ее так с минуту – наверно, ждал, что кто-нибудь заметит и сделает ему замечание. Но никто не заметил. Никто не обратил на него внимания. Хуже оскорбления невозможно было и придумать: он так театрально застыл, будто вот-вот в гнев кинется на девушку, а всем хоть бы хны.

И тогда он швырнул сумку в кассиршу. Прямо ей под ноги.

Причем, швыряя сумку, Павнер испустил дикий крик – по крайней мере собирался, но вышло так, что вместо гневного вопля он сдавленно и хрипло хрюкнул. Как свинья.

Сумка угодила кассирше в бок. Девушка взвизгнула от неожиданности и отскочила. Сумка упала на пол. Кассирша уставилась на Павнера, открыв рот от изумления, а он шагнул к ней, наклонился над кассой, расставил руки, точно крылья кондора, и завопил:

– Знаете что?

Он и сам не знал, зачем так раскинул руки. Павнер поймал себя на том, что понятия не имеет, что еще сказать. В магазине вдруг стало очень тихо: после визга девушки все кассы смолкли, перестали пищать. Он огляделся. Остальные покупатели, в основном женщины, взирали на него с ужасом, презрением и возмущением. Он медленно попятился от кассы. Почувствовал, что должен что-то сказать окружающим, объяснить, что его спровоцировали, как-то оправдать свою вспышку, доказать свою невиновность, порядочность, правоту.

Однако изо рта его вылетела фраза:

– Нужно из себя что-то представлять!

Он сам не понимал, с чего вдруг это ляпнул. Вроде бы недавно слышал это в какой-то популярной песне. У Молли Миллер. Ему понравилось, как прозвучали эти слова. Ему показалось, что это круто и оригинально. Но сейчас, когда они сорвались с его губ, он поймал себя на том, что понятия не имеет, о чем это вообще. Он поспешил к выходу. Сунул руки в карманы и вылетел из магазина. Поклялся себе, что никогда не вернется. Этот магазин, эта кассирша – на этих людей не угодишь... Им невозможно понравиться.

В общем, с первым пунктом, купить полезные продукты, как-то не сложилось.

На сегодня оставался последний пункт, который можно было выполнить: помочь Плуту. Вообще-то ему улыбалась мысль помочь товарищу по гильдии, новому другу, реальному приятелю (так говаривали

в “Мире эльфов”, чтобы отличить виртуальных друзей от тех, что были в реальном мире, о котором рассуждали как о далекой стране). Павнер пытался внушить себе, будто рвется помочь другу в беде исключительно из альтруистических побуждений. Возможно, отчасти так оно и было, но на самом деле ему так хотелось помочь новому другу, потому что тот оказался писателем. Плут заключил с издательством контракт, а следовательно, мог помочь ему попасть в таинственный книжный мир, о чем Павнер мечтал, поскольку тоже писал книгу. Он уже толком не помнил, о чем они с Плутом говорили в тот вечер в клубе “Иезавель”: стоило Павнеру узнать, что его новый друг – писатель, и он уже не мог думать ни о чем другом, кроме триллера о серийном убийце, который наверняка принесет ему миллионы (в этом он был уверен). Павнер начал его в предпоследнем классе школы, на занятиях по литературному творчеству. Первые пять страниц написал в ночь перед тем, как надо было сдавать рассказ. Учитель отметил, что это “великолепно” и Павнер “сумел передать стилистику детективного романа”, а в том фрагменте, где описывалось, как детективу привиделось, будто убийца бьет девушку ножом в сердце, на полях приписал: “Жуть берет!”, и это подтверждало, что у Павнера талант. Ему удалось растрогать читателя рассказом, написанным в спешке за ночь. Это дар. Либо он есть, либо его нет.

Если он сейчас поможет другу, решил Павнер, то в конце концов сумеет закончить начатое, потому что Плут окажется ему обязан, и он, Павнер, воспользуется этим, чтобы найти издательство и заключить контракт на круглую сумму, а это поможет не только расплатиться с долгами по ипотеке и вылезти из финансовой ямы, не только принесет средства, на которые можно будет покупать полезные продукты и сделать-таки ремонт на кухне, но и убедит Лизу вернуться, потому что одной из причин развода она назвала его “вялость и безынициативность”, написала это четким почерком в графе “непримиримые разногласия” в соглашении о разводе.

Значит, Плуту нужна информация о матери, но та ему ничего не расскажет. Ему нужны сведения о ее прошлом, при этом из конкретики у них только до смешного скудная запись об аресте да фотография матери на демонстрации протеста в 1968 году. Рядом с ней на снимке сидит девушка в очках-авиаторах: быть может, они из одной компании. Интересно, жива ли она еще, подумал Павнер. Вдруг она по-прежнему в Чикаго или у нее там остались друзья. Нужно выяснить, как ее звали. Он послал фотографию Секирщику, эльфу девяностого уровня, который в реальном мире учился в выпускном классе и прекрасно писал коды, но был далек от спорта, что

чрезвычайно печалило его отца: тот, напротив, ничем, кроме спорта, не интересовался. Как программист Секирщик занимался “бомбардировками соцсетей” (так он говорил): он мог практически одновременно разместить сообщение в каждой ветке комментариев к посту в блоге, на каждой странице Википедии, на каждом форуме и сообществе в интернете. На этом наверняка можно было заработать кучу денег, пока же Секирщик пользовался этой программой для того, чтобы отомстить тем уродам, которые чморили его в школе. Он в фотошопе вставлял их лица в откровенные фото с гей-порнухой и рассылал весьма реалистичные результаты полумиллиарду человек. Секирщик объяснял, что проводит бета-тестирование приложения и еще не придумал, как его монетизировать, хотя Павнер подозревал, что тот всего лишь дожидается, пока ему исполнится восемнадцать, чтобы свалить из дома и не делиться миллионами с мудаком папашей.

В общем, Павнер отправил Секирщику фотографию и приписал: “Разошли по чикагским форумам. Мне надо выяснить, кто эта баба”.

Павнер откинулся на спинку стула. Душа его пела. Несмотря на то что само дело отняло у него от силы минуту-другую, морально он очень устал: сперва все придумать, потом воплотить в жизнь. Он совершенно выбился из сил, вымотался, перенервничал. Попытался войти в “Мир эльфов”, но серверы по-прежнему лежали.

Он посмотрел в окно на почтовый ящик. Сел обратно на стул, пытаясь решить, как быть дальше, потом встал, пересел на другой стул, потому что на том было неудобно. Снова встал, вышел на середину комнаты и мысленно сыграл в игру, по правилам которой нужно было встать точно в центре комнаты, на равном расстоянии от каждой из четырех стен. Однако тут же оставил это занятие, пока не захотелось сходить за рулеткой, чтобы проверить точность глазомера. Подумал было посмотреть кино, но все фильмы уже пересмотрел по сто раз, всю коллекцию. Подумал, не купить и не скачать ли какое-нибудь новое кино, но подумал, что, пока посмотрит, непременно устанет. Павнер ходил по дому, надеясь, что глаз зацепится за что-нибудь и, быть может, тогда он придумает, как быть дальше. Вроде бы на кухне были какие-то незаконченные дела, но какие именно, он никак не мог вспомнить. Павнер открыл и закрыл духовку. Открыл и закрыл посудомойку. Открыл холодильник: ну уж там-то наверняка лежит что-то, что напомним ему про эту чертову кухню.

Ну, в общем, Лора Потсдам никогда прежде не испытывала такого

чувства. Какое-то совершенно новое ощущение. Вообще непонятно, что происходит! Она сидела в грязной комнате общежития, лазила в “ЯТут”, ждала, когда придет Ларри, и впервые в жизни испытывала сомнение.

Сомневалась она много в чем.

Вот прямо сейчас у нее вызывало сомнение приложение “ЯТут”, в котором нельзя было выбрать вариант “сомнение”: его попросту не было среди стандартных пятидесяти смайлов. Приложение ее разочаровало. Впервые за все время “ЯТут” не сумело разобраться в ее чувствах.

“ЯТут ужасно себя чувствую”, – написала она, но потом передумала: нет, не совсем так. “Ужасно” она себя чувствовала, когда в очередной раз обижала маму или после еды. Сейчас она вовсе не чувствовала себя “ужасно”. Лора стерла слово.

“ЯТут запуталась”, – написала она, но это выглядело как-то глупо и убого. Нет, в таком признаваться нельзя. Если ты запуталась, значит, у тебя нет цели в жизни, а у нее, Лоры, такая цель была: она планировала добиться успеха, стать вице-президентом корпорации в сфере маркетинга и коммуникаций, разве нет? Она же отличница! Студентка элитарного университета! Лора слово “запуталась” стерла.

“ЯТут не в своей тарелке” тоже не подходит: как-то несерьезно. Удалить.

Лора любила приложение “ЯТут” за то, что в нем можно было сообщить всем друзьям, как она себя сейчас чувствует, и их смартфоны автоматически откликнулись на ее чувства и посылали подходящий случаю смайлик. Лоре нравилось, что можно написать “ЯТут грущу”, и несколько секунд спустя на экране ее телефона высвечивались сообщения, в которых ее подбадривали, поддерживали, утешали, и ей сразу же становилось легче. Можно было выбрать одну из пятидесяти эмоций из списка, написать небольшое пояснение, прикрепить фотографию, или и то и другое, и получить поддержку друзей.

Но сейчас Лоре впервые не хватило пятидесяти стандартных эмоций. Ей впервые не подходила ни одна из них: странно, а ведь ей всегда казалось, что пятьдесят эмоций – это до фига. Тем более что какими-то из вариантов она ни разу не воспользовалась. Она ни разу не написала “ЯТут в отчаянии”, хотя “отчаяние” было в списке пятидесяти стандартных эмоций. Ни разу не написала “ЯТут провинилась” или “ЯТут опозорилась”. И, разумеется, ни разу не написала “ЯТут чувствую себя старой”. Она не “грустила” и не “страдала”. Скорее, сомневалась в том, что думает, чувствует и поступает правильно. И от этого ей было неудобно, поскольку это противоречило основному принципу ее жизни: все, что она делает,

правильно и похвально, она достойна того, чтобы получать все, чего ей хочется, – это всегда внушала ей мать, которой Лора и позвонила после встречи с преподавателем по литературе:

– Он считает, что я списала! Что я сдала чужую работу!

– Это правда? – спросила мать.

– Нет! – выпалила Лора и, помолчав, призналась: – Вообще-то да. Я списала.

– Ну что ж, у тебя наверняка была веская причина.

– Еще какая, – ответила Лора.

Мама всегда находила для нее достойные оправдания. Как-то раз, когда Лора в пятнадцать лет заявила домой в три часа ночи пьяная, ну, может, еще чуток под кайфом – ее высадили у дома из машины три парня, которые очень громко разговаривали и были намного старше Лоры (не то закончили школу, не то вылетели оттуда), – со спутанными и всклокоченными на затылке волосами, поскольку во время того, что происходило на заднем сиденье, елозила головой по обивке, в общем, ввалилась домой в полном коматозе и даже не сумела ответить на вопрос матери, где была, стояла, пошатываясь, и тупо тарасилась на нее, так вот даже тогда мама нашла ей оправдание.

– Ты заболела? – спросила она, и Лора послушно кивнула головой. – Да я уж вижу. Ты явно заболела. Наверно, легла поспать, вот и пришла так поздно?

– Да, – ответила Лора. – Что-то мне нехорошо.

Разумеется, чтобы обман не раскрылся, на следующий день Лоре пришлось прогулять школу, прикинувшись, будто ей очень плохо – то ли простудилась, то ли подхватила грипп, – хотя притворяться и не пришлось, учитывая, что она проснулась с дикого похмелья.

Самое странное – мать свято ей верила.

Она не просто выгораживала дочь: такое ощущение, что она охотно обманывалась на ее счет. “Ты сильная, и я тобой горжусь”, – говорила мама. Или: “Ты добьешься всего, чего хочешь”. Или: “Тебе никто не сможет помешать”. Или: “Я ради тебя пожертвовала карьерой, поэтому твой успех для меня в буквальном смысле самое важное на свете”. Ну и так далее.

Теперь же Лора испытывала сомнение, которого не было среди пятидесяти стандартных эмоций в “ЯТут”, и это, в свою очередь, заставляло ее усомниться, действительно ли она испытывает сомнение: такая вот головоломка, о которой она старалась не думать, чтобы не тратить попусту время и силы.

Завалить экзамен по введению в литературу нельзя. Это ясно как день. Слишком многое поставлено на карту – практика, летние подработки, средний балл успеваемости, ее репутация, в конце концов. Нет-нет, этого допустить никак нельзя. Лоре показалось, что преподаватель ее обидел, обошелся с ней несправедливо, хочет из-за одной-единственной дурацкой работы отобрать у нее будущее, – наказание, несоразмерное с ее проступком.

И даже в этом она сомневалась: ведь если не было ничего страшного в том, что она сжульничала в каком-то одном задании, почему бы не списывать вообще всегда? Это показалось Лоре как минимум странным, потому что в школе, когда только начала списывать, она уговорила себя, что списывает только сейчас, а потом, когда ей станут давать по-настоящему серьезные задания, она больше не будет списывать и начнет работать самостоятельно. Но пока что этого не случилось. За четыре последних класса в школе и первый курс университета ей не попалось ни одного мало-мальски серьезного задания. Вот она и списывала. Всегда. И врал, будто не списывает. Все время. И ни капельки не раскаивалась.

До сегодняшнего дня. Теперь ей не давала покоя мысль: что если за все время обучения в университете она не выполнит самостоятельно ни одного задания? Вдруг, когда ее возьмут на первую в жизни серьезную работу в сфере маркетинга и пиара, она не будет знать, что делать? Она ведь даже толком не понимает, что такое “маркетинг” (разумеется, если не считать того, что это когда кто-то делает тебе приятно).

Однако едва Лора задумывалась, не начать ли слушать преподавателя, выполнять задания самостоятельно, готовиться к контрольным, не списывать, как ее тут же охватывал страх: а вдруг не получится? Вдруг мозгов не хватит? Или прилежания? Что если она завалит экзамен? Лора боялась, что без обманов и хитростей ни за что не стала бы отличницей, каковой считала ее мать.

Маму это открытие убило бы. После развода мать заканчивала каждое письмо к Лоре фразой “Ты моя единственная радость” и не выдержала бы ее провала. Он уничтожил бы дело всей ее жизни.

Придется Лоре все же выполнить план, каким бы опасным он ни был. Ради мамы. Ради них обеих. Сомнений здесь быть не может.

А все почему? Потому что ставки выросли. Звонок декану избавил ее от мучений, связанных с “Гамлетом”, однако создал неожиданную проблему, поскольку теперь декан лезла из кожи вон, чтобы продемонстрировать, что университетское руководство принимает Лорину обиду близко к сердцу. Декан решила организовать двухдневную встречу для разрешения спорных

вопросов и примирения сторон: предполагалось, что Лора и профессор Андерсон сядут за стол переговоров при участии третьих лиц – консультантов, которые помогут им обсудить ситуацию, договориться и к обоюдному согласию разрешить спор в обстановке взаимоуважения и спокойствия.

Хуже ничего и быть не могло.

Лора прекрасно понимала, что не сумеет притворяться два дня подряд под пристальным наблюдением специалистов. Она отдавала себе отчет, что эту встречу надо предотвратить любой ценой, но единственное решение, которое пришло ей в голову, вызывало у нее сомнение и, пожалуй, угрызения совести и чувство вины.

В дверь постучали. Наверно, Ларри. Наконец-то.

– Секунду! – крикнула Лора.

Скинула шорты и топик, расстегнула лифчик, сняла трусики и достала из шкафа полотенце – самое тоненькое и маленькое, какое у нее было. Это было даже не банное полотенце, поскольку в него нельзя было завернуться полностью: сбоку торчала полоса плоти. Да и ширины оно было нестандартной: полотенце еле-еле прикрывало пах. Малейшее неловкое движение – и все видно. Полотенце было белое, застиранное и просвечивавшее. Лора специально стирала его много раз. Она использовала его так же, как фокусник часы: для гипноза.

Лора открыла дверь.

– Привет, – сказала она, и Ларри, увидев ее в крошечном полотенце, тут же скользнул взглядом вниз. – Извини, не успела одеться, – добавила Лора. – Я как раз хотела принять душ.

Ларри вошел в комнату и закрыл дверь. Одет Ларри Брокстон был как обычно: блестящие серебристые баскетбольные шорты, черная футболка, огромные шлепанцы. Не то чтобы у него не было другой одежды: была, Лора сама видела у него в шкафу симпатичные рубашки, явно купленные мамой. Но Ларри всегда ходил в одном и том же, каждое утро подбирал с пола футболку и шорты, нюхал и надевал. Интересно, когда ему надоест, думала Лора. Но прошел месяц, а он так ни разу не переоделся. Она давно заметила, что парни удивительно упорны в пристрастиях, буквально как одержимые. Если уж им что-то нравится, будут делать это до посинения.

– Ты что-то хотела? – спросил Ларри.

Парни всегда были рады ей помочь, особенно когда она в полотенце. Ларри сидел на ее кровати. Она стояла прямо перед ним, так что ее туловище было как раз на уровне его глаз. Приподними она полотенце на пару-тройку сантиметров, и он увидел бы ее идеально гладкий лобок без

единого волоска.

– Да, хотела попросить тебя о небольшом одолжении, – ответила Лора.

С Ларри она познакомилась на введении в литературу. Она сразу его заметила и все гадала, то ли он бороду отращивает, то ли просто забывает побриться. Она видела его на кампусе. И знала, что он всегда ходит в одном и том же и водит черный “хаммер”. На занятиях он никогда ни с кем не разговаривал, но вдруг однажды после пары пригласил Лору на вечеринку его братства. На тематическую вечеринку. Они собирались жарить поросенка на вертеле. И гамбургеры на гриле, которые обозвали “бронтозаврбургерами”. И подавать какой-то “сок юрского периода”. Называлось все это “вечеринка пещерных шлюх”.

И это показалось Лоре таким обидным! Ведь вечеринку устраивало братство. Разумеется, она оденется как шлюха! Незачем было намекать! Они ее что, совсем за дурочку держат?

Ну ладно, пошла она туда. В кожаной тоге, без нижнего белья, разумеется, пила этот “сок юрского периода”, пока он не стал казаться ей вкусным, и болтала с Ларри, который использовал в речи слово “конгениальный”: это произвело на Лору впечатление. Они обсуждали, что им больше всего не нравится в университете. “Занятия”, – сказала Лора. “Места на парковке слишком маленькие”, – ответил Ларри. Лору охватило знакомое жгучее желание: ей нестерпимо захотелось прижаться к Ларри покрепче, но она еще не настолько напилась, чтобы обниматься с ним при всех. Она пригласила Ларри к себе в комнату, сделала ему минет, и он кончил ей в рот, причем без предупреждения, что показалось ей невежливым, ну да уж ладно, фиг с ним.

Лора не знала, что такое “конгениальный”, но звучало это внушительно. Хорошее слово.

– Ты все там же работаешь? – спросила Лора, имея в виду университетский центр компьютерной поддержки.

Ларри совмещал работу с учебой, а во время трехчасовых смен обычно смотрел ролики в интернете, лишь изредка прерываясь на то, чтобы помочь какому-нибудь бедняге-преподу, который не знал, как подключить принтер.

– Ага, – ответил Ларри.

– Здорово, – сказала Лора, шагнула к Ларри и коснулась ногой его ноги.

Когда Лора соблазнила Ларри в общаге, произошла очень странная штука: едва он кончил, как она почувствовала во рту какой-то мягкий, но на удивление плотный комочек. Она сплюнула его в ладонь и увидела частично пережеванный кусочек бронтозаврбургера. Лора решила, что этот

кусочек вышел из пениса Ларри, и пришла к выводу, что Ларри обладает уникальной способностью во время эякуляции извергать куски пищи. Лора скривилась от отвращения и попросила Ларри впредь кончать куда-нибудь в другое место.

– А ты ведь можешь удаленно подключиться к любому компьютеру на кампусе? – уточнила Лора.

– Ага.

– Отлично. Мне нужно проверить один компьютер.

Ларри нахмурился.

– И чей же?

– Профессора Андерсона.

– Да ладно. Что, правда?

Она провела рукой по его соломенным волосам.

– Правда. Он кое-что скрывает. Кое-что плохое.

Лоре и в голову не пришло, что мужчины физически не способны в момент оргазма извергнуть из пениса содержимое желудка и что этот кусочек бронтозаврбургера уже был у нее во рту, застрял в дырке, оставшейся от выдранного зуба мудрости, и от энергичных фрикций Ларри просто вылетел оттуда. Другими словами, что это всего лишь совпадение, пусть и неудачное. Лора потом сказала, чтобы Ларри больше не смел кончать ей в рот, он охотно согласился и вполне ожидаемо предложил эякулировать ей на лицо, на грудь и на задницу. Ожидается, потому что они пересмотрели в интернете столько порнухи, что сейчас просто воспроизводили сцены, которые казались им нормальными, даже банальными. Не было ничего странного в том, что Ларри хотел кончать на какую-нибудь часть ее тела: обоим казалось, что так и должен завершаться половой акт – этому научила их порнуха. Но потом Ларри расширил список целей: он был не прочь кончать ей на ноги, на спину, на волосы, на переносицу, и пусть наденет очки, чтобы он кончил ей на очки, на локти и на запястья. Ларри на удивление точно знал, чего хочет. Лора не могла понять, хорошо это или плохо, что у Ларри в голове целый список частей тела, на которые он хочет кончить. Она чувствовала себя каким-то эротическим эквивалентом карточки для лото.

– И что же скрывает профессор Андерсон? – спросил Ларри. – Что такого у него в компьютере?

– Кое-что неприличное. Даже незаконное.

– Seriously?

– Еще бы, – ответила Лора, процентов на восемьдесят уверенная в собственной правоте.

У кого же в компьютере не найдется что-нибудь неприличное? Двусмысленные фотографии, загруженные из интернета, сомнительная история поиска в браузере. В общем, наверняка что-нибудь да отыщется.

– Я имею право подключиться к чужому компьютеру, только если меня об этом попросят, – сказал Ларри. – Сам я не могу там рыться.

– Скажешь, что проводил профилактическое техобслуживание.

Она шагнула ближе к Ларри, так что ему наверняка стало видно, что у нее под полотенцем. Что именно ему видно, она не знала, но, судя по его лицу, по тому, как Ларри вытаращился на нее, Лора поняла, что он видит все от талии и ниже.

– Ты подумай, – проговорила Лора. – Если ты найдешь доказательства того, что он недостойн быть преподавателем, то станешь героем. Моим героем.

Ларри уставился на нее.

– Сделаешь это для меня? – спросила она.

– У меня будут проблемы, – ответил он.

– Не будут, я обещаю, – успокоила его Лора и взяла его за голову второй рукой, выпустив при этом полотенце, которое мягко упало на пол.

Она всегда любила этот миг, ей нравилось, как менялись в лице мужчины, едва до них доходило, что сейчас будет, как они впивались в нее взглядом, как внимательно слушали. Ларри уже облапил ее.

– Ладно, – согласился он. – Сделаю.

Лора улыбнулась. Еще бы, сейчас он на что угодно согласен.

Ей никогда не составляло труда соблазнить мужчину. Проблемы начинались потом. Через несколько недель мужчины остывали к ней. На них уже нельзя было рассчитывать. Например, было у нее три приятеля-любовника, и вскоре после того, как у них с Лорой завязались какие-то отношения, заявили, что биасексуальны – то бишь их не тянет ни к одному полу, ни к другому.

Кто бы мог подумать, да?

Когда Ларри кончил и ушел, Лора вытерла с бедер (подумать только! раньше ей ни разу не кончали на бедро) липкие следы его пребывания и снова вошла в приложение “ЯТут” в надежде, что, быть может, теперь она поймет, что чувствует и что нужно сказать. Но увы. Она по-прежнему не могла разобраться в собственных эмоциях.

Тогда Лора решила включить функцию автокоррекции – совершенно чудесная программа, которая сравнивала чувство, которое ты описываешь, с миллионами записей, хранившихся в базе данных приложения, и, перебрав и проанализировав их все, предлагала именно ту эмоцию из

пятидесяти стандартных, которую, по ее мнению, ты сейчас испытываешь. Лора кликнула по ссылке, открылось текстовое поле, и она начала писать:

Я Тут думаю, что меня на пересдачу лишь потому, что я списала какую-то там дурацкую работу, хотя прекрасно понимаю, что не надо бы постоянно списывать по всем предметам, потому что рано или поздно я закончу университет, а значит, придется искать работу в своей сфере, ну и так далее ~('•—•')~, но сейчас Я ВЫНУЖДЕНА списывать, потому что раньше всегда списывала и теперь понятия не имею, что происходит на занятиях (Θ~Ω), и если перестану списывать, получу плохие оценки, а то и вовсе вылечу из универа, а если меня все равно могут выгнать, уж лучше тогда списывать и получать хорошие оценки и стать крутым и профессиональным маркетологом, как хочет мама. Значит, надо не допустить этой встречи с преподавателем. Я так много думала об этом и поняла, что если он больше не будет преподавать в университете, то его не позовут на встречу. \ (^•^) / Похоже, единственный выход – опозорить препода, добиться, чтобы его выгнали, сломать ему жизнь, да, мне стыдно, меня бесит, что универ довел меня до такого и вынудил пойти на поступки, о которых я потом пожалею, и все это лишь из-за того, что списала одну-единственную дурацкую работу ¬_ (Θ^Θ) _ /¬

Она нажала “ввод”, приложение обработало текст, и автокорректор предложил ответ:

Вы хотите сказать, что вы расстроены?

Точно, именно это она и имела в виду. Лора тут же отправила пост: “Я Тут расстроена”, и через несколько секунд ей стали приходить сообщения:

Выше нос! ☺

Не грусти, ты классная!!

Лю тя!

Ты лучшая!

И так далее. Дюжины сообщений от друзей, поклонников, парней, любовников, коллег и знакомых. Они понятия не имели, из-за чего она расстроена, но так легко было представить, будто они все прекрасно понимали и знали о ее планах, так что каждое сообщение лишь укрепляло

ее решимость. Она вынуждена это сделать. Лора подумала о будущем, о маме, о том, что поставлено на карту. И поняла, что права. Она выполнит свой план. Препод сам напросился. Вот и поделом. Теперь он у нее попляшет.

3

Они встретились в одном из сетевых кафе неподалеку от пригородного бизнес-парка, в котором работал Генри. Бизнес-парк выстроили прямо возле шоссе; на ведущей к нему односторонней дороге вечно стояла пробка. Навигаторы и карты в телефонах здесь неизменно путались, так как из-за близости к четырнадцатиполосной магистрали, чтобы попасть в бизнес-парк, приходилось несколько раз неудобно разворачиваться вопреки логике и ехать в другую сторону, чтобы попасть на тот или иной виадук или въезд на шоссе, а также кружить по “клеверным листам” развязок.

В кафе играло что-то из списка сорока лучших композиций для пения хором, а полы устилал ковролин, на котором в пределах досягаемости сидевших на высоких стульчиках детей были разбросаны крошки, цветные карандаши, клочки мокрых салфеток, виднелись пятна от молока. В вестибюле толпились семьи, ожидавшие, пока освободится столик, и глазели на пластмассовые шайбы, которые им раздавали официантки, – устройства со встроенным моторчиком и подсветкой вибрировали и мигали, едва столик освобождался.

Генри и Сэмюэл сидели в кабинке и держали в руках меню – большие, ламинированные, яркие, разноцветные, с множеством разделов, размером с десять заповедей из того фильма про десять заповедей. Блюда здесь подавали те же, что и в любых сетевых кафе: бургеры, стейки, сэндвичи, салаты, всякие затейливые закуски с нарочито неправильно написанными прилагательными в названиях – например, “зачотный”. От прочих заведений это кафе отличалось лишь тем, что здесь как-то специфически готовили лук: разрезали и обжаривали таким образом, что луковица на тарелке раскрывалась и походила на засушенную лапку с множеством пальцев. Можно было вступить в Призовой клуб и получать очки, если заказал такое.

На их столе стояли закуски, которые Генри оплатил корпоративной кредиткой. Они проводили “эксперименты”, как он это называл. Пробовали по очереди разные блюда из меню и обсуждали, можно ли их выпускать в виде замороженных полуфабрикатов: например, обжаренные до золотистой корочки кусочки чеддера – да, а вот жареного желтоперого

тунца, пожалуй, нет.

Все это Генри записывал в ноутбук. Они ели шашлык из курицы в мисо, когда Генри наконец завел речь о том, что живо его интересовало, однако он изо всех сил притворялся, будто ему все равно.

– Кстати, тебе удалось что-то выяснить о матери? – с деланным безразличием спросил Генри, разрезая вилкой кусок курицы.

– Если бы, – ответил Сэмюэл. – Я сегодня весь день проторчал в библиотеке Иллинойского университета, рылся в архивах, перебрал все, что у них было за 1968 год. Ежегодные справочники. Газеты. Надеюсь, что найду хоть слово о маме.

– Ну и?

– Черта с два.

– Она же недолго пробыла в университете, – заметил Генри. – От силы месяц. Неудивительно, что ты не ничего не нашел.

– Я не знаю, что делать.

– И как она поживает? Ты же ее тогда видел, в квартире. Она, ну я не знаю, счастлива?

– Непохоже. Она все больше молчала. Мне показалось, она чего-то боится. Смирилась и ни на что уже не надеется.

– Узнаю ее.

– Может, мне еще раз к ней съездить? – спросил Сэмюэл. – Выбрать время, когда этого ее адвоката не будет.

– Еще чего. Не вздумай! – сказал Генри.

– Почему?

– Во-первых, она этого не заслужила. У тебя от нее одни неприятности. А во-вторых, это опасно. В Чикаго кругом преступники.

– Ну пап.

– Я серьезно! Где бишь она живет?

Сэмюэл назвал адрес. Отец набрал его на компьютере и сказал, глядя в экран:

– Тут вот пишут, что в этом районе за последнее время было совершено шестьдесят одно преступление.

– Пап!

– Шестьдесят одно! И это только за прошлый месяц. Нападение. Побои. Насильственное вторжение. Вандализм. Кража мотоцикла. Кража со взломом. Еще одно нападение. Преступное нарушение владения с причинением вреда. Кража. Снова нападение. Прямо на улице!

– Брось, я там был. Все спокойно.

– На улице. Среди бела дня! Дадут тебе ломом по голове, заберут кошелек, а тебя бросят умирать.

– Да ничего не будет.

– Еще как будет. Вон вчера было.

– Ничего со мной не случится.

– Попытка кражи. Вооруженные преступления. Нашли человека, которого вроде бы похитили.

– Пап, послушай...

– Нападение в автобусе. Избиение с отягчающими обстоятельствами.

– Ладно, уговорил. Я буду осторожен. Как скажешь.

– Как скажешь? Тогда я тебе так скажу: не ездь. Не ездь ты туда. Сиди дома.

– Пап...

– Пусть выгребается как хочет. Пусть хоть сгниет там.

– Мне от нее кое-что нужно.

– Да ну что тебе от нее может быть нужно!

– Я же не говорю, что мы станем вместе отмечать Рождество. Мне нужно узнать ее историю. Если я этого не сделаю, мое издательство подаст на меня в суд.

– И думать забудь.

– И что ты предлагаешь? У меня выбора нет. Разве что объявить себя

банкротом и сбежать в Джакарту. Ты этого хочешь?

– Почему в Джакарту?

– Это я так, к примеру. Мне нужно, чтобы мама мне все рассказала.

Генри пожал плечами, засунул в рот кусок курицы, принялся жевать и делать пометки в ноутбуке.

– Смотрел вчера, как “Кабс” сыграли? – не отрывая глаз от экрана, спросил он.

– Мне сейчас не до того, – ответил Сэмюэл.

Генри хмыкнул.

– Хорошо сыграли.

Спорт их объединял, помогал понять друг друга. Если разговор не клеился, становился чересчур печальным или откровенным, они меняли тему и принимались обсуждать бейсбол. После ухода Фэй Сэмюэл и Генри о ней почти не говорили. Страдали поодиночке. А беседовали в основном о “Кабс”. Когда она ушла, оба вдруг вспыхнули к “Чикаго Кабс” беззаветной всепоглощающей любовью. Со стен в комнате Сэмюэла исчезли репродукции непонятных произведений современного искусства в рамках, плакаты с сумбурными стихами, которые повесила мать: их заменили постеры с Райном Сандбергом, Андре Дюсоном и вымпелами “Кабс”. По вечерам в будние дни они смотрели трансляции по кабельному каналу WGN, и Сэмюэл в буквальном смысле молился Богу – вставал на колени на диван, поднимал глаза к потолку и просил, скрестив пальцы (на самом деле просто торговался с Богом): пожалуйста, пусть будет хоум-ран, пусть они победят во втором иннинге, пусть выиграют в сезоне.

Иногда они ездили в Чикаго на матчи “Кабс” – непременно днем, непременно после тщательной подготовки: Генри набивал машину продуктами и вещами на все случаи жизни – запаса хватило бы, чтобы пережить любую дорожную катастрофу. Брал несколько бутылей с водой – и для питья, и на случай, если радиатор забарахлит. Запасные колеса, иногда даже два. Сигнальные ракеты и любительскую радиостанцию с ручной настройкой. Карты Ригливилла^[34] с пешеходными маршрутами, пестревшие пометками из предыдущих поездок: где сумели припарковаться, где наткнулись на попрошаек и торговцев наркотиками. Районы, которые казались особо опасными, вычеркивал. Клал в карман запасной пустой кошелек: вдруг нападут и ограбят.

Едва они въезжали в Чикаго, попадали в плотный поток машин, а за окном мелькали новые районы, Генри спрашивал:

– Двери заперты?

Сэмюэл теребил ручку и отвечал:

– Да!

– Смотришь в оба?

– Да!

И до самого возвращения домой они были настороже: как бы чего не случилось.

Раньше Генри никогда так не волновался. Но после того, как пропала Фэй, стал беспокоиться, как бы чего не случилось, как бы их не обокрали. Потеря жены внушила ему страх, что его неминуемо ждут еще большие потери.

– Интересно, что же с ней такое случилось, – проговорил Сэмюэл, – в Чикаго, в университете. Почему она так быстро оттуда уехала?

– Понятия не имею. Она никогда не рассказывала.

– А ты разве не спрашивал?

– Я был так рад, когда она вернулась, что боялся сглазить. Даренному коню в зубы не смотрят. Так что я об этом и не упоминал. Мне хотелось казаться продвинутым и снисходительным.

– Я должен выяснить, что с ней случилось.

– Вот, кстати, интересно, что ты скажешь. Мы запускаем новую линейку продуктов. Тебе какой логотип больше нравится?

Генри пододвинул к нему два блестящих листа бумаги. На одном было написано “СВЕЖЕЗАМОРОЖЕННЫЕ ПРОДУКТЫ С ФЕРМЫ”, на второй – “СВЕЖАЯ ЗАМОРОЗКА С ФЕРМЫ”.

– Приятно видеть, что тебя так волнует благополучие сына, – съязвил Сэмюэл.

– Да ладно тебе. Какой тебе больше нравится?

– Я рад, что мои трудности так тебя заботят.

– Ну хватит уже. Какой логотип выберешь?

Сэмюэл рассмотрел рисунки.

– Наверное, первый, – наконец ответил он. – Если сомневаешься, как надо, пиши правильно.

– Вот и я о том же! Но наши рекламисты утверждают, будто “заморозка” прикольнее. Они так и говорят – прикольнее.

– Меня и “свежезамороженные продукты” смущают, – признался Сэмюэл. – Очень длинно получается.

– Сразу видно, что мой сын преподает английский.

– Да у вас все названия длинные. Сам посуди: “сэндвич с тунцом и плавленым сыром”. Или “жареная воздушная кукуруза”.

– А что ты хочешь: в рекламе свои законы. Вот, например, наши креативщики говорят, что тридцать лет назад можно было придумывать

слоганы ни о чем: “Отличный вкус!”. Или: “Это к счастью!”. Но теперь потребители поумнели, и приходится мудрить, сочинять личные обращения. “Ощути отличный вкус!”. “Открой счастье!”.

– Я вот чего не понимаю, – сказал Сэмюэл. – Как замороженный продукт можно называть свежим?

– Ты удивишься, но вот это как раз почти никого не смущает.

– Если его заморозили, значит, он уже не свежий.

– Ну это же для рекламы. Для хипстеров-гурманов мы пишем “свежие продукты с фермы”. Или “изготовлено вручную”. Или “местные”. Для миллениалов пишем “винтаж”. Для женщин – “низкокалорийные”. И даже не спрашивай, на какой такой “ферме” производят все эти якобы фермерские свежие продукты. Я-то знаю, что такое настоящая ферма. А это – не ферма.

У Сэмюэла звякнул телефон: пришло сообщение. Сэмюэл машинально потянулся было к карману, но передумал и сложил руки на столе. Они с Генри обменялись взглядом.

– Так и не ответишь? – наконец спросил Генри.

– Не сейчас, – ответил Сэмюэл. – Мы же разговариваем.

– Ишь ты. Ну спасибо.

– Мы обсуждаем твою работу.

– Да какое там обсуждаем. Я, как обычно, жалуюсь, а ты слушаешь.

– Долго тебе еще до пенсии?

– Долго. Но я уже дни считаю. И когда наконец уйду, наши рекламщики будут на седьмом небе от счастья. Видел бы ты, что я устроил, когда они вместо “фаршированные халапеньо” придумали писать “фаршипеньо”. Или “хлебные палочки с моцареллой” решили назвать “моцахлебцы”. Бр-р-р. Нет уж, спасибо.

Сэмюэл вспомнил, как радовался отец, когда устроился на эту работу, перевез семью в Стримвуд, и они наконец переселились из перенаселенных многоэтажек на Оукдейл-лейн, где дома стояли на достаточном расстоянии друг от друга и перед каждым простиралась лужайка. У них впервые в жизни появился свой двор и газон. Генри хотел завести собаку. В доме были стиральная и сушильная машины: больше не надо по воскресеньям ходить в прачечную. И тащить на себе продукты из магазина в пяти кварталах. И никакие хулиганы теперь не покалечат автомобиль. Не надо больше слушать, как сверху ругаются соседи или снизу орет ребенок. Генри был в восторге. А Фэй хандрила. Быть может, они поссорились – ей хотелось жить в городе, а мужу взбрело переехать в пригород. Кто знает, как принимают такие решения, тем более что есть вещи поинтереснее

жизни, которую родители скрывают от детей. Сэмюэл лишь знал, что маме пришлось уступить, вот она и высмеивала все, что напоминало ей о поражении: большие бежевые ворота гаража, террасу во внутреннем дворике, буржуазного вида гриль для барбекю и весь их длинный уединенный райончик, в котором обитали сплошь счастливые добропорядочные белые граждане с детьми.

Наверное, Генри казалось, что он добился-таки успеха: хорошая работа, семья, уютный домик в пригороде. Он получил все, чего хотел, и был ошарашен, если не сказать сломлен, когда все развалилось: сперва его бросила жена, потом начались проблемы на работе. Было это, кажется, году в 2003-м, Генри уже проработал в этой компании двадцать с лишним лет, до желанной досрочной пенсии ему оставалось что-то года полтора, и он уже строил планы, как отправится в путешествие, как обзаведется новыми хобби, – и вдруг его корпорация заявила о банкротстве. И это при том, что дня за два до банкротства всем сотрудникам разослали письма с уверениями в том, что все в порядке: дескать, слухи о банкротстве преувеличены, акции продавать не нужно, лучше купите еще, пока они недороги, что Генри и сделал, хотя впоследствии оказалось, что президент их компании тогда же тайком избавлялся от активов. Пенсия Генри целиком зависела от акций компании, которые теперь обесценились, и когда процедура банкротства завершилась и компания выпустила новые, продавали их только членам совета директоров и крупнейшим инвесторам с Уолл-стрит. Генри остался ни с чем. Сбережения, которые он копил всю жизнь, сгорели за день.

Когда Генри понял, что выход на пенсию придется отложить лет на десять, а то и на пятнадцать, на лице его появилось такое же растерянное выражение, как в тот день, когда исчезла Фэй. То, на что он так рассчитывал, снова обмануло его ожидания.

Он стал циничен и осторожен. И больше не верил ничьим обещаниям.

– Средний американец ест готовые замороженные блюда шесть раз в месяц, – сказал Генри. – Моя задача – сделать так, чтобы он ел их семь раз в месяц. И я неустанно над этим работаю, иногда даже по выходным.

– Как-то ты об этом без радости говоришь.

– Проблема в том, что никто из моих коллег не думает о хоть сколько-нибудь отдаленном будущем. Их волнует лишь следующий квартальный отчет и следующий отчет о доходах: дальше они не загадывают. Они не понимают того, что понимаю я.

– Чего же именно?

– Если мы находим какую-то новую рыночную нишу, со временем мы

обязательно ее уничтожим. Это наш основополагающий принцип, истинное кредо нашей компании. Свонсон в 1950-е подметил, что члены семьи обычно едят вместе, и решил занять эту нишу. Так придумали телеужины. И люди поняли, что им вовсе не обязательно собираться за одним столом. Как только на рынке появились телеужины для всей семьи, традиция семейных ужинов стала отмирать. Вот так мы уничтожаем рынок.

Телефон Сэмюэла снова звякнул: пришло очередное сообщение.

– Ох уж эта молодежь с мобильниками, – не выдержал Генри. – Ради бога, возьми ты уже трубку.

– Извини, – Сэмюэл полез проверить сообщение. Павнер писал:

МЫ НАШЛИ ТЕТКУ С ФОТО!

– погоди секунду, – сказал Сэмюэл отцу и написал ответ:

какую тетку? с какого фото?

фото твоей мамы из 60-х!! Я нашел ту тетку!

Правда?

Приезжай сейчас же в “Иезавель”, я тебе все расскажу!!!

– Ты как стажеры с работы, – заметил Генри. – С ними разговариваешь, а они думают о чем-то своем. Такое ощущение, будто вообще тебя не слушают. Наверно, я ворчу как старик. Ну и пусть.

– Извини, пап, мне нужно бежать.

– Вы и десяти минут спокойно не посидите. Вечно в делах.

– Спасибо за ужин. Я позвоню.

Сэмюэл помчался на юг, в пригород, где жил Павнер, припарковался под фиолетовыми огнями “Иезавели” и быстрым шагом вошел в клуб. Товарищ по “Миру эльфов” сидел за барной стойкой и смотрел телевизор – популярное кулинарное шоу про обжор.

– Ты нашел ту женщину с фотографии? – выпалил Сэмюэл, не успев усесться.

– Да. Ее зовут Элис, живет в Индиане, в какой-то глуши.

Он протянул Сэмюэлу скачанную из интернета и распечатанную на принтере фотографию: женщина в солнечный день на пляже с улыбкой смотрит в объектив. На женщине трекинговые ботинки, брюки карго,

большая зеленая панама с широкими полями и футболка с надписью “Веселый турист”.

– Это точно она? – уточнил Сэмюэл.

– Точнее некуда. Это она сидела позади твоей мамы на той фотографии из 1968 года. Она сама мне сказала.

– Ничего себе, – выдохнул Сэмюэл.

– А знаешь, что самое классное? Они с твоей мамой были соседками.

По общежитию в универе, что ли.

– И она согласна со мной пообщаться?

– Я уже обо всем договорился. Она ждет тебя завтра.

Павнер протянул ему распечатку электронной переписки, адрес Элис и карту с маршрутом до ее дома.

– Как ты ее нашел?

– С полпинка. У меня было свободное время во вторник, когда на сайте меняли прошивку.

Павнер перевел взгляд на экран телевизора.

– О, смотри-ка! Неужели он правда все это съест? Спорим, съест?

Он говорил о ведущем кулинарного шоу, который славился умением впихнуть в себя прорву еды и при этом не сплевать и не отрубиться. Имя его было выгравировано на табличках почетных гостей в дюжинах американских ресторанов, где ему довелось одолеть двухкилограммовый стейк из филейной части говяжьей туши, необъятный пиццабургер или буррито весом с новорожденного младенца. Лицо у ведущего казалось шире плеч.

Ведущий в ярких красках описывал, что именно он сейчас съест, пока повар какой-то забегаловки жарил ему картофельные оладьи на огромной закопченной сковороде: разровнял горку картофеля в прямоугольник размером почти с шахматную доску. На картофель повар вывалил две горсти мелко нарубленных сосисок, четыре пригоршни порезанного бекона, говяжий фарш, несколько нарезанных кубиками луковиц и какой-то тертый сыр – не то белый чеддер, не то моцареллу, не то “Монтерей Джек”. Сыра было столько, что мясо скрылось под расплавленной белой массой. В верхнем правом углу экрана виднелась надпись: “В память о 11 сентября”.

– С меня причитается, – сказал Сэмюэл. – Спасибо тебе огромное. Если тебе что-то понадобится, только скажи.

– Пожалуйста.

– Нет, серьезно, как мне тебя отблагодарить?

– Да ладно тебе.

– В общем, если что, говори.

Повар плюхнул на слой белого сыра шесть столовых ложек сметаны с горкой и размазал их по всему прямоугольнику. Свернул получившуюся массу в поленце жареной картошкой наружу, разрезал пополам и поставил обе половины вертикально на большую белую тарелку. Местами из трещин в картошке валил пар и сочилась густая жирная жижа. Называлось это блюдо “Башни-близнецы – смерть желудку”. Ведущий уселся за столик. Вокруг него толпились зеваки, которым хотелось попасть в телевизор. Перед ведущим на тарелке высились золотистые картофельно-мясные поленца. Он объявил минуту молчания. Все дружно понурили головы. Крупным планом показали картофельные небоскребы, истекавшие белой слизью. Потом толпа, вероятно, по знаку за кадром, принялась скандировать: “Ешь! Ешь! Ешь! Ешь!”, ведущий взял вилку с ножом, отрезал кусочек поджаристой картофельной корочки, зачерпнул изнутри сырно-мясной мешанины и отправил в рот. Прожевал и признался, скорбно глядя в камеру: “Ох, тяжело”. Толпа рассмеялась. “Боюсь, не съем”. Перерыв на рекламу.

– Да как тебе сказать, – проговорил Павнер. – Вообще-то я хотел тебя кое о чем попросить.

– Говори смело.

– Я написал книгу, – продолжал Павнер. – Ну то есть как написал, пока что только придумал. Мистический триллер.

– Про маньяка. Помню.

– Вот-вот. Я давно хотел его написать, но пришлось отложить, ведь сперва нужно кое-что сделать – сам понимаешь, читатель ожидает, что я разбираюсь в том, как работает полиция, судебная система, так что надо хоть чуть-чуть походить по пятам за каким-нибудь детективом, а значит, придется найти этого самого детектива и объяснить ему, что я, мол, писатель, вот пишу роман о полиции, хочу с вами потусоваться, чтобы прочувствовать специфику, понять, как вы говорите, что делаете. Ну и все такое прочее.

– Понятно.

– То есть провести исследование.

– Да.

– Но я боюсь, что любой детектив, кому я напишу, не поверит, что я писатель, потому что у меня еще не вышло ни одной книги, он ведь наверняка это узнает, на то он и детектив, чтобы раскапывать информацию. Поэтому, прежде чем ему писать, было бы здорово опубликовать несколько рассказов в разных литературных журналах, а может, и выиграть

пару конкурсов, чтобы подтвердить, что я писатель: тогда детектив точно согласится взять меня с собой на дежурство.

– Еще бы.

– Не говоря уже про книги об экстрасенсорных способностях и прочих паранормальных явлениях, которые мне надо прочитать, чтобы моя история смахивала на правду. В общем, прежде чем сесть за роман, надо столько всего сделать, что не знаешь, за что хвататься. Это, конечно, расхолаживает.

– Ты меня хочешь попросить о чем-то конкретном?

– Если бы я подписал контракт с издательством, то любой детектив тут же поверил бы, что я писатель, к тому же у меня появился бы стимул начать работу. Ну и аванс, само собой, а то я как раз хотел сделать ремонт на кухне.

– Ты хочешь, чтобы я тебя познакомил со своим издателем?

– Ну да, если не трудно.

– Не вопрос. Сделаю.

Павнер улыбнулся, хлопнул Сэмюэла по спине и повернулся к телевизору. Ведущий тем временем успел умять половину: съел одно из картофельных поленьев. Второе размякло и склизкой кучей осело на тарелку. Ведущий смотрел в камеру, точно измученный боксер, который держится из последних сил. Повар сказал, что придумал картофельные башни-близнецы несколько лет назад “в память о катастрофе”. Ведущий уставился на второе полено. Рука с вилкой заметно дрожала. Кто-то из зевак встревоженно предложил ему стакан воды, но ведущий отказался. Проглотил еще кусок. Казалось, его тошнит от самого себя.

Сэмюэл посмотрел на фотографию Элис. Интересно, как так получилось, что студентка, которая в 1968 году участвовала в демонстрациях протеста, теперь носит брюки карго, футболки с забавными надписями и с довольным видом разгуливает по пляжу. Такое ощущение, что это совершенно другой человек.

– А ты с ней разговаривал, с этой Элис? – спросил Сэмюэл.

– Ага.

– И как она тебе? О чем вы говорили?

– Она интересуется чесночком.

– Чесночком?

– Ага.

– Это какой-то сленг?

– Нет. В буквальном смысле, – пояснил Павнер. – Ее интересует чесночник.

– Ничего не понимаю.

– Я тоже.

Мужчина на экране доедал последние куски. Он совершенно выбился из сил. Вид у него был жалкий. Он уронил голову на стол, раскинул руки, и если бы не тяжелое дыхание, можно было бы подумать, что он мертв. Толпа восторженно гомонила: еще бы, ведь он почти доел! Повар сказал, что еще никому и никогда не удавалось столько съесть. Толпа скандировала: “США! США!” Ведущий подцепил последний кусок и дрожащей рукой понес ко рту.

4

Элис встала на колени на мягкую рыхлую землю за домом. Взялась за кустик чеснока, потянула – но не вверх и не слишком резко, а мягко – и повернула, чтобы освободить корни из песчаной почвы, не повредив. Она делала это почти каждый день. Прочесывала леса на песчаных холмах Индианы и выпалывала чеснок.

Сэмюэл стоял поодаль, шагах в двадцати, и смотрел на Элис. Узкая гравийная дорожка длиной не более полукилометра вела через рошу от домика Элис к гаражу. Дорожка пролежала по холму: едва Сэмюэл на него поднялся, как собаки Элис залаяли.

– Беда с этими семенами, – сказала Элис. – У чеснока они могут взойти и через несколько лет.

Эта женщина в одиночку вела войну с чесноком в дюнах на южном берегу озера Мичиган. В леса Индианы это экзотическое растение попало со своей родины, из Европы, и принялось истреблять местные цветы, кустарники и деревья. Если бы Элис с ним не боролась, он бы за считанные годы заполнил всю округу.

Вчера она читала один из форумов, посвященных инвазивным видам в окрестностях Чикаго. Как модератор Элис должна была сообщать форумчанам, что они опубликовали сообщение не в той теме, и переносить его в соответствующую ветвь дискуссии. В общем, она поддерживала порядок и следила, чтобы никто никого не обижал, то есть занималась в сети примерно тем же, чем и в лесу: удаляла неуместное. А поскольку большинство сайтов буквально заваливали спамом (в основном присылали рекламу таблеток для повышения потенции, порнуху и не пойми что на кириллице), модератор требовался даже на самых мелких и узкоспециальных площадках: нужно было бдительно следить за тем, что происходит на форумах, удалять неуместные публикации, рекламу, спам, чтобы ненужная и бессмысленная информация не засоряла сайт. Так что,

если Элис не выпалывала чеснок, не играла с собаками и не общалась с партнершей, то боролась с наступающим хаосом, пытаясь на манер века Просвещения упорядочить безумный двадцать первый век.

Просматривая на ноутбуке форум, посвященный инвазивным видам, она заметила, что некий Секирщик опубликовал сообщение под заголовком “Вы знаете женщину С ЭТОЙ ФОТОГРАФИЕЙ?” Это смахивало на спам – во-первых, из-за прописных букв, а во-вторых, потому что не имело никакого отношения к основной теме форума: “Жимолость (амурская, Морроу, Белла, Стендиша и татарская)”. Элис собиралась переместить сообщение в раздел “Всякая всячина”, а Секирщику попенять за то, что не там опубликовал сообщение, кликнула по фотографии и неожиданно увидела себя.

Сфотографировали ее в 1968 году на массовой демонстрации протеста. Вот она, в старых солнечных очках, в камуфляже, смотрит в объектив. Ну и видок у нее, оторви да выбрось. Сидит в парке, на лужайке среди шумных студентов. Тысячи протестующих. Позади нее флаги, знаки и очертания чикагских небоскребов на горизонте. Впереди Фэй. Элис не верила своим глазам.

Она тут же написала Секирщику, тот перенаправил ее к какому-то Павнеру, а тот – к Сэмюэлу, который приехал к ней на следующий день.

Сэмюэл стоял в нескольких шагах от нее, в стороне от кустика с густой листвой, который неискушенному наблюдателю показался бы ничем не примечательным, на деле же это и был чеснок. На каждой веточке чеснока были дюжины семян, которые липли к подошвам, набивались в носки, под отвороты джинсов, так что люди переносили их на одежде и обуви. Поэтому Сэмюэлу было велено не приближаться к чесноку. На самой Элис были резиновые сапоги по колено, в которых впору ходить по болотам и топям. Каждый кустик она аккуратно заворачивала в черный полиэтиленовый пакет, чтобы, когда будет вырывать чеснок, не осыпались семена. На каждом растении сотни семян, и ни одно из них не должно упасть на землю. Пакеты с чесноком Элис держала осторожно, на отлете, как будто у нее там не кустик, а дохлая кошка.

– Почему вы решили этим заняться? – спросил Сэмюэл. – Я про чеснок.

– Когда я сюда переехала, – ответила Элис, – он почти истребил все местные растения.

Домик Элис смотрел на невысокую дюну на берегу озера Мичиган: в Индиане и это сходило за пляжный коттедж. В 1986 году, когда уровень воды в озере был рекордно высоким, Элис купила дом практически за

бесценое. Вода стояла в считанных метрах от крыльца. Если бы уровень воды повышался и дальше, домик бы попросту смыло в озеро.

– Конечно, я рисковала, – сказала Элис, – но с умом.

– Как это?

– Я рассчитывала, что климат изменится, – пояснила она. – Лето с каждым годом все жарче и суше. Дождей меньше, засуха чаще. Зимой меньше льда, следовательно, вода больше испаряется. Если климатологи правы, уровень воды в озере будет падать. Я поймала себя на том, что радуюсь глобальному потеплению.

– Должно быть, вы испытывали противоречивые чувства.

– Каждый раз, стоя в пробке, я представляла, как выхлоп всех этих машин поднимается в воздух и спасает мой дом. Нехорошо, конечно, но это так.

В конце концов озеро отступило. И там, где когда-то была вода, теперь прекрасный широкий пляж. А домик, который Элис когда-то купила за десять штук, теперь стоит миллионы.

– Мы с партнершей перебрались сюда в восьмидесятых, – рассказывала Элис. – Надоело скрывать наши отношения. Притворяться перед соседями, что мы просто живем вместе, что она всего лишь моя подруга. Нам хотелось уединения.

– А где ваша партнерша?

– Уехала в командировку. На этой неделе я одна, с собаками. Их у нас три: мы их забрали из приюта. Я их в лес не пускаю, потому что семена чеснока липнут к лапам.

– Понятно.

Седые волосы Элис были забраны в хвост. Синие джинсы были заправлены в огромные резиновые сапоги. Простая чистая белая футболка. Безразличием к внешнему виду, косметике, причёске Элис напоминала какого-нибудь ученого-биолога: не то чтобы ей не хватало сил ухаживать за собой, а просто она была выше этого.

– Как дела у вашей мамы? – спросила Элис.

– Ждет суда.

– А кроме этого?

– Понятия не имею. Она не хочет со мной разговаривать.

Элис вспомнила скромную девушку, которую когда-то знала, и пожалела, что Фэй так и не удалось справиться с тем, что ее мучило. Впрочем, все люди таковы: любят то, что причиняет им боль. Элис частенько замечала это за друзьями по движению, когда само движение раскололось, и участвовать в нем стало противно и опасно. Все они были

несчастливы: казалось, страдание питает их, дает им силы. Даже, пожалуй, не столько страдание, сколько его привычность и постоянство.

– Я была бы рада вам помочь, – призналась Элис. – Но, боюсь, едва ли сумею.

– Я пытаюсь понять, что случилось, – сказал Сэмюэл. – Мама никогда не рассказывала о том, что с ней произошло в Чикаго. Кроме вас, я не знаю никого, с кем бы она там общалась.

– Странно, почему она никогда об этом не говорила?

– Я надеялся, что, быть может, вы мне объясните. Там что-то стряслось. Что-то серьезное.

Ну разумеется, подумала Элис. Но вслух бы ни за что не сказала.

– Да что тут рассказывать, – с деланным равнодушием проговорила она. – Она проучилась всего месяц и уехала. Не сложилось у нее с университетом. Так часто бывает.

– Почему же она это скрывала?

– Может, стеснялась.

– Нет, тут явно что-то нечисто.

– Когда мы познакомились, Фэй была очень зажатой, вечно переживала из-за пустяков, – сказала Элис. – Девушка из маленького городка. Смышленная, но не сказать чтобы умная. Тихая. Много читала. Целеустремленная и честолюбивая настолько, что можно было догадаться: отношения с отцом у нее явно не сложились.

– Почему?

– Потому что она, как ни старалась, не могла ему угодить. Я права? Она так боялась разочаровать отца, что стремилась стать лучшей во всем. В психологии это называется замещением. Ребенок пытается стать таким, каким его хотят видеть. Я угадала?

– Возможно.

– Вскоре после протестов Фэй уехала из Чикаго. Мы с ней даже не попрощались. Она просто исчезла.

– Да, это на нее похоже.

– Откуда у вас эта фотография?

– Показывали в новостях.

– Я не смотрю новости.

– А кто вас сфотографировал? – поинтересовался Сэмюэл.

– Я ту неделю помню как в тумане. Все расплывается. Дни сливаются так, что один не отличишь от другого. Нет, не знаю, кто нас сфотографировал.

– На снимке кажется, будто она к кому-то прислонилась.

– Скорее всего, к Себастьяну.

– А кто это?

– Он был редактором подпольной газеты “Свободный голос Чикаго”. Себастьян нравился твоей маме, а ему нравились все, кто обращал на него внимания. В общем, они совершенно не подходили друг другу.

– И что с ним стало?

– Понятия не имею. Это все так давно было. Я вышла из движения в 1968 году, сразу после той демонстрации. И потом уже ни с кем из той компании отношения не поддерживала.

Кустики чеснока, которые выдерживала Элис, высотой были сантиметром тридцать, с зелеными сердцевидными листьями и маленькими белыми цветами. Непосвященному они казались самыми обычными, ничуть не примечательными растениями. Но беда в том, что они росли очень быстро и заслоняли солнце от других растений, в том числе от молодых деревьев. К тому же здесь их никто не истреблял: местные олени ели что угодно, кроме чеснока, и тот заполнил окрестности. Вдобавок чеснок выделял вещества, которые убивали почвенные бактерии, необходимые другим растениям для роста. Иными словами, устроил настоящий ботанический террор.

– Мама участвовала в вашем движении? – спросил Сэмюэл. – Она тоже хипповала, боролась за свободу и все такое?

– Хипповала и боролась за свободу я, – ответила Элис. – Но никак не твоя мама. Она была самой обычной девушкой. Ее втянули против воли.

Элис вспомнила, какой идеалисткой была в юности, как отрицала любую собственность, отказывалась запира́ть двери, не прикасалась к деньгам, – в общем, теперь ей в голову не пришло бы так чудить. Ее тогда бесило, что стоит лишь обзавестись имуществом, как тут же появляются заморочки: приходится охранять его, беспокоиться о нем, бояться потерять, ведь когда владеешь чем-то ценным, сразу возникает ощущение, будто все вокруг только и думают, как бы его у тебя оттяпать. Когда Элис купила домик в дюнах Индианы, она обставила его по своему вкусу, врезала замки во все двери, выстроила стену из мешков с песком, чтобы сдерживать подступавшую воду, мыла, чистила, красила, посыпала дорожки гравием, вызывала дезинсекторов, наняла строителей, которые снесли старые стены, воздвигли новые, и постепенно, точно Афродита из пены морской, появился этот ее дом. Да, действительно, теперь она тратила силы не на борьбу с несправедливостью, как некогда, а на то, чтобы выбрать идеальные подвесные светильники, или наладить рабочие процессы на кухне, или сделать удобные встроенные книжные шкафы, или

подобрать самую спокойную цветовую палитру для хозяйской спальни, чтобы в идеале она перекликалась с оттенком озерной глади зимними утрами, когда подтаявший лед блестел на солнце и казался – в зависимости от марки краски – “льдисто-голубым”, “водянисто-голубым”, “цвета колокольчика” или “небесным” (очень красивый серо-голубой оттенок). Да, порой ее охватывало сожаление и чувство вины за то, что теперь ее волнуют такие мелочи, а вовсе не мир во всем мире, равенство и справедливость, борьбе за которые она в двадцать лет хотела посвятить жизнь.

Восемьдесят процентов того, что думаешь о себе в двадцать, считала Элис, оказывается чепухой. Потому что ты еще толком себя не знаешь.

– Кто же ее в это втянул? – спросил Сэмюэл.

– Никто, – ответила Элис. – Или все. Время было такое. Вот ее и захватило. Жизнь тогда была насыщенная, интересная.

В юности Элис мечтала о деле, в которое можно было бы поверить и отдаться ему целиком. Она ненавидела обывателей, которые сидят у себя дома, в четырех стенах, и чихать хотели на мировые проблемы: винтики буржуазной машины, бессмысленное тупое стадо, жалкие эгоисты, которые не видят дальше своего носа. Мелкие, дряблые душонки, негодовала Элис.

Потом она повзрослела, купила дом, встретила возлюбленную, завела собак, ухаживала за своими владениями, старалась наполнить дом любовью, жизнью и только тогда поняла, как ошибалась в юности: все это отнюдь не умаляет личности. Наоборот, делает тебя сильнее, великодушнее. Сузив круг забот и целиком посвятив себя им, Элис вдруг почувствовала, что готова обнять весь мир. Что именно сейчас, занимаясь какими-то бытовыми вещами, она больше способна любить, делиться, сопереживать – то есть стала ближе к идеалам мира и справедливости, за которые прежде боролась. Вот вам и разница между любовью из чувства долга (потому что этого требует общественное движение) и любовью по велению сердца. Оказалось, что настоящая, истинная любовь, та, что исходит из души, со временем лишь прибывает. И умножается, когда ею делишься.

И все равно Элис обижалась, когда старые товарищи по движению упрекали ее за то, что она якобы продалась. Хуже всего, что это была правда. Но разве им объяснишь, что продаться можно по-разному? Что она продалась вовсе не за деньги? Что, продавшись, она стала куда милосерднее к ближнему, чем в бунтарской юности? Ничего этого она им объяснить не могла, да они и не стали бы слушать. Они остались верны

прежним принципам: секс, наркотики, борьба с системой. Других ответов они не искали, хотя один за другим загибались от наркотиков, а сексом заниматься стало просто опасно. Они не понимали, что вся их борьба выглядит смешно. Их били копы, а публика только радовалась. Им казалось, что они меняют мир, на деле же помогли Никсону прийти к власти. Они считали войну во Вьетнаме адом, но сами превратили жизнь в ад.

Общество не одобряло войну, но антивоенное движение симпатий у него тоже не вызывало.

Это было ясно как день, хотя никто из них этого не понимал, поскольку свято верил в собственную правоту.

Она старалась не думать о прошлом, не вспоминать о прежних связях. Чаще всего голова ее была занята другим: чесночком да собаками. И лишь изредка что-то напоминало Элис о прежней жизни – вот как сейчас, когда к ней в дюны заявился с расспросами сын Фэй Андресен.

– Вы хорошо знали мою мать? – спросил он. – Вы дружили?

– Да как вам сказать, – ответила Элис. – Мы не так уж долго общались.

Он кивнул. По лицу его скользнуло разочарование. Он надеялся на большее. Но что Элис могла ему рассказать? Что на самом деле Фэй все эти годы не выходила у нее из головы? Что Элис с болью о ней вспоминала? Ведь это правда. Она пообещала позаботиться о Фэй, но ситуация вышла из-под контроля, и у Элис ничего не получилось. Она так и не узнала, что случилось с Фэй. Она никогда ее больше не видела.

Элис мучили раскаяние и чувство вины. Она старалась похоронить их здесь, в дюнах, вместе с прочими ошибками молодости. И не станет выкапывать эту историю даже ради того, кому она явно необходима. Похоже, мысль о матери сидит в нем занозой, которую он никак не может вытащить. Элис схватилась за кустик чесночка, легонько дернула и повернула, чтобы освободить корни. Она в этом давно набила руку. Повисло молчание. Слышно было лишь, как шелестит листьями чесночник, который выкапывает Элис, как шумит невдалеке озеро и ухает какая-то птица.

– Даже если вы обо всем узнаете, – наконец произнесла Элис, – что толку?

– Что вы имеете в виду?

– Даже если вы узнаете, что случилось с вашей мамой, это уже ничего не изменит. Что было, то прошло.

– Ну отчего же. Надеюсь, это кое-что прояснит. В ее поступках. К тому же она в беде, а так я, быть может, сумею ей помочь. Судья спит и видит,

как бы упечь ее за решетку. Даже в отставку уходить передумал, лишь бы над ней поиздеваться. Почтенный Чарли Браун. Уму непостижимо.

Элис вздрогнула и подняла глаза от чеснока. Положила мусорный пакет на землю. Сняла перчатки – специальные, резиновые, к которым не липли семена. Подошла к Сэмюэлу, широко и неловко ступая в резиновых сапогах.

– Как вы сказали? – спросила она. – Чарли Браун?

– Смешно, правда^[35]?

– Ой, – Элис осела на траву. – Только не это.

– А что такое? – удивился Сэмюэл. – Что случилось?

– Вам надо ее срочно спасать, – сказала Элис.

– Вы о чем?

– Ей нельзя здесь оставаться.

– Вот теперь я просто уверен, что вы мне не все рассказали.

– Я его знаю, – пояснила Элис. – Этого судью.

– И что?

– Мы с ним тесно общались – и я, и ваша мама. В университете, в Чикаго.

– С этого надо было начинать.

– Вы должны немедленно увезти ее из города.

– Почему?

– А лучше даже из страны.

– То есть вы советуете мне помочь маме сбежать из страны.

– Я вам не сказала, почему переехала в Индиану. Так вот главным образом из-за него. Когда я услышала, что он вернулся в Чикаго, я тут же сбежала. Я его боялась.

Сэмюэл уселся на траву. Они с Элис ошеломленно уставились друг на друга.

– Что же он вам такое сделал? – наконец спросил Сэмюэл.

– Ваша мама в беде, – ответила Элис. – Судья от нее ни за что не отстанет. Он жестокий и опасный человек. Увозите ее отсюда. Слышите?

– Ничего не понимаю. Судья на нее злится? Но за что?

Элис вздохнула и потупила глаза.

– Нет в Америке опаснее зверя, чем гетеросексуальный белый мужчина, который не получил того, чего хотел.

– Расскажите же мне, что случилось, – потребовал Сэмюэл.

Примерно в метре от левого колена Элис торчал крошечный кустик чеснока который она прежде не замечала: совсем молодые побеги, явно вырос только этим летом, оттого его почти и не видно в траве. Семена даст

только на будущий год, но уж тогда обгонит в росте и задушит все растения в округе.

– Я никогда никому не рассказывала эту историю, – призналась Элис.

– Что случилось в шестьдесят восьмом? – спросил Сэмюэл. – Ну расскажите.

Элис кивнула и провела рукой по траве: тонкие стебельки щекотали ладонь. Она решила, что завтра вернется и выколет чеснок. К сожалению, его нельзя просто срезать. Семена могут прорасти и через несколько лет. Он обязательно вернется. Его надо вырывать целиком и полностью. С корнем.

Часть седьмая. Иллинойсский университет

Конец лета 1968 года

1

Собственная комната. Собственный ключ и почтовый ящик. Собственные книги. Здесь все было только ее, кроме ванной и туалета. Такого Фэй никак не ожидала. Она и вообразить не могла вонючий общий туалет, как в больнице. Стоялая вода, грязный пол, раковины, усеянные волосами, мусорные корзины с горой носовых платков, тампонов и скомканных бумажных полотенец. Запах прели, как в лесу. Фэй представляла, что под полом кишат дождевые черви и растут грибы. Грязища в туалете была невозможная: прилипшие к мыльницам обмылки окаменели. Один-единственный унитаз вечно был засорен. Слизь на стенах – точно мозги, хранившие воспоминания о каждой из мывшихся здесь девиц. Если всмотреться в розовые плитки пола, думала Фэй, увидишь эволюцию видов: бактерии, грибы, нематоды, трилобиты. Придумать общежитие мог только круглый идиот. Кому еще в голову пришло запереть в бетонной коробке две сотни девиц? Узкие комнатухи, общие душевые, просторная столовая: напрашивалось сравнение с тюрьмой. Не общежитие, а мрачный унылый бункер. Снаружи его бетонный остов напоминал распоротую грудь какого-нибудь мученика: всюду торчали ребра. Все строения на кампусе словно вывернули наизнанку. Иногда Фэй по дороге на лекцию проводила пальцами по шершавой стене, словно усыпанной прыщами, и жалела здания: какой-то чокнутый дизайнер вывернул их внутренности на всеобщее обозрение. Удивительно точная метафора общежития, думала Фэй.

Взять хотя бы душевую, где смешивалось все, что выделяли женские тела. Огромное открытое помещение с серыми студенистыми прокисшими лужами. Гнилой овощной запах. Фэй всегда ходила в душ в сандалиях. И если бы ее соседки бодрствовали, они по звуку шагов догадались бы, что Фэй шлепала в душ. Но соседки крепко спали. Было шесть часов утра. Душевая была в полном ее распоряжении. Фэй мылась одна. Ей так больше нравилось.

Потому что ей не хотелось встречаться здесь с другими девушками, ее

соседками, которые по вечерам собирались в крошечных комнатках, хихикали, курили траву, болтали о протестах, полиции, трубках, которые передавали друг другу, о таблетках, расширявших сознание, и о заводных песнях, которым подпевали с надрывом: “Такое чувство, будто все на свете против меня!”^[36] Фэй слышала за стенкой их вопли, похожие на молитву грозному божеству. В голове не укладывалось, что эти девицы – на самом деле ее соседки. Чокнутые битники, наркоманки-революционерки, которым не мешало бы научиться убирать за собой в ванной, думала Фэй, глядя на валяющуюся у стены скомканную салфетку, уже почти растворившуюся в воде. Фэй сняла халат, включила душ и подождала, пока пойдет теплая вода.

Каждый вечер девчонки хохотали, а Фэй слушала и удивлялась, как им удается так смело и непринужденно распевать. Фэй с ними не разговаривала, а при встрече смотрела в пол. На занятиях они покусывали кончик карандаша и жаловались на препода, который задает *какое-то замшелое говно*. Платон, Овидий, Данте – чему эти мертвые старпёры могут научить современную молодежь?

Они так и говорили: “современная молодежь”. Как будто студенты университета принадлежали к какому-то новому виду, никак не связанному с прошлым и с культурой, которая их породила. Причем многие представители культуры с ними соглашались. В новостях CBS старшие каждый вечер сетовали на “конфликт поколений”.

Фэй шагнула под душ и замерла под теплой водой. Одна из дырочек в лейке засорилась, и струйка оттуда была тоньше и сильнее, резала кожу, точно бритва.

Первое время в университете Фэй держалась особняком. По вечерам сидела одна, делала домашнюю работу, подчеркивала важные абзацы, ставила пометки на полях, а девицы в соседней комнате заливались хохотом. В рекламных проспектах об этом не упоминалось: там говорилось, что университет отличается высокими требованиями к академической успеваемости, ждет от студентов успехов и славится современным кампусом. Оказалось, что все это не совсем так. Кампус и вовсе оказался суровыми бетонными джунглями: бетонные здания, бетонные дорожки, бетонные стены, – любая автостоянка и то красивее и уютнее. Нигде ни травинки. Монументальные бетонные строения своими ребрами и рубцами, вероятно, напоминали то ли вельвет, то ли утробу кита. Местами бетон откололся, и виднелась грубая ржавая арматура. Типовые архитектурные решения без конца повторялись в безликих сотах. Окна шириной сантиметров в пятнадцать. Громоздкие сооружения,

казалось, хищно нависали над студентами.

Если что и уцелеет после атомной бомбардировки, так это Иллинойсский университет.

Ориентироваться на территории было невозможно: здания походили друг на друга, так что объяснить, как пройти куда-то, было не просто трудно, а нереально. А самым ужасным оказался охватывавший весь кампус хваленый переход на уровне второго этажа, который в брошюрах называли “скоростной пешеходной магистралью в небе”. В рекламных проспектах говорилось, что якобы на нем студенты знакомятся, общаются, находят друзей, на деле же, если ты с перехода заметил приятеля внизу, можно было лишь окликнуть его, помахать, а вот поговорить уже не удавалось. Фэй каждый день наблюдала такую картину: студенты махали друг другу и грустно расходились. Тем более что путь по переходу оказывался длиннее обычного: лестницы располагались таким образом, что пока до нее дойдешь, прошагаешь в два раза больше, к тому же полуденное августовское солнце раскаляло бетон, точно сковородку. Так что большинство студентов ходило по дорожкам внизу, проталкиваясь по коридорам, в которых всегда было так неуютно и тесно из-за бетонных опор, поддерживавших переход, что можно было заработать клаустрофобию. А поскольку переход заслонял солнце, то внизу всегда стоял полумрак.

Возможно, сплетни о том, что кампус университета спроектировали в Пентагоне, чтобы посеять в душах студентов страх и отчаяние, имели под собой основание.

Фэй обещали кампус, достойный космической эры, на деле же стены здешних зданий напоминали ей гравийные дорожки родного городка. Ее уверяли, что студенты университета прилежно занимаются и любят науку, а вместо этого она получила соседок по общежитию, которые интересовались отнюдь не учебой: их куда больше занимало, где раздобыть наркоту, как пробраться в бар и выпить на халяву, с кем потрахаться. Они говорили об этом постоянно – и еще о протестах. Через считанные недели планировалась демонстрация, приуроченная к национальному съезду Демократической партии. В Чикаго будет серьезная заваруха, это уже ясно, пожалуй, самая крупная за год. Девушки оживленно обсуждали планы: шествие женщин по шоссе Лейк-шор-драйв, музыкально-сексуальный протест, четыре дня революции, оргии в парке, ангельские серебристые голоса поют песни, достучимся до белых сопляков, сорвем этот спектакль, воткнем Америке гвоздь в глаз, оккупируем улицы, обратим патриотов-телезрителей в свою веру. *Вместе*

мы сила, мы положим конец войне.

Фэй их заботы были не близки. Она густо намылила грудь, руки, ноги. В пене она казалась себе не то привидением, не то мумией, не то еще каким-то белым страшилищем. Вода в Чикаго была не такая, как дома, сколько ни смывай, все равно на коже оставалась тонкая мыльная пленка. Как легко и нежно скользили ее руки по бедрам, икрам, бокам. Она закрыла глаза. Подумала о Генри.

Вспомнила, как вечером накануне отъезда из Айовы они сидели на берегу, и он трогал ее холодными и жесткими руками. Когда Генри полез ей под рубашку, Фэй показалось, будто ей на живот положили камни со дна реки. Она ойкнула, и он тут же перестал. Она не хотела, чтобы он останавливался, но не могла ему об этом сказать, не показавшись распушенной. Генри терпеть не мог, когда она вела себя не как леди. В тот вечер он вручил ей конверт и велел открыть его только в университете. Внутри лежало письмо. Фэй опасалась, что там окажутся очередные стихи, но увидела короткую фразу, которая ее ошеломила: “Возвращайся и выходи за меня замуж”. Генри же пошел в армию, как и обещал. Правда, он грозился поехать во Вьетнам, но его отправили в Небраску. Там их на случай грядущих гражданских протестов учили подавлять массовые беспорядки. Генри тренировался колоть штыком набитые песком чучела в хипповских шмотках. Учился распылять слезоточивый газ. Смыкать ряды. Генри и Фэй должны были встретиться на День благодарения, и она этого боялась. Потому что так и не решила, что ему ответить. Она прочла письмо Генри и спрятала, как контрабанду. Однако была не прочь снова встретиться с ним на берегу реки наедине, и чтобы он опять ее трогал. Вот о чем она думала по утрам в безлюдной душевой. Представляла, что это не ее руки, а чужие. Может, Генри. Или, точнее, какого-нибудь абстрактного мужчины: лица его она не видела, но чувствовала присутствие, тепло его крепкого тела, когда он к ней прижимался. Фэй воображала это, чувствуя мыло на коже, скользкую воду, запах шампуня, который она втирала в волосы. Фэй обернулась, чтобы его смыть, открыла глаза и увидела у раковины в другом конце душевой девушку. Та гладела на Фэй.

– Ой, извини! – вскрикнула Фэй, потому что это была одна из тех девиц.

Звали ее Элис. Соседка Фэй. Длинноволосая оторва в солнечных очках в серебристой оправе. Очки сползли на середину переносицы, так что сейчас Элис с любопытством разглядывала Фэй поверх них.

– За что тебя извинить? – уточнила Элис.

Фэй выключила воду и завернулась в халат.

– Ну ты вообще, – улыбнулась Элис.

Из всех этих девиц она была самая чокнутая. Зеленая камуфляжная куртка, черные ботинки. Как-то раз Фэй видела ее в столовой: черноволосая Элис сидела на столе в позе лотоса, точно Будда, и пела какую-то белиберду. Фэй слышала про Элис всякое: и как та вечерами в выходные добирается автостопом в Гайд-парк, встречается там с парнями, употребляет наркотики, таскается по чужим спальням, а потом изображает душевные терзания.

– Ты всегда молчишь, – сказала Элис. – Сидишь в одиночку у себя в комнате. Что ты там делаешь?

– Не знаю. Читаю.

– Читаешь. И что ты читаешь?

– Много всего.

– То, что задали?

– Да.

– Ты читаешь то, что велит препод. Чтобы получить хорошую оценку.

Элис стояла близко, и Фэй разглядела, что глаза у той красные, волосы взъерошенные, одежда мягкая, несвежая, а еще от Элис тянуло травкой, потом и куревом. Фэй догадалась, что Элис еще не ложилась. Шесть часов утра, а Элис только вернулась с очередных любовных походов, в которые эти девицы пускались по ночам.

– Стихи читаю, – ответила Фэй.

– Да ну? И какие же?

– Всякие.

– Ну например. Прочитай мне какой-нибудь стишок.

– Что?

– Прочитай мне стихотворение. Любое, на память. Если ты постоянно читаешь стихи, тебе это нетрудно. Ну же, давай.

Тут Фэй заметила на щеке Элис какую-то отметину, красно-фиолетовое пятно. Синяк.

– Что это? – спросила она. – У тебя на щеке?

– Ничего. Все в порядке. Тебе-то что?

– Тебя ударили?

– Не твое дело.

– Как скажешь, – ответила Фэй. – Ладно, мне пора.

– Ты чего такая злая? – спросила Элис. – Мы тебя чем-то обидели? Что ты имеешь против нас?

Как в той дурацкой песне. “Против меня”. Они ее каждый вечер крутят. “Весь мир против меня!” – повторяют по четыре-пять раз подряд. “Все

против меня!” – орут они фальшиво. Такое ощущение, будто этим девицам нужно, чтобы весь мир, все люди на свете ополчились против них: тогда у них будет повод попеть.

– Вовсе я на вас не обижаюсь, – возразила Фэй. – Но и извиняться перед тобой не буду.

– За что извиняться?

– За то, что делаю уроки. Что хорошо учусь. Можно подумать, я перед вами в чем-то виновата. Надоело. Ладно, счастливо оставаться.

Фэй прошлепала из душевой к себе в комнату и оделась. Ее переполняла злость, но Фэй сама не знала, на кого сердится. Она уселась на кровать, обхватила колени руками и стала раскачиваться из стороны в сторону. Голова раскалывалась. Фэй забрала волосы в хвост и надела большие круглые очки, которые ей вдруг отчего-то напомнили затейливую маску с венецианского карнавала. Фэй хмуро посмотрела на себя в зеркало. Принялась складывать книги в рюкзак, как вдруг в дверь постучала Элис.

– Прости, – сказала та. – Не по-товарищески получилось. Приношу свои извинения.

– Пустяки, – ответила Фэй.

– Я хочу загладить вину. Сегодня вечером будет собрание. Придешь?

– Может, не надо?

– Только это секрет. Не говори никому.

– Нет, правда, ни к чему это.

– Я там буду в восемь, – добавила Элис. – Увидимся.

Фэй закрыла дверь и села на кровать. Интересно, видела ли Элис, чем Фэй занималась в душе, когда представляла, как Генри ее трогает. Тело – сущий предатель: без тени смущения выдает душевные тайны.

Письмо Генри лежало в тумбочке возле кровати, в нижнем ящике, в самой глубине. Фэй спрятала его в книгу. “Потерянный рай”.

2

Собрание проходило в редакции “Свободного голоса Чикаго”, крошечного подпольного листка, который выходил нерегулярно и называл себя “голосом улицы”. Элис и Фэй свернули в темный переулок, вошли в дверь без опознавательных знаков, поднялись по узкой лестнице и очутились возле комнатушки, на входе в которую висел плакат: “СЕГОДНЯ! ЖЕНСКАЯ СЕКСУАЛЬНОСТЬ И САМООБОРОНА”.

Элис щелкнула по надписи:

– Одно без другого не бывает, правда же?

Синяк на щеке она так и не удосужилась замазать.

Встреча уже началась. В комнатухе, где собралось десятка два девушек, пахло гудроном, керосином, пылью и макулатурой. В воздухе висела теплая дымка типографской краски, клея и алкоголя. Накатывали и улетучивались запахи: крем для обуви, льняное масло, скипидар. Едкая вонь масла и растворителя напомнила Фэй гаражи и сараи в Айове, где ее дядья целыми днями возились с машинами, которые не ездили годами: по дешевке покупали на аукционах колымаги и медленно восстанавливали, деталь за деталью, год за годом, когда находилось время и желание. Но дядья украшали гаражи спортивными эмблемами и плакатами с девицами, здесь же во всю стену висел вьетконговский флаг, а по углам – старые номера “Свободного голоса”: “ЧИКАГО – КОНЦЛАГЕРЬ”, гласил один заголовок, “ИДЕТ ГОД СТУДЕНТА”, сообщал второй, “ДАДИМ ОТПОР ПОЛИЦЕЙСКИМ СВИНЬЯМ НА УЛИЦАХ!”, призывал третий, и так далее. Стены и пол покрывал тончайший слой копоти, похожий на листы копировальной бумаги, и казалось, будто в комнате стоит серо-зеленый смог. Фэй бросило в холодный пот. К влажной коже словно прилип песок. Кроссовки испачкались.

Девушки сидели в кружок – одни на складных стульях, другие у стены. Белые, черные, все в солнечных очках, военных куртках и берцах. Фэй села рядом с Элис и стала слушать, что говорит выступавшая в ту минуту девушка.

– Надо дать ему по морде, – вещала девушка, тыча пальцем в воздух, – потом укусить и закричать как можно громче: “Пожар!” Потом пнуть в коленную чашечку. Потом врезать по уху, так чтобы перепонки лопнули. Пальцем выколоть глаза. Фантазируйте. Вбить ему нос в мозг. Ключи, вязальные спицы – прекрасное оружие, только держите их крепче. Подберите камень и проломите ему башку. Если знаете кунг-фу, примените приемы кунг-фу. Ну и, само собой, коленкой по яйцам – тут все девушки дружно закивали, захлопали, закричали: “да!”, “точно!”, – врежьте коленом ему по яйцам и крикните: “Ты не мужик!” Сломите его волю. Мужчины нападают, потому что думают, будто им это сойдет с рук. А вы ему коленом по яйцам: “Не смей!” И не надейтесь, что за вас заступится кто-то из мужчин. Все они в глубине души мечтают, чтобы вас изнасиловали. Потому что это значит, что вас нужно защищать. Диванные насильники, вот кто они такие.

– Вот-вот! – выкрикнула Элис, и остальные девушки заулюлюкали.

Фэй не знала, куда деваться. От страха она сидела прямая, как палка. Глядя на собравшихся, она и рада была бы принять такую же небрежную позу, но не могла. Выступление между тем близилось к концу:

– Изнасилование для мужчин – косвенная возможность самоутвердиться, доказать свою мужественность и потенцию, поэтому они и пальцем не шевельнут, чтобы положить этому конец. Но мы их заставим. Мы должны стоять на своем. Мы отказываемся выходить замуж. Никаких свадеб. Никаких детей. Пока не будет уничтожено насилие. Раз и навсегда. Глобальный половой бойкот! Остановим развитие цивилизации!

Эти слова сорвали овацию. Девушки хлопали выступавшую по спине. Фэй тоже хотела было поаплодировать, как вдруг в темном углу комнаты что-то громко лязгнуло. Все обернулись, и Фэй впервые увидела его.

Звали его Себастьян. На нем был белый фартук в черных и серых разводах (Себастьян вытирал о него руки). Он робко посмотрел на собравшихся из-под черной челки и сказал:

– Прошу прощения!

Себастьян стоял за станком, который смахивал на поезд: литой, черный, блестящий от масла, с серебристыми валами и зубчатыми колесами. Станок вибрировал, гудел, время от времени у него в утробе что-то гулко постукивало, словно падали на стол монетки. Смуглый молодой человек с виноватым видом вытащил из станка лист бумаги, и Фэй наконец догадалась, что это сооружение – печатная машина, а бумага – новый номер “Свободного голоса”.

– Привет, Себастьян! – крикнула Элис. – Над чем колдуешь?

– Над завтрашним выпуском, – улыбнулся тот и повернул бумагу к свету.

– И что в нем?

– Письма редактору. У меня их уже куча набралась.

– Хорошие?

– Отвал башки, – ответил Себастьян и загрузил в станок очередную пачку бумаги. – Ладно, прошу прощения. Не обращайтесь на меня внимания. Меня тут нет.

Девушки отвернулись, встреча продолжилась, но Фэй не сводила глаз с Себастьяна. Как он крутил ручки и щелкал рычагами, как опускал головку станка, чтобы нанести краску на бумагу, как сосредоточенно поджимал губы, а на воротнике белой рубашки у него виднелось темно-зеленое пятно, и Фэй поймала себя на мысли, что Себастьян похож на сумасшедшего ученого, милого неряху, ее тянуло к нему, так чужаки в компании вдруг чувствуют близость друг другу, и тут она услышала, как кто-то произнес слово “оргазмы”. Фэй обернулась посмотреть, кто это сказал, и увидела высокую девушку с копной длинных светлых волос, в бусах и ярко-красной блузке с глубоким декольте. Подавшись вперед,

девушка рассуждала об оргазмах. Неужели можно испытывать оргазм в одной-единственной позе? Фэй не верила своим ушам: как можно говорить о таком при мужчине? Печатный станок за их спинами бил по бумаге, стучал, как сердце. Кто-то заметил, что испытать оргазм можно в двух, а то и в трех позах. Кто-то возразил, что оргазмов вовсе не бывает: их выдумали врачи, чтобы унижить женщин. Как это? Чтобы мы стыдились, что ничего не чувствуем. Все дружно закивали. Встреча шла своим чередом.

Одна утверждала, что можно кончить под травкой, иногда под кислотой, а вот под героином фиг кончишь. Другая настаивала, что сексом лучше заниматься в трезвом уме. У третьей парень мог заниматься сексом только по пьяни. Четвертую недавно молодой человек попросил перед сексом спринцеваться. А у пятой парень после секса час отмывал спальню бактерицидным средством. Еще один называл свой член “пих пихычем”. Седьмой говорил, что до свадьбы только минеты.

– Свободная любовь! – выкрикнул кто-то, и все засмеялись.

Что бы там ни ввали в газетах, а со свободной любовью дела тогда обстояли туго. О свободной любви в те годы разве что писали: занимались ею редко. Общество ее порицало, но горячо ею интересовалось. Свободная любовь превратилась в ходовой товар. Фотографии гологрудых женщин, танцевавших на публике в Беркли, вызывали бурю возмущения, но расходились на ура. Скандал с оральным сексом в Йеле обсуждали в каждой американской спальне. Все слышали о студентке Барнарда, которая жила с парнем без брака. Половые органы студенток занимали воображение обывателей: все слышали истории о том, как целомудренная девушка поступила в университет и за один-единственный семестр превратилась в шлюху. Журналы осуждали мастурбацию, ФБР предупреждало о недопустимости клиторальных оргазмов, а Конгресс проводил исследования, насколько опасна фелляция. Власть высказывались откровенно как никогда. Матерям советовали, как определить, что их дети пристрастились к сексу, детей предостерегали против преступных, губительных для души развлечений. Полиция патрулировала пляжи на вертолетах, чтобы поймать женщин, загорающих с голой грудью. В журнале “Лайф” написали, что развратницы просто-напросто завидуют тому, что у мужчин есть член, вот и превращают нормальных мужиков в гомосексов. “Нью-Йорк-таймс” уверяла, что блуд приводит к психическим расстройствам. Добропорядочные отпрыски среднего класса становятся педиками, лесбиянками, наркоманами, битниками, их исключают из университетов. Это правда. Вот и Кронкайт

об этом говорил. Политики клялись, что примут жесткие меры. Они винили во всем противозачаточные таблетки, чересчур либеральных родителей, которые во всем потакают чадам, растущее число разводов, похабные фильмы, стриптиз-клубы и атеизм. Люди только головами качали – совсем эта молодежь с катушек слетела – и тут же принимались выискивать новые пикантные истории, находили и читали от первого до последнего слова.

Теперь здоровье нации определялось мнением мужчин средних лет о поведении студенток.

Для самих же девушек это было вовсе не время свободной любви. Это было время любви неловкой, смущенной, нервной, неискушенной. Никто ни разу не написал о том, как эти жрицы псевдосвободной любви собирались в таких вот темных клетушках и делились страхами. Они тоже читали эти истории, верили в них и поэтому думали, будто с ними самими что-то не так.

“Я хочу быть продвинутой, но я не хочу, чтобы мой парень трахался со всеми подряд”, – в один голос твердили многие девушки, обнаружив, что свободная любовь путается в сетях все тех же старых споров – ревности, зависти, власти. Секс заманивал и обманывал: свободная любовь оказывалась вовсе не такой, какой ее представляли.

– Если я не хочу с кем-то спать, разве это значит, что я недотрога? – спросила одна из собравшихся.

– Если я не хочу раздеваться догола на демонстрации, разве я ханжа? – уточнила другая.

– Мужчины считают клевыми тех, кто снимает на митингах блузку.

– Как все эти голые девицы с цветами в Беркли.

– Газеты с такими фотографиями моментально раскупают.

– Раскрасят сиськи кислотными красками и позируют.

– И при чем тут свобода?

– Они это делают, чтобы привлечь к себе внимание.

– Они несвободны.

– Перед мужиками выпендриваются.

– Ну а перед кем же еще?

– Больше не перед кем.

– Может, им это нравится, – вдруг раздается незнакомый тихий голосок, и все оборачиваются посмотреть, кто это сказал: девчонка в смешных круглых очках, которая до сих пор молчала как рыба. Фэй залилась румянцем и опустила глаза.

Элис обернулась и с изумлением уставилась на нее.

– Что же тут может нравиться? – спросила она.

Фэй пожалала плечами. Она сама не ожидала, что осмелится открыть рот, и уж тем более – сказать такое. Ей тут же захотелось взять свои слова обратно, вот буквально – схватить и засунуть обратно в свой глупый рот. “Может, им это нравится”. Господи боже мой. Девушки молча смотрели на нее. Фэй чувствовала себя раненой птицей в комнате, полной кошек.

– Тебе такое нравится? – поинтересовалась Элис, наклонив голову набок.

– Может быть. Не знаю. Нет.

Она забылась. Заслушалась, как девушки с воодушевлением обсуждают секс, представила, как стоит дома у высокого окна, воображая, будто снаружи, из темноты, на нее смотрит случайный прохожий, вот и ляпнула, не подумав. Как-то само вырвалось: “Может, им это нравится”.

– Тебе самой разве нравится демонстрировать мужикам свои прелести? – не унималась Элис. – Ты сама показываешь сиськи, чтобы им понравиться?

– Я не это имела в виду.

– Как тебя зовут? – спросил кто-то.

– Фэй, – ответила она.

Девушки смотрели на нее. Они явно чего-то ждали. Больше всего на свете ей сейчас хотелось выбежать из комнаты, но так она привлечет к себе еще больше внимания. Фэй сжалась в комочек, изо всех сил соображая, что же ответить, но тут из тени вышел Себастьян и спас ее.

– Извините, что вмешиваюсь, – начал он, – но я должен вам кое-что сказать.

Себастьян заговорил, и о Фэй все позабыли. Она не помнила себя от волнения. Себастьян рассказывал о грядущей акции протеста, о том, что городские власти не дали разрешения на митинг в парке, но демонстрация все равно состоится.

– И друзьям обязательно расскажите, – наставлял Себастьян. – Приводите всех. Мы планируем собрать сто тысяч человек, а может, даже больше. Мы изменим мир. Мы положим конец войне. Никто не выйдет на работу. И учиться тоже никто не пойдет. Весь город встанет. На светофорах будут танцевать и петь. И полицейские свиньи не сумеют нам помешать.

Тут полицейские свиньи расхохотались.

Потому что они подслушивали.

В нескольких километрах к югу от редакции газеты, в крошечном кабинете, который все называли “командным пунктом”, в подвале

Международного стадиона сидели детективы и сквозь помехи слушали проповедь Себастьяна и пустую болтовню девиц. Делали пометки в блокнотах, дивились глупости студентов: ну до чего же доверчивы! Редакцию “Свободного голоса Чикаго” прослушивали уже несколько месяцев, а эти дети так ничего и не почуяли.

По соседству со стадионом располагались бойни, знаменитые чикагские скотопригонные дворы, откуда до полицейских доносились крики животных, предсмертные вопли коров, быков и свиней. Порой копы из любопытства заглядывали за забор, видели крюки и тележки, на которых тащили скотину на убой, поднимали туши, расчленяли, видели на полу кишки и навоз, видели мясников, которые без устали отрубали головы и конечности, и это зрелище казалось им вполне уместным. Кривые мясницкие ножи служили негласной метафорой, которая подсказывала копам, что делать, придавала их собственному занятию ясность, а намерениям – чистоту.

Они слушали и записывали все подряд: и противозаконные угрозы, и призывы к насилию, и чужую агитацию, и коммунистическую пропаганду, сегодня же им повезло – они услышали кое-что новое, незнакомое имя. Фэй.

Полицейские оглянулись на нового коллегу, который стоял в углу с блокнотом в руках. Чарли Браун. Его недавно повесили: перевели из патрульных в Красный отряд. Браун кивнул и записал имя.

“Красным отрядом” называлась агентурная антитеррористическая разведка в составе управления полиции Чикаго. Организовали ее в 1920-е для слежки за организаторами профсоюзов, в 1940-е расширили, чтобы шпионить за коммунистами, теперь же отдел боролся с внутренней угрозой национальной безопасности, которую представляли крайние левые, как правило, студенты и чернокожие. Работа в разведке считалась престижной, и Браун был уверен, что кое-кто из коллег, в особенности старшие по возрасту, не одобряют его назначения: молодой, нервный как черт знает что, в полиции без году неделя, заслуг за ним не водится. До сих пор Браун в основном арестовывал хиппующий молодежь за всякие мелкие правонарушения. Праздношатание. Переход улицы в неполюженном месте. Пребывание на улице после разрешенного времени. Непристойное поведение в общественном месте (которое в законе описывалось расплывчато). Он надеялся, что, если не давать хиппи житья, рано или поздно они сдадутся и переедут в другой район, а лучше вообще в другой город. И Чикаго избавится от поколения, которое все дружно считали худшим в истории. Браун тоже так думал, хотя сам принадлежал к этому

поколению. Он был немногим старше ребят, которых ловил. Но форма помогала ему чувствовать себя старше: форма, стрижка ежиком, жена, ребенок, он предпочитал бары с тихой музыкой, где слышны лишь негромкие разговоры да изредка стук бильярдных шаров. И церковь. Он ходил в церковь, как прочие патрульные полицейские, и чувствовал себя членом общины. Все они были католики, парни из одного района. При встрече похлопывали друг друга по спине. Славные малые, выпивали, конечно, не без этого, но не сильно, жен не обижали, делали дома ремонт, мастерили всякие штуки, играли в покер, выплачивали ипотеку. Жены их были знакомы, дети играли вместе. В этом районе они жили всю жизнь. Здесь жили их отцы и деды. Ирландцы, поляки, немцы, чехи, шведы, все они были чикагцами. Город платил им солидное жалованье, так что у здешних дам, решивших обзавестись семьей, они считались завидными женихами. Они любили друг друга, любили свой город, любили Америку, причем не на словах, как школяры, которые заученно повторяют клятву верности, а всем сердцем, потому что здесь они были счастливы, они строили Америку, жили здесь, добивались успеха, усердно трудились, растили детей, посылали их в университет. Они помнили, как воспитывали их отцы, и, как большинство мальчишек, стремились оправдать их надежды. Они делали, что могли, и благодарили за это Бога, Америку и город Чикаго. Они не просили многого, но все, о чем просили, они получили.

Поэтому то, что творилось в городе, они принимали близко к сердцу. И если в их район переезжал какой-нибудь неблагонадежный элемент, их это касалось самым непосредственным образом. Их это задевало. Дед Брауна перебрался сюда в ранней юности. Тогда его звали Чеслав Брониковский, но, ступив на остров Эллис, он сменил имя на Чарльз Браун, и с тех пор так называли первых сыновей в роду. И хотя Браун был бы рад, если бы его перестали дразнить (началось это классе в первом, когда опубликовали дурацкий комикс, который все дети читали запоем), все же свое имя любил: прекрасное имя, настоящее американское имя, воплощение прошлого и будущего их семьи.

Имя соответствовало городу.

Так что когда какой-нибудь приезжий наркоман, чокнутый пацифист, хиппарь патлатый весь день сидел на тротуаре, наводя ужас на старушек, Браун принимал это близко к сердцу. Неужели нельзя просто жить? Когда протестуют негры, их хотя бы можно понять. И если черные недолюбливают Америку, так у них на то есть причина. Но эти-то что? Какое право имеют эти белые сопляки из среднего класса выкрикивать

антиамериканские лозунги?

Поэтому работа его была проста: определять неблагонадежные элементы и не давать им житья, насколько закон позволяет. Так, чтобы и жалованьем не рисковать, и не опозорить город и мэра. Ну да, время от времени какой-нибудь придурок с Восточного побережья, который понятия не имел, о чем говорит, распинался по телевизору, мол, копы в Чикаго грубы, жестоки и нарушают права граждан, гарантированные Первой поправкой к конституции. Но на эту белиберду никто не обращал внимания. Как говорится, это наши проблемы, и решать мы их будем сами.

Например, если какой-нибудь битник шел по району в два часа ночи, его легко можно было привлечь за нарушение режима. А поскольку все знают, что документов с собой эти субчики обычно не носят, на их “Меня режим не касается, слышишь, свинья?” можно было ответить: “Докажи”, а доказать-то им было и нечем. Проще простого. В итоге битники проводили несколько неприятных часов в кутузке, пока до них наконец не доходило: в Чикаго им не рады.

Такая работа была Брауну по нраву: цену он себе знал, а строить карьеру не стремился. Его вполне устраивала должность патрульного полицейского до тех пор, пока он совершенно случайно не познакомился и не втерся в доверие к одному из вожаков хиппи, так что когда он сообщил вышестоящим, что “установил контакт с одним из вожаков радикального студенчества” и “получил доступ в святая святых подпольного движения”, после чего попросил перевести его в Красный отряд, а именно в подразделение, которое расследовало антигосударственную деятельность в Иллинойском университете, – начальство нехотя согласилось. (Больше никому из органов проникнуть в университет не удалось: студенты вычисляли копов на раз.)

Красный отряд прослушивал комнаты и телефоны. Снимал скрытой камерой. Как мог, срывал планы пацифистов. Брауну казалось, что это примерно то же, чем он занимался на улице: не давать хиппи житья, сажать их за решетку. Только в разведке это делали тайно, с помощью приемов, которые позволяли выйти за рамки закона. Как-то раз они совершили набег на штаб-квартиру “Студентов за демократическое общество”, выкрали документы, разбили печатные машинки, написали краской на стенах “Власть черным!”, чтобы сбить молодежь со следа. Да, операция сомнительная, однако, если вдуматься, прежняя его работа от нынешней отличалась лишь методами. Моральные послышки были те же.

Чикаго сам разберется со своими проблемами.

Теперь же у него появилось новое имя для расследования:

в университет поступил очередной маргинал. Браун записал имя в блокнот. Пометил звездочкой. Скоро он познакомится с этой Фэй.

3

Фэй сидела на траве, прислонясь к стене дома, в тени растущего на кампусе деревца. На коленях у нее лежала газета. Фэй разгладила складки. Расправила завернувшиеся уголки. На ощупь бумага отличалась от обычных газет: она была жестче, толще, как будто ее покрыли воском. Типографская краска размазывалась по странице и пачкала пальцы. Фэй вытерла руки о траву, прочла выходные данные: “Главный редактор – Себастьян”, – и улыбнулась. То, что Себастьян указал в газете одно лишь имя, без фамилии, показалось Фэй одновременно наглостью и доказательством успеха. Его и так все знали, поэтому он мог себе позволить представляться одним словом – как Платон, Вольтер, Стендаль или Твигги.

Фэй развернула газету. Этот номер, с письмами в редакцию, Себастьян печатал вчера вечером. Фэй погрузилась в чтение.

Дорогая редакция,

Неужели вам нравится прятаться от полицейских свиней и всех, кто смотрит на нас сверху вниз? Из-за нашей одежды и волос? Я раньше тоже прятался, но потом мне это надоело, и теперь я с ними разговариваю. Стараюсь им понравиться, подружиться с ними. Я признаюсь, что курю траву. И если я им нравлюсь, они иногда соглашаются покурить и послушать, что ты им говоришь. С моей помощью нас становится больше, пол-Америки курит траву, а борцы с наркотиками уверены, что мы все ненормальные, ха-ха, как же!

День выдался ясный, жаркий, и мошкары было видимо-невидимо: комары лезли в лицо, кишели черными точками между глазами и газетой, так что казалось, будто летают знаки препинания. Фэй отмахивалась от насекомых. Она была абсолютно одна: вокруг ни души. Фэй выбрала тихий укромный уголок в северо-восточной части кампуса, клочок травы, отделенный от дорожки невысоким заборчиком, позади корпуса бихевиоральных наук – пожалуй, самого безобразного здания на всей территории Иллинойского университета. Все рекламные проспекты утверждали, что его спроектировали в соответствии с геометрическими принципами теории поля, что это новое слово в архитектуре, которое должно положить конец “тирании прямых углов” – так было сказано в брошюре. Современная архитектура отказалась от квадратов в пользу

перекрывающих друг друга восьмиугольников, вписанных в круги.

Чем с философской точки зрения это лучше прямоугольников, в брошюре не объяснялось. Но Фэй и сама догадывалась: прямоугольник – фигура древняя, традиционная, даже консервативная, старомодная, следовательно, никуда не годится. Фэй казалось, что в этом университете и для студентов, и для зданий не было ничего хуже *консерватизма*.

Поэтому корпус бихевиоральных наук получился современным, многоугольным, так что найти в нем дорогу было не проще, чем в лабиринте. Совершенно непонятно, как ориентироваться в сообщавшихся сотах, коридоры же так извивались, что через каждые три метра приходилось решать, куда идти дальше. Фэй ходила сюда на занятия по поэзии, и для того чтобы найти нужный кабинет, призывала на помощь все свое терпение и умение ориентироваться в пространстве. Некоторые лестницы не вели вообще никуда: упирались в запертые двери или в стены, другие же оканчивались крошечными площадками, на которые выходило еще несколько лестниц, абсолютно одинаковых на вид. За мнимыми тупиками вдруг открывались новые коридоры: Фэй сроду бы не подумала, что там еще что-то есть. Со второго этажа был виден третий, но как туда попасть – непонятно. Не было человека, который не заблудился бы в этих окружностях и не прямых углах: всякий, кто оказывался здесь впервые, с озадаченным видом пытался сориентироваться в помещении, где понятия “лево” и “право” не имели никакого значения.

Казалось, корпус построили не для того, чтобы студенты изучали в нем бихевиоральные дисциплины, а чтобы ученые-бихевиористы изучали поведение студентов: например, как долго те сумеют продержаться в этом лишенном логики лабиринте и не психануть.

Студенты тут без нужды не появлялись, поэтому Фэй и устроилась здесь, чтобы почитать в одиночестве.

Вы сами-то себя не считаете чокнутыми? Вы ведь входите в эти пятьдесят процентов. Наверняка же вы курите траву? Я вот курю. А вкалываю так же (или почти так же), как все остальные на почте. И все мои коллеги в курсе, что я курю траву, они меня вечно спрашивают, не пахнет ли травой эта коробка чая. Сегодня я одну такую нашел, так всем захотелось ее понюхать. Потом мы ее упаковали и отправили. Она уже, наверное, дошла до получателя. Он, поди, уже накурился. И читает мою болтовню. Привет, приятель!

Фэй заметила, как поодаль что-то пошевелилось, и испуганно подняла глаза. Если кто из преподавателей увидит, что она читает “Свободный

голос Чикаго”, если кто-то из университетского начальства, назначившего ей стипендию, застанет ее с газетой, которая выступает против правительства, поддерживает вьетконговцев и легализацию наркотиков... В общем, Фэй не поздоровится.

Поэтому, заметив краем глаза, что по ту сторону заборчика кто-то идет, Фэй тут же подняла голову от газеты. Она сразу же поняла, что это не преподаватель и не администратор. Слишком длинные волосы. Такие прически дразнили “швабрами”, но тут была даже не швабра, а целая метла. Или куст. Фэй поглядывала на прохожего исподлобья, чтобы он не заметил, что она на него глазееет. Он приблизился, Фэй рассмотрела лицо и узнала его. Это был парень, которого она видела вчера вечером на собрании. Себастьян.

Фэй отвела волосы с лица и вытерла пот со лба. Подняла газету, чтобы закрыть лицо. Вжалась в стену, радуясь, что у здания столько выступов и углов. Может, Себастьян ее не заметит, пройдет мимо.

По-моему, лучше забить косяк с копом, чем бегать от него. Разве вам бы этого не хотелось? Ведь как было бы здорово! Ни драк, ни войн! Все счастливы! Скажете, чушь? А вдруг получится?

Фэй уткнулась в газету, как страус прячет голову в песок. Она услышала шаги Себастьяна по траве. Кровь бросилась в лицо Фэй. На висках выступил пот: она вытерла его, вцепилась в газету и приблизила ее к лицу.

Разве вам не хотелось бы, чтобы все, и я сейчас имею в виду вообще всех, собрались вместе? Ведь нас минимум миллионов десять, ну, может, девять. Я бы вот с радостью пожал руку всем хорошим людям. Надо найти подходящее место и замутировать обций Фестиваль травы. Мы им покажем, что нас много!

Шаги остановились. Потом послышались снова. Шаги приближались. Себастьян шел к ней. Фэй вздохнула, вытерла пот со лба. Он был уже метрах в трех, может, в двух от нее. Газета загоразживала обзор, но Фэй чувствовала, что он здесь. Притворяться, что она его не замечает, не имело смысла. Фэй опустила газету и увидела улыбающегося Себастьяна.

– Привет, Фэй, – поздоровался он и плюхнулся на траву рядом с ней.

– Себастьян, – проговорила Фэй, кивнула и улыбнулась самой искренней улыбкой, на какую была способна.

Себастьян выглядел представительно. Пожалуй, даже интеллигентно. Ему явно польстило, что Фэй запомнила его имя. Сейчас на нем не было халата, в котором он походил на сумасшедшего ученого. Себастьян был в приличном пиджаке – бежевом, вельветовом, – белой однотонной рубашке с узким темно-синим галстуком и коричневых брюках. В общем, выглядел он презентабельно, достойно, если бы не волосы – слишком длинные, растрепанные, густые, – но все равно прилично, хоть сейчас знакомь с родителями.

– Классная у тебя газета, – заметила Фэй. Она уже придумала, как понравиться Себастьяну, как расположить его к себе: нужно его похвалить, поддержать. – Мне показалось, что этот парень с почты в чем-то прав. Интересное письмо.

– Ну да, как же. Представляешь себе такой фестиваль? На десять миллионов человек? С ума сойти.

– По-моему, тут дело даже не в фестивале, – ответила Фэй. – Он всего лишь хочет знать, что не один. Мне показалось, что ему одиноко.

Себастьян бросил на нее притворно-удивленный взгляд – наклонил голову набок, приподнял бровь и улыбнулся.

– Мне показалось, он просто чокнутый, – признался Себастьян.

– Нет. Он всего лишь ищет тех, с кем сможет общаться. Как все люди.

– Гм, – Себастьян пристально посмотрел на Фэй. – А ты не такая, как все.

– Это еще почему? – Фэй вытерла пот со лба.

– Ты искренняя, – пояснил Себастьян.

– Разве?

– Тихая, но искренняя. Молчишь-молчишь, но если уж заговоришь, то скажешь, что думаешь. Большинство моих знакомых треплется без умолку, но правды от них не дождешься.

– Спасибо.

– А еще у тебя все лицо в чернилах.

– Что?

– Ты вся в чернилах, – повторил Себастьян.

Фэй посмотрела на кончики пальцев, почерневшие от типографской краски, и все поняла.

– Ой, – выдохнула она и полезла в рюкзак за косметичкой.

Открыла пудреницу, посмотрела в зеркало и увидела черные полосы на лбу, щеках, висках – в общем, везде, где вытирала пот. Раньше бы такое открытие испортило ей настроение на весь оставшийся день: Фэй застеснялась бы, запаниковала – еще бы, выставила себя идиоткой при

постороннем! Однако сейчас ее не накрыла паническая атака. Вместо этого Фэй неожиданно для себя расхохоталась.

– Я похожа на далматина! – со смехом сказала Фэй, сама не зная, чему смеется.

– Это я виноват, – Себастьян протянул ей платок. – Взял плохие чернила.

Фэй вытерла грязь.

– Да, это ты виноват, – согласилась она.

– Пойдем пройдемся, – предложил Себастьян, помог ей подняться, и они вышли из тени дерева. Чистое личико Фэй светилось.

– С тобой весело, – заметил Себастьян.

Фэй охватила легкость, радость, ей даже захотелось кокетничать. Впервые в жизни кому-то было с ней весело.

– А у вас отличная память, сэр, – проговорила она.

– Почему это?

– Ты запомнил, как меня зовут, – пояснила Фэй.

– Ну еще бы. Такое не забывается. Я о том, что ты сказала на встрече.

– Да я не думая ляпнула. Как-то само собой вырвалось.

– Мне кажется, ты была права. Дельное замечание.

– Да ну прям.

– Ты пыталась объяснить, что порой сексуальные желания противоречат политическим, и всем стало неловко. К тому же эта компания вечно клюет робких. Вот мне и показалось, что тебя надо срочно спасать.

– Да я не то чтобы робкая, – возразила Фэй, – просто... – Она замолчала, пытаясь подобрать слово, объяснить так, чтобы Себастьян понял, но не нашла и решила ничего не объяснять. – Да, ты вовремя вмешался, – ответила она. – Спасибо.

– Пожалуйста, – ответил он. – Я видел твою мару.

– Мою что?

– Мару.

– А что такое мара?

– Мне об этом рассказали в Тибете, – пояснил Себастьян. – Монахи одного из старейших буддийских течений. Я с ними познакомился, когда путешествовал за границей. Мне хотелось с ними пообщаться, потому что они ответили на вопрос, что такое сочувствие.

– Вот уж не думала, что это такой сложный вопрос.

– А как же, еще какой сложный. Беда в том, что по-настоящему мы не способны на со-чувствие, мы не чувствуем другого. Большинство уверено, что сочувствовать – значит понимать, поддерживать. Но оно гораздо шире.

Настоящее сочувствие – это когда ты физически ощущаешь, что чувствует другой, то есть не умом понимаешь, а именно чувствуешь телом, оно откликается, как камертон, на чужую грусть, чужое страдание, – например, когда плачешь на похоронах незнакомого или при виде голодного ребенка тоже испытываешь голод, а когда смотришь на акробата, у тебя кружится голова. Ну и так далее.

Себастьян посмотрел на Фэй: не заскучала ли.

– А дальше? – спросила она.

– Ну вот, если довести это умозаключение до логического конца, окажется, что сочувствие сродни одержимости, что это ненормально, поскольку мы ограничены рамками своих эго, мы отдельные, мы не можем превратиться в другого человека, и в этом главная проблема сочувствия: мы способны испытывать нечто похожее на сочувствие, но не сочувствовать по-настоящему.

– Это как со скоростью света.

– Именно! Потому что физические возможности ограничены (и сочувствия это тоже касается), и нам доступно далеко не все. Но монахи нашли ответ: мара.

Фэй слушала и удивлялась. Подумать только, парень говорит о таких вещах. С ней. Никто и никогда прежде с ней так не разговаривал. Ей хотелось обнять Себастьяна и заплакать.

– Мара – это совокупность чувств, – вещал Себастьян, – которые копятся в теле, где-то около желудка, все наши желания, страсти, любовь, сострадание, вожеление, все сокровенные мечты и потребности – все это мара.

Фэй прижала руку к животу.

– Вот-вот, – улыбнулся Себастьян. – Где-то тут. Если мы видим чью-то мару, то есть понимаем, не спрашивая, без слов, чего человек по-настоящему хочет, мы удовлетворяем его желание. Это самое важное: просто увидеть недостаточно – нужно что-то сделать. Если мужчина, не спрашивая, выполняет желания женщины, мы говорим, что он их увидел. Если женщина кормит голодного мужчину, хотя он ее об этом не просил, значит, она увидела его мару.

– Понятно, – сказала Фэй.

– То есть со-чувствие – не просто чувство, а действие: вот что мне нравится больше всего. Недостаточно сопереживать ближнему, нужно что-то делать, чтобы ему помочь.

– Настоящее сочувствие выражается в делах, – резюмировала Фэй.

– Да. И когда я услышал, что все на тебя набросились, отвлек их,

потому что увидел твою мару.

Фэй хотела было поблагодарить Себастьяна, но тут они вышли на лужайку и увидели впереди группу людей, которые что-то скандировали. Так вот, значит, какой шум слышала Фэй, пока они огибали против часовой стрелки корпус бихевиоральных наук, петляя, потому что прямых дорожек из одной точки в другую на кампусе почти не было. Гул крепчал, пока Себастьян рассказывал ей о сочувствии, буддийских монахах и о том, как увидел ее мару.

– Что это? – спросила Фэй.

– Как что, демонстрация.

– Какая еще демонстрация?

– А ты не знаешь? Плакаты же повсюду висят.

– Да я как-то не замечала.

– Демонстрация протеста против “Кемстар”, – пояснил Себастьян.

Они вышли во внутренний двор главного административного здания университета, самого высокого и пугающего строения на кампусе. Большинство здешних построек насчитывало три этажа, в главном же здании было тридцать. Эта громадина возвышалась над деревьями и была видна отовсюду. Сверху она была шире, чем снизу. Безымянная квадратная махина тирании походила на бетонный опорный каркас, возведенный вокруг меньшего и более темного здания. Окна, как и во всех университетских постройках, были узенькие, не протиснешься – за исключением верхнего этажа. Единственные окна на всем кампусе, из которых можно было выпрыгнуть, по какой-то непонятной причине находились в самой высокой точке университетского городка, на последнем этаже главного здания, и циничные студенты не раз язвили по этому поводу.

На демонстрацию во внутреннем дворе собрались десятки студентов: бородатые, длинноволосые, злые, они кричали на главное здание и на тех, кто в нем работал – администрацию, канцеляристов, ректора университета. Протестующие держали плакаты с кровавыми логотипами “Кемстар” – теми самыми логотипами “Кемстар”, которые Фэй так хорошо знала. Такой же логотип был вышит на рабочем комбинезоне отца: скрещенные буквы “К” и “С” на груди.

– А при чем тут “Кемстар”? – удивилась Фэй.

– Они производят напалм, – пояснил Себастьян. – Убивают женщин и детей.

– Неправда!

– Правда, – ответил Себастьян. – А университет закупает у них чистящие средства, вот мы и протестуем.

– Они делают напалм? – переспросила Фэй.

Отец об этом никогда не говорил. Он вообще не рассказывал о работе, о том, чем занимается.

– Это смесь бензола и полистирола, – пояснил Себастьян, – когда густеет, в сочетании с бензином образует очень липкое, легковоспламеняющееся вещество, с помощью которого вьетконговцев сжигают заживо.

– Я знаю, что такое напалм, – огрызнулась Фэй. – Я просто не знала, что “Кемстар” его выпускает.

Разумеется, она не отважилась признаться Себастьяну, что ее вырастили и дали ей образование на деньги, заработанные на заводе “Кемстар”.

Себастьян же наблюдал за демонстрацией и, похоже, не заметил волнения Фэй. (Наверно, уже не видел ее мары.) Чуть в стороне от толпы стояли два журналиста – фотокорреспондент и репортер. Однако репортер ничего не записывал, а фотограф не снимал.

– Народу маловато, – произнес Себастьян. – Значит, в газетах об этом не напишут.

Протестующих было и правда немного: от силы человек тридцать-тридцать пять. Они ходили с плакатами по кругу и громко скандировали: “Убийцы, убийцы!”

– Еще несколько лет назад писали о любых протестах: даже о пикете человек на десять появлялось несколько строчек где-нибудь на шестой странице. Теперь же демонстрации стали обычным делом, и критерии изменились. Чем больше акций протеста, тем больше к ним привыкают. Главная беда журналистики в том, что чем чаще происходит событие, тем меньше к нему интерес. Поэтому нам приходится действовать, как на фондовой бирже: поддерживать и стимулировать спрос.

Фэй кивнула. Она вспомнила рекламный щит в родном городке: “КЕМСТАР ИСПОЛНЯЕТ МЕЧТЫ”.

– Так что об этой демонстрации напишут при одном-единственном условии, – продолжал Себастьян.

– И каком же?

– Если кого-то арестуют. Это всегда срабатывает. – Он обернулся к ней. – Рад был с тобой пообщаться.

– Взаимно, – рассеянно ответила Фэй, поскольку думала об отце, о том, как от него пахло, когда он возвращался с работы: бензином и еще чем-то, – тяжелый, душный запах, похожий на выхлопные газы или раскаленный асфальт.

– Увидимся, – попрощался Себастьян и рванул к толпе.

– Ты куда? – испуганно крикнула Фэй, но Себастьян не остановился.

Он подбежал к полицейской машине, стоявшей неподалеку, вскочил на капот, потом на крышу и вскинул в небо кулаки. Студенты заорали. Фотокорреспондент принялся снимать. Себастьян попрыгал, продавив крышу машины, потом обернулся, посмотрел на Фэй, улыбнулся и не сводил с нее глаз, пока его не схватили, а схватили его довольно быстро. Полицейские стащили Себастьяна с машины, надели на него наручники и увезли.

При аресте Себастьяна ткнули лицом в капот. Полицейские не

церемонились. Фэй представила, как он сейчас сидит в камере с распухшей щекой. К синяку нужно приложить лед, возможно, поменять повязку, помассировать ушибленную спину. Интересно, есть ли у него кто-то, кто может за ним поухаживать, подумала Фэй, – например, девушка. Жаль, если так.

На кровати перед ней лежали книги, которые задали на дом. Фэй читала Платона. “Государство”. Диалоги. Фэй прочитала все, что требовалось, проглотила фрагмент об аллегории пещеры: там было о людях, которые якобы жили в пещере и принимали тени проносимых мимо предметов за сами предметы. Смысл аллегории в том, что наши представления о реальном мире порой не совпадают с реальностью.

Покончив с домашней работой, Фэй стала читать главу, которую преподаватель не задавал. Фэй это показалось странным, но теперь, дочитав до середины, она поняла почему. В этой главе Сократ рассказывал старикам, как соблазнять юношей.

Что же он им советовал? Никогда не хвалите мальчишку, учил Сократ. Не ухаживайте за ним, не старайтесь очаровать. Стоит сделать комплимент его красоте, говорил он, и мальчишка тут же зазнается, так что соблазнить его станет труднее. Негоже охотнику отпугивать добычу. Тот, кто говорит красавцу, что он красив, в его глазах становится уродливее. Так что не стоит рассыпаться в похвалах. С юношей нужно жестче.

Неужели правда, удивилась Фэй. Она вспомнила, что комплименты Генри ее лишь раздражали, а сам он в такие минуты казался ей жалким. Она ругала себя за это, так что, похоже, Сократ прав. Видимо, о своих чувствах лучше не говорить. Впрочем, Фэй и сама не понимала, так ли это. Порой ей хотелось жить еще одну жизнь, точно такую же, как эта, но в той, параллельной жизни принимать другие решения. В той, другой жизни она бы так не волновалась обо всем на свете. Делала бы, что хочет: говорила все, что в голову взбредет, целовалась с парнями, не заботясь о репутации, день-деньской смотрела фильмы, не боялась экзаменов и домашних заданий, мылась в душе вместе с другими девчонками, носила клевые шмотки и сидела за одним столом с хиппи, просто по приколу. Та, другая жизнь складывалась бы куда интереснее, и Фэй за это ничего не было бы. Вот было бы здорово! Но, если задуматься хотя бы на десять секунд, это просто смешно, потому что так не бывает.

Поэтому сегодняшняя искренняя и приятная беседа с Себастьяном стала для Фэй настоящей победой. Она оконфузилась при парне, но сумела посмеяться над собой. Она не пришла в ужас от того, что перемазалась чернилами, не переживала из-за этого до сих пор, не ругала себя за

ошибку, не была сама себе противна, не прокручивала случившееся в голове, мучаясь снова и снова. Фэй подумала, что нужно поближе познакомиться с Себастьяном. Она пока что не представляла, что ему скажет, но решила узнать его получше. И она знала, к кому обратиться.

Элис жила в соседней комнате, в тупике у пожарной лестницы. Здесь постоянно ошивались всякие субкультурные личности, в частности девушки наподобие тех, кого Фэй видела на собрании, – которые до ночи курили траву и подвывали магнитофону. Фэй заглянула в комнату (дверь почти всегда была открыта), несколько человек обернулись на нее, но Элис среди них не было. Фэй сказали, что Элис сейчас, скорее всего, в “Гражданском законе”, где она на добровольных началах вела бухгалтерию.

– Что такое “Гражданский закон”? – спросила Фэй.

Девушки с ухмылкой переглянулись. Фэй поняла, что снова оконфузилась и что такие вопросы задают только обыватели.

– Они помогают тем, кого арестовали, – пояснила одна из девушек.

– Вытаскивают из тюрьмы, – добавила другая.

– Понятно, – ответила Фэй. – Значит, и Себастьяну помогут?

Девушки снова заулыбались. Так же, как раньше. Опять она попала впросак. Опять Фэй не знает чего-то, что всем известно.

– Нет, – сказала одна из девушек. – У Себастьяна свои методы. Ты за него не беспокойся. Его арестовывают, а через час отпускают. Никто не знает, как у него это получается.

– Прямо волшебник какой-то, – поддакнула другая девушка.

Фэй объяснили, где находится “Гражданский закон”, однако по этому адресу на первом этаже раскаленной двухэтажной развалюхи оказался хозяйственный магазин. Дом явно знавал лучшие годы и когда-то считался роскошным викторианским особняком, но со временем его поделили на клетушки под квартиры и конторы. Фэй поискала глазами какую-нибудь табличку или дверь, но увидела лишь полки, заваленные типичной для хозяйственного магазина утварью: гвоздями, молотками, шлангами. Неужели они мне дали неправильный адрес, подумала Фэй. Наверно, решили надо мной посмеяться. Половицы скрипели, и Фэй чувствовала, как пол под ногами ходит ходуном и прогибается под тяжелыми стеллажами. Она уже собралась уходить, но тут хозяин, высокий, худой, седой мужчина, спросил, что она ищет.

– “Гражданский закон”, – ответила Фэй.

Хозяин впился в нее удивленным взглядом.

– Вы? – наконец уточнил он.

– Да. Это здесь?

Он объяснил, что те сидят в подвале, вход с другой стороны, из переулка. Фэй очутилась в переулке и постучала в деревянную дверь с написанными красками буквами “ГЗ”. В переулке не было ни души, только тухли на солнце штук шесть мусорных баков.

Дверь открыла девушка, по виду не старше Фэй, ответила, что Элис сегодня не приходила, и предложила поискать ее в каком-то “Доме свободы”. Пришлось Фэй снова пройти тот же ритуал: признаться, что не знает, что такое “Дом свободы”, выдержать недоуменный взгляд, смутиться из-за того, что не знает каких-то общеизвестных вещей, и выслушать разъяснения. Оказалось, “Дом свободы” – приют для сбежавших из дома девиц, и Фэй строго-настрого запретили разглашать его адрес мужчинам.

Вот так Фэй нашла Элис в ничем не примечательном трехэтажном кирпичном доме, в квартире на верхнем этаже, на двери которой тоже не было никаких опознавательных знаков. Попасть внутрь можно было, только по-особенному постучав в дверь (на самом деле это был сигнал SOS морзянкой). Элис сидела в обставленной по-спартански гостиной: несколько разрозненных предметов мебели явно купили в комиссионке, а может, приняли в подарок от добрых людей. Впрочем, вязаные салфеточки и накидки все же придавали комнате какой-никакой уют. Элис развалилась на диване, забросив ноги на журнальный столик, и читала “Плейбой”.

– Почему ты читаешь “Плейбой”? – удивилась Фэй.

Элис смерила Фэй таким раздраженным взглядом, что стало ясно, как ее достали такие вот дурацкие вопросы.

– Статьи интересные, – ответила она.

Больше всего в Элис пугало то, что ей, казалось, вообще нет дела, нравится она кому-то или нет. Она не тратила силы на то, чтобы с кем-то поладить, не подстраивалась ни под чьи желания, ожидания, потребности, под чужие представления о том, что прилично, а что нет, и как надо себя вести. Фэй же верила, что все люди хотят нравиться другим, и не из тщеславия, а потому что без этого невозможно общаться. Если карающего бога нет и наказывать за грехи некому, люди ладят друг с другом исключительно из желания понравиться – так думала Фэй. Она и сама не знала, верит ли в божью кару, но совершенно точно понимала, что Элис и ее товарки – атеистки до мозга костей. Они вытворили все, что им заблагорассудится, и совершенно не заботились, что за гробом их ждет возмездие. Фэй сроду такого не видала и оттого не знала, как себя с ними вести. Она их побаивалась, как большую собаку: никогда не знаешь, что у

той на уме.

Элис тяжело вздохнула, словно этот разговор ее тяготил. Ей явно было жаль тратить время на Фэй: впрочем, та вольна была доказать, что вовсе не такая зануда, каковой ее, похоже, считали.

– Посмотри на эту девушку, – сказала Элис, сняла ноги со столика и положила на него раскрытый на середине журнал.

Вертикальная фотография занимала целых три страницы. И первое, о чем подумала Фэй, едва оправилась от изумления (у нее дух захватило от такого запретного зрелища) и, наклонив голову, принялась разглядывать снимок: как же ей холодно! Девушка на фотографии явно замерзла. Она стояла в бассейне, вполоборота к камере, чуть выгнув спину, чтобы в профиль была видна грудь. Вода в бассейне казалась бирюзовой. Девушка обнимала за шею надувного лебедя, прижималась к нему щекой, словно надеялась, что он ее согреет. Разумеется, она была голая. Ягодицы и поясницу покрывали мурашки, отчего кожа казалась грубой, шершавой, как у крокодила. На попе и бедрах блестели капли: видимо, девушка окунулась по пояс, но не больше.

– И что это такое? – спросила Фэй.

– Порнуха.

– Зачем ты это смотришь?

– По-моему, она красивая.

Девушка на развороте. Подпись в углу снимка: “Мисс Август”. Нежно-кремовая кожа местами порозовела – то ли от холода, то ли от прилива крови. По спине стекала вода, на руке висели капли, однако не похоже, чтобы девушка плавала – скорее всего, фотограф обрызгал ее для снимка.

– В ней есть легкость, – продолжала Элис. – Сдержанное очарование. Наверняка она сильная и способна на многое. Беда в том, что она об этом даже не догадывается.

– Но тебе нравится, как она выглядит.

– Да, она красивая.

– Я тут читала, что не стоит делать комплименты внешности, – заметила Фэй. – Чтобы не унижаться.

Элис нахмурилась.

– И кто же такое сказал?

– Сократ. У Платона.

– Знаешь, – ответила Элис, – ты иногда бываешь странная.

– Извини.

– Ты не должна за это извиняться.

Мисс Август не то, что бы улыбалась: скорее на лице ее застыла

гримаса, как у человека, который замерз, но его заставляют улыбаться. Щеки и нос девушки покрывали веснушки. С правой груди свисали две капельки воды. Если упадут, то приземлятся на голый живот. От одного лишь взгляда на снимок Фэй пробирал озноб.

– Порнография ставит под сомнение само понятие просвещения, – сказала Элис. – Если образованные, разумные, ученые, нравственные, порядочные мужчины до сих пор любят смотреть на такое, то какое же это просвещение? Получается, мы где были, там и остались. Консерваторы предлагают запретить порнографию и тем самым избавиться от нее. Но и либералы хотят от нее избавиться, только иначе: мол, просвещенному человеку все это не понадобится. Там репрессии, тут образование. Там копы, тут учителя. Цель у тех и у других одна: чистота нравов. Только методы разные. Они хотят превратить нас в ханжей.

– Его все мои дяди выписывают, – Фэй указала на журнал. – И держат на виду. На журнальном столике.

– Сексуальная революция – не про секс, а про свободу от стыда.

– Не похоже, чтобы этой девушке было стыдно, – заметила Фэй.

– Она тут ни при чем. Я не про нее говорю, а про нас.

– Разве тебе стыдно?

– Про нас – не значит про себя. Я в целом, про наше общество.

– А, ясно.

– Про типичного обывателя. Зрителя. А не про нас с тобой.

– Мне вот сейчас стыдно, – призналась Фэй. – Немножко. Я и рада бы не стыдиться, но не получается.

– Почему это?

– Я не хочу, чтобы кто-то узнал, что я это видела. А то еще подумают обо мне бог знает что.

– И что же, например?

– Что я рассматриваю голых девушек. Что мне нравятся девушки.

– Да какое тебе дело до того, что кто-то подумает?

– Ну как какое!

– Это не стыд. Тебе кажется, что ты стыдишься этого, но это не стыд.

– А что же тогда?

– Страх.

– Ах вот оно что.

– Ненависть к себе. Психическое расстройство. Одиночество.

– Это всего лишь слова.

Лежавший между ними журнал поневоле притягивал взгляд: до того был материален, осязаем. На фотографии виднелись складки, страницы

изгибались, блестели на свету, коробились от влажности. Из руки мисс Август торчала сшивавшая журнал скрепка, будто в девушку угодила шрапнель. Окна в квартире были открыты, возле стола жужжал маленький вентилятор, страницы на развороте подпрыгивали и дрожали под струей воздуха, и казалось, что картинка ожила: мисс Август шевелилась, поеживалась и, как ни пыталась, не могла стоять смиренно в холодной воде.

– Мужчины, которые участвуют в движении, вечно несут такую чушь, – сказала Элис. – Типа, если ты не хочешь с ними спать, значит, у тебя комплексы. Если не снимаешь рубашку, значит, стесняешься. Как будто, чтобы стать полноправным участником движения, надо непременно дать им пощупать свои сиськи.

– И Себастьян такой же?

Элис покосилась на Фэй.

– А тебе что?

– Ничего. Просто любопытно.

– Любопытно, значит.

– Мне показалось, он интересный.

– В каком смысле?

– Мы сегодня очень мило погуляли. Посидели на лужайке.

– Ах вот оно что!

– Что?

– Так ты сведения собираешь.

– Вовсе нет.

– Ты думаешь о нем.

– Мне он показался интересным. Вот и все.

– Ты хочешь с ним переспать?

– Я бы так не сказала.

– Ты хочешь с ним потрахаться. Но сперва хочешь убедиться, что он того стоит. Поэтому ты сюда и пришла. Чтобы разузнать про Себастьяна.

– Мы всего лишь мило побеседовали, а потом его арестовали на демонстрации против “Кемстара”. Поэтому я за него беспокоюсь. Я всего лишь волнуюсь за друга.

Элис подалась вперед, оперлась локтями о коленки.

– У тебя ведь наверняка дома парень остался?

– При чем здесь это?

– У тебя же есть парень, да? У таких, как ты, дома всегда есть парни. И где он сейчас? Ждет тебя?

– Он в армии.

– Ничего себе! – Элис хлопнула в ладоши. – Вот это да! Твоего парня

пошлют во Вьетнам, а ты собралась переспать с пацифистом.

– Ладно, проехали.

– Да не с каким-нибудь рядовым пацифистом, а с одним из самых ярких активистов. – Элис притворно похлопала в ладоши.

– Замолчи, – процедила Фэй.

– У него на стене висит флаг вьетконговцев. Себастьян перечисляет деньги Фронту национального освобождения. Ты ведь об этом знаешь?

– Тебя это не касается.

– В твоего парня будут стрелять. В него полетят пули, купленные на деньги Себастьяна. Вот кого ты выбрала.

Фэй встала.

– Я ухожу.

– Это все равно что ты сама спустила бы курок, – не унималась Элис. – Фу, какая гадость.

Фэй повернулась к Элис спиной и, сжав кулаки на прямых напряженных руках, двинулась прочь из квартиры.

– Стыдно! – крикнула ей вслед Элис. – Вот это действительно стыдно. Поняла теперь, что такое стыд?

Захлопывая дверь, Фэй успела заметить, что Элис снова закинула ноги на журнальный столик и листает “Плейбой”.

5

Не платить ни за такси, ни за поезд. Элис верила в свободу, свободу передвижения, свободу вообще – вот как сейчас, в пять утра, на сырых прохладных улицах Чикаго в багровом свете зари. Над озером Мичиган вставало солнце, и на фасадах зданий лежал розовый отблеск. Кое-где были открыты кулинарии. Хозяева поливали из шланга тротуары, на которых, точно мешки с зерном, валялись сброшенные с грузовиков пачки газет. В одной из них Элис заметила заголовок: “Республиканская партия выдвинула Никсона кандидатом в президенты”, – и сплюнула. Вдохнула запах рассветного города, его пробуждающееся дыхание, асфальт, машинное масло. Хозяева магазинов не обращали на нее внимания. Они видели, во что она одета – зеленую камуфляжную куртку, берцы, рваные обтягивающие джинсы, – видели ее взъерошенные черные волосы, равнодушный взгляд поверх очков в серебристой оправе и делали резонный вывод, что она неплатежеспособна. А раз у нее нет денег, что толку с ней любезничать? Элис нравилась такая прямота: она всегда ценила ясность в отношениях с окружающим миром.

Она не носила сумочку, потому что, будь у нее сумочка, рано или

поздно наверняка возникнет соблазн положить в нее ключи, а если бы у нее были ключи, ее потянуло бы запирать дверь, а если бы она стала запирать дверь, ей захотелось бы иметь то, что нужно запирать: покупать одежду в магазинах, а не шить самой и не воровать, – и это лишь начало! Дальше ей наверняка понадобились бы туфли, платья, украшения, кучи всяких безделушек, потом еще и еще – телевизор, сперва маленький, затем побольше, потом еще один, чтобы в каждой комнате стояло по телевизору, журналы, кулинарные книги, кастрюли и сковородки, картины в рамках на стене, пылесос, гладильная доска, одежда, которую нужно гладить, ковры, которые нужно пылесосить, шкафы, шкафы, шкафы, квартира попросторнее, потом дом, гараж, машина, замки на машину, замки на двери, куча замков и решеток на окнах, так что в конце концов дом станет смахивать на тюрьму, в которую по сути давно превратился. Тогда ей пришлось бы в корне пересмотреть отношение к жизни: сейчас она открыта миру, а так закрылась бы от него.

Будь у нее сумочка, ключи, деньги или предрассудки по поводу того, что негоже путаться с первыми встречными, сегодняшняя ночь сложилась бы иначе. Элис отправилась на поиски приключений и довольно быстро нашла их: в центре ей встретились двое мужчин, которые пригласили ее в свою грязную квартирку, там они пили виски, слушали пластинки Сана Ра^[37], Элис танцевала, покачивая бедрами, потом один из мужчин отключился, а Элис целовалась с его товарищем, пока не кончилась трава. Под такую музыку особо не потанцуешь, ей не подпоешь, а вот целоваться под нее здорово. Все было клево, пока парень не расстегнул ширинку и не сказал: “Возьмешь в рот?” Элис передернуло от того, что он даже попросить о сексе нормально не смог, – наверно, стеснялся слова “минет”. Парень очень удивился, когда она отказала. “Я думал, ты свободных взглядов”, – заметил он, как будто, если девушка свободных взглядов, то должна исполнять все мужские прихоти и радоваться.

Впрочем, все новые левые думали именно так.

Элис так и не отпустило. Она шла по улице, точно на ходулях: собственные ноги казались ей тоньше, длиннее и тверже, чем на самом деле. Шаг за шагом на запад, через центр города к Иллинойсскому университету. Элис шагала, как клоун в цирке, и ей это нравилось, потому что так она чувствовала свое тело, все его дивные части, чувствовала, как работают мышцы.

Элис на ходу играла в классики, как вдруг ее заметил коп. Она прыгала мимо переулка, где он спрятал машину.

– Эй, детка, ты куда? – окликнул он.

Элис остановилась. Обернулась на голос. Это был он. Тот самый полицейский, которого звали так по-дурацки: Чарли Браун.

– И что это ты делаешь здесь так поздно? – спросил он.

Он был огромный, точно глыба, с тыквообразной головой, блюстител мелочных законов: нельзя попрошайничать, нельзя сорить, нельзя переходить улицу в неположенном месте и шляться в неурочный час. Последнее время копы часто останавливали хиппи за мелкие нарушения, останавливали, обшаривали, искали, к чему бы придраться, за что бы упечь. Большинство полицейских были идиотами, но не этот. Браун вызывал интерес.

– Иди-ка сюда, – велел он и оперся о капот патрульной машины.

Одну руку положил на дубинку. В переулке было темно, как в погребе.

– Я тебя спрашиваю, – сказал коп, – что ты тут делаешь?

Элис подошла к нему, встала чуть поодаль, чтобы он не смог до нее дотянуться, и уставилась на полицейского, который горой возвышался над ней. Форма на нем была светло-голубая, даже, пожалуй, бледно-голубая, и явно меньше, чем нужно: рукава были короткие, и рубашка расходилась на пивном пузе. Усы у копа были такие светлые, что разглядеть их можно было только с близкого расстояния, вот как сейчас. На сердце красовался жетон с пятиконечной серебристой звездой.

– Ничего, – ответила Элис. – Домой иду.

– Домой?

– Да.

– В пять утра? Идешь домой? И ничего не нарушаешь?

Элис улыбнулась. Он говорил строго по тексту, который она для него составила. Ей нравилось, что он верен слову.

– Да пошел ты, – ответила она.

Он схватил ее за шею, притянул к себе, уткнулся носом ей в волосы и громко вздохнул над ухом.

– От тебя травой пахнет, – заметил он.

– И что?

– Мне придется тебя обыскать.

– А ордер у вас есть? – парировала Элис, и Браун рассмеялся в ответ – фальшиво, конечно, однако он все же старался, и она была ему за это благодарна.

Он развернул ее, заломил руку ей за спину, завел в переулок и наклонил над капотом патрульной машины. Они уже так делали пару ночей назад: тогда Браун нагнул ее над капотом и как-то вышел из роли. Слишком грубо толкнул ее на машину (сказать по правде, Элис поддалась, в нужный

момент не стала сопротивляться). Она ударилась щекой о капот, и у нее искры из глаз посыпались – чего Элис, собственно, и хотела: хоть ненадолго отключить сознание.

Но Браун перепугался, когда она ударилась. На щеке у нее мгновенно расплылся синяк. “Поросеночек!” – крикнул Чарли, и Элис шикнула на него за то, что он произнес стоп-слово. Пришлось объяснить, что стоп-слово может произносить только она, что в его устах оно попросту бессмысленно. Чарли пожал плечами, бросил на нее сокрушенный взгляд и поклялся в следующий раз быть внимательнее.

Вот о чем Элис попросила Брауна: ей хотелось, чтобы он выследил ее как-нибудь ночью, неожиданно окликнул и при этом вел себя так, словно они незнакомы, словно и не крутили роман все лето, словно она – обычная хиппушка, а он – жестокий полицейский, чтобы он увел ее в темный переулок, нагнул над капотом патрульной машины, сорвал с нее одежду и отымел. Так ей хотелось.

Брауна такая просьба немало озадачила. Он не понимал, зачем ей это. Почему бы, как обычно, не заняться сексом на заднем сиденье? Элис объяснила: потому что секс на заднем сиденье она уже пробовала, а это нет.

Она лежала лицом на капоте, Браун держал ее за шею. Похоже, на этот раз он все-таки справится. Не сказать чтобы ей это нравилось, но Элис надеялась, что еще немного – и понравится, если он будет продолжать, она непременно получит удовольствие.

Брауну же было страшно.

Страшно причинить ей боль, страшно не причинить ей боли, страшно причинить ей боль, но не так, как ей бы хотелось, страшно не оправдать ее ожиданий, страшно, что если он не будет вытворять с ней всякие штуки-дрюки, о которых она просит, Элис возьмет и уйдет. Этого-то он и боялся больше всего: что Элис в нем разочаруется и бросит.

Каждую их встречу Брауна мучил страх. Чем дольше Браун встречался с Элис, тем сильнее боялся ее потерять, буквально до паранойи. И он это прекрасно понимал, отдавал себе отчет, что происходит, но ничего не мог поделать. После каждой их случайной встречи мысль о том, что, быть может, он никогда ее больше не увидит, становилась все мучительнее и невыносимее.

Их свидания Браун называл “случайными встречами”.

От случайной встречи не ждешь многого: на то она и случайна. Так встречаешь незнакомца в переулке. Или медведя в лесу. Такие встречи не планируешь, как они на самом деле планировали эти якобы нечаянные

свидания. Браун называл их “случайными встречами”, чтобы не думать о том, что сознательно и активно изменяет жене, потому что именно это он и делал. Причем охотно. И часто.

Ему становилось стыдно при мысли о том, что жена узнает его секрет. Ведь тогда, думал Браун, придется ей обо всем рассказать, о том, как искусно и тайно он ей изменял, и его охватывал стыд, отвращение к себе, что есть, то есть, но и обида на жену, и праведный гнев: ведь на самом деле он ни в чем не виноват, фактически она сама толкнула его в объятия Элис, потому что после рождения дочери жена очень изменилась.

Изменилась до неузнаваемости. Сначала стала называть его “папочкой”, а он ее в ответ “мамочкой”: ему казалось, что это шутка, игра, что так они вживаются в новые роли, как в медовый месяц, когда жена звала его “муж”. Брауну это казалось неуместно формальным, непривычным, странным. “Ну что, муж мой дорогой, идем ужинать?” – спрашивала она его каждый вечер в неделю после свадьбы, и они от смеха валились на кровать, потому что чувствовали себя слишком юными и зелеными для таких серьезных названий, как “муж” и “жена”. Вот и в больнице после рождения дочери, когда они с женой стали звать друг друга “мамочкой” и “папочкой”, Брауну это показалось забавной шуткой, которая скоро забудется.

Прошло пять лет, а жена по-прежнему звала его “папочкой”. А он ее “мамочкой”. Она никогда его об этом прямо не просила, лишь постепенно перестала откликаться на другие имена. Доходило до странностей. Например, он кричал ей из другой комнаты: “Милая!” Молчание. “Дорогая!” Нет ответа. “Мамочка!” Тут она приходила, как будто других слов просто не слышала. Его раздражало, когда она звала его “папочкой”, но обычно он не возражал, лишь замечал изредка: “Если тебе неприятно, можешь меня так не называть”, на что жена отвечала: “Но мне приятно”.

А еще они перестали заниматься сексом. Браун относил это на счет новых порядков: теперь они спали все вместе, то есть дочь спала с ними в одной кровати, между ним и женой. Это произошло как-то само собой, против его воли. Браун подозревал, что так захотела вовсе не дочь, а мамочка. Жене его нравилось спать втроем, потому что по утрам дочурка забиралась на нее, расцеловывала и говорила: “Мамочка, ты такая красивая!” Браун подозревал, что жена не собирается отказываться от этой традиции.

Более того: она-то эту традицию и завела.

О, конечно, сначала это происходило не специально. Но мамочка такое поведение поощряла. Начиналось все довольно невинно: как-то утром

дочка проснулась – милая, заспанная – и пробормотала: “Мамочка, ты такая красивая”. Это было трогательно. Мамочка обняла ее и поблагодарила. Казалось бы, что такого. Но через несколько дней утром мамочка спросила: “Ведь я красивая, правда?”, и дочь охотно ответила: “Да!” В общем, тоже ничего особенного, поэтому Браун ничего и не сказал, но взял на заметку. Еще через несколько дней утром жена спросила: “Что нужно сказать мамочке утром?” “Доброе утро?” – предположила дочь. Но мамочка ответила: нет, неправильно, и пришлось бедной девочке перебирать варианты, пока наконец не угадала: “Ты такая красивая!”

Это уже было довольно странно.

Но еще большая странность приключилась на следующей неделе, когда мамочка наказала дочь за то, что та ей с утра не сказала “ты такая красивая!”: вместо обычных субботних мультиков и блинчиков отправила дочь убирать комнату. А когда дочка разревелась от досады и спросила сквозь слезы, в чем она провинилась, мамочка пояснила: “Ты мне сегодня не сказала, что я красивая!” Браун подумал, что здесь что-то нечисто.

(Разумеется, когда он делал жене комплименты, та лишь закатывала глаза и демонстрировала ему очередные морщины и жировые складки.)

Браун стал работать по ночам. Чтобы не видеть обязательных поцелуев, не слышать притворных комплиментов, с которых теперь начиналось каждое утро. Днем он отсыпался, и вся кровать была в его распоряжении. По ночам патрулировал улицы. Так он и встретился с Элис.

Сперва ему показалось, что она такая же, как все прочие хиппи. Он запомнил ее лишь потому, что на ней ночью были солнечные очки. Браун увидел ее на улице и попросил предъявить документы. Та, разумеется, не смогла. Тогда он надел на нее наручники, прижал к машине и обыскал, нет ли у нее с собой наркотиков: у одного из трех таких идиотов в карманах обязательно находили наркотики.

Однако у Элис в карманах не оказалось вообще ничего, ни наркотиков, ни денег, ни косметики, ни ключей. Браун решил, что она бездомная, отвез в кутузку, передал коллегам и тут же о ней забыл.

На следующую ночь она оказалась на том же месте.

В то же самое время. И одета была точно так же: зеленая камуфляжная куртка, солнечные очки на середине носа. На этот раз она не шла, а стояла на тротуаре, словно его поджидала.

Браун подъехал и спросил:

– Что ты тут делаешь?

– Нарушаю режим, – ответила Элис и бросила на него злой взгляд. Держалась она прямо, напряженно: в позе ее читалось упрямство и вызов.

– Напрашиваешься, значит? – спросил он. – Соскучилась по кутузке?
– Значит, напрашиваюсь.

Он снова надел на нее наручники, прижал к машине. В карманах у нее опять было пусто. Всю дорогу до участка она пялилась на Брауна. Большинство задержанных пугливо ежились у двери, словно пытались спрятаться. Но не эта. Ее пристальный взгляд его раздражал.

На следующую ночь он снова увидел ее на том же месте в то же время. Она стояла у кирпичной стены, согнув ногу в колене и спрятав руки в карманах.

– Здорово, – сказал он.

– Здорово, свинья.

– Что, опять режим нарушаешь?

– И его в том числе.

Он ее побаивался. Не привык, чтобы с ним так обращались. Все эти хиппи и прочие отморозки, конечно, невыносимы, но по крайней мере вели себя предсказуемо. Им вовсе не хотелось очутиться за решеткой. Им не нравилось, когда к ним цепляются. От этой же девки веяло опасностью, хотя она явно с ним кокетничала. Отчаянная и непредсказуемая. Он таких раньше не встречал. Но его к ней тянуло.

– Наденешь на меня наручники? – спросила она.

– А ты что, нарушаешь закон?

– Могу, если надо.

На следующую ночь у него был выходной, но Браун поменялся сменами с коллегой. Элис снова была на том же месте. Он проехал мимо нее раз, другой. Она проводила его глазами. Когда он в третий раз объезжал вокруг квартала, рассмеялась в открытую.

В первый раз они занялись сексом на заднем сиденье его патрульной машины. В обычное время Элис стояла на обычном месте. Указала ему на переулочек и велела поставить машину там. Он так и сделал. В переулочке было темно, машины почти не было видно. Элис велела ему перебраться на заднее сиденье. Он повиновался. Вообще-то он не привык, чтобы девицы им командовали, тем более всякие уличные хиппушки. Он мысленно воспротивился было, но это чувство испарилось, едва Элис уселась к нему на заднее сиденье, закрыла дверь и сняла с него ремень, который со стуком упал на пол, потому что на нем висела рация, дубинка и пистолет. Ремень глухо грохнул об пол. Элис даже не попыталась его поцеловать. Похоже, ей этого и не хотелось, хотя он-то ее целовал – ему показалось, что он, как воспитанный мужчина, должен ее поцеловать, и он целовал ее, гладил по лицу, стараясь казаться внимательным и нежным, чтобы она не думала, что

ему лишь бы забраться к ней в трусы, хотя этого-то ему сейчас хотелось больше всего на свете. Она сдержнула с него брюки, и он мгновенно забыл о жене, о ребятах в участке, о начальнике отдела, о мэре, о том, что их могут увидеть.

Они не занимались сексом в привычном смысле слова: скорее Элис скакала на нем, а он просто лежал.

Выходя из машины, Элис обернулась, лукаво улыбнулась и сказала:

– Еще увидимся, свинья.

И до конца дежурства он ломал голову, что же она имела в виду. “Еще увидимся”. Не “до встречи”. Не “до завтра”. Даже не “до скорого”. “Еще увидимся” – ничего более легкомысленного и неопределенного она сказать не могла.

В каждую их случайную встречу Браун испытывал одни и те же чувства: огромное облегчение от того, что Элис снова здесь, и бесконечную тревогу, что она уйдет и не вернется.

Он в ней нуждался. Отчаянно. Мучительно. Так, словно грудь и кишки его держатся на одной-единственной деревянной прищепке, и если Элис не объявится, прищепка упадет. Он представлял, как приедет на обычное место, а ее там не окажется, и у него внутри словно лопался воздушный шарик с водой. Если она его бросит, он этого не вынесет. Браун это знал. Потому и подал сомнительное в моральном отношении, но жизненно необходимое лично ему заявление о переводе в Красный отряд.

Теперь он день-деньской официально шпионил за Элис. Лучшего нельзя было и придумать: так он всегда знал, где она и с кем, а если бы кто-то о них пронюхал, у него нашлось бы вполне правдоподобное оправдание. Он тут не романы крутит, а ведет тайное расследование.

Он прослушивал ее комнату. Фотографировал Элис, когда она входила и выходила из разных подозрительных заведений, где собирались антиправительственные элементы. И трахался с ней, забыв прежние тревоги. До тех пор, пока она не попросила его кое о чем, что показалось ему, мягко говоря, странным.

– Трахни меня в наручниках, – велела как-то раз Элис, и с тех самых пор вместо привычного секса на заднем сиденье ему приходилось заниматься с ней всякими извращениями.

Он спросил, зачем ей это, и она в ответ бросила на него испепеляющий, убийственный взгляд, скроила язвительную мину, которую он так ненавидел.

– Потому что я никогда не пробовала в наручниках, – пояснила она.

Брауну казалось, что это не повод. Мало ли чего он не пробовал и даже

не собирается.

– Тебе нравится со мной трахаться? – спросила Элис.

Он замолчал. Браун терпеть не мог говорить о себе и о чувствах. К счастью, после рождения дочери жена перестала спрашивать его о личном. Браун поймал себя на мысли, что вот уже несколько лет ему не приходилось выражать чувства словами.

Да, ответил он, мне нравится заниматься с тобой любовью. Элис рассмеялась: до того старомодно прозвучала фраза “заниматься любовью”. Браун покраснел.

– Разве ты мог себе представить, что будешь трахаться с хиппи? – не унималась Элис.

– Нет.

Элис пожала плечами, словно хотела сказать: вот видишь, я права. Она протянула ему руки, и он нехотя надел на нее наручники.

В следующий раз она снова попросила надеть на нее наручники.

– И будь погрубее, – добавила Элис.

Он спросил, что она имеет в виду.

– Ну не знаю, – ответила она. – Давай без нежностей.

– Я не очень понимаю, что ты от меня хочешь.

– Ну, ударь меня лицом о капот или что-нибудь в этом роде.

– Что-нибудь в этом роде?

С тех пор так бывало каждый раз: Элис просила его проделать с ней очередную новую странную штуку, то, чего Браун никогда не пробовал и до чего бы сроду не додумался. От желаний Элис у него бежали мурашки, он боялся, что не справится, не сумеет сделать то, о чем она просит, или сделает не так, как ей хочется, и упирался, пока страх потерять Элис не пересиливал испуг и стыд: тогда Браун все же заставлял себя заняться с ней сексом так, как ей хотелось, но не получал от этого удовольствия, потому что сомневался, правильно ли все делает, однако понимал, что может быть хуже.

– Ничего не хочешь мне показать? – произнес он, притиснул Элис животом к машине, а сам прижался к ее спине.

– Нет.

– Ты ничего не прячешь в джинсах? Лучше признайся честно.

– Нет.

– Сейчас проверим.

Она почувствовала, как он вывернул ее карманы, сперва передние, потом задние, но ничего не нашел, кроме ниточек да табачных крошек. Он похлопал ее по бедрам – снаружи, потом внутри.

– Ну что, убедился? – сказала она. – Нет у меня ничего.

– Заткнись.

– Отпусти меня.

– Закрой рот.

– Свинья чертова, – процедила Элис.

Он вжал ее лицом в холодный железный капот.

– А ну повтори, что ты сказала, – велел Браун. – Ну, давай.

– Свинья, импотент чертов, – выругалась Элис.

– Импотент? – окрысился Браун. – Ну я тебе сейчас покажу импотента.

Он наклонился над ней и прошептал на ухо – на пять октав выше, чем до этого. В словах его дышала любовь и нежность:

– Я все правильно делаю?

– Не отвлекайся! – рявкнула Элис.

– Ладно, как скажешь, – согласился он.

Элис почувствовала, как он сдернул с нее джинсы. Как подался капот под ее щекой. Потом утренний холодок: Браун стащил с нее джинсы и пинком расставил ей ноги, чтобы проще было войти. Он прижался к ней, с силой вставил в нее член, и она почувствовала, как он твердеет внутри нее, увеличивается в размерах. Наконец он начал двигаться. Трахал ее, повизгивая, как щенок, каждый раз, как заталкивал член глубже. Двигался он неритмично. Дергался судорожно, хаотично и очень быстро кончил, через минуту-другую, напоследок стремительно войдя в нее.

Член его тут же уменьшился в размерах, тело обмякло, прикосновения стали нежными. Браун выпустил Элис. Она выпрямилась. Он протянул ей джинсы, которые с нее сорвал. От смущения он не мог поднять на нее глаз. Элис улыбнулась и надела штаны. Они уселись бок о бок за машиной, прислонясь к бамперу. Наконец Браун спросил:

– Я был не слишком груб?

– Нет, в самый раз, – уверила его Элис.

– Я боялся сделать тебе больно.

– Все в порядке.

– Ты ведь сама в прошлый раз просила поглубее.

– Да, – ответила Элис, потянулась в одну сторону, в другую, пощупала щеку, которой он впечатал ее в капот, потом шею там, где он в нее вцепился.

– Почему ты все время ходишь одна? – спросил он. – Это опасно.

– Ничего подобного.

– На улицах полно хулиганья, – продолжил он, обхватил ее большими руками и обнял так, что она вскрикнула от боли.

– Ой!

– Прости, – Браун тут же выпустил Элис. – Я медведь.

– Ничего страшного. – Она похлопала его по руке. – Мне пора.

Элис встала. Намокшие изнутри джинсы холодили кожу. Ей хотелось домой, под душ.

– Я тебя отвезу, – предложил Браун.

– Еще чего. Нас же увидят.

– Я тебя высажу за пару кварталов до общаги.

– Не надо, – ответила Элис.

– Когда мы с тобой увидимся?

– Да, кстати. В следующий раз я хочу попробовать кое-что еще, – сказала Элис, и у Брауна екнуло сердце: значит, они все же увидятся снова!

– В следующий раз, – продолжала Элис, – я хочу, чтобы ты меня придушил.

Брауна как холодной водой окатили.

– Что?

– Понарошку, разумеется, – пояснила Элис. – Положишь мне руку на горло и сделаешь вид, будто душишь.

– Сделаю вид?

– Ну, можешь немного сдавить, будет вообще клево.

– О господи! – воскликнул Браун. – Да ни за что.

Элис нахмурилась.

– Тебе что-то не нравится?

– Не нравится? И это еще мягко сказано! Я не понимаю, тебе-то это чем нравится? Я не ослышался, ты ведь просила тебя задушить? Это уже ни в какие ворота не лезет. Почему я должен тебя душить?

– Мы уже об этом говорили. Потому что я никогда такого не пробовала.

– И что с того? Если ты никогда не ела терьяки, это повод наконец попробовать. Но это, черт побери, не повод тебя душить.

– Другого нет.

– Если ты хочешь, чтобы я это сделал, хотя бы объясни почему.

Он впервые осмелился ей перечить и тут же об этом пожалел. Браун испугался, что Элис пожмет плечами и уйдет. Как у большинства неблагополучных пар, у них тоже один из партнеров сильнее нуждался в другом. Было ясно без слов, что Элис в любой момент может уйти и даже не особо пожалеет об этом, его же расставание убьет. От него мокрого места не останется. *Потому что ничего подобного с ним больше никогда не произойдет.* Он не найдет другую такую женщину, как Элис, и если она его бросит, ему придется жить по-старому, вот только после ее ухода эта

старая жизнь покажется ему скучной и пресной.

Так что на самом деле он воспротивился не просьбе Элис, а неминуемой моногамии и смерти.

Элис погрузилась в раздумья. Браун никогда не видел ее такой задумчивой. Она всегда была уверена в себе и за словом в карман не лезла; тем более странным ему показалось, что она так долго молчит. Наконец Элис собралась с мыслями, бросила на него взгляд поверх солнечных очков, которые носила не снимая, и испустила тяжелый, даже, пожалуй, раздраженный вздох.

– Ну ладно, так уж и быть, скажу, – проговорила она. – Секс с парнями меня не возбуждает. Я имею в виду обычный секс. Большинство парней относятся к сексу как к игре в пинбол: знай себе дергай за рычаги. Это скучно.

– Я никогда не играл в пинбол.

– Ты не понимаешь. Ладно, возьмем другую аналогию: представь, что твои знакомые едят пирог. И нахваливают. Ты пробуешь, а он на вкус как бумага или картон. Гадость, в общем. При этом все твои друзья его обожают. Как бы ты себя чувствовал в такой ситуации?

– Наверно, мне было бы обидно.

– Мало того: тебя бы это раздражало. Особенно если все в один голос принялись бы тебя уверять, что пирог тут ни при чем. Что дело в тебе. Что ты его как-то неправильно ешь. Теперь понимаешь?

– То есть я для тебя очередной кусок пирога?

– Я просто хочу почувствовать хоть что-нибудь.

– Ты рассказывала друзьям обо мне?

– Ха. Еще не хватало.

– То есть ты меня стыдишься? Стесняешься?

– Ну слушай, я вообще-то анархистка, я против произвола властей. Да, при этом мне хочется, чтобы меня жестко отымел коп. Меня это возбуждает. Я приняла это как есть и не сужу. Но друзья мои едва ли поймут.

– Скажи, – произнес он, – вот это все, чем мы с тобой занимаемся, ну, наручники там, то, что ты меня просишь быть поглубее... оно работает?

Элис улыбнулась и погладила его по щеке. Никогда еще она не касалась его так нежно.

– Добрый ты человек, Чарли Браун.

– Ты же знаешь, я не люблю, когда меня так называют.

Она чмокнула его в макушку.

– Все. Иди лови преступников.

Уходя, Элис чувствовала, как он смотрит ей в спину. Чувствовала синяки на шее и на щеке. Чувствовала, как из нее сочится холодная сперма.

6

Кампус полнился слухами: их распространяли продвинутые студенты. Тайну эту не раскрывали ни кадетам-резервистам, которые поддерживали войну, ни тупым спортсменам из студенческих братств, ни девицам, мечтающим подцепить женишка. Лишь самым верным и честным позволено было узнать секрет: по определенным дням в определенной аудитории, в глубине запутанного лабиринта корпуса бихевиоральных наук на целый час война официально завершалась.

В этой аудитории целый час никакой войны во Вьетнаме не было и в помине. Занятия вел Аллен Гинзберг, великий поэт, недавно приехавший с Восточного побережья. Каждую лекцию он начинал с одной и той же фразы: “Война официально завершилась”. Студенты повторяли за ним, потом еще раз, в унисон, и оттого, как слаженно звучали их голоса, слова как будто облекались в плоть. Гинзберг учил, что язык обладает силой, что мысль материальна и что, выпуская слова в мир, они тем самым начинают процесс, в результате которого слово становится делом.

– Война официально завершилась, – говорил Гинзберг. – Повторяйте это, пока слова не потеряют смысл, не станут плотью, энергией, которая исходит от вас, потому что, когда мы в мантре произносим имя бога, мы тем самым его порождаем. Это важно помнить, – он поднимал палец. – Когда вы говорите “Шива”, вы не призываете Шиву, вы создаете Шиву, который творит и бережет, уничтожает и укрывает, так что война официально завершилась.

Фэй наблюдала за Гинзбергом из дальнего конца класса, где сидела, как и все остальные, на пыльном линолеуме, разглядывала покачивавшийся серебристый пацифик на шее, блаженно прикрытые глаза за очками в роговой оправе, волосы: всклокоченная черная шевелюра, казалось, перекочевала с облысевшей макушки на щеки и шею, борода дрожала с каждым его движением, когда Гинзберг пел мантры и раскачивался из стороны в сторону, точно прихожанин какой-нибудь церкви, где службы проходят экзальтированно сверх меры, целиком отдавался молитве, закрывал глаза, сидя по-турецки на коврике, который приносил с собой.

– Тело должно вибрировать, как у жителей африканских равнин, – пояснял Гинзберг и на мелодической гармонике и пальчиковых тарелочках наигрывал мелодию, под которую они пели мантры. – Или у тех, кто живет в горах Индии, да вообще в любом месте, куда не добрались телевизионные машины, которые вибрируют за нас. Мы все позабыли, как это делается, кроме, пожалуй, Фила Окса, который как-то раз два часа подряд пел “Война завершена”, а эта мантра посильнее, чем все антенны “Коламбия Бродкастинг Систем”, чем все рекламные листовки к национальному съезду Демократической партии, чем десять лет политической болтологии.

Сидевшие на полу по-турецки студенты раскачивались из стороны в сторону, повинувшись внутреннему темпоритму. Казалось, будто комната полнится волчками. Столы отодвинули к стенам. Стекло в двери завесили пиджаком, чтобы проходившие мимо администраторы, охрана кампуса или менее продвинутые преподаватели не увидели, что творится в аудитории.

Фэй знала, что за мантрой про конец войне последует “Харе Кришна, Харе Рама”, а в завершение они обязательно пропоют священный звук “ом”. Так было на каждом занятии, и Фэй досадовала, что великий Гинзберг учит ее только раскачиваться из стороны в сторону да петь мантры вслух и про себя. А ведь его стихи прожигали Фэй насквозь, и на первом занятии она боялась, что в его присутствии не сумеет вымолвить ни слова. Но потом увидела Гинзберга и удивилась: куда подевался симпатичный опрятный молодой человек с фотографии? Ни твидового пиджака, ни аккуратной прически: Гинзберг перенял атрибутику контркультуры, и от этого Фэй поначалу охватило разочарование – неужели поэту не хватает воображения? Сейчас же она испытывала, скорее, раздражение. Ее так и подмывало поднять руку и спросить: “А про стихи вы нам что-нибудь расскажете?” – но она чувствовала, что остальные не поддержат ее порыв. Поэзия студентов совершенно не волновала: их интересовала война, и говорить им хотелось только о войне, обсуждать, как они положат ей конец. В особенности их волновала антивоенная демонстрация, приуроченная к общенациональному предвыборному съезду Демократической партии, до которого оставались считанные дни. Все в один голос утверждали, что протест будет мощный. Все собирались идти.

– Если нападет полиция, – наставлял Гинзберг, – надо как ни в чем не бывало сидеть на земле и петь “ом”. Мы им покажем, что такое мир.

Студенты раскачивались и мычали. Некоторые открывали глаза и переглядывались, как будто мысленно говорили друг другу: “Если нападут копы, я не буду сидеть, я смоюсь на фиг”.

– Для этого понадобится недюжинная храбрость, – добавил Гинзберг, словно прочитав их мысли, – но единственный ответ насилию – его противоположность.

Студенты закрыли глаза.

– Вот как это делается, – вещал Гинзберг. – Давайте потренируемся. Чувствуете? Разумеется, это субъективный опыт, но другого и не нужно. Объективный опыт – это фикция.

По всем остальным предметам Фэй получала высшие баллы. По экономике, биологии, античной литературе и древним языкам: не было случая, чтобы она хоть раз не ответила на вопрос в еженедельной контрольной. Но как быть с поэзией? Что-то не похоже, что Гинзберг собирается ставить отметки. Большинство студентов вздохнуло с облегчением, Фэй же это сбивало с толку. Как себя вести, если понятия не имеешь, по каким критериям тебя будут оценивать?

Она изо всех сил пыталась сосредоточиться на медитации, но все время волновалась, как она выглядит со стороны. Фэй старательно пела мантры, раскачивалась из стороны в сторону и отдавалась медитации целиком, чтобы прочувствовать, о чем говорил Гинзберг, чтобы расширить сознание и освободить ум. Но стоило ей всерьез начать медитировать, как в мозг мелкой занозой впивалась мысль: она все делает неправильно, и все это непременно заметят. Она боялась, что откроет глаза, а все на нее таращатся или смеются над ней. Фэй отгоняла эту мысль, но чем дольше медитировала, тем сильнее беспокоилась, так что в конце концов начинала ерзать от волнения и страха.

Фэй открыла глаза, поняла, что ее тревоги смешны и нелепы, закрыла глаза и начала все заново.

Она поклялась себе, что на этот раз все сделает правильно. Она будет в моменте, не испытывая ни напряжения, ни сомнений. Сделает вид, будто она здесь одна.

Но она была не одна.

Слева, в пяти шагах от нее, выше на пару рядов, среди студентов, имен которых Фэй не знала, сидел Себастьян. Сегодня она увидела его в первый раз после ареста и все занятие кожей чувствовала, что он здесь. Ей не терпелось проверить, заметит ли он ее. И каждый раз, открывая глаза, смотрела на него. Похоже, он ее еще не увидел, а если и увидел, то не обратил внимания.

– Как расширить сознание? – спрашивал Гинзберг. – А вот как: доверять своим чувствам. Петть мантры, пока они не утратят смысл: тогда вы почувствуете, что скрывается за ними. Расширить сознание не значит,

что к нему нужно что-то добавить, как пристройку к дому. Эта пристройка уже есть и была всегда. Но вы впервые в нее попали.

Фэй представила, что было бы, очутись Гинзберг в гараже у кого-нибудь из ее дядек в Айове. С этой его дурацкой бородой и пацификом на шее. То-то была бы потеха.

Но все равно против воли верила ему. Его призывам к тишине и покою. “Ваши головы забиты не пойми чем, – вещал Гинзберг. – Там слишком шумно”. Фэй соглашалась: она действительно весь день переживала из-за каждой мелочи.

– Когда поете мантру, думайте только о мантре, сосредоточьтесь на дыхании. Живите в своем дыхании.

Фэй старалась изо всех сил, но ей все время что-то мешало сосредоточиться – то беспокойство, то неумное желание взглянуть на Себастьяна, посмотреть, что он делает, получается ли у него, поет ли он мантры, воспринимает ли он происходящее всерьез. Ее так и подмывало на него уставиться. Среди всех этих хиппарей с жесткими, как проволока, бородами, заплеванными усами, головными повязками в пятнах пота, драных джинсах и джинсовых куртках, темных очках, которые в аудитории смотрелись глупо, дурацких беретках, среди этих уродцев, вонявших поношенными вещами и куревом, Себастьян объективно был самым красивым. Мягкие, нарочито растрепанные волосы. Выбритые щеки. Щенячий шарм. Голова, по форме похожая на шляпку гриба. Когда Себастьян пытался сосредоточиться, он поджимал губы. Фэй подметила все это, закрыла глаза и снова постаралась успокоить ум.

– Вы слишком зациклены на себе, – говорил Гинзберг. – Когда человек ничем, кроме себя, не интересуется, он оказывается в ловушке, один на один со смертью. Больше у него ничего нет.

Гинзберг ударил в пальчиковые тарелочки, произнес “оммммм”, и студенты затаили “оммммм” – нестройно, фальшиво, кто во что горазд.

– Нет никакого “я”, – продолжал Гинзбург. – Есть лишь Вселенная и красота. Станьте красотой Вселенной, и ваши души наполнятся красотой. Она будет расти, прибывать, заполнит собою все, и когда вы умрете, станете ею.

Фэй представила (как им было сказано) ослепительно-белый, чистый свет абсолютной осознанности, покой и нирвану, в которой (как им было сказано) растворяются звуки и смыслы и наступает полное блаженство, как вдруг почувствовала, что рядом кто-то есть, совсем близко, кто-то вторгся в ее личное пространство и рассеял чары, вернул ее из нирваны в мир плоти и тревог. Фэй демонстративно вздохнула и пошевелилась, чтобы

стало ясно, что чужое присутствие ее раздражает и нарушает поток сознания. Попробовала все сначала: белый свет, мир, любовь, блаженство. Аудитория тянула “оммммм”. Фэй почувствовала, что незваный гость придвинулся еще ближе, ей даже показалось, что он где-то возле ее уха. Раздался шепот:

– Ну как, достигла совершенной красоты?

Это был Себастьян. Фэй опешила, и ей показалось, будто ее надули гелием.

Фэй сглотнула.

– А ты как думаешь? – ответила она.

Себастьян фыркнул, но тут же подавил смешок. Она его рассмешила.

– По-моему, да, – сказал он. – Совершенная красота. Ты ее достигла.

У Фэй загорелось лицо.

– А ты? – улыбнулась она.

– Меня нет, – ответил Себастьян. – Есть только Вселенная.

Он передразнивал Гинзберга. Фэй охватило облегчение. Да, подумала она, идиотизм полнейший.

Себастьян придвинулся ближе, поднес губы к ее уху. Она чувствовала его дыхание на щеке.

– Не забывай, ты совершенно спокойна и умиротворена, – прошептал он.

– Хорошо, – ответила она.

– Ничто не может нарушить твоего абсолютного спокойствия.

– Да, – согласилась она и почувствовала, как Себастьян легонько лижет кончик ее мочки. От неожиданности Фэй едва не взвизгнула прямо посреди медитации.

– Представьте себе мгновение абсолютной тишины и покоя, – сказал Гинзберг, и Фэй попыталась успокоиться, сосредоточиться на его голосе. – Например, луг где-нибудь в Катскильских горах, – продолжал он, – когда деревья оживают, точно на полотнах Ван Гога. Или когда слушаешь пластинку Вагнера, и музыка становится живой и сексуальной. Представьте себе этот момент.

Доводилось ли ей испытывать подобное? Прекрасные минуты соприкосновения с трансцендентным?

Да, подумала Фэй, доводилось. Именно это она чувствует сейчас. В это самое мгновение.

Она целиком в моменте.

По понедельникам Элис вечерами сидела у себя в комнате и читала. Девушки, которые почти всегда по вечерам толпились у нее, пели под магнитофон и курили траву из длинных, жутких на вид трубок, по понедельникам не показывались – наверное, приходили в себя. И вопреки тому, что Элис обычно говорила на публике – мол, домашние задания придумали, чтобы ограничивать нашу свободу, – по понедельникам она читала. Это был один из многих ее секретов: на самом деле она выполняла домашнюю работу, усердно училась, читала книги, когда оставалась одна, буквально глотала их. Причем не те, которые читают радикалы. А учебники. По бухгалтерскому учету, количественному анализу, статистике, управлению рисками. Даже музыка в такие вечера у нее звучала другая. Не визгливый фолк-рок, как в прочие дни недели. А легкая спокойная классика, фортепианные сонатины, сюиты для виолончели, мирные, убаюкивающие. В такие вечера Элис бывала совсем другой: часами просиживала на кровати с книгой, лишь переворачивая страницу раз в сорок пять секунд. В такие минуты она казалась безмятежной, и Браун любил ее такой; в темном гостиничном номере в двух километрах от общаги он наблюдал за Элис в мощный телескоп, который выдали ему в Красном отряде, слушал музыку и шелест страниц по радиации, настроенной на верхний диапазон частот жучка, который он несколько недель назад спрятал в комнате Элис на потолочной лампе вместо старого, стоявшего под кроватью, потому что слушать его было невозможно: звук был очень глухой и повторялся эхом.

В шпионаже Браун был новичок.

Он с час наблюдал, как Элис читает, когда в дверь громко постучали. Браун растерялся, потому что не понял, стучат ли в дверь его номера или в дверь комнаты Элис в общаге. Он замер. Прислушался. И с облегчением увидел, что Элис спрыгнула с кровати и пошла открывать дверь.

– О, привет, – проговорила она.

– Можно к тебе?

Новый голос. Женский. Женский голос.

– Конечно. Заходи, рада тебя видеть, – ответила Элис.

– Я получила твою записку, – сказала девушка, и Браун узнал ее: первокурсница из соседней комнаты, девушка в больших круглых очках, Фэй Андресен.

– Я хотела перед тобой извиниться, – пояснила Элис, – за то, как вела себя в “Доме свободы”.

– Да ладно, все в порядке.

– Нет. Я снова тебя обидела. Так нельзя. Это не по-товарищески. Зря я

на тебя набросилась. Прости, пожалуйста.

– Конечно.

Браун впервые слышал, чтобы Элис перед кем-то извинялась или в чем-то раскаивалась.

– Если хочешь переспать с Себастьяном, это твое личное дело, – добавила она.

– Я не говорила, что хочу с ним переспать, – возразила Фэй.

– Если ты хочешь, чтобы Себастьян тебя трахнул, это твое личное дело.

– Да ну при чем тут это.

– Если ты хочешь, чтобы Себастьян всадил тебе так, что в глазах потемнело...

– Хватит уже!

Девчонки рассмеялись. Браун пометил у себя в журнале: “Смеются”. Он сам не знал, нужно ли это, пригодится ли потом, когда он вернется к записям. В Красном отряде ему толком не объяснили, как вести наблюдение.

– Так что там с Себастьяном, – поинтересовалась Элис, – он уже к тебе подкатывал?

– В каком смысле “подкатывал”?

– Ну, приставал? Лез с нежностями?

Фэй с минуту смотрела на Элис и о чем-то думала.

– Так это твоих рук дело?

– То есть приставал?

– Ты ему что-то сказала? – допытывалась Фэй. – Что ты ему наплела?

– Я лишь проинформировала его о том, что ты им интересуешься.

– Боже мой!

– И о том, что он тебе очень нравится.

– О нет!

– Рассказала о том, что в глубине души ты питаешь к нему нежные чувства.

– Вот именно, в глубине души. И это никого не касается.

– Я решила ускорить процесс. Мне хотелось загладить вину. За то, что прочитала тебе мораль в “Доме свободы”. Теперь мы квиты. Не благодари.

– И в чем же мы квиты? Ты считаешь, что сделала мне одолжение?

Фэй мерила шагами комнату. Элис сидела по-турецки на кровати. Вся эта сцена явно ее веселила.

– Ты бы молча страдала и сохла по нему, – ответила Элис. – Разве не так? Ты бы никогда не осмелилась ему признаться.

– Откуда ты знаешь? И вовсе бы я не страдала.

– Значит, он все-таки к тебе приставал. И как же именно?

Фэй остановилась и посмотрела на Элис. Та прикусила щеку изнутри.

– Облизал мне ухо во время медитации.

– Сексуально.

Браун пометил в журнале: “Облизал ухо”.

– И позвал к себе, – добавила Фэй. – В четверг вечером.

– То есть накануне демонстрации.

– Да.

– Как романтично.

– Ну, в общем, да.

– Нет, ты не понимаешь. Это ж офигеть как романтично. Это же самый важный день в его жизни. Он пойдет на демонстрацию протеста, а это опасно, могут быть беспорядки. Его могут побить, ранить, а то и убить. Как знать? И он хочет провести последний свободный вечер с тобой.

– Именно так.

– Прямо как у Гюго.

Фэй уселась за стол Элис и уставилась в пол.

– У меня ведь дома парень есть. Генри. Хочет на мне жениться.

– Ясно. А ты хочешь за него замуж?

– Может быть. Не знаю.

– “Не знаю” обычно значит “нет”.

– Да я не то чтобы не знаю. Просто еще не решила.

– Тут же как: либо ты спишь и видишь, как бы выйти за него замуж, либо отказываешь ему. Все просто.

– Ничего не просто, – возразила Фэй. – Все очень сложно. Ты не понимаешь.

– Тогда объясни.

– Ну, в общем, как-то так. Представь, что тебя мучит жажда. Пить хочется смертельно. Ты не можешь думать ни о чем, кроме огромного стакана воды. Улавливаешь?

– Улавливаю.

– И вот ты представляешь себе этот стакан воды, живо так представляешь, но жажда от этого не проходит.

– Потому что воображаемой водой напиться нельзя.

– Вот именно. Ты оглядываешься и видишь мутную лужу в бензиновых разводах. Не стакан воды, конечно, но хоть какая-то жидкость. К тому же реальная, в отличие от стакана воды. И ты выбираешь эту мутную лужу в разводах, хотя не сказать, чтобы тебе именно этого хотелось. Вот примерно поэтому я с Генри.

- А Себастьян?
- Он как раз стакан воды.
- Надо написать об этом песню в стиле кантри.
- Поэтому я и боюсь все испортить. И еще я боюсь, что он захочет, как бы это сказать, – Фэй примолкла, подбирая слово, – узнать меня поближе.
- То есть трахнуть.
- Да.
- Ну и?
- Ну и я подумала...

Повисло тяжелое молчание. Фэй смотрела на руки, Элис на Фэй. Обе сидели на кровати, идеально вписываясь в видоискатель телескопа.

– Ты подумала, что я тебе что-нибудь посоветую, – закончила за нее Элис.

- Да.
 - Насчет секса.
 - Да.
 - А с чего ты взяла, что я в этом разбираюсь?
- Браун улыбнулся. До чего же ехидная эта хиппушка.
У Фэй вытянулось лицо.
- Я вовсе не это имела... – пробормотала она.
 - О господи, да расслабься ты.
 - Прости.
 - В этом-то все и дело. Вот тебе мой совет: расслабься.
 - Да я толком не умею расслабляться.
 - Расслабься и все. Дыши.
 - Думаешь, это так просто? Мне когда-то врачи показали, как нужно дышать, но если я сильно нервничаю, у меня ничего не получается.
 - Не дышишь, что ли?
 - Дышу, но неправильно.
 - А почему? Ты думаешь о чем-то таком, что не можешь расслабиться и нормально дышать?
 - Трудно объяснить.
 - А ты попробуй.
 - Ну ладно. В общем, когда я училась дышать правильно, мне все время было стыдно. Во-первых, за то, что приходится учиться дышать. Как будто я не способна выполнить простейшее действие. Даже это у меня не получается.
 - Понятно, – сказала Элис. – Продолжай.
 - А потом, когда уже дышала, как учили, все время волновалась,

правильно ли дышу, вдруг что-то делаю не так. Вдруг я как-то неидеально дышу. Несовершенно. Хотя я понятия не имела, что значит дышать идеально. Но наверняка этому можно научиться, и если я дышу как-то не так, значит, я все делаю неправильно. Причем не только дышу неправильно – вообще неправильно живу. Если я даже дышу неправильно, что же говорить о жизни в целом? И чем больше я думаю о том, как нужно дышать, тем труднее мне дышать, я начинаю задыхаться, теряю сознание, ну, в общем.

“Задыхается”, – пометил в журнале Браун.

– А потом я думаю: что если я потеряю сознание, а меня кто-нибудь увидит, поднимет шум, и мне придется объяснять, почему я вдруг отключилась на ровном месте, и я буду чувствовать себя полной идиоткой: люди-то думали, что сделали доброе дело, спасли меня от сердечного приступа, или от какой-нибудь серьезной травмы, или еще от чего, и когда узнают, что я упала в обморок, потому что разнервничалась из-за того, правильно ли дышу, очень разочаруются. “Только-то?” – будет написано у них на лицах. И я сразу начинаю переживать, что обманула их ожидания, потому что на самом деле я вовсе не больна и не получила травму, что мои ничтожные проблемы не стоили их беспокойства, и теперь они на меня сердятся. И даже если ничего такого не случится, я проигрываю это в голове и так волнуюсь из-за того, что это может произойти, что мне кажется, будто так все и было. Как будто я действительно все это пережила, понимаешь? Этого не было, а я чувствую себя так, словно было. Тебе, наверно, кажется, что это бред.

– Продолжай.

– И даже если я буду дышать правильно и сумею успокоиться и расслабиться, кайфовать от этого я буду секунд десять от силы, а потом начну переживать, надолго ли меня хватит, сколько я еще буду испытывать расслабление. Я стану беспокоиться, что не сумею испытывать это чувство достаточно долго.

– Достаточно долго для чего?

– Чтобы понять, что у меня все получилось. Удостовериться, что я все делаю правильно. И как бы я ни была счастлива, я понимаю, что секунда-другая – и все это кончится, я снова стану собой, у меня опять ничего не получится. Это все равно что идти по натянутому канату, у которого нет ни начала, ни конца. Чем дольше ты на нем балансируешь, тем больше прикладываешь усилий, чтобы не упасть. В конце концов тебя охватывает уныние, и ты понимаешь, что любой, даже самый лучший канатоходец обречен упасть. Рано или поздно. Но непременно. Поэтому вместо того,

чтобы кайфовать, что сейчас я расслаблена и счастлива, я с ужасом жду момента, когда все это пройдет. И от этого, разумеется, весь кайф тут же испаряется.

– Ни фиги себе.

– И я все время об этом думаю. Вот ты мне советуешь подышать. Но, по-моему, ты в это слово вкладываешь совсем не то, что я.

– Я знаю, что тебе нужно, – ответила Элис, перекадилась по кровати, открыла нижний ящик тумбочки, порылась среди коричневых бумажных пакетов, нашла подходящий и вытряхнула из него две красные таблеточки.

– Держи, – сказала Элис. – Это из моих личных запасов.

Браун хотел было записать ее слова, но потом передумал: он не вносил в журнал ничего, за что Элис можно было бы привлечь к ответственности.

– Аптечка Элис, – пояснила она.

– Что это?

– Поможет тебе расслабиться.

– Что-то я в этом сомневаюсь.

– Да не бойся, они не вредные. Всего лишь успокаивают, снимают напряжение.

– Мне это не надо.

– Надо. Ты окружила себя запретами, точно Великой китайской стеной.

– Нет уж, спасибо.

Интересно, что же это за таблетки, подумал Браун. Псилоцибин, мескалин, семена ипомеи? А может, метедрин, диметилтриптамин, СТП^[38], какой-нибудь барбитурат?

– Послушай, – сказала Элис, – разве ты не хочешь провести приятный вечер с Себастьяном?

– Да, но...

– Неужели ты думаешь, что в твоём теперешнем состоянии это возможно?

Фэй задумалась.

– Нет, ну я могу притвориться. Себастьян решит, что мне приятно.

– Ну а на самом-то деле что ты будешь чувствовать?

– Страх и тревогу, которые вот-вот прорвутся.

– Тогда тебе точно нужны эти таблетки. Если ты действительно хочешь, чтобы все было в кайф. Не только ему, но и тебе.

– И как я себя почувствую, когда их выпью?

– Как будто гуляешь в солнечный день, и все у тебя хорошо.

– Со мной такого никогда не бывало.

– У них есть побочка: вязкость во рту, странные сны, легкие глюки, но

это бывает редко. Принимать таблетки надо во время еды. Пойдем.

Элис взяла Фэй за руку, и они вышли из комнаты – вероятно, отправились в столовую, которая в этот час обычно пустовала. Из еды там в это время можно было найти только хлопья да остатки ужина в холодильнике. Мясную запеканку. Браун выбрал для расследования очень узкую сферу интересов, но уж в ней-то разобрался досконально. Режим дня общежития он выучил так же хорошо, как распорядок собственного дома, где часов через шесть проснется его жена и дочка примется ее целовать и нахваливать. Интересно, подумал Браун, получает ли жена удовольствие от комплиментов, которых добилась запугиванием и шантажом. Пожалуй, на девять десятых, решил он. То есть почти да. Но оставшуюся одну десятую наверняка грызет совесть.

Вот бы девчонки в столовой говорили обо мне, подумал он. Вот бы Элис призналась, что закрутила роман с копом, влюбилась в него и ничего не может с собой поделать. Больше всего во время таких вот ночных бдений его мучило то, что, когда они не вместе, Элис почти о нем не упоминает и, похоже, даже не думает. Точнее, она вообще никогда о нем не вспоминала. И не говорила. Никогда. Вернувшись после очередной их встречи в общагу, она принимала душ, и если ей случалось перемолвиться с кем-то словом, то о чем-то бытовом – учебе, протестах, всяких женских штучках. Последнее время Элис много говорила о пятничном женском шествии, организатором которого была: девушки планировали без разрешения властей пройти по Лейк-Шор-драйв, перекрыть движение и гулять в свое удовольствие. Эта тема не сходила у Элис с языка. О нем же она ни разу не упомянула. Как будто, если его не было рядом, он для нее и вовсе не существовал, и его это ранило, потому что он-то думал о ней почти каждую минуту. Выбирал одежду в магазине, чтобы понравиться Элис. Сидя на ежедневных совещаниях Красного отряда, надеялся услышать что-то связанное с ней. Когда дома смотрел новости по телевизору, представлял, что рядом с ним сидит не жена, а Элис. Он все время мыслями устремлялся к ней, как стрелка компаса указывает на север.

Он перевел взгляд с общежития на берег в огнях, на серый простор озера Мичиган, на мерцающую горячую пустоту. Небо пестрело точками самолетов, направлявшихся в аэропорт Мидуэй с политтехнологами и пиарщиками для выборов сенаторов и послов, всевозможными председателями правлений, промышленными лоббистами, теми, кто имеет доступ к конфиденциальной информации Демократической партии, специалистами по опросам общественного мнения, судьями, – а в одном, возможно, летел сам вице-президент, чей маршрут Белый дом держал

втайне даже от полиции.

Браун сидел на кровати и ждал. Осмелился включить свет, чтобы почитать газету, первая полоса которой целиком посвящалась съезду Демократической партии и протестам против съезда. Плеснул себе виски из мини-бара – Браун знал, что гостиница не потребует с него денег, точно так же, как во всех городских кафе полицейским наливали кофе бесплатно. Были у его службы свои привилегии.

Должно быть, он заснул, потому что разбудил его смех. Девушки смеялись. Он лежал лицом на помятой газете, во рту слиплось. Браун включил ночник и проковылял к телескопу, прихрамывая, размахивая руками и шаркая по ковру. Уселся, потряс головой, стараясь отогнать сон, с силой потер глаза, чтобы хоть что-то разглядеть в видоискателе. В животе было пусто, во рту горчило. Ночные смены давались Брауну с трудом.

Девушки вернулись. Сидели на кровати лицом друг к другу и над чем-то смеялись. Браун вытер корочки в уголках глаз. Изображение в телескопе странно расплывалось, как будто, пока он спал, два их дома медленно расползлись в разные стороны. Он нажал на кнопки. Картинка в видоискателе прыгала, дергалась вверх-вниз, и у Брауна закружилась голова, как бывает, когда едешь в машине на заднем сиденье и пытаешься читать газету.

– В тебе целый мир, – отсмеявшись, проговорила Элис и нежно погладила Фэй по голове. – Столько счастья.

Фэй тихонько хихикала.

– Неправда, – она шлепнула Элис по руке. – Ничего подобного.

– Ошибаешься. Это правда. Помни об этом. Ты такая и есть.

– Как-то не верится, что я такая и есть.

– Просто ты впервые увидела, какая ты на самом деле. Конечно, тебе пока что это непривычно.

– Я устала, – ответила Фэй.

– Запомни это чувство, чтобы потом испытать его снова, на трезвую голову. Как будто это твоя карта. Сейчас ты счастлива. Почему бы тебе все время не быть счастливой?

Фэй уставилась в потолок.

– Потому что за мной охотится призрак, – призналась она.

Элис рассмеялась.

– Я не шучу, – добавила Фэй, подняла ноги на кровать и обняла колени. – У нас в подвале жил призрак. Домовой. Я его обидела. И теперь он за мной охотится.

Она посмотрела на Элис: верит ли?

– Я никому об этом не рассказывала, – проговорила Фэй. – Ты мне, наверно, не веришь.

– Я слушаю.

– Домовой приехал вместе с моим отцом из Норвегии. Раньше этот призрак преследовал его, теперь вот меня.

– Так верни его.

– Куда?

– Туда, откуда он взялся. Чтобы избавиться от призрака, его нужно вернуть домой.

– Я правда очень устала, – ответила Фэй.

– Ложись, я тебя укрою.

Фэй пьяно растянулась на кровати. Элис взяла ее очки и положила на тумбочку. Подошла к изножью кровати, развязала на Фэй кроссовки и аккуратно сняла. Потом стянула с нее носки, свернула, сунула в кроссовки, а кроссовки поставила носками врозь у двери. Достала из-под кровати легкое одеяло, укрыла им Фэй и подоткнула края. Разулась, сняла носки и штаны, легла Фэй под бок и погладила ее по волосам. Браун никогда не видел, чтобы Элис была такой нежной. Его она никогда так не ласкала. Он и подумать не мог, что она на это способна.

– А у тебя есть парень? – спросила Фэй.

Язык у нее заплетался – то ли оттого, что она была под кайфом, то ли оттого, что ей очень хотелось спать, то ли от того и другого сразу.

– Да ну их на фиг, этих парней, даже говорить о них не хочу, – ответила Элис. – Давай лучше о тебе.

– Ну конечно, зачем тебе парень. Это старомодно, а ты такая клевая.

Элис рассмеялась.

– Есть, – призналась она, и сидевший в двух километрах от нее Браун вскрикнул от радости. – Ну то есть как. Он мне не то что бы парень, скорее друг, с которым мы бываем близки.

– Ну так это и называется “парень”.

– Не люблю ярлыки, – пояснила Элис. – Стоит назвать, объяснить, осмыслить желание, как оно пропадает. Как только ты пытаешься его определить, оно тут же тебя ограничивает. Мне больше нравится свобода, открытость. Когда следуешь своим желаниям, не думая и не осуждая.

– Клево. Но, может, мне так кажется из-за таблеток.

– Если хочется, надо делать, – сказала Элис. – Я так обычно и поступаю. Вот как с этим чуваком. Ну, с моим другом. У меня к нему нет вообще никаких чувств. Меня с ним ничего не связывает. Я его использую,

пока не надоест. Вот и все.

У Брауна упало сердце.

– Я постоянно ищу кого-то поинтереснее, – продолжала Элис. – Может, это ты?

– Угу, – сонно пробормотала Фэй.

Элис протянула над Фэй руку и выключила свет.

– Эти твои тайны и тревоги, – проговорила она. – Хочешь, я тебе кое-что покажу? Тебе понравится.

Кровать скрипнула: кто-то из девушек, а может, обе, вытянулись на ней во весь рост.

– Ты очень красивая, знаешь? – спросила в темноте Элис. – Ты такая красивая и сама этого не знаешь.

Браун прибавил громкость в динамиках. Лег в кровать, обхватил руками подушку. Сосредоточился на ее голосе. Последнее время его обуревали пугающие мысли: он представлял, как бросит жену и дочь и уговорит Элис бежать с ним. Они начнут жизнь заново где-нибудь в Милуоки, или, например, в Кливленде, или в Тусоне – где она захочет. Сумасшедшие новые мечты, из-за которых его одновременно и охватывала радость, и мучила совесть. Дома жена и дочь спали в одной постели. Они так будут спать еще много лет.

– Остайся со мной, пожалуйста, – попросила Элис. – Все будет хорошо.

До встречи с Элис он и не подозревал, что ему не хватает чего-то очень важного, и понял лишь теперь, когда у него это появилось. Но уж теперь-то он это не отдаст ни за что на свете.

– Оставайся, пока не надоест, – слышался голос Элис, и Браун представил, что она обращается не к Фэй. – Я никуда не уйду. Буду рядом с тобой.

Он представил, что Элис говорит это ему.

8

Накануне волнений погода переменилась.

Душившая Чикаго жара отступила, воздух стал по-весеннему свежим. Горожане впервые за несколько недель спали хорошо. На рассвете выпала роса. Мир ожил и словно опьянел. Все преисполнилось радостных надежд, и оттого не верилось, что город готовится к битве, что в него на зеленых грузовиках-платформах прибывают тысячи солдат Национальной гвардии, что полицейские чистят оружие и противогазы, что демонстранты тренируются убегать и защищаться и запасаются предметами, которые

можно швырять в копов. Всем казалось, что такой масштабный конфликт в пекло смотрелся бы куда естественнее. Чтобы воздух раскалялся от гнева. Какие могут быть революционные настроения, когда солнышко нежит лицо? Город томился страстью. Накануне самого зрелищного, самого масштабного и кровавого протеста 1968 года город переполняло желание.

Делегаты от партии демократов уже приехали. В сопровождении полиции прибыли в гостиницу “Конрад Хилтон” и нервно толклись в баре “Хеймаркет” на нижнем этаже, перепили и принялись вытворять такое, чего в обычных обстоятельствах никогда бы не сделали. Раскаяние, поняли делегаты, понятие гибкое и относительное. И те, кто ни за что на свете не стал бы напиваться в стельку в общественном месте и прыгать в койку с первой встречной, обнаружили, что обстановка весьма располагает и к тому, и к другому. Чикаго готов был взорваться. На кону стояла должность президента. Прекрасная Америка, в которую верили демократы, разваливалась на части. И перед лицом этой катастрофы внебрачные интрижки казались не стоящей внимания чепухой. Бармены не закрывали заведения даже после окончания работы. В барах толпились посетители и платили щедрые чаевые.

Конная полиция патрулировала парк на другой стороне Мичиган-авеню. Предполагалось, что они ищут диверсантов и возмутителей общественного спокойствия. Но обнаруживали только парочки – в кустах, под деревьями, на пляже, полуодетых и вовсе раздетых юношей и девушек, настолько увлеченных друг другом, что не слышали стука копыт. Они обнимались (и не только) и вытворяли черт знает что прямо посреди Грант-парка, на песчаном берегу озера Мичиган. Копы шугали парочки, и те неохотно уходили прочь, причем парни ковыляли вперевалку. В другое время полицейские посмеялись бы над ними, но сейчас они думали о том, что эти же самые юнцы завтра вернуться и будут кричать, драться, швыряться чем ни попадя и попадут под дубинки копов. Сегодня любовь, завтра кровь.

Даже Аллен Гинзберг ненадолго приободрился. Он сидел голышом на постели тощего греческого парнишки лет двадцати, уборщика посуды, с которым познакомился днем в ресторане, где встречался с вожакими молодежи и планировал завтрашние действия. Интересно, сколько человек явится, думали они. Пять тысяч? Десять? Пятьдесят? Гинзберг рассказал молодежи историю.

– В сад пришли двое, – говорил он. – Первый принялся пересчитывать манговые деревья, сколько манго на каждом из них и сколько примерно может стоить весь этот сад. Второй же сорвал манго и съел. Как вы

думаете, кто из них мудрее?

Юнцы тупо тарашились на него, точно бараны.

– Ешьте манго! – крикнул Гинзберг.

Они не поняли. Разговор перешел на главную проблему дня: власти все-таки запретили проводить демонстрацию в центре города, шагать по улицам, спать в парке. Завтра в город стекутся толпы народу, а спать им негде, кроме как в парке. Разумеется, они будут спать в парке, разумеется, пойдут на демонстрацию, так что теперь вожаки молодежи обсуждали вероятность полицейского вмешательства, учитывая, что ни разрешения, ни документов у них нет. Все дружно сошлись на том, что вероятность составляет сто процентов. Гинзберг старался не отвлекаться, но не мог отвести глаз от уборщика: тот напомнил ему матроса, которого он как-то встретил в Афинах, гуляя вечером по старым улочкам под белым, как скелет, Акрополем; этот самый матрос нежно и страстно целовал в губы какого-то юного проститута, при всех, в открытую, на родине Сократа и Геракла, где повсюду стояли статуи, гладкие, мускулистые, цвета жирных сливок, отполированные до блеска. Уборщик посуды как две капли воды походил на того матроса: такое же порочное лицо. Гинзберг добился внимания юноши, узнал, как того зовут, поднялся к нему в номер, раздел его: худощавый парнишка с огромным членом. Впрочем, так всегда и бывает. Теперь же, после всего, он свернулся калачиком под одеялом и читал мальчишке Китса. Завтра война, а сегодня Китс, легкий ветерок в открытое окно, парнишка, который так стискивал его руку, точно пробовал, спелый ли плод. Все это было невыразимо прекрасно.

Фэй же тем временем усердно мылась. Она купила несколько женских журналов, и все они дружно советовали невестам перед тем, *как пойти до конца*, тщательно, немилосердно и глубоко очистить тело всевозможными средствами: мягкой тряпочкой, пористой губкой, пилочкой для ногтей, грубой пемзой. Фэй потратила почти все деньги, на которые нужно было питаться неделю, на штуки, которые сделают ее кожу гладкой и соблазнительно-ароматной. Впервые за несколько месяцев она вспомнила плакаты из школьного кабинета домоводства. Они пугали ее даже сейчас, когда она так далеко и намерена *пойти до конца*. Вот-вот придет Себастьян, а она все еще трет кожу, к тому же надо нанести кое-какую сильнодействующую мазь (Фэй боялась, что будет жечь), а потом желеобразную массу, которая так благоухала розами и сиренью, что напомнила Фэй о похоронном бюро: там повсюду стояли букеты, чтобы заглушить неистребимый трупный запах. Фэй накупила дезодорантов, духов, спринцовок, солей для ванны, мыла, чтобы очищать кожу,

бальзамов обжигающих и мятных, чтобы полоскать рот. Она уже догадывалась, что неправильно оценила, сколько времени ей потребуется на то, чтобы потереть кожу пемзой, потом очистить, сполоснуть, вымыть голову шампунем, не говоря уже о том, чтобы спринцеваться и намазаться всеми этими кремами и растворами. На полу валялись изящные розовые коробочки. Нет, до прихода Себастьяна она явно не успеет закончить. Ведь еще нужно покрасить ногти, сбрызнуть волосы лаком, выбрать лифчик в тон свитеру. Без этого никак: все это обязательные пункты, ни один пропустить нельзя. Фэй наконец-то удалила мозоли на левой ноге. Правую ступню решила не тереть. Даже если Себастьян заметит, что на одной ноге у нее мозоли, а на другой их нет, быть может, ничего и не скажет. Она решила, что разуется только в самый последний момент. Фэй надеялась, что до той поры он не обратит внимания на ее пятки. При мысли об этом у нее екнуло сердце: неужели правда все будет? Фэй переключила внимание на новенькую косметику: с ней секс казался смутным, отвлеченным и оттого совершенно нестрашным, чем-то вроде рекламы, а вовсе не тем, чем она собиралась заняться. На свидании. Сегодня вечером.

Лак у нее был фиолетовый, трех оттенков: сливового, баклажанового и более абстрактного, “космического”, – его-то Фэй и выбрала. Накрасила ногти на ногах и засунула между пальцев ватные шарики, так что передвигаться по комнате приходилось на пятках. Щипцы для завивки нагревались. Спонжем нанесла на лицо кремовую пудру из стеклянных баночек. Почистила уши ватной палочкой. Выдернула несколько волосков из бровей. Сменила белое белье на черное. Потом черное на белое и снова на черное. Открыла окна, вдохнула прохладный воздух и, как и всех остальных, ее охватила истома и надежда на лучшее.

Все горожане чувствовали себя именно так. И в эту минуту, казалось, еще было возможно избежать того, что случилось потом. Если бы все глубоко вдохнули воздух, напоенный весенней страстью, и поняли, что это знак. Тогда, быть может, мэрия выдала бы разрешение на демонстрацию, которого протестующие добивались несколько месяцев, и они собрались бы мирно, ни в кого бы ничем не бросали, никого не задевали, а полиция ошеломленно наблюдала бы за ними издалека, все высказали бы, что хотели, и разошлись по домам без синяков, сотрясений мозга, шрамов, царапин и ночных кошмаров.

Тогда это было еще возможно, но потом случилось вот что.

Он только что прибыл в Чикаго на автобусе из Су-Фоллса: двадцать один год, бродяга, вероятно, приехал на демонстрацию, но мы уже этого никогда не узнаем. Выглядел он сущим оборванцем: старая кожаная куртка

с потрескавшимся воротником, драный вещевой мешок, заклеенный скотчем, сбитые коричневые башмаки, в которых он прошагал не один километр, грязные темно-синие джинсы, внизу на штанинах с внешней стороны расшитые цветами по последней молодежной моде. Но полиция опознала в нем врага именно по волосам. Длинные, спутанные, они падали на воротник куртки. Парень откидывал волосы с глаз жестом, который казался наиболее воинственно настроенным консерваторам откровенно девчачьим, женственным, – в общем, пидорским. Отчего-то именно этот жест вызывал у них дикую ярость. Парень убрал со лба волосы, цеплявшиеся к усам и жесткой бороде, точно липучки. Копы решили, что это очередной местный хиппи. Волосатик – значит, все, разговор окончен.

Но парень оказался неместный. А оттого нельзя было и предположить, что он выкинет. Чикагские левые, как их ни ругай, покорно давали себя арестовать. Ну, конечно, обзывались по-всякому, но в целом, когда на них надевали наручники, не сопротивлялись, – правда, в машину шли нога за ногу, а то и вовсе ложились на землю.

Этот же юнец из Су-Фоллса был явно слеплен из другого теста. Видимо, навидался страхов, натерпелся всякого за время скитаний. Никто не знал, зачем он приехал в Чикаго. Он был один. Может, услышал о протесте и решил стать частью движения, которое из Су-Фоллса казалось таким далеким и чужим. Легко представить, как одиноко было парнишке с таким вот внешним видом в краях вроде Южной Дакоты. Наверняка его донимали, дразнили, угрожали ему, а то и поколачивали. А может, ему слишком часто приходилось отбиваться от полицейских или “Ангелов ада”, этих самозванных защитников родной культуры: мол, не нравится Америка, так и вали отсюда. Может, парнишка просто устал от всего этого.

В общем, на самом деле никто не знал, что с ним приключилось такого, отчего он таскал в кармане поношенной кожаной куртки шестизарядный револьвер. Никто не знал, почему, когда его остановила полиция, он выхватил его из кармана и выстрелил.

Скорее всего, он даже не догадывался о том, что тогда творилось в Чикаго. Что полиция воспринимала всерьез любую пустячную угрозу, что все копы были на нервах, поскольку дежурили в две, а то и в три смены. Что хиппи угрожали устроить всему Чикаго приход, бросив ЛСД в городские водозаборники, и хотя наркотиков для этого потребовалось бы пять тонн, все равно копы выставили охрану на всех городских насосных станциях. Что полиция уже всю патрулировала “Конрад Хилтон” с собаками, искала взрывчатку, поскольку хиппи угрожали взорвать гостиницу, в которой разместились все делегаты съезда и вице-президент.

Ходили слухи, что хиппи планировали под видом частных водителей встречать в аэропорту делегатских жен, похищать их и накачивать наркотиками, после чего творить с ними всякие непотребства, поэтому полиция сопровождала жен делегатов от самой взлетно-посадочной полосы. Угрозы так и сыпались, отреагировать на все было невозможно: слишком много оказывалось сценариев развития событий, слишком много вариантов. К примеру, как помешать хиппи сбрить бороды, постричься, переодеться в цивильное, подделать документы, проникнуть на стадион, где будет проходить съезд, и взорвать там бомбу? Разве им помешаешь собираться толпой на улице и переворачивать машины, как в Окленде? Разве им помешаешь строить баррикады и захватывать целые городские кварталы, как в Париже? Разве помешаешь им оккупировать здание, как в Нью-Йорке, разве выкинешь их оттуда на глазах у журналистов, которые отлично понимают, что газеты с удовольствием опубликуют жалобы на якобы жестокость полицейских? Печальные законы борьбы с терроризмом действовали на нервы полицейским: они должны быть готовы ко всему, в то время как хиппи достаточно привести в исполнение один-единственный план.

Потому-то полицейские и обнесли спортивный стадион колючей проволокой, потому-то внутри и шныряли копы в штатском, выискивая смутьянов и требуя документы у всякого, кто, на их взгляд, не поддерживал нынешнее правительство. Были опломбированы все канализационные люки. Подняты в небо вертолеты. Рассажены снайперы на крышах высотных зданий. Приготовлен слезоточивый газ. Вызвана тяжелая техника. Копы слышали, как советские танки на той же неделе шли по улицам Праги, и в глубине души завидовали русским и восхищались ими. “Так и надо, черт подери”, – думали полицейские. Давить силой.

Но наш парнишка из Су-Фоллса ничего этого не знал.

Иначе подумал бы дважды, прежде чем вытащить из кармана пистолет. Если бы в ту минуту, когда он шагал по Мичиган-авеню и любовался звездами в ясном чистом небе, а проезжавшая мимо патрульная машина остановилась и из нее вылезли двое копов в светло-голубых рубашках, подошли к нему, обвешанные оружием, что-то такое сказали про нарушение режима и велели предъявить документы, – так вот, если бы он знал тогда, что творится сейчас в Чикаго, может, предпочел бы провести несколько ночей в каталажке за незаконное ношение оружия. Но он трясся тридцать часов в автобусе до Чикаго и, может, ждал этого протеста всю жизнь, может, для него настал своего рода решающий момент, может, ему

отчаянно не хотелось пропустить демонстрацию, может, он люто ненавидел войну или ему жаль было расставаться с револьвером, единственной своей защитой в дни трудной юности в этой самой Дакоте, где он был одинок и никем не понят. Наверно, ему представлялось, что будет так: он выхватит пистолет, выстрелит в воздух, копы прыснут в укрытие, а он нырнет в ближайший темный переулок и убежит. Вот так просто. Может, ему уже доводилось так спасаться от полиции. Молодой, проворный, он всю жизнь от кого-то убегал.

Но копы не прыснули в укрытие. Не дали ему убежать. Увидев пистолет, они тут же вытащили револьверы и застрелили парнишку. Всадили ему в грудь четыре пули.

Слух разлетелся мгновенно, и вскоре о случившемся знала не только полиция, но и разведка, Национальная гвардия и ФБР: хиппи вооружены. Они стреляют в полицейских. Это в корне изменило дело. Все понимали, что такое происшествие за день до протеста – очень дурной знак.

Студенты опрашивали своих, не ждут ли они кого из Су-Фоллса. Кто этот парень? Что он тут делал? Тут же организовали стихийный митинг со свечами в память о погибшем собрате. Студенты пели “Мы победим” и думали, сумеют ли, если понадобится, умереть за общее дело. Им казалось, что его протест куда мощнее всех демонстраций того года: на то, чтобы в одиночку противостоять копам, требовались недюжинная воля и храбрость, и слишком многое стояло на кону. Сердце щемило от жалости к этому безымянному борцу, сложившему голову в Чикаго.

Себастьян узнал о случившемся, когда давал интервью CBS в редакции “Свободного голоса Чикаго”: ему позвонили и рассказали, что кого-то пристрелили, какого-то бродягу из Южной Дакоты. Первое, что невольно пронеслось в голове у Себастьяна: как же вовремя. Вот и репортеры с CBS здесь. То, что нужно. Себастьян притворился возмущенным и объявил журналистам, что “эти полицейские свиньи хладнокровно убили одного из протестующих”.

Журналисты аж подскочили от любопытства – им не терпелось узнать подробности.

С каждым новым рассказом Себастьян все сильнее сгущал краски. “Одного из наших братьев застрелили, хотя все его преступление заключалось в том, что он не согласен с президентом”, – сообщил он “Трибьюн”. “Полицейские убивают всех без разбора, как бомбы во Вьетнаме”, – сказал он “Вашингтон пост”. “Чикаго превратился в западный Сталинград”, – сетовал он “Нью-Йорк таймс”. Себастьян организовал еще несколько траурных митингов со свечами, объяснил фотоаппаратам и

съемочным группам телевизионных новостей, где состоятся эти митинги, причем всех отправил в разные места, чтобы у каждой команды журналистов был эксклюзив. Он знал, что им куда важнее первыми сообщить о событии, нежели рассказать о нем, ничего не напутав.

Работа у него была такая: подливать масла в огонь.

За несколько месяцев до демонстрации протеста именно Себастьян пустил дикие слухи о том, что хиппи планируют бросить ЛСД в городские водозаборники, похитить и изнасиловать жен делегатов и взорвать бомбу на стадионе, – обо всем этом он писал в “Свободном голосе Чикаго”. И плевать, что никто и не думал ни о чем таком. Он понимал главное: что в газетах напишут – то и правда. Он в разы завысил количество потенциальных участников демонстрации в Чикаго и очень гордился собой, когда мэр мобилизовал Национальную гвардию. Земля слухом полнилась. Собственно, Себастьяна занимала именно идея, концепция. Он представлял себе ее в виде яйца, которое должен хранить, согревать, оберегать, питать, растить, и если он все сделает правильно, яйцо это вырастет, как в сказке, вознесется над толпой и воссияет, точно маяк.

И лишь сейчас, вечером накануне протеста, он осознал, что из этого всего может выйти. В Чикаго съезжались молодые люди. Полиция будет их разгонять и избивать. И убивать. Наверняка так и будет: тут уж ничего не поделаешь. Все, что до сих пор казалось ему иллюзией, фантазией, шумихой, упражнением по управлению общественным мнением, завтра обретет плоть и кровь. Себастьян волновался, как перед родами. Кто бы мог подумать, что самоуверенный, бесстрашный, дерзкий Себастьян сидит в одиночестве на кровати и плачет. Потому что догадывался, что будет завтра, прекрасно знал, что это его рук дело, и понимал, что ничего уже не изменить и что причины коренятся в прошлом, которое вызывало у него ярость.

Сегодня он был воплощением скорби. Оттого и заливался слезами. Надо выкинуть эти мысли из головы. Ему смутно припоминалось, что вроде бы у него сегодня вечером назначено свидание. Он умылся. Накинул пиджак. Посмотрел на себя в зеркало и сказал: “Соберись”.

То же самое повторял себе полицейский, который сидел рядом с Элис на заднем бампере патрульной машины, припаркованной в темном переулке. Элис говорила, что между ними все кончено. “Соберись”, – думал он.

Как и все горожане, Браун сегодня вечером рассчитывал потрахаться. Но, когда они встретились с Элис, она не села в машину, не попросила его о всяких извращениях, а тяжело опустилась на багажник и проговорила:

– Мне кажется, нам нужно отдохнуть.

– От чего? – не понял Браун.

– От всего. Вот этого вот. От нас с тобой. От нашего романа.

– Могу я узнать почему?

– Я хочу попробовать что-то новое, – пояснила Элис.

Браун подумал и уточнил:

– То есть не что-то, а кого-то.

– Ну да, – призналась Элис. – Я тут кое с кем познакомилась. Кое с кем интересным.

– И ты бросаешь меня из-за него.

– Если уж на то пошло, то не бросаю, потому что у нас с тобой и не было ничего серьезного.

– Неправда.

– Правда.

Браун кивнул. Уставился на собаку, которая рылась в мусорном баке кафешки на другой стороне переулка. Одна из множества городских бродячих собак, явно с примесью немецкой овчарки, но слишком уж

мелкая, так что и без других пород тут не обошлось. Собака вытащила из перевернутого бака черный мусорный пакет и рвала его зубами.

– То есть если бы не этот твой новый знакомый, ты бы меня не бросила? – спросил Браун.

– Какая разница. Он же есть.

– Ну и что. Сама посуди: если бы не он, у тебя не было бы повода рвать со мной.

– Что правда, то правда.

– Я лишь хочу, чтобы ты знала: по-моему, ты совершаешь ошибку, – сказал он.

Элис смерила Брауна снисходительным взглядом, который его взбесил: в ее глазах читалось, кто тут интересная продвинутая личность, а кто обыватель и другим никогда не станет.

– Что же этот твой новый любовник может тебе такое дать, чего не могу я? – поинтересовался Браун.

– Ты не поймешь.

– Я изменюсь. Хочешь, попробуем что-нибудь новенькое? Я готов. Мы можем встречаться реже. Раз в две недели. Или раз в месяц. А хочешь, я буду поглубже? Я согласен.

– Я больше этого не хочу.

– Ну хочешь, у нас будут свободные отношения. Легкие. Ты можешь встречаться с этим своим новым и со мной.

– Так не пойдет.

– Почему? Ты мне так толком и не объяснила.

– Я больше не хочу с тобой встречаться. Так понятно?

– Нет. Ни капельки не понятно. Это не объяснение. Почему ты больше не хочешь со мной встречаться? Я тебя чем-то обидел?

– Нет. Ты меня ничем не обидел.

– А раз так, за что же ты тогда меня наказываешь?

– Ни за что. Я лишь пытаюсь быть с тобой откровенной.

– А мне вот кажется, будто ты мне за что-то мстишь. Так нечестно. Я выполнял все твои капризы. Вытворял бог знает что. Я делал все, о чем ты меня просила, и ты не можешь вот так вот взять и уйти, ничего мне не объяснив.

– Может, хватит ныть? – окрысилась Элис, соскочила с багажника и отошла на несколько шагов.

Собака заметила ее и напряглась, охраняя обедки. Кто знает, что у этой девицы на уме?

– Будь мужчиной. Мы расстаемся.

– Вспомни, что мы вытворяли. Что только не пробовали. Это дало мне повод надеяться. Да, ты ничего мне не обещала. Но теперь ты отбираешь у меня надежду.

– Иди домой к жене.

– Я тебя люблю.

– Блин.

– Я люблю тебя. Правда. Я тебе клянусь, я тебя люблю.

– Ты меня не любишь. Ты просто боишься, что останешься один и тебе будет скучно.

– Я никогда не встречал никого похожего на тебя. Пожалуйста, не уходи. Я не знаю, что я сделаю. Я же тебе сказал, я тебя люблю. Разве для тебя это ничего не значит?

– Хватит уже!

Элис чувствовала, что он вот-вот сорвется: может, расплчется, может, набросится на нее с кулаками. С мужчинами никогда не знаешь. Собака на той стороне переулка поняла, что Элис не претендует на ее добычу, успокоилась и снова принялась за выброшенные бургеры, размякшую холодную картошку фри, капустный салат, сэндвичи с тунцом и расплавленным сыром. Она так стремительно и жадно их пожирала, что казалось, еще немного – и собаку стошнит.

– Ну хорошо, – наконец сказала Элис. – Ты хочешь, чтобы я тебе все объяснила? Тогда слушай. Я хочу попробовать кое-что новое. Я и с тобой связалась только поэтому. А сейчас я хочу попробовать то, чего никогда не пробовала.

– Что именно?

– Секс с девушками.

– Не смей меня.

– Я хочу попробовать с девушками. Очень хочу.

– Не морочь мне голову, – ответил Браун. – Скажи еще, что ты лесбиянка. Неужели все это время я трахал лесбиянку?

– Спасибо тебе, все было замечательно. И всего тебе самого лучшего.

– Это же твоя соседка, да? Как ее бишь. Фэй, верно?

Элис ошарашенно уставилась на Брауна, а он расхохотался.

– Не может быть, – проговорил он. – Неужели правда она?

– Откуда ты знаешь про Фэй?

– Вы с ней вместе ночевали. Кажется, в понедельник. Только не говори, что ты в нее втюрилась.

Элис словно окаменела. Если она когда и испытывала к нему нежность, хотела быть с ним открытой, искренней, то теперь от этого не осталось и

следа. Она стиснула зубы и сжала кулаки.

– Откуда ты об этом узнал, мать твою? – спросила она.

– Ой, только не говори, что ты бросаешь меня из-за Фэй Андресен, – ответил Браун. – Вот умора.

– Значит, ты следил за мной? Психопат чертов.

– Никакая ты не лесбиянка. Я это точно знаю. Я бы догадался.

– Между нами все кончено. Я с тобой больше не разговариваю.

– Ну-ну, – усмехнулся Браун.

– Увидишь.

– Только попробуй уйти – и я тебя арестую. И Фэй твою тоже арестую. Вы у меня обе попляшете. Обе. Так и знай. Никуда ты от меня не денешься. Я сам решу, когда тебя бросить.

– А я расскажу всем твоим дружкам из полиции, как ты меня трахал. И жене твоей все расскажу.

– Да стоит мне захотеть, и тебя тут же убьют. Как не фиг делать, – он щелкнул пальцами. – Вот так-то.

– Прощай.

Она пошла прочь от патрульной машины, спиной чувствуя свою незащищенность. Элис ждала чего угодно: что он погонится за ней, ударит дубинкой, а то и вовсе всадит в нее пулю. Она старалась не обращать внимания на мучившую ее тревогу, не обернулась посмотреть, что делает Браун. Она слышала, как колотится сердце. Кулаки свела судорога, и она не сумела бы разжать пальцы, даже если бы захотела. До улицы оставалось шагов двадцать, как вдруг за ее спиной раздался хлопок.

Браун выстрелил. Из пистолета. Он кого-то подстрелил.

Элис обернулась, ожидая увидеть его труп на земле, а мозги на стенке. Но Браун стоял, как ни в чем не бывало, и глядел на мусорный бак у кафешки.

Элис догадалась, что произошло. Он не застрелился. Он застрелил собаку.

Элис бросилась прочь. Со всех ног. В двух кварталах от переуллка мимо нее с ревом пронеслась патрульная машина. Браун направлялся на запад, к университету, к общагам, где Фэй, чистая, пахнувшая цветами, накрашенная, нарядная, ждала прихода Себастьяна. Элис дала ей еще две красные таблетки, и Фэй приняла их, прежде чем начала прихорашиваться. Сейчас ей было тепло и легко. Она предвкушала свидание. Всю жизнь Фэй была одна, собиралась выйти за нелюбимого и теперь вот ждала мужчину, который представлялся ей сказочным принцем. Себастьян казался ей ответом на все вопросы. Волнение оставило ее, и она не помнила себя от

счастья. Может, дело в таблетках, но какая разница? Она представила себе жизнь с Себастьяном, жизнь, полную искусства и поэзии: они будут обсуждать достоинства общественных движений и писателей – разумеется, Фэй выступит в защиту ранних произведений Гинзберга, Себастьян же скажет, что предпочитает его поздние стихи, – а еще они будут слушать музыку, путешествовать, читать в постели и делать все то, о чем девушки из рабочих семей Айовы не могли и мечтать. Фэй представляла, как они с Себастьяном сперва переедут в Париж, а потом вернуться в Америку, и тогда она покажет миссис Швингл, кто тут самая умная, докажет отцу, что она и правда лучше всех.

Ей казалось, что для нее вот-вот должна была начаться новая жизнь, о которой она мечтала.

Она очень обрадовалась, когда позвонил дежурный и сказал, что к ней пришли. Фэй выбежала из комнаты, вихрем слетела по лестнице на первый этаж, но в вестибюле общежития ее ждал вовсе не Себастьян. А полицейский.

Представляете, какое у нее в тот момент было лицо?

И этот огромный, стриженный ежиком коп надел на нее наручники. Вывел ее из общаги. Все молча провожали ее взглядами.

– Что я такого сделала? – воскликнула Фэй.

Как он посмел разбить ей сердце? Как посмел запихнуть ее на заднее сиденье патрульной машины? Как посмел всю дорогу до участка называть ее шлюхой?

– Кто вы такой? – допытывалась Фэй. Он снял именной и нагрудный жетоны. – Это какая-то ошибка. Я ничего не сделала.

– Ты шлюха, – повторял он. – Шлюха чертова.

Как он мог ее арестовать? Как посмел обвинить ее в проституции? Как у него наглости хватило? Фэй изо всех сил старалась казаться спокойной и дерзко смотрела в объектив, когда ее фотографировали в участке, однако ночью в камере ее охватила такая паника, что Фэй свернулась калачиком в углу, дышала и молилась – только бы не умереть. Она молилась, чтобы ее выпустили. “Пожалуйста, – просила она Бога, Вселенную, кого угодно, раскачивалась из стороны в сторону, плакала и плевала на мокрый холодный пол. – Пожалуйста, помогите”.

Часть восьмая. Обыск с конфискацией

Конец лета 2011 года

1

Судья Чарльз Браун проснулся до рассвета. Он всегда просыпался ни свет ни заря. Жена спала рядом с ним. Она проспит еще часа три, а то и больше. Так повелось с первых лет брака, когда он служил патрульным в чикагской полиции и работал в ночную смену. Тогда их с женой графики редко совпадали – впрочем, как и потом: так уж сложилось. С некоторых пор он задумывался об этом – впервые за долгое время.

Он перебрался с постели в инвалидное кресло и подъехал к окну. Темно-синее небо понемногу светлело. Часа четыре, четверть пятого или около того. Сегодня вывозили мусор: баки уже вынесли на улицу. А за баками, у обочины, перед самым его домом стояла машина.

Странно.

Здесь никто никогда не парковался. То есть это явно не соседи: до них слишком далеко. Он потому и купил дом в этом районе, чтобы жить в городе уединенно, как в лесу. Напротив его дома была кленовая рощица. От соседей дом отгораживали два ряда деревьев: один вдоль края его участка, один – вдоль их.

Он посмотрел на экран возле кровати, чтобы проверить трансляцию с камер, следивших за сложной системой охраны дома: все двери закрыты, все окна целы, по дому никто не ходит. Все как всегда.

Наверно, подростки, подумал Браун. Юнцы – идеальные козлы отпущения. Какой-нибудь парень тайком приехал в гости к девушке, которая живет на этой улице, и они занялись страстным быстрым сексом. Кто-то этой ночью лишился невинности. Все понятно.

Он спустился на лифте на кухню на первом этаже. Нажал кнопку кофемашины. Та послушно забулькала, пустила струю кофе: жена с вечера все подготовила. Так у них повелось. Кроме этого, мало что напоминало судье о том, что он живет не один. Видятся они с женой редко. Он уезжает на работу, когда жена еще спит, она уходит на работу, когда он еще не вернулся.

Не то чтобы они специально друг друга избегали, просто так уж

сложилось.

Когда он уволился из полиции и поступил в юридическую школу (а было это лет сорок назад), жена работала в больнице в вечернюю смену. Дочка тогда была еще маленькая, и они решили, что один из них всегда должен быть с ней дома. Но дочь выросла, уехала от них, а графики их так и не поменялись. Так им было удобно. Жена оставляла ему поесть. Заправляла по вечерам кофемашину, потому что он терпеть не мог в четыре утра возиться с фильтрами и молоть кофе. Он был ей благодарен за то, что она по-прежнему за ним ухаживала: вроде и мелочь, а приятно. По выходным они виделись чаще – если, конечно, он не просиживал день-деньской в кабинете, изучая различные документы, прецеденты, заключения, протоколы заседаний, законы. Потом они с женой делились новостями, рассказывали друг другу обо всем, что случилось у каждого в его автономной, параллельной, совершенно независимой жизни. Обсуждали, чем будут заниматься вместе на пенсии – правда, ничего конкретного друг другу не обещали.

С чашкой кофе в руке судья въехал в кабинет и включил телевизор. Еще один утренний ритуал: посмотреть новости. До работы ему хотелось узнать обо всем, что творится в мире. Обычно к его ровесникам присматриваются: не сдают ли. Когда Браун был молодым прокурором, ему доводилось работать с судьями определенного возраста, и те к пенсии совершенно распускались. Переставали следить за новостями, за местными политическими событиями, уже не способны были читать так много, как того требовала служба. Словом, превращались в сумасшедших ученых – непредсказуемых психов с манией величия, которые так уверены в своих слабеющих способностях, что ведут себя в суде, точно в собственной персональной лаборатории. Он поклялся себе, что никогда не опустится до такого. Оттого смотрел по утрам новости, выписывал газеты (хотя это и казалось несколько старомодным – кто сейчас читает бумажные газеты!).

Последнее время все говорили только об одном: о выборах. До дня выборов было еще далеко, но в новостях явно считали иначе: журналисты с пеной у рта обсуждали предвыборную борьбу. Дюжина или около того кандидатов в президенты не сходили с экранов новостных кабельных каналов и буквально поселились в Айове, где месяца через три должно было состояться первое голосование. Губернатор Шелдон Пэкер лидировал уже на раннем этапе, если верить всевозможным опросам, исследованиям и мнениям экспертов, споривших о том, действительно ли Пэкера так любят в народе или же после нападения все ему сочувствуют, и спустя некоторое время популярность его лопнет, как мыльный пузырь. Похоже,

происшествие с Фэй Андресен сыграло ему на руку.

Ближайший год для всей страны пройдет в ожидании выборов. Двенадцать месяцев политических выступлений, пустой болтовни, рекламы, нападений и глупости, непроходимой глупости, почти аморальной глупости. Такое ощущение, будто раз в четыре года все журналисты дружно сходят с ума. А потом власти потратят миллиарды долларов на то, что и так случится: горстка избирателей из округа Кайахога, штат Огайо, еще не определившихся, за кого они, все же придут на участок и проголосуют. Потому что иначе и быть не может.

Ура! Демократия!

Предвыборную кампанию Пэкера тележурналисты чаще всего описывали в двух выражениях: “повышенный интерес” и “набирает обороты”. На митингах Пэкер разглагольствовал о том, что покушение лишь укрепило его решимость. Либеральной шпане меня не запугать, говорил он. На предвыборных мероприятиях исполнял припев из песни “Меня не остановить”^[39]. Новый губернатор Вайоминга вручил ему почетное “Пурпурное сердце”^[40]. Журналисты говорили о Пэкере либо что он “отважно продолжает кампанию, несмотря на прямую угрозу для жизни”, либо что он “намерен выжать из этого мелкого недоразумения все до последней капли”. Третьего варианта словно и не существовало. Снова и снова показывали ролик с Фэй Андресен, бросающей камнями в губернатора. На одном канале говорили, что это преступный сговор либералов, и отмечали в толпе людей, которые могли иметь отношение к происшествию. На других каналах рассуждали о том, что губернатор “бросился в укрытие от летевших в него камней”, а это-де “недостойно президента”.

Во всех передачах, где шла речь о губернаторе Пэкере, обязательно упоминали и о процессе над Фэй Андресен, и это доставляло судье Брауну несказанное удовольствие. Так он чувствовал себя важным и нужным. Говорили, что губернатор “после покушения в Чикаго по-прежнему занимает верхние строчки рейтингов”. Впрочем, что же тут удивительного – после нападения о нем услышала масса народу, слухи передавали из уст в уста. Известность – что богатство: как деньги идут к деньгам, так умножается и слава, она ведь тоже своего рода общественное богатство, концептуальное изобилие. Дело Фэй Андресен прославило судью Брауна: не зря он за него взялся. К тому же это позволило отсрочить отставку до завершения процесса. То есть по меньшей мере на год, думал Браун.

Но дело он взял не только поэтому: все эти причины лишь отчасти повлияли на его решение. Главное, чего он добивался, – Фэй Андресен должна понести суровое наказание. Так что этот процесс оказался для судьи сущим подарком – вроде тех, которые дарят к выходу на пенсию, только он получил его раньше. Уж теперь-то он с ней поквитается, теперь-то отомстит за все свои мучения.

Господи боже мой, отставка. Да что им с женой делать на пенсии?

Разумеется, существуют стандартные пенсионерские развлечения. Дочь сказала: будете путешествовать. Ну да, может, они съездят в Париж, Гонолулу, на Бали или в Бразилию. Или еще куда. Какая разница, куда именно, если поездка станет для него пыткой, ведь главное в путешествиях на пенсии, то, о чем все умалчивают: чтобы это было в удовольствие, ты должен нормально уживаться с тем, с кем собираешься путешествовать. Он представил, как они с женой все время будут вместе, в самолетах, ресторанах, гостиничных номерах. Им будет некуда деться друг от друга. Сейчас-то они всегда могут сослаться на работу. Дескать, мы так редко видимся, потому что у нас жесткие графики, а вовсе не потому, что на дух друг друга не переносим.

Вот так простая видимость становится жизнью, становится правдой жизни.

Он представил, как они с женой в Париже пытаются вести разговор. Она прочитает ему лекцию о передовой системе французского здравоохранения, он подробно расскажет ей о здешней судебной системе. Этих тем хватит на день-другой. Потом они начнут беседовать о том, что видят вокруг: об очаровательных парижских улочках, погоде, официантах, о том, как поздно здесь темнеет, – подумать только, в одиннадцатом часу вечера еще светло. Они будут много ходить по музеям, потому что там нужно молчать. А потом они будут читать меню за столиком ресторана, она скажет, что нравится ей, он ответит, что нравится ему, они посмотрят, что едят другие посетители, обменяются мнениями о том, что и эти блюда выглядят аппетитно, признаются друг другу, что передумали, и закажут что-то другое, в общем, каждый произнесет вслух то, что обычно думает человек, выбирая в ресторане блюда, лишь бы заполнить паузу, лишь бы не молчать, они будут сплетничать, болтать о всяких пустяках, лишь бы никогда не заговорить о том, о чем они друг другу ни разу не обмолвились, но всегда думали: что если бы они принадлежали к поколению, которое относится к разводу куда проще, чем они, то *давным-давно бы разошлись*. Долгие годы они избегали говорить об этом. Как будто заключили соглашение: они такие, какие есть, родились, когда родились, их воспитали

в убеждении, что разводиться нельзя, и они вслух осуждали пары помоложе, которые расхотелись, но в душе каждый из них завидовал, что те сумели расстаться, сойтись с другими и снова стать счастливыми.

К чему было сохранять семью из чувства долга? Кому от этого стало лучше?

Она так никогда и не простила ему ошибки молодости, его любовные похождения. Не простила, однако ни разу его не упрекнула после того случая, из-за которого он оказался в инвалидной коляске. Что ж, она поступила мудро. Господь покарал его за похоть, десятилетиями наказывал его через жену, но теперь настал его черед карать. И теперь уж Браун своего не упустит. Учителя у него были хорошие.

Нет, не станут они путешествовать. Скорее, найдут себе разные хобби и на пенсии постараются вести ту же жизнь, что и до нее. Разойдутся по разным этажам огромного дома. Да, так жить неудобно, мучительно тяжело. Но они привыкли. И такая перспектива пугала их куда меньше, чем то, что случилось бы, если бы они наконец осмелились заговорить о том, что терпеть друг друга не могут.

Порой страшнее не боль, а неизвестность.

Браун выпил половину кофейника, когда к дому подъехал почтовый грузовичок и на крыльцо мягко шлепнулась газета. Судья отворил входную дверь, выехал по пандусу и по инерции выкатился на подъездную дорожку, где лежала газета в оранжевой водонепроницаемой пленке. А машина-то по-прежнему здесь, отметил он. Неприметный седан, непонятно, то ли американский, то ли заграничный. Цвета кофе с молоком, на переднем бампере вмятинка, в остальном же ничем не примечательный, совершенно безобидный: такие машины на дороге даже не замечаешь, продавцы рекомендуют их семейным покупателям как “разумный выбор”. Наверное, подросток взял папину машину. И лучше бы он поскорее отсюда уехал, потому что район вот-вот проснется. Не пройдет и часа, как соседи отправятся на пробежку или гулять с собаками: разумеется, они заметят незнакомца, и уж тем более подростка, который после секса шляется по улицам.

Судья Браун наклонился, чтобы подобрать газету, и краем глаза заметил, как за деревьями что-то пошевелилось. Небо светлело, но на улицах еще было темно. За машиной чернели деревья. Браун всмотрелся в них, пытаясь понять: там действительно кто-то есть или ему показалось? Вдруг оттуда кто-то наблюдает за ним? Он силился разглядеть человеческую фигуру.

– Я вас вижу, – сказал он, хотя никого не видел.

Браун выкатился на улицу, и тут из-за дерева показался силуэт.

Браун остановился. У него, как у каждого судьи, были враги. Вдруг это какой-нибудь мелкий дилер, сутенер или наркоман явился ему отомстить? Он их немало пересажал, всех и не сосчитаешь. Браун вспомнил про свое оружие, старый добрый револьвер. Да что толку: он лежит наверху, в тумбочке у кровати. Может, позвать на помощь жену? Браун выпрямился в кресле и принял самый спокойный, серьезный и устрашающий вид, на который был способен.

– Что вам нужно? – спросил он.

Незнакомец приблизился, вышел на свет: молодой человек, лет тридцати пяти, с испуганным, пристыженным лицом. Браун за долгие годы службы в уголовных судах немало таких перевидал: незнакомец выглядел так, словно его поймали с поличным. Точно не наркоман, который явился ему отомстить.

– Вы ведь Чарльз Браун, верно? – спросил незнакомец. Голос молодой, чуть визгливый.

– Верно, – ответил Браун. – Это ваша машина?

– Угу.

– Вы прятались за деревом?

– В общем, да.

– Могу я узнать, почему?

– Едва ли я сумею вам ответить.

– И все же постарайтесь.

– Как-то само собой получилось. Наверно, мне хотелось вас увидеть, узнать о вас побольше. Мне казалось, я отлично придумал, а оно вот как вышло, даже объяснить не могу.

– Давайте сначала. Зачем вы следите за моим домом?

– Я здесь в связи с делом Фэй Андресен.

– Ах вот оно что, – ответил Браун. – Так вы журналист?

– Нет.

– Адвокат?

– Скажем так: я заинтересованное лицо.

– Да что вы говорите. Я запомнил номер вашей машины и пробью его, как только вернусь домой. Так что хватит скрывать, рассказывайте, зачем пожаловали.

– Я хотел поговорить с вами о деле Фэй Андресен.

– На такие темы обычно говорят в зале суда.

– Я лишь хотел спросить: быть может, вы снимете с нее обвинения?

Браун расхохотался.

– Сниму обвинения. Ну да, как же.
– Почему бы вам ее не отпустить?
– Смешно. Да вы шутник.
– Но ведь Фэй ничего не сделала, – упрямылся молодой человек.
– Она бросила камнями в кандидата в президенты.
– Я не об этом. Я про шестьдесят восьмой год. Она вам тогда ничего не сделала.

Браун замолчал, нахмурился и впился в молодого человека пристальным взглядом.

– Что вам известно?
– Я знаю обо всем, что между вами произошло, – ответил тот. – Я знаю про Элис.

При мысли о ней у Брауна перехватило горло.

– Вы знакомы с Элис? – уточнил он.

– Да, я с ней разговаривал.

– Где она?

– Этого я вам не скажу.

У Брауна окаменели желваки: он чувствовал, что подступает привычная судорога, как прежде, когда при воспоминании об Элис и обо всем, что тогда случилось, лицо сковывала гримаса, отчего к старости у него развилось расстройство нижнечелюстного сустава, причинявшее ему сильную боль. Он и не забывал об Элис: воспоминания о ней десятилетиями вызывали в нем раскаяние, чувство вины, гнев и вожделение. И когда по телевизору показали эту ее старую фотографию, Браун так отчетливо, так осязаемо вспомнил ее тело, что его, как когда-то, охватило возбуждение, которое он испытывал, завидев ее глухой ночью на улице.

– Значит, вы пришли меня шантажировать? – спросил Браун. – Я отпущу Фэй Андресен, а вы в обмен ничего не расскажете журналистам. Угадал?

– Вообще-то я об этом даже не думал.

– Так вы что же, еще и денег хотите?

– Признаться, шантажист из меня никудышный, – ответил молодой человек. – Ваш план куда лучше моего. Я-то всего лишь хотел проследить за вами.

– Но теперь вы не прочь меня шантажировать. Я прав? Вы угрожаете мне шантажом. Вы угрожаете судье.

– Стоп. Подождите. Заметьте, я ничего такого не говорил. Вы приписываете мне слова, которые могут стать уликой против меня.

– И что же вы расскажете журналистам? Как вы им объясните, что случилось? Мне даже интересно.

– Правду, что же еще. Что у вас был роман с Элис, а Фэй все испортила. И вы ждали все эти годы, чтобы ей отомстить. Поэтому и взяли ее дело.

– Ну-ну. Что ж, удачи. Попробуйте это доказать.

– Если я всем расскажу – обратите внимание, я сказал не “когда”, а “если”, то есть это всего лишь предположение, – вас ждет публичный позор. Общество вас осудит, журналисты примутся перемывать вам косточки. И дело у вас отберут.

Браун с улыбкой закатил глаза.

– Послушайте, я судья округа Кук. Я регулярно завтракаю с мэром. Чикагская коллегия адвокатов выбрала меня человеком года. Ну а вы кто такой? Судя по вашей говенной тачке, человеком года вас ни разу не выбирали.

– К чему вы клоните?

– К тому, что вам никто не поверит. Так что вперед, дерзайте. Я вас не боюсь.

– Но ведь Фэй вам ничего не сделала. Нельзя же сажать в тюрьму человека, который ничего не сделал.

– Она сломала мне жизнь. Из-за нее я оказался в инвалидной коляске.

– Да она вас даже не знала.

– Я ей уже говорил: не попадайся мне на глаза в Чикаго. Я ее предупреждал. И слово свое сдержу. Да как вам только хватило наглости явиться ко мне и учить меня, что с ней делать? Хотите знать, что будет дальше? Я вам сейчас расскажу. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы ее обвинили в особо тяжком преступлении. Я отправлю ее на виселицу.

– Но это же безумие!

– И не вздумайте мне мешать.

– Иначе что?

– Вы знаете, какое наказание предусмотрено за угрозы судье?

– Но я вам не угрожал!

– Да? А так непохоже. С камеры наблюдения на моем крыльце видно, как вы прячетесь за деревьями, что само по себе уже очень подозрительно. А потом я выхожу из дома, и вы угрожающе направляетесь ко мне.

– У вас есть камеры наблюдения?

– Целых девять.

Тут молодой человек отступил к машине, сел, завел мотор. Тот заурчал. Стекло в двери со стороны водителя с негромким жужжанием опустилось.

– Элис была права, – сказал молодой человек. – Вы действительно

психопат.

– Не лезьте не в свое дело.

Молодой человек отъехал от обочины. Браун видел, как он добрался до конца улицы, развернулся и, так и не включив фары, укатил прочь.

2

Фэй скрючилась на диване и со стеклянными глазами таращилась в телевизор. Лицо ее казалось бесстрастным. Сэмюэл расхаживал по квартире с кухни к дивану и обратно и смотрел на Фэй. Та переключала каналы, ни на одном не задерживаясь дольше пяти секунд. Рекламу тут же пропускала. Передачи оценивала за секунду-другую и, если программа ее не интересовала, переключала канал. Маленький телевизор ютился на полке неработавшего камина. Сэмюэл готов был поклясться, что в прошлый раз его там не было.

Утреннее солнце отражалось в зеркале озера Мичиган. Сквозь открытые окна было слышно, как вдалеке гудят машины. Обычный буднично-городской шум. На западе по шоссе Дэна Райана, как обычно, автомобили еле-еле ползли в пробке. Сэмюэл приехал сюда сразу же после неудачного разговора с судьей Брауном. Решил предупредить мать, рассказать, что узнал о судье. Сэмюэл позвонил в домофон раз, другой, третий и подумывал уже бросить камешком в окно Фэй на третьем этаже, но наконец щелкнул замок, и дверь отворилась. Сэмюэл поднялся в квартиру и увидел мать такой: тихой, рассеянной, словно пьяной.

Фэй переключила на реалити-шоу о паре, которая отремонтировала кухню, и это ее заинтересовало.

– Передача якобы о ремонте, – пояснила она, – на деле же эти двое развеивают по ветру пепел своего покойного брака.

В программе чередовались кадры нелепых ремонтных злоключений пары и роликов, в которых каждый из супругов жаловался на другого. Муж пробил кувалдой дыру в стене: он думал, ее нужно сломать, а оказалось, нет. Смена кадра: жена ругается, что он никогда ее не слушает и вообще не способен сделать то, о чем его просят. Смена кадра: муж рассматривает нанесенный урон и, чтобы сохранить лицо, говорит жене, мол, чего ты, успокойся, все нормально.

– Они друг друга на дух не переносят, – пояснила Фэй. – Им этот ремонт нужен для того же, для чего Америке понадобилась война во Вьетнаме.

– В прошлый раз у тебя не было телевизора, – ответил Сэмюэл. – Я это совершенно точно помню.

Фэй не ответила. Она отрешенно смотрела на экран. Целую минуту. За это время успели показать, как муж пинает панель из гипсокартона, та ломается, перелетает через всю комнату, и жена орет на него: “Ты что, сдурел, не видишь, я тут стою?” – хотя панель приземлилась в трех с лишним метрах от нее. Фэй моргнула, встряхнула головой, словно вышла из транса, перевела взгляд на Сэмюэла и спросила:

– А?

– Ты под кайфом, что ли? – удивился тот. – Ты что-то приняла?

Фэй кивнула.

– Выпила утром таблетки.

– Какие?

– Пропранолол от давления. Бензодиазепин от нервов. Аспирин. Еще что-то, что изначально разработали для лечения преждевременной эякуляции, а теперь назначают при бессоннице и тревожных расстройствах.

– И часто ты их принимаешь?

– Нечасто. Ты не представляешь, сколько эффективных таблеток придумали для лечения сексуальных расстройств у мужчин. Можно сказать, это двигатель фармацевтической промышленности. Слава богу, что у мужчин бывают сексуальные расстройства.

– И зачем ты сегодня все это приняла?

– Саймон звонил. Помнишь его? Мой адвокат.

– Помню.

– Сообщил мне новости. Суд расширил список моих обвинений. Сегодня в него добавили еще парочку. Внутригосударственные террористические акты и угрозы террористических актов. Что-то в этом роде.

– Это шутка?

Фэй вытащила застрявший меж диванных подушек блокнот и прочитала:

– “Деяния, представляющие опасность для человеческой жизни, которые призваны запугать, устрашить, посеять панику или являются попыткой повлиять на политику правительства посредством устрашения или применения силы”.

– По-моему, это все притянута за уши.

– Судья Браун убедил прокурора добавить новые обвинения. Видимо, вышел на работу сегодня утром и бодренько так решил засадить меня до конца моих дней в тюрьму.

Сэмюэл похолодел. Он-то знал, с чего судья вдруг так лютует, но

признаться в этом сейчас матери не мог.

– Потому я и расстроилась, – пояснила Фэй. – Разнервничалась. И приняла таблетки.

– Понятно.

– Кстати, Саймон мне советовал не общаться с тобой.

– Признаться, его профпригодность вызывает у меня сомнения.

– Он подозревает, что у тебя корыстные интересы.

– Что ж, – Сэмюэл уставился на ботинки, – спасибо, что в дом пустила.

– Я удивилась, что ты вдруг решил со мной повидаться. После того, что было в прошлый раз. После вашей встречи с Саймоном. Едва ли тебе было приятно с ним общаться. Извини.

Снаружи с визгом затормозил поезд, двери разъехались, зазвонил колокольчик, и механический голос сказал: “Двери закрываются”. Сэмюэл подумал, что Фэй впервые перед ним извинилась за что бы то ни было.

– Так зачем ты приехал? – поинтересовалась Фэй. – Да еще так неожиданно, без предупреждения.

Сэмюэл пожал плечами.

– Сам не знаю.

Муж по телевизору рассказывал интервьюеру, как отправил жену в строительный супермаркет за инструментом, которого на самом деле не существует: штангенциркулем для столешниц.

– Отношения они починить не могут, – сказала Фэй, – вот и чинят то, что на них максимально похоже.

– Мне бы на воздух, – ответил Сэмюэл. – Пойдем погуляем?

– Пошли.

Он подошел к ней, протянул руку, чтобы помочь встать, и когда Фэй взяла его за руку, когда он сжал ее тонкие и холодные пальцы, подумал вдруг, что они прикоснулись друг к другу впервые за много лет. Первое прикосновение с тех пор, как она поцеловала его в лоб и зарылась лицом в его волосы в то утро, когда ушла, когда он пообещал ей, что станет писать книги, а она пообещала их читать. Сэмюэл не ожидал, что, протянув руку Фэй, чтобы помочь ей встать, вообще что-то почувствует. Но у него сжалось сердце. Он и не догадывался, как же ему этого не хватало.

– Да, у меня руки холодные, – сказала Фэй. – Побочка от таблеток. – Она встала и, шаркая, поплелась обуваться.

На улице Фэй заметно оживилась, приободрилась. Стоял теплый погожий августовский день. В округе было тихо и пустынно. Они пошли на восток, к озеру Мичиган. Мать рассказывала Сэмюэлу, что до кризиса этот район активно застраивали. На рубеже девятнадцатого и двадцатого

веков здесь располагались бойни и фабрики по производству фасованного и мороженого мяса. До недавнего времени они стояли заброшенными, но в последнее время старые склады принялись переделывать в модные лофты. Но потом рынок недвижимости рухнул, и строительство остановилось. Большинство застройщиков отказалось от проектов. Работы заморозили на середине, здания так и остались наполовину перестроенными. Возле самых высоких до сих пор кое-где торчат подъемные краны. Фэй рассказывала, что наблюдала из окна за тем, как краны перетаскивают упаковки гипсокартона и бетонные блоки. Когда-то над каждым домом в квартале возвышался подъемный кран.

– Как рыбаки у пруда, – сказала Фэй. – Очень было похоже.

С тех пор почти все краны разобрали. А те, что остались, простаивали уже пару лет. Район пустовал: заселить его не успели.

Фэй сказала, что переехала сюда из-за низкой арендной платы и потому, что тут не надо было общаться с соседями. Поэтому, когда район начали застраивать, она пришла в ужас и со злостью наблюдала за тем, как домам раздают имена: Посольский клуб, Галантерейщик, Шестеренки, Веха, Готам. Она знала: стоит дать дому модное название, как в нем тут же поселятся несносные жильцы. Молодые люди интеллектуальных профессий. Которые гуляют с собаками. И с детьми в колясках. Адвокаты и их несчастные жены. Появятся рестораны в духе итальянских тратторий, французских бистро и испанских тапас-баров, но без особой экзотики, рассчитанные на широкую публику. Магазины органических продуктов, сырные лавки, мастерские по ремонту велосипедов. Фэй наблюдала, как ее район превращается в хипстерский анклав. Она боялась, что ей поднимут плату за квартиру. Что теперь придется общаться с соседями. И возликовала, когда рынок недвижимости рухнул, застройщики испарились, а вывески с модными названиями стали рушиться под снегом. Фэй в упоении бродила пустыми улицами и, точно отшельник, радовалась тому, что наконец-то осталась одна и все вокруг только ее. Весь этот заброшенный квартал теперь в ее распоряжении. Это ли не блаженство.

Если бы арендную плату подняли, Фэй пришлось бы съехать, потому что она не смогла бы снимать здесь жилье на доходы от того, чем занималась: читала стихи детям, персоналу различных компаний, пациентам после операций и заключенным. Благотворительный фонд из одного человека. Так она жила много лет.

– В молодости я мечтала стать поэтом, – призналась Фэй.

Они вышли на магистральную улицу: здесь, в отличие от квартала Фэй, кипела жизнь, ходили люди, работали какие-то магазинчики.

Джентрификация сюда еще не добралась, но скоро наверняка доберется: Сэмюэл заметил первую ласточку – кофейню с бесплатным вайфаем.

– Так почему ты не стала поэтом? – спросил он.

– Я пыталась, – ответила Фэй. – Таланта нет.

Она объяснила, что бросила писать стихи, но не читать. Создала некоммерческую организацию, чтобы нести поэзию в школы и тюрьмы. Решила, что, раз уж писать ей не дано, будет читать.

– Кто не умеет делать, руководит, – сказала она.

Жила она на скромные гранты от арт-групп и федерального правительства: впрочем, в качестве источника дохода гранты эти были ненадежны, поскольку против них постоянно выступали политики, так что в любую минуту эти средства могли исчезнуть. Во время экономического бума перед кризисом некоторые банки и юридические конторы, офисы которых располагались в этом районе, приглашали Фэй, чтобы она “каждый день вдохновляла персонал стихами”. Она проводила поэтические семинары на деловых конференциях. Выучила язык менеджеров среднего звена, все эти идиотские глаголы, образованные от идиотских же существительных и прилагательных: “максимизировать”, “стимулировать”, “диалогизировать”, “педалировать”. Делала презентации в “пауэрпойнте” на тему “Как максимизировать вдохновение, чтобы стимулировать коммуникацию с потребителем”. Презентации на тему “Как посредством поэзии экстернализовать стресс и минимизировать факторы риска открытых конфликтов в коллективе”. Заместители вице-президентов понятия не имели, о чем говорит Фэй, но их начальники слушали ее с удовольствием. Это было задолго до кризиса, когда крупные банки еще швыряли деньги направо и налево.

– Я драла с них в пятнадцать раз больше, чем со школ, а им хоть бы хны, – вспоминала Фэй. – Потом подняла плату еще в два раза, но они даже не заметили. В общем, безумие, сюр чистой воды. Цифры я брала с потолка. Я все ждала, когда же они догадаются, но они так ничего и не поняли. Приглашали меня как ни в чем не бывало.

Но потом разразился кризис. Когда стало ясно, что происходит – что мировая экономика, можно сказать, в жопе, – компании избавились от поэтических чтений, а заодно и от заместителей вице-президентов: этих просто-напросто взяли и уволили, без предупреждения, в очередную пятницу, те самые боссы, которые всего лишь год назад стремились наполнить их жизнь поэзией и красотой.

– Кстати, – сказала Фэй, – в прошлый раз телевизора действительно не было. Я его спрятала.

– Спрятала? Зачем?

– Когда в доме нет телевизора, это говорит о многом. Я хотела, чтобы квартира выглядела аскетично, как обиталище буддийского монаха. Чтобы ты подумал, будто я достигла просветления. Уж не обессудь.

Они шагали дальше и уже возвращались обратно, в ее квартал, восточной границей которого считался мост над железнодорожными путями, соединявшими город, точно застежка-молния. Раньше по этим путям доставляли на бойни корм и скотину, а в литейные мастерские – шлак, в наши дни перевозили миллионы пассажиров, которые жили за городом и ездили в центр на работу. Широкие опоры моста были густо изрисованы граффити, пестрели подписями отчаянных городских подростков, а поверх их имен расписывались уже другие юные смельчаки, которые для этого, вероятно, спрыгивали на рельсы, потому что иного пути вниз не было, – разве что через забор из рабицы с колючей проволокой наверху.

– Я сегодня утром ездил к судье, – признался Сэмюэл.

– К какому судье?

– К твоему. К судье Брауну. Ездил к нему домой. Хотел на него взглянуть.

– То есть ты шпионил за судьей?

– Вроде того.

– И?

– Он не ходит. Передвигается в инвалидном кресле. Тебе это о чем-нибудь говорит?

– Нет. А должно? Почему?

– Сам не знаю. Ну да ладно: что есть, то есть. Судья – инвалид.

Была в граффити своя романтика: по крайней мере, так казалось Сэмюэлу. Особенно те, которые рисовали в опасных местах. Как трогательно: автор с риском для здоровья писал на стене эти слова.

– И как он тебе? – спросила Фэй. – Ну, судья?

– Какой-то мелкий и злой. То есть это сейчас он мелкий, а когда-то, возможно, был крупный, просто со временем усох. Кожа у него очень белая. Мучнисто-белая. И тонкая, как папиросная бумага, почти прозрачная.

Ну да, граффитисты рисовали всякую ерунду. Например, снова и снова писали свое имя, все крупнее, объемнее, красочнее. Как сети закусовых, понатыкавшие по всей стране щиты со своими названиями. Такая самореклама. Чтобы не забывали. Ведь авторы писали свои имена на стенах вовсе не потому, что им отчаянно хотелось что-то сказать. Они

всего-навсего рекламировали свой бренд. Рисковали жизнью, пробирались в запретные места для того лишь, чтобы создать нечто такое, что органично впишется в господствующую блевотную эстетику. Тоска смертная, в общем. Ниспровергли даже тех, кто пытался ниспровергнуть авторитеты...

– Ты с ним разговаривал?

– Вообще-то не собирался, – ответил Сэмюэл. – Я думал просто понаблюдать. Собрать информацию. Всего-навсего последить за ним из засады. Но он меня заметил.

– И этот ваш разговор имеет отношение к тому, что утром мне выдвинули новые обвинения?

– Возможно.

– То есть, возможно, из-за тебя меня обвинили в подготовке теракта внутри страны. Ты это хочешь сказать?

– Наверное.

Они дошли до ее квартала. Сэмюэл понял, что они почти дома, по зданиям, которые словно застряли во времени, как в каком-нибудь научно-фантастическом фильме: нижние этажи у них были из будущего, а верхние – из прошлого. Осыпавшиеся фасады без окон высились над блестящими новенькими пустыми витринами из современного синезеленого стекла и белого гладкого пластика сродни тому, из которого в эпоху информационных технологий делают корпуса электронных устройств. Привычная городская суতোлка сменялась в этом районе абсолютной тишиной и покоем. Ветер с озера гнал по улице пустой полиэтиленовый пакет.

– Я хотел тебе кое-что рассказать, – проговорил Сэмюэл. – Про судью.

– Давай.

– Это он тебя тогда арестовал. В 1968 году.

– О чем ты?

– Я про того копа, который арестовал тебя вечером накануне демонстрации. Это был он, нынешний судья Чарльз Браун. Он арестовал тебя, хотя ты не сделала ничего плохого.

– Господи боже, – Фэй уставилась на Сэмюэла и схватила его за руку.

– Он сказал, что это ты усадила его в инвалидное кресло. Что это ты виновата в том, что он стал инвалидом.

– Бред какой-то. И как ты все это узнал?

– Я разыскал Элис. Помнишь ее? Твоя соседка по общежитию.

– Ты разговаривал с Элис?

– Она мне рассказала все о том, как вы с ней учились в университете.

– Зачем ты общаешься со всеми этими людьми?

– Элис советовала тебе бежать за границу. И как можно скорее.

Они завернули за угол. Вдали показался дом Фэй. Вдруг они заметили, что впереди какая-то непонятная суета: рядом с машиной Сэмюэла припаркован большой полицейский фургон с крупной надписью “СПЕЦНАЗ” на боку. Казалось, фургон нависает над машиной, точно медведь, который сторожит добычу. Из дома Фэй выходили полицейские – все в черном, бронежилетах, касках, очках, с автоматами на груди – и запрыгивали в открытые задние двери фургона.

Сэмюэл с матерью попятнулись за угол.

– Что происходит? – недоуменно проговорила Фэй.

Сэмюэл пожал плечами.

– Тут есть другой вход?

Фэй кивнула, и Сэмюэл двинулся следом за ней в пустынный переулок, к ржавой красной двери у мусорных баков. Фэй и Сэмюэл молча поднялись по лестнице и так же молча прислушались, как внизу последние полицейские выходят из дома. Выждав для верности минут десять, они направились с лестницы по коридору к квартире Фэй. Выбитая дверь держалась лишь на погнувшейся нижней петле, так что фактически лежала на полу.

Всю мебель в квартире опрокинули и раскурочили. Диванные подушки растерзали. На полу валялся матрас с кровати: его распороли ровнехонько посередине, так что вылезла набивка, словно матрас не обыскивали, а вскрывали, как покойника. По комнате летал пух. Книги с полок разорвали и разбросали по полу. Кухонные шкафы распахнули настежь, внутри все перевернули вверх дном или переломали. Мусор из ведра вывалили на пол. Под ногами хрустело битое стекло.

Сэмюэл и Фэй ошеломленно переглянулись. Из ванной донесся шум воды: кто-то открыл и закрыл кран. Наконец дверь отворилась, и на пороге, вытирая руки, показался Саймон Роджерс в неизменных коричневых брюках.

– О, привет! – улыбнулся Роджерс.

– Саймон, что случилось? – спросила Фэй.

– А, – отмахнулся тот, – полиция заходила.

3

Сегодня он бросит “Мир эльфов”.

Сегодня он навсегда перестанет играть, Павнер это решил еще вчера, когда уселся за компьютер, поклявшись себе, что уж сегодня-то точно выйдет из “Мира эльфов”, но потом обнаружил кое-какие дела, которыми неплохо бы заняться, чтобы все уладить, прежде чем отправить своих вооруженных до зубов аватаров в цифровое забвение, сперва нужно попрощаться с десятками членов гильдии, к которым он за время игры очень привязался, по-отечески полюбил и за которых чувствовал ответственность, как вожатый в летнем лагере за подопечных детишек, ведь Павнер знал, что если исчезнет не попрощавшись, обманет их доверие, их будет мучить боль утраты, они усомнятся в том, что мир понятен, предсказуем, в целом добр и справедлив (тем более что некоторые из его собратьев по гильдии были как раз в том возрасте, когда еще ездят в летние лагеря, и он ни за что бы себе не позволил обмануть их доверие или причинить им боль), поэтому, сев вчера рано утром за компьютер, он решил, что не имеет права выйти из игры и удалить аккаунт, не поговорив лично и не попрощавшись с каждым из множества постоянных игроков в “Мир эльфов”, с которыми он последние пару лет общался по двенадцать часов в день, а значит, нужно было написать всем прочувствованное сообщение, поблагодарить за все, объяснить, что он больше не может тратить время на “Мир эльфов”, потому что решил заняться карьерой, а именно – написать мистический детектив и прославиться, он сообщил братьям по игре, что как только закончит первый, черновой вариант романа, тут же подпишет контракт с крупным нью-йоркским издательством, поэтому нужно сесть и круглые сутки писать, посвятить себя этому целиком, для чего придется бросить “Мир эльфов”, потому что в противном случае некогда будет писать роман, в основном из-за ежедневных квестов, каждое утро он выполнял сотни квестов за всех своих персонажей, пять часов такой вот тягомотины, после чего каждый раз клялся себе, что завтра-то уж точно не станет выполнять эти квесты, лучше примется наконец за детектив, он подсчитал, что за час можно написать две страницы (различные сайты с советами для начинающих писателей уверяли, что этого вполне достаточно), значит, в день получится десять страниц, в таком темпе он завершит роман за месяц, причем исключительно за время, которое обычно тратит на ежедневные квесты в “Мире эльфов”, и до следующего утра Павнер твердо верил в то, что так и будет, но потом сел за роман и ловил себя на том, что думает про ежедневные квесты, которые уже разблокировали, а значит, можно их пройти снова, и он давал себе слово, что сейчас сделает перерыв и выполнит квесты исключительно за главного героя и только ради того,

хотели вспомнить былые победы, подобно тому как некоторые с нетерпением ждут встречу одноклассников, и он с каждым из друзей заново пускался в приключения, которые им довелось пережить несколько недель или месяцев назад, и это навело Павнера на мысль, что неплохо бы посетить все места в огромном “Мире эльфов”, которые он любил, с которыми у него были связаны важные воспоминания, где он совершенствовался как игрок, устроить нечто вроде прощального турне по местам, которые знал и любил, а это, разумеется, займет немало часов (разработчики игры на все лады расхваливали гигантские размеры и масштабы своего виртуального мира: мол, в действительности “Мир эльфов” был бы величиной с Луну), он побывал в Серебристополянном лесу (здесь впервые погиб его аватар, на восьмом уровне: пантеры загрызли), в пещерах Джеденара (там на него напала стая демонов, еле отбился), гробнице Эллены (там всегда играла клевая музыка), на побережье Вырммист (где встретил первого дракона) и развалинах Гурубашаи (здесь он убил своего первого орка), и так далее, ему очень нравились эти причудливые названия, он перелетал с места на место на сверхбыстром грифоне, но потом вспомнил, как было здорово и интересно, когда он только начинал играть и еще не раздобыл себе зверя, на котором можно было бы ездить или летать верхом, – тогда он ходил пешком по лесам и полям, любовался окрестностями, тем, как одна экосистема сменяется другой, он почувствовал, как соскучился по простоте и наивности тех дней, оставил грифона на северной оконечности самого обширного континента и зашагал на юг, сперва по заснеженной тундре Саблезимних ледников, перебрался через Лесоморозные горы и спустился в ущелье Ледяного Чертополоха, распугивая прыскавших прочь антилопгну да белых медведей, мимо пещер, где обитали человекообразные ледовые йети, с которыми он ладил, дальше и дальше на юг, время от времени делал снимки экрана, как туристы фотографируют достопримечательности, да замечал, как орки бросались от него наутек, потому что знали, кто он, слышали, что он головорез, к этому времени на онлайн-форумах уже высветилась новость о том, что из игры уходит опытный вождь, Павнеру приходили новые и новые сообщения, правда ли это, его умоляли остаться, и он уже сам подумывал остаться, потому что вдруг осознал, что в “Мире эльфов” его любят, знают и ценят куда больше, чем в реальном мире, где ему об этом приходится лишь мечтать, и его охватили уныние и страх, он вспомнил, как нервничал в прошлый раз, когда в “Мире эльфов” меняли прошивку и он целый день не мог войти в игру, кружил по комнатам, часами таранился на почтовый ящик, вот и

сейчас, шагая на юг по просторам “Мира эльфов”, он не помнил себя от ужаса: вдруг он навсегда бросит видеоигры и каждый день будет мучиться, как в тот раз, когда меняли прошивку, при мысли об этом его как холодной водой окатили, вся его решимость и воля куда-то подевались, и он подумал, что сумеет заставить себя бросить “Мир эльфов”, только если его персонажи перестанут быть суперкрутыми членами элиты, которых все любят и уважают, и единственный способ этого добиться – избавиться от сокровищ, которые он неустанно наживал: ему казалось, что без баснословных трофеев он не пользовался бы такой любовью, славой, не был бы частью элиты, а значит, и бросить игру оказалось бы куда проще, вдобавок обидно было бы после такого длительного успеха очутиться в самом низу иерархии, так досадно было бы снова завоевывать все эти трофеи, так бессмысленно, что хочешь не хочешь, а бросишь играть, и он объявил собратьям по гильдии, что раздает все свое добро, он как раз шагает на юг, подходите, кто хочет, получите какую-нибудь классную ценную штуку, и вскоре за ним, как на параде, следовала толпа менее авторитетных игроков, – нужно сказать, что в это самое время у него в ноге оторвался тромб, в тот самый миг, когда Павнера осенило, как нужно поступить, и он объявил об этом гильдии, и сунул под себя уже другую ногу, так что сгусток крови медленно поплыл по кровеносным сосудам, твердый комочек размером не больше стеклянного шарика продвигался по его телу, и Павнер это сразу почувствовал – где-то давило, где-то стреляло, – хотя, признаться, у него практически все время что-то болело, он относился к боли как к биологическому белому шуму, ему было больно из-за хронического переутомления, неподвижного образа жизни, из-за того, что питался он в основном замороженными полуфабрикатами и пил много кофе, и от этого всего у него регулярно колело то тут, то там, оттого-то он сейчас и не обратил внимания на боль из-за передвигавшегося по сосудам сгустка крови, для него это было в порядке вещей, он и так практически все время испытывал резкую боль, к тому же она как-то притупилась, поскольку он о ней не помнил, потому что лобная доля мозга и гиппокамп практически атрофировались из-за недосыпания, неправильного питания и лошадиных доз облучения, которые он получал, часами просиживая за компьютером – ученые пока что даже не представляли, насколько это опасно, – так что каждый раз, как он испытывал боль, его перегруженный, смертельно изнуренный мозг тут же отсекал эту информацию, так что когда у него в следующий раз начинало где-то сильно резать или колоть, ему казалось, что раньше такого не было, и он говорил себе, что, если подобное повторится, непременно нужно

будет показаться каким-нибудь врачам, где-нибудь на той неделе, – но тут вокруг него собрались друзья, и он принялся раздавать сперва золото, золотые, серебряные, медные монеты из карманов убитых орков и охраняемых драконами сокровищниц, заработанные на игровых торгах, он научился ловко управлять различными сырьевыми биржами и значительно приумножил богатство, установив за малым не монополистический контроль над системой снабжения “Мира эльфов”, между прочим, он прекрасно знал, что его золото ценится и в реальном мире, что одни игроки продавали другим золото из “Мира эльфов” на настоящих торгах за настоящие американские доллары, слышал даже, что какой-то экономист из Стэнфорда разработал конвертер валют, рассчитывавший курс золота из “Мира эльфов” к доллару, то есть, получается, он мог продать золото и получить уж во всяком случае не меньше, чем зарабатывал в копировальном центре, но он этого никогда не сделал бы, поскольку играл в “Мир эльфов” для удовольствия, работа же удовольствия не приносила (хотя, если вдуматься, нельзя сказать, что играть в “Мир эльфов” – сплошное удовольствие, потому что каждый день сперва приходилось по пять часов выполнять одни и те же квесты, снова и снова, пока они не превратились в рутину сродни ручному труду, какое уж тут удовольствие, однако это приносило награды, помогавшие получить удовольствие потом, когда он пускал их в дело, вот только пока их заслужишь, разработчики обновят прошивку, и появятся новые награды, чуть-чуть лучше прежних, так что даже зарабатывая награды, он сознавал, что они уже обесценились, потому что вот-вот появятся новые, более совершенные, так что, если подумать хорошенько, в “Мире эльфов” он дольше готовился к тому, чтобы поиграть в свое удовольствие, но толком никогда этого удовольствия не испытывал, разве что во время рейдов, когда они с братьями по гильдии убивали какого-нибудь очередного могущественного врага и получали какой-нибудь крутой лут, да и тогда удовольствие это приносило лишь первые пару раз, а потом становилось чем-то вроде повторяющихся маневров, удовольствия от которых, в общем, не было никакого, зато напрягов куча, и еще бесило, если у гильдии вдруг не выходило то, что еще неделю назад получалось, так что чаще всего во время рейдов он не удовольствие получал, а старался ни на кого не злиться, и он решил, что, видимо, искать удовольствие следует в чем-то другом, может быть, даже не в каких-то конкретных игровых моментах, а просто ловить кайф оттого, что играешь, потому что, входя в “Мир эльфов”, он всегда испытывал глубокое удовлетворение, здесь он чувствовал себя своим, здесь его ценили, не то что в реальной жизни –

видимо, это и есть то, что можно назвать “удовольствием”), это все к тому, что богатства у Павнера накопились несметные, так что когда он тысячами принялся раздавать золотые монеты, этого все же хватило на десятки игроков, прежде чем кошелек его опустел, и Павнер чувствовал себя Робин Гудом, который идет по лесу и раздает добро бедным, а когда у него кончились деньги, начал раздавать экипировку, наугад щелкая мышкой по кому-нибудь из толпившихся вокруг него игроков, отдал оружие, длинные мечи и палаши, большие ножи, клейморы, рапиры, кинжалы, кортики, сабли, серпы, ятаганы, заточки, секиры, дубины, топоры, молоты, томагавки, булавы, ледорубы, палки, древковое оружие, копья, пики, алебарды и один загадочный меч, о котором и вовсе позабыл, назывался он “фламберг”^[41], а когда оружия не осталось, стал раздавать кольчуги, доспехи из листового металла, снаряжение, которое он украл или раздобыл в битвах, совершенно чумовые наплечники, утыканные шипами, поножи, увитые колючей проволокой, дивные шлемы с бычьими рогами, в которых он походил на Минотавра (кстати, уже поползли слухи о его щедрости, поскольку кое-кто из игроков снимал долгую прогулку Павнера к югу на видео и выкладывал ролики на сайт с титрами “ЛЕГЕНДАРНЫЙ ГЕЙМЕР РАЗДАЕТ ВСЕ СВОЙ ЛУТ!”), сперва Павнеру жаль было раздавать нажитое, ему нравились и доспехи, и оружие, к тому же он прекрасно помнил, сколько времени и сил потратил на то, чтобы раздобыть каждый из предметов (на один только шлем с бычьими рогами ушло два месяца), но вскоре сожаление неожиданно сменилось спокойной уверенностью, удовольствием от собственной щедрости и великодушия, умиротворением и теплом (наверно, сказывалось утомление, потому что к этому моменту он уже играл в “Мир эльфов” тридцать часов без перерыва), он раздал все добро, а толпа почитателей все шла и шла за ним, и он подумал, что, быть может, вдохновляет их на подвиги, наверно, нужно сказать им что-нибудь важное, мудрое, кажется, с Буддой случилось нечто похожее, или с Ганди, или с Иисусом, что-то о том, чтобы раздать все свое имение и идти, звучит знакомо, и в конце концов происходящее стало казаться Павнеру не последней отчаянной попыткой выйти из игры, на что у него явно не хватало силы воли, а чем-то вроде духовного странствия, проникнутого альтруизмом и самоотречением, словно он делает что-то важное, хорошее, милосердное, подает собравшимся пример, и он тешил себя такими вот сладкими надеждами, пока толпа не начала редеть, когда все поняли, что раздавать ему больше нечего, и Павнеру пришлось несколько личных сообщений с вопросами, мол, всё, или еще что-то осталось, тут-то он наконец сообразил, что все они шли за ним вовсе не для того, чтобы

сопровождать Павнера в его долгих духовных странствиях, а в надежде заполучить новые клевые игрушки, и он разозлился на них за вопиющую меркантильность, но потом вспомнил, что, собственно, для того и затеял раздачу добра, чтобы все его бросили и ему расхотелось играть в “Мир эльфов”, где его уже не ждали, теперь же, когда это случилось, когда его и правда все бросили и он шагал по бескрайним равнинам без оружия, доспехов, золота и друзей, обычный эльф в набедренной повязке, жалкий, слабый, ему по-прежнему не хотелось бросать игру, и он двигался дальше на юг, пока не дошел до нижней оконечности континента, каменистого плато над океаном, он понимал, что путешествие завершилось, что пора выходить из игры, удалять аккаунт, возвращаться в реальный мир, писать роман, чтобы прославиться и вернуть Лизу, сесть на диету и радикально изменить все, что нужно, чтобы жить так, как мечтается, и пусть он больше не мог придумать ни единой причины для того, чтобы оставаться в игре, и пусть его аватар оказался в буквальном смысле беспомощен – без оружия, без гроша, – все равно выйти из игры не было сил, и он по-прежнему смотрел на цифровой океан, и мысль о том, чтобы бросить играть и вернуться в реальный мир, пугала его куда сильнее, чем большинство дееспособных взрослых людей, так как из-за того, что Павнер пристрастился к игре и сутками просиживал за компьютером, физиология его мозга начала сбоить, в нейронной сети внутри его черепной коробки произошли серьезные изменения, наряду с неизбежным ущербом для организма – лишним весом, мышечной атрофией, болями в спине и непреходящей ломотой в груди, видимо, вызванной тем, что он правой рукой постоянно щелкал по кнопкам мыши, – атрофировалась и ткань ростральной передней поясной коры головного мозга, которая выступает в роли своего рода вербовщика и в случаях конфликтов мобилизует другие отделы головного мозга, отвечающие за рациональное мышление (как если бы вспыльчивый и потерявший от волнения рассудок человек позвал на помощь более спокойных друзей, чтобы те оценили ситуацию и дали объективный совет) и необходимые для когнитивного контроля и управления эмоциями, так вот у Павнера этот участок мозга вообще отключился, как в доме после Рождества отключают праздничную иллюминацию, отказал, и всё, как у героиновых наркоманов при виде героина: у них просто-напросто отключается передняя поясная кора, так что сигналы от “разумных” частей головного мозга до нее не доходят, и мозг *вообще никак не может помочь* им преодолеть примитивные саморазрушительные порывы, затмевающие все остальное, порывы, с которыми у них никак не получится справиться самостоятельно, что и

случилось с Павнером, когда он смотрел на море, он помнил, что хотел бросить “Мир эльфов”, но мозг ему такого приказа не посылал, к тому же в некоторых частях орбитофронтальной коры, которая отвечает за мотивацию и направленность на достижение цели, серьезно уменьшился объем серого вещества, и вследствие этой атрофии мозг осознавал, что существует некая цель, однако никак не мог помочь ее достичь, просто видел, что вдалеке маячит некая цель, фиксировал ее, как фермеры со Среднего Запада замечают, какая стоит погода (“Ага, дождик собирается”), очередная нейробиологическая ловушка “Мира эльфов” – чем больше играешь в “Мир эльфов”, тем меньше твой мозг способен сосредоточиться на каких бы то ни было задачах, кроме самых краткосрочных и непосредственных, то есть на задачах самого “Мира эльфов”, – недаром игра каждый час-другой выдавала участникам вознаграждение, подбрасывала очередной клевый лут или позволяла перейти на новый уровень, или выполнить какую-нибудь задачу, причем каждую такую победу встречала фанфарами и фейерверком, – так что мозг исподволь привыкал к таким вот крошечным, ближайшим целям, и долгосрочные задачи, которые к тому же нужно было тщательно планировать и которые требовали воли и дисциплины (например, написать роман или сесть на диету), казались ему в *буквальном смысле непонятными и недостижимыми*, – не говоря уже о том, что творилось во внутренней капсуле его мозга, в ее задней ножке, единственной части мозга Павнера, которая окрепла за время его оголтелого увлечения “Миром эльфов”: первичная двигательная кора посылала аксоны для управления пальцами, уж что-что, а мелкую моторику Павнер разработал как нельзя лучше, нажимая правой рукой множество кнопок мыши, а левой – клавиатуры на сто четыре клавиши, причем все это по памяти, чтобы, не глядя, за считанные доли секунды отыскать из сотен кнопок и клавиш нужную и нажать, и от такого вот режима изменилась сама физическая структура его мозга, аксоны во внутренней капсуле утолщились, но беда в том, что с точки зрения эволюции такие большие отростки, отвечавшие за подвижность пальцев, вовсе не нужны (у наших предков не было ничего похожего на пятнадцатикнопочную электронную игровую мышь), поэтому и объем внутренней капсулы ограничен, не рассчитан на то, что аксоны вдруг увеличатся в размерах, вследствие чего разросшееся из-за чрезмерно развитой мелкой моторики белое вещество Павнера принялось вытеснять другие важные ткани, и в первую очередь заняло нервные пути, по которым сообщались передний и подкорковый отделы мозга, отвечавшие в том числе и за принятие решений и самоконтроль – видимо, именно этим

можно было объяснить как неприличное поведение Павнера в магазине органических продуктов, так и в целом весь его образ жизни в последний год, – и то, как он медленно чах перед компьютером, и бессонницу, и неправильное питание, и бред величия – мол, стану известным писателем, и Лиза ко мне вернется, – и простые парциальные приступы, которых он даже не замечал, спровоцированные не то недосыпом, не то световыми вспышками на экране компьютера, а может, острым химическим дисбалансом из-за недоедания (или же всеми тремя факторами сразу), от которого у него периодически немели конечности, а то вдруг хотелось себя ущипнуть, чтобы искры из глаз посыпались, – Павнер давным-давно обратился бы к врачу по поводу этих симптомов, если бы дорсолатеральная область префронтальной коры его мозга не отключилась: эта часть мозга помогает принимать решения и контролировать эмоции, у тех же, кто старается одновременно делать массу дел, она просто-напросто засыпает, не выдержав переизбытка информации, а пока она спит, решения принимают области мозга, которые отвечают за чувства, и это все равно что дать шестилетке ключи от автопогрузчика, а мозг Павнера действительно был перегружен, поскольку на экране его компьютера была открыто множество дополнительных диалоговых окон, которые в режиме реального времени показывали ему, сколько у врага осталось здоровья, куда и как он сам может двигаться, причем эта информация постоянно обновлялась, были тут и всевозможные таймеры, отображавшие, сколько времени осталось до того, как те или иные ходы снова окажутся доступны, и как именно лучше атаковать врага, чтобы причинить ему максимальный вред, статус каждого из участников рейда, общий для всей группы показатель урона в секунду, схема боя с высоты птичьего полета, где основные участники окрашены разными цветами в зависимости от их роли в бою, и все это помимо собственно игры, на фоне которой горят и мигают все эти диалоговые окна, причем Павнер следил не только за тем, что происходит на экране – хотя и этого хватило бы, чтобы довести до нервного срыва какого-нибудь привыкшего к размеренному образу жизни крестьянина из XVIII века, – но, поскольку он обычно играл сразу шестерыми персонажами, то одновременно следил за событиями на шести экранах, то есть за секунду получал больше информации, чем все воздушные диспетчеры в чикагском международном аэропорту О’Хара вместе взятые, оттого-то область его мозга, отвечавшая за разум и логику, выбросила белый флаг и сдалась, так что центры эмоций просто-напросто отключили любые сигналы, связанные с рассудком, логикой и дисциплиной – проще говоря, чем больше он играл в “Мир эльфов”, тем

меньше был способен бросить игру, то есть речь шла уже не о дурной привычке, а о серьезных изменениях в анатомии мозга, о фундаментальном расстройстве нервной системы, вследствие чего мозг в буквальном смысле не позволил бы Павнеру бросить “Мир эльфов”, и Павнер понял это, стоя на южной оконечности континента, гадая, что делать дальше, но так ничего и не придумал, а потому стоял и смотрел на море, как вдруг раздался сигнал тревоги, предупреждавший о приближении врага, камера автоматически повернулась и заметила за спиной у Павнера орка, который следил за ним издали, в другое время Павнер бросился бы на орка, врезался бы в него щитом, после чего зарубил бы огромной секирой, вот и сейчас, хотя у него не осталось ни щита, ни секиры, вообще ничего, чем можно было бы атаковать орка, он машинально двинулся на врага – но отчего-то не сумел ступить ни шагу, что-то мешало, навалилась вялость, подкатила тошнота, голова закружилась, он вдруг понял, что не может не то что пошевелить рукой, а и сделать вдох (тут надо пояснить, что сгусток крови, образовавшийся в ноге, к этой минуте успел вызвать тромбоэмболию легочной артерии, кровь уже не поступала в легкие, отчего в груди у Павнера разлилась боль, он задыхался, отчаянно пытаясь вдохнуть, в глазах потемнело, словно солнце стремительно закатилось и вместо сумерек сразу же наступила темнота), так что Павнер не напал на орка, и тогда орк сделал к нему шаг, потом другой, с опаской, готовый в любой миг броситься наутек, не спуская глаз с Павнера, который и рад был бы атаковать, но не мог, потому что на грудь навалилась страшная тяжесть, его словно придавило наковальней, орк же, заметив, что Павнер не шелохнулся, снял с пояса кинжальчик и, поколебавшись, нападать или нет, вдруг это ловушка и самый могущественный эльфийский воин его просто-напросто разыгрывает, ударил-таки Павнера в грудь, потом еще и еще, а эльф в набедренной повязке даже не сопротивлялся, стоял себе, пошатываясь, под рев сирен тревоги, полоса здоровья упала до нуля, Павнер с ужасом наблюдал за этим, не силах пошевелиться, сгущалась темнота, поле его зрения сужалось, он уже не мог двигаться, губы и кончики пальцев синели, и вот наконец его израненный эльф упал замертво, Павнер смотрел, как орк пляшет на его трупе, и последнее, что он увидел, прежде чем в глазах померкло, было сообщение от орка: “ОМГ Я ТЕБЯ ЗАПАВНИЛ ЛОЛОЛОЛОЛОЛОЛОЛ!!!!”, и тут Павнер решил, что разбудит заново все свои сокровища, станет в два раза сильнее, поймает этого сраного орка и убьет его несколько раз подряд, как только сможет отдышаться, пошевелить руками и ногами, ну и хоть что-то увидеть, если уж на то пошло, и несмотря на то, что системы организма

стремительно отказывали одна за другой, мозг упорствовал: главное сейчас – убить орка, чего Павнеру было сделать не суждено, потому что сегодня он должен был навсегда выйти из “Мира эльфов”, и если мозг не сумел его заставить, пришлось телу ему помочь.

4

Саймон Роджерс расхаживал по разоренной квартире Фэй, аккуратно обходя разбросанные по полу обломки, и объяснял, что существуют законы, которые позволяют *подобное* (на слове “*подобное*” он обвел рукой оскверненную и разгромленную квартиру), поскольку после событий 11 сентября были приняты определенные статуты касательно розыска подозреваемых в терроризме и допустимости применения силы.

– Попросту говоря, полиция вольна посылать отряды быстрого реагирования, когда ей заблагорассудится, – вещал Роджерс, – и мы бессильны ей в этом помешать, предотвратить, отменить или изменить этот приказ.

Фэй на кухне молча помешивала чай в единственной уцелевшей чашке.

– Но что они искали? – Сэмюэл пнул обломки телевизора, который словно раскурочили молотком, раскидав электронные внутренности по всему полу.

Саймон пожал плечами.

– Таков порядок, сэр. Вашу матушку обвиняют в подготовке террористического акта внутри страны, следовательно, полицейские имеют право творить что хотят. Вот они и творят.

– Но она же не террористка.

– Безусловно, но коль скоро ее обвиняют в соответствии со статутом, по которому преследуют тайных агентов Аль-Каиды, полиция и обращается с ней, как с потенциальной террористкой.

– Офигеть.

– Закон писали в те времена, когда Четвертая поправка мало кого волновала. Да и Пятая тоже, если уж на то пошло. Ну и Шестая. – Роджерс негромко фыркнул. – И Восьмая.

– Но ведь чтобы провести обыск, наверняка требуется веская причина? – удивился Сэмюэл.

– Безусловно, сэр, но это обычно не разглашают.

– Разве не нужно сначала получить ордер?

– Да, но это секретная информация.

– Кто их выдает?

– Это конфиденциальные сведения, сэр.

– Неужели никто за этим не следит? Неужели нет никого, кому мы может пожаловаться?

– Процедуру регулирует закон о неприкосновенности личности, однако информация засекречена. В целях государственной безопасности. Нам следует верить, сэр, что правительство действует в наших интересах. Вообще же должен отметить, что такие обыски не считаются обязательными. Тут решает суд. Они не обязаны их проводить. И мне совершенно точно известно, что прокурор об этом не просил.

– Значит, это судья.

– Формально я не имею права разглашать подобную информацию. Но вообще-то да. Это судья Браун. Мы можем предположить, что он лично отдал приказ.

Сэмюэл посмотрел на мать. Та не поднимала глаз от чашки с чаем. Такое ощущение, что она больше помешивала чай, чем пила. Деревянная ложка глухо постукивала о края чашки.

– Так что нам делать? – спросил Сэмюэл.

– Я продумываю активную линию защиты против этих новых обвинений. Наверняка мне удастся убедить присяжных в том, что ваша матушка не террористка.

– И что же вы им скажете?

– Ну, во-первых, что потерпевшая сторона, то есть губернатор Пэкер, ничуть не испугался.

– То есть вы призовете его в свидетели?

– Именно так. Держу пари, он не захочет публично признаться в том, что испугался. Тем более вашей матушки. Да еще во время президентской кампании.

– И всё? Это все ваши доводы?

– Я намерен доказать, что поступок вашей матушки – не более чем угрожающий жест, однако она не угрожала губернатору словесно, посредством электронных средств связи, по телевизору или в письменном виде, и это по отдельным причинам, объяснить которые не так-то просто, считается смягчающим обстоятельством. Надеюсь, это поможет скостить ей срок с пожизненного заключения до десяти лет строгого режима.

– Да уж, победа.

– Признаться, я куда лучше разбираюсь в законе о свободе слова. Защищать же тех, кого обвиняют в терроризме, признаться, для меня не сахар, – рассмеялся он.

Оба посмотрели на Фэй: та по-прежнему таранилась в кружку и не обращала на них внимания.

– Прошу прощения, – сказал адвокат и, пробираясь между распоротых подушек, диванных валиков и одежды на вешалках, направился в туалет.

Сэмюэл пошел на кухню. Под ногами хрустело битое стекло. Стол был засыпан продуктами, которые полиция вытрусил из буфета: молотым кофе, хлопьями, овсяными отрубями, рисом. Холодильник сдвинули с места, выключили из розетки, и под ним уже собралась лужа. Фэй прижимала к груди кружку – глиняную, ручной работы.

– Мам, – позвал Сэмюэл. Интересно, подумал он, каково ей сейчас, учитывая, что утром она приняла какие-то мощные транквилизаторы. – Ты меня слышишь?

Казалось, Фэй оцепенела и ничего не замечает. Даже чай помешивала машинально, на автомате. Наверно, этот обыск вверг ее в ступор, подумал Сэмюэл.

– Мама, что с тобой? Ты меня слышишь?

– Этого не должно было случиться, – наконец пробормотала Фэй. – Так не должно было быть.

– Да что с тобой?

Фэй помешивала чай, глядя в кружку.

– Какая же я дура.

– Ты-то тут при чем? – удивился Сэмюэл. – Это я во всем виноват. Не надо было ездить к судье: я только все испортил. Прости меня, пожалуйста.

– Я совершила кучу ошибок, – Фэй покачала головой. – Одну за другой.

– Слушай, мы что-нибудь придумаем. Элис советовала нам уехать из города, а может, даже из страны.

– Да, теперь я ей верю.

– Хотя бы ненадолго. Пока Браун не уйдет на пенсию. Чтобы он понял: суда придется ждать годами. Надо избавиться от него, добиться, чтобы дело взял другой судья.

– И куда же мы поедem? – спросила Фэй.

– Не знаю. В Канаду. В Европу. В Джакарту.

– Да никуда, – Фэй поставила кружку на стол, – мы не сможем уехать. Меня же обвиняют в терроризме. Меня просто-напросто не пустят в самолет.

– Блин, точно.

– Так что придется положиться на Саймона.

– Положиться на Саймона? Надеюсь, мы найдем выход получше.

– А что еще остается?

– Элис сказала, что судья ни за что не отступится. Что он твердо намерен упечь тебя за решетку до конца твоих дней. И это не шутка.

– Я и не думала, что это шутка.

– Он сказал, что из-за тебя стал инвалидом. Что ты ему сделала?

– Ничего. Я понятия не имею, о чем он. Честно.

Из туалета донесся шум воды, и вышел Саймон. Рукава его спортивного пиджака усеивали капли воды.

– Профессор Андерсон, сэр, я так рад, что вы приехали. Я как раз хотел с вами поговорить. О вашем письме. О письме судье, которое вы наверняка все это время писали, не жалея сил.

– Да, конечно. И что насчет письма?

– Я хотел лично поблагодарить вас за труды, сэр, за то, что вы потратили столько времени, но должен сообщить, что мы больше не нуждаемся в ваших услугах.

– В моих услугах? Вы так говорите, будто увольняете меня с работы.

– Дело в том, что нам больше не нужно это письмо.

– Но мама в беде.

– Да, безусловно.

– Ей нужна моя помощь.

– Ей действительно нужна помощь, сэр. Но не ваша.

– Это еще почему?

– Как бы помягче сказать? Я пришел к убеждению, сэр, что вы едва ли способны ей помочь. Боюсь, от вашей помощи будет только хуже. Разумеется, я имею в виду тот скандал.

– Какой еще скандал?

– В университете, сэр. Это ужасно.

– О чем вы?

– А, так вы еще не видели? О господи. Прошу прощения, сэр. Вечно я приношу вам дурные вести. Ха-ха. Вам бы надо почаще проверять электронную почту или посмотреть городские новости.

– Саймон!

– Да-да, я все понимаю. Вкратце дело вот в чем: в вашем университете недавно возникла студенческая организация, которая привлекла к себе повышенное внимание. И единственная цель этой организации, если угодно, смысл ее в том, чтобы вас уволили.

– Вы шутите?

– У них есть сайт, и ваши студенты, как бывшие, так и нынешние, охотно делятся и распространяют ссылки на него. Вас выставили “вредным и недоброжелательным человеком”, как говорят пиарщики: хоть сейчас в словарь. Вот потому-то мы больше и не хотим, чтобы вы вступались за мать.

– Но зачем моим студентам нужно, чтобы меня уволили?

– Может, вы лучше сами посмотрите?

Саймон достал из портфеля ноутбук, зашел на сайт: новая студенческая организация под названием СПРОС (“Студенты против растраты общих средств”) доказывала, что преподаватели растрачивают деньги налогоплательщиков. Доказательства? Некий Сэмюэл Андерсон, преподаватель английского языка и литературы, “пользовался служебным компьютером в личных целях”, утверждалось на сайте:

В ходе профилактических работ Центр компьютерной поддержки обнаружил данные, свидетельствующие о том, что профессор Андерсон каждую неделю подолгу играет на рабочем компьютере в “Мир эльфов”. Такое злоупотребление техническими средствами университета недопустимо.

Организация написала о случившемся декану, в СМИ и канцелярию губернатора. Теперь дело переправили в университетскую дисциплинарную комиссию, которая непременно во всем разберется.

– Черт, – выругался Сэмюэл, представив, как рассказывает про “Мир эльфов” седовласым преподавателям философии, риторики и теологии, начисто лишенным чувства юмора. При мысли об этом он покрылся холодным потом: поди-ка объясни коллегам, зачем тебе понадобилось вживаться в образ эльфийского вора. Господи боже мой.

На сайте цитировали слова президента СПРОСа: дескать, студенты должны неусыпно, точно сторожевые псы, следить за тем, чтобы факультет не разбазаривал плату за обучение. Звали студентку, разумеется, Лора Потсдам.

– Да пошло оно все, – Сэмюэл закрыл ноутбук, подошел к большим окнам на северной стене квартиры и посмотрел на зубчатую линию небоскребов вдали.

На ум ему пришел нелепый совет Перивинкла: объявить себя банкротом и смыться в Джакарту. Сейчас ему показалось, что в этом есть смысл.

– Надо сматываться, – произнес Сэмюэл.

– Прошу прощения?

– Надо сесть в самолет и улететь, – пояснил Сэмюэл. – Бросить работу, прежнюю жизнь, эту страну. Начать все с начала на новом месте.

– Что ж, сэр, воля ваша, однако матушке вашей следует остаться и бороться за свои права в строгих рамках закона.

– Я понимаю.

– Присяга не позволяет мне советовать обвиняемым в преступлении убежать от правосудия.

– Какая разница, – ответил Сэмюэл. – Все равно ей не уехать. Она же в черном списке.

– Нет, сэр, пока еще нет.

Сэмюэл обернулся. Адвокат аккуратно убирал ноутбук в специальное отделение в портфеле.

– Как это?

– Черным списком ведаёт ЦСТ, Центр слежки за террористами, который входит в состав Отделения национальной безопасности ФБР под эгидой Министерства обороны. То есть пресловутый черный список составляют вовсе не в УТБ, то есть Управлении транспортной безопасности, как думают многие, которое относится к Министерству национальной безопасности. Это абсолютно разные ведомства!

– Ну и?

– Подать заявление на включение кого бы то ни было в черный список может лишь уполномоченный сотрудник Министерства юстиции, или национальной безопасности, или Минобороны, или Госдепартамента, или почтовой службы, или же некоторых частных компаний, а поскольку в каждой из этих организаций свои критерии, нормативы, правила и процессы, не говоря уже о разных анкетах, документах, которые зачастую несовместимы с документами и анкетами другого административного ведомства, Центру слежки за террористами приходится все это просматривать, оценивать и стандартизировать. Задачу усложняет тот факт, что у каждого управления и министерства свои компьютерные программы: например, в суде округа Кук стоит Windows, причем не самая последняя версия, а устаревшая, в ФБР же и ЦРУ, насколько мне известно, используют Linux. Друг с другом эти две системы, как вы сами понимаете, не взаимодействуют, куда там!

– К чему вы клоните?

– Вот к чему: сведения о том, что вашу матушку внесли в список террористов, сперва должны обработать в суде первого муниципального района округа Кук, затем передать информацию в региональное отделение ФБР, оттуда в ЦСТ, там ее рассмотрят, получают подтверждение от Группы тактического анализа оперативной информации, перешлют все в Министерство национальной безопасности, а те каким-то образом – кажется, по факсу, – переправят данные в УТБ, и уж после этого разошлют сотрудникам службы безопасности конкретных аэропортов.

– То есть мамы в списке нет.

– Пока нет. Процедура в среднем занимает сорок восемь часов, ну, чуть дольше, если на это время приходится выходные.

– Значит, чисто теоретически мы можем улететь из страны, если сделаем это сегодня.

– Именно так, сэр. Не забывайте, что мы имеем дело с гигантским бюрократическим аппаратом, большинству служащих которого платят преступно мало.

Сэмюэл с матерью переглянулись, та задумалась и, видимо, решив, что дело серьезно, еле заметно кивнула.

– Саймон, спасибо вам большое, – сказал Сэмюэл. – Что бы мы без вас делали.

5

В международном аэропорту О’Хара, в пятом его терминале, пассажиры молча стояли в очередях: очередь, чтобы получить билет, очередь сдать багаж, очередь на досмотр, и все эти очереди двигались так вяло, так неохотно, с такой, прямо скажем, неамериканской ленцой, что всяк присутствовавший в терминале поневоле проникался царящей здесь смесью меланхолии и хаоса. С улицы несло выхлопными газами от такси, внутри пахло мясом всех видов, которое день-деньской готовили в кафе “Хот-доги Голд-Кост”. Между объявлениями службы безопасности акустическое поле заполняла стандартная легкая музыка, чаще всего саксофонные партии. По телевизору крутили новости аэропорта, которые почему-то отличались от обычных новостей. Сэмюэл досадовал, что иностранцы, впервые прилетевшие в Америку, составят впечатление о стране по тому, что встречает их в этом вот терминале: “Макдоналдс” (который приветствовал толпы туристов важным сообщением – бургеры со свиными котлетами и соусом барбекю снова в продаже) да магазинчик со всевозможными безделушками сомнительной полезности: ручки с видеокамерой высокой четкости, кресла для массажа шиацу, беспроводные лампы для чтения, которые можно привести в действие через блютуз, гидромассажные ножные ванночки с подогревом, компрессионные чулки, автоматические штопоры, электрические щетки для чистки гриля, ортопедические лежанки для собак, успокаивающие жилеты для кошек, браслеты и нарукавные повязки для похудения, таблетки от посещения, упаковки с изометрическими заменителями пищи, бутылочки с жидким белком, вращающиеся подставки под телевизор, настенные и настольные держатели для фена, банные полотенца, на одной стороне которых

написано “Лицо”, а на другой “Задница”.

Такая вот Америка.

Мужские туалеты, в которых не нужно дотрагиваться руками ни до чего, кроме собственного тела. Автоматы, которые выплевывают на ладонь капельку стандартного жидкого розового мыла. Раковины, которые выключают воду, когда ты еще толком не успел вымыть руки. Объявления о террористической угрозе – одни и те же, до тошноты. Требования службы безопасности – выложить все из карманов, разуться, достать ноутбук, косметические средства и жидкости убрать в разные сумки, – которые повторялись так часто, что их уже никто не слушал. И все это машинально, бессознательно, заученно и так медленно, что пассажиры впадали в легкий ступор, тупили в телефоны – словом, терпеливо сносили эту пытку для выходцев из стран первого мира, которая появилась исключительно в наше время и была не столько мучительна, сколько утомительна, в особенности для ума и души. Каждого терзало смутное сожаление и подозрение, что можно было бы устроить все как-то лучше, по-людски, да не удалось. Очередь в “Макдоналдс” была молчалива, серьезна и насчитывала аж двадцать человек.

– Что-то наш план не внушает мне оптимизма, – призналась Фэй Сэмюэлу в очереди на досмотр. – Неужели ты правда думаешь, что нас пропустят? Типа “А, так вы бежите из-под суда? Как же, как же, пожалуйста!”

– Тише ты, – попросил Сэмюэл.

– Таблетки больше не действуют, и волнение мчится ко мне вприпрыжку, как потерявшаяся и найденная собака.

– Мы самые обычные пассажиры, мы просто летим в отпуск за границу.

– В какую-нибудь страну, которая не выдает преступников.

– Не бойся. Вспомни, что сказал Саймон.

– Я буквально чувствую, как моя вера в наш план распадается на мелкие кусочки. Словно кто-то взял наш план и натер на сырной терке. Вот ровно такое ощущение.

– Пожалуйста, замолчи и расслабься.

В аэропорт они приехали на такси и купили билеты в один конец на ближайший международный рейс, на котором оставались свободные места, – прямой до Лондона. Посадочные талоны им выдали без вопросов. Так же спокойно приняли у них багаж. Теперь они ждали очереди на досмотр. И когда наконец протянули паспорта и билеты одетому в голубую униформу сотруднику службы транспортной безопасности, который должен был сверить то, как они выглядят, с фотографией, просканировать

штрихкоды на билетах и ждать, пока компьютер не запищит одобрительно и не загорится зеленый свет, компьютер не запищал. Он заревел, как сирена в конце баскетбольного матча, оповещая о том, что игра закончена и победила такая-то команда. Вдобавок загорелся красный свет – на случай, если кто не понял, что значит рев сирены.

Сотрудник выпрямился: ответ компьютера его удивил. Такие напряженные моменты в пятом терминале выдавались нечасто.

– Будьте добры, подождите вон там, – он указал на пустой загончик, границы которого обозначали только грязно-фиолетовые полосы скотча на полу.

Пока они ждали, прочие пассажиры покосились на них раз-другой и снова уткнулись в телефоны. В висевшем над ними телевизоре по каналу новостей аэропорта показывали репортаж о губернаторе Пэкере.

– Они меня узнали, – прошептала Фэй на ухо Сэмюэлу. – Они поняли, что я в бегах. Что я скрываюсь от суда.

– Ты не в бегах и ни от кого не скрываешься.

– Ну разумеется, они меня узнали, – не унималась Фэй. – Не забывай, что мы живем в век информации. У всех служб есть доступ к тем или иным сведениям. Может, они сейчас сидят в какой-нибудь комнатухе с телеэкранами и следят за нами. Где-нибудь в Лэнгли или Лос-Аламосе.

– Едва ли тебя сочтут настолько опасной.

Они смотрели, как очередь медленно проходит досмотр: пассажиры разувались, снимали ремни, заходили в чистые пластиковые камеры, закладывали руки за голову, а серые металлические полурамки по кругу сканировали их тела.

– Таким стал мир после одиннадцатого сентября, – говорила Фэй. – В нем не осталось личных тайн. Органы правопорядка всегда знают, где я нахожусь. Разумеется, меня не пустят в самолет.

– Успокойся. Мы же еще не знаем, в чем дело.

– Тебя, кстати, тоже арестуют. Как соучастника.

– Соучастника в чем? В отпуске?

– Они в жизни не поверят, что мы собрались в отпуск.

– Пособничество и подстрекательство к поездке за границу на выходные? Что же в этом криминального?

– За нами наблюдают в эту самую минуту на экранах компьютеров и телевизоров. Может, где-нибудь в подвалах Пентагона. Трансляция из всех аэропортов мира в режиме реального времени. Мотки оптоволоконного кабеля. Программы для распознавания лиц. Технологии, о которых мы слыхом не слыхали. Не удивлюсь, если они сейчас читают по моим губам.

ФБР и ЦРУ сотрудничают с местными правоохранительными органами.
Так всегда говорят в новостях.

– Но это не выпуск новостей.

– Это пока.

С сотрудником безопасности о чем-то негромко беседовал мужчина с папкой-планшетом, периодически поглядывая на них. Выглядел он точно пришелец из прошлого: квадратный ежик, белая рубашка с коротким рукавом, тонкий черный галстук, волевой подбородок, ярко-голубые глаза – ни дать ни взять, космонавт с “Аполлона”, который теперь работает в аэропорту. На кармане рубашки у него висела бирка, которая при ближайшем рассмотрении оказалась ламинированной карточкой с фотографией бирки.

– Он говорит о нас, – сказала Фэй. – Сейчас что-то будет.

– Успокойся.

– Помнишь, я рассказывала тебе про нёкка?

– Про какого еще нёкка?

– Ну, ту историю про лошадь.

– Ах да. Белая лошадь, которая заманивала детей покататься, а потом топила.

– Именно.

– Отличная сказка для девятилетнего мальчика, ничего не скажешь.

– Ты помнишь, к чему я тебе это рассказывала?

– К тому, что самые любимые ранят больше всего.

– Да. Люди становятся друг другу нёкками. Порой даже сами того не зная.

– К чему ты это?

Мужчина с планшетом направился к ним.

– К тому, что я стала для тебя нёкком, – пояснила Фэй. – Ты любил меня больше всего на свете, а я причиняла тебе боль. Ты меня как-то спросил, почему я бросила вас с отцом. Вот поэтому.

– И зачем ты сейчас мне об этом говоришь?

– Чтобы успеть рассказать.

Мужчина с планшетом пересек фиолетовую черту и откашлялся.

– Боюсь, у нас возникла проблема, – на удивление бодро сообщил он: таким тоном обычно разговаривают с клиентами по телефону специалисты из отдела обслуживания, которые искренне любят свою работу. Смотрел он при этом не в глаза собеседникам, а в блокнот. – В общем, похоже, вы в черном списке, – смущенно произнес он, точно в этом была его вина.

– Да, конечно, прошу прощения, – сказала Фэй. – Мне следовало догадаться.

– Нет, не вы, – удивленно ответил мужчина. – В списке не вы, а он.

– Я? – поразился Сэмюэл.

– Да, сэр. Тут так написано, – он постучал по блокноту. – Сэмюэл Андресен-Андерсон. Полный запрет на любые перелеты.

– Каким образом я оказался в черном списке?

– Ну, – мужчина перелистал блокнот, словно впервые видел все, что там написано, – вы же недавно были в Айове?

– Да.

– И заезжали на завод “Кемстар”?

– Да, по дороге.

– И вы там, – мужчина понизил голос, словно собирался сообщить нечто неприличное, – вы там фотографировали?

– Да, сделал пару кадров.

– Ну вот, пожалуйста, – мужчина пожал плечами, словно ответ был очевиден.

– И зачем ты фотографировал завод? – удивилась Фэй.

– Да, – подал голос мужчина с блокнотом, – зачем?

– Сам не знаю. Ностальгия накатила.

– И вы из ностальгии сфотографировали завод? – сотрудник службы безопасности подозрительно нахмурился. Было ясно, что он ни на секунду не поверил Сэмюэлу. – Это зачем же?

– У меня там дед работает. Точнее, работал.

– Это правда, – подтвердила Фэй.

– Да я только правду и говорю. Я ездил навестить деда и сфотографировал кое-какие места, которые помню с детства. Старый дом, старый парк, ну и старый завод. И совершенно не понимаю, почему меня включили в черный список за то, что я фотографировал завод по переработке кукурузы?

– Видите ли, дело в том, что на таких предприятиях используют очень опасные ядохимикаты. К тому же завод стоит прямо на берегу Миссисипи. Поэтому ваш визит вызвал, – тут мужчина показал пальцами в воздухе кавычки, – определенные опасения с точки зрения государственной безопасности.

– Понятно.

Мужчина перевернул страницу блокнота.

– Вот тут написано, что служба безопасности завода заметила вас в камеру видеонаблюдения, а когда к вам подошла охрана, вы тут же сбежали.

– Сбежал? Ничего подобного. Я просто уехал. Сфотографировал, что хотел, и все. А охрану даже не видел.

– Я бы так же сказал, если бы убежал, – заметил мужчина, и Фэй согласно кивнула.

– Да, вы правы, – ответила она.

– Может, хватит уже? – попросил Сэмюэл. – Так что же, меня теперь никогда не пустят в самолет? Вы это хотите сказать?

– Я лишь хочу сказать, что сегодня вы никуда не полетите. Однако вы можете принять меры, чтобы вас убрали из списка. Зайдите на сайт.

– На какой сайт?

– Или позвоните по бесплатному номеру горячей линии, – продолжал мужчина. – Потом вам придется подождать месяца полтора-два. Ну а пока, боюсь, мне придется препроводить вас из аэропорта.

– А мать?

– Как ей будет угодно. Она же не в списке.

– Понятно. Подождете минутку?

– Да, конечно! – ответил сотрудник безопасности, отошел за фиолетовую ленту, встал вполоборота к ним, сцепил перед собой руки в замок и принялся медленно покачиваться вперед-назад, как человек, который насвистывает себе под нос какую-то мелодию и пританцовывает под нее.

– Может, ну его, – прошептала Фэй. – Поехали домой. Бог с ним, с судьей, пусть делает что хочет. В конце концов, я это заслужила.

Сэмюэл представил, как мать сажают в тюрьму, а он вернется к обычной своей жизни: с работы его уволят, и он останется один, в долгах, день-деньской в виртуальном тумане.

– Уезжай, – ответил он матери. – Я приеду к тебе, как только смогу.

– Не дури, – возразила Фэй. – Ты хотя бы представляешь, что судья с тобой сделает?

– Куда меньше, чем сделал бы с тобой. Тебе нужно уехать.

Фэй впилась в него взглядом, словно думала, что еще ему возразить.

– Не спорь, – добавил Сэмюэл. – Иди.

– Хорошо, – согласилась Фэй. – Только давай без соплей, как в мелодрамах про детей и родителей, договорились? Ты же не будешь плакать?

– Я не буду плакать.

– Я ведь никогда не умела тебя утешать.

– Хорошего тебе полета.

– погоди, – Фэй схватила его за руку. – Я хочу кое-что прояснить. Если мы сейчас расстанемся, мы некоторое время не сможем общаться. Вообще.

– Я знаю.

– Ты к этому готов? Выдержишь?

– Тебе нужно мое согласие?

– Да. Согласие на то, что я тебя брошу. Опять. Во второй раз. Да, мне это нужно.

– Куда ты поедешь?

– Пока не знаю, – ответила Фэй. – В Лондоне решу.

По телевизору над ними в аэропортовой программе новостей после рекламной паузы возобновился репортаж о предвыборной кампании Пэкера. Похоже, в Айове он с самого начала выбился в лидеры гонки, сообщили в передаче. Видимо, нападение в Чикаго существенно повысило его шансы на успех.

Фэй и Сэмюэл переглянулись.

– Как мы только в это влипли? – спросил Сэмюэл.

– Это все из-за меня, – ответила Фэй. – Прости.

– Лети уже, – сказал он. – Вот тебе мое согласие. Беги отсюда.

– Спасибо, – Фэй взяла сумку, оглянулась на Сэмюэла, бросила сумку на пол, крепко обняла его и уткнулась лицом ему в грудь. Сэмюэл не знал, что делать: Фэй никогда прежде так его не обнимала. Наконец она судорожно вздохнула, как пловец, который собирается нырнуть, и отпустила его.

– Веди себя хорошо.

Фэй похлопала его по груди, взяла чемодан и направилась к сотруднику службы безопасности, который, как ни в чем не бывало, пропустил ее. Мужчина с блокнотом спросил Сэмюэла, готов ли он уйти. Сэмюэл же провожал взглядом мать: после ее объятия его била легкая дрожь. Он прижал ладонь к тому месту, куда Фэй уткнулась лицом.

– Сэр, вы готовы? – спросил мужчина с блокнотом.

Сэмюэл открыл было рот, чтобы ответить: да, готов, – как вдруг услышал знакомое имя: ухо само его выхватило из повсеместного и обычно неразличимого гула аэропорта. Имя прозвучало в телевизоре над головой: Гай Перивинкл.

Сэмюэл поднял глаза, чтобы проверить, не ослышался ли, и увидел Перивинкла собственной персоной: тот сидел в студии программы новостей и беседовал с ведущими. Под именем его стояла подпись: “Консультант предвыборной кампании Пэкера”. Ведущие спрашивали Перивинкла, что побудило его взяться за это дело.

– Порой народу кажется, что он заслужил взбучку, порой ему хочется ласки, – пояснил Перивинкл. – Когда ему хочется ласки, он голосует за демократов. К чему я клоню? К тому, что сейчас, сдается мне, как раз

настал черед взбучки.

– Сэр, пора идти, – подал голос мужчина с блокнотом.

– Минутку.

– Консерваторы лучше, чем кто-либо, понимают, что сейчас нам нужна хорошая взбучка. Понимайте, как хотите, – рассмеялся Перивинкл, а следом за ним и ведущие. Держался он очень естественно. – То есть сейчас страна видит себя нашкодившим ребенком, – продолжал он. – На самом деле, когда люди голосуют, ими подсознательно движут детские травмы. Есть масса исследований на эту тему.

– Сэр, вам правда пора, – мужчина с блокнотом понемногу терял терпение.

– Да-да, конечно.

И Сэмюэл в сопровождении сотрудника безопасности проследовал от телевизора к выходу из аэропорта.

Перед тем как выйти на улицу, он обернулся и заметил, что мать собирает вещи по ту сторону зоны контроля. Она не взглянула на него, не махнула ему рукой. Просто взяла вещи и ушла. Так Сэмюэлу второй раз в жизни довелось увидеть, как мать уходит прочь, исчезает, чтобы уже не вернуться.

Часть девятая. Революция

Конец лета 1968 года

1

Бар на первом этаже гостиницы “Конрад Хилтон” отделяет от улицы витражное окно с толстыми зеркальными стеклами, сквозь которое снаружи не проникает ни звука, кроме совсем уж громких и близких криков или рева сирен. Парадный вход “Хилтона” охраняет отряд полиции, а за ним, в свою очередь, наблюдает масса агентов спецслужб, которые следят, чтобы в “Хилтон” пропускали только тех, кто живет в гостинице и не представляет опасности: делегатов, их жен, сотрудников предвыборных штабов разных кандидатов, самих кандидатов, Юджина Маккарти и вице-президента, все они здесь, и вдобавок к ним деятели культуры, пусть и не пользующиеся широкой известностью, но все же минимум двое полицейских узнали Артура Миллера и Нормана Мейлера. В баре сегодня полным-полно делегатов, и свет специально притушили, чтобы в уютном полумраке было привольнее выпивать и говорить о политике. За столиками в кабинках мужчины серьезного вида что-то негромко обсуждают, обещают, торгуются. У каждого сигарета, почти у всех бокал мартини, звучит оркестровый джаз – скажем, Бенни Гудмен, Каунт Бэйси, Томми Дорси, – достаточно громко, чтобы не было слышно, о чем говорят за соседним столом, но не настолько, чтобы приходилось кричать. По телевизору над стойкой транслируют новостной канал CBS. Делегаты ходят по бару, пожимают руки знакомым, похлопывают друг друга по спине: на таких мероприятиях всегда собираются одни и те же. Вентиляторы на потолке проворно поднимают и разгоняют сигаретный дым.

Люди, не сведущие в политике, порой брюзжат, что настоящие решения принимают в темных прокуренных комнатах: так вот это одна из них.

За стойкой сидят двое мужчин, к которым никто даже не думает приближаться: зеркальные солнечные очки, черные костюмы, явно агенты секретной службы после дежурства. Они смотрят новости и пьют что-то светлое и прозрачное. Гул в баре моментально стихает, едва какой-то хиппи прорывается сквозь оцепление, мчится по Мичиган-авеню, и ловят его уже у самой зеркальной витрины бара, так что сидящие внутри – все,

кроме двух секретных агентов – замолкают и наблюдают за происходящим на улице, причем из-за витражного стекла вся сцена кажется размытой: полицейские в голубой форме бросаются на бедолагу, валят на землю, лупят дубинками по спине и ногам, при этом в баре не слышно ничего, кроме бормотания старика Кронкайта по CBS да “Голубой рапсодии” в исполнении Глена Миллера.

2

Высоко над ними, в люксе на верхнем этаже гостиницы “Конрад Хилтон” вице-президент Хьюберт Х. Хамфри собирается принять душ.

В третий раз за день и во второй по возвращении со стадиона. Он велит горничной включить воду, и обслуга смотрит на него с удивлением.

Утром на стадионе Три Ха репетировал речь. Обслуга за глаза называет его “Три Ха”, но агенты спецслужб обычно обращаются к нему “мистер вице-президент, сэр” – ему так больше нравится. На стадион поехали, чтобы вице-президент постоял на сцене, представил, что перед ним толпа и он говорит речь, подумал о хорошем, как учили его консультанты по вопросам управления, вообразил зрителей на этом просторе, на этом обширном пространстве, куда поместятся все жители родного его городка и еще много-много тысяч человек, и он мысленно репетировал речь, наслаждался аплодисментами, старался мыслить позитивно, повторял про себя: “Они хотят, чтобы я победил, они хотят, чтобы я победил”, на деле же не мог думать ни о чем, кроме запаха. Характерная вонь животных испражнений, к которой примешивался сладковатый запах крови и моющих средств: этот запах окутывал все скотные дворы. Да уж, выбрали место для съезда.

Вся его одежда пропахла этим, хотя он уже сменил костюм. Воняют волосы, ногти. Если он не избавится от этой вони, наверно, сойдет с ума. Надо еще раз принять душ, а обслуга пусть себе думает, что хочет.

3

Тем временем Фэй Андресен в подвале разглядывает тени на стене. Она сидит не в городской тюрьме – скорее в импровизированной клетке, которую наскоро соорудили в кладовой гостиницы “Конрад Хилтон”. Камеры огорожены не решетками, а сеткой-рабицей. Почти всю ночь ее мучил приступ паники. Фэй сидит на полу. Ее сфотографировали, сняли отпечатки пальцев, отволокли в эту камеру и заперли дверь. Фэй с мольбой кричала в темноту, мол, это какая-то ужасная ошибка, плакала, представляя, что будет, если семья узнает, что ее арестовали (да еще за

проституцию!), ее трясло от страха, так что Фэй свернулась клубочком в углу, слушала упорный стук собственного сердца и уговаривала себя, что не умирает, хотя ей и казалось, что именно так и чувствует себя умирающий.

После третьего или четвертого приступа ее охватило странное спокойствие и смирение: наверно, она просто выбилась из сил. Фэй измучилась. Всю ночь ее от страха сводили судороги, и теперь все тело гудело. Фэй лежала на спине, надеясь заснуть, но лишь таращилась в темноту, пока сквозь единственное окно в подвал не просочились первые тусклые отблески зари. Многослойное матовое стекло рассеивало, приглушало, заслоняло сизый болезненный свет, какой бывает глухой зимой. Самого окна Фэй не видит, но видит свет от него на дальней стене. И тени прохожих. Сперва нескольких, потом многих, целой толпы проходивших мимо людей.

Дверь открывается, и появляется коп, который арестовал ее вчера вечером, – коротко стриженный здоровяк. Ни жетона, ни бирки с именем, ни каких бы то ни было опознавательных знаков на нем по-прежнему нет. Фэй встает на ноги.

– В общем, варианта у тебя два, – говорит коп.

– Это какая-то ошибка, – отвечает Фэй. – Недоразумение.

– Первый: ты немедленно уедешь из Чикаго, – продолжает коп. – Второй: ты остаешься в Чикаго и идешь под суд за проституцию.

– Но я же ничего не сделала.

– И за наркотики. Ты же под наркотой. Я про те красные таблетки, которые ты приняла. Как думаешь, твой папа обрадуется, когда узнает, что ты шлюха и наркоманка?

– Кто вы? Что я вам сделала?

– Уедешь из Чикаго – и дело с концом. Я тебе прямо говорю: уезжай, и все будет хорошо. Но если я еще хоть раз тебя здесь поймаю, ты будешь жалеть об этом до конца своих дней.

Полицейский трясет решетку, проверяя на прочность.

– Я оставлю тебя тут на выходные, чтобы ты обо всем подумала, – говорит он. – Приду, когда закончатся протесты.

Он выходит и запирает за собой дверь. Фэй садится на пол и снова глазеет на тени. Шествие наверху в самом разгаре – так думает Фэй, глядя на тени на противоположной стене. Тонкие тени, похожие на перевернутые смыкающиеся лезвия ножниц, – это наверняка ноги, думает Фэй. Шагают люди. Должно быть, город уступил и разрешил демонстрацию. Потом раздается грохот, окно заслоняет огромная тень, и Фэй решает, что это

пикапы со студентами, которые собрались на марш протеста и машут самодельными флагами с пацификами. Она радуется за них: значит, Себастьяну и остальным удалось добиться своего и самая массовая демонстрация года – да что там, десятилетия, – все-таки состоялась.

4

Но тени на стену отбрасывают вовсе не шагающие мимо студенты. А транспортеры с бойцами Национальной гвардии, в руках у которых винтовки со штыками. Нет никакой демонстрации. Город не уступил. Тени, которые видит Фэй, отбрасывают копы, перемещающиеся туда-сюда, чтобы сдержать скопившуюся на улице орущую толпу демонстрантов. На случай, если кому-то из них вздумается двинуться шествием по улице, к радиаторам транспортеров приделаны решетки из колючей проволоки, чтобы демонстранты сразу поняли: им здесь не место.

Тысячи и тысячи демонстрантов собираются в Грант-парке. Аллен Гинзберг сидит, скрестив ноги по-турецки, на траве и, подняв ладони к небу, прислушивается к Вселенной. Вокруг него беснуется революционная молодежь. Брызгая слюной, юнцы ругают полицейское государство, ФБР, президента, буржуазных убийц, этих жалких бессердечных бесполок материалистов, под миллиардами тонн бомб которых гибнут дети и земледельцы. “Пора начать войну на улицах, – кричит в мегафон какой-то стоящий поблизости парнишка. – Мы заблокируем Чикаго! Долой полицейских! Каждый, кто не с нами, белая буржуазная свинья!”

Гинзберг вздрагивает. Он вовсе не хочет, чтобы эти дети извели войну, страдания, отчаяние, кровавые дубинки полицейских и смерть. При мысли об этом у него сводит кишки, точно в живот вонзилась колючая проволока. Нельзя отвечать насилием на насилие – так может думать только робот. Или президент. Или адепт мстительной монотеистической религии. Куда лучше, если десять тысяч обнаженных юнцов и юниц пройдут по улицам с транспарантами:

**ПОЛИЦЕЙСКИЕ, НЕ БЕЙТЕ НАС!
МЫ И ВАС ЛЮБИМ!**

Или, увенчав себя цветами, воссядут в позе лотоса на траве и, размахивая кипенно-белыми флагами, воспоют нирвану и восславят в стихах своего святого Творца. Вот как нужно реагировать на насилие: красотой, и Гинзбергу хочется сообщить им об этом. Он хочет сказать парнишке с мегафоном: “Вы – та поэзия, которую ищите!” Ему хочется их

успокоить. “Двигайтесь вперед, как вода”. Но он понимает, что этого недостаточно, что это недостаточно радикально, чтобы насытить волчий юношеский аппетит. Гинзберг оглаживает бороду, закрывает глаза, сосредоточивается на телесных ощущениях и отвечает на происходящее так, как может: утробным ревом, великим слогом, священным звуком Вселенной, совершенной мудростью, единственным, что стоит произносить в такие вот времена: “Оммммм”.

Он чувствует во рту горячее священное дыхание, оно музыкой поднимается из легких к горлу, из сердца и внутренностей, желудка, красных кровяных телец и почек, желчного пузыря, гланд и длинных тонких ног, на которых он сидит, – все они издают великий слог. Если замолчать и внимательно прислушаться, если успокоить ум, замедлить стук сердца, то услышишь священный слог во всем – стенах, улице, машинах, душе, солнце. И вот уже ты не поешь священный слог, а он проникает тебе под кожу, ты лишь вслушиваешься в то, как тело тянет звук, который порождало всегда: оммммм.

Слишком образованные дети никак не могут расслышать звук. Потому что думают головой, а не телом. Умом, а не душой. Звук – то, что остается, когда отключаешь рассудок, умаляешь эго. Гинзберг порой сажает детей парами и, возложив руки им на головы, провозглашает их мужем и женой, чтобы заставить задуматься о том, что же будет дальше, в медовый месяц: они так много рассуждают о свободной любви, что не мыслят жизни без разврата. Им нужно понять, что мозг – еще не все. Его так и подмывает крикнуть: “Ваши души налиты свинцом!” Он хочет, чтобы они отогнали неотвязные мысли, с головой погрузились в блаженную молитву. Они старательно бормочут слог, но ничего не понимают. Потому что относятся к нему как к подопытной крысе или стихотворению: разделяют на части, анализируют, объясняют, обнажают нутро. Они полагают, будто слог – ритуал, метафора, символ Бога, и ошибаются. Когда качаешься на волнах в океане, вода не символизирует влагу: она и есть влага, и она тебя держит. Так и слог, утробный вопль Вселенной, точно вода, всепроникающий, бесконечный, совершенный, толика Бога в неизреченной вышине, в горнем мире, выпреннем, высочайшем, недосягаемом, восьмом.

“Оммммм”, – тянет он.

5

Над ними с ревом проносится на север вертолет: сообщают, что по Лейк-Шор-драйв движется импровизированная самочинная процессия: девицы кричат, вскидывают к небу кулаки, шагают прямо по проезжей

части, шлепают по ветровым стеклам машин, зазывая водителей вместе с ними идти на юг, от чего те в большинстве своем отказываются.

Вертолет подлетает к девицам, направляет на них камеру, и все, кто видит это по телевизору – в том числе отец Фэй и ее дюжие грубые дяди, которые как раз собрались в гостиной в городишке на берегу реки в Айове, что отстоит от Чикаго на триста с лишним километров, но связан с ним посредством телевидения, – удивляются: “Так там что же, одни девки?”

В общем, да, в этой группе демонстрантов одни девушки. По крайней мере, так кажется на первый взгляд. Некоторые повязали на лица платки, так что трудно сказать, девушка это или парень. У других такие стрижки, что дядья замечают: “Ну ты глянь, мужик мужиком”. Они как раз смотрят новости по лучшему телевизору, который у них есть – по цветному “Зениту” с диагональю пятьдесят восемь сантиметров, величиной с валун, он, когда включается, глухо булькает, – и делятся впечатлениями с женами и друзьями. Нет, вы только послушайте, что кричат эти девицы! Это же уму непостижимо: они кричат “Хо! Хо! Хо Ши Мин!” и на каждом слове вскидывают кулаки, машины сигналият, а им хоть бы хны, шпарят себе по проезжей части, не дают проехать, эх, надо было сшибить нахалок, как кегли, вздыхают дядьки. То есть им бы хотелось, чтобы машины сбили девушек.

Тут они смущенно косятся на Фрэнка и добавляют: “Ну Фэй-то наверняка там нет”, тот кивает, и все молчат. Наконец один из дядьев разряжает обстановку: “Нет, вы только посмотрите, как она вырядилась!” – и все дружно кивают, неодобрительно вздыхают или кричат, – нет, они вовсе не считают, что девушки все время должны ходить в нарядных платьях, точно собрались на первый в жизни бал, но это уж слишком. По сравнению с этими девками каждая из тех девиц, которые протестовали против конкурса “Мисс Америка”^[42], выглядит как мисс Америка. Вот вам пример: посмотрите хотя бы, во что одета эта девица, которая шагает впереди всех и все время попадает в объективы телекамер, поскольку явно ведет за собой всю толпу. Мало того, что на ней армейская куртка, хотя это уже само по себе стыд, позор и неуважение к Америке. Так эта куртка ей еще и не по фигуре, потому что сшита на мужика: девушку такая одежда не красит. А ведь эта девица наверняка понимала, что ее покажут по телевизору: это какое же впечатление она хотела произвести на зрителей? Не стыдно ей щеголять в мужской-то куртке? Следовательно, заключают дядья, в глубине души она мечтает стать мужиком. Тут у них нет возражений: хочет быть как мужик – так отправьте эту сучку служить во Вьетнам, как мужика, пусть рыщет по джунглям в поисках растяжек,

неразорвавшихся боеприпасов, снайперов, вот тогда и посмотрим, что она скажет про своего ненаглядного Хо Ши Мина.

– Да она, поди, несколько дней не мылась, – хмыкает один из дядьев.

Несколько – это сколько? Ну, дней шесть или около того.

В новостях сообщают, что это некая Элис, студентка университета, известная феминистка: тут дядья фыркают. “Кто бы сомневался”, – бросает один, и все дружно кивают – понятно же, что он имеет в виду.

6

Бар на первом этаже гостиницы “Конрад Хилтон” называется “Хеймаркет”, и это совпадение кажется неслучайным минимум одному из двух секретных агентов, который сидит за стойкой и попивает безалкогольный коктейль.

– Ну помнишь, был такой митинг на Хеймаркет^[43]? – говорит агент А. – Его еще называют “расстрелом на Хеймаркет”. Не помнишь?

Агент Б., чей подбородок нависает над стаканом содовой воды, в которой, к его досаде, нет ни капли бурбона, на все вопросы лишь качает головой.

– Не-а, – отвечает он. – Не помню.

– В Чикаго, в тысяча восемьсот восемьдесят каком-то году. Не помнишь? Рабочие вышли на демонстрацию на площадь Хеймаркет. Ну ты чего, это же историческое событие.

– Я думал, площадь Хеймаркет в Бостоне.

– Здесь тоже есть. Она где-то в двух кварталах к северо-востоку от нас.

– И чего же они требовали? – спрашивает Б.

– Восьмичасовой рабочий день.

– Ха, я бы от такого не отказался.

А. встряхивает бокал, и бармен подливает ему коктейля. Когда А. не при исполнении, это его любимый напиток: простой сироп, лимонный сок и розовая вода. Ее не так-то просто найти, но в баре “Хеймаркет” выбор что надо.

– Ну там, в общем, вышло так, – рассказывает А., – рабочие организовали демонстрацию, шествия, пикеты, потом появилась полиция, напала на них, и кто-то бросил бомбу.

– Жертвы были?

– Несколько.

– Кто бросил бомбу?

– Неизвестно.

– И к чему ты об этом вспомнил?

– Тебе не кажется, что это совпадение? То, что мы сидим в баре “Хеймаркет”?

– Беспорядки в центре города, – Б. указывает большим пальцем за спину, на улицу за зеркальным окном, где собрались тысячи протестующих.

– Вот и я об этом.

– Содом какой-то.

Агент А. косится на коллегу.

– То есть сумбур?

– Ага. Все вверх дном.

– Кое-как.

– Шиворот-навыворот, к гадалке не ходи.

– Тяп-ляп.

– Ерундистика.

– Чепухистика.

Они улыбаются друг другу и с трудом сдерживают смех. Чокаются. Они могли бы вот так перебрасываться фразами целый день. Толпа снаружи кипит и бурлит.

7

То, что кажется овальной прогалиной в толпе, на самом деле лужайка, где сидят десятки демонстрантов. Они наблюдают за Алленом Гинзбергом или вместе с ним тянут “оммммм”, кивают головой, хлопают в ладоши, обратив лицо к небу, точно слушают послание богов. Взволнованную перепуганную толпу его пение успокаивает, как барбитураты. Мерное, монотонное, уверенное, оно действует, словно нежные объятия няньки, которая любит своего питомца. Тем, кто вместе с Гинзбергом распевает “оммммм”, мир кажется куда дружелюбнее. Изреченный священный слог – их защита. На того, кто сидит на земле и повторяет “оммммм”, никто не поднимет руку. Не осмелится обрызгать газом.

Спокойствие охватывает Грант-парк до самых дальних его границ. Стоящих там демонстрантов не видно в толпе, которая кричит на копов и даже, кажется, вырывает булыжники из мостовой, чтобы в неистовом порыве ярости запустить в гостиницу “Конрад Хилтон” просто потому, что все достало, но тут вдруг кто-то сзади легонько касается их плеча, они оборачиваются и встречают чей-то кроткий, спокойный и ласковый взгляд, потому что их, в свою очередь, тоже легонько похлопал по плечу тот, кто стоит сзади, а того – тот, кто сзади, и вся эта длинная цепь ведет к Гинзбергу, который питает всех мощной энергией своей песни.

Мира в его душе хватит на всех.

Они чувствуют, как частичка его песни проникает в самую душу, чувствуют ее красоту и сами становятся красотой. Они сливаются с песней воедино. Они и Гинзберг – одно целое. Они, копы, политики, – одно целое. И снайперы на крышах, и агенты секретных служб, и мэр, и журналисты, и счастливцы в баре “Хеймаркет”, что кивают головами под неслышную на улице музыку, – все они единое целое. Их пронизывает один и тот же свет.

Умиротворение охватывает толпу вокруг поэта и расходится, точно круги по воде, как в хокку Басе, которое так любит Гинзберг: старый пруд, прыгнула в воду лягушка, всплеск в тишине^[44].

Бульк.

8

Девушки по-прежнему шагают на юг. Белые, черные, смуглые. Их лица показывают крупным планом. Девушки скандируют, кричат. Дядя насчитали три типа девиц: с длинными лошадиными лицами, с широкими круглыми лицами и с вытянутыми вперед птичьими лицами. У той, что идет впереди, у этой Элис не лицо, а лошадиная морда, уверяют дядья (ха-ха, найди себе жеребца, ха-ха). Лошадиная морда, еще и вытянутая вперед, точно птичий клюв. По крайней мере, насколько можно судить по той части ее лица, которую не закрывают ни солнечные очки, ни жидкие растрепанные волосенки. На две трети лошадиная морда, на треть птичий клюв – таково, по их мнению, ее место в классификации девичьих лиц.

Правда, в руках у нее оружие, а у девушки с оружием делается совершенно другое лицо. Злоба искажает его до неузнаваемости.

Почти все девицы в толпе вооружены: в руках у них толстые палки, некоторые с острыми ржавыми гвоздями на конце, камни, булыжники, ломы, кирпичи и пакеты с неизвестным содержимым – как думаете, что у них там? Говно, ссаки и менструальная кровь. Фуу. По телевизору говорят, ходили слухи, что радикалы скупают в огромных количествах нашатырь и чистящие средства для духовок, вроде бы из этого делают взрывчатку, хотя на сто процентов дядья не уверены – может, там и другой состав. Но если у кого и обнаружится взрывчатка из чистящих средств для духовок, то у этих девиц, потому что, решают дядья, у девчонок такие средства всегда под рукой.

CBS на миг переключился со старика Кронкайта на прямую трансляцию шествия. Большинство включает канал CBS, чтобы послушать, как старик Кронкайт прокомментирует те или иные события, но дядья довольны, что вместо Кронкайта в прямом эфире трансляция с улиц

Чикаго. А то старик Кронкайт как-то в последнее время подобрел, полевел, задрал нос и надменно, что твой пророк, вещает с высот истинной журналистики или чего уж там. Куда интереснее своими глазами увидеть, как обстоят дела на самом деле, без прикрас.

Вот вам пример: девицы шагают по проезжей части на юг. Это событие. Новости как они есть. Особенно сейчас, когда подъезжает патрульная машина и девицы, вместо того чтобы броситься врассыпную, нападают на полицейских! Разбивают сирену бейсбольными битами! Забрасывают окна камнями! Бедняга полицейский выскакивает в противоположную дверь и – подумать только! – пускается наутек, как мальчишка! Он улепетывает со всех ног, несмотря на то, что это всего лишь девчонки: их там сотни и настроены они решительно. Девицы окружают машину, точно муравьи жука, которого собираются сожрать. Заводила с лошадиной мордой кричит: “Раз-два-взяли!”, и они переворачивают полицейскую машину! Дядья такого отродясь не видали! А девчонки радостно вопят и устремляются дальше, скандируя лозунги. Сирена патрульной машины гудит, но уже не на полную мощность, а тихонько и как-то обиженно. Скулит и жалобно хнычет. Как электронная игрушка, у которой вот-вот сядут батарейки.

Девчонки кричат вслед убегающему полицейскому:

– Эй ты, свинья! Хрю-хрю! Чух-чух!

И это едва ли не лучшее, что дядья видели за месяц по телику.

9

От гостиницы “Конрад Хилтон” до места, где будет съезд, неблизко. Национальный съезд Демократической партии пройдет на стадионе в районе бывших скотных дворов, километрах в семи от гостиницы. Но на стадион и мышь не проскочит: ограждения из колючей проволоки, патрули из бойцов Национальной гвардии, все канализационные люки засмолили намертво, на всех перекрестках блокпосты, даже самолетам закрыли небо над стадионом. Так что как только делегаты окажутся внутри, до них будет не добраться. Потому-то демонстранты и собрались у “Хилтона”, где остановились все делегаты.

Ну и из-за вони, конечно.

Ни о чем другом Хьюберт Хамфри и думать не может. Служащие пытаются ему объяснить, как именно будут проходить дебаты о прекращении войны во Вьетнаме, но стоит вице-президенту обернуться, как он снова чувствует этот запах.

Кому только в голову взбрело проводить съезд возле скотобойни?

Он чувствует их, чувствует их запах, слышит их, бедных животных, которых сгоняют в кучу и уничтожают сотнями каждый час, чтобы накормить процветающую страну. Привозят детенышей, увозят куски мяса. Он чувствует запах свиней, обезумевших от ужаса, висящих на крюках свиней с распоротыми животами, из которых хлещет кровь и лезут кишки. Чувствует запах прозрачного неочищенного нашатырного спирта, которым моют смердящий тухлятиной пол. От ужаса перед смертью звери выпускают крики и вонь, и страх их слышишь и обоняешь. Химический вздох миллионов подавленных животных криков, который ароматизируют и выпускают в воздух, – кислый мясной душок.

Манящий и тошнотворный запах кровопролития. То, как тело откликается на чужую смерть.

Над забором с колючей проволокой высится пятиметровая куча навоза, похожая на вигвам, словно ее накидал какой-то безумный копроман. Куча печется на солнце, и кажется, будто древнее зло выплыло на поверхность из самого плейстоцена. Животная грязь, вонь которой пропитывает воздух, одежду, волосы.

– Что за гадость! – кривится Три Ха, указывая на гору дерьма.

Охранники смеются. Они сыновья фермеров, а он – аптекаря, и с такими вот физиологическими проявлениями прежде сталкивался лишь после того, как их смоят в унитаз и побрызгают в воздухе освежителем. Сейчас же ему хочется сунуть нос себе под мышку. Запах давит, словно он тяжелее воздуха. Как будто моральное разложение целого мира обрело размер и форму здесь, в Чикаго.

– Зажгите спичку! – командует один из агентов товарищам.

От Хамфри по-прежнему воняет. Горничная говорит, что ванная комната готова. Слава богу. Душ ему нужен сейчас не для того, чтобы мыться, а чтобы облегчить боль.

10

Фэй провела в камере почти девять часов, когда появился призрак.

Она стоит на коленях, молитвенно сложив руки, лицом к дальней стене, по которой мелькают тени, и просит Бога о помощи. Обещает сделать все, все что угодно. Пожалуйста, умоляет Фэй, раскачиваясь из стороны в сторону, все, что ты хочешь. Она молится, пока у нее не начинает кружиться голова, она просит тело дать ей поспать, но, закрыв глаза, чувствует себя, точно дрожащая от ярости натянутая гитарная струна. И в таком вот промежуточном состоянии, когда от усталости валишься с ног, но от волнения не можешь заснуть, ей является призрак. Фэй открывает

глаза, чувствует чье-то присутствие, оглядывается и замечает у дальней стены в тусклом синем уличном свете это создание.

Он похож на гнома. Или на маленького тролля. Вообще-то он как две капли воды похож на статуэтку домового, которую много лет назад подарил ей отец. Ниссе. Маленький, толстенький, ростом с метр, не более, косматый, с седой бородой, толстый, со свирепым, как у дикаря, лицом. Стоит у стены, скрестив руки и ноги, и, приподняв брови, скептически смотрит на Фэй, словно призрак – она, а не он.

В другое время она бы до смерти перепугалась, но сейчас у нее просто-напросто нет на это сил.

Я сплю, говорит Фэй.

Так просыпайся, отвечает домовой.

Фэй пытается проснуться. Она знает: если хочешь побыстрее проснуться, нужно понять, что ты спишь. Это всегда ее раздражало: сон хорош тогда лишь, когда знаешь, что это сон. Тогда можно действовать, не думая о последствиях. Лишь во сне она могла ни о чем не беспокоиться.

Ну что? – спрашивает призрак.

Ты ненастоящий, отвечает Фэй, хотя ей вовсе не кажется, что это сон.

Домовой пожимает плечами.

Ты всю ночь умоляла о помощи, а когда помощник наконец пришел, ты его оскорбляешь. В этом вся ты.

Это галлюцинация, говорит Фэй. Из-за тех таблеток.

Слушай, если я тут не нужен, если ты контролируешь ситуацию, тогда удачи. В мире полно людей, которым до зарезу нужна моя помощь. – Он тычет коротким толстеньким пальцем в окно, указывает на улицу за его спиной. – *Прислушайся к ним,* – говорит домовой, и в ту же секунду просторный подвал вдруг наполняет какофония звуков, нестройные голоса перебивают друг друга, умоляют о помощи, просят защиты, голоса юнцов и стариков, женщин и мужчин, словно комната, словно радиовышка, ловит сигналы сразу на всех частотах, и Фэй слышит, как студенты просят защиты от копов, копы просят защиты от студентов, священники молят о мире, кандидаты в президенты просят сил, снайперы надеются, что не придется спускать курок, бойцы Национальной гвардии косятся на штыки и молят о храбрости, и все обещают взамен на безопасность то, что могут дать: клянутся чаще ходить в церковь, исправиться, позвонить родителям или детям, чаще писать письма, жертвовать на благотворительность, быть добрее к чужим, не совершать плохих поступков, бросить курить, бросить пить, быть хорошим мужем или женой, целая симфония благих намерений, которые люди осуществят, если их пощадят в этот жуткий день.

Потом, так же быстро, голоса смолкают, и в подвале снова наступает тишина; последним стихает чье-то мычание – кто-то глухо тянет “оммммммм”.

Фэй встает и смотрит на домового, а тот, как ни в чем не бывало, разглядывает свои ногти.

Ты знаешь, кто я? спрашивает домовой.

Ты наш домовой. Наш *ниссе*.

Можно и так сказать.

А как еще?

Домовой смотрит на Фэй. В его черных глазах читается угроза.

Помнишь истории, которые отец рассказывал тебе о призраках, похожих на камни, лошади или листья? Это все я. Я ниссе, я нёкк, не говоря уже о прочих духах, сущностях, демонах, ангелах, троллях, ну и так далее.

Не понимаю.

И не поймешь, зевает домовой. Вы, люди, пока так ничего и не знаете. Вас вообще занесло не в ту степь.

11

Девушки теперь вместо “Хо! Хо! Хо Ши Мин!” кричат “Свиньям смерть! Свиньям смерть!”, и дядья сидят у экрана как приклеенные, потому что девушки, после того как перевернули полицейскую машину, явно почувствовали, что теперь им сам черт не брат, задирают встречающихся по пути полицейских – кричат им: “Эй, свинья! Чух-чух!” и тому подобное. Дядья же не выключают телевизор, кричат на кухню женам: “Дорогая, иди скорее, ты только посмотри на это”, и подумывают, не обзвонить ли всех друзей-приятелей, чтобы спросить, смотрят ли, – так вот все это лишь потому, что *всего в паре кварталов этих сучек уже караулит полиция и Национальная гвардия. Это ловушка. Отряды поджидают западнее маршрута шествия, чтобы атаковать с флангов, наброситься, рассечь этот клин (ха-ха), девушки же пока ни сном ни духом.*

Дядьям же это показала камера на вертолете.

И сейчас они благодарны ей, как мамочке в день рождения. Эх, жаль, нельзя все это записать, чтобы потом пересматривать снова и снова, а может, даже вставить в памятный альбом или какую-нибудь капсулу с посланием к потомкам, запустить ее в космос на спутнике, чтобы сообщить марсианам и прочим, какие веселые штуки показывают на Земле по телевизору. И если когда-нибудь марсиане высадятся из летающих тарелок на лужайке у Белого дома, обязательно скажут: “Эти дуры сами

напросились”.

Девушек поджидает добрая сотня копов в защитном снаряжении, а за ними – взвод бойцов Национальной гвардии в противогазах, с винтовками со штыками, а позади них высится жуткая железная машина с какими-то форсунками спереди, похожая на ледовый комбайн из будущего: журналисты по телеку поясняют, что эта штука распыляет газ. Слезоточивый газ. Тысячи литров газа.

Бойцы караулят девиц за углом, дядья с нетерпением ждут, что будет, словно стоят там же, за углом, бок о бок с копами, и в эту минуту – несмотря на то что дядья в сотнях километров оттуда и всего лишь сидят на диване да тарашатся в электронную коробку, а еда тем временем стынет, – счастливы, как никогда в жизни.

Вот вам будущее телевидения: полное ощущение, будто ты в самой гуще схватки. Старик Кронкайт, к сожалению, не понимает, чем телек отличается от газеты с ее устаревшими правилами.

Камера на вертолете открывает новые возможности.

Она быстрее, она мгновенно откликается на происходящее, она позволяет толковать случившееся и так, и эдак – и никаких тебе посредников между новостью и впечатлением. Теперь дядья реагируют на событие тогда же, когда оно происходит.

Полицейские трогаются с места. В шлемах, с дубинками наперевес, они мчатся вперед, прибавляя ходу, и когда девицы понимают, что сейчас будет, огромная их колонна разбивается на части, точно камень от пули, так что куски разлетаются в разные стороны. Одни бросаются бежать туда, откуда пришли, но дорогу им преграждают автозак и отряд полицейских, которые предвидели, что так и будет. Другие перепрыгивают через ограждение на противоположную сторону проезжей части и во весь дух несутся к озеру. Тем же, кто в гуще толпы, не убежать. Они натыкаются друг на друга, падают, точно слепые щенята, размахивают руками и ногами, этих полиция хватает первыми, лупит девиц дубинками по ногам, по мясистым ляжкам, по хребту. Копы сбивают девушек с ног, и те валятся на землю как подкошенные: удар – и вот уже девушка складывается пополам и падает. Сверху все это напоминает рисунки из школьных учебников по биологии, на которых иммунная система убивает чужеродные агенты, окружает и обезвреживает их в крови. Копы врезаются в толпу, и все перемешиваются. Дядья видят, как шевелятся губы девушек, и жалеют, что за рокотом вертолета не слышно криков. Копы тащат девиц в автозак – кого за руки, кого за волосы, кого за одежду, и дядья, завидев это, моментально возбуждаются: вдруг у какой из

хиппушек порвется платье и мелькнет голое тело. Кое у кого разбита голова и хлещет кровь. Некоторые оглушенно сидят на асфальте и ревут, кто-то валяется на обочине без сознания.

Камера на вертолете выискивает заводицу, ту девицу по имени Элис, но она убежала к югу, к Грант-парку, – вероятно, чтобы присоединиться к хиппи у гостиницы “Конрад Хилтон”. А жаль. Вот бы увидеть, как ее поймают. Национальная гвардия пока не вмешивается. Бойцы с винтовками в руках наблюдают за происходящим, и вид у них угрожающий. Тем временем огромная машина со слезоточивым газом, громыхая, ползет на юг, к собравшимся в парке толпам. Девиц почти всех разогнали. Некоторые улепетывают по песчаному берегу озера на глазах у изумленных отдыхающих и спасателей. Вертолет с камерой устремляется на юг, чтобы следить за тем, что происходит в парке, но тут чертов CBS переключается на Кронкайта, который побледнел и, похоже, никак не может оправиться от потрясения – значит, видел все то же, что и дядья, но сделал совершенно другие выводы.

– Полиция Чикаго, – говорит Кронкайт, – бандиты и убийцы.

Вот так так! Да в чем он их обвиняет? Один из дядьев вскакивает с кресла и бросается звонить в штаб-квартиру CBS. И ему плевать, во сколько обойдется междугородный звонок: пусть вправят старику Кронкайту мозги, за это никаких денег не жалко.

12

Чарли Браун, без именного жетона и отличительных знаков, высматривает в толпе Элис, он знает, что Элис должна быть здесь, на этом девичьем шествии, он машет дубинкой направо-налево и, когда та бьет по лбу очередной хиппушки, чувствует себя Эрни Бэнксом^[45].

Как Эрни Бэнкс в ту долю секунды, когда в очередной раз выбил хоум-ран, но толпа еще не взорвалась радостными криками, он еще не перешел на другую базу и даже не сошел с домашней, мяча еще не видно в воздухе, непонятно, по какой траектории он полетит и перемахнет ли через заросшую плющом ограду, и в этот миг на всем стадионе никто, кроме самого Эрни Бэнкса, еще не знает, что это хоум-ран. Он сам еще даже не поднял глаза, не проводил мяч взглядом, он стоит, наклонив голову, и смотрит туда, где всего лишь мгновение назад был мяч, и лишь по тому, как вздрогнула бита, да по ощущению в руках понимает: удар был точный. Мяч словно и не сопротивлялся: он ударил ровно по середине мяча серединой биты. И вот в этот-то миг, когда ничего еще не произошло, ему не терпится поделиться со всеми секретом, который пока что знает только

он. Он только что выбил хоум-ран! Но об этом пока что никто не догадывается.

Вот о чем думает Браун, охаживая хиппушек по голове дубинкой. Представляет, что он Эрни Бэнкс.

Между прочим, хорошенько ударить кого-то по лбу тоже не так-то просто. Тут нужны сила и сноровка. Три раза промахнешься, ударишь по касательной, аж дубинка задрожит с досады. Хиппи уворачиваются. Они же не будут стоять и ждать, пока ты им врежешь. Вообще непонятно, что они еще выкинут. Они закрываются ладонями, руками. Норовят в последний миг улизнуть.

Так что на четыре удара три промаха, прикидывает Браун. В среднем удастся лишь один из четырех. Результаты, конечно, похуже, чем у Эрни, но тоже ничего.

А иногда все складывается как нельзя лучше. Он идеально предугадывает движения хиппи: дубинка ловко ложится в руку, с глухим чмоканием опускается на голову хиппи – такой звук бывает, когда стучишь по арбузу, – и вот уже хиппушка опомниться не может, не понимает, что происходит, ее в буквальном смысле *как громом поразило*, так что мозги брызнули, и вот уже хиппушка валится на землю, как дерево без корней, падает, блюет, теряет сознание, Браун знает, что это сейчас случится, но еще не случилось, и ему хочется, чтобы этот миг продолжался вечно. Вот бы запечатлеть это мгновение на открытке, сохранить в снежном шаре: хиппи, которая вот-вот упадет, а над ней торжествующий коп, который только что хорошенько ей врезал, так что дубинка описала идеальный полукруг и по инерции летит дальше, при этом выражение лица у копа точь-в-точь как у Эрни Бэнкса после очередного удара точнехонько в центр поля: опьяненное успехом.

13

Фэй измучилась. Она не спала больше суток. Она повернулась к комнате спиной, прижалась к стене и изо всех сил старается успокоиться, но того и гляди расплачется от усталости.

Помоги мне, просит она.

Домовой сидит на полу снаружи ее металлической клетки и ковыряет ногтем в зубах.

Я мог бы тебе помочь, отвечает он. *Мог бы тебя отсюда вытащить. Стоит мне только захотеть.*

Пожалуйста, умоляет Фэй.

Ладно. А ты мне что? Чтобы я не зря на тебя время тратил. Развлеки

меня.

Фэй клянется исправиться, помогать бедным, ходить в церковь, но домовой лишь улыбается.

Какое мне дело до бедных? отвечает он. *Какое мне дело до церкви?*

Я пожертвую деньги на благотворительность, предлагает Фэй. Я буду помогать бедным, я дам им денег.

Домовой фыркает, брызжа слюной. *Придумай чего получше. Ишь, дешево отделаться захотела.*

Я вернусь домой, обещает Фэй. Отучусь в двухгодичном колледже, а когда страсти улягутся, вернусь в Чикаго.

Отучишься в двухгодичном колледже? И все? Слишком легкое наказание за все твои проступки.

Да что я такого сделала?

Какая разница. Но если тебе так уж интересно, я скажу. Не слушалась родителей. Задирала нос. Зарилась на чужое. Грешила помыслами. А не далее, как вчера вечером, вообще собиралась вступить в добрачную связь, неужели ты забыла?

Фэй понуро соглашается: отпираться нет смысла.

Ну вот видишь. К тому же ты под кайфом. Ты сейчас под кайфом. Ты делила ложе с другой женщиной. Продолжать или хватит? Хочешь услышать еще? Может, мне напомнить, что ты вытворяла с Генри на берегу реки?

Сдаюсь, говорит Фэй.

Домовой потирает пухлой рукой подбородок.

Какой уж тут университет, добавляет Фэй. Мне лучше вернуться домой и выйти замуж за Генри.

Домовой приподнимает бровь. *Продолжай.*

Я выйду замуж за Генри, сделаю его счастливым, брошу университет, и мы заживем, как все люди, как от нас хотят.

Призрак улыбается. Зубы у него неровные, обломанные, как камешки.

Продолжай, велит домовой.

14

Старик Кронкайт берет интервью у мэра, бандитского вида толстяка с обвислыми щеками и двойным подбородком, диктатора Чикаго. Кронкайт задает ему вопросы в прямом эфире, но витает где-то далеко. Слушает ответы вполуха. Да и какая разница? Мэр – дока каких поискать. Он и без журналистских вопросов не собьется с темы, на которую хотел поговорить: сейчас это огромная опасность, которую представляют для полиции,

простых американцев и *нашей демократии в целом* заезжие агитаторы, неместные радикалы, что устраивают беспорядки в его *законопослушном городе*. Мэр специально подчеркивает, что зачинщики явно со стороны. Видимо, хочет внушить чикагским избирателям: что бы в городе ни творилось, он тут ни при чем.

Даже если бы старик Кронкайт слушал внимательно и задавал трудные вдумчивые вопросы, мэр все равно увильнул бы и, как это водится у политиков, принялся отвечать на вопрос, на который ему хотелось бы ответить. А напирать и настаивать, дескать, вы не ответили на мой вопрос, значит выставить себя идиотом. По крайней мере, по телевизору это будет выглядеть именно так. Как будто ведущий травит этого славного парня, который разглагольствует на тему, вроде бы связанную с вопросом. Именно так подумает зритель, который одним глазом следит за Кронкайтом, вторым – за носящимися вокруг детьми, да вдобавок режет солсберийский бифштекс из телеужина. Те, кто досаждают политикам, вызывают досаду: ни один американец не включит телевизор, чтобы посмотреть на того, кто вызывает у него досаду. Кровь стынет в жилах при мысли о том, что политики наострились манипулировать телевидением ловчее профессиональных тележурналистов. Поняв это, старик Кронкайт представил себе политиков будущего. И содрогнулся от страха.

Так что он делает вид, будто берет интервью у мэра, хотя отлично понимает, что главная и единственная его задача – подносить микрофон ко рту гостя, чтобы казалось, будто в новостях на CBS объективно освещают события: и показывают полицейский произвол, и оправдывают действия полиции. Оттого-то старик Кронкайт и не слушает, что говорит мэр. Так, разве что наблюдает. Мэр запрокидывает голову, словно ему под нос сунули что-то вонючее, и от этого его двойной подбородок, похожий на петушиную бороду, трясется, когда он говорит. От такого зрелища невозможно оторваться.

Старик Кронкайт вполуха слушает мэра, смотрит, как дрожит его желеобразная физиономия, а думает совсем о другом. Вот бы полететь, думает Кронкайт. Стать птицей и полететь над городом. Высоко-высоко, чтобы вокруг лишь темнота и тишина. Сейчас эта мысль занимает примерно три четверти сознания Кронкайта. Он птица. Он легкая быстрая птица, и он летит.

В темной подвальной камере Фэй ежится, предчувствуя очередной приступ паники, потому что горячее дыхание домового совсем рядом, вот

он стоит, прижавшись лицом к решетке, выпучив черные глаза, и говорит, чего хочет от Фэй, а хочет он мести и возмездия.

Возмездия за что?

Больше всего ей хочется, чтобы мама сейчас вытирала ей лоб холодным полотенцем и повторяла: успокойся, ты не умираешь. Фэй заснула бы у нее в объятиях, а утром проснулась, укутанная теплым одеялом, и увидела маму, которая сидела с ней ночью, пока ее не сморило.

Как же ей сейчас не хватает маминой ласки.

Да, но где же был твой отец, когда ты в нем нуждалась, спрашивает призрак. *Вот где он сейчас?*

Фэй не понимает.

Твой отец жестокий и злой человек. Так и знай.

Ну, в общем, да. Он же выгнал меня из дома.

Ты-то тут при чем? Что за эгоизм!

А почему тогда? Потому что работает в “Кемстар”?

Да ладно. Ты прекрасно понимаешь, о чем я.

Фэй считала отца угрюмым молчуном. Порой он смотрит куда-то вдаль. Никогда никому ничего не рассказывает, держит все в себе. Всегда грустит, оживляется лишь когда рассказывает о родине и о ферме, на которой жила его семья.

Фэй говорит: наверное, он что-то натворил. До того, как приехал в Америку.

Именно, соглашается призрак. И теперь он расплачивается за это, а заодно и ты. И ваша семья будет расплачиваться за это до третьего и четвертого колена. Таковы правила.

Это несправедливо.

Ха! Справедливо? При чем тут вообще справедливость? Мир живет по иным законам.

Он несчастлив, говорит Фэй. Что бы он ни сделал, он в этом раскаивается.

Разве я виноват в том, что едва ли не каждый из живущих на земле расплачивается за грехи предков? Нет. Ответ “нет”. Я не виноват.

Фэй часто думала, что же видит ее отец, когда глядит вдаль, когда целый час стоит на заднем дворе, уставясь на небо. Он никогда толком не рассказывал о том, как жил до приезда в Америку. Если о чем и вспоминал, только о доме, красивом темно-красном доме в Хаммерфесте. О прочем же отказывался говорить наотрез.

Элис мне кое-что посоветовала, сказала Фэй. Она посоветовала, как избавиться от призрака: надо отвезти его домой.

Домовой скрестил руки на груди.
Вот умора, ответил он. Хотел бы я на это посмотреть.
Может, мне надо съездить в Норвегию. Отвезти тебя на родину.
Давай. Нет, правда, попробуй! То-то будет весело. Вперед. Съезди в Хаммерфест, расспроси там про Фрэнка Андресена. Увидишь, что будет.
И что же? Что мне такого расскажут?
Лучше тебе не знать.
Нет уж, скажи.
Кое о чем лучше не говорить. Пусть тайна останется тайной.
Ну пожалуйста.
Ладно. Но я тебя предупреждаю: ты не обрадуешься.
Я слушаю.
Ты узнаешь, что ничем не лучше отца.
Это неправда.
Ты узнаешь, что вы похожи как две капли воды.
Вовсе нет.
Ну же, давай. Рискни. Съезди в Норвегию. Но только уговор: я тебя выпущу, а ты за это, чур, поедешь и разузнаешь все об отце. То-то повеселишься.

Тут дверь распахнулась, в камеру хлынул свет жужжащих флюоресцентных ламп, и на пороге показался не кто иной, как Себастьян. Лохматый, в мешковатом пиджаке. Увидел Фэй и подошел к ней. У него ключи от камеры. Себастьян открыл дверь, присел на корточки, обнял Фэй и прошептал ей на ухо:

– Я вытащу тебя отсюда. Пошли.

16

Мэр уже фактически отчитывает беднягу Кронкайта, а тот понуро, устало и печально слушает. Нам угрожали, настаивает мэр. На каждого из кандидатов готовили покушение, угрожали взорвать здание, даже самому мэру угрожали. Старик Кронкайт смотрит мимо собеседника.

– Правда, что ли? – удивляется агент Б. – Ему действительно угрожали?

– Нет, конечно, – отвечает агент А. – Ничего подобного.

Они смотрят новости в баре “Хеймаркет”, по телевизору над стойкой. Мэр держит микрофон вместо старика Кронкайта, как будто сам берет у себя интервью. “На многих лидеров, в том числе на меня, готовили покушение, и мне вовсе не хотелось, чтобы в Чикаго случилось то же, что в Калифорнии и в Далласе”.

Мэр намекает на Кеннеди, и агенты спецслужбы ощетиняются. Они

медленно попивают безалкогольные коктейли.

– Врет он все, – замечает агент А. – Никто на него не покушался.

– Так-то оно так, но что же делать старику Кронкайту? В прямом эфире обозвать мэра лжецом?

– На это у старика Кронкайта не хватит духа.

– Скорее, запала.

Трансляция ненадолго переключается с интервью мэра на Мичиган-авеню, по которой катит настоящий, огромный боевой танк. Ни дать ни взять, кинохроника Второй мировой – например, освобождение Парижа. Танк проезжает мимо “Хилтона”, так что посетители “Хеймаркета” кишками чувствуют его грохот: политиканы подходят к зеркальным окнам бара, чтобы посмотреть на тарахтящую громаду, – все, кроме двух агентов у стойки, которые, похоже, ничуть не удивились, увидев танк (об этом предупреждали многочисленные служебные записки с грифом “только лично”), к тому же сотрудники спецслужб на публике всегда стараются держаться невозмутимо, дисциплинированно, хладнокровно, поэтому равнодушно наблюдают за танком по телевизору.

17

Фэй всю ночь молила о спасении, теперь же, когда подросла подмога, отказывается от помощи.

– То есть как это нет? – удивляется Себастьян.

Он сидит на корточках возле Фэй и держит ее за плечи, словно того и гляди встряхнет, чтобы она опомнилась.

– Я не хочу уходить.

– Ты в своем уме?

– Отстань, – отвечает она.

В голове у нее туман. Она пытается вспомнить, что сказал домовый, но воспоминания расплываются. Фэй помнит, что разговаривала с призраком, но уже не помнит его голоса.

Она смотрит на Себастьяна. На лице его написана тревога. Вспоминает, что вчера вечером у них должно было быть свидание.

– Извини, что продинамила тебя, – говорит она, и Себастьян смеется.

– Ничего, в другой раз, – отвечает он.

В груди уже не теснит, жжение в животе постепенно утихает, плечи обмякают. Тело разжимается, как отпущенная пружина. Она расслабляется: так вот что значит расслабиться.

– Что я делала, когда ты пришел? – спрашивает Фэй.

– Да вроде ничего.

– Я с кем-то говорила? С кем?

– Фэй, – Себастьян нежно гладит ее по щеке, – ты спала.

18

Выбивая хоум-ран, Эрни Бэнкс наверняка испытывает не только удовольствие от собственного мастерства, но и кое-что еще. Как бы назвать это не такое уж и красивое чувство? Злорадство? Ощущение, что ты отомстил? Ведь теми, кто решил во что бы то ни стало прославиться, движет еще и желание доказать что-то тем, кто их сильно обидел, разве не так? Например, старшим, более сильным парням, которые когда-то дразнили Эрни Бэнкса за то, что он такой тощий. Или белым мальчишкам, которые не принимали его в игру. Девушкам, которые уходили от него к тем, кто умнее, крупнее, богаче. Родителям, которые твердили, что он занимается ерундой. Учителям, которые говорили, что из него не выйдет толк. Патрульным полицейским, которые регулярно его останавливали. Тогда Эрни не мог себя защитить, а сейчас может: каждый хоум-ран – его реванш, каждый чудом пойманный в центре поля мяч – часть его непрерывной мести. И когда он замахивается и бьет по мячу, наверняка, кроме удовольствия от собственного мастерства, чувствует и другое: он снова доказал, что эти придурки были неправы.

Вот и у Брауна так же. Он думает именно об этом. В некотором смысле он творит возмездие. Вершит справедливость.

Он вспоминает ночи с Элис, их случайные встречи на заднем сиденье патрульной машины, то, как она просила его быть поглубже, толкнуть ее на капот, придушить, с силой схватить за руку, чтобы остались синяки. А он смущался, робел, стыдился. Он этого не хотел. Точнее, не мог. Чтобы так себя вести, нужно быть другим человеком: бездумным и жестоким.

И вот вам, пожалуйста: он лупит хиппи по башке. Все это время в нем дремал зверь и теперь наконец проснулся.

Браун этому даже рад. Оказывается, он куда сложнее и сильнее, чем думал. Он мысленно беседует с Элис. “А, ты думала, я на такое не способен? – говорит он, оглушая очередную хиппушку. – Ты просила меня быть поглубже, так на тебе”.

Наверняка для Эрни Бэнкса лучший хоум-ран – когда с трибун смотрят

девчонки, которые разбили ему сердце, думает Браун. Он представляет, что Элис сейчас наблюдает за ним из толпы, видит, какой он на самом деле мощный, жестокий и грубый – настоящий доминантный самец. Она восхищается им. Ну или обязательно восхитится, когда увидит, поймет, что он изменился, стал таким, каким она хотела, и наверняка к нему вернется.

Он заезжает хиппи в челюсть, раздаётся громкий хруст, девицы орут, разбегаются в испуге кто куда, какой-то коп хватается его за плечо и говорит: “Полегче, приятель”, и Браун замечает, что у него дрожат руки. Так сильно дрожат, что он встряхивает их, будто они мокрые. Ему уже стыдно за себя, и он надеется, что Элис, если и наблюдает за ним, то хотя бы этого не видела.

“Я как Эрни Бэнкс, который бежит с базы на базу: воплощенное удовольствие и невозмутимость”, – думает Браун.

19

Удивительно, как быстро необычное становится обыденным. Посетители бара “Хеймаркет” уже не вздрагивают, когда с улицы бросают чем-то в зеркальное стекло. Камни, куски бетона, даже бильярдные шары проносятся по воздуху над головами стоящих в оцеплении полицейских и врезаются в витрину бара. Сидящие внутри этого даже не замечают. А если и замечают, то снисходительно: “Ишь, меткий какой, его бы в «Кабс»”.

Полицейские неплохо держат оборону, но время от времени протестующие прорывают цепь, и вот уже напротив окон “Хеймаркета” охаживают дубинками очередных юнцов и тащат в автозак. Это повторяется так часто, что люди в баре перестали обращать внимание. Они игнорируют то, что творится снаружи, так же старательно, как бездомных, мимо которых проходят на улице.

По телевизору опять показывают мэра и старика Кронкайта, причем вид у последнего сокрушенный.

– Уверяю вас, – произносит журналист, – вас поддерживает масса людей по всей стране.

Мэр кивает, точно римский император, который велит казнить преступника.

– Ты смотри, как этот ура-патриот ему жопу лижет, – замечает агент А. – Это же чистой воды dezinformatsiya.

Снаружи полицейский бьет прикладом бородача, который укутался во вьетконговский флаг, как в плащ, бьет его прямо по флагу, так что мужик растягивается плашмя, словно бейсболист на основной базе, который ныряет за мячом, и врезается лицом прямо в толстое зеркальное стекло

“Хеймаркета”. Мелодичный, сладкозвучный саксофон Джимми Дорси заглушает хруст.

– Должен вам сказать, господин мэр, что искреннее дружелюбие чикагской полиции выше всяких похвал, – говорит старик Кронкайт.

На бородача набрасываются два копа и лупят по голове.

– Довели старика, – агент А. указывает на Кронкайта.

– Ну хватит уже, не мучайте, – кивает агент Б.

– По-моему, он и сам понимает, что проиграл.

Бородача тащат прочь. На стекле остаются следы крови.

20

Или вот, к примеру, чайки, думает старик Кронкайт. Он недавно смотрел матч на стадионе “Ригли”, и в девятом иннинге с озера на стадион прилетели стаи чаек. Птицы хотели склевать просыпавшийся под сиденья попкорн и арахис. Кронкайт тогда подивился чайкам: надо же, как вовремя прилетели. Откуда они узнали, что уже девятый иннинг?

Интересно, как выглядит город сверху, с высоты птичьего полета? Наверно, тихий, спокойный. Семьи сидят по домам, мерцают голубые экраны, на кухне горит одна-единственная золотистая лампа, на улицах ни души, разве что иногда мелькнет бродячая кошка, целые безлюдные кварталы, Кронкайт представляет, как парит над ними и видит, что Чикаго, за исключением гостиницы “Конрад Хилтон” и ближайших ее окрестностей, самое мирное место на свете. Вот что интересно-то. Не то, что тысячи протестуют, а то, что миллионы живут как ни в чем не бывало. Быть может, для объективного освещения событий, на котором настаивает CBS, надо было отправить съемочную группу на север, в польские кварталы, на запад, в греческие, на юг, в кварталы чернокожих, и показать, что там *ничего не происходит*. Что этот протест – всего лишь маленький огонек в наступающей тьме.

Поймут ли его телезрители? Протест захватывает, и перестаешь замечать что-либо, кроме него. Кронкайт хочет сказать им: то, что вы видите по телевизору, – еще не вся жизнь. Представьте каплю воды: это протест. А теперь представьте ее же в ведре с водой: это протестное движение. А теперь представьте это ведро в озере Мичиган: это жизнь. Старик Кронкайт знает: телевидение опасно тем, что люди начинают смотреть на мир сквозь эту каплю воды. И то, как свет преломляется в этой капле, заменяет им всю картину. Те, кто сегодня вечером смотрит телевизор, именно так всю жизнь и будут думать о протестах, антивоенном движении и шестидесятых. Кронкайт же уверен, что его прямая задача –

развеять это заблуждение.

Но как же им объяснить?

21

Себастьян за руку выводит Фэй из импровизированной камеры в совершенно серый безликий коридор из шлакобетонных блоков. Из какой-то комнаты стремительно выходит полицейский, и Фэй шарахается от него.

– Не бойся, – успокаивает ее Себастьян. – Идем.

Коп проходит мимо них, кивнув на ходу. Они выходят в двустворчатые двери в конце коридора и оказываются в роскошно убранном помещении: плюшевый красный ковер, бра, которые светятся золотистым светом, белые стены с изысканной отделкой, точно во дворцах французских аристократов. На одной из дверей Фэй видит табличку и понимает, что они в подвале гостиницы “Конрад Хилтон”.

– Как ты узнал, что меня арестовали? – спрашивает она.

Он лукаво улыбается Фэй.

– Сорока на хвосте принесла.

Себастьян ведет ее сквозь гостиничную утробу, мимо полицейских, репортеров, obsługi: все куда-то спешат, все серьезны и мрачны. Они доходят до толстых двойных железных дверей; охраняющие проход копы кивают Себастьяну и пропускают их. Они оказываются на погрузочной площадке и с нее спускаются в переулок, на свежий воздух. Шум демонстрации здесь превращается в неразличимый вой, который доносится со всех сторон одновременно.

– Слышишь? – Себастьян прислушивается, подняв голову к небу. – Да там весь город.

– Как ты это сделал? – спрашивает Фэй. – Мы прошли под самым носом у копов. Почему они нам ничего не сказали? Почему не остановили нас?

– Обещай мне, – Себастьян хватая ее за руки, – что никогда и никому не расскажешь об этом.

– Нет, ты объясни, как тебе это удалось?

– Ты должна мне пообещать, что никому не скажешь ни слова. Говори всем, что я внес за тебя залог, и всё.

– Но ведь это неправда. У тебя был ключ. Откуда у тебя ключ?

– Ни слова. Я тебе верю. Я сделал тебе одолжение, так что и ты, уж будь так добра, сделай одолжение, сохрани все в тайне. Договорились?

Фэй впивается в него взглядом и вдруг понимает, что Себастьян не так прост, как кажется, – он не обычный студент-радикал, у него свои секреты,

у него несколько лиц. Она узнала о нем то, чего никто не знает, получила над ним власть, которой ни у кого нет. Сердце ее переполняет нежность: он такой же, как я, думает Фэй, у него тоже есть важная тайная жизнь.

Фэй кивает.

Себастьян улыбается, берет ее за руку и ведет по переулку, на солнце. Они заворачивают за угол, видят полицию, военных, оцепление, толпу за оцеплением, море людей в парке. Это уже не тени на стене – Фэй видит все отчетливо и в красках: и голубую форму полицейских, и штыки бойцов Национальной гвардии, и джипы с обмотанными колючей проволокой передними бамперами, и толпу, которая, точно зверь, подкрадывается к памятнику Улиссу С. Гранту напротив гостиницы “Конрад Хилтон”, трехметровой статуе Гранта на трехметровом коне, люди карабкаются по бронзовым лошадиным ногам, взбираются на шею, круп, голову, а один отважный юноша лезет выше, залезает на самого Гранта, пошатываясь, встает во весь рост на его широких плечах и вскидывает над головой руки с расставленными указательным и средним пальцами – знак мира, – бросая вызов полицейским, которые его уже заметили и неторопливо шагают к памятнику, чтобы стащить парня на землю. Ничем хорошим для него это не кончится, но толпа все равно разражается радостными криками, ведь он здесь самый отважный, забрался выше всех в парке.

В общей суматохе Фэй с Себастьяном незаметно смешиваются с толпой.

22

Браун по-прежнему крушит черепа. Окружающие его копы сняли жетоны и именные значки, опустили козырьки на шлемах. Теперь их никто не узнает. Журналистов такое развитие событий не устраивает.

“Полиция безнаказанно избивает людей”, – сообщают журналисты в новостях CBS. Они требуют открытости. Ответственности. Дескать, полицейские сняли жетоны и спрятали лица, потому что сами знают: то, что они делают, – незаконно. Действия полиции сравнивают с советским вторжением в Прагу – с тем, как армия давила и расстреливала несчастных чехов. Полиция Чикаго ведет себя точно так же, заявляет один из журналистов: устроили тут Чехословакию. Вскоре какой-то остроумец придумывает слово “Чехаго”.

– В Америке правительство обязано отчитываться перед народом, а не наоборот, – отзывается о полицейских без знаков отличия специалист по конституционному праву, сочувствующий антивоенному движению.

Браун дубасит хиппи направо и налево, норовя ударить побольнее по

жизненно важным частям тела: голове, груди, даже по лицу. Он первым снял жетон и именной значок, и окружающие его полицейские опустили козырьки и тоже попрытали жетоны, но вовсе не потому, что, как и Браун, потеряли голову. Скорее, наоборот. Осознав, что тот сорвался с цепи и остановить его не получится, а вокруг щелкают затворами фотокамеры, выцеливая примеры полицейской жестокости, все случившиеся поблизости полицейские спрятали жетоны и опустили козырьки: этот придурок явно напрашивается на то, чтобы его вышибли со службы, им же это совсем ни к чему.

23

Кронкайт понимает, что это его наказание: нечего было вылезать со своим мнением. Теперь вот бери интервью у мэра, задавай ему слащавые, ничего не значащие вопросы. А все потому, что Кронкайт обозвал чикагских полицейских “бандитами и убийцами”, да еще в прямом эфире.

Но что поделаешь, если это правда! Он так и ответил продюсерам, которые заметили ему, дескать, он высказал оценочное суждение, а это неправильно: пусть зритель сам решает, убийцы полицейские или нет. Кронкайт парировал, что он всего лишь поделился наблюдением, за это ему, собственно, и деньги платят: он наблюдает и рассказывает. Продюсеры ответили, что он выразил мнение. Он возразил, что порой мнение и наблюдение нераздельно связаны.

Но продюсеров это не убедило.

Но ведь полицейские разбивали студентам головы дубинками. Они сняли жетоны и именные значки, опустили козырьки шлемов, чтобы их никто не узнал и не призвал к ответу. Они избивали молодежь до полусмерти. Они били представителей прессы, фотографов, репортеров, разбивали фотоаппараты, отбирали пленку. Бедняге Дэну Разеру^[46] врезали прямо в солнечное сплетение. Как еще их назвать? Убийцы и есть.

Продюсеров это все равно не убедило. Кронкайт полагал, что полиция избивает мирных граждан. А в мэрии сказали, что полиция защищает мирных граждан. И кто тут прав? Это напомнило ему старую историю о том, как царь попросил слепцов описать слона. Одному из слепцов дали потрогать голову, другому ухо, клык, хобот, хвост и так далее, и каждому говорили: “Это слон”.

Слепцы заспорили между собой, какой же на самом деле слон. Каждый настаивал, что слон не такой, а совсем другой. Потом они передрались, а царь потешался, наблюдая за сварой.

Вот так же и мэр, наверно, сейчас потешается, думает старик Кронкайт,

задавая гостю очередной легкий вопрос о героизме и высоком профессионализме чикагской полиции, действия которой общественность целиком и полностью одобряет. Невыносимо видеть, как блещет у мэра глаза: до того он доволен, что одолел достойного противника. А Кронкайт, безусловно, противник достойный. Можно себе представить, как мэрия звонила продюсерам CBS, сколько было пререканий и угроз, пока наконец стороны не договорились, и вот уже старик Кронкайт превозносит доблести тех, кого меньше трех часов назад обозвал убийцами.

На такой работе нахлебашься дерьма.

24

Ближе к вечеру, перед самым закатом, напряжение стихает. Полицейские ошеломленно и пристыженно отступают. Оставляют дубинки, берутся за мегафоны и просят протестующих покинуть парк. Протестующие смотрят на них и ждут. Город замер, точно ударившийся ребенок. Малыш, который стукнулся головой и пока молчит, но охватившие его противоречивые чувства вот-вот выльются в боль, и тогда он зайдется плачем. Вот и у города наступила точь-в-точь такая пауза между ушибом и слезами, между причиной и следствием.

Остается лишь надеяться, что временное затишье сохранится. По крайней мере, Аллен Гинзберг надеется, что город прочувствует это умиротворение и больше не захочет враждовать. В Грант-парке теперь все спокойно, а потому Гинзберг перестал петь мантры, тянуть “оммммм” и отправился бродить в красивой толпе. У него всегда с собой две вещи: “Тибетская книга мертвых” и серебристый фотоаппарат “Кодак ретина рефлекс”. Сейчас он достает из сумки “Кодак”, на который запечатлевал все яркие и светлые моменты своей жизни, а сейчас, безусловно, как раз такой случай. Сидящие в парке сменяются, поют веселые песни, размахивают самодельными флагами с мудрыми лозунгами. Ему хочется написать об этом стихотворение. Фотоаппарат у него старенький, купленный с рук, но надежный и работает без осечек. Металлический корпус его так приятен на ощупь, черный, шероховатый по краям, точно крокодилья кожа; Гинзбергу нравится, как щелкает фотоаппарат, продвигая пленку, нравится даже красующаяся спереди на корпусе наклейка “Сделано в Германии”. Он фотографирует толпу. Ходит среди собравшихся, и они двигаются, пропуская его, поднимают к нему головы. Завидев знакомое лицо, Гинзберг останавливается и опускается на колени: это один из лидеров студенческого движения, вспоминает он. Смуглый красавчик. Миловидная девушка в больших круглых очках утомленно положила голову ему на

плечо.

Фэй и Себастьян. Прислонились друг к другу, точно влюбленные. За ними сидит Элис. Гинзберг подносит камеру к глазам.

Молодой человек криво улыбается Гинзбергу, и тот готов влюбиться в его улыбку. Щелкает затвор фотоаппарата. Гинзберг поднимается с колен, печально улыбается и скрывается в толпе. Раскаленный день поглощает его.

25

Поэт уходит, Элис хлопает Фэй по плечу, подмигивает и спрашивает:

– Я так понимаю, вы вчера неплохо провели время.

Ну конечно, откуда же Элис знать, что случилось.

Фэй рассказывает ей о непонятном полицейском, который арестовал ее вчера вечером, о том, что всю ночь просидела в камере, о том, что даже имени этого полицейского не знает, как и того, за что он ее так, о том, что он велел ей немедленно убираться из Чикаго, и Элис с ужасом догадывается, что это был Браун. Кто же еще.

Но Фэй она об этом сказать не может. Как признаться в толпе протестующих, которые осыпают полицейских ругательствами, что с одним из этих самых полицейских ты крутила страстный роман? Нет, этого никак нельзя.

Элис крепко обнимает Фэй.

– Бедная моя, – говорит она. – Не бойся, все будет хорошо. Никуда ты не поедешь. Я буду с тобой, что бы ни случилось.

В эту минуту на окраинах парка собирается полиция и объявляет в мегафоны: “Чтобы через десять минут вас тут не было”.

Что само по себе нелепо, потому что в парке тысяч десять человек.

– Неужели они правда думают, что мы разойдемся? – удивляется Элис.

– Вряд ли, – отвечает Себастьян.

– И что они будут делать? – интересуется Фэй, окинув взглядом заполонившую парк огромную, решительно настроенную толпу. – Выдворят нас отсюда?

Оказывается, именно так полицейские и намерены поступить.

Сначала раздается негромкий хлопок сжатого воздуха, слабый, почти мелодичный взрыв: это в парк швыряют канистру со слезоточивым газом. Те, кто это видит, не сразу понимают, что происходит. Канистра по параболе взлетает высоко в небо, слишком прекрасное, чтобы стать ей пристанищем, на миг зависает в воздухе над собравшимися, точно путеводная звезда, теперь их компас указывает на нее, этот новый

странный летящий предмет, который медленно начинает опускаться, и примерно в эту же минуту толпа разражается криком и визгом: те, кто находится там, куда должен упасть снаряд, осознают, что сейчас будет, до них наконец доходит, что фактически их сидячей демонстрации конец. Из канистры уже вытекает содержимое: за ней тянется оранжевый хвост газа, точно за кометой, которая вот-вот налетит на другое небесное тело. Канистра с глухим стуком падает на землю, словно мяч для гольфа, взрывая дерн, и загорается. Она кружится, извергая струи ядовитого дыма, а со стороны гостиницы “Конрад Хилтон” слышатся новые хлопки, в толпу швыряют еще пару снарядов, и относительный мир и порядок мгновенно сменяется иступлением. Люди бросаются врассыпную, полицейские устремляются в погоню, и почти у всех в парке льются слезы. Из-за газа. Он бьет по глазам и горлу. Такое ощущение, будто плеснули в зрачки керосином: красные опухшие глаза закрываются сами собой, их больно открыть, сколько ни протирай. Тут же нападает сухой кашель, задыхаешься, словно тонешь, кашляешь инстинктивно, и никакой силой воли кашель не унять. Люди плачут, отплевываются, пытаются убежать туда, где нет газа, но толпа слишком велика: канистру с газом – неизвестно, специально или случайно, – зашвырнули за толпу, и чтобы спастись от газа, нужно бежать в противоположном направлении, к Мичиган-авеню, к гостинице “Конрад Хилтон” и полицейскому оцеплению, но беда в том, что Мичиган-авеню просто не способна вместить всех, кто рвется на нее попасть.

Так неудержимая сила натывается на непреодолимую преграду, так десять тысяч протестующих стремглав мчатся прямо в руки чикагской полиции.

Себастьян тоже бежит со всеми и тащит Фэй за руку. Элис смотрит на них и понимает, что туда нельзя: чтобы скрыться от полиции, надо повернуть назад, в облако слезоточивого газа, который льнет к земле, как оранжевый туман. Она окликает их, но голос ее, хриплый и сорванный пением, окончательно севший от газа, не слышен за криком и визгом толпы: люди мечутся, натываются друг на друга, разбегаются кто куда. Толпа смыкается вокруг Себастьяна и Фэй, и Элис теряет их из виду. Ее так и подмывает броситься за ними, но что-то ее удерживает. Страх, наверное. Страх перед полицией, точнее, перед одним конкретным полицейским.

Элис решает вернуться в общежитие и дождаться Фэй. А если Фэй не придет, Элис ни перед чем не остановится, чтобы ее найти: она утешает себя этой ложью, лишь бы только выбраться отсюда. На самом деле она

никогда больше не увидит Фэй. Элис пока что этого не знает, но предчувствует, а оттого останавливается и оборачивается к толпе, к парку. В этот миг Фэй обнаруживает, что Элис исчезла, и тянет Себастьяна за руку. Фэй останавливается, оборачивается, смотрит туда, откуда они прибежали, надеясь в окружающей суматохе разглядеть лицо Элис, но их разделяет облако оранжевого газа. Все равно что бетонная стена или континент.

– Пошли, – говорит Себастьян.

– Подожди, – просит Фэй.

В толпе мелькают лица, но Элис среди них нет. Люди врезаются в Фэй, огибают ее, бегут вперед.

Элис уже по ту сторону газовой пелены. Ей видно озеро. Она мчится к воде, умывается, чтобы не так щипало глаза, и направляется по берегу на север, а чтобы не привлекать к себе внимания, закапывает в песок любимые солнечные очки и камуфляжную куртку, собирает волосы в хвост – ни дать ни взять, обычная законопослушная буржуазная девица: на этом ее участие в протестном движении заканчивается навсегда.

– Пошли уже, – настаивает Себастьян.

Фэй подчиняется, потому что Элис как в воду канула.

26

Хьюберт Х. Хамфри в ванной президентского люкса на верхнем этаже чистит ногти куском бесплатного гостиничного мыла: он моется так долго, что брусок “Дав” превратился в тонкий обмылок.

В дверь то и дело заглядывают агенты безопасности:

– Мистер вице-президент, сэр, у вас все в порядке?

Он понимает, что дел уйма, а времени почти нет и что полуторачасовой душ совершенно не вписывается в расписание, которое составил руководитель его избирательной кампании. Но если бы он не смыл с себя эту вонь, толку от него все равно не было бы.

Кончики пальцев его не просто сморщились, а покоробились так, словно вместо кожи у него вязаное крючком покрывало. От густого горячего пара зеркало запотело и стало сизым.

– Да, все в порядке, – отвечает он телохранителям.

И тут же понимает, что это неправда. В горле чуть-чуть першит, щекочет за кадыком. Он молчал полтора часа, а заговорив, почувствовал, что, похоже, заболевает. Он пробует голос, свой драгоценный золотой голос, проверяет связки и легкие, все, что ему понадобится, чтобы обратиться к народу и через несколько дней согласиться стать кандидатом

в президенты, – пропевает несколько нот, как на уроке сольфеджио, простенькое “до-ре-ми”. И, разумеется, тут же чувствует, как колет и саднит горло, как опухло мягкое нёбо.

Только этого не хватало.

Он выключает воду, вытирается досуха полотенцем, накидывает халат, стремительно входит в главную переговорную комнату люкса и объявляет, что ему срочно нужно принять витамин С.

Обслуга странно на него смотрит, и он поясняет:

– Кажется, у меня болит горло, – с таким серьезным видом, с каким доктора сообщают: “Опухоль злокачественная”.

Агенты неловко переглядываются. Кто-то кашляет. Наконец один из них выходит вперед и говорит:

– Скорее всего, горло тут ни при чем, сэр.

– Вы-то откуда знаете? – раздражается Три Ха. – Мне нужно принять витамин С, срочно, сию секунду.

– Мистер вице-президент, это, скорее всего, из-за слезоточивого газа, сэр.

– Что вы несете?

– Слезоточивый газ, сэр. Типичное мотивационное средство, сэр, чтобы разогнать толпу, не прибегая к насильственным методам. Раздражает глаза, нос, рот, ну и, разумеется, горло и легкие, сэр.

– Слезоточивый газ?

– Так точно, сэр.

– Здесь?

– Да, сэр.

– В моем люксе?

– Из парка надуло, сэр. Полиция применила его против демонстрантов.

А поскольку ветер сегодня восточный...

– ...узлов двенадцать^[47], – вставляет другой агент.

– Да, спасибо, именно так: сильный ветер принес газ через Мичиган-авеню в гостиницу, в том числе и на верхний этаж. То есть на наш этаж, сэр.

Три Ха чувствует, что глаза горят и слезятся, как будто стоишь над порезанным луком. Он подходит к большому окну, смотрит на парк и видит царящую там суматоху: перепуганные юнцы разбегаются в разные стороны, полицейские гонятся за ними, и над всем этим вздымаются облака оранжевого газа.

– Это полиция устроила? – уточняет он.

– Да, сэр.

– Разве они не знают, что я здесь?

Тут беднягу Хьюберта Х. охватывает привычная досада. Ведь это же должен был быть его съезд, его триумф. Ну почему все так вышло? Почему все вечно идет вкривь и вкось? И вот ему снова восемь лет, он в Южной Дакоте, и Томми Скрампф испортил ему день рождения: у мальчишки случился эпилептический приступ прямо на кухне, во время праздника, и врачи увезли Томми, а родители разобрали по домам детей с так и не открытыми, предназначавшимися Хьюберту подарками, и ночью он расплакался злыми слезами, причем вовсе не из-за того, что Томми чуть не умер, а с досады, что тот не сдох. И вот ему девятнадцать, он только что закончил первый курс колледжа с хорошими отметками, ему нравится колледж, он отлично учится, он завел друзей, у него появилась девушка, жизнь наконец-то налаживается, и вдруг родители сообщают, что у них больше нет денег и он должен вернуться домой. Он возвращается, конечно. Потом настает 1948 год, его только что впервые выбрали в Сенат США, а отец возьми и умри. И вот теперь его должны выдвинуть кандидатом в президенты, а вокруг драки, слезоточивый газ, мясники, дерьмо и смерть.

Ну почему всегда одно и то же? Почему за каждый успех ему приходится расплачиваться кровью и слезами? Все его победы оканчивались грустью. В каком-то смысле он все тот же обиженный восьмилетний мальчишка, который думает всякие гадости про Томми Скрампфа. Тот злосчастный день по-прежнему ранит его до глубины души.

Почему самые лучшие события в жизни оставляют такие глубокие шрамы?

Между прочим, его консультанты обязаны были разобраться с такими вот саморазрушительными негативными мыслями. Он повторяет аффирмации на уверенность в себе. Я победитель. Отменяет приказ принести витамин С. Одевается. Возвращается к работе. *Sic transit gloria mundi.*

27

Старик Кронкайт кренился вправо: считается, что такая поза по телевизору выражает глубокую озабоченность и несгибаемую волю человека, чья работа – сообщать дурные вести народу, эдак скособочившись, наклонив голову и глядя в камеру огорченно, точно отец, у которого на лице написано, что происходящее ранит его куда больше, чем провинившегося ребенка.

– С минуты на минуту начнется съезд Демократической партии, – сообщает Кронкайт и берет театральную паузу, чтобы зрители

прочувствовали то, что он сейчас скажет, – в полицейском государстве.

И тут же добавляет: “Иначе не скажешь”, – ради продюсеров, которые сейчас наверняка у себя в кабинке качают головами, потому что он снова позволил себе выразить мнение.

Но нужно же что-то сказать зрителям, которые сидят по домам и не понимают, что творится. Телефон на CBS не смолкает ни на секунду. Так много им не звонили с того самого дня, когда застрелили Кинга. Еще бы, говорит Кронкайт, людей можно понять: они негодуют из-за самоуправства полицейских.

Да, люди негодуют, поправляют его продюсеры, но не из-за самоуправства полицейских. А из-за того, что устроила молодежь. Они во всем винят юнцов. Мол, *так им и надо, сами напросились*.

Да, на некоторых демонстрантов, мягко говоря, неприятно смотреть. Их вид оскорбляет чувства. Они намеренно провоцируют. Немытые, нечесанные. Но они – лишь малая часть тех, кто собрался вокруг “Хилтона”. Большинство же – обычные ребята: наверняка дочери и сыновья телезрителей выглядят точно так же. Может быть, эти дети сами не понимают, во что ввязались, в какие большие игры впутались. Но они же не преступники. Не психи. Не радикалы, не хиппи. Скорее всего, им просто не хочется в армию. Они искренне против войны во Вьетнаме. Да и кто сейчас за нее?

На деле же оказывается, что на каждого бедолагу, которому дали по голове, приходится десять звонков в редакцию CBS в поддержку того полицейского, который ударил его дубинкой. Наглотавшись на улицах газу, репортеры возвращались в редакцию и обнаруживали телеграммы от живущих за тысячи километров телезрителей, которые утверждали, что журналисты не понимают, что на самом деле творится в Чикаго. Кронкайт узнал об этом и осознал, что проиграл. Они так часто показывали радикалов и хиппи, что теперь зрители не видят никого, кроме них. Среднего для них уже не существует – только крайности. На ум Кронкайту приходят две мысли. Первая – что всякий, кто полагает, будто телевидение объединяет нацию, помогает людям договориться, понять друг друга, посочувствовать, поставить себя на чужое место, глубоко заблуждается. И вторая – на выборах наверняка победит Никсон.

Полиция потребовала от демонстрантов покинуть парк, но не продумала одного: как им оттуда выбраться. Остаться в парке незаконно, но и прорываться сквозь полицейское оцепление тоже, а парк оцеплен со

всех сторон. Классическая ловушка. Не перегорожено одно-единственное место на восточном краю парка у озера – то самое, куда приземлился газ. Туда-то и ринулись протестующие, поскольку другого выбора у них не было: больше бежать некуда. Первая волна демонстрантов хлынула на Мичиган-авеню к стенам гостиницы “Конрад Хилтон” и наткнулась на кирпич и бетон: там их окружили полицейские, почуявшие, что ветер переменялся. Ставки выросли. Теперь преимущество на стороне протестующих: их много, и терять им нечего. Полиция напирает, оттесняет их к стенам гостиницы и отходит.

Где-то в этой толпе Себастьян и Фэй. Он так крепко держит ее за руку, что Фэй больно, однако высвободиться она не решается. Она чувствует, как людской поток охватывает ее со всех сторон, иногда отрывает от земли и несет (ощущение такое, будто барахтаешься или плывешь), а потом бросает вниз, и Фэй думает только о том, как бы устоять на ногах, удержать равновесие, потому что в толпе царит паника, а десять тысяч перепуганных человек превращаются в жестоких диких зверей. Если она упадет, ее просто затопчут. Фэй так страшно, что вместо ужаса ее охватывает странное спокойствие и ясность. На кону ее жизнь. Фэй крепче сжимает руку Себастьяна.

Люди бегут, закрыв лицо носовым платком или повязав вокруг рта рубашку. Против газа не выстоять. В парке оставаться нельзя. Но теперь они понимают, что и сюда соваться не следовало: чем ближе темный безопасный город за Мичиган-авеню, тем меньше места. Со всех сторон их окружают заборы, колючая проволока, тяжелая техника, полицейские и три десятка бойцов Национальной гвардии. Себастьян пытается прорваться к главному входу в “Хилтон”, но толпа слишком густая, из потока не вырваться, и добраться до цели не получается: их прижимает к стене гостиницы, прямо к зеркальным витринам бара “Хеймаркет”.

Тут-то их и замечает Браун.

Он высматривает в толпе Элис с заднего бампера бэтээра. Он возвышается на несколько метров над толпой и видит сверху голубые каски чикагских полицейских, которые с такого ракурса похожи на колонию раздраженных ядовитых грибов. Вдруг в толпе у бара мелькает лицо, женское лицо, и Брауна охватывает надежда: вдруг это Элис, потому что впервые за целый день он увидел знакомые черты, и в голове у него снова начинает крутиться пленка – он представляет, как Элис увидит, что он избивает хиппи, и поймет, что он жесток, как ей и хотелось, – но потом, приглядевшись, понимает, что это не Элис, а Фэй, и его охватывает жгучая досада.

Фэй! Та девица, которую он вчера арестовал. Которая сейчас должна сидеть в камере. Из-за которой Элис его бросила.

Эта мерзкая сучка.

Он спрыгивает в толпу и вынимает дубинку. Лезет вперед, пробираясь к зеркальной витрине, у которой зажата Фэй. Их с Брауном разделяют несколько шеренг полицейских и куча вонючих хиппи, которые бьются, точно пойманный в сети тунец. Браун плечом расталкивает толпу, приговаривая: “Расступись! Дайте пройти!” Копы охотно его пропускают: еще один человек на передовой. Он приближается к границе между копами и протестующими, границе, заметной по дубинкам, которые взлетают в воздух и стремительно опускаются: кажется, будто заело клавиши пишущей машинки. Чем ближе подходит Браун, тем труднее двигаться дальше. Всё вокруг напрягается, точно все они части тела какого-то больного зверя.

В эту минуту отряд Национальной гвардии – с настоящими огнеметами, из которых бойцы, к счастью, не стреляют, – налетает на толпу демонстрантов на Мичиган-авеню, атакует их с флангов, отрезав от остальных, и горстка протестующих у “Конрад Хилтона” оказывается в ловушке: с одной стороны полиция, с другой Национальная гвардия, позади стена.

Бежать некуда.

Фэй оттесняют к зеркальной витрине, так что она с силой прижимается к ней плечом. Еще чуть-чуть, думает Фэй, и плечо сломается. Она заглядывает в бар “Хеймаркет” сквозь окно, которое трясется и скрипит, и видит, что двое мужчин в костюмах и черных галстуках смотрят на нее. Мужчины что-то пьют. Лица их совершенно бесстрастны. Окружающие Фэй демонстранты извиваются и уворачиваются от ударов. Их лупят по головам, по ребрам тупым концом дубинки, упавших тащат в автозаки. Уж лучше так, думает Фэй. Между ударом по голове и автозаком она предпочтет автозак. Но в толпе не повернуться, не говоря уже о том, чтобы сесть на землю, – до того здесь тесно. Рука Себастьяна выскользывает из ее руки. Между ними кто-то протискивается, какой-то демонстрант, он тоже, как Фэй и Себастьян, пытается убежать, как можно дальше оттянуть расправу. Срабатывает простейший инстинкт выживания. Бежать некуда, но они все равно бегут. И Фэй приходится выбирать: если не выпустит руку Себастьяна, то этот парень сломает ей локоть. Тем более что она стоит спиной к копам, следовательно, по ней легко попасть. Если она повернется, быть может, ей удастся увернуться от их иступленных ударов. Фэй принимает решение. Отпускает руку Себастьяна. Его потные пальцы

выскальзывают из ее ладони, и она чувствует, как он пытается ухватить ее крепче, вцепиться что есть силы, но поздно. Она свободна. Фэй отдергивает руку, и втиснувшийся между ними человек падает на зеркальную витрину, которая дрожит и трещит, точно лед под ногами. Фэй поворачивается.

И замечает полицейского, который стремительно надвигается на нее.

Они встречаются взглядом. Тот самый коп, который арестовал ее вчера в общежитии. Его лицо словно выхватил из толпы луч прожектора – так видишь тех, кто пристально глазеет на тебя. Это лицо, этот ужасный человек, который даже не посмотрел на нее, когда она вчера вечером плакала на заднем сиденье его патрульной машины, умоляла ее отпустить, не сводила глаз с его отражения в зеркале заднего вида, а он не сказал ей ни слова – лишь процедил: “Шлюха”.

И вот он опять ее настиг.

Лицо его спокойно, как у маньяка. Он бесстрастно и проворно орудует дубинкой с таким видом, словно стрижет газон: не о чем переживать, надо сделать – и всё. Фэй смотрит на этого жестокого великана, на то, с какой силой он размахивает дубинкой, с какой скоростью она обрушивается на головы, ребра, руки, ноги, и понимает, что зря рассчитывала уйти от побоев: надеяться на это было бессмысленно и наивно. Он сделает все, что захочет. Она не сможет ему помешать. Она бессильна. Он все ближе.

И тогда Фэй пытается сжаться в комок. Больше ничего ей в голову не приходит. Надо уменьшиться в размерах, чтобы по ней было труднее попасть. Фэй съеживается, обхватывает себя руками, понуривает голову, сгибает колени и наклоняется, чтобы стать ниже тех, кто стоит впереди.

В ее позе словно читается мольба. Ее охватывает тревога, Фэй чувствует, что начинается приступ паники – как обычно, с ощущения свинцовой тяжести в груди, как будто ее сжимают изнутри. “Пожалуйста, только не сейчас”, – думает Фэй, а коп проталкивается к ней, избивая всех, кто попадает на пути. “Мир!” – кричат ему демонстранты. Или: “Я же не сопротивляюсь!” Они поднимают руки – дескать, сдаемся, но он все равно лупит их дубинкой по голове, по шее, по животу. Он совсем близко. От Фэй его отделяет всего лишь один человек, жилистый бородатый паренек в камуфляжной куртке, который, смекнув, что сейчас будет, изо всех сил пытается улизнуть, у Фэй перехватывает дыхание, кружится голова, подкашиваются и трясутся ноги, ее пробивает холодный пот, лоб весь мокрый, а во рту сухо, слюна вязкая, Фэй не в силах выдать не слова, даже не может попросить копа не бить ее, она видит, как он отпихивает парня в камуфляжной куртке, прет через толпу к ней, вот-вот доберется до

Фэй, тянется, чтобы ее схватить, пытается занести дубинку в окружающей суматохе, как вдруг сзади раздаются два хлопка, два легких хлопка, точно кто-то шлепнул ладонью по дну открытой бутылки. До сегодняшнего дня звук этот не имел смысла, но теперь демонстранты, умудренные опытом, тут же догадались, что к чему: сейчас пойдет слезоточивый газ. Кто-то позади них снова швырнул канистру с газом. Толпа реагирует на звук и неизбежное облако дыма, которое вырывается в следующее мгновение, вполне предсказуемо: в панике бросается прочь. Эта волна настигает Фэй в тот самый миг, когда на нее бросается коп, и все вместе они врезаются в зеркальную витрину.

Наконец стекло не выдерживает. На такие удары оно не рассчитано.

Оно даже не трескается, а мгновенно взрывается. Фэй, коп и прижатые к витрине демонстранты влетают внутрь и в дыму и музыке падают друг на друга и посетителей бара “Хеймаркет”.

29

Весь день складывался так необычно, что посетители бара “Хеймаркет” не сразу сообразили, что произошло нечто из ряда вон. Зеркальная витрина разбивается вдребезги, демонстранты, копы и огромные острые осколки стекла влетают внутрь, а те, кто сидит в баре, наблюдают за происходящим, точно все это показывают по телевизору над стойкой. Смотрят как зачарованные. Событие увлекает, но они в нем не участвуют. Они зрители, не актеры.

Так что несколько мгновений, пока демонстранты и копы барахтаются в куче на черно-белом плиточном полу бара “Хеймаркет”, пытаюсь подняться на ноги, посетители наблюдают за ними с вялым интересом и думают: “Надо же”.

Ничего себе.

Что же дальше?

А дальше происходит вот что: слезоточивый газ просачивается в бар, и копы в раздражении выбираются сквозь пролом в стене бара и припускают прочь от гостиницы, потому что случилось ровно то, чего никак не могло быть в Чикаго: делегаты и демонстранты очутились в одном помещении.

На этот счет полицейским дали четкие указания: встретить делегатов в аэропорту прямо у трапа, доставить на патрульных машинах в “Хилтон”, затем в больших автобусах под охраной, отвечающей требованиям военного времени, отвезти на стадион и обратно – в общем, прикрывать, надежно защищать, изолировать от хиппи, потому что *хиппи пытаются подорвать основы и ставят под угрозу нашу демократию*, как говорит

каждый день мэра в газетах и по телевизору. (Лидеры протеста на это отвечали, что демократия перестает быть таковой, если ее представителей изолируют от народа, который они представляют, но об этом ничего не писали, и, уж конечно, ни мэра, ни его пресс-служба не потрудились на это ответить.)

В общем, краснолицые полицейские разбегаются так быстро, как позволяют им увешанные разнообразным оружием штурмовые пояса. Тут до посетителей бара “Хеймаркет” постепенно доходит, что же творится вокруг. Они кашляют, плачут от газа, пробегающие мимо полицейские задевают их плечами или дубинками, и сидящие в баре наконец понимают, что из зрителей превратились в участников. Вот так реальность внешняя в два счета проникает в бар и вытесняет реальность внутреннюю: стоит разбиться окну – и бар становится продолжением улицы.

Линия фронта сдвинулась.

Что если она переместится еще дальше, думают делегаты. Что если и их номера окажутся в опасности? Их дома? Семьи? До этой минуты, пока сами они не нюхнули газа, протест был для них сродни уличному театру. Теперь они опасаются, что кирпичи могут влететь уже в их собственные окна, а может, их повзрослевших дочерей соблазнят бородатые волосатики, которые курят траву: при мысли об этом самые убежденные пацифисты отходят в сторонку и не мешают копам делать свое грязное дело.

Иными словами, в баре царит хаос. Паника и хаос. Фэй падает на бок, сверху на нее приземляются еще несколько человек, ударяясь головами, челюстями, у Фэй искры сыплются из глаз, дыхание перехватывает, и она пытается отдышаться, сосредоточиться на мелочах, разглядеть сквозь фиолетово-зеленые звездочки перед глазами осколки стекла на клетчатом полу, которые скользят, как хоккейные шайбы, и разлетаются в стороны под ногами убегающих из бара людей. Фэй кажется, будто все это происходит где-то далеко. Она моргает. Трясет головой. Видит ноги полицейских, которые бегут мимо нее, ноги улепетывающих посетителей бара. Проводит пальцами по лбу, нащупывает набухающую шишку размером с грецкий орех. Вспоминает про копа, который бросился на нее, и видит, что он лежит на спине наполовину в баре, наполовину на улице.

30

Он не шевелится. Смотрит вверх. Видит метрах в трех над собой, на экваторе поля зрения, зазубренный край разбитого зеркального окна, вернее, того, что от него осталось. К северу оловянный потолок бара “Хеймаркет”. К югу небо в мглистом сумраке. Падая, он повернулся,

выгнулся, рухнул на спину, и его пронзила боль. Теперь он лежит совершенно неподвижно и пытается понять, что же чувствует. Да ничего он не чувствует.

Полицейские запрыгивают в бар через разбитую витрину. Ему кажется, будто он должен что-то им сказать, хотя и не знает что. Предупредить, что здесь что-то не так. Он еще не понимает, что происходит, но чувствует, что что-то важное: куда важнее делегатов, хиппи и бара. Он пытается заговорить с перескакивающими через него полицейскими. Голос его звучит тихо и тоненько. “Подождите”, – просит он, но никто не останавливается. Полицейские врываются в бар, поднимают хиппи с пола, волокут на улицу, бьют дубинками, причем достается и делегатам съезда, потому что вокруг темно, поди еще разбери, на кого замахнулся.

31

Себастьян поднимается на ноги, находит Фэй и тащит ее за руку вверх. У Фэй кружится голова, ее тошнит, и больше всего на свете ей хочется сесть на плюшевый диванчик в уютной кабинке, выпить чаю с медом, может, прикорнуть, – господи, как же хочется спать, даже здесь, сейчас, посреди этой бойни. Из глаз по-прежнему сыплются искры. Должно быть, сильно ударила голову.

Себастьян тянет ее за руку, и Фэй подчиняется. Позволяет себя тянуть. Не к входной двери, куда бегут прочие демонстранты, а в глубину бара, в самый дальний угол, туда, где таксофон, туалеты и серебристая вращающаяся дверь с круглым окошечком, которая ведет на кухню. Туда-то они и направляются, на кухню “Хилтона”, где сейчас кипит работа: постояльцы боятся покинуть гостиницу и потому заказывают еду в здешнем ресторане, и дюжины поваров в белых фартуках и колпаках стоят над сковородками, на которых скворчат бифштексы и филе-миньон, над столами, где мастера выискивают сэндвичи, над столовыми сервизами, натирая до блеска бокалы для вина. Заметив Себастьяна и Фэй, не говорят ни слова. Продолжают работу. Остальное их не касается.

Себастьян ведет Фэй через шумную оживленную кухню, мимо решеток для гриля, сквозь которые прорывается пламя, мимо конфорок, где варятся соусы и паста, мимо раковины и мойщика посуды, чье лицо не разглядеть в клубах пара, и дальше, к задней двери, оттуда, мимо мусорных баков, воняющих прокисшим молоком и тухлой курицей, в переулок, прочь от Мичиган-авеню, шума, слезоточивого газа, прочь от гостиницы “Конрад Хилтон”.

Браун по-прежнему лежит на спине в разбитой витрине бара “Хеймаркет” и начинает осознавать, что не чувствует ног. Он упал на что-то острое, оно укололо его в поясницу: теперь он не чувствует ничего. По онемевшему телу разливается холод. Он пытается встать, но тщетно. Он закрывает глаза, и ему кажется, будто его задавила машина. Ощущения точь-в-точь такие. Браун открывает глаза и видит, что его ничем не придавило.

– Помогите, – произносит он в пространство, ни к кому конкретно не обращаясь, сперва тихо, потом громче: – Помогите!

Всех хиппи из бара уже вывели, посетители разошлись по номерам. Внутри остались только два секретных агента. Они не спеша подходят к Брауну и дружелюбно интересуются:

– Ну, что стряслось?

Однако от их беспечности не остается и следа, едва лишь агенты пытаются его поднять, не могут и видят, что руки у них в крови.

Браун сперва решает, что они порезались лежащими под ним осколками стекла. Но потом понимает, что кровь не их. А его. У него идет кровь. Он истекает кровью.

Но этого же не может быть?

У него ведь ничего не болит!

– Все в порядке, – сообщает он присевшему рядом агенту, который ощупывает его грудь.

– Еще бы, приятель. Все будет отлично.

– Нет, правда, мне не больно.

– Да-да. Ты лежи, не двигайся. Мы сейчас кого-нибудь позовем.

Браун замечает, что второй агент сообщает кому-то по радиации о раненом, просит немедленно прислать скорую, причем “немедленно” произносит таким тоном, что Браун зажмуривается и говорит: “Прости, прости”, – но не стоящему над ним агенту, а Богу. Или Вселенной. Или тем кармическим силам, которые сейчас решают его судьбу. Он просит прощения у всех сразу – за встречи с Элис, за то, что изменял жене, изменял так омерзительно, так пошло, в темных переулках, в машине, он сожалеет о том, что у него не хватило ни силы воли все это прекратить, ни дисциплины, ни выдержки, он сожалеет об этом, сожалеет о том, что раскаивается в содеянном лишь сейчас, когда уже слишком поздно, он чувствует, как холодеет нижняя половина тела, ощущает (хотя чувствовать его он не может) острый осколок стекла, вонзившийся в спинной мозг, он еще не знает, что именно с ним случилось, но все равно сожалеет – о том, что это случилось, о том, что он это заслужил.

33

Чикагские церкви из святилищ превратились в убежища, в храмы приходит надыхавшаяся слезоточивого газа избитая молодежь. Всех кормят, поят, устраивают на ночлег. После целого дня побоев от такого милосердия у некоторых наворачиваются слезы. Демонстрация протеста раскололась, разделилась на отдельные группы, которые устраивают драки и стычки; кое-где копы еще гоняются за студентами, которые прячутся в барах и ресторанах, бегут в парк и из парка. На улицах сейчас небезопасно, вот лохматые оборванные парочки и укрываются в таких местах, как церковь Святого Петра в центре, на Мэдисон-стрит. Они даже не заводят бесед с другими демонстрантами: сегодня всем пришлось одинаково несладко. Молодые люди сидят, точно раскаявшиеся грешники. Священники разносят тарелки с подогретым консервированным супом, и демонстранты искренне благодарят их: “Спасибо, святой отец”. Священники раздают теплые влажные полотенца, чтобы протереть глаза, красные от газа.

Фэй и Себастьян сидят на первом ряду и неловко молчат: им столько нужно сказать друг другу, что они не знают, с чего начать. Они смотрят на изящный алтарь из дерева и камня в храме Святого Петра в историческом центре Чикаго: каменные ангелы и каменные святые, каменный Иисус на бетонном кресте висит, понурился голову, под ним два каменных ученика, прямо под мышками, один с тоской воззрился в небо, второй пристыженно смотрит себе под ноги.

Фэй трогает шишку на лбу. Уже почти не больно, даже забавно, что под

кожей вспух такой бугорок, точно стеклянный шарик. Может, если с ним поиграть, то удастся удержаться от вопросов, которые так и тянет задать, вопросов, которые появились у нее в эти двадцать минут, что они сидят в церкви, где им ничто не угрожает, так что Фэй наконец-то сумела собраться с мыслями, трезво оценить сегодняшний вечер, и у нее, разумеется, возникли вопросы.

– Послушай, Фэй... – начинает Себастьян.

– Кто ты на самом деле? – не удержавшись, перебивает она: отвлечься на забавный шарик так и не удалось.

Себастьян печально улыбается. Смотрит на ботинки.

– А, ты об этом.

– Ты провел меня через всю гостиницу, – не унимается Фэй. – Как ты узнал, куда надо было идти? И ключ. У тебя был ключ от камеры. Откуда ты знаешь тех копов в подвале? Что вообще происходит?

Себастьян сидит, как ребенок, которого отчитывают за провинность. Он словно боится даже взглянуть на Фэй.

Позади них в церковь тихонько заходит Аллен Гинзберг. Наконец-то он сюда добрался. Он бродит между усталых тел, благословляет спящих, возлагает руки на головы бодрствующих, изрекает: “Харе Рама, Харе Кришна” и трясет головой, так что борода его напоминает сжавшегося в комок дрожащего зверька.

Месяц назад появление Гинзберга привлекло бы массу внимания. Теперь же он стал частью декораций протеста, одним из многих его оттенков. Он ходит по церкви, и юнцы устало ему улыбаются. Он благословляет их и шагает дальше.

– Ты работаешь в полиции? – напрямую спрашивает Фэй.

– Нет, – отвечает Себастьян, подается вперед и сцепляет руки в замок, точно для молитвы. – Точнее будет сказать, я работаю с полицией. Неофициально, разумеется. Да я, в общем, с ними даже и не работаю. Скорее, мы трудимся бок о бок. Между нами существует определенное соглашение. На взаимовыгодной основе. Мы понимаем кое-какие простые факты.

– И какие же?

– Ну, во-первых, что мы нужны друг другу.

– Ты и полиция.

– Да. Я нужен полиции. Полиция меня любит.

– Что-то не похоже, – возражает Фэй. – После того, что сегодня было.

– Я обеспечиваю накал. Кипение страстей. Полиции нужен повод, чтобы прижать крайних левых к ногтю. Я им этот повод обеспечиваю.

Например, пишу о том, что мы собираемся похитить делегатов съезда, отравить питьевую воду или взорвать стадион, – в общем, выставляю нас террористами. А полиции только того и надо.

– Чтобы расправиться с нами, как сегодня? Отравить нас газом, избить дубинками?

– Именно. Перед телекамерами и при поддержке зрителей.

Фэй качает головой.

– Но зачем им в этом помогать? К чему поощрять... – она обводит рукой окровавленных молодых людей, занявших алтарь – ... это безумие, это насилие?

– Потому что чем круче с нами обходится полиция, – поясняет Себастьян, – тем сильнее мы выглядим.

– Кто это мы?

– Протестное движение, – отвечает Себастьян. – Чем больше нас лупят копы, тем очевиднее, что мы правы. – Он откидывается на спинку скамьи и безучастно смотрит вверх. – Между прочим, прекрасная тактика. Полицейские и демонстранты, консерваторы и либералы нужны друг другу, они друг друга создают: и тем, и другим необходим оппонент, которого можно было бы обвинить во всех смертных грехах. Чтобы почувствовать себя частью какой-то группы, нужно придумать другую группу и возненавидеть ее. Так что с точки зрения рекламы сегодня все сложилось как нельзя лучше.

Позади них Гинзберг ходит меж рядами скамей церкви Святого Петра и молча благословляет спящих. Фэй слышит, как он монотонно поет индуистские благодарственные молитвы. Фэй и Себастьян разглядывают запрестольный образ, каменных ангелов и святых. Фэй не знает, что и думать. Она чувствует себя обманутой – точнее, понимает, что должна чувствовать себя обманутой: пусть она никогда не причисляла себя к участникам движения, но многие в нем состояли, и она пытается оскорбиться за них.

– Послушай, Фэй, – Себастьян облакачивается о колени, тяжело вздыхает и опускает глаза. – Я тебе не все сказал. Правда в том, что я не смог поехать во Вьетнам.

Огни в алтаре притушили, поток демонстрантов иссяк. Повсюду – по двое, трое, четверо – спят люди. Лишь свечи теплятся в алтаре, излучая мягкий оранжевый свет.

– Я всем говорил, что летом ездил в Индию, – признается Себастьян, – но на самом деле я был в Джорджии. В лагере для новобранцев. Меня хотели отправить во Вьетнам, но потом приехал один чувак и предложил

делку. Он из мэрии и знает, на какие пружины там нужно нажать. Обещал меня отмазать, если я буду публиковать такие вот истории. Мне становилось тошно от одной лишь мысли о том, что придется ехать на войну. И я согласился.

Себастьян смотрит на Фэй. Лицо его осунулось, побледнело.

– Ты меня теперь, поди, ненавидишь, – добавляет он.

Да, наверное, она должна бы его ненавидеть, но вместо этого Фэй ловит себя на том, что жалеет Себастьяна. В конце концов, не такие уж они и разные.

– Мой отец работает в “Кемстар”, – отвечает она. – За мое обучение наполовину заплачено деньгами, которые он заработал на заводе, где делают напалм. Так что не мне тебя судить.

Себастьян кивает.

– Мы просто не могли иначе, да?

– Я бы тоже, наверное, согласилась сотрудничать с мэрией, – признается Фэй.

Они рассматривают алтарь, но вдруг Фэй приходит в голову мысль:

– Помнишь, ты сказал, что видел мою мару?

– Ну?

– Ты говорил, тебе об этом рассказали тибетские монахи.

– Да.

– Когда ты был в Индии. Но ты же там не был.

– Да я в журнале прочитал. Только, кажется, статья была не о тибетских монахах, а об австралийских аборигенах.

– И о чем ты еще мне наврал? – интересуется Фэй. – А как же наше свидание? Ты правда хотел встретиться со мной?

– Правда, – улыбается Себастьян. – Тут я тебя не обманул. Я действительно хотел с тобой встретиться. Честно-честно.

Фэй кивает. Пожимает плечами.

– Откуда мне знать, что это правда?

– Вообще-то я тебе еще кое в чем чуть-чуть наврал.

– И в чем же?

– То есть не то что бы тебе. Я всем так говорю.

– Ну-ка, ну-ка.

– На самом деле меня зовут не Себастьян. Я это выдумал.

Фэй, не удержавшись, покатывается со смеху. Ну до чего же дурацкий день! И вот вам пожалуйста, очередная глупость.

– И это ты называешь “чуть-чуть наврал”? – спрашивает она.

– Это мой оперативный псевдоним, скажем так. В честь святого

Себастьяна. Знаешь такого? Он был мученик. Полиции нужен был кто-то, кто станет мишенью для их стрел. И я им это обеспечил. По-моему, отлично придумал. Зачем тебе знать мое настоящее имя?

– Незачем, – согласилась Фэй. – По крайней мере, сейчас мне это точно неинтересно.

– Это не то имя, которое вдохновляет на подвиги, уж поверь.

Гинзберг подошел к ним. Обошел весь храм, все ряды и наконец добрался до них. Он останавливается напротив них и кивает. Они кивают в ответ. В церкви так тихо, что слышно лишь, как звенят металлические цепочки на шее поэта, как он бормочет благословения. Гинзберг возлагает руку на их головы: теплая мягкая ладонь касается их так ласково. Он закрывает глаза, шепчет что-то неразборчиво, точно накладывает на них тайное заклятье. Потом умолкает, открывает глаза и убирает руку.

– Я вас поженил, – сообщает он. – Теперь вы женаты.

Гинзберг шаркает прочь, мурлыкая что-то под нос.

34

Пожалуйста, не рассказывай никому, – просит молодой человек, которого Фэй знает как Себастьяна.

– Не скажу, – обещает она и понимает, что сдержит слово, потому что никого из этих людей никогда уже не увидит.

С завтрашнего дня она не будет жить в Чикаго и учиться в Иллинойском университете. Понимание этого крепло в ней целый день. Она сама еще не сознает, что приняла решение: скорее решение давно уже созрело и поджидало ее. Она здесь чужая, и все, что случилось сегодня, лишь это доказывает.

План ее прост: на рассвете она уедет из города. Ускользнет, пока все спят. Зайдет в общежитие. Поднимется к себе в комнату, обнаружит, что дверь распахнута настежь и горит свет. Увидит спящую на постели Элис. Фэй не станет ее будить. На цыпочках прокрадется к прикроватной тумбочке, очень медленно выдвинет нижний ящик, достанет кое-какие книжки и письмо, в котором Генри сделал ей предложение. Тихонько уйдет, бросив прощальный взгляд на Элис, которая без солнечных очков и берцев похожа на обычную девчонку – нежную, беззащитную, даже симпатичную. Фэй мысленно пожелает ей всего самого лучшего и уйдет. Элис никогда не узнает, что она заходила. Первым же автобусом Фэй уедет в Айову. В дороге час будет смотреть на письмо Генри, потом ее наконец сморит усталость, и она проспит до самого дома.

Такой вот план. Она улизнет с первым лучом зари.

Но до этого еще несколько часов, она пока что в Чикаго, с этим парнем, и такое ощущение, словно они выпали из времени. Темный тихий храм. Теплятся свечи. И какая разница, как на самом деле зовут Себастьяна? Зачем все портить? Зачем раскрывать тайну? В его анонимности есть своя прелесть. Он может быть кем угодно. И она может быть кем угодно. Фэй знает, что завтра уедет, пока же она здесь. Завтра придется за все платить, пока же никто платы не требует. И то, что сейчас происходит, останется без последствий. Как сладок этот миг перед тем, как все бросить. Можно не тревожиться ни о чем. Делать, что хочешь.

А хочет она взять Себастьяна за руку и отвести в полумрак в глубине храма. Она хочет почувствовать на себе его теплое тело. Она хочет поддаться порыву – как в ту ночь с Генри на детской площадке (как же давно это было!). Но даже когда она прижимается губами к его губам, а он, отстранившись, спрашивает шепотом: “Ты точно этого хочешь?”, и она отвечает с улыбкой: “Ну а что такого, мы же теперь женаты”, и они опускаются на плиточный пол, Фэй понимает, что делает все это не только потому, что очень этого хочет. Она делает это еще и потому, что хочет доказать себе: она изменилась. Ведь испытание огнем меняет, не так ли? После него становишься другим, лучшим человеком. А сегодня ей довелось пройти через такое испытание, и Фэй уже не хочется быть прежней, мучиться от прежних пустячных сомнений и тревог. Ей хочется доказать себе, что после сегодняшних ужасов она стала сильнее и лучше, пусть даже она и не знает, так ли это. Как определить, стала ли ты сильнее и лучше? Проверить на деле, решает Фэй. Ну вот она и проверяет. Фэй снимает куртку сперва с Себастьяна, потом с себя. Они разуваяются и хихикают, потому что сексуально снять тесную обувь никак не получится. Это ее личная демонстрация: Фэй показывает себе и миру, что изменилась, стала женщиной, ведет себя как женщина и ни капельки не боится. Фэй расстегивает ремень Себастьяна, приспускает штаны: член его так мило торчит наружу. Сейчас ее не пугают даже плакаты из школьного кабинета домоводства: пусть ее кожа в песке, а от мужчины пахнет потом, дымом, мускусом и слезоточивым газом, все равно она хочет его, а он хочет ее, и если честно, сушее наслаждение и свобода в том, чтобы кувыряться вдвоем, грязными, на блестящем и гладком полу в доме божием, где, если поднять глаза, увидишь над собой каменного Иисуса с понуренной головой, с такого ракурса кажется, будто он глядит прямо на нее, грозный ее Господь не одобряет то, что она вытворяет в его святилище, а ей это нравится, ей нравится, что все происходит именно здесь, она знает, что завтра вернется в Айову и снова станет собой, все той же прежней Фэй,

вернется к себе, как душа возвращается в тело, скажет “нет” университету, скажет “да” Генри, станет женой, неизвестным странным существом, которое сохранит в душе память об этой ночи. Она никогда никому о ней не расскажет, хотя будет думать об этом каждый день. Она будет силиться понять, как в ней уживаются такие разные личности: настоящая Фэй и та, другая, дерзкая, смелая, импульсивная. Она будет скучать по той, другой Фэй. Будут лететь годы, дни ее будут проходить в хозяйственных и материнских заботах, и она так часто будет думать о той ночи, что наконец та ночь покажется ей реальнее, чем настоящая жизнь. Фэй поверит, что роль жены и матери – лишь иллюзия, маска, которую она показывает миру, а Фэй, что когда-то проснулась в ней на полу церкви Святого Петра, и есть настоящая, ее подлинное “я”, вера в это так сильно в ней укоренится, так глубоко проникнет в ее душу, что в конце концов победит. Она не сможет больше притворяться, будто не замечает этого. Тогда ей будет казаться, что она не оставила мужа и сына, а вернулась к настоящей жизни, которую когда-то, много лет назад, оставила в Чикаго. Фэй испытает облегчение: наконец-то она поступила по совести. Наконец-то отыскала ту самую, подлинную Фэй – по крайней мере, именно так ей и будет казаться, пока она не заскучает по семье и все сомнения вернуться.

В легенде о слоне и слепорожденных обычно не замечают главного: что прав был каждый из слепцов. Фэй не понимает, а может, никогда и не поймет, что не существует никакого истинного “я”, скрытого за сонмом ложных. Есть истинное “я”, которое скрывается за множеством других таких же истинных “я”. Да, она робкая, кроткая, прилежная студентка. И она же – перепуганный тревожный ребенок. И дерзкая своенравная соблазнительница. А еще жена и мать. И многое-многое другое. Вера в то, что существует лишь одно истинное “я”, мешает осознать всю картину, как вышло у слепцов со слоном. Беда не в том, что они слепцы, а в том, что слишком быстро сдались и так и не узнали, что правда на самом деле шире.

В случае же с Фэй правда, опора, на которой держатся все важные эпизоды ее жизни, как держится дом на несущей колонне, такова: Фэй исчезает. Она в панике ускользает, как когда-то сбежала из Айовы от позора, как сбежит из Чикаго и выйдет замуж, как потом сбежит из семьи и в конце концов сбежит из страны. И чем сильнее она верит, что у нее есть лишь одно истинное “я”, тем чаще будет сбегать, чтобы его найти. Она словно увязла в зыбучих песках и чем отчаяннее старается выбраться, тем быстрее тонет.

Поймет ли она это когда-нибудь? Кто знает. Порой вся жизнь уходит на то, чтобы трезво на себя взглянуть.

Сейчас же Фэй ни о чем таком не помышляет. Сейчас все просто: она лишь тело, что совокупляется с другим телом. Это теплое тело прижимается к ней, и кожа его на вкус отдает солью и нашатырем. На рассвете проснется рассудок, пока же все просто – так же просто, как вкус. Она лишь тело, которое постигает мир, и она ощущает его всеми чувствами.

35

Единственный человек в церкви, который знает, чем они занимаются, – Аллен Гинзберг. Он сидит по-турецки у стены и улыбается. Он видел, как они опустились на пол за алтарем, видел их тени в свете свечей, слышал, как брякнула расстегнутая пряжка ремня. Он счастлив за них, за этих детей, что услаждают свою измученную, перепачканную плоть. Так и надо. Он вспоминает стихотворение, которое написал давным-давно – лет десять назад? Пятнадцать? Какая разница. “Мы не грязная наша кожа, – писал он, – все мы душою прекрасные золотые подсолнухи, мы одарены семенами, и наши голые волосатые золотые тела при закате превращаются в сумасшедшие тени подсолнухов...”^[48]

Так и есть, думает Гинзберг. Он закрывает глаза и засыпает, испытывая радость и удовольствие.

Потому что знает: он был прав.

Часть десятая. Долги надо отдавать

Конец лета 2011 года

1

Фэй опять обманула сына.

Опять побоялась сказать ему правду. Когда он спросил ее в чикагском аэропорту, куда она намерена ехать, она ему соврала. Ответила, что пока не знает, в Лондоне придумает. На самом деле она прекрасно знала, куда полетит: как только выяснилось, что Фэй поедет одна, она сразу же решила отправиться сюда, в Хаммерфест, в Норвегию. В родной город отца.

Судя по рассказам отца, его семье в Хаммерфесте принадлежал роскошный дом: просторный, трехэтажный, деревянный, на окраине, с видом на море, с длинным причалом, на котором за день можно было наловить ведро гольца. Перед домом простиралось поле, на котором летом золотился ячмень. Был здесь и маленький хлев, в котором обитали козы, овцы и лошадь. Еще возле дома росли дивные сине-зеленые ели, которые зимой так засыпало снегом, что порой с веток с глухим стуком падали целые сугробы. Каждую весну выцветший за зиму от непогоды дом заново красили ярко-красной краской. Фэй помнит, как слушала эти рассказы, сидя у отца на коленях, и живо представляла себе родовое гнездо; впоследствии воображение прибавило к нему зубчатую линию гор на заднем плане, засыпало берег черным вулканическим песком, который она видела в “Нэшнл Джиогрэфик”, и всякий раз, как встречала в журналах или фильмах прекрасные пейзажи, идиллические заграничные сельские виды, представляла себе, что все это Хаммерфест. Мало-помалу он вобрал в себя все ее детские фантазии. Стал для нее воплощением всего самого лучшего: в нем слились скандинавские и французские ландшафты, поля Тосканы и тот великолепный фрагмент из “Звуков музыки”, где герои поют и кружатся на высокогорных баварских лугах.

Оказывается, настоящий Хаммерфест совсем другой. После короткого перелета из Англии в Осло и еще одного, на “де Хэвилленде”, таком большом, что, казалось, пропеллеры его не поднимут, Фэй приземляется в Хаммерфесте и видит каменистую скудную землю, на которой не растет почти ничего, кроме самых неприхотливых деревьев и колючих кустарников. Городок, где свистит ветер с Полярного круга, ветер, который

приносит сладкий химический запах. Потому что здесь добывают нефть. И газ. Рыбацкие лодки кажутся крошечными по сравнению с огромными оранжевыми контейнеровозами, перевозящими сжиженный природный газ и неочищенную нефть на усеявшие побережье нефтеперерабатывающие заводы, в круглые белые резервуары для хранения и перегонки, которые с воздуха кажутся выросшими на чем-то мертвом грибами. Из города видны плавучие буровые платформы, где добывают пластовый газ. И никаких тебе ячменных полей, волнующихся от ветра: лишь пустыри с брошенной ржавой техникой в потеках нефти. Отвесные скалистые холмы, поросшие лишайником. Никаких пляжей, лишь обрывистые берега, заваленные камнями, как после взрыва. Дома покрашены в оранжевый и желтый цвета, скорее чтобы защититься от полярной ночи, а не потому что здесь живут такие жизнерадостные люди. Неужели это тот сказочный городок, который она себе представляла? Все здесь казалось ей чужим.

Фэй надеялась, что в туристическом бюро ей помогут, но когда она сказала, что ищет ферму Андресенов, на нее посмотрели как на сумасшедшую. Здесь таких нет, ответили ей. Здесь вообще нет ферм. Она описала дом, и ей сообщили, что его уже нет. Немцы уничтожили в войну. Они уничтожили именно этот дом? Нет, они стерли с лица земли весь город. Фэй дали брошюру Музея послевоенного восстановления городов. Фэй объяснила: в том месте, которое она ищет, должно быть небольшое поле, ели и дом на берегу моря. Быть может, они знают такое? Под это описание подходит множество мест, ответили ей в бюро и предложили пройтись по городу. Пройтись? Да, городок-то маленький. Фэй последовала совету. Она обходит Хаммерфест, высматривая местечко, похожее на то, о котором рассказывал отец: ферма на окраине городка, на берегу моря. Проходит мимо хлипких квадратных многоквартирных домов, которые жмутся друг к другу, словно пытаясь согреться. Ни полей, ни ферм. Фэй идет дальше по каменистой, поросшей сорняками земле: на такой почве приживаются лишь те растения, чьи корни способны пробить скалу, жесткие ломкие травы, засыпающие на два месяца темноты, которая наступает зимой за Полярным кругом. Фэй чувствует себя полной идиоткой. Она бродит по городку несколько часов. Ей казалось, она знала, что ждет ее здесь, она поверила в собственные фантазии. Сколько лет одно и то же: опять она совершает прежние ошибки. Фэй видит протоптанную в траве тропинку через гребень близлежащего холма и в мрачной задумчивости шагает по ней, повторяя с каждым шагом: “Глупо. Глупо”. Потому что она ведет себя глупо, она принимала глупые решения, оттого и очутилась здесь, в этом глупом городке, одна-одинешенька на пыльной

меловой тропинке на забытом богом краю света.

– Глупо, – произносит она, глядя себе под ноги, взбирается по крутой тропинке, которая ведет на верх холма, и думает, что приехать сюда было глупо, искать старый дом было глупо, даже оделась она глупо – белые туфельки на плоской подошве совершенно не подходят для прогулок по тундре, а в тонкой блузке так холодно на ветру, что Фэй обхватила себя руками. Очередные глупости, которые она совершила в глупой своей жизни, думает Фэй. Глупо было сюда ехать. Глупо было снова общаться с Сэмюэлом, но ей казалось, что она отвечает за него, хотя когда-то бросила его на Генри, что тоже было глупо. Точнее, глупо даже не это, глупо было вообще выходить замуж за Генри, глупо было уезжать из Чикаго. Фэй шаг за шагом поднимается в гору, перебирая в голове весь длинный список своих неправильных решений. С чего же все началось? Как она докатилась до такой глупой жизни? Она и сама не знает. Сейчас она вспоминает лишь, что всегда хотела быть одна. Быть свободной от людей, их суждений, всей этой путаницы. Свяжешься с кем-то – жди беды. Вот связалась она с Маргарет в выпускном классе и превратилась в городскую парию. Из-за Элис в университете ее арестовали, из-за Элис она угодила в самую гущу беспорядков. А из-за Генри – сломала жизнь их общему ребенку.

Когда в аэропорту оказалось, что Сэмюэла не пустят в самолет, Фэй испытала облегчение. Теперь ей за это стыдно, но что правда, то правда. Ее обуревали противоречивые чувства: радость, потому что Сэмюэл ее, похоже, простил, и облегчение, оттого что он не летит с ней. Как бы она выдержала перелет с ним до Лондона, весь этот водопад вопросов? Не говоря уже о том, чтобы вдвоем путешествовать или жить там, где они решили бы осесть (ему почему-то хотелось в Джакарту). Он слишком сильно в ней нуждался: она никогда не могла дать ему столько внимания, сколько ему хотелось.

Да и как было признаться Сэмюэлу, что летишь в Хаммерфест из-за дурацкой истории о призраках, которую слышала в детстве? Из-за легенды о ниссе, которую отец рассказал ей в тот вечер, когда с ней впервые случилась паническая атака. За все эти годы Фэй не забыла эту историю, и когда Сэмюэл упомянул про Элис, Фэй тут же вспомнила совет, который дала ей когда-то подруга юности: чтобы избавиться от призрака, надо отвезти его домой.

Глупость, конечно. Глупость и суеверие.

– Глупо, глупо, – повторяет Фэй.

Может, на ней действительно проклятие? Раньше она думала, что отца преследовал призрак, который приехал с ним из родных краев. Теперь же

ей кажется, что дело не в этом: она сама стала проклятием. Все дело в ней. Стоит ей с кем-то сблизиться, как приходится за это расплачиваться. Может, и хорошо, что она очутилась здесь, на краю света, одна. Тут не с кем общаться. Здесь она никому не сломает жизнь.

Фэй поднимается на вершину холма. Ее одолевают мрачные мысли. Вдруг она понимает, что рядом кто-то есть. Фэй поднимает глаза и видит впереди лошадь – метрах в шести, там, где тропинка начинает спускаться в маленькую долину. Фэй вздрагивает от неожиданности, ойкает, но лошадь, похоже, это ничуть не пугает. Она не двигается. Не щиплет траву. Не похоже, что Фэй ей помешала. Такое ощущение, будто лошадь специально поджидала ее. Лошадь белая, с выступающими мускулами. То и дело поводит боками. Большие круглые черные глаза, кажется, видят Фэй насквозь. Во рту у лошади удила, на холке поводья, но седла нет. Лошадь глядит на Фэй, словно только что задала ей важный вопрос и ждет ответа.

– Привет, – говорит Фэй.

Лошадь ее не боится, но и не ластится к ней. Она внимательно смотрит на Фэй, словно ждет, что та что-то скажет или сделает, и от этого ощущения Фэй становится не по себе. Она не знает, как быть дальше. Делает шаг к лошади, та не реагирует. Фэй делает еще один шаг. Лошадь стоит как ни в чем не бывало.

– Ты кто? – спрашивает Фэй, и в голове ее тут же всплывает ответ: это нёкк. Он наконец-то явился ей, здесь, на гребне холма над ледяным морем, в Норвегии, в самом северном городе мира. Фэй очутилась в сказке.

Лошадь, не моргая, смотрит в упор на Фэй, словно хочет сказать: “Я знаю, кто ты такая”. Фэй тянет к лошади, тянет ее потрогать, погладить по бокам, запрыгнуть ей на спину, отдаться на ее волю. Достойный конец, думает Фэй.

Она подходит ближе, поднимает руку, чтобы погладить лошадь по морде. Лошадь не шелохнется. Ждет. Фэй гладит лошадь между глаз: странно, ей всегда казалось, что это место должно быть мягче, здесь череп так близко к коже, кости обтянуты тонкой шкурой.

– Ты меня ждала? – шепчет Фэй в серо-черное, в серебристых крапинках ухо лошади, похожее на фарфоровую чашку.

Интересно, удастся ли вскочить лошади на спину, допрыгнет ли она. Это самое трудное. Дальше будет легче. Если лошадь сорвется с места в галоп, то за дюжину шагов окажется на краю обрыва. Несколько секунд – и она в воде. Надо же, думает Фэй, жизнь была такая долгая, а конец наступит так быстро.

Вдруг Фэй слышит звук: ветер доносит его из долины. Снизу к ней

направляется женщина и кричит что-то по-норвежски. За ее спиной дом: небольшой, квадратный, позади дома терраса с видом на море и тропинка вниз, к шаткому деревянному причалу, перед домом большой сад, несколько елей, маленькая лужайка – пастбище для пары коз и пары овец. Дом серый, обветренный, но там, куда ветер не достает – под карнизами и за ставнями – краснеет старая краска.

Фэй едва не падает от удивления. Она представляла дом иначе, но все равно узнает. Ей все знакомо, словно она бывала здесь много раз.

Женщина подходит к ней, и Фэй видит, что та молода и красива, пожалуй, ровесница Сэмюэла, выглядит как типичная местная жительница: светлокожая, голубоглазая, с длинными прямыми волосами того нежного оттенка, который темнее льняного, но светлее белокурого. Женщина улыбается и что-то говорит, но Фэй ее не понимает.

– Это, наверно, ваша лошадь, – отвечает Фэй. Ей неловко обращаться по-английски к человеку, который, возможно, не знает этого языка, но выбора у нее нет.

Женщина, похоже, ничуть не обижается. Наклонив голову, задумывается на мгновение, а потом спрашивает:

– Англичанка?

– Американка.

– А, – кивает женщина, словно ответ Фэй пролил свет на какую-то важную тайну. – Он иногда уходит. Спасибо, что поймали.

– Да я его не то чтобы поймала. Он просто здесь стоял, а я его увидела. Так что, скорее, это он меня поймал.

Женщина говорит, что ее зовут Лиллиан. На ней серые брюки в елочку из какой-то жесткой ткани, светло-голубой свитер и вязаный шерстяной шарф, по виду самодельный. Воплощение скромного скандинавского стиля: сдержанная элегантность. Некоторые женщины умудряются выглядеть изящно в шарфе. Лиллиан берет коня под уздцы, и вместе они спускаются к дому. Фэй гадает, кем приходится ей эта женщина – троюродная сестра? какая-то дальняя родственница? – потому что дом явно тот самый. Слишком уж много совпадений, даже если отец что-то преувеличил: перед домом не поле, а скорее сад, елей не длинный ряд, а всего-навсего две, над водой не большой причал, а хлипкие мостки, к которым свободно может пристать разве что байдарка. Интересно, думает Фэй, отец специально приврал, приукрасил, или за годы разлуки в его воображении дом действительно стал больше и величественнее?

Лиллиан же тем временем поддерживает с Фэй непринужденную беседу: спрашивает, откуда она, нравится ли ей путешествовать, где уже

побывала. Рассказывает о хороших ресторанах и живописных местах поблизости.

– Это ваш дом? – спрашивает Фэй.

– Мамин.

– Она тоже здесь живет?

– Да, конечно.

– Давно?

– Да почти всю жизнь.

В саду перед домом густо растут кусты, травы, цветы, за которыми, судя по виду, никто практически не ухаживает. Не сад, а непролазные дебри, точно природе здесь разрешили творить все что заблагорассудится. Лиллиан заводит коня в загон, закрывает расхлябанную калитку и закрепляет сверху узлом из бечевки. Благодарит Фэй за то, что та помогла вернуть коня.

– Приятного вам путешествия, – желает ей Лиллиан.

И несмотря на то, что Фэй приехала сюда именно за этим, она никак не решается задать вопрос, не знает, с чего начать, как объяснить, а оттого нервничает.

– Да я не то чтобы путешествую.

– Да?

– Я кое-кого ищу. Одно семейство. Родственников.

– А как их фамилия? Быть может, я смогу вам помочь.

Фэй сглатывает и, отчего-то оробев, произносит:

– Андресен.

– Андресен, – повторяет Лиллиан. – Что ж, фамилия распространенная.

– Да. Но дело в том, что мне кажется, это здесь. Ну то есть родственники мои жили здесь, в этом доме.

– У нас в роду не было никаких Андресенов, и в Америку никто не уезжал. Вы точно не перепутали город?

– Моего отца зовут Фрэнк Андресен. Здесь его звали Фритьоф.

– Фритьоф, – произносит Лиллиан и задумывается. Похоже, имя ей знакомо, хотя она не сразу понимает, откуда его знает, но потом вспоминает и впивается взглядом в Фэй.

– Вы знакомы с Фритьофом?

– Это мой отец.

– О господи, – Лиллиан хватает Фэй за руку и говорит: – Идемте.

Она ведет Фэй в дом: сперва они проходят через кладовую, уставленную банками со всевозможными соленьями, потом через теплую кухню, где что-то пекут и пахнет дрожжами и кардамоном, в маленькую

гостиную со скрипучими половицами и деревянной мебелью, явно старинной, ручной работы.

– Подождите здесь, – с этими словами Лиллиан выпускает руку Фэй и скрывается в другой двери.

Гостиная уютная, со множеством подушечек, покрывал, фотографий на стенах. Видимо, это портреты членов семьи. Фэй рассматривает снимки, но никого не узнает, разве что кое-кто из мужчин смахивает на ее отца (или ей это чудится?): тот же знакомый прищур, та же приподнятая бровь и морщинка на переносице. В комнате полным-полно ламп, бра, подсвечников, свечей – видимо, чтобы ярко освещать помещение бесконечной полярной ночью. Одну стену занимает огромный каменный очаг. Другую – книги со скромными белыми корешками и незнакомыми названиями. Ноутбук в такой старомодной обстановке выглядит анахронизмом. Фэй слышит сквозь дверь, как Лиллиан что-то негромко и быстро говорит. Фэй не знает ни слова по-норвежски: для нее это лишь набор звуков. Гласные звучат чуть гнусаво, как в немецком. Фэй кажется, что темп речи выше, чем в американском английском.

Вскоре дверь открывается, и возвращается Лиллиан с матерью, похожей на Фэй, точно отражение в зеркале: те же глаза, та же манера сутулиться, да и стареют они одинаково. Женщина, видимо, тоже это замечает, потому что при виде Фэй замирает как вкопанная. С минуту они, не двигаясь, разглядывают друг друга. То, что они сестры, ясно с первого взгляда. Фэй подмечает в лице женщины отцовские черты: те же скулы, глаза, нос. Мать Лиллиан недоверчиво наклоняет голову. Непослушные седые волосы перевязаны лентой на затылке. На женщине однотонная черная рубашка и поношенные синие джинсы, причем и на джинсах, и на рубашке виднеются следы многочисленных домашних забот: пятна краски, шпаклевки, колени джинсов в грязи. Женщина босая. Она вытирает руки темно-синей тряпкой.

– Я Фрейя, – говорит она, и у Фэй екает сердце. В каждой истории о призраках, которые рассказывал ей отец, главную героиню, красивую девочку, обязательно звали Фрейей.

– Простите, что побеспокоила вас, – отвечает Фэй.

– Вы дочь Фритьофа?

– Да. Фритьофа Андресена.

– Вы из Америки?

– Из Чикаго.

– Значит, он уплыл в Америку, – ни к кому не обращаясь, резюмирует женщина. – Покажи ей.

Фрейя делает знак Лиллиан, та берет с полки книгу и садится на диван. Книга старинная, с пожелтевшими ломкими страницами, в кожаной обложке и с застежкой. Фэй такую уже видела: точь-в-точь отцовская Библия, та, в которой было нарисовано генеалогическое древо с экзотическими именами. Отец показывал его Фэй и неодобрительно цокал – дескать, трусы, побоялись отправиться в Америку на поиски лучшей жизни. Вот и у Лиллиан на коленях лежит такая же Библия с генеалогическим древом на первом развороте. Но в отцовской книге древо заканчивалось на Фэй, в Хаммерфесте же буйно ветвилось. Лиллиан, как поняла Фэй, одна из шести детей Фрейи. Строчкой ниже шли внуки, а под ними и правнуки. Чтобы уместить всех, понадобится новый лист. Над Фрейей имена родителей: Марте, ее мать, и еще одно имя, вымаранное черными чернилами. Фрейя, шаркая, подходит к ним, становится перед Фэй, наклоняется и тычет пальцем в пятно:

– Тут был Фритьоф, – произносит она, и ноготь ее оставляет на странице серповидную отметину.

– Вы тоже его дочь.

– Да.

– Его имя вычеркнули.

– Это сделала мама.

– Почему?

– Потому что он оказался... как это сказать? – Она оглядывается на Лиллиан, чтобы та подсказала ей точное слово, произносит что-то по-норвежски.

Лиллиан кивает и говорит:

– А, ты хочешь сказать, он оказался трусом.

– Да, – соглашается Фрейя. – Он оказался трусом.

И смотрит на Фэй: как та отреагирует, не обидится ли, не примется ли возражать. Фрейя напряглась и явно ожидает скандала, более того – целиком и полностью к нему готова.

– Я не понимаю, – отвечает Фэй. – Почему трусом?

– Потому что он уехал. Бросил нас.

– Нет, – возражает Фэй. – Он эмигрировал. Отправился на поиски лучшей жизни.

– Ну да, для себя самого.

– Он ни разу не упоминал, что у него на родине осталась семья.

– Плохо же вы его знаете.

– Так расскажите мне о нем.

Фрейя тяжело вздыхает и смотрит на Фэй не то с раздражением, не то с

презрением.

– Он еще жив?

– Да, но уже не в себе. Он очень стар.

– Что он делал в Америке?

– Работал на заводе. На химическом заводе.

– И хорошо жил?

Фэй задумывается, вспоминает, как часто видела отца в одиночестве, как он всех сторонился, как был мрачен, словно жил в тюрьме, в которую сам же себя и заточил, как часами стоял на заднем дворе и глядел на небо.

– Нет, – наконец отвечает она. – Он всегда грустил. Ему было очень одиноко. Мы и не знали почему.

Услышав это, Фрейя смягчается, кивает и предлагает:

– Оставайтесь на ужин. Я вам все расскажу.

И за рыбным рагу с хлебом Фрейя рассказывает историю, которую услышала от матери, когда подросла и смогла все понять. Дело было в 1940 году: после о Фритьофе Андресене никто ничего не слышал. Как большинство юношей в Хаммерфесте, он был рыбаком. Ему было семнадцать. Прежде, мальчишкой, он подрабатывал на причале: чистил и потрошил рыбу, делал филе. Теперь же он выходил в море со взрослыми, что было куда лучше, прибыльнее, интереснее, и у него захватывало дух, когда рыбаки вытаскивали полные сети трески, палтуса и жуткой вонючей зубатки, которую, как все знают, ловить гораздо приятнее, чем потрошить. Он пропадал в море дни напролет, теряя счет времени, потому что летом в Арктике солнце не заходит никогда. Он гордился тем, как наловчился управляться с различными рыбацкими снастями – буйками, сетями, анкерками, лесками, крючками, – словом, всем, что было на лодке. Больше всего он любил нести вахту на верхушке самой высокой мачты, потому что был самым зорким из команды. Все считали, что у него талант. Он высматривал косяки черных каменных окуней, все лето заходившие в залив, и, заметив кипение на воде, кричал: “Рыба!” Команда скатывалась с коек, натягивала шапки и бралась за дело. Спускали две шлюпки, по два матроса на каждую – один гребет, другой тянет сеть, – растягивали сети между шлюпками, а он сверху направлял их действия. Наконец рыбаки окружали косяк, заключали в сети и победоносно поднимали бьющуюся рыбу на борт. Была в этом сила, власть над морской стихией, ощущение, что их не остановить, даже когда они подходили слишком близко к изломанным берегам и, не будь такими умелыми моряками, рисковали налететь на камни и утопить корабль.

Старожилы рассказывали, что никто лучше Фритьофа не умел заметить

косяк рыбы. У него был самый острый глаз в Хаммерфесте, и всякий раз, как рыбаки возвращались в порт, Фритьоф не упускал случая похвалиться мастерством. Дескать, он читает океан, как письмо. Он был молод. У него водились деньжата. Он любил посидеть в кабаке. Там он познакомился с официанткой по имени Марте. Не то чтобы он в нее влюбился. Скорее они были юны, их обуревали желания, которые они и утоляли друг с другом. Впервые они занялись любовью среди холмов неподалеку от дома Марте: он дождался, пока кабачок закроется, чтобы проводить девушку домой, и они улеглись на жесткую траву под серо-белым солнцем. Потом Марте показала ему окрестности, ярко-красный дом, длинный причал, долгую линию елей и ячменное поле. Марте призналась, что очень любит свой дом. Вообще она была премилая.

В то лето в Хаммерфест пришла война. Все надеялись, что такую глушь бои обойдут стороной, но оказалось, что нацисты планировали устроить в городке базу, чтобы уничтожать конвои союзников, направлявшиеся в СССР, и пополнять запасы топлива и продовольствия на немецких подводных лодках. Побережье Норвегии – из порта в порт, с корабля на корабль – облетел слух, что вот-вот нагрянут войска вермахта. В команде Фритьофа заговорили о том, что пора бежать. Можно было уплыть в Исландию. Начать там новую жизнь. Некоторые предлагали поехать дальше, из Рейкьявика в Америку. А как же подлодки? Они не тронут маленькое рыбацкое судно. А мины? Фритьоф их непременно заметит. В общем, можно рискнуть.

Фритьофу же хотелось верить в то, что немцам, как утверждал кое-кто из старших, нужен порт, а не город, и если жители не окажут сопротивления, никто их не тронет, ведь воюют-то немцы с Британией и СССР, а не с Норвегией. Но вскоре поползли слухи о том, что творилось на юге страны: о неожиданных атаках, о сожженных деревнях. Фритьоф не знал, что и думать. В следующий раз, когда команда вернется в Хаммерфест, нужно принять решение. Кто хочет остаться, волен остаться. Кто готов рискнуть и уплыть в Исландию, должен по мере сил запастись всем необходимым.

Выбора не было только у Фритьофа. По крайней мере, так ему казалось, когда старшие отводили его в сторонку и признавались, что без его острого зрения им никак не обойтись. Только он способен разглядеть мины, из-за которых опасно заплывать за пределы островов. Только он сумеет высмотреть воронки на воде и кильватерные следы, сообщавшие о близости подводных лодок. Только ему под силу заметить вдалеке очертания вражеских кораблей, чтобы вовремя от них уклониться. У него

талант, в один голос твердили все. Без него им не выжить.

В тот вечер он дождался, пока кабачок закроется, и встретил Марте. Она обрадовалась ему. Они снова занимались любовью в траве, а потом Марте призналась, что беременна.

– Теперь нам, конечно, придется пожениться, – добавила она.

– Конечно.

– Родители сказали, ты можешь жить с нами. Когда-нибудь дом достанется нам.

– Да. Хорошо.

– Бабушка уверена, что будет дочь. Она обычно в таком не ошибается. Я хочу назвать ее Фрейей.

Они строили планы ночь напролет. Утром он сообщил, что его корабль уходит за треской на северо-восток, через неделю вернется. Марте улыбнулась. Поцеловала его на прощанье. И больше его не видела.

Когда родилась Фрейя, город уже оккупировали немцы. Почти всех жителей выгнали из домов: теперь там жили солдаты, а горожане ютились в многоквартирных зданиях, школах, церкви. В одной квартире с Марте теснились шестнадцать других семейств. Маленькая Фрейя запомнила, как голодно и страшно тогда жилось. Так прошло четыре года: потом немцы отступили. В тот день, зимой 1944 года, всем до единого жителям Хаммерфеста было велено покинуть город. Те, кто послушался приказа, укрылись в лесу. Тех, кто остался, убили. Немцы спалили город дотла. Все строения, кроме церкви. Когда жители вернулись, на месте города были лишь руины, пепел и камни. Ту зиму они провели в горах, в пещерах. Фрейя помнит холод и дым от костров, дым, от которого все кашляли, задыхались и не могли уснуть. Помнит, как ее рвало в ладошку золой и желчью.

Весной они вышли из убежищ и принялись восстанавливать Хаммерфест. Но выстроить его таким же, как до войны, было не из чего. Потому-то теперь город местами выглядит так дешево и безлико: воплощение не красоты, но стойкости духа. Семья Марте, как могла, отстроила дом, даже покрасила в тот же цвет, той же ярко-красной краской, а когда Фрейя подросла, Марте рассказала ей о Фритьофе Андресене, ее отце. После войны о нем никто ничего не слышал. Все думали, что он, как многие другие, бежал в Швецию. Порой Фрейя приходила на берег, разглядывала рыбацкие суда и представляла, как отец сидит на верхушке мачты и высматривает ее. Она мечтала, что в один прекрасный день он вернется, но шли годы, она выросла, обзавелась собственной семьей, перестала ждать его возвращения, возненавидела отца, а потом перестала и

ненавидеть: просто-напросто забыла о нем. До приезда Фэй она не вспоминала о нем годами.

– Мне кажется, мама так его и не простила, – говорит Фрейя. – Жилось ей почти всю жизнь несладко, она злилась не то на него, не то на себя. Ее уже нет в живых.

Времени восьмой час. В кухонное окно бьют косые золотые лучи. Фрейя хлопает ладонями по столу и встает.

– Пошли к воде, – говорит она. – Посмотрим закат.

Она приносит Фэй пальто и по дороге на берег объясняет, что в Хаммерфесте очень любят закаты, потому что они здесь бывают нечасто. Сегодня солнце садится в четверть девятого. Месяц назад оно садилось в полночь. Еще через месяц в половине шестого будет уже темно. А начиная с середины ноября солнце будет вставать около одиннадцати утра, чтобы через полтора часа уже закатиться, и так два месяца подряд.

– Два месяца темноты, – произносит Фэй. – Как же вы тут живете?

– Ко всему привыкаешь, – отвечает Фрейя. – Да и как иначе?

Они молча сидят на мостках, пьют кофе. Дует холодный бриз, над Норвежским морем садится медное солнце.

Фэй пытается представить, как отец с обветренным красным лицом сидел высоко над водой, на самой верхушке мачты. Каково-то ему после этого работалось на заводе “Кемстар” в Айове, где приходилось крутить диск телефона, записывать цифры, заниматься бумажной работой, стоя на плоской безжизненной земле? О чем он думал, когда они отплыли в Исландию, когда смотрел, как скрывается из виду Хаммерфест, где остались его дом и ребенок? Долго ли он об этом жалел? Сильно ли? Фэй кажется, что отец жалел об этом всю жизнь. Что сожаление стало его сердечной тайной, его сокровенным секретом. Она вспоминает, как отец смотрел вдаль, когда думал, что никого нет рядом. Фэй всегда гадала, что же он видит в такие минуты, и вот теперь, похоже, поняла. Он видел это место, этих людей. Размышлял, как сложилась бы жизнь, прими он иное решение. Недаром же их звали так похоже: Фрейя и Фэй. Когда отец назвал ее Фэй, вспоминал ли он о другой дочери? Когда произносил ее имя, слышал ли эхо другого имени? Что если Фэй всегда напоминала ему о тех, кого он бросил? Быть может, он пытался себя наказать? Дом в Хаммерфесте он описывал так, будто сам в нем жил, так, словно это был его собственный дом. Наверно, отец действительно считал его своим. Наверно, он представлял, как унаследовал ферму с ярко-красным домом, и эта фантазия стала для него реальностью. Порой такие вот выдумки куда убедительнее настоящей жизни, уж Фэй-то это знает.

То, что существует лишь в воображении, мы порой воспринимаем как реальность.

Отец всегда так оживлялся, когда рассказывал об этом месте: Фэй никогда не видела его таким счастливым. Даже ребенком она понимала, что частичка его души навсегда осталась здесь. Он глядел на нее, но, по сути, ее не видел. Быть может, ее проблемы и панические атаки были всего лишь попыткой обратить на себя внимание, сделать так, чтобы отец ее заметил. Она убедила себя, что ее преследуют призраки с отцовской родины, потому что (пусть тогда она этого не понимала) пыталась стать для него Фрейей.

– У вас есть дети? – спросила Фрейя, нарушив долгое молчание.

– Да, сын.

– У вас близкие отношения?

– Да, – ответила Фэй, потому что в который раз побоялась сказать правду. Как можно признаться этой женщине, что она поступила с сыном так же, как Фритьоф с Фрейей? – Очень близкие, – добавила она.

– Хорошо, хорошо.

Фэй вспоминает, как несколько дней назад прощалась с Сэмюэлом в аэропорту. В ту минуту ее охватило необычное желание: ей вдруг захотелось крепко его обнять, физически почувствовать его присутствие. Оказывается, больше всего ей не хватало его тепла. В те долгие годы, что минули с тех пор, как Фэй ушла из семьи, сильнее всего она тосковала по человеческому теплу, по тому, как Сэмюэл по утрам, проснувшись от кошмара, залезал к ней в кровать, как прижимался к ней, когда у него поднималась температура. Каждый раз, когда ему нужна была мама, он приходил к ней, горячий, как кипящий котелок, как облако пара. Фэй прижималась к нему лицом, вдыхала его детский запах – пота, сиропа, травы. Он был такой горячий, что от его прикосновения на коже выступала испарина, и Фэй представляла, как внутри него кипят силы, необходимые для того, чтобы мальчик вырос мужчиной. Вот по этому-то теплу она вдруг отчаянно затосковала в аэропорту. Она так давно его не чувствовала. Обычно Фэй мерзла – быть может, от лекарств, всех этих таблеток от депрессии, антикоагулянтов и бета-блокаторов. Ей всегда было очень холодно.

Солнце село, и они смотрят в багровое небо. Лиллиан в доме зажигает камин. Фрейя слушает шум воды. Справа у берега виднеется остров, над которым в густеющих сумерках светится огонек.

– Что это? – спрашивает Фэй, указывая на огонек.

– Мелкёйа, – отвечает Фрейя. – Там завод. Газ перерабатывают.

– А светится что?

– Огонь горит. Он всегда горит. Не знаю почему.

Фэй смотрит на дымовую трубу с оранжевым языком пламени и вдруг переносится домой, в Айову: она сидит с Генри на берегу Миссисипи, смотрит на огонек азотного завода. Тот огонь было видно в городе отовсюду. Фэй называла его “маяком”. Так давно это было, словно в другой жизни. При мысли об этом давно забытом воспоминании у Фэй наворачиваются слезы. Она плачет – не навзрыд, а тихонько, легко. Сэмюэл назвал бы это “плач первой категории”, думает Фэй и улыбается. Фрейя либо ничего не замечает, либо делает вид, что не видит ее слез.

– Мне очень жаль, что у меня он был, а у вас не было, – произносит Фэй. – Я имею в виду отца. Мне очень жаль, что он вас бросил. Это несправедливо.

Фрейя отмахивается.

– Ничего, мы справились.

– Он по вам очень скучал.

– Спасибо.

– Мне кажется, он всю жизнь мечтал вернуться. И жалел, что уехал.

Фрейя встает и смотрит на море.

– Уехал – и хорошо.

– Почему?

– Оглянитесь вокруг, – Фрейя разводит руками, словно хочет обнять сад, животных, Лиллиан и огонь, который та разводит в камине, Библию с раскидистым генеалогическим древом. – Он нам не был нужен.

Она протягивает руку Фэй, та пожимает ее ладонь – формальный жест, обозначающий, что разговор окончен и Фэй пора уходить.

– Рада была с вами познакомиться, – говорит Фрейя.

– Я тоже.

– Надеюсь, вам понравится в Норвегии.

– Конечно. Спасибо вам за гостеприимство.

– Лиллиан отвезет вас в гостиницу.

– Тут недалеко, я прогуляюсь.

Фрейя кивает, направляется к дому, но, сделав несколько шагов, останавливается, оборачивается к Фэй и бросает на нее пронизательный взгляд, так, словно видит ее насквозь, со всеми секретами.

– Все это уже неважно, Фэй, дело прошлое. Возвращайтесь к сыну.

Фэй лишь кивает и смотрит вслед Фрейе, которая идет вверх по тропинке и скрывается в доме. Постояв минуту на мостках, Фэй тоже уходит. Она поднимается на холм и на вершине, на том самом месте, где

встретила лошадь, оглядывается на домик в долине, который сейчас залит теплым золотистым светом. Над трубой вьется голубой дымок. Быть может, здесь когда-то стоял отец. Быть может, именно это он запомнил. Быть может, именно этот вид был у него перед глазами, когда отец по вечерам в Айове глядел вдаль. Память об этом поддерживала его всю жизнь, но она же преследовала его, точно призрак. Фэй вспоминает старую легенду о призраке, похожем на камень: чем дальше от берега, тем он тяжелее, и однажды его тяжесть становится невыносимой.

Фэй представляет, как отец на память об этой ферме и этой семье увозит с собой горсть родной земли. Вот что тянуло его ко дну, точно камень из тех историй. Он увез это воспоминание с собой в море, в Исландию, в Америку. И тонул, не имея сил с ним расстаться.

2

И зачем только больничные палаты оформляют как гостиничные номера? – вот о чем думает Сэмюэл, оглядывая бежевые стены, бежевый потолок, бежевые же занавески и стойкое, специально для общественных мест ковровое покрытие больничной палаты, цвет которого можно назвать и бежевым, и бронзовым, и пшеничным. Картины на стенах до того неприметны, невзрачны, безобидны и абстрактны, что вообще никому ни о чем не напоминают. Телевизор с миллионом каналов, в том числе бесплатным НВО, если верить маленькой картонной табличке на комод “под дуб” с Библией в одном из ящиков. Письменный стол в углу со множеством портов и розеток – “беспроводное рабочее место”, на котором лежит покоробившийся, разошедшийся по краям ламинированный лист с паролем от вайфая. Меню доставки еды и напитков, по которому можно заказать рубленый бифштекс в кляре, картошку фри и молочный коктейль, причем в любую точку больницы, даже в кардиологическое отделение. Пульт, прикрепленный липучкой к телевизору, который прикручен болтами к стене и расположен под углом к кровати, отчего кажется, будто телевизор смотрит на пациента, а не наоборот. Путеводитель по расположенным поблизости достопримечательностям Чикаго. Диван у дальней стены на самом деле – раскладная кровать: если плюхнешься на него, ударишься о жесткий металлический остов. На радиоприемнике с электронными часами мигают зеленые нули, словно сейчас полночь.

Доктор, лысый как колесо, знакомит группу студентов-медиков с историей болезни.

– Пациент, настоящее имя неизвестно, – вещает он. – Кличка, кажется, Па-Бу-Нер?

Доктор беспомощно оглядывается на Сэмюэла.

– Павнер, – поправляет тот. – Два слога. Это компьютерный сленг.

– И что это значит? – спрашивает один из студентов.

– Он сказал “главный”? – говорит другой.

– А мне послышалось “гарнир”.

Доктор рассказывает студентам, как им повезло, что они сегодня здесь, потому что едва ли им еще когда-нибудь попадется такой случай, он, доктор, даже подумывает написать об этом пациенте статью в “Журнал медицинских странностей” и, разумеется, приглашает студентов в соавторы. Студенты поглядывают на Павнера с таким же удивлением и благодарностью, как на бармена, который бесплатно готовит какой-нибудь затейливый коктейль.

Павнер уже три дня спит без просыпа. Нет, он не в коме, подчеркивает доктор. Просто спит. В вену ему вводят питательные вещества. Сэмюэл не может не отметить, что Павнер выглядит лучше, кожа уже не такая восковая, лицо не такое одутловатое, сыпь на шее и руках практически сошла. Даже волосы выглядят здоровее, словно (другого сравнения Сэмюэл подобрать не может) крепче сидят. Доктор перечисляет многочисленные расстройства, которые выявили у пациента в отделении интенсивной терапии:

– Истощение, крайняя усталость, злокачественная артериальная гипертензия, дисфункция почек и печени и такое сильное обезвоживание, что я, признаться, не понимаю, отчего вода не являлась пациенту в галлюцинациях.

На голове, лице, руках доктора нет ни единого волоска, как на акульей шкуре. В руках у студентов планшеты для записей; пахнет от студентов одинаково – табаком и антисептическим мылом. Подключенный к Павнеру множеством присосок и проводков кардиомонитор не пищит. Сэмюэл стоит рядом с Секирщиком и то и дело косится на него, надеясь, что тот не заметит. Сэмюэл сотни раз слышал его голос в компьютере во время многочисленных совместных рейдов, но вживую они не встречались, и сейчас он чувствует диссонанс, как бывает, когда образ не гармонирует со звуком, – например, когда впервые видишь на экране какого-нибудь радиодиджея и думаешь: неужели это правда он? Голос у Секирщика гнусавый, плаксивый, так что кажется, будто Секирщик – прыщавый задрот-очкарик весом килограммов сорок, – словом, типичный геймер. Тонкий пронзительный голос его похож на удар, который не причиняет боли. Голос его звучит так, словно хулиганы давным-давно вбили ему рот в носовую пазуху.

– ...сердечная аритмия, – продолжает доктор, – диабетический кетоацидоз, диабет, о котором пациент, скорее всего, даже не догадывается, поскольку явно его не лечил, отчего кровь загустела почти как пудинг.

В жизни же Секирщик оказывается живчиком и модником: обтягивающие шорты и майка, мускулистые, но не перекачанные загорелые руки, яхтенные туфли на босу ногу, кудри, которые так и хочется шутливо потрепать, – словом, выглядит он так, словно одевался по инструкции, которую раздают только юным стильным геям. Скоро начнет заниматься сексом и удивится, зачем убил столько времени на онлайн-игры.

– Ну, мы все собрались на скале над Мысом туманных вод, – рассказывает Секирщик. – Знаешь, где это?

Сэмюэл кивает. Это самая южная точка западного континента в “Мире эльфов”: именно там, видимо, Павнера и настиг приступ, едва не стоивший ему жизни. Там-то его и нашел Секирщик, его аватара, голого и мертвого, заметил, что у Павнера что-то долго стоит статус AFK, то бишь “нет на месте”, чего за ним никогда не водилось, Павнер же вечно торчал за компом. Тогда Секирщик позвонил спасателям, те поехали к Павнеру домой, заглянули в окно и увидели, что он без сознания лежит у компьютера.

– Я собрал всех у Мыса туманных вод, – продолжает Секирщик вполголоса, чтобы не мешать доктору. – Написал на форуме: “Собираемся со свечами в память о Павнере”. Много народу пришло, что-то человек тридцать. Только эльфы, разумеется.

– Разумеется, – повторяет Сэмюэл.

Ему кажется, что симпатичная студентка подслушивает их разговор, и он смущается, как всякий раз, когда кто-то из реального мира обнаруживает, как он проводит досуг: играет в “Мир эльфов”.

– Эльфы с горящими свечками стояли над морем. Зрелище печальное, торжественное и красивое, если бы не один чувак на заднем плане, который танцевал брейк и, в общем, не принимал участия в акции.

– ...на руке сыпь, которую мы приняли за некротизирующий фасцит, но, к счастью, выяснилось, что это не он, – сообщает доктор.

Лысая макушка его сияет, отчего комната кажется шире, словно отражается в зеркале.

– А дальше было вот что, – продолжает Секирщик, дергая Сэмюэла за футболку, чтобы привлечь его внимание и выразить собственное волнение. – Я написал про встречу на форуме, где собираются только

эльфы. Но выяснилось, что мое сообщение видели еще и тролли.

– Тролли?

– Ну да, орки.

– Так тролли или орки?

– Орки, которые решили нас затроллить. Ну ты понял. Кто-то из орков увидел сообщение о том, что мы собираемся со свечами, и опубликовал его на форуме, где тусуются только орки. Я, разумеется, этого не видел, потому что на их форумы не хожу: до такого я не опускаюсь.

Кардиомонитор не пищит, потому что в жизни они вообще не пищат, догадывается Сэмюэл. Видимо, этот прием придумали в Голливуде, чтобы показать зрителю, что происходит внутри грудной клетки пациента. Подсоединенный к Павнеру кардиомонитор лишь медленно печатает зигзаг на узкой и длинной полоске бумаги, которая закручивается, точно чековая лента в кассовом аппарате.

– Ну и вот, – говорит Секирщик, – мы собрались на мысу, а орки тайком от нас спрятались в пещере на севере. И вот в самый разгар нашей церемонии, которая, между прочим, получилась бы торжественной и красивой, если бы не тот чувак, который танцевал брейк, а потом разделся догола и прыгал по мысу, так вот в самый разгар, когда я говорил речь о том, какой Павнер молодец и как мы все надеемся, что он скоро поправится, и предложил написать ему открытки с пожеланием выздоровления, и дал адрес больницы, чтобы ему послали настоящие бумажные открытки, вдруг, откуда ни возьмись, из-за деревьев выбегают орки и принимают нас мочить.

Симпатичная студентка покусывает кончик карандаша – то ли чтобы спрятать улыбку, то ли подавить смешок, который вызывает у нее их разговор. А может, она курит, и это типичное для многих курильщиков бессознательное проявление оральной фиксации. Голова у доктора гладкая, точно новенький шар для боулинга, с которого еще не стерли защитную смазку.

– Ревут сирены, мы оборачиваемся и видим орков, – говорит Секирщик. – А дать им отпор не можем. Угадай почему.

– Потому что у вас в руках свечи?

– Потому что у нас в руках свечи.

Сэмюэл не сразу догадывается, что же его так пугает в лице доктора, но через несколько минут замечает, что у того нет ни бровей, ни ресниц. А то таранился на него, таранился и никак не мог понять: почему же на доктора так неприятно смотреть?

– На меня нападает орк, – рассказывает Секирщик, – я машинально

замахиваюсь, бью его, но, поскольку бью я его свечкой, ему на это плевать, он только ржет надо мной. Ну, тогда я открываю панель управления, вызываю окно с персонажем, выбираю свечу, потом в окне оружия выбираю меч, кликаю по ним дважды, чтобы поменять, и выскакивает вопрос: “Вы уверены, что хотите поменять предметы?”, а орк все это время не спеша рубит меня пополам секирой, эдак играючи замахивается и рубит, а я стою, как дерево, и не могу ему помешать, ну и жму, значит, на ответ: “Да, я хочу поменять предметы! Да, уверен, мать вашу!”

Доктор и студенты слышат выкрик Секирщика и смотрят на него с таким презрением, что сразу ясно – его отсюда не выгоняют только потому, что именно он спас жизнь этому диковинному пациенту.

– Ну, короче, – тише продолжает Секирщик, – я даже оружие не менял, потому что меня убили раньше, чем я успел это сделать. Потом, значит, призрак мой воскресает на ближайшем кладбище, я бегу к телу, возвращаюсь в игру – а дальше знаешь что?

– Орки тут как тут.

– Орки тут как тут, а я по-прежнему со свечой.

– ...лактацидоз, – уже громче произносит доктор, стараясь заглушить Секирщика, – гипертиреоз, задержка мочи, круп. – Сэмюэлу приходит в голову, что доктор лысый не потому, что решил обриться налысо, а из-за какой-то болезни – например, наследственной, из-за которой его дразнили все детство. Сэмюэлу становится стыдно за то, что он глазел на доктора.

– И так раз двадцать или тридцать подряд, – рассказывает Секирщик. – Я возвращаюсь в тело, воскресаю, и меня тут же убивают. Повторять до бесконечности. Я все жду, когда же оркам надоест, но им никак не надоест. Наконец меня все это так достало, что я вышел из игры и накатал на форум орков длинное сообщение, мол, вы сорвали нашу церемонию, нельзя так себя вести, стыдно. Я написал, что по-хорошему их всех надо забанить, и они должны лично извиниться перед каждым из членов нашей гильдии. Ну и разгорелся спор.

– И на чем сошлись?

– Орки отвечали в том духе, мол, чего вы хотите, мы же орки. Потому и напали на вас во время церемонии: в игре орки так и поступают. Я ответил, что если мир игры и реальность пересекаются, то надо вести себя по-людски, а не как орки, то есть не нападать на мирную церемонию, на которой собрались друзья, чтобы поддержать своего заболевшего вождя и боевого товарища. Орки ответили, что их персонажи знать не знают ни о каком “реальном мире”, для них существует только “Мир эльфов”. Я возразил, что в таком случае они не узнали бы о церемонии, потому что у

орков нет ноутбуков, чтобы читать форумы эльфов, а если бы и были, они все равно не поняли бы ни слова, поскольку орки не говорят по-английски.

– Ну ты и завернул.

– И здесь мы подошли к серьезному метафизическому вопросу о том, как и в чем реальность пересекается с игрой. Большинство членов гильдии решили на неделю выйти из игры, чтобы поразмыслить над этим.

– А ты с тех пор заходил в “Мир эльфов”?

– Пока нет. Мой эльф так и валяется на утесе. Расчлененный.

Доктор тем временем произносит:

– Клянусь богом, впервые в жизни сталкиваюсь с тем, что легочная эмболия оказывается меньшим из зол. Справиться с ней оказалось куда проще, чем с остальными проблемами: ввели антикоагулянты, и дело с концом.

Сэмюэл чувствует, как вибрирует в кармане телефон: пришло письмо. От матери. Она ему написала, несмотря на уговор. Сэмюэл извиняется и выходит в коридор, чтобы прочесть письмо.

Сэмюэл,

Я знаю, мы с тобой решили какое-то время не общаться, но я передумала. Если полиция спросит, скажи им правду. Я не осталась в Лондоне. И в Джакарту не поехала. Я полетела в Хаммерфест. Это в Норвегии, самый северный город в мире. На краю света и совсем маленький. На первый взгляд, то, что надо. Я рассказываю тебе об этом лишь потому, что передумала здесь жить. Я кое с кем познакомилась, и они убедили меня вернуться домой. Я потом тебе все объясню.

Кстати, я только что узнала, что Хаммерфест уже не считается самым северным городом в мире. Формально он второй. Есть такое местечко под названием Хоннингсвог, тоже здесь, в Норвегии, оно чуть севернее и несколько лет назад получило статус города. Хотя какой это город, всего три тысячи человек. В общем, теперь идут споры. Жители Хаммерфеста очень дружелюбны ко всем, кроме приезжих из Хоннингсвога, которых считают самозванцами и сволочами.

Что только ни узнаешь, а?

Я это к чему: Хаммерфест находится на отшибе, с другими городами сообщение слабое, так что вернусь я только через несколько дней.

А ты пока разыщи своего приятеля Перивинкла. Пусть скажет тебе правду. Ты это заслужил. Скажи ему, что я велела все тебе рассказать. Мы ведь с ним давно знакомы. Еще с университета. Я в него даже была влюблена. Если тебе нужно доказательство, поезжай ко мне домой. Там на книжной полке стоит толстый томик Гинзберга. В нем ты найдешь фотографию. Я ее хранила все эти годы. Пожалуйста, не сердись на меня, когда все узнаешь. Вскоре ты получишь все ответы на вопросы, и помни, пожалуйста, что я лишь хотела тебе помочь. Пусть неуклюже, но я сделала это ради тебя.

С любовью,

Фэй

Сэмюэл благодарит Секирщика и просит сообщить, когда Павнер проснется. Выходит из больницы и мчится в Чикаго. Заходит в материну квартиру: дверь так и не починили. Находит книгу, листает, переворачивает, трясет. От книги пахнет, как вообще от старых книг, пылью и плесенью. Страницы пожелтевшие, шершавые на ощупь. Наконец из сборника вылетает фотография и падает на пол оборотной стороной

кверху. На ней виднеется надпись: “Фэй в медовый месяц, с любовью, Ал”.

Сэмюэл поднимает фотографию. Тот же снимок, что он видел в новостях – с демонстрации протеста в 1968 году. Вот его мама в больших круглых очках. Позади нее сидит серьезная хмурая Элис. Но эта фотокарточка шире той, которую показывали по телевизору, здесь в кадр попало больше. Сэмюэл понимает, что фотография, которую он, как ему казалось, знает наизусть, всего лишь часть большого снимка: ее откадрировали, отрезали человека, к которому прислонилась мама. Теперь же Сэмюэл его видит, этого мужчину с шапкой черных волос, который с усмешкой косится в камеру. Он здесь совсем еще юноша, да и лицо наполовину в тени, но Сэмюэл его сразу узнал. Ему знакомо это лицо. Гай Перивинкл собственной персоной.

3

Офис Гая Перивинкла в центре Манхэттена находится на двадцатом этаже в той части здания, которая смотрит на юго-восток, на финансовый район. Две стены целиком из стекла. Остальные выкрашены в нейтральный синевато-серый цвет. В центре кабинета стоит маленький письменный стол с вращающимся креслом. Ни картин на стенах, ни семейных фотографий, ни скульптур, ни растений: только один-единственный лист бумаги на столе. Это даже не минимализм – скорее монашеский аскетизм. Единственное, что украшает просторный кабинет, – плакат в рамке с рекламой каких-то новых картофельных чипсов. Каждая долька по форме похожа на маленькую торпеду, а не на традиционный треугольник или круг. Практически весь плакат занимает фотография мужчины и женщины, которые смотрят на чипсы, выпучив глаза от восторга: вид у них совершенно безумный, иначе не скажешь. Над ними таким жирным шрифтом, что буквы кажутся объемными, написано: **НАДОЕЛИ ПРИВЫЧНЫЕ ЧИПСЫ? ВКУС, КОТОРЫЙ ВДОХНОВЛЯЕТ!** Размером плакат с киноафишу и в роскошной золоченой рамке смотрится вполне уместно.

Сэмюэл ждет уже двадцать минут, снует туда-сюда по кабинету, как горошина в стручке, от окна к плакату и обратно, рассматривает каждый предмет обстановки, куда хватает терпения, но потом волнение берет свое, и Сэмюэл снова принимается мерить комнату шагами. Из материнной квартиры он отправился напрямик в Нью-Йорк. Второй раз в жизни приехал на машине из Чикаго в Нью-Йорк и сейчас испытывает такое мощное дежавю, что не может отделаться от пугающей мысли: в прошлый приезд все кончилось плохо. Он поневоле вспоминает об этом, потому что

из окна кабинета Перивинкла в нескольких кварталах к востоку виднеется знакомый дом, тонкий белый небоскреб с горгульями под крышей: дом номер пятьдесят пять по Либерти-стрит. Там живет Бетани.

Сэмюэл разглядывает здание и думает: интересно, дома ли Бетани. Вдруг она сейчас смотрит в его сторону, на кипящую внизу суету. Потому что между домом Бетани и офисом Перивинкла тянется Зукотти-парк – хотя, конечно, “парк” слишком громкое название для участка размером в несколько теннисных кортов, где неделями кучкуются протестующие. Сэмюэл по пути к Перивинклу пробирался сквозь толпу. “НАС 99 %”, – написано на плакате. “МЕСТО ЗАНЯТО”. Сверху видно множество народу, флуоресцентные синие нейлоновые пузыри палаток, круг барабанщиков с внешнего края: на двадцатом этаже из всего митинга слышен лишь бесконечный, несмолкающий стук барабанов.

Сэмюэл возвращается к плакату. Новые чипсы в форме торпеды выпускают в специальных пластиковых баночках с крышками из фольги, как йогурт. Пара взирает на чипсы с маниакальным вождением, похожим на страх.

Наконец открывается дверь, и входит Перивинкл. На нем, как обычно, серый костюм по фигуре и яркий галстук: сегодня бирюзовый. Недавно покрашенные волосы выглядят так, словно их покрыли черным лаком. Заметив, что Сэмюэл разглядывает плакат с чипсами, Перивинкл говорит:

– В этой рекламе все, что нужно знать об Америке двадцать первого века.

Он плюхается в кресло и поворачивается лицом к Сэмюэлу.

– Здесь все, что мне нужно знать по работе, – Перивинкл указывает на плакат. – Тому, кто понял, о чем на самом деле эта реклама, покорится весь мир.

– Это же обычные чипсы, – отвечает Сэмюэл.

– Ну разумеется, это обычные чипсы. Все дело в формулировке: “надоели привычные чипсы”.

Барабанная дробь на улице становится громче, а потом стихает, повинувшись логике музыкальной импровизации.

– Что-то я не улавливаю сути, – признается Сэмюэл. – В чем соль?

– Ну подумайте. Почему мы едим чипсы? Почему мы вообще так любим перекусить? Мы провели миллион исследований и выяснили вот что: потому что наша жизнь – сплошная усталость, работа на износ, однообразие, скука, оттого-то мы так нуждаемся в маленьких удовольствиях, этих лучиках света в сгущающемся мраке. Вот и стараемся себя побаловать. Но беда в том, – с блеском в глазах продолжает

Перивинкл, – что приедается даже удовольствие. Даже то, с помощью чего мы стараемся отвлечься от однообразия и тоски, со временем становится однообразным. Эта реклама говорит нам вот что: балуешь себя, балуешь, а удовольствия никакого, смотришь развлекательные передачи, а все равно одиноко, смотришь новости и все равно ни черта не понимаешь, что в мире творится, играешь в компьютерные игры, а на душе все тоскливее и тоскливее. И что же делать?

– Купить новые чипсы.

– Купить чипсы в форме торпеды! Вот и ответ. На этом плакате яснее ясного показано то, что каждый из нас в глубине души и так подозревает и чего боится до смерти: потребительство – не выход, сколько денег ни тратить, смысла в этом не найдешь. И главная задача таких, как я, убедить таких, как вы, что не все так страшно, что это лишь частный случай. Чипсы не радуют не потому, что они не способны заполнить внутреннюю пустоту: ты всего-навсего пока не нашел те, что придутся тебе по вкусу. Дело не в том, что телевизор не способен заменить живое общение: ты просто еще не видел ту передачу, которая тебе по-настоящему понравится. Дело не в том, что политика в принципе не способна решить ни одной проблемы: ты просто пока не знаешь достойного политика, который отстаивал бы твои интересы. Вот об этом-то и говорит нам реклама. Клянусь богом, это все равно что играть в покер с тем, кто открыл все карты и все равно волея-неволей блефует.

– Вообще-то я приехал не за этим.

– Между прочим, героическая работа. У меня. Единственное, что Америке отлично удается. Мы не производим чипсы. Мы их переосмысливаем.

– Как патриотично. Да вы патриот, я смотрю.

– Слышали о наскальных рисунках в пещере Шове?

– Нет.

– Это пещера на юге Франции. С древнейшими в мире наскальными рисунками. Им где-то тридцать тысяч лет. Типичные рисунки эпохи палеолита – лошади, скот, мамонты, вот это всё. Изображений человека нет, только один рисунок вагины, ну да это так, к слову. Самое интересное тут – датировка. Оказалось, что рисунки на стенах были созданы с разницей в шесть тысяч лет. А выглядят совершенно одинаково.

– Ну и что?

– А вы подумайте. То есть целых шесть тысяч лет не было вообще никакого прогресса, никому не хотелось ничего менять. Всех все и так устраивало. Иными словами, никакие экзистенциальные кризисы им были

неведомы. Нам с вами каждый вечер подавай что-нибудь новенькое. А наши предки ничего не меняли шестьдесят веков. Им бы явно не надоели привычные чипсы.

Стук барабанов на мгновение становится громче, а потом снова стихает, превращается в зловещую дробь.

– Уныние, – распинается Перивинкл, – еще надо было придумать. У цивилизации оказался вот такой вот неожиданный побочный эффект уныние. Усталость. Однообразие. Депрессия. И как только все это возникло, появились и те, кто помогает с этим справиться. Какой же это патриотизм? Это эволюция.

– Гай Перивинкл, высшая ступень эволюции.

– Понимаю ваш сарказм, но понятие “высшая ступень” к эволюции вообще неприменимо. Эволюция не имеет никакого отношения к привычной нам шкале ценностей. Дело не в том, кто лучший, а в том, кто выжил. Я так понимаю, вы приехали поговорить о вашей матушке?

– Да.

– И где же она сейчас?

– В Норвегии.

Перивинкл с минуту смотрит на Сэмюэла, обдумывая услышанное.

– Ничего себе, – наконец произносит он.

– На севере Норвегии, – уточняет Сэмюэл. – На самом ее верху.

– Впервые за всю мою жизнь не знаю, что сказать.

– Она хочет, чтобы вы рассказали мне правду.

– О чем же?

– Обо всем.

– Сомневаюсь.

– О вас и о ней.

– Кое-что детям о матерях, скажем так, лучше не знать.

– Вы познакомились в университете.

– Едва ли она хочет, чтобы вы узнали всю правду.

– Она сама так сказала. Слово в слово.

– То есть в буквальном смысле? Потому что есть вещи...

– Вы познакомились в университете. И стали любовниками.

– Вот я об этом и говорю! Кое-какие подробности, скажем так, сексуального характера...

– Пожалуйста, расскажите мне всю правду.

– Кое-какие пикантные детали, которые, я думаю, лучше не обсуждать, чтобы не смущать друг друга, если вы понимаете, куда я клоню.

– Вы были знакомы с мамой в университете, в Чикаго. Да или нет?

– Да.

– И как вы ее узнали?

– Скорее познал, в библейском смысле.

– Я имею в виду, как вы познакомились?

– Она поступила на первый курс. Я был контркультурным кумиром. Тогда меня звали иначе. Себастьяном. Сексуально ведь? И куда лучше, чем Гай. Не могут кумира контркультуры звать Гаем. Слишком заурядное имя. Ну, в общем, ваша мама в меня влюбилась. Так получилось. И я тоже в нее влюбился. Она была классной девчонкой. Милая, умная, сердечная, абсолютно не выпендреница, что для моего тогдашнего круга было в диковинку, поскольку приятели мои даже одежду выбирали так, чтобы привлечь к себе побольше внимания. Фэй же все это не интересовало, и это было необычно и ново. Я тогда издавал газету под названием “Свободный голос Чикаго”. Ее читала вся продвинутая молодежь. Чтобы вы понимали, в конце шестидесятых годов это было чем-то вроде теперешних интернет-мемов.

– Как-то не верится, что мою мать все это могло увлечь.

– Между прочим, газета пользовалась большим влиянием. Seriously. В чикагском Историческом музее есть все выпуски. Если вы захотите их пролистать, вас заставят надеть белые перчатки. Ну или можно посмотреть их на микрофишах. В архиве есть все номера, в том числе и на микрофишах.

– Мама не очень-то любит общаться. Зачем вообще она связалась с протестующими?

– Да она и не хотела. Просто вдруг оказалась в гуще событий, так сказать. Кстати, вы знаете, что такое микрофиша? Или вы их уже не застали? Это такие черно-белые фотопленки, их вставляют в специальный аппарат, который выпускает горячий воздух и лязгает, когда переворачиваешь страницу. Аналоговая штука, в общем.

– Так это вы ее во все это втянули?

– И я, и Элис, и этот коп, который не сумел справиться с ревностью.

– Судья Браун.

– Да. Вот уж не ожидал, что снова его увижу. В шестьдесят восьмом он служил в полиции и, кажется, всерьез хотел убить вашу матушку.

– Потому что думал, будто у нее роман с Элис, в которую он был влюблен.

– Именно! Все верно до последнего слова. Поздравляю. Ну а теперь ваша очередь. Расскажите мне все, что знаете. Расскажите, что случилось в восемьдесят восьмом. Прошло двадцать лет, и ваша мама бросила вас и

вашего отца. Куда она поехала? Скажите-ка мне.

– Понятия не имею. Наверно, в Чикаго? В эту свою квартирку?

– Думайте лучше, – отвечает Перивинкл и подается вперед. Руки он сцепил в замок и положил на стол. – Только что ваша матушка в университете, в самом сердце протестного движения, и вдруг выходит замуж за вашего отца, продавца полуфабрикатов, который живет себе спокойно в пригороде. Каково-то ей там пришлось после всех перипетий, наркотиков и секса, о котором я вам рассказывать не собираюсь. Сколько бы она вытерпела замужем за Генри, пока ее не стала бы жечь изнутри мысль о непринятых когда-то решениях, о другой жизни, от которой она отказалась?

– Она поехала к вам.

– Она поехала ко мне, Гаю Перивинклу, контркультурному кумиру. – Он раскрывает руки, словно для объятия.

– То есть она ушла от отца к вам?

– Ваша мама нигде не чувствует себя дома. Строго говоря, она ушла не ко мне. Она ушла от вашего отца, просто потому что такой уж она человек.

– Значит, от вас она тоже ушла.

– Не так театрально, но да. С презрением и криками. Дескать, я предал свои былые принципы. На дворе меж тем стояли восьмидесятые. Я зарабатывал деньги. Тогда все старались заработать. Ее же не интересовало ничего, кроме книг и поэзии – а это, прямо скажем, не моя сфера деятельности: так карьеру не построишь. Она снова хотела жить как революционерка, раз уж в первый раз не получилось. Я ей сказал, что пора повзрослеть. Полагаю, именно это она имела в виду, когда просила передать, чтобы я вам все рассказал?

– Я лучше сяду.

– Пожалуйста.

Перивинкл встает, отходит к окну и смотрит на улицу.

Сэмюэл садится и потирает виски: у него внезапно заболела голова, как от мигрени, похмелья или сотрясения мозга.

– Кажется, будто они барабанят как бог на душу положит, импровизируют, – говорит Перивинкл, – на самом деле там все повторяется, надо только подождать.

От услышанного Сэмюэл цепенеет. Возможно, потом он что-то почувствует. Пока же он не в силах отделаться от мысли о том, как мать собиралась с духом, наконец отважилась приехать в Нью-Йорк, но тут ее ожидало полнейшее разочарование. Он представляет себе все это и жалеет мать. Все-таки они похожи.

– Я так понимаю, контракт с издательством на меня не с неба упал.

– Ваша матушка лазила в интернете, – отвечает Перивинкл. – Узнала, что вы писатель. Ну или хотите им стать. Позвонила мне, попросила об одолжении. Я решил, что не вправе ей отказать.

– О господи.

– Что, правда глаза колет?

– Я верил, что прославился собственными силами.

– Собственными силами могут прославиться только серийные убийцы.

Всем остальным нужны такие, как я.

– Например, губернатору Пэкеру. Ему нужны такие, как вы.

– И это переносит нас в день сегодняшний.

– Я видел вас по телевизору. Вы его защищали.

– Я участвую в его кампании. В качестве консультанта.

– Нет ли здесь злоупотребления положением? Вы издаете о нем книгу, да еще и принимаете участие в его кампании.

– А вы что, ведете журналистское расследование? Вы ничего не перепутали? И вообще: то, что вы называете “злоупотребление положением”, я называю “синергией”.

– Значит, в тот день, когда мама напала на губернатора, вы были в Чикаго. Правильно? Вы были с ним. На этом его благотворительном обеде. Которые он называет “обжираловкой”.

– Грубовато, но точно.

– И одновременно вы запланировали встречу со мной, – продолжает Сэмюэл. – В аэропорту. Чтобы сообщить, что подадите на меня в суд.

– За то, что вы так и не написали книгу. Безбожно заporоли шикарный контракт, который мы с вами заключили. Да вы его вообще не заслужили, если на то пошло. Раз уж мы сейчас с вами говорим начистоту.

– И вы рассказали маме о нашей встрече и о том, что подаете на меня в суд.

– Как вы догадываетесь, она ужасно расстроилась, что опять испортила вам жизнь. Попросила, чтобы я до встречи с вами пообщался с ней. Наверно, надеялась меня отговорить. Я предложил встретиться в парке. Она попросила меня прийти на то самое место, где много лет назад полиция распылила газ. Ваша матушка порой ведет себя как сентиментальная дура.

– И вы пришли с губернатором Пэкером.

– Именно так.

– Она, наверно, презирала вас за то, что вы работаете на такого, как Пэкер.

– Видите ли, в чем все дело. Она из какого-то невнятного либерального идеализма бросила семью. К тому же, как вам известно, она презирует власть. Пэккер, напротив, сторонник авторитарной власти и консерватор каких поискать. Она ненавидит его всей душой, как большинство упертых либералов: он для нее фашист, все равно что Гитлер, ну и так далее. Она не понимает того, что понимаю я.

– Чего же?

– Пэккер слеплен из того же теста, что и любой другой кандидат в президенты. Все они одного поля ягоды, что правые, что левые. Просто он, как те чипсы, в форме торпеды, а не овала.

Стук барабанов на улице на миг останавливается и замолкает. Несколько секунд все тихо, но потом снова слышится знакомое уже “бум-бум-бум”. Перивинкл поднимает палец.

– Что я говорил? Оно повторяется.

– Так вы все это подстроили, – осеняет Сэмюэла. – Вы же знали, что именно так мама и среагирует.

– Говорят, она действовала в состоянии аффекта. А как по мне, просто воспользовалась возможностью, которую я ей предоставил.

– Вы же ее подставили!

– Ей представился случай одним махом разделаться со всем: вы получили бы сюжет для книги и выполнили условия контракта, она перестала бы мучиться угрызениями совести из-за того, что опять испортила вам жизнь, а заодно и о моем кандидате все заговорили бы. Куда ни кинь, сплошная выгода, причем для всех. Вы на меня злитесь лишь потому, что не видите всей картины.

– Ушам своим не верю.

– И не забывайте, что я все это придумал, но и только. А камешками-то швырялась уже ваша мать.

– Так она не в Пэккера целилась, а в вас?

– Да, я был в его свите.

– А фотография в новостях? Та, с демонстрации протеста в шестьдесят восьмом, где мама сидит, прислонившись к вам. У вас была такая же.

– Трогательный подарок от великого поэта.

– Вы отрезали себя и передали снимок журналистам. Слили им фотографию и запись о мамином аресте: вы же знали о нем.

– Я всего лишь подлил масла в огонь. Я всю жизнь этим занимаюсь, и у меня это неплохо получается. Между прочим, ваша матушка сама решила швырнуть в меня камнями, так сказать, совершенно искренне, от всей души. Она меня и правда ненавидит. Но потом мы с ней договорились, как

лучше обстряпать дельце, и решили, что ей следует держать вас в неведении. Не говорить вам ни слова. Тогда вам поневоле пришлось бы согласиться на мое предложение. Да, кстати!

Перивинкл берет с полки позади стола книгу и протягивает Сэмюэлу. На белой обложке чернеют буквы: “ИСТОРИЯ ТОЙ, ЧТО НАПАЛА НА ПЭКЕРА”.

– Это сигнальный экземпляр, – поясняет Перивинкл. – Я заставил своих ребят поторопиться. Но мне нужно, чтобы вы согласились выпустить это под своим именем. В противном случае я вынужден буду дать ход иску против вас. У меня на столе бумага, в которой все это изложено на юридической тарабарщине. Подпишите, пожалуйста.

– Я так понимаю, в книге о маме отзываются не очень-то лестно.

– Ее разделали под орех. Если не ошибаюсь, это вы предложили. “ИСТОРИЯ ТОЙ, ЧТО НАПАЛА НА ПЭКЕРА”. Прекрасное название. Броское, но не заумное. Но подзаголовок мне нравится больше.

– И какой же там подзаголовок?

– “Тайная история самой известной левой радикалки Америки, рассказанная сыном, которого она бросила”.

– Я не могу под этим подписаться.

– В биографиях главное – подзаголовок: именно благодаря ему книга и продается. Это я так, к слову, вдруг вы не знали.

– Вы в своем уме? Никогда я под этим не подпишусь. Меня совесть замучает.

– Значит, вы готовы разрушить репутацию, которую я вам создал?

– Она что, и правда самая известная левая радикалка Америки?

– Ну мы же продаем это как мемуары. А в мемуарах можно и преувеличить.

– По-моему, эта книга – вранье от начала и до конца.

– Дело ваше. Но если вы не разрешите нам выпустить ее под вашим именем, мы дадим ход иску, а вашей матушке придется и дальше скрываться. Заметьте, я вас ни к чему не принуждаю, лишь рассказываю о каждом из вариантов, и надеюсь, что если вы в своем уме, то сделаете правильный выбор.

– Но в книге написана неправда.

– И что с того?

– Я спокойно спать не смогу. Нельзя же публиковать откровенную ложь.

– Что такое правда? И что такое ложь? Если вы не заметили, мир давно уже отказался от старой идеи Просвещения, будто бы на основе отдельных

наблюдений можно составить представление о том, что происходит на самом деле. В реальности все сложнее и страшнее. Куда проще игнорировать факты, которые не вписываются в субъективные представления о том, что якобы происходит, и верить в то, что их подкрепляет. Я верю в то, во что я верю, а вы верите в то, во что верите вы, так что правда у каждого своя. Это, если угодно, либеральная толерантность, смешанная с отрицанием реальности, свойственным эпохе обскурантизма. Сейчас это модно.

– Жуть какая.

– Мы стали более фанатичными в вопросах политики и веры, более твердолобыми, не способными на сопереживание. Мир нам кажется чем-то цельным и нерушимым. Мы старательно игнорируем проблемы, которые возникают вследствие культурных различий и глобальной коммуникации. Поэтому никому нет дела до правды и лжи: это категории античной философии.

– Мне нужно все обдумать.

– Вот уж что вам сейчас точно не нужно, так это думать.

– Я вам позвоню, – обещает Сэмюэл и встает.

– Худшее, что вы сейчас можете делать – это обдумывать ситуацию и пытаться понять, что правильно, что нет.

– Я вам позвоню.

– Послушайте совета опытного человека. Идеализм – непосильная ноша. Он обесценивает все, что бы вы ни сделали. Все равно с годами вы станете циником, иначе быть не может, так устроен мир, и ваш идеализм не даст вам житья. Забудьте вы его, идеализм этот, стремление непременно поступать правильно. И тогда вам будет не о чем жалеть.

– Спасибо. Я позвоню.

4

Улица возле офиса Перивинкла ревет. Оккупировавших Зукотти-парк взбудоражил слух о том, что полиция угрожает привести в исполнение городской закон, который запрещает занимать парки. Полиция стоит по периметру парка и наблюдает за протестующими, которые собрались толпой и в открытую обсуждают “за” и “против” того, чтобы выполнять требования полиции. В общем, день выдался напряженный. Да и барабанная дробь всем уже надоела: жители квартала, в основном те, у кого есть дети, которые рано ложатся, и владельцы расположенных в соседних зданиях контор, куда протестующих до сего дня охотно пускали в туалет, жалуются на шум, на постоянный стук до самой ночи и обещают

принять меры, если все это немедленно не прекратится. В одном конце парка круг барабанщиков, в другом – мультимедийная палатка, народная трибуна, библиотека и место общего сбора – своеобразное суперэго, тогда как барабанщики – ид. Кто-то прямо сейчас обсуждает, как быть с барабанщиками: молодой человек в старомодном спортивном пиджаке произносит несколько слов и замолкает, ожидая, пока их прокричат стоящие рядом, потом те, что за ними, и так дальше, по кругу, – сперва звук еле слышен, но потом становится громче и громче, такое вот эхо наоборот. Без этого не обойтись, поскольку микрофонов у протестующих нет. Городские власти в соответствии с законом о нарушении общественного порядка запретили использовать звукоусиливающую аппаратуру. Тем более непонятно, как еще не арестовали барабанщиков.

Выступающий меж тем сообщает, что целиком и полностью поддерживает барабанщиков и вообще считает, что протест должен быть открытым и доступным для всех, каждый должен иметь право высказывать мнение так, как считает нужным, он понимает, что все выражают политические взгляды по-своему, не всем удобно выступать перед “народным микрофоном” с аргументированной речью в поддержку демократии, некоторые предпочитают доносить мысли, скажем так, более абстрактно, не с помощью тезисов, политических программ и пространных манифестов, которые героически составила эта группа, ради чего ее участникам пришлось медленно и с большим трудом договариваться друг с другом и выдерживать прочие трудности, в том числе постоянный надзор полиции, пристальное внимание СМИ, да еще и барабаны эти пойдя перекричи, не так-то просто, между прочим, ну да ничего, они не жалуются, все люди разные, и нужно принимать их такими, какие они есть, и радоваться тому, что все они объединились во имя протеста, но все же он не может не выступить с предложением ко всем, кто сейчас занимает парк, попросить барабанщиков, чтобы часов в девять вечера или около того переставали стучать, потому что люди спать хотят, у всех нервы на пределе, и так-то трудно спать в палатках на бетоне, а тут еще эти чертовы барабаны всю ночь грохочут. Вот он, значит, выносит это предложение на общее рассмотрение. Толпа тут же охотно вскидывает руки и крутит пальцами. Кажется, никто не возражает, и руки опускаются, но тут кто-то замечает, что барабанщиков-то не спросили, надо же поинтересоваться их мнением, даже если мы с ними не согласны, нужно обязательно выслушать каждого, учесть все мнения, а не – тут выступающий показывает пальцами кавычки – брать людей за горло, мы же не фашисты какие.

Сэмюэл наблюдает за всем этим со сдержанным удивлением. То, что

здесь творится, совершенно ему чуждо. У собравшихся явно есть цель, которую он потерял – впрочем, как и надежду. Как быть, если вдруг обнаружил, что вся твоя взрослая жизнь – обман? Сэмюэлу казалось, что он добился всего собственными силами, но на самом деле и публикация, и договор с издательством, и работу в университете – все это он получил только потому, что мать попросила за него, и ей оказали услугу. Он ничего из этого не заслужил. Он самозванец. И на душе у самозванца пусто. Сэмюэл чувствует себя так, словно его выпотрошили. Выпустили кишки. Почему его не замечает никто из присутствующих? Ему так хочется, чтобы кто-нибудь заметил его искаженное болью лицо, подошел и спросил: “Что с вами, вам плохо? Могу я вам чем-нибудь помочь?” Он хочет, чтобы его увидели, заметили его боль. Но потом понимает, что это ребячество, все равно как малыш бежит к маме показать царапину, чтобы мама ее поцеловала. Повзрослей уже, говорит он себе.

– Теперь о полиции, – выступающий меняет тему, и все ждут, пока барабанщики перестанут стучать, чтобы узнать их мнение.

– Теперь о полиции, – повторяют в толпе.

Сэмюэл проходит два квартала по Либерти-стрит к старому дому Бетани. Стоит перед домом и, задрвав голову, смотрит на него. Он сам не знает, чего ищет. За те семь лет, что его здесь не было, дом ни чуточки не изменился. Как это возможно, что места, с которыми связаны самые важные события в жизни, выглядят все так же, словно ничего и не было, словно то, что творится вокруг, на них никак не повлияло? Когда он был здесь в последний раз, Бетани ждала его в спальне, ждала, что он спасет ее от помолвки.

И даже сейчас при мысли об этом его охватывает привычная горечь, сожаление и злость. Он злится на себя за то, что послушался Бишопа, злится на Бишопа, что тот его об этом попросил. Сэмюэл столько раз проигрывал в памяти этот момент, так часто все это воображал: вот он прочел письмо Бишопа и положил на стол. Открыл дверь спальни, увидел Бетани, которая сидит на кровати и ждет его, и на лице ее пляшут тени от трех стоящих на тумбочке свечей, чье янтарное мерцание освещает комнату. Он представлял, как подходит к ней, обнимает, и они наконец-то вместе, она бросает противного Питера Атчисона, влюбляется в Сэмюэла, и все эти семь лет проходят совсем иначе. Как в кино про путешествия во времени, где герой возвращается в настоящее и обнаруживает, что все закончилось хорошо, так, как в прежней жизни он не смел и мечтать.

Когда Сэмюэл в детстве читал книги из серии “Выбери приключение”, обязательно закладывал страницу, на которой нужно было сделать какой-

нибудь трудный выбор, чтобы, если история кончится плохо, вернуться и все переиграть.

Вот бы так можно было и в жизни.

Он бы сделал закладку на этом самом моменте, когда вошел в спальню и увидел прекрасную Бетани в свете свечей. Он бы принял другое решение. Не сказал бы, как тогда: “Прости. Я не могу”, – чтобы выполнить волю Бишопа, который трагически погиб, а следовательно, невозможно было не выполнить его последнюю волю. Лишь гораздо позже Сэмюэл осознал, что тем самым почтил вовсе не память Бишопа, а ту травму, которая навсегда его изуродовала. То, что произошло между ним и директором школы, та боль, что мучила Бишопа в детстве, преследовала его и за границей, на войне – именно она продиктовала ему это письмо. Им двигал не долг, а застарелая ненависть, страх и отвращение к себе. А Сэмюэл пошел у них на поводу и тем самым снова подвел Бишопа.

Но понял Сэмюэл это гораздо позже, хотя и чувствовал в ту минуту, чувствовал, что совершает ошибку. Даже когда ехал на лифте вниз, когда шел прочь от дома номер пятьдесят пять по Либерти-стрит, повторял себе: “Вернись, вернись”. Даже когда отыскал свою машину, выбрался из города и всю ночь ехал по Среднему Западу, твердил себе: “Вернись, вернись”.

Месяц спустя в “Таймс” на странице брачных объявлений появилась заметка о свадьбе Питера Атчисона и Бетани Фолл. Финансовый гуру и знаменитая скрипачка. Союз искусства и капитала. Так написали в “Таймс”. Познакомились на Манхэттене: будущий жених работал у отца невесты. Церемония состоится на Лонг-Айленде в особняке друзей невестиных родителей. Жених занимается управлением рисками на рынке ценных металлов. Медовый месяц молодые проведут в путешествии на яхте по островам. Невеста оставит девичью фамилию.

Да, ему бы хотелось вернуться в тот вечер и решить все иначе. Стереть последние несколько лет, все эти годы, которые кажутся ему теперь однообразными, скучными, долгими и злыми. А может, вернуться еще раньше в прошлое, чтобы снова увидеть Бишопа и помочь ему. Или уговорить маму не уходить. Но чтобы восполнить то, что он потерял, вернуть ту часть себя, которой он пожертвовал из-за разрушительного материнского влияния, ту настоящую часть себя, которую он похоронил, стараясь угодить матери, пришлось бы вернуться еще раньше. Каким бы человеком он стал, если бы интуиция не кричала ему, что мама вот-вот уйдет? Был ли он когда-либо свободен от этой ноши? Был ли он когда-нибудь собой настоящим?

Такие вопросы задаешь себе, когда готов вот-вот сорваться. Когда

вдруг понимаешь, что не только живешь так, как никогда не хотел, но что эта жизнь еще тебя и наказывает, мучит. Тогда начинаешь искать, где же свернул не туда. Когда очутился в этом лабиринте? Ты полагаешь, будто выход из лабиринта там же, где вход, и стоит только понять, когда ошибся, как выберешь правильный курс и спасешься. Потому-то Сэмюэл и думает: если бы ему удалось встретиться с Бетани и в той или иной форме снова начать с ней общаться, пусть даже дружески, невинно, ему удалось бы вернуть то очень важное, что позволит ему все исправить. Ему сейчас так плохо, что такое решение кажется вполне логичным: единственный выход, думает Сэмюэл, – отправиться в прошлое и устроить перезагрузку, сжечь мосты, без этого никак, догадывается он, стоя у дома Бетани. В кармане вибрирует телефон, новое письмо от начальства, прочитав которое Сэмюэл совсем падает духом: “Я хотела сообщить, что ваш служебный компьютер конфискован в качестве улики для факультетского разбирательства по вашему делу”. Сэмюэл слышит голос Бишопа, слышит то, что он сказал ему в день, когда мама ушла, – что это возможность измениться, стать лучше, и сейчас Сэмюэлу этого очень-очень хочется. Стать лучше. Он входит в дом номер пятьдесят пять по Либерти-стрит. Просит охранника в холле у лифта передать записку Бетани Фолл. Оставляет свое имя и номер телефона. Говорит, что он в Нью-Йорке и будет рад ее видеть. Минут двадцать спустя, когда он шагает по Бродвею на север (никуда, впрочем, не направляясь), мимо бутиков Сохо, из которых доносится танцевальная музыка и веет холодом от кондиционеров, приходит сообщение от Бетани: “Ну надо же, ты в Нью-Йорке!”

Выясняется, что она на репетиции, скоро закончит, не согласится ли он с ней пообедать? Бетани предлагает встретиться в библиотеке Моргана. Это рядом с ней, в центре. Внутри есть ресторан. Она хочет ему кое-что показать.

Так Сэмюэл оказывается на Мэдисон-авеню перед роскошным особняком, где некогда жил Дж. П. Морган, американский финансовый и промышленный магнат. Пространство внутри словно нарочно спроектировано таким образом, чтобы посетитель почувствовал себя ничтожеством – и по росту, и по уму, и по деньгам. Десятиметровые потолки с росписью, вдохновленной фресками Рафаэля в Ватикане, только вместо святых здесь вполне себе мирские герои: например, Галилей и Христофор Колумб. Все поверхности либо мраморные, либо позолоченные. В трехэтажных шкафах хранятся тысячи антикварных книг: первые издания Диккенса, Остин, Блейка, Уитмена виднеются за медной решеткой, которая защищает их от рук любопытных. Первый фолиант

Шекспира. Библия Гутенберга. Дневники Торо. Оригинал Хаффнеровской симфонии Моцарта. Единственная сохранившаяся рукопись “Потерянного рая”. Письма Эйнштейна, Китса, Наполеона, Ньютона. Камин размером с типичную нью-йоркскую кухню; над ним висит гобелен, который (очень в тему) называется “Триумф алчности”.

Такое ощущение, будто весь этот особняк строили специально для того, чтобы пугать и унижать. Сэмюэл ловит себя на мысли, что протестующие в Зукотти-парке против чрезмерного обогащения опоздали лет на сто.

Он рассматривает прижизненную маску Джорджа Вашингтона, и тут появляется Бетани.

– Сэмюэл! – окликает она, и он оборачивается.

Насколько люди меняются всего лишь за несколько лет? Первое впечатление Сэмюэла – Бетани выглядит реальнее (и это лучшее объяснение, которое он сумел подобрать). ореол его фантазий о ней померк, и Бетани стала собой, иными словами, обычным человеком. Она-то, может, и вовсе не изменилась, а вот ситуация – да. У Бетани все та же светлая кожа и зеленые глаза, она держится так же прямо, отчего Сэмюэл раньше по сравнению с ней казался себе увальнем. Однако что-то все же изменилось: появились морщинки у глаз и губ, но не от возраста или времени, а скорее от чувств, душевной боли и мудрости. Сэмюэл моментально это подмечает, но не может выразить словами.

– Бетани, – произносит он, и они обнимаются, скованно, даже официально, точно бывшие коллеги.

– Рада тебя видеть, – отвечает она.

– И я тебя.

И оттого ли, что Бетани не знает, о чем дальше говорить, она обводит взглядом комнату и замечает:

– Ничего себе местечко, да?

– Да, тут здорово. И коллекция впечатляет.

– Очень красивая.

– Прекрасная.

Они оглядываются по сторонам, стараясь не смотреть друг на друга. Сэмюэла охватывает страх: неужели им больше нечего сказать? Наконец Бетани нарушает молчание:

– Никогда не понимала, нравилось ли ему все это.

– В каком смысле?

– Он собирал работы гениев – Моцарта, Мильтона, Китса. Но в этом не чувствуется подлинной страсти. Вся эта коллекция больше похожа на инвестиции. Словно он собирал портфель из разных активов. Любовью тут

и не пахнет.

– Ну, может, что-то из этого он все же любил. И прятал от посторонних глаз. Хранил для себя одного.

– Может, и так. Тем хуже: он даже не мог этим поделиться.

– Ты хотела мне что-то показать?

– Иди сюда.

Бетани отводит его в угол, где под стеклом хранятся рукописные партитуры, и указывает на одну из них: первый скрипичный концерт Макса Бруха, написанный в 1866 году.

– Я исполняла его на том концерте, когда ты впервые услышал, как я играю, – поясняет Бетани. – Помнишь?

– Ну конечно.

На пожелтевших страницах царит хаос, и не потому что Сэмюэл не умеет читать ноты. Автор писал и стирал слова, стирал или перечеркивал ноты, из-под чернил глядит карандаш, вдобавок партитуру испещряют пятна не то от кофе, не то от краски. Сперва композитор пометил наверху: “*Allegro molto*”, – но потом зачеркнул “*molto*” и заменил на “*moderato*”. Под названием первой части, “Прелюдии”, стоит длинный подзаголовок, занимающий полстраницы, однако прочесть его невозможно из-за каракулей, черточек и закорючек.

– Вот моя партия, – Бетани указывает на скопление нот, торчащих над нотным станом.

Как из этой неразберихи родилась чудесная музыка, которую Сэмюэл слышал в тот вечер? Чудо, не иначе!

– А ты знала, что ему за это так и не заплатили? – спрашивает Сэмюэл. – Он продал партитуру чете американцев, но денег они ему так и не дали. Кажется, он умер в нищете.

– А ты откуда знаешь?

– Мама рассказала. На том твоём концерте.

– И ты запомнил?

– Ещё бы.

Бетани кивает. Принимает слова на веру.

– Ну так что у тебя новенького? – спрашивает она.

– Меня вот-вот уволят, – отвечает Сэмюэл. – А у тебя что новенького?

– Я развелась, – отвечает Бетани, и они улыбаются.

Улыбка перерастает в смех, и от этого смеха лед между ними тает, уходят сдержанность и настороженность. Оказывается, в своих бедах они не одиноки. За обедом в ресторане музея Бетани рассказывает Сэмюэлу, как четыре года прожила с Питером Атчисоном, как уже на втором году

брака соглашалась на любые зарубежные гастроли, которые ей предлагали, лишь бы уехать подальше от мужа и не признаваться себе в том, что знала с самого начала: она тепло относится к Питеру, но совсем не любит, а если и любит, то не настолько, чтобы прожить с ним всю жизнь. Они были добры друг к другу, но вот страсти между ними никогда не было. В последний год брака она отправилась на месяц на гастроли в Китай и с ужасом ждала возвращения.

– Тогда я и решила: все, хватит, – рассказывает Бетани. – Мне надо было порвать с ним гораздо раньше. – Бетани указывает вилкой на Сэмюэла. – Если бы ты в ту ночь не ушел...

– Прости, – отвечает он. – Мне следовало остаться.

– Да нет, ты правильно сделал, что ушел. В ту ночь я искала легкое решение. Но для меня же самой трудное решение оказалось лучше.

Сэмюэл рассказывает Бетани о недавних передрыгах, начиная с неожиданного появления матери. “Так эта женщина, которая напала на Пэкера, твоя мама?” – восклицает Бетани, и на них косятся посетители за другими столами. Сэмюэл рассказывает ей о полиции, о судье, обо всем вплоть до сегодняшней встречи с Перивинклом и о дилемме, которую тот перед ним поставил: выпускать ли под своим именем книгу, написанную другими авторами.

– Знаешь, – признается Сэмюэл. – Я хочу попробовать начать все сначала.

– Что конкретно?

– Жизнь. Карьеру. Хочу сжечь за собой мосты. Устроить глобальную перезагрузку. Я даже думать не могу о том, чтобы вернуться в Чикаго. Последние несколько лет я словно попал в колею, из которой пора выбираться.

– А что, по-моему, хорошо, – отвечает Бетани.

– Я понимаю, что это наглость и дерзость, да и вообще, с какой стати ты должна для меня что-то делать, но мне нужна твоя помощь. Я хотел попросить тебя об одолжении.

– Почему бы и нет. О каком именно?

– Мне нужно где-то перекантоваться.

Бетани улыбается.

– Какое-то время, – добавляет Сэмюэл. – Пока не разберусь, что и как.

– Да пожалуйста, – отвечает она. – У меня в квартире восемь спален.

– Я не стану тебе глаза мозолить. Ты меня даже не заметишь, клянусь.

– Мы с Питером, когда жили вместе, даже не встречались. Так что это вполне возможно.

- Правда?
- Живи сколько хочешь.
- Спасибо.

Они заканчивают обедать, и Бетани нужно бежать на вторую за день репетицию. Они снова обнимаются, на этот раз крепче, как близкие знакомые, как друзья. Сэмюэл задерживается у рукописи Бруха, рассматривает неряшливую партитуру. Мысль о том, что даже у гениев бывают неудачи, что даже великим порой приходится поворачивать вспять, наполняет его радостью. Он представляет, как Брух отправил рукопись за границу: каково-то он себя чувствовал, когда у него не осталось музыки, а только воспоминание о ней? Воспоминание о том, как он писал ее и представлял, как она должна звучать. Средства его истощались, разгоралась война, и в конце концов у него не осталось ничего, кроме воображения и фантазий о том, как сложилась бы жизнь, если бы все обернулось иначе, как его музыка звучала бы в соборах в более светлые дни.

5

Однажды в утренних газетах появляется заголовок от Бюро трудовой статистики: “УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ ОСТАЕТСЯ ПРЕЖНИМ”.

Новость тут же подхватывает телевидение, прерывая трансляцию для того, чтобы сообщить сенсационное известие: за последний месяц рабочих мест не стало больше.

Это самая обсуждаемая новость дня. Эти точные данные воплощают неприятное смутное ощущение, охватившее всех осенью 2011 года: мир стремительно движется к краху. Разоряются целые островные государства. Евросоюз неплатежеспособен. Ликвидируют самые влиятельные банки. Фондовые биржи обрушились летом и, по мнению экспертов, зимой продолжают падать. У всех на устах слово “дегинг”^[49], поскольку все погрязли в долгах. Оказывается, что в мире гораздо больше товаров, чем денег, чтобы их купить. В моде сдержанность и бережливость. Как и золото. Деньги хлынули на рынки золота, поскольку дела идут так плохо, что под сомнение попала правильность бумажных денег с философской точки зрения. Кое-кто утверждает, что бумажные деньги – обман, который прихотью рода людского перешел из маргинальных понятий в разряд нормы и укрепился там. Экономика вернулась в Средневековье, и единственной ценностью стали драгоценные металлы: золото, серебро, медь, бронза.

Тенденция масштабная, не имеющая аналогов, а оттого слишком

сложная для восприятия. Чтобы осмыслить ее целиком, начинать нужно с далекого прошлого, поэтому телевидение освещает частности: статистику трудовой занятости, рыночную конъюнктуру, бухгалтерские отчеты – мелкие подробности большой истории, в которых прослеживается общее явление, а следовательно, и поддается описанию.

Оттого-то безработица и привлекает такое внимание. Точная цифра понятна, в отличие от абстрактной идеи типа дегирига.

Возникает эмблема: “КРУГЛЫЙ НОЛЬ!”. Составляют мудреные яркие таблицы и диаграммы, которые демонстрируют актуальные пугающие тенденции на рынке труда. Ведущие задают наводящие вопросы экспертам, аналитикам и политикам, которые орут друг на друга с разных экранов. Телеканалы набирают “людей с улицы” для участия в “круглых столах” на тему кризиса в сфере занятости. Такое ощущение, будто на тебя надвигается лавина информации.

Сэмюэл сидит перед телевизором и переключает новостные каналы. Ему любопытно, о чем сегодня говорят, и он с облегчением узнает, что вот об этом. Потому что чем больше внимания в новостях уделяют статистике безработицы, тем меньше останется времени на обсуждение другой громкой темы, а именно выхода новой книги: “ИСТОРИЯ ТОЙ, КОТОРАЯ НАПАЛА НА ПЭКЕРА”, скандальной биографии Фэй Андресен-Андерсон, написанной ее сыном.

Вчера вечером Сэмюэл присутствовал на вечеринке в честь публикации. Это было одним из условий договора, который он заключил с Перивинклом.

– Не казните себя, – сказал Перивинкл, когда фотографы отсняли необходимые кадры. – Вы приняли самое мудрое решение.

– Надеюсь, судья теперь успокоится?

– Я уже об этом позаботился.

Оказывается, в тот самый день, когда судья Браун выяснил, что Фэй Андресен-Андерсон сбежала в Норвегию (а это значило, что нужно начинать процесс экстрадиции, на который могли уйти годы), ему позвонили из предвыборного штаба Пэкера и предложили стать главным советником по вопросам борьбы с преступностью. Единственное условие – отказаться от дела. Ну и поскольку процесс против Фэй грозил затянуться, а от такой должности, как главный советник по вопросам борьбы с преступностью у кандидата, который открыто носит с собой пистолет, не отказываются, судья согласился на все условия. Тихонечко задвинул дело в долгий ящик с помощью какой-то черной бюрократической дыры в законе и официально ушел на покой. В новой же своей должности первым делом

предложил существенно ограничить Первую поправку применительно к протестующим левым, и губернатор Пэкер с энтузиазмом поддержал это предложение, поскольку рассчитывал таким образом заручиться поддержкой консерваторов, которых история с “Захвати Уолл-стрит” достала донельзя.

Сэмюэл слышит их каждый божий день, этих протестующих на Уолл-стрит. Он просыпается, пьет кофе и почти до самого вечера пишет, сидя в большом кожаном кресле у окна, которое смотрит на Зукотти-парк, где обосновались демонстранты. Они явно намерены провести там всю зиму. Бетани предложила ему выбрать комнату, и он выбрал эту, окнами на запад: отсюда видно протестующих, а вечерами – закат. Сэмюэл полюбил стук барабанов, особенно сейчас, когда барабанщики согласились стучать только днем. Ему нравятся эти ритмы, их неутомимая динамичность, то, что они могут барабанить часами без перерыва. Он равняется на них в дисциплине, ведь теперь у него новый проект, новая книга. Он рассказал о ней Перивинклу, когда разделался с обязательствами по контракту.

– Я пишу мамину биографию, – сказал Сэмюэл. – Но на этот раз только правду. О том, что было на самом деле.

– О чем же именно, позвольте полюбопытствовать? – спрашивает Перивинкл.

– Да обо всем. Я обо всем напишу. Расскажу про всю ее жизнь. С детства и до сего дня.

– То есть получится книга страниц на шестьсот, которую прочитают от силы человек десять? Что ж, поздравляю.

– Я не для того пишу.

– Ах да, конечно, вы же это ради искусства. Вы теперь один из этих.

– Ну, типа того.

– Только вот имена придется изменить. И кое-какие факты, по которым можно установить, о ком и о чем конкретно идет речь. Не хотелось бы снова подавать на вас в суд.

– И за что же, за клевету или за диффамацию? Забыл, чем они отличаются.

– И за клевету, и за диффамацию, и за очернение, и за вмешательство в частную жизнь, и за оскорбление, и за ущерб репутации, и за упущенную выгоду, и за моральный ущерб, и за нарушение пункта договора, согласно которому вы не имеете права конкурировать с издательством. Плюс возмещение убытков и гонорар адвокату.

– А я скажу, что все выдумал, – ответил Сэмюэл. – Изменю имена. И обязательно придумаю вам какое-нибудь дурацкое имя.

– Как мама? – спросил Перивинкл.

– Понятия не имею. Мерзнет, наверное.

– Она что, до сих пор в Норвегии?

– Да.

– В краю оленей и полярного сияния?

– Да.

– Я как-то раз видел полярное сияние. На севере Альберты. Купил тур под названием “Посмотри на полярное сияние!”. Надеялся, что увижу его и дух захватит. Так и оказалось. Увидел – и дух захватило. Я ужасно расстроился, потому что полярное сияние оказалось в точности таким, как я и ожидал. То есть за что заплатил, то и получил. Пусть это послужит вам уроком.

– Каким еще уроком?

– Я про ту грандиозную книгу, которую вы задумали. И про то, чего вы от нее ждете. Пусть полярное сияние послужит вам уроком. Разумеется, это метафора.

Сэмюэл и сам не знает, чего ждет от книги. Сначала он думал, что, если соберет достаточно информации, сможет вычленить причину, по которой

мать оставила семью. Но как же это поймешь? Любое объяснение представлялось ему слишком простым, слишком тривиальным. Поэтому вместо того, чтобы искать ответы, он принялся писать ее историю, решив, что, если ему удастся взглянуть на мир ее глазами, быть может, он получит нечто большее, нежели ответы: поймет ее, прочувствует, простит. Он написал о ее детстве в Айове, о том, как она поехала учиться в Чикаго, о протестах 1968 года, о последнем месяце, который она провела в семье, прежде чем уйти, и чем больше писал, тем пространнее становилась история. Сэмюэл написал про мать, отца, деда, Бишопу, Бетани, директора школы, Элис, судью и Павнера – он пытался их понять, осмыслить то, чего прежде не замечал, поскольку был слишком занят собой. Даже о Лоре Потсдам, мерзавке Лоре Потсдам – даже к ней Сэмюэл постарался отыскать в душе хоть немного сочувствия.

Лора же Потсдам всю наслаждается жизнью: еще бы, этого придурочного препода английского языка и литературы уволили, вместо него взяли какого-то бедолагу-аспиранта, о том, что она списала сочинение по “Гамлету”, все давным-давно забыли, в общем, все круто, все оказалось так, как ей с детства твердила мама: она особенная и непременно получит все, что пожелает, и если ей чего-то хочется, нужно добиваться этого всеми правдами и неправдами, и вот прямо сейчас она хочет пропустить несколько коктейлей с “Егермейстером”, чтобы отпраздновать торжество справедливости, – препода уволили, ее будущее спасено. Лора видит в этом намек на грядущие успехи: перед ней открыты все дороги, и она сметет каждого, кто посмеет встать на ее пути. История с преподам была ее первым испытанием, и она его выдержала. С честью. Учитывая, что созданная по Лориной инициативе организация СПРОС получила серьезную поддержку, ее деятельность хвалили в вечерних новостях и на собраниях попечительского совета, друзья в один голос советуют ей в следующем семестре баллотироваться в студенческий профсоюз, она сперва отмахивалась – мол, да ни за что на свете, пока в университет в рамках предвыборной кампании не приехал губернатор Пэккер и не пожелал лично сфотографироваться с Лорой, потому что на него произвело огромное впечатление упорство, с которым она отстаивала интересы трудолюбивых налогоплательщиков штата Иллинойс, губернатор даже сказал: “Необходимо приложить все усилия, чтобы защитить наших студентов и наши кошельки от бесполезных либеральных преподавателей наук, утративших актуальность”. На пресс-конференции кто-то из журналистов спрашивает губернатора Пэккера, что он думает о находчивости и отваге Лоры, и известный политик отвечает: “Думаю,

когда-нибудь она будет баллотироваться в президенты”.

И Лора меняет специализацию. Никакого больше маркетинга и деловых коммуникаций. Она немедленно выбирает другие профилирующие предметы, которые, решает Лора, гораздо больше пригодятся будущей кандидатке в президенты: политология и актерское мастерство.

Сэмюэл не скучает по таким студентам, как Лора Потсдам, но жалеет, что учил их не так, как нужно. Он морщится при мысли, что смотрел на них свысока. Видел лишь их ошибки, слабые места, недостатки, все, в чем они недотягивали до его ожиданий. До которых, к слову, им никогда было не дотянуться, поскольку ожидания росли, ведь Сэмюэлу так удобно было злиться на студентов. Злиться легко, в особенности если боишься перетрудиться. Потому что жизнь его летом 2011 года зашла в тупик, совершенно его не удовлетворяла, вот он и злился. Злился на мать за то, что ушла, злился на Бетани за то, что его не любит, злился на студентов за тупость. Он привык злиться, потому что испытывать злость куда проще, чем постараться с ней справиться. Винить Бетани в том, что она его не любит, гораздо легче, чем задуматься над своим поведением и понять, за что же тебя не любят. Винить студентов в том, что им неинтересно, проще, чем потрудиться их заинтересовать. И уж куда проще было просиживать целыми днями за компьютером, чем выбраться из тупика, в который зашла жизнь, чем заполнить пустоту, которую оставила в его душе мать, когда его бросила, а если каждый день принимаешь простые решения, это входит в привычку, и привычка становится жизнью. Он с головой ушел в “Мир эльфов”, как жертва кораблекрушения – под воду.

Так могут пройти годы, как это было у Павнера, который в эту минуту как раз открывает глаза.

Он проспал месяц (самый долгий непрерывный “сон” за всю историю окружной больницы) и наконец открывает глаза. Тело его подпитали, мозг хорошенько отдохнул, сердечно-сосудистую, пищеварительную и лимфатическую системы прочистили, как могли, теперь они функционируют нормально, голова не лопается от боли, желудок не сжимается от голода, суставы не ломит, в мышцах не чувствуется привычного тремора. Он вообще не испытывает боли, которая так долго не отпускала его ни на минуту, и это новое ощущение кажется ему чудом. По сравнению с тем, каково ему было прежде, думает Павнер, он или умер, или под кайфом. Потому что не может такого быть, чтобы ему было так хорошо: он точно в раю или под наркотой.

Он обводит взглядом палату и видит на кушетке Лизу. Красавица Лиза, его бывшая жена, улыбается, обнимает его, а под мышкой у нее

потрепанный блокнот в черной кожаной обложке, в котором он записал первые страницы своего детектива. Лиза сообщает ему, что из крутого нью-йоркского издательства прислали несколько бандеролей с документами на подпись, а когда Павнер спрашивает, с какими еще документами, она ухмыляется и отвечает: “С твоим договором на книгу!”

Потому что таково было еще одно условие, которое Сэмюэл поставил Перивинклу: издать роман его друга.

– И о чем роман? – поинтересовался Перивинкл.

– Вроде бы о детективе-психопате, который ловит серийного убийцу, – ответил Сэмюэл. – И оказывается, что убийца – то ли любовник бывшей жены детектива, то ли зять, то ли что-то еще в этом роде.

– А что, – заметил Перивинкл. – Звучит заманчиво.

Павнер как-то сказал Сэмюэлу, что все люди в жизни оказываются для нас врагами, преградами, загадками или ловушками. И для Сэмюэла, и для Фэй летом 2011 года люди были явно врагами. Больше всего на свете им обоим хотелось, чтобы их оставили в покое. Но в мире не выжить в одиночку, и чем больше Сэмюэл писал, тем больше понимал это. Потому что, если видишь в людях врагов, препятствия или ловушки, будешь все время воевать и с ними, и с собой. Если же видишь в них загадки и себя тоже считаешь загадкой, тебя ждет сплошное удовольствие: когда заглянешь глубже человеку в душу, выведаешь всю подноготную, непременно найдешь что-то знакомое.

Разумеется, это куда труднее, чем видеть во всех врагов. Понимать всегда сложнее, чем ненавидеть. Но это расширяет возможности. Избавляет от одиночества.

Вот он и трудится, Сэмюэл, усердно трудится в этой необычной новой жизни бок о бок с Бетани. Они не любовники. Быть может, когда-нибудь и станут любовниками, но пока что нет. Сэмюэл к этому относится так: как будет, так будет. Он понимает, что в прошлое не вернуться и ошибки уже не исправить. Отношения с Бетани – не книга из серии “Выбери приключение”. Он поступит иначе: попытается внести в отношения ясность, радость, постарается понять Бетани. Он не позволит прошлому поглотить настоящее. Пока же старается жить здесь и сейчас, не позволять своим представлениям о том, как все должно быть, лишиться настоящего красок. Он старается увидеть Бетани такой, какая она есть. Разве не все этого хотят? Чтобы их увидели такими, какие они есть? Прежде он был влюблен в отдельные ее черты: глаза, например, или осанку. Но потом она ему призналась, что больше всего они с Бишопом похожи друг на друга цветом глаз, и оттого всякий раз, как она видит в зеркале свои глаза, ее

охватывает печаль. А чуть погодя рассказала, что осанка – результат многолетних занятий по методу Александера^[50]: она делала упражнения, в то время как остальные дети играли во дворе, качались на качелях и бегали по лужайке в струях воды из спринклеров. Когда Сэмюэл услышал эти истории, он стал иначе воспринимать ее глаза и осанку. Их очарование потускнело, но Сэмюэл понял, что общий образ от этого только выиграл.

Так что, пожалуй, он впервые видит Бетани такой, какая она есть.

И мать. Он пытается ее понять, взглянуть на нее спокойно, без злости, которая искажала восприятие. Сэмюэл обманул Перивинкла единственный раз – когда сказал, что Фэй по-прежнему в Норвегии. Ему показалось, что так лучше: если все будут думать, что Фэй все еще в Приполярье, ее никто не побеспокоит. На деле же она вернулась домой, в маленький городок на берегу реки в Айове, чтобы ухаживать за отцом.

Деменция Фрэнка Андресена прогрессировала, так что когда Фэй только приехала и медсестра сказала ему: “Ваша дочь пришла”, он возрился на Фэй с удивлением. Он был очень худой, кожа да кости. Лоб усеивали красные пятна: Фрэнк расчесал и расковырял. Он уставился на Фэй так, словно увидел призрака.

– Дочь? – спросил он. – Какая дочь?

Фэй решила бы, что отец впал в маразм, если бы не знала правду и не понимала, что вопрос этот мог объясняться не только помутнением рассудка.

– Это я, папа, – ответила она и решила рискнуть. – Это я, Фрейя.

Это имя явно затронуло что-то в глубинах его памяти, потому что лицо его исказила гримаса, и он бросил на Фэй взгляд, полный боли и отчаяния. Она подошла к нему и аккуратно обхватила его хрупкое тело.

– Ну что ты, – сказала она. – Не надо, не расстраивайся.

– Прости меня, – он впери в нее пристальный взгляд, несвойственный человеку, который всю жизнь старался никому не смотреть в глаза. – Прости меня, ради бога.

– Все уладилось. Мы все тебя любим.

– Правда?

– Тебя все очень любят.

Он долго рассматривал лицо Фэй.

Пятнадцать минут спустя все забылось. Фрэнк рассказывал ей о чем-то, как вдруг осекся на полуслове, с улыбкой посмотрел на дочь и спросил:

– А вы кто?

Но все же то мгновение что-то в нем встряхнуло, высвободило что-то важное, потому что теперь, помимо прочего, он рассказывал ей о Марте, о

том, как они прогуливались по ночам в тусклом свете луны: Фэй никогда прежде не слыхала этих историй, а медсестер они смущали, потому что было совершенно ясно, что гуляли Фрэнк и Марте после секса. Он воспрял духом, словно сбросил какое-то бремя. Даже медсестры это заметили.

Фэй снимает квартиру неподалеку от дома престарелых, каждое утро приходит к отцу и проводит с ним весь день. Иногда он ее узнает, но чаще всего нет. Рассказывает старые истории о призраках, о заводе “Кемстар”, о том, как рыбачил в Норвежском море. Время от времени он смотрит на нее таким взглядом, что Фэй сразу понимает: на самом деле он видит перед собой Фрейю. В такие минуты она его утешает, обнимает, говорит, что все наладилось, по просьбе отца описывает ферму, причем обязательно приукрашивает – не поросший ячменем клочок земли перед домом, но целые поля пшеницы и подсолнухов. Фрэнк улыбается. Представляет себе картину. Он радуется, когда слышит об этом. Радуется, когда Фэй говорит: “Я тебя прощаю. Мы все тебя прощаем”.

– Но почему?

– Потому что ты хороший человек. Ты сделал что мог.

И это правда. Он действительно сделал все, что в его силах. Он, как мог, старался быть хорошим отцом. Просто раньше Фэй этого не замечала. Порой мы слишком увлечены собственной историей и не замечаем, что в чужой истории мы лишь на вторых ролях.

Фэй делает для отца, что может: успокаивает, не дает заскучать и прощает, прощает, прощает. Тело его и разум ей спасти не под силу, но она может снять груз с его души.

Порой бывает так, что они беседуют и Фрэнк засыпает, не договорив. Пока он спит, Фэй читает – точнее, перечитывает – сборник стихотворений Аллена Гинзберга. Иногда звонит Сэмюэл; тогда она откладывает книгу и отвечает на его вопросы, на все его пугающие вопросы: почему она уехала из Айовы? Бросила университет? И мужа? И сына? Фэй старается отвечать подробно и честно, пусть ей и страшно. Она в буквальном смысле впервые в жизни ничего не утаивает, рассказывает, как есть, обнажает душу, и это вызывает у нее почти что панику. Она никому прежде не открывалась целиком, лишь по частям. Этот кусочек Сэмюэлу, этот отцу, ну а Генри почти ничего. Как все яйца не складывают в одну корзину, так и Фэй не доверялась кому-то одному. Ей казалось это слишком опасным. Все эти годы она боялась, что если кто-то узнает о ней всю правду, узнает, какая она на самом деле, заглянет ей в душу, то ни за что не полюбит, потому что там нечего любить. Не настолько широка была ее душа, чтобы вместить в себя душу другого.

Теперь же Фэй рассказывает Сэмюэлу обо всем. Отвечает на его вопросы. Ни о чем не умалчивает. Даже если отвечать страшно (вдруг Сэмюэл поймет, что она чудовище, и перестанет ей звонить?), она все равно говорит ему правду. Порой Фэй думает, что теперь он точно в ней разочаруется, поймет, что любить ее не за что, но происходит ровно наоборот. Сэмюэл интересуется ею еще больше, звонит еще чаще. Иногда звонит просто поболтать – не расспросить о ее уродливом прошлом, а узнать, как прошел день, как погода, что нового. И Фэй надеется, что в один прекрасный день они смогут общаться с открытым сердцем, будут заново узнавать друг друга, не поминая былые обиды и ее извечные ошибки.

Она потерпит. Все равно побыстрее не получится – доверять никого не заставишь. Она будет ждать, ухаживать за отцом, отвечать на бесконечные вопросы Сэмюэла. Если сын захочет узнать ее секреты, она ему их доверит. Захочет поговорить о погоде – она поговорит с ним о погоде. Захочет обсудить новости – она обсудит с ним новости. Она включает телевизор, чтобы посмотреть, что в мире делается. Сегодня только и разговоров, что о безработице, глобальном дегиринге, рецессии. Люди в панике. Нестабильность велика, как никогда. Грядет кризис.

Фэй же думает, что порой кризис – вовсе не кризис, а лишь начало чего-то нового. Если все эти перипетии чему и научили ее, так это тому, что, если начинается что-то действительно новое, обязательно кажется, будто наступил кризис. Потому что любые настоящие перемены сперва обязательно пугают.

Если тебе не страшно, значит, ничего толком не меняется.

А пока банки и правительства после многолетних злоупотреблений наводят порядок в бухгалтерских книгах. Общее мнение таково: все погрязли в долгах, и придется на несколько лет затянуть потуже пояса. Ну и ладно, думает Фэй. Значит, так и должно быть. Таков порядок вещей. Так мы найдем выход. Если сын спросит, она так ему и скажет. Что рано или поздно долги надо отдавать.

Благодарности

События 1968 года, описанные в романе, представляют собой смесь исторических фактов, интервью очевидцев, авторских фантазий, вымысла и недостатка знаний. Так, Аллен Гинзберг действительно участвовал в демонстрации протеста в Чикаго, но в Иллинойском университете никогда не преподавал. И в 1968 году в этом университете еще не было общежитий. И корпус бихевиоральных наук открыли только в 1969 году. И события в Грант-парке я описал не в хронологической последовательности. Ну и так далее. Если вас интересуют более точные с исторической точки зрения рассказы о протестах 1968 года, рекомендую вам следующие книги и фильмы, которые очень помогли мне в работе над романом: “Чикаго, 1968 год” (*Chicago '68*) Дэвида Фарбера, “Весь мир наблюдает” (*The Whole World Is Watching*) Тодда Гитлина, “Место сражения – Чикаго” (*Battleground Chicago*) Фрэнка Куша, “Майами и осада Чикаго” (*Miami and the Siege of Chicago*) Нормана Мейлера, “Чикагская десятка” (*Chicago 10*) режиссера Бретта Моргена, “Как все было на самом деле: беспорядки в Чикаго” (*Telling It Like It Was: The Chicago Riots*) под редакцией Уолтера Шнайра и “Никого не убили” (*No One Was Killed*) Джона Шульца.

Также хотелось бы отметить книги, которые помогли мне правдиво (ну, я надеюсь) изобразить указанный период: “Занимайтесь любовью, а не войной” (*Make Love, Not War*) Дэвида Аллина, “Юные, белые, несчастные” (*Young, White, and Miserable*) Уини Брейнс, “Культура против человека” (*Culture Against Man*) Генри Джулса, „1968” Марка Курлански, “Время мечтать” (*Dream Time*) Джеффри О’Брайена, “Осколки бога” (*Shards of God*) Эда Сандерса.

Кое-какие утверждения, которые в этой книге приписываются Аллену Гинзбергу, он сперва высказал в эссе и письмах, опубликованных в сборнике “Плоды раздумий: избранные эссе, 1952–1995 гг.” (*Deliberate Prose: Selected Essays 1952–1995*) под редакцией Билла Моргана, и в “Дневниках начала пятидесятых – начала шестидесятых” (*Journals: Early Fifties Early Sixties*) под редакцией Гордона Болла.

Норвежскими легендами о призраках я обязан книге “Норвежские народные предания” (*Folktales of Norway*) Рейдара Кристиансена в переводе Пэт Шоу Иверсен. “Нёкк” (nøkk) – норвежское название призрака.

Сведения о панических атаках я почерпнул из книги “Смертельная неловкость” (*Dying of Embarrassment*) Барбары Дж. Маркуэй и пр. и “Страх перед другими” (*Fearing Others*) Ариэля Стравински. Информацией о желаних и фрустрации я обязан книге “Упущенные возможности: похвала непрожитой жизни” (*Missing Out: In Praise of the Unlived Life*) Адама Филипса.

Я благодарен Нику Йи и его “Проекту «Дедал» за исследование психологии и поведения геймеров. Рассуждения о четырех типах задач в видеоиграх основываются на книге “Разработка уровней в играх” (*Level Design for Games*) Филадельфия Ко. Многочисленные мозговые расстройства Павнера навеяны постами в блоге Николаса Карра *Rough Type* и статьей “Нарушения микроструктуры головного мозга у интернет-зависимых подростков” (“*Microstructure Abnormalities in Adolescents with Internet Addiction Disorder*”) Кай Юань и пр., опубликованной в июне 2011 года в журнале *PloS ONE*.

Плакаты, украшавшие стены кабинета домоводства, позаимствованы с сайта *Found in Mom's Basement*, pzrservices.typepad.com/vintage_advertising. Кое-какие черты характера Лоры Потсдам навеяны парой особенно впечатливших меня звонков в передачу *Savage Lovecasts* Дэна Сэвиджа. Описанием клипа Молли Миллер я обязан книге “Цифровая визуальная культура” (*Visual Digital Culture*) Эндрю Дарли. Кое-какую информацию о брутальной архитектуре Иллинойского университета Чикаго я почерпнул из дипломной работы Эндрю Бина, защищенной в Уэслианском университете: “Нелюбимый кампус: эволюция восприятия Иллинойского университета Чикаго” (“*The Unloved Campus: Evolution of Perceptions at the University of Illinois at Chicago*”). Спор о половом бойкоте позаимствован из статьи в журнале *Ain't I a Woman* 3, no.1 (1972). Письмо редактору, которое Фэй читает в “Свободном голосе Чикаго”, позаимствовано из неопубликованного письма в газету *Chicago Seed*, которое ныне хранится в Чикагском историческом музее. Сведения Себастьяна о море почерпнуты из статьи Франки Тамисари “Смысл шагов – между шагами: танцы и хвалебные заклятья” (“*The Meaning of the Steps Is in Between: Dancing and the Curse of Compliments*”), опубликованной в августовском номере *The Australian Journal of Anthropology* за 2000 год. История Аллена Гинзберга “Ешьте манго!” (“*Eat Mangoes!*”) взята из книги “Учение Шри Рамакришны” (*Teaching of Sri Ramakrishna*).

Благодарю за помощь сотрудников Чикагского исторического музея. Большое спасибо Государственному совету по искусству штата Миннесота и университету Сейнт-Томас за то, что они прочитали рукопись и дали

полезные замечания.

Спасибо моему редактору, Тиму О'Коннеллу, за неоценимую помощь (если не сказать вполне себе перивинкловское рвение и энтузиазм) в работе над романом. Спасибо всем замечательным людям из *Knopf*: Тому Полду, Эндрю Ридкеру, Полу Богаардсу, Робину Дессеру, Габриэлле Брукс, Дженнифер Курдыла, Луэнн Уолтер, Оливеру Мандею, Кэти Хуриган, Эллен Фельдман, Кэмерону Экройду, Карле Эофф и Сонни Мехта.

Спасибо моему агенту Эмили Форленд за мудрость, терпение и мужество. Спасибо Марианне Мерола и всем замечательным людям из *Brandt & Hochman*.

Спасибо моей семье, друзьям, учителям за их любовь, доброту, щедрость и поддержку. Спасибо Молли Дорозенски за то, что читала черновики и давала мне советы.

И, наконец, спасибо Дженни Кройон, моему первому читателю, за то, что помогла мне не сбиться с пути за десять лет писательства.

Примечания

1

Серхан Бишара Серхан (род. 1944) – убийца Роберта Кеннеди.

2

«Синоптики» (*Weather Underground*) и «Черные пантеры» (*Black Panthers*) – американские леворадикальные организации.

3

BRB (“*be right back*”), *AFK* (“*away from keyboard*”) – принятые в игровом сленге сокращения.

4

Сэмюэл взял себе игровой псевдоним в честь Ловкого Плути, персонажа романа Ч. Диккенса «Приключения Оливера Твиста».

5

Здесь и далее «Гамлет» приводится в переводе Б. Пастернака.

6

Не следует (*лат.*). Логическая ошибка, которая заключается в разрыве

между предпосылками и заключением.

7

После этого, значит, по причине этого (*лат.*).

8

Доказательство многословием (*лат.*).

9

Банко – карточка игра.

10

Дословно «к человеку» (*лат.*): об аргументах, апеллирующих к чувствам, а не к разуму.

11

Соломенное чучело – логическая уловка: говорящий сперва искажает аргумент оппонента, а потом старается его опровергнуть.

12

Название «Стримвуд» (*Streamwood*) состоит из двух английских слов: *stream* (река, ручей) и *wood* (лес).

13

Компания *C. A. Swanson & Son* производит замороженные полуфабрикаты.

14

От *large* (англ.) – высокий, большой.

15

С 2009 года небоскреб называется Уиллис-тауэр.

16

Здесь и далее перевод Б. Пастернака.

17

СДВГ – синдром дефицита внимания с гиперактивностью.

18

Желтые ленточки во время войны в Персидском заливе стали в США символом поддержки американских солдат.

19

Арсенио Холл (р.1956) – американский комик, актер кино и телевидения.

20

Речь об аварии на нефтяной платформе *Deepwater Horizon* 20 апреля 2010 года – одной из крупнейших техногенных катастроф в истории США.

21

Уолтер Лиланд Кронкайт-младший (1916–2009) – тележурналист, бессменный ведущий вечернего выпуска новостей на канале *CBS* с 1962 по 1981 год.

22

От *mulberry* (англ.) – шелковица.

23

Притч. 16:5.

24

Речь идет о песне «Венера в мехах» группы *Velvet Underground*.

25

Тайт-энд – в американском футболе – третий крайний от центра игрок в линии нападения.

26

Мк.10:8.

27

Здесь и далее перевод А. Сергеева.

28

Фамилия «Буш» (*Bush*) дословно переводится как «куст», но на сленге это еще и обозначение вагины.

29

Леонард Пелтиер (р. 1944) – активист движения американских индейцев, которого в 1975 году приговорили к двум пожизненным срокам за убийство двух агентов ФБР.

30

ГАТТ – генеральное соглашение по тарифам и торговле. Заключено в 1947 году для восстановления мировой экономики после войны. Сейчас функции этого договора исполняет ВТО.

31

Специально выделенные территории, на которых разрешается проводить политические акции протеста.

32

СВУ – самодельное взрывное устройство.

33

Кордит – бездымный порох.

34

Район Чикаго.

35

Чарли Браун – герой популярного комикса *Peanuts*, добряк-неудачник.

36

Строчка из песни Дженис Джоплин *Down on Me*.

37

Сан Ра – псевдоним американского джазового композитора Германа Пула Блаунта (1914–1993).

38

СТП – 2,5-диметокси-4-метиламфетамин, синтетический наркотик с галлюциногенным действием.

39

Композиция Мэттью Уайлдера *Break My Stride*.

40

Медалью «Пурпурное сердце» в США награждают раненых или погибших в ходе боевых действий.

41

Фламберг – двуручный меч с волнистым клинком.

42

Эта демонстрация протеста состоялась 7 сентября 1968 года в Атлантик-Сити.

43

Демонстрация рабочих в Чикаго на площади Хеймаркет 4 мая 1886 года.

44

Перевод В. Марковой.

45

Эрнест (Эрни) Бэнкс (1931–2015) – знаменитый бейсболист, а впоследствии и тренер команды «Чикаго Кабс».

46

Даниэль (Дэн) Разер (р. 1931) – американский журналист, во время описываемых событий – ведущий вечерних новостей на канале CBS.

47

Т.е. примерно 6 м/с.

48

Перевод А. Сергеева.

49

Дегилинг – процесс замещения заемного капитала собственными средствами компании, уменьшение долговой нагрузки.

50

Фредерик Матиас Александер (1869–1955) – австралийский актер, автор метода телесной терапии, который включал в себя комплексы различных физических упражнений – в частности, чтобы исправить осанку и тем самым избавиться от проблем со здоровьем.